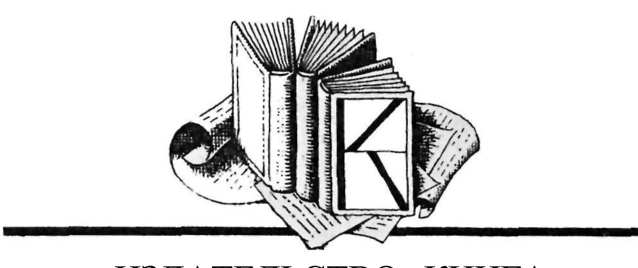


ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

Ф. ГРАНДЕЛЬ

БОМАРШЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»



ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

Ф. ГРАНДЕЛЬ
БОМАРШЕ

Перевод с французского
Л. Зониной и Л. Лунгиной
Издание второе

МОСКВА «КНИГА» 1985

84.4 Фр.
Г77

Fredéric Grendel
BEAUMARCHAIS OU LA CALOMNIE
FLAMMARION PARIS 1973

Предисловие *С. Козлова*

Разработка серийного оформления
Б. В. Трофимова, А. Т. Троянкера, Н. А. Ящука

Иллюстрации *Д. Ф. Терехова*

Г $\frac{4703000000\text{-}009}{002(01)\text{-}86}$ 77-86

ОГЛАВЛЕНИЕ

Главы 1—8, 17—18 переведены Л. Зониной, главы 9—16 — Л. Лунгиной.

БОМАРШЕ ГЛАЗАМИ ПОТОМКОВ

В 1800 г. Жан-Франсуа де Лагарп заявил на страницах своего знаменитого курса древней и новой литературы «Лицей»: «Мне всегда казалось, что Бомарше-человек превосходит Бомарше-писателя и заслуживает особенного внимания». В 1890 г. французский критик Гюстав Ларруме заключал свой очерк о Бомарше словами: «Как человек, Бомарше стоит во втором ряду, зато его творчество — в первом». Интересна не столько изменчивость оценок (явление обычное в любой «истории восприятия»), сколько общность подхода, оттеняемая разногласиями. Соизмеряют человека и писателя, жизнь и творчество, но соизмерять можно лишь вещи соизмеримые.

С 1800 г. и до сих пор одни смотрят на Бомарше «глазами Лагарпа», другие — «глазами Ларруме», но чем дальше, тем настойчивее взгляд отмечает саму эту соизмеримость двух сфер самовыявления Бомарше. Ощущение современного исследователя ясно выразил Рене Помо в своей книге «Бомарше. Жизнь и творчество» (1955): «Он оставил нам главное свое произведение, которое можно рассматривать как его шедевр: свою жизнь».

Бомарше представляет предельный случай «писателя с биографией», если воспользоваться старой формулой Б. В. Томашевского. Для биографической легенды бывает достаточно двух-трех эпизодов — «легенда о Бомарше» их насчитывает около полутора десятков. Эпизоды эти складываются в непрерывную цепочку, образуя готовый сюжет, близкий к канонам художественного повествования. Литературные занятия героя не выпадают из этого жизненного сюжета, а, напротив, большей частью входят в него на правах кульминационных пунктов. Написать биографию Бомарше легко; именно поэтому писать ее трудно.

Такую задачу должен был решать Фредерик Грандель (род. в 1924 г.), французский журналист и киносценарист, автор семи философско-психологических романов, когда приступил к работе над книгой, изданной в Париже в 1973 г. под названием «Бомарше, или Клевета». Чтобы встать на место Гранделя, обратимся к прошлому.

История посмертного осмысления личности Бомарше явственно делится на три больших периода.

Первый — 1800—1840-е годы. В это время облик Бомарше определяют непосредственные впечатления очевидцев, младших современ-

ников. С начала и до конца периода главными печатными источниками сведений о Бомарше остаются два текста: уже упомянутый очерк Лагарпа в «Лицее» и книга Ш.-И. Кузен д'Аваллона «Частная, политическая и литературная жизнь Бомарше...» (1802). Работа Кузен д'Аваллона надолго стала чуть ли не единственной книгой, посвященной Бомарше; в целом для людей той эпохи Бомарше — либо эпизодический герой чьих-то мемуаров, либо рядовой персонаж историко-литературных обзоров.

Второй период — 1850—1910-е годы. В его основе — новые факты и новые взгляды. На смену непосредственным впечатлениям и оценкам постепенно приходит ощущение дистанции, на смену сдержанному доброжелательству и открытому недоброжелательству — любопытство и тяга к пониманию. Но главное — масса новой информации, обрушившейся на читателя в работе Луи де Ломени «Бомарше и его время» (1856). Ломени первый получил доступ к хранившемуся у родственников личному архиву Бомарше и, вопреки французским литературным привычкам, ввел в свою книгу обширные выдержки из документов со ссылкой на источники. Потому его работа и сохранила основополагающее значение до наших дней. Как в первой половине века знания о Бомарше восходили к очерку Лагарпа и книге Кузен д'Аваллона, так вторая половина века будет использовать книгу Ломени и очерк Ш.-О. Сент-Бева о Бомарше (1852; серия «Беседы по понедельникам»). Впрочем, изучение Бомарше в эти пятьдесят лет не стоит на месте (следует вспомнить, что на эти годы во Франции приходится своеобразный «бум XVIII века»). В середине периода один за другим появляются еще три ключевых текста: работа А. Беттельхайма «Бомарше. Опыт биографии» (Франкфурт, 1886), книга Э. Лентилака «Бомарше и его сочинения» (1887) и мемуары ближайшего друга Бомарше П. Гюдена де ла Бренельри, опубликованные Морисом Турне под заглавием «История Бомарше» (1888). Эти публикации завершают создание некоего основного фонда сведений о Бомарше — основного, но отнюдь не исчерпывающего.

Начало третьего периода в истории осмысления Бомарше как раз можно связать с важным пополнением этого фонда — четырьмя взаимодополняющими публикациями писем Бомарше в 1919—1929 гг. Среди них — и письма к г-же де Годвиль (1928), более бледный эпистолярный цикл из тех двух, которые, видимо, подразумевал Сент-Бёв, говоря: «У Бомарше сохранится тайный кабинет, в который никогда не допустят публику». Новые данные будут прибавляться и позднее (резерв их не исчерпан еще сегодня), но главное в этот период — освоение уже накопленных фактов в их взаимосвязи. Книга Дж. Риверса «Фигаро. Жизнь Бомарше» (Лондон, 1922) открывает длинную вереницу биографических повествований, колеблющихся между наукой и беллетристикой. Появляются и опыты анализа личности Бомарше — наиболее известна работа Ф. Ван Тигема «Портрет Бомарше» (1960). В общем ряду этих сочинений книга Гранделя стала как минимум двадцать третьей — и пока что, кажется, последней.

Грандель в своей книге избегает сносок, ссылаясь на вкусы Бомарше, который заявлял себя недругом обильных примечаний. Но в том же письме от 20 марта 1798 г., строчкой ниже, Бомарше особо похвалил стремление своего адресата «изучить на всех языках Европы великих авторов», которые до него трактовали о предмете. Конечно, Грандель хорошо помнил и эти слова. Взяться за тему в двадцать третий раз — выбор не менее обязывающий, чем решение выступить первый и единственный раз в биографическом жанре. Не зная предшественников, нельзя было достичь цели: продуманной и новой позиции.

Подобная цель всегда достигается с усилием. Можно стремиться к продуманности и можно стремиться к новизне; соединить же обе установки и заманчиво, и нелегко. Сложно соотносятся эти два стремления и в книге Гранделя. Начать с того, что элементы новизны возникают у Гранделя на фоне вполне традиционных идей, продуманных и принятых автором. Самая очевидная из них — общая схема жизненного пути Бомарше. Это схема трехчленная: «заря — зенит — сумерки», как назвал три части своей «Жизни Бомарше» (1928) Рене Дальсем. И для Гранделя, и для его предшественников «время зенита» Бомарше — годы 1773—1784, от «дела Гезманов» (см. главу «Дьявол») до триумфа «Женитьбы Фигаро». Схема традиционна потому, что естественна; многие другие авторские ходы традиционны потому, что круг источников остается един для всех. Отсюда — устойчивые характеристики персонажей, устойчивый ряд опорных цитат. Наверное, ни один биограф не может не процитировать ультиматум отца Бомарше, мадридское письмо Бомарше отцу и монолог Фигаро из пятого акта «Женитьбы...» — монолог, о неизменной значимости которого Грандель говорит в первых же строках своей книги.

Новизна работы Гранделя — не в отборе материала и не в компоновке его, хотя и на этих уровнях заметны достаточно важные индивидуальные акценты. Но акценты эти, о которых скажем ниже, объясняются решающим сдвигом на ином уровне, в иной сфере. Источником новизны у Гранделя стало отношение автора к герою.

Отношение автора к герою — одна из центральных проблем биографического жанра. Во французской традиции эту проблему остро поставил Андре Моруа на страницах своей книги «Аспекты биографии» (1928). Рассуждая (преимущественно на английских примерах) о различных типах биографий, Моруа отмечал, что для современной биографии, возникновение которой он связывал с творчеством английского писателя Литтона Стрэчи (1880—1932), автора книги «Знаменитые викторианцы» (1918) и других биографических очерков, характерна большая или меньшая отстраненность автора от героя, тогда как прежде, в чопорную и респектабельную эпоху королевы Виктории, в биографиях господствовало безусловное преклонение перед героем. Позднейший литературный опыт (в частности, опыт самого Моруа) показал, что возможное в современных биографиях отношение автора к герою не исчерпывается иронией в духе Л. Стрэчи, но может включать и лирическое сопереживание,

выраженное с разной степенью прямоты. Однако при всех различиях определенная отстраненность автора от героя стала законом постольку, поскольку сам герой стал проблемой, подлежащей кропотливому решению. Бестревожная почтительность «викторианских биографий» действительно отошла в прошлое.

Все эти старые вопросы по-новому ставит история жизнеописаний Бомарше. И здесь положение оказывается непохожим на то, которое разбирал Моруа. Даже в век «почтительных» жизнеописаний биографы относились к Бомарше без особого почтения. Он всегда был проблемой, которую надо решать, а не монументом, которому надо поклоняться. Он мог претендовать на безоговорочность лишь одного рода: на безоговорочность неприятия. Тот, кто не отвергал Бомарше безоговорочно, тот сохранял либо дистанцию снисходительного доброжелательства, либо дистанцию научного бесстрастия. Прослеживая истоки подобного отношения, Грандель закономерно приходит к прижизненной репутации Бомарше, на которую начиная с 1760-х гг. постоянно влияли недоброжелательство и клевета.

Злоязычие современников и отчужденность потомков предстали Гранделю как звенья одной порочной цепи. Книга Гранделя — попытка разорвать эту цепь. Перед нами — редкий по своей последовательности опыт «биографического похвального слова».

Гранделевское «похвальное слово» насквозь полемично. Но, хотя автор постепенно соединяет всех своих оппонентов в некую собирательную фигуру, которую именует «Базиль», — мы должны ясно видеть: на самом деле таких собирательных оппонентов два. Первый — это клеветник из числа современников, рисующий Бомарше опасным субъектом, повинным чуть ли не во всех мыслимых грехах («кого-то отравил» и т. д.). Подобный образ Бомарше-злодея давно утратил всякую актуальность из-за полной несостоятельности. По-настоящему интересен лишь второй собирательный оппонент Гранделя. Это — сегодняшний историк, создатель того образа Бомарше, к которому привыкли все мы.

Этот образ Бомарше по-своему преломляется в самых разных работах. Авторы современного французского школьного учебника литературы А. Лагард и Л. Мишар пишут: «Беспокойный и неудобный персонаж, Бомарше являет нам почти все неприятные качества парвеню — дерзость, наглость, самодовольство; ему недостает чувства меры и чувства такта; он склонен к интриганству и даже обнаруживает некоторые черты крупного авантюриста».

Сравним с этим мнение советской исследовательницы Е. Л. Финкельштейн: «Человеческий и гражданский облик Бомарше сложен и противоречив. В своей борьбе за овладение жизненными благами он нередко отходил от высоких моральных принципов, провозглашенных просветителями. В его бурной биографии отчетливо проступают черты буржуазного дельца, карьериста и прожектера, не брезгующего иной раз темными махинациями, вылавливающего в мутной воде придворных интриг крупицы удачи и выгоды». Конечно, разные авторы по-разному нюансируют этот образ, но суть его неизменна:

противоречивое «сочетание благородных принципов и наивного практицизма», говоря словами другой советской исследовательницы, Л. А. Зониной. Таким представал Бомарше во всех работах последнего столетия, таким изобразил его Лион Фейхтвангер в своем романе «Лисы в винограднике».

Этот неоднозначный образ не устраивает Гранделя. Его взгляд иной: «Из всех деятелей литературы, о которых мы сохранили память, Бомарше достоин наибольшего уважения». Бомарше для него — это человек, который несколько десятилетий подряд, вопреки постоянным ударам судьбы, не смиряясь с безнадежностью, героически борется за свои идеалы. Идеалы эти — человеческая свобода и национальные интересы родины. Во имя этих идеалов, по Гранделю, Бомарше был готов рискнуть и своим состоянием (история с оружием для Америки — см. главу «Гордый Родриго»), и своей жизнью (история с Гезманом). Отношение автора к герою однозначно: восхищенное сочувствие.

Читатель сам оценит настойчивость и темперамент, с какими Грандель утверждает свое понимание личности Бомарше. Но, кроме этого, важно увидеть, как воздействует позиция Гранделя на осмысление конкретных фактов биографии Бомарше.

Подход Гранделя позволил по-новому решить ряд вопросов. Первый из них, и очень непростой: как начать книгу? В любой биографической концепции крайне значим исходный пункт, с которого автор начинает разматывать нить жизни героя. Грандель находит здесь нешаблонную и плодотворную возможность. За исходную точку взято отречение отца Бомарше от кальвинизма. Так вводятся тема несвободы и несправедливости, тема затруднительного положения и поисков выхода — сквозные темы жизни Бомарше.

Другой момент, по-новому увиденный Гранделем, — переход Бомарше от первого этапа жизни ко второму, от «зари» к «зениту». Автор усматривает здесь некий перелом, недостаточно оцененный предшествующими биографами. Грандель доказывает, что практической необходимости затевать скандал с Гезманами у Бомарше не было. Письмо же к мадам Гtзман с требованием вернуть 15 луидоров (последнюю мзду за право встречи с ее мужем — советником парламента) Грандель воспринимает как сознательный вызов Бомарше, захотевшего вступить в бой с системой. Такая оценка не бесспорна: человек решительный и пылкий, Бомарше мог потребовать возврата украденных луидоров, не думая о далеких последствиях. Счет деньгам он знал, а в дни финансового краха, после проигрыша тяжбы с Лаблашем, тем более странно было бы бросать на ветер 360 франков. Если бы между 21 апреля и 6 мая 1773 г. (то есть до выхода Бомарше из заключения) мадам Гезман вернула эти деньги, как она ранее вернула прочие подношения, — скандала могло бы и не быть. Так или иначе идея Гранделя о внутреннем переломе, пережитом Бомарше весной 1773 г., остается интересной гипотезой.

И еще одна нетрадиционная трактовка, прямо обусловленная исходной позицией автора. Речь идет о самом загадочном из известных нам эпизодов жизни Бомарше: поездке в Англию, Голландию, Герма-

нию и Австрию в июле — августе 1774 г. с целью предотвратить публикацию памфлета «Предуведомление испанской ветви...», направленного против молодой французской королевы Марии-Антуанетты (глава «Господин де Ронак»). Документальные данные об этой поездке настолько противоречат друг другу, что каждый биограф вынужден довольствоваться гипотезами. Если отвлечься от деталей, все версии сведутся к трем: 1) начиная с самого возникновения памфлета вся история была спланирована и разыграна Бомарше, чтобы выслужиться перед Людовиком XVI и добиться реабилитации; 2) выдумка Бомарше начинается с сообщения о «бегстве» издателя памфлета из Амстердама в Нюрнберг; 3) выдумка Бомарше — встреча с разбойниками в лесу Лейхтенгольц под Нейштадтом, а все остальное — правда.

В любой из трех версий эта история остается главной статьей обвинения Бомарше вплоть до наших дней. Естественно, позиция Гранделя требовала здесь пересмотра устоявшихся взглядов. Грандель стал, кажется, первым после Гюдена де ла Бренельри биографом Бомарше, склонным до конца верить рассказам своего героя. Решающих доказательств нет, поэтому и мнение Гранделя оказывается гипотезой среди прочих, однако автор должен был как-то обосновать свой отказ учитывать документы, ставящие искренность Бомарше под сомнение. Такие документы известны лишь для случая с пресловутым «нападением разбойников». Это показания ехавшего вместе с Бомарше почтаря Драца и показания самого Бомарше, данные им чиновнику нюрнбергской почтовой службы фон Фецеру. В них Бомарше первый и единственный раз отождествляет разбойников с издателями искомого памфлета, причем человек, неизменно выступавший до сих пор как одно лицо с двумя фамилиями (Анжелуччи и Аткинсон), внезапно превращается в двух разных людей, приметы которых Бомарше перечисляет с немыслимой детальностью. Странности в показаниях Бомарше Грандель объясняет языковым барьером, а показания Драца отвергает из-за явной личной заинтересованности свидетеля.

Следует, однако, заметить: хотя Грандель и обещает не умалчивать о компрометирующих Бомарше обстоятельствах, он фактически обходит молчанием рассказ Драца, тем самым несколько затемняя картину в глазах читателя. Ведь почтарь не просто сказал: «Может, он и порезался-то собственной бритвой», как это выглядит в пересказе Гранделя. Драц утверждал, что в лесу Бомарше вылез из коляски, захватив с собой бритву. Драц решил, что путешественник захотел побриться на дороге; но почтарь был готов к любым причудам, поскольку считал Бомарше англичанином. Бомарше якобы скрылся в лесу, а через полчаса появился окровавленный и заявил, что стал жертвой разбойников, ни одного из которых Драц не видел и не слышал. Сам же Бомарше в своих рассказах никогда не упоминал ни о какой бритве и утверждал, что один из разбойников перебежал дорогу рядом с коляской. Несовпадение версий Бомарше и Драца; полная беззвучность происшествия (ни криков, ни выстрелов); странные показания Бомарше в Нюрнберге; наконец, неправдоподобный рассказ Гюдена в мемуарах (подкрепляемый, кажется,

словами Бомарше в рапорте Сартину) о двух столкновениях Бомарше в Нейштадтском лесу, сперва с Анжелуччи, а потом с разбойниками, — все эти несообразности заставляют и сегодня подавляющее большинство историков считать эпизод с разбойниками выдумкой Бомарше, направленной на то, чтобы завоевать симпатию и признательность австрийской императрицы Марии-Терезии, а через нее и французской королевской четы. Приврать монархам Бомарше был в принципе способен — об этом свидетельствуют хотя бы две его достаточно невинные «ошибки в хронологии»: в 1762 г., домогаясь места главного лесничего, он писал Людовику XV, что Карон-старший полностью оставил ремесло часовщика шесть лет тому назад (на самом же деле не прошло еще и года), а в 1774 г. он писал Людовику XVI, что австрийцы продержали его под арестом «31 день, или 44 640 минут» (на самом деле — 26 дней).

Как видим, гранделевское понимание Бомарше обеспечивает новизну освещения многих важных эпизодов жизни героя, но в последнем из разобранных случаев интерпретация уже балансирует на грани возможного. Мы начали с того, что автор иногда отказывается от новизны во имя продуманности, но случается и так, что он жертвует продуманностью ради новизны. Так бывает, например, когда Грандель стремится оградить Бомарше от традиционных упреков. Главный упрек (связанный с нейштадтским приключением) Грандель попытался снять, закрыв глаза (свои и читателя) на показания почтальона и на сбивчивость рассказов Бомарше о последней встрече с Анжелуччи (ссылка на языковой барьер, конечно, не может объяснить всего). Другой традиционный упрек — в некорректных методах ведения полемики — был предъявлен Бомарше в связи с делом Гезмана; этот упрек высказывал даже доброжелательный Лагарп. Тут Грандель оправдывает своего героя с помощью смелого афоризма: «Истинное мерило благородства — чувство неловкости, которое человек испытывает, совершая неблаговидный поступок».

Чрезмерная увлеченность новой идеей сказывается и в попытках Гранделя повысить политическую значимость Бомарше как правительственного агента. По мнению автора, все заграничные поездки Бомарше имели «двойное дно», о котором мы ничего не знаем. Успех этих тайных миссий и определял, как кажется Гранделю, неизменное доверие правительственных верхов к Бомарше. Разумеется, автор имеет право на гипотезу, но в увлечении своем не должен пренебрегать фактами. Между тем Грандель словно забывает некоторые факты биографии Бомарше — прежде всего, итоги его испанского путешествия 1764—1765 гг. Грандель высказывает предположение, что «все началось в Испании». «К моменту возвращения в Париж положение нашего героя не только не пошатнулось, но, напротив, упрочилось — как в глазах Пари-Дюверне, так и в глазах правительства», — пишет он в другом месте. Этот тезис, вопреки прямому обещанию автора, так и не получает ни одного конкретного подтверждения. Зато Грандель считает несущественным провал всех известных нам испанских начинаний Бомарше и вовсе не упо-

минает резолюцию, которую наложил на рапорт Бомарше министр иностранных дел герцог де Шуазель, изображаемый автором как покровитель Бомарше. Резолюция гласила: «Никогда не использовать этого человека, особенно в Испании».

Вообще, 1760-е годы — наименее удавшаяся Гранделю часть биографии Бомарше. Это также связано с позицией автора. Для Гранделя Бомарше — бунтарь и герой, а в 60-е годы он таковым не предстает. «Бомарше создали Гезманы», — пишет Грандель; то, что было до Гезманов, ему не столь интересно. 1760-е годы в его книге — это живо написанная хроника, отражающая в большей мере внешнюю канву событий, чем их внутреннюю соотнесенность. Здесь появляются легкие, но необязательные формулировки, например: «Чтобы забыть об этой обиде <...> Бомарше <...> стал лесником». На самом деле Бомарше купил Шинонский лес, конечно, не затем, чтобы забыть о неверности возлюбленной, а затем, чтобы обрести для себя и для семьи надежный источник дохода после ряда коммерческих неудач.

Между тем 1760-е годы — важнейший период становления личности Бомарше. Именно в этот период определяются все пути, которыми пойдет его дальнейшая жизнь, окончательно обрисовываются мироотношение и система ценностей. Каждый биограф понимает, что знакомство с банкиром Пари-Дюверне, будущим компаньоном и наставником, поездка в Испанию, вхождение в литературу были событиями первостепенной важности в жизни Бомарше, но глубокая реконструкция внутреннего смысла этих событий по-прежнему остается задачей будущего. И дело здесь не только в скудости источников, но и в направленности интересов биографа. Для Гранделя, например, куда важнее проанализировать итоговые, вершинные самопроявления своего героя, чем устанавливать их связь со всеми прочими фактами его жизни, зачастую гораздо менее значительными, а то и вовсе несоотносимыми (по видимости) с его подлинной сутью. На уровне хроники в книге Гранделя присутствует почти вся жизнь Бомарше, на уровне концепции — далеко не вся. Но это обусловлено не творческой слабостью автора (которую Грандель признает возможной), а уязвимостью избранной им позиции (чего Грандель не признает).

Скрытый драматизм книги Гранделя как раз и состоит в том, что автор, стремясь пробиться к более глубокому пониманию личности героя, отвергая предрассудки и шаблоны восприятия, сам в какую-то минуту преграждает себе путь к цели. Причина — чрезмерная зависимость авторского взгляда от антитезы «клевета — реабилитация». Поскольку отстраненность от Бомарше и клевета на Бомарше почти равны для Гранделя, непредвзято-аналитическое отношение к герою крайне затруднено. Борьба с клеветой заставляет усматривать в любой неоднозначности героя компрометирующий материал, который может быть использован клеветниками. Поэтому психологическая сложность героя либо признается скороговоркой, либо отрицается как злонамеренный домысел, но редко анализируется с должной исторической глубиной. Из самых благих побуж-

дений Грандель хочет превратить Бомарше в предмет безоговорочного почитания, парадоксальным образом воскрешая в сегодняшних условиях позицию «викторианского биографа». Желая противостоять клевете, автор на деле порой противоречит самой природе современной биографии как жанра, основой которого является, конечно, не клевета, но проблемность.

Никто не запрещает нам помечтать и представить себе некую новую биографию Бомарше, основанную на сопоставлении жизненного пути Бомарше со всем спектром вариантов построения жизни в ту эпоху, привлекающую новый материал для историко-психологических реконструкций, выясняющую характер воздействия на жизнь Бомарше некоторых художественных образцов (например, романов Лесажа, Мариво и Ричардсона), подробно прослеживающую все сквозные темы и мотивы жизни Бомарше — как социально-типические, так и индивидуально-неповторимые...

Но, в ожидании такой биографии, останемся благодарны Фредерику Гранделю. Его книга позволяет нам соприкоснуться с жизнью Бомарше и задуматься об этой жизни. Что же касается авторской позиции, то в ней есть одно неоценимое качество, сближающее автора с героем: Грандель идет против течения. На этом пути почетны как успехи, так и неудачи. Пройдя до конца путь «реабилитации Бомарше», Грандель приближает нас к новому взгляду на героя. Пройдя до конца путь «похвального жизнеописания», он приближает нас к лучшему пониманию границ и возможностей современной биографии.

С. Козлов

Посвящается Эрве Бромберже

Вот необычайное стечение обстоятельств!
Как все это произошло?[1]

ПРЕДИСЛОВИЕ

«...Вот необычайное стечение обстоятельств! Как все это произошло? Почему случилось именно это, а не что-нибудь другое? Кто обрушил все эти события на мою голову? Я должен был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не желая, и я усыпал ее цветами настолько, насколько мне это позволяла моя веселость. Я говорю: *моя* веселость, а между тем в точности мне неизвестно, больше ли она моя, чем все остальное, и что такое, наконец, «я», которому уделяется мною так много внимания...» (в первой редакции Бомарше написал: «...которому уделяется мною так много *пренебрежительного* внимания»).

Все биографы Бомарше — а я не последний, кто завербуется в этот легион, — с полным основанием видят в монологе Фигаро поразительное резюме жизни его создателя. Мы позволили себе пространную цитату и не преминем вернуться к этому тексту еще не раз, поскольку он представляется нам чрезвычайно важным. Но мало процитировать, нужно еще *прочесть.*

Из всех французских писателей у Бомарше, пожалуй, самая дурная слава. Не так давно один известный университетский профессор, с которым я поделился своим замыслом, сказал мне примерно следующее: «Напрасно вы интересуетесь этим субъектом, он — низкий человек».

Что до клеветы, у нас во Франции «по этой части есть такие ловкачи...» Странней всего, что биографам Бомарше, в том числе и тем, которые его действительно любили, так и не удалось разрушить легенду, а может, они и не отважились положить ей конец. Или легенда упрямей фактов? Инстинктивно — такова уж черта нашего национального характера — мы ищем дерево, за которым не видно леса, а если такое не находится, мы его сажаем и ревностно заботимся, чтобы оно выросло и изменило пейзаж. На малой земле французской литературы нет недостатка в отменных садовниках такого рода. Интерес, который клеветники не устают питать к Бомарше, пропорционален, возможно, его презрению к ним. Ничто не меняется под солнцем в мире литературы, нравы этого сераля установлены раз и навсегда.

---

[1] Все цитаты из трилогии Бомарше даются в переводе Н. Любимова по изданию: Бомарше. Драматические произведения: Мемуары. М., 1971.

В чем только не обвиняли Бомарше! Каких только преступлений ему не приписывали, пусть он даже и не отравил своих жен. Кого только он не обворовал? Или не предал? И чем, скажите, он занимался в то время, когда бедняга Гюден, его верный «негр», писал за него «Севильского цирюльника»? Поищем же хорошую сторону этой мерзкой натуры, иголку в стоге сена, короче, грех, в котором он неповинен. Я уже приготовился, довольный собой, написать слово «содомия», да вовремя припомнил шевалье д'Эона.

Все ложь, но подозрение остается. Неприятный душок. Я ощутил его во всех книгах, посвященных, если можно так выразиться, Бомарше. Да, разумеется, в основном справедливость по отношению к нему восстановлена. Но некоторым адвокатам дело Бомарше, должно быть, показалось слишком изнурительным, коль скоро они не довели его защиту до конца. Смыв основную грязь, они сочли за благо не касаться мелких пятнышек, уж не для того ли, чтобы все выглядело «более естественно», как знать? Например, хищничество Бомарше, его неуемное стяжательство. В этом конкретном — капитальном, как следовало бы выразиться — пункте позиция всех исследователей Бомарше, похоже, не подлежит пересмотру. Разве он не был крупным дельцом? И т. д. Остановимся на минуту. Отрицая эту очевидность, уж не теряю ли я с места в карьер всякую объективность, не пишу ли как автор, влюбленный в своего героя? И, следовательно, ослепленный! Не пойду ли я на уступки хоть в этом пустяке, не признаю ли, что прибыль и вправду была его главной целью, деньги — его страстью? Нет. Поскольку, согласившись с этим, я вынужден был бы обойти молчанием дело его жизни — борьбу за независимость Соединенных Штатов Америки.

Ведь именно тут он якобы показал себя человеком корыстолюбивым, можно сказать, опьяненным возможностью ворочать миллионами. Но что им руководило — жажда наживы или глубокое убеждение? Или же — посмотрим трезво — необходимость заработать на жизнь? И защитить свои идеи? Вот — не так ли? — главный вопрос. Я выбрал этот пример — есть и другие, но преимущество этого в его наглядности. Если вести этот процесс честно, ответ должен быть ясен. Существуют три возможных приговора, четвертого не дано: невиновен, виновен или виновен, но со смягчающими обстоятельствами. Так вот, насколько мне известно, ни один суд еще не вынес оправдательного приговора. Удивлю ли я кого-нибудь, добавив, что большинство склонялось к смягчающим обстоятельствам? Мы же понимаем! Всякому, кто старше пяти лет, известно, что человек двойствен, что в металле, из которого он отлит, есть всякие примеси. Прекрасно. Но действительно ли двойственность — ключ ко всем нашим поступкам? Неужели мы так уж никогда и не монолитны, так уж никогда не невинны? Полно! Вернемся к фактам. В данном случае они сокрушающи. Для обвинения. Все непреложно подтверждает, что в этом существеннейшем для его жизни деле Бомарше ни одного дня не руководствовался собственными интересами и, напротив, пожертвовал своим состоянием, довольно солидным, во имя своих идей. И все же, повторяю: только смягчающие обстоятельства, которые не

снимают сомнений. Думаете, я преувеличиваю? Возьмем Андре Моруа, человека по натуре мягкого и умеренного, о котором мне никогда не доводилось слышать, чтоб он выступил как лжесвидетель или проявил склонность к доносительству. Что же пишет он в своей «Истории Соединенных Штатов»? «В Лондоне Бомарше познакомился с одним американцем, Артуром Ли, который рассказал ему о нуждах своих соотечественников и о том, с какой легкостью эта страна может оплатить табаком и другими товарами то, что она закупит. Артур Ли был любитель приврать, но Бомарше, не знавший этого, тотчас углядел возможность комбинаций, которые принесут ему славу и доход». Пожалуйста — материал для обвинения! Десятью строками дальше Андре Моруа пишет как ни в чем не бывало: «... [Бомарше] проявил невиданную активность, он поставил американцам военное снаряжение, достаточное для экипировки двадцати пяти тысяч человек, за что ему так никогда и не было уплачено. Недоразумение так и не разъяснилось при жизни Бомарше, он умер в нищете...» Вот — смягчающие обстоятельства! Я докажу с помощью документов, давно опубликованных и вполне доступных любому историку, что действия Бомарше были продиктованы исключительно политическими мотивами и что он как человек истинно благородный всегда ставил честь выше прибыли. Ну и что?

А то, что Фигаро — лакей! А то, что Бомарше — драматург, вдобавок драматург, который смешит! А то, что он повсюду сует свой нос! Так мы, во Франции, говорим о людях многосторонних. Лакей, комический писатель, суется во все — тут попахивает шельмой! Великое дело, что этот шельма противостоял королям и министрам, не опустил головы перед Комитетом общественного спасения, решившим его обезглавить, великое дело, что этот лакей послужил Франции не хуже Верженна, великое дело, что этот комик шесть раз попадал в тюрьму за свою любовь к истине, великое дело, что этот человек, повсюду совавший свой нос, совался в некоторые вещи не менее успешно, чем Леонардо да Винчи, он ведь «авантюрист», «низкий человек»!

Я не уверен, что смогу вас убедить. Это дело везения или таланта. Но если даже меня постигнет неудача, поверьте, можно написать прекраснейшую книгу о Бомарше, который был отнюдь не таким, как о нем говорят. И не таким, как он говорил о себе сам, поскольку был человеком веселым и не принимал себя всерьез.

1
НЕИЗВЕСТНО ЧЕЙ СЫН

> Какая у меня, однако, необыкновенная судьба!
> Неизвестно чей сын...

Со времени отмены Нантского эдикта протестанты были во Франции вне закона. Они не имели права вступать в брак, и дети, произведенные ими на свет, жили и умирали незаконными. Им был закрыт доступ к большинству ремесел, в частности к тем, которые зависели от цехов. К примеру, протестант не мог быть часовщиком.

Чтобы обеспечить себе права гражданского состояния, основать семью, спокойно заниматься ремеслом, кальвинисту приходилось подчиниться закону и, следовательно, отречься от своей веры. Эмигрировать, погибнуть или притворяться — таков был выбор. Если для того чтобы покинуть родину, требовались материальные средства, чтобы покончить с собой — душевные силы, то притворство или приспособление были доступны большинству. Когда нужно накормить детей и дать им имя, иными словами, обеспечить им возможность выжить, отец, поверьте, редко колеблется.

«7 марта 1721 года я дал клятву отринуть кальвинистскую ересь. Париж, церковь Новых Католиков.

Андре-Шарль Карон».

С этой бумагой в кармане отец Бомарше, которому было двадцать три года, получил возможность оставить армию — он был драгуном, — обвенчаться с некой девицей Пишон, произвести на свет законных детей и открыть на улице Сен-Дени мастерскую, где в дальнейшем он проявил свои дарования и делал часы, как был научен своим отцом, владельцем часовой мастерской в Лизи-сюр-Урк, неподалеку от Мо.

Все это кажется куда как просто и легко — на бумаге. Но кто и когда отрекался под угрозой от своей веры или убеждений не притворно? За личиной, навязанной извне, лицо нередко остается прежним.

7 марта 1721 года Андре-Шарль Карон сознательно смошенничал. Это было известно ему и станет известно его детям, как только они достигнут возраста, когда человек способен понять и возмутиться. К чему же в таком случае соблюдать законность? И стоит ли придавать цену гражданскому состоянию, полученному подобной ценой? Стоит ли держаться за имя Карон? Чем оно лучше Ронака? Или Бомарше?

Можно ли уважать, принимать всерьез такое общество, такую систему, которая вынуждает разумных людей жить во лжи? И раз

уж все равно приходится лавировать, разве не соблазнительно поставить на карту самою жизнь, не теряя ни на минуту душевного веселья, иными словами — не позволить себя провести? Бомарше, как мы увидим, понял это очень рано. Он носил маску, но необходимость кем-то казаться никогда не мешала ему оставаться самим собой, даже напротив. Среди писателей XVIII века Бомарше, вне всяких сомнений, *протестовал* больше всех. Будем справедливы, одарен для этого он был щедро.

Я считаю необходимым с самого начала заверить читателя, что отнюдь не выдумываю некоего Бомарше, удобного для моих целей, и именно поэтому должен уточнить: на рабочем столе нашего героя всегда лежала папка с документами о «Гражданском состоянии протестантов во Франции», и на протяжении всей своей жизни он не переставал бороться за смягчение судьбы меньшинств, как религиозных, так и расовых. Бомарше никогда не забывал, что, не послушавь его отец, он родился бы неизвестно чьим сыном.

И если на его счет обманывались и продолжают обманываться по сей день, причина в том, что ему никогда не изменяло веселье. Но разве веселье не извечное прибежище угнетенных? Когда опускалась ночь, немецкую солдатню поражали смех и пенье за закрытыми ставнями варшавского гетто. Невзгоды учат ценить комизм и юмор. Тому, кому лишь случайно, вопреки норме, удалось выжить, проскользнув сквозь сеть или отрекшись от веры, поневоле приходится, если он задумается, увидеть смехотворность жизни. Чтобы принимать себя всерьез, нужно, вероятно, не пережить ничего серьезного.

Пьер-Огюстен Карон родился 24 января 1732 года, если не ошибаюсь, под знаком Водолея, в самом жизнерадостном из домов на улице Сен-Дени. Андре-Шарль, отец мальчика, был человеком незаурядным. По письмам можно судить о его уме, широте знаний и неунывающем характере. Родись он дворянином, карьера была бы ему обеспечена. Одаренный от природы, он был любознателен, как позднее его сын, и интересовался вещами самыми неожиданными, например, драгами. Нам известно, что он направил записку о них мадридскому губернатору, своему другу. У этого скромного часовщика были связи в высших слоях общества, хотя он и не искал их. Кароны никогда не проходили незамеченными. Таких не часто встретишь. В вечерние часы, после закрытия лавки, в доме на улице Сен-Дени читают вслух стихи, упиваются новыми английскими романами, музицируют. Семья Каронов — театральная труппа, камерный оркестр. Так будет всегда. Я убежден, что удивительная спаянность, единство этой семьи уходят корнями в те концерты и спектакли, которые вечер за вечером разыгрывались в домашнем кругу над часовой мастерской. Для истории семьи общность вкусов важнее, чем кровные связи. Впрочем, XVIII век чтит семью — и на полотнах Грёза и в книгах Дидро. Людям, которые судят о веке Просвещения поспешно и знают, что такое семья в наши дни, тут есть чему подивиться! Приходится признать, что в эпоху энциклопедистов семья

играла подрывную роль. Революция 1789 года родилась не на улице, но в буржуазных салонах, в долгие послеполуденные часы. Не будем выносить окончательных суждений, глядя на все нашими сегодняшними глазами или исходя из внушенных нам идей. Молодежь, которой предстоит совершить революцию, пока еще не читает Маркса или Энгельса в квартирах Санкт-Петербурга, она готовится изменить мир, играя на виоле или открывая для себя последнее произведение Ричардсона, к примеру, в доме на улице Сен-Дени.

В «труппе» Каронов было восемь человек. Не считая отца, который был ее вдохновителем, и матери, Марии-Луизы, о которой скажем только, что она умно исполняла роль статистки, в эту труппу входило шестеро детей — пять дочерей и Пьер-Огюстен. Четверо других умерло во младенчестве, дабы соблюсти обычную для этой эпохи пропорцию. Сестры, пусть и не в равной мере каждая из пяти, сыграли в жизни Бомарше роль ничуть не менее значительную, чем его возлюбленные, как законные жены, так и героини мимолетных увлечений. Поэтому нам следует назвать их, соблюдая порядок старшинства: Мария-Жозефа, Мария-Луиза, Мадлена-Франсуаза, Мария-Жюли — по духу самая близкая Пьеру-Огюстену — и Жанна-Маргарита — все имена как нельзя более католические; после своего отречения от ереси папаша Карон, если мне будет позволено так выразиться, удвоил пыл. Но в семейном обиходе все эти Марии именовались куда короче — дама Гильберт, Лизетта, Фаншон, Бекасс и Тонтон.

Иногда случается, что мальчики, выросшие в женском окружении многочисленных сестер, кузин и служанок, созрев, отворачиваются от слабого пола. С Пьером-Огюстеном этого не произошло. Уже тринадцати лет он записывает с неподражаемой серьезностью: «Мне кажется, что друг иного пола никогда не перестанет наполнять очарованием мою частную жизнь». В тот же год наш Керубино находит желанного друга, но его «безумная любовь», посмеиваясь над «молокососом», бросает Пьера-Огюстена, чтобы разумно и благопристойно вступить в брак. Пьер-Огюстен в отчаянии сделает даже попытку покончить с собой. Этот опыт безответной и ранней любви, о котором он вспомнит перед смертью, наложит отпечаток на Бомарше и закалит его сердце. Отныне он уже не потерпит над собой власти женщин. Конечно, он будет сходить по ним с ума, но его душой им уже никогда не завладеть. Впрочем, как мы только что намекнули, всего сильней он будет любить свою сестру Жюли. Любовь взаимная, до гроба, и ее благородство, чистота, я бы даже сказал — естественность, глубоко волнующи. Жюли так и не выйдет замуж, отвергая самых завидных претендентов, хотя отнюдь не отказываясь от связей; Пьер-Огюстен даст ей свое имя. Для мира она всегда останется девицей де Бомарше. Но я забегаю вперед, вернемся к началу.

С шести до тринадцати лет Пьер-Огюстен обучался французскому, истории и латыни в коллеже Альфора. Он принял первое причастие, похоже, против своего желания, подчиняясь отцу, который знал цену соблюдению внешнего декорума. Был ли Пьер-Огюстен агностиком? Конечно. Но широта взглядов уже тогда побуждала его

взвешивать все «за» и «против» в этой области, как и во всех остальных. И нередко он удирал на целый день с улицы Сен-Дени, чтобы заниматься со старым монахом, у которого хватало ума подслащать свою науку пирожными и шоколадом. «Я бегал к нему, — пишет Бомарше, — каждый свободный день».

В остальные он работал в отцовской мастерской. Господин Карон, отличный часовщик, известность которого все возрастала, разумеется, полагал, что сын продолжит семейную традицию. Сочтя, что к тринадцати годам Пьер-Огюстен достаточно понаторел в латыни и что держать в узде этого и впрямь слишком прыткого жеребенка будет удобнее, если тот окажется у него под рукой, отец сделал мальчика своим подмастерьем. Несколько лет Бомарше учился измерять время, тем самым учась точности, терпению и механике. Об этом периоде его жизни, вне всякого сомнения определяющем, нам известно очень мало, всего несколько анекдотов, не свидетельствующих ни об усидчивости, ни об усердии в работе. Мелкие кражи, шалопайство, случайные связи и, как говорится, дурное общество. Не считая страсти к музыке, до того им овладевшей, что отец, желая отвратить Пьера-Огюстена от столь легкомысленных занятий, принял самые суровые меры. Учитывая все эти похождения, в подлинности которых не приходится усомниться, мы склонны заключить, что в юности Бомарше вел весьма рассеянный образ жизни. Однако поразительный договор, заключенный между отцом и сыном, в то время четырнадцатилетним, напротив, показывает, сколько строги были правила, которым он подчинился:

«1. Вы ничего не изготовите, не продадите, не поручите изготовить или продать, прямо или через посредников, не занеся этого в мои книги, не поддадитесь отныне соблазну присвоить какую-либо, пусть даже самую ничтожную, вещь из мне принадлежащих, кроме тех, что я вам дам самолично; ни под каким предлогом и ни для какого друга вы не примете без моего ведома в отделку или для иных работ никаких часов; не получите платы ни за какую работу без моего особого разрешения, не продадите даже старого ключа от часов, не отчитавшись передо мой. Эта статья столь важна, и я так дорожу ее неукоснительным исполнением, что предупреждаю — при малейшем ее нарушении, в каком бы состоянии вы ни были, в каком бы часу это ни приключилось, вы будете изгнаны из дому без всякой надежды на возвращение, пока я жив.

2. Летом вы будете вставать в шесть часов, зимой — в семь; работать до ужина, не выказывая отвращения к тому, что я вам поручу; под этим я понимаю, что вы употребите таланты, данные вам богом, исключительно на то, чтобы прославиться в вашем ремесле. Помните, вам стыдно и бесчестно ползти в нашем деле, и если вы не станете в нем первым, вы недостойны уважения; любовь к этому столь прекрасному ремеслу должна войти в ваше сердце и безраздельно поглотить ваш ум.

3. Отныне вы не станете ужинать вне дома и по вечерам ходить в гости; ужины и прогулки для вас слишком опасны; но я дозволяю вам обедать у друзей по воскресеньям и праздничным дням, при ус-

ловии, однако, что всегда буду поставлен в известность, к кому именно вы пошли, и не позднее девяти часов вы неукоснительно будете дома. Отныне я запрещаю вам даже обращаться ко мне за разрешением, идущим вразрез с этой статьей, и не рекомендовал бы вам принимать подобные решения самовольно.

4. Вы полностью прекратите ваши злосчастные занятия музыкой и, главное, общение с молодыми людьми, этого я совершенно не потерплю. То и другое вас загубило. Однако из снисхождения к нашей слабости я разрешаю вам играть на виоле и флейте при непременном условии, что вы воспользуетесь моим дозволением лишь после ужина по будним дням и никоим образом не в рабочие часы, причем ваша игра не должна мешать отдыху соседей или моему.

5. Я постараюсь по возможности не давать вам поручений в город, но, буде я окажусь вынужден к тому моими делами, запомните хорошенько, что никаких лживых извинений за опоздание я не приму: вам уже известно, как гневаюсь я в таком случае.

6. Вы будете получать от меня стол и восемнадцать ливров в месяц, кои пойдут на ваше содержание, а также, как это уже было мною заведено, на мелкие расходы по покупке недорогого инструмента, в которые я не намерен входить, и, наконец, на то, чтобы постепенно выплатить ваши долги; было бы чересчур опасно для вашего характера и весьма неприлично для меня выплачивать вам пенсион и считаться с вами за сделанную работу. Если вы посвятите себя, как то велит ваш долг, расширению моей клиентуры и получите какие-либо заказы благодаря вашим талантам, я стану выделять вам четвертую часть дохода со всего поступившего по вашим каналам; вам известен мой образ мыслей, и вы знаете по опыту, что я никому не позволю превзойти себя в щедрости; заслужите же, чтобы я сделал вам больше добра, чем обещаю; но помните, на слово я не дам ничего, отныне я желаю знать только дела.

Ежели мои условия вам подходят, ежели вы чувствуете в себе достаточно сил, чтобы добросовестно выполнить их, примите и подпишите...»

Пьер-Огюстен подписал договор и сдержал слово. В двадцать лет он был первым часовщиком Франции; и, возможно, по сей день остается самым великим часовщиком всех времен. Не входя в тайны этого ремесла — чтобы их постигнуть, нужно иметь швейцарскую душу, — я позволю себе все же напомнить, что оно требует долгого и нелегкого ученичества. Зато теперь Пьер-Огюстен по ночам не просто предавался рассеянному образу жизни, он срывался с цепи. Вообразите, что значит для юноши, полного сил и «пылкого в наслаждениях», двенадцать часов на табурете, с напильником в руке, со взором, прикованным к крохотному механизму. А рядом — все соблазны улицы, видимой и притягательной, более видимой и более притягательной, чем во всякой другой мастерской, так как часовщики по закону и под угрозой закрытия лавки обязаны работать на виду у всех; цех ювелиров добился от властей этого кабального указа, дабы получить гарантию, что их соперники часовщики не работают с драгоценными металлами. Посему свет в лавку господина Карона

льется через четыре широких окна. Пьеру-Огюстену достаточно поднять глаза, чтобы видеть и грезить. У меня нет никаких доказательств, но я убежден, что поднимал их он, однако, куда реже, чем принято думать.

В 1753 году были, конечно, часы стенные и карманные, но точного времени они не показывали. Куда там! Все часовщики Европы отчаянно искали, как добиться равномерного хода колесиков, и некоторые считали, что никаких улучшений тут вообще ждать не приходится. В Версале и Париже, равно как и в Лондоне, вельможи и простолюдины жили, отмеряя время с точностью примерно до получаса. Бомарше дал себе клятву свести эти полчаса к нулю и добился своего. В часах, которые вы носите на запястье, есть «спуск» Бомарше. Открытие, выдержавшее два столетия и совершившее революцию в ремесле, насчитывающем уже пять столетий, нельзя считать ничтожным. Я так настаиваю на этом пункте потому, что мне он представляется характерным. Большинство авторов, как мне кажется, глядят на изобретение Бомарше сверху вниз. Гениального механика превращают в умельца, фокусника, часовых дел Фигаро. Нам в наших оценках тоже не повредил бы «спуск», ибо они зачастую недостаточно точны.

Вот мне и хочется во что бы то ни стало показать вам Бомарше «по точному времени».

И все же один человек сразу принял Пьера-Огюстена всерьез. Звали его Жан-Андре Лепот, и был он королевским часовщиком, а в те времена это значило немало. Скажем для простоты, что Лепот, не без помощи снобов, задавал время Версалю и богатым кварталам Парижа. Как раз в 1753 году он изготовил для Люксембургского дворца первые горизонтальные стенные часы, наделавшие много шуму. Сей видный персонаж не утратил с возрастом любознательности и непрочь был заглянуть в лавки коллег. Случалось ему почтить своим присутствием и мастерскую на улице Сен-Дени, добрая слава которой непрерывно росла. Во время одного из таких посещений он и познакомился с Пьером-Огюстеном, подмастерьем, и, глядя с интересом, хотя и не без некоторой снисходительности, на его работу, королевский часовщик догадался, чего тот доискивается. Значит, этот мальчишка, надо сказать, очаровательный и забавный, упрямо стремится разрешить квадратуру круга часовщиков! Они поболтали, большая стрелка слушала маленькую. И Лепот открыл — или раскусил — Бомарше. Надо отдать этому человеку должное: пусть он и был плутом, это не помешало ему оказаться наблюдательным и достаточно скромным, чтоб допустить, что фантазия у юнца, возможно, богаче, нежели у него, великого, неподражаемого, прославленного Лепота. Он зачастил в мастерскую и все внимательнее присматривался к Карону-сыну. Польщенный часовщик с легко понятным восторгом принимал у себя уважаемого коллегу, а подмастерье, также польщенный, втягивался в игру и открывал знаменитому Лепоту один за другим свои секреты. Этот последний, зная механику, все мигом смекнул. Провели сравнение,

как сказали бы ныне, проверочные испытания. Уложенные в футляры, опечатанные и открытые двумя днями позже, часы Пьера-Огюстена показывали точное время плюс-минус минута; часы Лепота, подвергнутые тому же испытанию, при сравнении с часами соперника выглядели испорченными. Но и тут Лепот вел себя скорее как хитрец, чем как завистник. Он не только не скорчил брезгливую гримасу, но поздравил и обласкал юношу. Пьер-Огюстен, для которого это было крещенье огнем, попался на удочку и в один прекрасный день дал гроссмейстеру королевского времени один из своих спусков. Вор — ибо тот был вором — бросился домой, не теряя ни минуты.

Вскоре «Меркюр де Франс», выполнявшая одновременно роль «Журналь офисьель», «Монд» и научной газеты того века, опубликовала следующую заметку: «Господин Лепот представил недавно его величеству часы, только что им сделанные, главное достоинство которых заключается в спуске...»

В ту минуту, когда Карон-сын дочитал это сообщение, он и превратился в Бомарше.

Спуск, описанный в «Меркюр де Франс», был точь-в-точь спуском Пьера-Огюстена, Лепот даже не счел нужным изменить хоть одну из характеристик механизма, чтобы приписать себе отцовство, как это сделали бы сегодня. Чему тут удивляться! Разве мог один из великих мира сего, версальский завсегдатай, часовщик, известный всей Европе, опасаться протеста какого-то никому не ведомого подмастерья, отцу которого он покровительствовал? Разве не было честью для этого мальчишки уж и то, что он, Лепот, присвоил его изобретение? Он поступил бы точно так же, осени гениальная мысль не Карона-сына, а одного из работников его собственной мастерской. Короче, Лепот спал спокойно. Достопочтенный член Академии наук не преминул сделать сообщение своим коллегам. «Я нашел способ полностью устранить костылек и контркостылек, состоящий, как известно, из восьми деталей, поместив один из стержней в личинку стойки, что предохраняет спуск от опрокидывания, зацепки и т. д.» Одним словом, великое открытие.

Две недели спустя «Меркюр де Франс» опубликовала на своих полосах наделавшее немало шума письмо некоего юного читателя. Всем, кто с первых страниц этой книги хочет познакомиться с подлинным Бомарше, следует внимательно прочесть это послание:

«В Париже, 15 ноября 1753 года.

С неописуемым удивлением я прочел, сударь, в вашем номере от сентября 1753 года, что г-н Лепот, часовщик Люксембургского дворца, сообщает, как о своем изобретении, о новом спуске для стенных и карманных часов, который он, по его словам, имел честь представить королю и Академии.

Мне слишком важно в интересах истины и моей собственной репутации отстоять свое авторство на изобретение сего механизма, чтобы я мог промолчать по поводу подобной неточности.

Действительно, 23 июля сего года, обрадованный своим открытием, я имел слабость вверить этот спуск г-ну Лепоту, дабы он мог установить его в стенных часах, заказанных ему г-ном де Жюльеном,

причем он заверил меня, что никто не сможет заглянуть внутрь этих часов, поскольку он снабжает их воздушным заводом, придуманным им, и ключ от часов будет только у него.

Мог ли я помыслить, что г-н Лепот сочтет должным присвоить спуск, который, как это видно, я доверил ему под печатью секрета.

Я отнюдь не желаю поразить публику, и в мое намерение не входит перетянуть ее на свою сторону простым изложением событий; я, однако, настоятельно умоляю ее не верить на слово г-ну Лепоту, пока Академия не рассудит наш спор, решив, кто из нас двоих создатель нового спуска. Г-н Лепот, кажется, желает уклониться от разбирательства, заявляя, что его спуск, которого я не видел, ничуть не похож на мой; однако, судя по анонсу, я прихожу к выводу, что принцип действия у него в точности тот же, и если лица, уполномоченные Академией выслушать нас, найдут, несмотря на это, какие-либо различия, оные будут объясняться лишь отдельными пороками конструкции, которые только помогут обнаружить плагиат.

Я не обнародую сейчас своих доказательств; необходимо, чтобы они были представлены уполномоченным Академии в своей первозданной силе; поэтому, что бы ни говорил и ни писал против меня г-н Лепот, я буду хранить неколебимое молчание, пока Академия не составит свое мнение и не произнесет приговор.

Пусть здравомыслящая публика наберется терпения; я рассчитываю, что справедливость и покровительство, неизменно оказываемые ею искусствам, обеспечат мне эту милость. Осмелюсь льстить себя надеждой, сударь, что вы сочтете возможным опубликовать это письмо в вашем следующем выпуске.

Карон-сын, часовщик, улица Сен-Дени,
подле церкви Святой Екатерины».

Думается, я не ошибусь, утверждая, что это письмо было воистину рождением Бомарше. В самом деле, разве здесь уже не сочетаются ум, поразительный в разрешении каверзных проблем, литературный талант и самое блистательное в нашей истории полемическое мастерство? К этим таким разным, но нераздельно слитым в нем дарованиям следовало бы присовокупить мужество, но я пока предпочитаю этого не касаться. Впрочем, мне кажется, что незаурядное мужество Бомарше — мы не раз увидим, как он сражается со смертью, — результат длинной цепи пройденных им испытаний, преодоленных несправедливостей, невзгод; принимаемых с редким достоинством, и ударов, которые он встречал, не покачнувшись. Он выковал себя не в один день. В этом — решающем — письме задор и воинственность Пьера-Огюстена объясняются его молодостью. Истинное мужество придет позже вместе с болью и первой сединой.

Когда человек молод, он может устоять в любых обстоятельствах. В 1753 году Бомарше падение не грозило. Его час пробил, оставались считанные минуты.

Королевская Академия наук встала перед необходимостью разрешить спор между дерзким подмастерьем и одним из наиболее

почтенных своих членов. Для расследования были назначены два уполномоченных, которые вскоре представили пространный доклад о предмете тяжбы. После его чтения и обсуждения 16 февраля 1754 года Академия вынесла свой приговор, не подлежащий пересмотру:

«Выслушав доклад гг. Камю и де Монтиньи, уполномоченных расследовать спор, возникший между господами Кароном и Лепотом в связи со спуском, на изобретение коего оба они притязают, представленный на суд Академии графом де Сен-Флорантеном, Академия пришла 15 февраля сего года к заключению, что истинным создателем нового часового спуска следует считать г-на Карона, г-н же Лепот лишь скопировал изобретение; что спуск для стенных часов, представленный в Академию 4 августа прошлого года г-ном Лепотом, — естественное развитие принципа часового спуска г-на Карона; что сей спуск <...> наиболее совершенный из всех до сих пор применявшихся в часах, хотя в то же время и самый трудный для исполнения <...>

Дано в Париже, 4 марта 1754,
Гран-Жан де Фуши,
Непременный секретарь Королевской Академии наук».

Пробный удар, мастерский удар, нанесенный двадцатидвухлетним Пьером-Огюстеном, — он выиграл свой первый процесс и свою первую битву. И тем самым посягнул на систему, опрокинув своим делом установленный порядок. Слегка обесчещенный и, что еще важней, осмеянный, Лепот вынужден был вскоре уступить свое место и ранг королевского часовщика молодому сопернику.

Первым пожелал иметь часы с анкерным спуском и сделал на них заказ Людовик XV. Спустя несколько дней Карон-сын явился в Версаль и был принят королем, которого позабавила смелость молодого человека.

Пьер-Огюстен, отнюдь не страдавший застенчивостью, не только вручил футляр с часами государю, поблагодарив за похвалу и смущенно залившись краской; он дал понять, что может сделать часы еще меньше и, главное, гораздо более плоские. Надо сказать, с тех пор вкус ничуть не изменился: плоские часы и по сей день в моде. Итак — новый заказ, новый успех. Король был так доволен, что пригласил Пьера-Огюстена к утреннему туалету и приказал ему продемонстрировать свои плоские часы присутствующим вельможам, объяснив им, как они действуют. Честь, редко выпадавшая ремесленнику и тотчас по достоинству оцененная Пьером-Огюстеном. Не пожелает ли каждый из вельмож последовать примеру короля и носить в кармашке для часов изделие Карона? Но им придется стать на очередь, ведь среди заказчиков и г-жа Помпадур, а королевский часовщик не так глуп, чтобы заставить ее ждать.

Г-жа Помпадур пожелала иметь самые маленькие часы. Пьер-Огюстен принес ей перстень. Недовольство, потом восхищение — часы, оказывается, вмонтированы в оправу вместо камня! Людовик XV, которому хочется рассмотреть как следует этот шедевр,

одалживает у «г-на Карона» его лупу и восторженно восклицает: «У них всего четыре линии в диаметре!» И в самом деле! Потом тревожится: «Но где же завод? Вы не забыли о заводе?» Отнюдь нет! «Чтобы завести их на тридцать часов, достаточно повернуть один раз золотую оправу циферблата».

У Пьера-Огюстена повадки фокусника. Стоит ему вынуть из кармана что-нибудь новенькое, и все изумленно ахают. Но не надо заблуждаться, эта магия — плод изнурительных рабочих дней и долгих ночных бдений в отцовской мастерской. И сколько неудач! Молодому часовщику понадобилось четыре года, если не больше, чтоб создать анкерный спуск и стать первым в своем ремесле. Жизнь Бомарше напоминает пресловутый айсберг, значительная часть которого невидима. Если судить о ней по тому, что бросается в глаза, рискуешь сделать грубую ошибку. Это изящество, эта легкость уходят корнями в одинокие и подчас тайные усилия. Идет ли речь об усовершенствовании механизма, об успехе дипломатической миссии или о написании комедии, Бомарше никогда не полагается на удачу, не импровизирует, и, если он подчас пытается убедить нас в противоположном, это игра или кокетство.

И только своим очарованием он не обязан никакой выучке. А не будь этого очарования, его жизнь, вне сомнения, сложилась бы совсем по-иному. Мало удивить Версаль своими плоскими часами, надо еще сохранить право на вход туда, и вскоре даже не с черной лестницы, предназначенной поставщикам. Чтобы отстоять себя здесь, необходимо обладать множеством талантов и необузданным честолюбием. А Бомарше хочет не просто нравиться, он честолюбив, ему нужно быть признанным вопреки случайности происхождения. В такого рода предприятии личное очарование, разумеется, сокращает путь. Но вступит ли на этот путь человек, лишенный смелости? Гюден де ла Бренельри, лучший друг и первый историограф Пьера-Огюстена, оставил нам его портрет, хотя и моментальный, но достаточно красноречивый:

«Едва Бомарше появился в Версале, женщин поразил его высокий рост, гибкость и ладность фигуры, правильность черт, румянец и живость лица, твердость его взгляда и выражение превосходства, казалось, поднимавшее его над окружающими, наконец, тот безотчетный пыл, который одушевлял его в их присутствии».

На мужские круги это «выражение превосходства» воздействует несколько иначе. Мужчины с положением, уже устроившиеся, но с большим трудом выбившиеся в люди, мелкие дворянчики и посредственные умы тотчас стали злобно коситься на новичка, который не только не соблюдал должной дистанции, но и посягал на то, чтобы их обойти. Они поклялись погубить этого неведомо чьего сына.

Пьер-Огюстен принял вызов. И чтобы разыграть эту игру, не соблюдая ее правил, обзавелся дворянскими грамотами.

2

ПОЛОЖЕНИЕ В СВЕТЕ, ВИДНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности — от всего этого не мудрено возгордиться!

На первый взгляд Пьер-Огюстен пока все еще «тот самый, который изобрел спуск». Заказов множество, так что ему и в голову не приходит заняться чем-нибудь другим. Если он и лелеет уже честолюбивые замыслы, то хранит их пока в тайне. Поэтому он, вероятно, совершенно искренен, когда заявляет в письме, планном в «Меркюр де Франс»: «Этот успех побуждает меня остаться часовщиком». На улице Сен-Дени отец и сын, ставшие теперь компаньонами, работают без устали, чтобы удовлетворить ширящуюся клиентуру. Можно ли бросить семью в момент, когда жизнь наконец стала легче и в деньгах нет недостатка? Но рядом Версаль, это не мираж. Принцессам — дочерям короля — тоже нужны часы, а вскоре и сам часовщик, который так хорошо умеет их развлечь, избавить от королевской скуки. Принцессы, заколдованные на всю жизнь злой феей, приговоренные никогда не выходить из своих апартаментов, не замедлят увлечься молодым часовщиком — в его обществе они забывают о томительном времени. Но Пьер-Огюстен, хотя и посещает дворец частенько, не задерживается там, возвращаясь на свой табурет, чтобы работать по десять часов кряду.

Судьба, впервые постучавшаяся в дверь мастерской в лице Лепота, вскоре снова даст знать о себе. На сей раз она стучит в оконное стекло в облике женщины. Пьер-Огюстен машинально подымает глаза и, без сомнения, узнает ее. Не та ли это красивая дама, на которую он обратил внимание в Версале и которая бросила ему хотя и короткий, но многозначительный взгляд? Ну да, конечно, это она. Мадлене-Катрин Франке года тридцать четыре — тридцать пять. По ее письмам, сам не знаю почему, она видится скорее госпожой Бонасье, чем госпожой Бовари. Она пришла починить свои часики. Пьер-Огюстен осматривает их. Да есть ли нужда в починке? Он с первого взгляда все понимает. Тут нужен не часовщик. С годами Керубино приобрел опыт. Он прекрасно разбирается и женщинах и обожает их, но стал куда легкомысленнее, с тех пор как принял решение не отдаваться им всей душой. Мадлена-Катрин, хотя и старше его и, может, уже б состарилась, не пылай в ней этот темный жар, по сравнению с ним — ребенок. Что знает она о жизни и любви, кроме того, чему научил ее супруг, г-н Франке? Ничего или почти ничего. А между тем время убегает, муж скоро умрет, и песок безостановочно осыпается в песочных часах. Г-жа Франке, вероятно, так и ограничилась бы грезами о мимолетности любви, не повстречай она в Версале Пьера-Огюстена. С этой минуты она готова на все, даже броситься на шею юноше. Разве ее визит в

мастерскую с дурацкой просьбой посмотреть часы не означает именно этого? И когда он предлагает принести починенные часы на следующий день к ней домой, на улицу Бурдонне, она в восторге соглашается, ибо ей самой не под силу сделать следующий шаг. Безумье уж и то, что она явилась в эту лавку на улице Сен-Дени. Я не выдумываю — г-жа Франке женщина порядочная и верующая. Приключение внушает ей ужас. Словом, она его жаждет, но яростно ему сопротивляется. В своих первых письмах к Бомарше она бесхитростно, простодушно взывает к небу и провидению. Прирожденный соблазнитель, Пьер-Огюстен изящно включается в эту игру неуступчивой добродетели. Когда г-жа Франке скажет ему: «Мой долг запрещает мне думать о ком-либо, а о Вас — более, чем о любом другом», он ответит в том же тоне: «... когда я думаю о том, что он Ваш муж, что он принадлежит Вам, я могу лишь молча вздыхать и ждать, когда свершится воля божья и мне будет дозволено дать Вам счастье, для коего Вы кажетесь предназначенной». Наше право считать эту переписку смешной, но не будем делать из нее поспешных выводов. Соблазнитель вынужден подчиниться известным правилам, или он не соблазнитель. Напиши Пьер-Огюстен г-же Франке дерзкое письмо, ему не видать бы ее как своих ушей. Кому когда-нибудь удавалось пленить чье-либо сердце и плоть, не льстя природе этого человека? Впрочем, лаская душу Мадлены-Катрин, наш прекрасный часовщик не замедлил найти путь к ее постели.

Так обстоит дело с г-жой Франке. Теперь пришел черед поговорить о ее муже, роль которого в этой истории отнюдь не из последних. Я даже склонен заменить слово «роль» словом «поведение», поскольку оно кажется мне весьма странным. Не будем тянуть. Если я изложу вам ситуацию, вы, полагаю, изумитесь: Пьер-Огюстен Франке, владелец земель в Бомарше, был контролером королевской трапезы. Да, вы прочли правильно: Пьер-Огюстен, Бомарше, контролер королевской трапезы и т. д. То же имя, та же фамилия и, если вы помните биографию нашего героя, та же должность. Что касается имени, это было, допустим, забавным совпадением. Что касается должности — уточним, что Пьер-Огюстен Франке поспешил уступить ее Пьеру-Огюстену Карону и не встретил на этом пути никаких препятствий. Что касается фамилии, то мы еще вернемся к сему в дальнейшем. Но разве и этого не достаточно?

В самом деле, Франке был контролером трапезы. Должность, от которой он отказался в пользу молодого часовщика, давала ему неоценимую честь и право шествовать перед жарким его величества в дни официальных пиршеств позади дворянина-хлебодара, но зато перед жареной говядиной. Такого рода почетные обязанности стоили недешево, и, умножая их число, королевский дом умело извлекал выгоду из тщеславия буржуа. Франке добился звания контролера королевской трапезы, поскольку должности капитана псарни или, например, кондитера комнатных собачек были уже заняты. Если какие-нибудь дураки кичились тем, что на них возложена высокая ответственность ежедневно отпускать семь печений для собачек его величества, то Бомарше прекрасно понимал истинную цену

старшинства по антрекотам, которые давал ему королевский патент от 9 ноября 1755 года. Но разве не был он обязан правом носить имя своего отца другому «патенту» — тому, который получил для него г-н Карон, отрекшись от своей веры? Чтобы подняться по лестнице, нужно поставить ногу на первую ступеньку. Можно ли упрекать Бомарше в том, что он взбирается наверх, перескакивая сразу через несколько?

Через одиннадцать месяцев после смерти Франке Пьер-Огюстен женится на Мадлене. Пора страсти миновала; настала пора раздражения. Обвенчавшись, любовники вскоре стали с трудом узнавать друг друга. И с трудом выносить. Он попрекает ее дурным характером, она обижается, что он не остается все время подле нее. Наверняка виноваты были обе стороны. Пьер-Огюстен часто ездил в Версаль, оставляя супругу дома, а когда он возвращался поздно вечером, она встречала его с каменным лицом и лоном. Привыкнув командовать больным мужем, поспешно удовлетворявшим малейший ее каприз, Мадлена совершила ошибку, полагая, что сможет вертеть Пьером-Огюстеном, как она вертела Франке. Возможно, она совершила также ошибку, обращаясь с ним как с юнцом и видя в нем лишь блестящего ремесленника. В Версале Пьера-Огюстена не покидало ощущение, что здесь он живет совсем иной жизнью. Разве сами принцессы не проводят охотно время и его обществе, забывая, что он часовщик? Семейные трения, знакомые многим супружеским парам, преодолимы, когда уравновешены нежностью и физическим влечением; но этого, по-видимому, не было вовсе. Одно из писем Пьера-Огюстена Мадлене дает, вероятно, точное представление об их супружеских отношениях: «Жюли, умиравшая от наслаждения при одном нежном взгляде в пору опьянения и иллюзий, превратилась теперь в заурядную женщину, которую трудности приспособления привели к мысли, что она прекрасно обошлась бы без того, кто прежде был ее сердцу дороже всего на свете». Заметим, между прочим, что он по рассеянности называет жену Жюли. Возможно — это литературная аллюзия, безусловно — невольное признание. Не владычествует ли над ним с самого детства его сестра Жюли?

Будь Франке человеком более честолюбивым и светским, он мог бы называться Франке де Бомарше. Трапезный чиновник владел леном, как забавно выразился Луи де Ломени, неведомо каким — то ли вассальным, то ли королевским, то ли просто вымышленным. Унаследовав Бомарше, Мадлена передала поместье вместе со всем остальным своему новому супругу. Пьер-Огюстен, вовсе не склонный обогащаться за счет женщин, будь то даже законные жены, пренебрег занесением этого пункта в брачный контракт; мы увидим позднее, как дорого обошлось ему благородное бескорыстие. Но в название поместья он вцепился, став сначала Кароном де Бомарше, а затем и попросту — Бомарше. Вся эта операция заняла несколько месяцев: в сентябре 1757 года Пьер-Огюстен еще подписывает свои письма Карон, в октябре уточняет — Карон де Бомарше, а в фев-

André Caron

Отец и сын Карон

Pierre

Мария-Аделаида

Виктория-Луиза

Софи-Филиппин

Элизабета-Жюстин

иза Помпадур

рале следующего года он уже просто Бомарше. Для XVIII века дело заурядное. Ошибочно думают, что какому-нибудь мещанину, пожелавшему стать дворянином при Людовике XV, приходилось проявить больше терпения и заплатить больше денег, чем современному буржуа, покупающему себе титул в Ватикане. Это не так. В те времена, чтобы сделать карьеру, да и просто чтобы жить, нужно было родиться высоко. Но существовали лазейки, уловки. Обращение в католицизм обеспечивало законное рождение, покупка титула — рождение высокое. Пьеру-Огюстену хватало вкуса никогда не обольщаться насчет всех этих ухищрений, тому свидетельством его жизнь и творчество. В 1773 году он непринужденно отвечает человеку, попрекнувшему его именем Бомарше: «Я оставляю за собой право посоветоваться, не следует ли мне счесть себя оскорбленным тем, что Вы роетесь таким образом в моих семейных архивах, напоминая мне о имени, полученном при рождении и почти позабытом. Знайте, что я уже могу подтвердить двадцать лет своего дворянства, ибо это дворянство мое собственное, закрепленное на прекрасном пергаменте с большой желтой восковой печатью; не то что дворянство многих других, неясное и подтверждаемое лишь изустно, тогда как моего никто не смеет оспаривать, коль скоро у меня на него квитанция». Трудно высмеять более дерзко аристократическое общество и эпоху.

Не прошло и десяти месяцев после свадьбы, как Мадлена заболела. Охваченную горячкой, по-видимому, паратифом, ослабленную легочным заболеванием, очевидно, чахоткой, ее ждала смерть, несмотря на все усилия четырех медиков, приглашенных к ней Бомарше. Бувар, Бурделен, Пусс и Ренар, самые опытные столичные врачи, смогли лишь констатировать скоротечное, но естественное развитие болезни. Годы спустя, когда Бомарше окажется в тягчайших обстоятельствах, родственники Мадлены — Обертены — обрушатся на него с обвинениями, что он отравил жену и пытался присвоить ее наследство. Невеселая шутка, ибо смерть Мадлены была для Бомарше катастрофой. «Она оставила меня в полном смысле слова под бременем долгов». Наследство получили Обертены, платить же кредиторам должен был молодой вдовец. Тем не менее пятнадцать лет спустя, когда самые прославленные противники Бомарше, в ту пору уже богатого человека, Лаблаш и Гезман готовились разделить между собой его состояние, Обертены сочли, что снова пробил их час, и потребовали свой кусок пирога. В конце концов они были осуждены и признали, что оклеветали Бомарше. Не сумев удушить, они попытались взять лаской. Человек не злопамятный — замечательная черта его характера, — он великодушно их облагодетельствовал. Его безудержная, безумная щедрость ни для кого не была секретом; друзья, враги, знаменитости — никто не уходил от него с пустыми руками. Он не одалживал — он одаривал как частных лиц, так и правительства.

Но 29 сентября 1757 года Бомарше «гол как сокол». Только и осталось, что горе да заемное имя, вся непрочность корней кото-

рого ему отлично известна. Да еще его гений. Этого вполне достаточно, чтобы снова отправиться во дворец.

Я не случайно употребил слово «гений» — нужен был гений, чтобы нравиться особам королевской крови, людям привередливым, и продержаться в Версале. Благодаря анкерному спуску и крохотным часикам Бомарше пережил свой звездный час, но час длится не так уж долго. Молодых людей вроде него во дворце было хоть пруд пруди. Часовщик скоро понял, что на одних пружинках далеко не уедешь, чтоб преуспеть, чтоб еще раз выделиться, нужно было напрячь воображение, что-то придумать. Вот тут-то и пригодилась музыка: Бомарше и сочинял и восхитительно играл на нескольких инструментах. Он изобрел педаль для арфы, ту самую, которой пользуются и по сию пору. Принцессы, умиравшие от скуки, захотели посмотреть, что это за такая чудесная арфа. Бомарше принес свой инструмент и оставил его в апартаментах принцессы Аделаиды. Поскольку Пьер-Огюстен играл также и на виоле, варгане, флейте и даже тамбурине, а кроме того, был очарователен, он во мгновение ока сделался любимейшим учителем, незаменимым дирижером и фаворитом Лок, Кош, Грай и Шиф — у Бурбонов, как и у Каронов, были в моде смешные прозвища. Принцессы — старые девы, справедливо слывшие некрасивыми, но куда менее глупые, чем о них говорили, — никогда не теряли благорасположения короля, и, поскольку он к ним прислушивался, придворные наперебой добивались их милостей. Как правило, тщетно. Когда принцессы увлеклись Пьером-Огюстеном, в дворцовых передних не было недостатка и зависти и завистниках. Разве не прошел слух, что на одном из импровизированных концертов король уступил свое кресло «этому Карону» и простоял сам двадцать минут, пока «жалкий субъект» рассиживался? И что после такого рода музицирований принцессы, всегда готовые «набить брюхо мясом и вином», делили со своим любимчиком запасы ветчины и итальянской колбасы, запивая все это шампанским? В версальских мансардах вино от зависти превращалось в уксус. И вскоре составился первый заговор, который сегодня кажется нелепым, однако в абсурдном и бредовом микрокосме дворца вполне мог увенчаться успехом. Гюден рассказывает, что в один прекрасный день каждая из королевских дочерей получила по вееру, где были нарисованы точно, талантливо, похоже все участники концертов у принцесс — отсутствовал один Бомарше. Намерение досадить их фавориту не оставляло сомнений. Показав веера Пьеру-Огюстену, ограничившемуся улыбкой, принцессы отослали неугодные изображения, на которых не хватало «мэтра». Ненадолго смущенные и этим отказом и этим «мэтром», «мансарды» вскоре предприняли более хитроумную атаку.

Поразительнее всего — хладнокровие, чувство меры, присущие Бомарше на протяжении всего этого периода. Другой на его месте возгордился бы, занесся. Переход из отцовской мастерской прямо в государевы покои вполне мог опьянить двадцатипятилетнего молодого человека. Но Пьер-Огюстен, понимая, сколь шатки его

позиции, головы не теряет. На одном из дворцовых окон он выводит острием алмаза свое имя, точно какой-нибудь случайный посетитель: я де был в Версале, вот тому доказательство. С другой стороны, скромность и знание жизни могли бы заставить его униженно гнуть спину, льстить, подчеркивать свое ничтожество, стараться не привлекать к себе внимания великих мира сего, когда те не в духе. Но Пьер-Огюстен предпочитал играть в открытую. «Он единственный, кто говорит мне правду», — проронил однажды дофин. Государи в окружении придворных ужасающе одиноки. Как же не заметить среди карнавальных личин человека с открытым лицом? Бомарше остается самим собой и перед Людовиком XV и перед Комитетом общественного спасения, поэтому к нему прислушиваются, его уважают, а подчас и любят, зато ему обеспечена ненависть тех, кто пресмыкается перед власть имущими. Всю свою жизнь Бомарше натыкался на враждебные маски.

После того как потерпела крах затея с веерами, завистники решили поссорить его с принцессами, внушив им мысль, что он стыдится своего отца. Для мелкого аристократишки или новоиспеченного дворянина скрывать, кто его предки, — дело обычное. И вот, переборщив, враги Пьера-Огюстена распустили слух, будто он дурно обращается с тем, кому обязан жизнью. Принцессы, необыкновенно высоко ценившие семейные добродетели, естественно, должны будут возмутиться поведением своего любимца. Разве это не свидетельство низости происхождения и низменности натуры? Осведомленный обо всем, Бомарше привез в Версаль Карона и представил его принцессам, которые нашли у отца немало черт, присущих сыну, и выказали ему свое дружеское благорасположение. Интрига, задуманная, чтобы погубить Бомарше, напротив, только еще больше привлекла к нему сердца принцесс.

Именно к этому периоду, очевидно, относится и пресловутая история с разбитыми часами. Рассказы Лагарпа и Гюдена, которым она была известна из первых рук, почти совпадают.

Некий придворный, заметив Бомарше в галерее Версальского дворца, подошел к нему и спросил достаточно громко, чтобы привлечь внимание окружающих и тем самым умножить число свидетелей:

— Сударь, вы ведь дока в часовом деле, не скажете ли мне, хороши ли эти часы?

— Сударь, — ответил ему Бомарше, глядя на собравшихся, которые уставились на него, — с тех пор как я перестал заниматься этим искусством, я стал ужасно неуклюж.

— О, сударь, не откажите!

— Я готов, но вы предупреждены.

Он взял часы, открыл, поднес к глазам и, сделав вид, будто рассматривает, выронил, так что те грохнулись на пол со всей высоты его роста. Потом, отвесив глубокий поклон:

— Я вас предупреждал, сударь, что я стал удивительно неуклюж.

После этих слов он удалился, оставив того, кто рассчитывал его унизить, в полной растерянности.

Все это вместе взятое, добавляет Лагарп, «вскоре создало против него комплот яростных и тайных ненавистников, которые замышляли, ни больше ни меньше, как окончательно его погубить».

Но в 1760 году его противникам было весьма далеко до осуществления своих планов. Король, дофин и особенно принцессы видели в Бомарше своего человека, приятного собеседника, участника совместных развлечений, а то и друга. Ежедневно четыре сестры с нетерпением ждали, когда «горшок» — так был прозван экипаж, перевозивший придворных из Парижа в Версаль, — доставит к ним Бомарше. Они давали ему самые сумасбродные поручения и не доверяли никому, кроме него. Известно, сколь капризны были эти девицы. Разве не пришлось как-то Людовику XV разбудить Шуазеля среди ночи, чтобы тот немедленно послал курьера к епископу Орлеанскому, потому что г-жа Виктория не могла уснуть, не отведав айвового мармелада, достоинства которого ей расхвалили под вечер! Пьер-Огюстен неизменно являлся во дворец, нагруженный свертками, разоряясь на этой игре, поскольку принцессы, довольно стесненные в средствах, нередко забывали расплатиться за покупки. Третья из сестер — Софи — не стеснялась даже время от времени подзанять несколько луидоров у своего прекрасного учителя музыки. В конце концов Бомарше, у которого практически не оставалось времени для работы в мастерской и которого уже начал преследовать его портной, оказался перед необходимостью послать г-же д'Оппан, домоправительнице принцесс, счет на произведенные им расходы:

«... не считая 1852 ливров
госпожа Виктория осталась мне должна . . . . . . 15 ливров
плюс за тетрадь в сафьяновом переплете с ее вызолоченным гербом . . . . 36 ливров
и переписчику нот в вышеозначенной тетради . . . . 36 ливров
Итого 1939 ливров
...Не забудьте, что госпожа Софи также должна мне пять луидоров: в трудные времена подбираешь самые ничтожные крохи...»

Совершенно неожиданно трудным временам наступает конец — в жизнь Бомарше входит Пари-Дюверне. С этого момента все меняется стремительно и невероятно. Но и тут Бомарше не тешит себя иллюзиями. Как сам он вскоре скажет: «Я смеюсь в подушку, когда думаю, как все складывается в этом мире и до чего странны пути судьбы».

3

ПАРИ-ДЮВЕРНЕ

Он просветил меня, и я его должник
За то немногое, чего достиг [1].

Превратности судьбы причудливы, тому доказательством — внезапная взаимная привязанность жизнерадостного двадцативосьмилетнего молодого человека и самого грозного из старцев того времени.

Пари-Дюверне (или дю Верне) перевалило за семьдесят шесть, когда он призвал к себе Бомарше. Хотя он и не был уже в зените своей мощи, его колоссальное состояние отнюдь не иссякло. Что произошло между этими двумя персонажами? Тайна остается нераскрытой по сей день. Ясно одно, Пари-Дюверне и Бомарше связала своего рода любовь, или сообщничество и взаимное уважение. Двадцать лет спустя, когда, как мы увидим, на Бомарше после смерти банкира обрушатся тяжкие невзгоды — процесс, тюрьма, шельмование, разорение — ничто не заставит Пьера-Огюстена забыть старого друга. В парке своего дворца он воздвигнет бюст Пари-Дюверне с двустишием на цоколе:

Он просветил меня, и я его должник
За то немногое, чего достиг.

Не прошло и двух месяцев после первого знакомства, а Пари-Дюверне уже относится к Пьеру-Огюстену как к сыну, он так и обращается к нему при свидетелях: «Сын мой». Но это пустяки по сравнению с тем доверием, которым он тотчас проникся к этому первому встречному, этому дилетанту, этому учителю музыки. Пари-Дюверне открывает ему свои досье, свои сейфы и свою душу. Почему?

Принято считать, что их свело так называемое дело Военной школы, прекрасное здание которой Пари-Дюверне воздвиг на свои средства и в котором уже обучалось под руководством его племянника полковника Мейзье несколько сот кадетов. Пари-Дюверне преподнес Военную школу в дар Людовику XV, иными словами, Франции. Однако после разрыва с г-жой Помпадур король обиделся на старого банкира, не пожелавшего отречься от своей давней приятельницы. И Королевская военная школа все еще ждала официального открытия. В то время как придворные, мягко говоря, отворачивались от Бомарше, Пари-Дюверне хватило ума и желанья свести знакомство с презренным часовщиком. Бомарше с легкостью проделал то, что не удавалось министрам. Сначала Пьер-Огюстен привез на Марсово поле принцесс и дофина, а затем и самого короля.

---

[1] Здесь и далее стихи в переводе И. Кузнецовой.

Людовик XV обошел здание школы, где пятьсот подростков лет десяти — отпрыски древних дворянских родов, прозябавших в провинции, — обучались фехтованию, владению огнестрельным оружием, танцам и верховой езде. После кавалерийского парада и фейерверка, данных в его честь, король соблаговолил откушать у Пари-Дюверне.

Объясняется ли все дальнейшее именно этой услугой? Да, если верить самому Бомарше, который позднее расскажет:

«В 1760 году г-н дю Верне в отчаянии от того, что, несмотря на все его усилия на протяжении девяти лет, ему не удается побудить королевскую семью почтить своим посещением Военную школу, пожелал познакомиться со мной и предложил мне свое сердце, помощь и кредит, ежели я сумею добиться того, в чем тщетно пытались преуспеть многие на протяжении этих девяти лет».

Все это весьма смахивает на договор, статьи которого только подтверждают обычный обмен взаимными услугами между людьми одного круга. Пари-Дюверне, впрочем, слыл меценатом. Он отчасти помог составить состояние Вольтеру, отнюдь, однако, не помышляя сделать того своим деловым компаньоном. Пари-Дюверне и Бомарше так молниеносно поняли, оценили и раскусили друг друга именно потому, что были людьми одной породы.

Четыре брата Пари, сыновья трактирщика в Муаране (Дофине), днем без устали работали в отцовском заведении, а по ночам корпели над книгами, когда в один прекрасный вечер 1710 года во двор трактира въехал экипаж герцогини Бургундской. Достаточно ей было отобедать, и судьба вынесла свой приговор: эти четверо предназначены не для того, чтобы щипать кур. Они родились поварами, но станут банкирами. Герцогиня рекомендовала их губернатору Дофине. Дважды повторять не пришлось. Десять лет спустя состояние братьев не поддавалось счету, они командовали министрами. Случалось, какой-нибудь кардинал де Флери приговаривал их к изгнанию и разорению. Но Флери проходили, а братья Пари возвращались из ссылки еще богаче прежнего. Ученик Самюэля Бернара, Пари-Дюверне, самый умный и, главное, самый тонкий политик из четырех, пользовался в царствие Людовика XV солидным влиянием. В тени королевских любовниц — г-жи де При, герцогини де Шатору и особенно маркизы де Помпадур — он вертел властями, министрами и армией. Разве не был он, по выражению маршала де Ноайя, мучным генералом, иными словами — целым интендантством в одном лице? После окончания Семилетней войны и отставки г-жи Помпадур Пари-Дюверне оказался в оппозиции, точнее, в резерве королевства. Это не помешало ему энергично влиять на события, подготавливая свое возвращение, и на свой лад служить Франции. Пари-Дюверне принадлежал к антианглийскому клану. Он понимал, что в 1763 году для величия Франции необходимо поражение Англии. Мы увидим, что Бомарше до конца жизни останется верен политическим взглядам своего учителя и будет готов пожертвовать ради них своей репутацией, деловыми интересами, а подчас и свободой. Но пока компаньоны помышляют лишь о том, чтобы вернуть Канаду и Луизиану. Вска-

рабкавшись на вершину, маленький часовщик и старый поваренок отнюдь не стремятся вниз. Однако оба они умеют трезво оценить обстановку и безошибочно примениться к тому, что ныне назвали бы социальным контекстом. Чтобы воздействовать на свое время, необходимо придерживаться известных правил, следовательно, приспосабливаться к существующей системе. Чтобы добиться власти и веса в обществе, необходимо финансовое могущество. А это требует гибкости, предприимчивости и твердости характера. В самом деле, куда как легко соблазниться внешним успехом, принять средства за цели. Титулы, привилегии, почетные должности — необходимы, но недостаточны для действия. Это пароль, с помощью которого можно проникнуть куда нужно, но этого мало, чтобы играть определенную роль. Действительно ли Пари-Дюверне увидел в Бомарше, как считают многие, всего-навсего удобного посредника, чье влияние и осведомленность он мог использовать? Не думаю.

Немилость, в которую впал банкир, была относительной; несмотря на холодность принцев, министры продолжали к нему прислушиваться. Что до Бомарше, было бы преувеличением полагать, будто его кредит распространялся и на политику. Пока он только забавляет, пленяет, он — в моде. Остаются, таким образом, объяснения психологические — чувства. Этот старик и этот молодой человек, вне всяких сомнений, полюбили друг друга. На закате жизни Пари-Дюверне искал наследника, преемника, возможно, ученика. Встретив Пьера-Огюстена, он посвятил последние годы жизни его формированию, иными словами, научил Бомарше всем хитростям и уловкам политики.

Он просветил меня, и я его должник
За то немногое, чего достиг.

Прежде всего Пари-Дюверне укрепил положение Бомарше, которому ни его смехотворная должность контролера трапезы, ни его роль учителя музыки не давали настоящего дворянства. Банкир купил Пьеру-Огюстену то, что в ту пору красочно именовалось «мыльцем для мужлана», иными словами — патент королевского секретаря, стоивший 55 000 франков, но зато обеспечивавший ему законное право носить имя де Бомарше.

Не следовало ли, однако, завершить метаморфозу, стереть память о прошлом, короче говоря, закрыть лавку? С этим связано поразительное письмо Бомарше отцу от 2 января 1761 года — тут необходимо привести важнейший отрывок:

«...будь в моей воле выбрать подарок, который мне хотелось бы от Вас получить, ничем Вы не доставили бы мне большего удовольствия, как соблаговолив вспомнить об обещании, коего исполнение столь долго оттягивается, и убрав вывеску над своей дверью: я завершаю сейчас одно дело, и единственное, что может мне помешать, — Ваши занятия коммерцией, ибо Вы оповещаете всех об этом надписью, не оставляющей никаких сомнений. До сих пор Вы не давали оснований думать, будто в Ваши намерения входит неизменно отказывать мне в том, чем сами Вы вовсе не дорожите, но что в корне меняет

мою судьбу из-за дурацких предубеждений в этой стране. Коль скоро не в наших силах изменить предрассудок, приходится ему покориться — у меня нет иного пути для продвижения вперед, коего я желаю ради нашего общего блага и счастья семьи...»

Семья, не мешкая, вняла его доводам, и 9 декабря того же года Пьер-Огюстен получил свой патент королевского секретаря. Г-н Карон, некогда отрекшийся от своей веры, силу предрассудков знал не хуже сына. Скрепя сердце он вышел из цеха. И только его третья дочь, Мадлена, по прозвищу Фаншон, обвенчавшаяся в 1756 году с Лепином, к тому времени уже знаменитым часовщиком, стала отныне хранительницей семейной традиции. Что касается Жюли, то есть Бекасс, посвященной в честолюбивые помыслы и секреты брата, она, без сомнения, выступала ходатаем перед отцом. Впрочем, именно в этот момент Пьер-Огюстен легализовал, если можно так выразиться, свою необычную близость с сестрой, дав ей свое имя. Начиная с 1762 года в регистрационных книгах Парижа под именем Бомарше значатся и Жюли и ее брат. Уж не для того ли, чтобы сохранить это имя, она так и останется до конца жизни в девицах, отказывая в праве повести ее к алтарю претендентам на ее руку и немалому числу любовников? Эта странность позволит советнику Гезману, о котором нам еще предстоит немало говорить в дальнейшем, отпустить злую шутку: «Истец Карон позаимствовал у одной из своих жен имя Бомарше, чтобы затем ссудить его одной из своих сестер».

Под руководством и наблюдением своего компаньона Бомарше приобщился к финансовым, банковским и коммерческим тонкостям. Пари-Дюверне привил ему предприимчивость и вкус к спекуляциям. Сейчас это слово неблагозвучно, но здесь не следует понимать его в дурном смысле. Без спекуляций не было бы ни духа завоеваний, ни промышленного развития, ни общественных перемен. Бомарше ворочал миллионами не ради удовольствия обладать, но ради удовольствия действовать. Деньги, заработанные им на поставках муки для армии, пойдут на освобождение Америки, на издание собрания сочинений Вольтера, на помощь первым воздухоплавателям и т. д. Спекуляции, хотя они подчас и увлекательны, нередко грозят разорением. Самое удивительное, что Пари-Дюверне, открыв своего подопечного, словно бы открывает для себя на старости лет радости риска и авантюры. До сих пор, вплоть до 1760 года, его осторожность и цинизм брали верх над всеми соблазнами. Но теперь, когда банкиру под восемьдесят, ему терять нечего, разве что состояние.

Вступив сперва в десятой доле, а затем и на половинных началах в дела, о которых нам ничего или почти ничего не известно, но которые, очевидно, сперва сводились к военным поставкам, Бомарше очень скоро сравнялся с учителем, что только увеличило дружеское расположение последнего. Самое замечательное в их отношениях это, кажется, удовольствие, которое оба от них получают. Вскоре работа превращается в игру, в ритуал. Они придумывают свой код, свой тайный язык: «восточный стиль», полный двусмысленностей. В 1770 году Бомарше, как ни в чем не бывало, пишет своему старому

сообщнику: «...как здоровье, дорогая крошка? Мы так давно уже не обнимались. Потешные мы любовники! Мы не смеем встречаться, опасаясь гримасы, которую скорчат родственники: но это не мешает нам любить друг друга. Да уж, моя крошка...» И дорогая крошка, не сморгнув, отвечал в том же духе.

Привыкнув избирать кратчайший путь, Бомарше, по-видимому, чересчур заспешил и впервые споткнулся. По правде говоря, он чуть не сломал шею, но был ли бы написан «Фигаро», если б все ему удавалось сразу? Безусловно нет, ибо, как мы увидим, «Фигаро» — плод ряда поражений и новых побед.

После кончины одного из главных лесничих королевства его должность оказалась вакантной. Звание и соответствующие права стоили 500 000 ливров, но обязанности, отнюдь не обременительные, сулили быстрое обогащение. За деньгами остановки не предвиделось, Пари-Дюверне пообещал раскрыть свой сейф. Во Франции было всего восемнадцать главных лесничих, круг довольно замкнутый. Для получения должности, кроме денег и согласия короля, требовалось в принципе предъявление дворянских грамот. У Бомарше, как известно, на дворянство имелась только квитанция, но зато у него были козырные карты — король, дофин и принцессы. Сначала все шло как по маслу. Принцы обещали, генеральный контролер дал согласие. Но семнадцать главных лесничих воспротивились с невиданной яростью, кое-кто из них осмелился даже угрожать отставкой. Обеспокоенный генеральный контролер взял свое согласие назад. Тут вступила в игру королева, поспешив через своего конюшего протянуть Бомарше руку помощи. Принцессы в полном неистовстве осаждали Людовика XV, поставленного сопротивлением корпуса главных лесничих, опиравшихся на двор, издавна враждебный Бомарше, в весьма затруднительное положение. Чтобы лучше понять положение короля, можно бы сравнить его с положением теперешнего президента, который, столкнувшись с ожесточенной кампанией в печати, колеблется, ставить ли ему на карту свой авторитет ради дела второстепенной важности. Главные лесничие, отвергая Бомарше, выдвигали довод, что «отец его был ремесленником, и, сколь бы он сам ни был славен в своем искусстве, его сословная принадлежность несовместима с почетным положением главного лесничего». Битва была проиграна почти наверняка, и Бомарше не отказал себе в удовольствии уязвить своих высокородных противников в замечательном письме, адресованном генеральному контролеру:

«Вместо ответа я сделаю смотр семьям и недавней сословной принадлежности некоторых из главных лесничих, о коих мне представили весьма точные справки.

1. Г-н д'Арбонн, главный лесничий Орлеана и один из моих самых горячих противников, зовется Эрве, он сын Эрве-паричника. Я берусь назвать десяток лиц, и поныне живых и здравствующих, которым этот Эрве продавал и надевал на голову парики; господа лесничие возражают, будто Эрве был торговцем волосами. Какое тонкое различие! В правовом отношении оно нелепо, в фактическом — лживо,

ибо в Париже нельзя торговать волосами, не будучи патентованным паричником, в противном случае — это торговля из-под полы; но он был паричником. Тем не менее Эрве д'Арбонна признали главным лесничим без всяких возражений, хотя не исключено, что в юности и он был подмастерьем у отца.

2. Г-н де Маризи, занявший лет пять или шесть тому назад должность главного лесничего Бургундии, зовется Легран, он сын Леграна, шерстобита и чесальщика из предместья Сен-Марсо, впоследствии купившего небольшую лавку одеял неподалеку от Сен-Лоранской ярмарки и нажившего известное состояние. Его сын женился на дочери Лафонтена, седельщика, взял имя де Маризи и был признан главным лесничим без всяких возражений.

3. Г-н Телле, главный лесничий Шалона, сын еврея по имени Телле-Дакоста, который начал с торговли украшениями и подержанными вещами, а впоследствии разбогател с помощью братьев Пари; он был признан без возражений, затем, как говорят, исключен из собрания, поскольку было сочтено, что ему надлежит вернуться в сословие своего отца, не знаю, сделал ли он это.

4. Г-н Дювосель, главный лесничий Парижа, сын Дювоселя, сына пуговичника, впоследствии служивший у своего брата, чье заведение находилось в переулке неподалеку от Фера, затем ставший компаньоном брата и, наконец, хозяином лавки. Г-н Дювосель не встретил ни малейшего препятствия на пути к своему признанию».

Главным лесничим пришлось не по нутру напоминание о том, что один из них был сыном паричника, а другой — еврея, и еще меньше, что этот Бомарше проявил дурной вкус, не тая, что сам начинал как часовщик, подобно своему отцу и деду, протестантам.

Людовику XV, который вынужден был при сложившихся обстоятельствах отступиться, вскоре представился случай вознаградить Бомарше. Когда этот последний пожелал приобрести должность старшего бальи Луврского егермейстерства и Большого охотничьего двора Франции, король упредил всякую возможность возражений, поторопившись подписать патент. Таким образом, Бомарше сделался первым чиновником при герцоге де Лавальере, генерал-егермейстере, пэре и великом сокольничем Франции. Высокая должность отдавала под начало Пьеру-Огюстену графа де Рошешуара и графа Марковиля, особ куда более аристократического происхождения, нежели большинство главных лесничих.

В обязанности Бомарше по его новой должности входило править еженедельно или почти еженедельно суд в одном из залов Лувра, отведенном для судебных заседаний по браконьерским делам в королевских угодьях. Облаченный в длинную судейскую мантию, сидя в кресле, украшенном лилиями, он с серьезным видом выносит приговоры. Итак, он внутри системы, он — старший бальи, королевский судья, сановник, он в лоне истэблишмента, по дурацкому нынешнему определению, но и это отнюдь не вскружило ему голову. Часовщик, музыкант, финансист или судебный чиновник, он всегда остается самим собой, то есть человеком, который забавляется и протестует. Судья сам не раз окажется в тюрьме, когда дело дойдет

до защиты не запретных королевских угодий Монружа или Ванва, а подлинного правосудия.

Теперь, чтобы обосноваться окончательно, ему не хватало только дома, где он мог бы устроить свою семью и принимать гостей. Пари-Дюверне и на этот раз помог ему, так что вскоре Бомарше оказался владельцем красивого особняка на улице Конде, 26. Самой большой радостью для Пьера-Огюстена было поселить там весь свой клан, то есть двух незамужних младших сестер и отца, овдовевшего в 1756 году. Последний не заставил себя долго просить. Страдая почечными коликами, настолько мучительными, что он был на грани самоубийства, г-н Карон не мог жить в одиночестве. Поэтому он с восторгом вручил свою судьбу сыну: «...есть ли на свете отец счастливее Вашего? Я умиленно благословляю небо, даровавшее мне в старости опору в сыне, столь прекрасном по натуре, и мое нынешнее положение не только не унижает меня, но, напротив, возвышает и согревает мою душу трогательной мыслью, что я обязан моим теперешним благоденствием, после господа бога, только одному сыну...» Надо сказать, что г-на Карона грела мысль не об одном сыне. В ту пору его обхаживали две дамы почтенного возраста, г-жа Грюель, которой старый часовщик дал прозвище г-жа Панта, и г-жа Анри. В конце концов, после долгого жениховства, он уступит авансам второй. Что до Бекасс и Тонтон, то за ними на улицу Конде последовал рой воздыхателей. При переезде Жанна-Маргарита, по прозвищу Тонтон, как и сестра, присвоила себе дворянскую частицу и стала именоваться де Буагарнье — в память о своем дяде Кароне де Буагарнье, умершем в чине капитана гренадеров. Частыми гостями на улице Конде были дальняя родственница Каронов Полина Ле Бретон, уроженка Сан-Доминго, к прелестям которой не остался равнодушен Пьер-Огюстен, и ее тетушка г-жа Гаше, а также Жано де Мизон, молодой адвокат Парижского парламента, де ла Шатеньре, конюший королевы, и шевалье де Сегиран, креол, как и Полина. Весь этот очаровательный мирок любит, играет в любовь или порой прикидывается, что любит. «Дом, — пишет Жюли, — любовная пороховница, он живет любовью и надеждами; я живу ими успешнее всех прочих, потому что влюблена не так сильно. Бомарше — странный тип, он изнуряет и огорчает Полину своим легкомыслием. Буагарнье и Мизон рассуждают о чувствах до потери рассудка, упорядоченно распаляя себя, пока не впадут в блаженный беспорядок; мы с шевалье и того хуже: он влюблен как ангел, горяч как архангел и испепеляющ как серафим; я весела как зяблик, хороша как Купидон и лукава как бес. Любовь меня не дурманит сладкими напевами, как других, а все же, как я ни сумасбродна, меня тянет ее испробовать; вот дьявольский соблазн!» Она ошибается, дьявол оставит ей на всю жизнь лишь цвета брата.

Чтобы потешить эту компанию, Пьер-Огюстен пишет парады, вдохновляясь теми фарсами, которые он, еще подростком, видел в ярмарочных балаганах. В XVIII веке парады модный жанр; при дворе и в аристократических замках обожают пьески, персонажи

которых, простолюдины, объясняются на таком исковерканном французском, что их «косноязычию и оговоркам смеются взахлеб, надрывая животы». Но самое удивительное, как справедливо отмечает Жак Шерер, что «уже парады Бомарше отличаются политической остротой». В параде «Жан-дурак на ярмарке» Бомарше задевает все сословия. Кроме «Жана-дурака» найдены еще четыре парада Бомарше: «Колен и Колетта», «Семимильные сапоги», «Депутаты де ла Аль и дю Гро Кайу», «Леандр, торговец успокоительным, врач и цветочница». В этих небрежно написанных текстах, единственной целью которых было позабавить, исследователи нашли наброски некоторых персонажей и тем «Цирюльника» и «Женитьбы». Это вполне естественно. Не думаю, однако, что есть нужда слишком подробно останавливаться на безделках Бомарше, которыми сам он отнюдь не гордился и которые не публиковал при жизни. Парады нередко бывали гривуазны и уснащены более или менее смелыми намеками. Играли их в полумраке, чтобы позволить женской половине публики краснеть, не привлекая к себе внимания. В те времена зрители повсюду видели двусмысленности. Малейшее словечко, самая невинная фраза тотчас наполнялись скабрезным содержанием. Шерер наткнулся в «Альманахе зрелищ» на прелестный пример подобного умонастроения: «Некая знатная дама, присутствовавшая на представлении «Короля Лира», услышав полустишье: «Отцом хочу я быть!», воскликнула: «Ах! Как это непристойно».

Пари-Дюверне, отнюдь не мизантроп, нередко приглашал всю компанию в Плезанс — свой замок в окрестностях Ножан-сюр-Марн. Еще чаще веселое общество собиралось в Этиоле, у Шарля Ленормана, финансиста и генерального откупщика, оставшегося в истории главным образом как счастливый или несчастный — в зависимости от точки зрения — супруг Жанны Пуассон, более известной под именем г-жи де Помпадур. Здесь в присутствии маркизы, которая, впав в немилость, вернулась к мужу, а также других знатных дам, например г-жи д'Эпине, Бомарше и Жюли разыгрывали вдвоем или с кем-нибудь из гостей пресловутые парады. Брат и сестра — пара, быстро вошедшая в моду, — не пропускают ни одного празднества, пи одного пиршества, где на стол подаются новинки кухни — ортоланы, волованы и перепелки «а ла финансьер». Состояние обязывает! На этих беззаботных празднествах у Бомарше завязываются мимолетные романы, реже дружеские отношения. Но чем дальше, тем трезвее смотрит он на окружающее. Этот мир никогда не станет его миром. Он уже вынес ему приговор: получать, брать или просить, разве не к этому сводится весь секрет жизни придворного? Но зато и обличье Жана-дурака Бомарше может дать себе волю, поиздеваться, сбить спесь с генеалогического древа:

«Кассандр. Но разве он не приходится вам дедом по отцовской линии?

Жан-дурак. Разумеется, сударь, это мой дед по отцовской, материнской, братской, теткинской, надоедской линии. Это ведь тот самый знаменитый Жан Вертел, который тыкал раскаленной железякой в задницу прохожим на Пон-неф в лютые морозы. Те, кому это

было не в охотку, возмещали ему хотя бы расходы на уголь, так что он быстрехонько составил себе состояние. Сын его стал королевским секретарем, смотрителем свиного языка, сударь; внук его, семи пядей во лбу, он теперича советник-докладчик при дворе, это — мой кузен Лалюре. Жан Вертел, мадемуазель, которого вы, конечно, знаете, Жан Вертел отец, Жан Вертел мать, Жан Вертел дочери и все прочие, вся семья Вертела в близком родстве с Жопиньонами, от которых вы ведете свой род, потому что покойная Манон Жан Вертел, моя двоюродная бабка, вышла за Жопиньона, того самого, у которого был большой шрам посреди бороды, он подцепил его при атаке Пизы, так что рот у него был сикось-накось и слегка портил физиономию». И т. д.

Остроумие не слишком тонкое, спору нет, позвольте, однако, Бомарше потешить светское общество за его собственный счет, испробовать оружие в предвидении более серьезных атак. От этого Жана Вертела, о котором я еще не сказал вам, что он приходится внуком Жану Протыке, чей род восходит к Жану Муке, прямому потомку Жана Безземельного и Жана Бесстыжего, от этого Жана Вертела, позволим себе каламбур, уже попахивает жареным, попахивает крамолой.

Не все уши были снисходительны. Некий шевалье де С. — до потомства дошла от него лишь начальная буква, — обозленный выходками Бомарше, затеял с ним ссору и вызвал его на дуэль. Наконец-то нашему герою, имевшему лишь квитанцию на дворянство, представился случай сразиться. Не откладывая дела в долгий ящик, противники сели на коней и отправились под стены Медонского парка. Там Бомарше выпало печальное преимущество пронзить шпагой сердце шевалье. Гюден рассказывает на свой — то есть трагический — лад о крови, которая, булькая, вырвалась из груди поверженного, о страданиях Бомарше, пытавшегося заткнуть рану своим носовым платком, дабы остановить кровотечение, о высоком благородстве жертвы, прошептавшей умирая: «Сударь, знайте, вы пропали, если вас увидят, если узнают, что вы лишили меня жизни». Бомарше был потрясен поединком и не любил о нем рассказывать, хотя все и сложилось для него наилучшим образом. Прискорбное событие не попало на язык сплетникам, но победитель предпочел сам предупредить о случившемся принцесс, а затем и короля, который даровал ему прощенье. Впоследствии Бомарше избегал дуэлей. Г-ну де Саблиер, искавшему с ним ссоры несколько дней спустя, он написал: «Я надеюсь убедить Вас, что не только не ищу повода подраться, но более чем кто-либо стараюсь этого избежать». Бомарше никогда не чванился ни своей победой, ни своим умением владеть шпагой.

С женщинами, а отныне и с благородными барышнями, он был рад сразиться на любом турнире. Скучно, да и трудно составлять список его побед. К тому же от несчастной любви или от любви длительной остается больше следов, чем от легких увлечений. Кто вздумает писать даме, которая не оказывает сопротивления? С какой стати! Если Бомарше осаждал письмами Полину Ле Бретон, то по-

тому именно, что она заставила его помучиться. Полине было семнадцать лет, и она владела поместьем в Сан-Доминго. Осиротев еще ребенком, она с детства жила у родственников, то у дяди, то у тетки, и, будучи особой рассудительной, умело вела свою ладью. Иными словами, держала курс на замужество. Красивый кузен ей очень нравился, но она хотела привязать его к себе прочными узами. Меж тем у Пьера-Огюстена было множество романов. Позднее, вспоминая об этом периоде, он признается: «Если я в ту пору делал женщин несчастными, тому виной они сами — каждая хотела счастья для себя одной, а мне казалось, что в огромном саду, именуемом миром, каждый цветок имеет право на взгляд любителя». Это фатовство, в котором он охотно признается, заставляет его тянуть с Полиной, претендующей на то, чтобы быть единственным предметом его внимания. За «нежным, детским, деликатным обликом» прелестной и очаровательной Полины скрывается сильный характер. Завязав чувствительную игру, стороны не забывают о материальных интересах. Взвешивается и сравнивается едва намечающееся, но реальное состояние претендента и довольно отдаленное и неясное состояние девицы. Впрочем, поначалу сама Полина обращается к Бомарше с призывом оберечь ее имущество; мадемуазель Ле Бретон получила в наследство большое владение в Капе, которое оценивается в два миллиона, однако, по доходящим сведениям, запущено и заложено. Остров Сан-Доминго был в ту пору еще французской колонией, Бомарше обратился к г-ну де Клюни, губернатору острова. Чтобы подкрепить свою просьбу, он добился вмешательства принцесс и двух-трех министров. Наконец, он выслал деньги на восстановление плантаций. Кроме того, направил в Кап, чтобы судить на месте о состоянии поместья и защитить интересы Полины, некоего Пишона, кузена своей матери. Короче, сделал все, что мог. Я останавливаюсь на этом так подробно, поскольку принято считать, что и в этой истории Бомарше гнался только за прибылью. Скажем, что он, самое большее, проявил осмотрительность и, прежде чем вложить свое состояние в Полинины воздушные замки на Сан-Доминго, взвесил все «за» и «против», не пренебрегая мнением Пари-Дюверне.

При всем при том они действительно любили друг друга, и любили долго. Он вспомнит о ней, о ее характере полуребенка, полуженщины, создавая образ Полины, племянницы Орелли в «Двух друзьях».

Когда поднимается занавес, на сцене за роялем или, точнее, за клавесином молодая девушка в пеньюаре. Подле нее юноша, который аккомпанирует ей на скрипке. Они разыгрывают сонату, они влюблены друг в друга. Действительность была сложнее, но музицирование играло роль и в отношениях Пьера-Огюстена и Полины. У нее был «очаровательный голос», у ее сценического двойника — голос «гибкий, трогательный, главное, задушевный».

Пока Пишон плыл через океан, высаживался на Сан-Доминго, а невеста и жених тщетно пытались заинтересовать своим браком дядюшку Полины, человека бесспорно богатого, шло время. Как? По некоторым письмам можно заключить, что молодые люди были

сдержанны. Целовались, сидели рука в руке, музицировали. Но эти письма, где чаще всего шла речь о делах, реже — о платонической любви, предназначались, без сомнения, галерке. Семнадцатилетняя Полина не располагала своей свободой и тем более телом. В других письмах, совсем иных по тону, подчас загадочных, поскольку речь в них идет о вещах нам неизвестных, проглядывает, как мне кажется, нечто глубоко интимное и сообщническое. Взять хотя бы, к примеру, такое письмо Пьера-Огюстена Полине:

«Это письмо не адресовано никому, потому что никто мне не написал; но поскольку я получил шкатулку, разукрашенную крысами всех цветов, попавшимися в крысоловку, и, поскольку это, по-видимому, должно означать, что все эти крысы принадлежат мне, что их с большим трудом поймали и теперь отсылают мне запертыми надлежащим образом, я склонен думать, что этот подарок, обошедшийся мне в одиннадцать су, прибыл с улицы Сен-Дени, и что это штучки Охотничей сумки, поскольку, как мне помнится, именно в эту Сумку, и никуда больше, мне доводилось складывать моих синих крыс. Смущает меня одно — кроме моих синих здесь есть и черные. А, сообразил: не все грезят о синих, и те, которым снятся и черные, пожелали перемешать своих крыс с моими. Да здравствуют остроумные люди! От них не укроется самая темная истина. 24 шлепка по левой ягодице авансом за 24 часа... Прелестно! Не сердитесь, тетушка, они будут даны через юбку. Ваш племянник человек порядочный.

Мадемуазель,
Мадам или Мсье де ла Крысье,
проживающим в Суме, что по улице к реке
при заставе невинных».

Не станем ломать голову, расшифровывая это письмо, вся прелесть которого в его непонятности. Это кодированное послание. Ключ отсутствует. Только спросим себя: кому обычно пишет в таком тоне мужчина?

Другое письмо понятнее. Как и в предыдущем, в нем просматривается тень г-жи Гаше, которая строго следила за племянницей и наверняка опасалась предприимчивости своего племянника Пьера-Огюстена. Мы сталкиваемся здесь также как бы ненароком с именем Жюли:

«Дорогая кузина, Ваши развлечения весьма похвальны, я знаю в них толк и вполне удовлетворился бы ими, будь я приглашен. Чего же Вам недостает, дорогая кузина? Разве у Вас нет Вашей Жюли? Кто-нибудь лишает Вас свободы хорошо или дурно думать о Вашем кузене? И разве адвокат своими ухищрениями не заставляет Вас частенько говорить: гадкий пес! Молитесь за себя, дорогая кузина. С каких это пор на Вас возложена забота о душах? Спали ли Вы уже вместе с Жюли? Хорошенькими же вещами Вы там занимаетесь! Меж тем я не знаю, о каком это зяте пишет мне тетушка. Итак, Жюли спит с Вами! Не будь я Бомарше, мне хотелось бы быть Жюли. Но терпенье».

Странно, не правда ли? Уж не насладилась ли чтением этого

письма г-жа Гаше, которая «неистовствовала во гневе» и «грозила Полине монастырем»?

Так же как и Луи Лазарюс, я не далек от мысли, что между кузенами что-то было. Письмо Полины, приводимое им, представляется и мне весьма компрометирующим ее добродетель:

«Вот, дорогой друг мой, Ваша сорочка, которая была у меня и которую я Вам отсылаю. В пакете также мой носовой платок, прошу Вас им воспользоваться, а мне отослать тот, что я забыла у Вас вчера. Вы не можете сомневаться, что меня весьма огорчило бы, попадись он на глаза Вашим сестрам... Нежный и жестокий друг, когда же ты перестанешь меня терзать и делать несчастной, как теперь! В какой обиде на тебя моя душа!..»

Но судьба не позволила Бомарше долго предаваться креольской неге. Благодаря некоему Клавихо и с помощью Пари-Дюверне она постучалась вновь, и весьма решительно.

4

CAPA Y SOMBRERO [1]

Этот брат — я... а этот изменник — вы!

Обе старшие сестры Бомарше жили в Мадриде. Мария-Жозефа вышла замуж за испанского архитектора Гильберта. Вскоре после свадьбы г-жа Гильберт, супруг которой оказался несколько не в своем уме, призвала к себе Марию-Луизу, прозванную Лизеттой. Чтобы не скучать, дамы Карон открыли модную лавку. Ни на улице Сен-Дени, ни позднее, на улице Конде, от испанок не было ни слуху ни духу, пока в один прекрасный день г-н Карон не получил от старшей дочери следующее письмо:

«Лизетта оскорблена человеком, столь же влиятельным, сколь опасным. Дважды, уже готовый на ней жениться, он вдруг отказывался от данного слова и исчезал, не сочтя нужным даже извиниться за свое поведение; чувства моей опозоренной сестры повергли ее в состояние, опасное для жизни, и весьма вероятно, что нам не удастся ее спасти: нервы ее сдали, и вот уже шесть дней, как она не разговаривает.

Позор, обрушившийся на нее, вынудил нас закрыть дом для всех, я день и ночь плачу в одиночестве, расточая несчастной утешения, которыми не в силах успокоить даже себя самое.

Всему Мадриду известно, что Лизетте не в чем себя упрекнуть. Если мой брат...»

Если мой брат — тут сомневаться не приходилось! Однако, хотя призыв на помощь, брошенный дамой Гильберт, дошел в конце

---

[1] Плащ и шляпа (*исп.*)

февраля, выехал Бомарше только два месяца спустя и прибыл в Мадрид 18 мая. В чем причина такой задержки? Пьер-Огюстен, у которого семейные чувства развиты в высшей степени, отнюдь не склонен пренебрегать своими братскими обязанностями, но в то же время никогда не упустит случая убить одним ударом двух, а то и трех зайцев. Он выедет в Испанию, лишь заручившись самыми высокими рекомендациями и, по-видимому, получив задание, связанное с экономикой и политикой. Отнюдь не частному лицу дает несколько раз аудиенцию Карл III и его первый министр де Гримальди. К тому же поездка тщательно продумана компаньонами по Военной школе. Пари-Дюверне ссудил Бомарше 200 000 франков на первые расходы, главным образом представительские. Франция только что потеряла по Парижскому договору все владения Индийской компании, кроме нескольких факторий, утратила Сенегал (за исключением Горе), Канаду и левый берег Миссисипи. Что до правого берега — то есть Луизианы, — он был поспешно уступлен Испании по Семейному договору между Бурбонами. Шуазель и король предполагали вскоре вернуть эту провинцию, рассчитывая на возможность объединения французского и испанского царствующих домов. Парижский договор был подписан 10 февраля 1763 года, Бомарше оказался в Мадриде несколькими месяцами позже. Но прежде всего ему предстояло защитить честь Лизетты.

В «Четвертом мемуаре для ознакомления с делом Пьера-Огюстена Карона де Бомарше», написанном десять лет спустя, он рассказал перипетии своих отношений с гнусным соблазнителем Лизетты доном Хосе Клавихо. Повествование, разумеется, беллетризованное, точнее сказать — драматизованное, ради художественности, но в главном Бомарше придерживается истины. Об этом свидетельствуют все документы, начиная с тех, что подписаны самим Клавихо и, в сущности, являются его признаниями. Хотя, конечно, ни дамы Карон не были столь белы, ни Клавихо столь черен, как это выглядит у Бомарше. В 1764 году Лизетте, невинной жертве, было тридцать четыре года! Что касается ее соблазнителя, человека крайне двоедушного, мы, вероятно, никого не удивим, сказав, что он был литератором. Для того чтобы попасть в такое осиное гнездо и, выбравшись из него однажды, снова туда сунуться, нужно быть писателем. Клавихо издавал весьма почтенный журнал «Эль пенсадор» («Мыслитель») и зарабатывал на жизнь, состоя в должности хранителя архивов испанской короны. При иных обстоятельствах они с Бомарше непременно стали бы друзьями.

Почему Клавихо, человек с положением, увлекся старой девой, бесприданницей, о которой нам неизвестно даже, была ли она привлекательна? Тайна. Но таковы факты. Дважды Клавихо просил руки Лизетты и обязался взять ее в жены.

Прибыв в Мадрид 18 мая, Бомарше уже 19-го был у дверей Клавихо. Предлог визита — литература. «Мыслитель» в полном восторге приглашает в дом французского коллегу, не зная даже его имени. А Бомарше немедленно рассказывает хозяину, изменив имена, его собственную историю. Клавихо поначалу слушает вни-

мательно, затем встревоженно. Вскоре точность рассказа, ряд подробностей, полнейшее совпадение обстоятельств, детали, которых не выдумаешь, повергают его в панику. Но дадим лучше рассказать об этой сцене самому Бомарше:

«Только представьте себе этого человека, удивленного, ошарашенного моей речью, у него от изумления отвисает челюсть и слова застревают в горле, язык немеет; взгляните на эту радужную, расцветшую от моих похвал физиономию, которая мало-помалу мрачнеет, вытягивается, приобретает свинцовый оттенок».

Но это еще не конец. Вонзив в Клавихо свои бандерильи, поработав как следует плащом, Бомарше наконец повергает его точным ударом:

«...в полном отчаянии старшая из сестер пишет во Францию о нанесенном им публично оскорблении; ее рассказ до такой степени потрясает сердце их брата, что он, не мешкая, испрашивает отпуск для поездки с целью прояснения этого столь запутанного дела и мчится из Парижа в Мадрид; этот брат — я, я бросил все — отчизну, дела, семью, обязанности и развлечения, дабы явиться в Испанию и отмстить за невинную и несчастную сестру; я приехал с полным правом и твердым намерением сорвать маску с лица изменника и его же кровью изобразить на нем всю низость души злодея: а этот изменник — вы!»

Вот неожиданная развязка, подготовленная с величайшим искусством и рассказанная с поразительной живостью. В эффекте сомневаться не приходится. Клавихо падает на колени и в третий раз просит руки Лизетты у ее превосходнейшего брата («Если бы я знал, что у донны Марии такой брат, как вы» и т. п.). Но Бомарше ему отказывает. Слишком поздно, моя сестра вас более не любит! (Накануне Лизетта открыла ему, что готова сочетаться узами брака с неким Дюраном, недавно обосновавшимся в Мадриде.) Уверенный в себе, позвонив лакею, чтобы тот принес шоколад, мститель вынуждает недостойного написать объяснение, кое диктует ему сам, «прохаживаясь по своего рода галерее». Итак, Клавихо пишет и подписывает следующий текст:

«Я, нижеподписавшийся, Хосе Клавихо, хранитель одного из архивов короны, признаю, что, будучи благосклонно принят в доме г-жи Гильберт, низко обманул девицу Карон, ее сестру, давши ей тысячу раз слово чести, что женюсь на ней; своего слова я не сдержал, хотя ей нельзя поставить в вину никаких слабостей или провинностей, кои могли бы послужить предлогом или извинением моему позорному поступку; напротив, достойное поведение сей девицы, к коей я преисполнен глубочайшего уважения, неизменно отличалось безупречной чистотой. Я признаю, что своим поведением и легкомысленными речами, которые могли быть неверно истолкованы, я нанес явное оскорбление оной добродетельной девице, за что прошу у нее прощения в письменном виде без всякого принуждения и по доброй воле, хотя и признаю, что совершенно недостоин этого прощения; при сем обещаю ей любое другое возмещение по ее желанию, буде она сочтет, что этого недостаточно».

Оригинал документа, хранившийся у него, как заверял Бомарше в 1774 году в «Мемуаре», исчез. Дает ли это нам основание сомневаться в его подлинности, как то обычно делают? Не думаю. Если Бомарше в разгар судебного процесса включает документ в свой «Четвертый мемуар», ссылаясь на этот оригинал, значит, он, действительно, им обладает. Впрочем, как подчеркивает Ломени, его существование подтверждается также письмом Карона-отца от 5 июня, из которого явствует, что старый часовщик своими глазами видел извинение Клавихо, восстанавливающее — да еще в каких выражениях! — честь Лизетты:

«Сколь сладостно, мой дорогой Бомарше, быть счастливым отцом сына, коего поступки так славно венчают конец моего жизненного пути! Мне уже ясно, что честь моей дорогой Лизетты спасена энергичными действиями, предпринятыми Вами в ее защиту. О, друг мой, какой прекрасный свадебный подарок ей сия декларация Клавихо. Если можно судить о причине по результату, он, должно быть, крепко струхнул: право же, за всю империю Магомета вкупе с империей Оттоманской не пожелал бы я подписать подобное заявление: оно покрывает Вас славой, а его позором...»

События опережают почту, хотя она в ту пору была достаточно скорой. В момент, когда г-н Карон пишет сыну, он убежден, что Лизетта вскоре, рискну так выразиться, уцепится за Дюрана. Но это значит рассчитывать, не предусматривая Клавихо, который, письменно признав бесчестность своего поведения, десять дней спустя вновь просит у Бомарше руку его сестры. В четвертый, следовательно, раз...

«Я уже объяснился, сударь, и самым недвусмысленным образом, относительно моего намерения возместить огорчения, невольно причиненные мною девице Карон; я вновь предложил ей стать моей женой, если только прошлые недоразумения не внушили ей неприязни ко мне. Я делаю это предложение со всей искренностью. Мое поведение и мои поступки продиктованы единственно желанием завоевать вновь ее сердце, и мое счастье всецело зависит от успеха моих стараний; я позволяю себе поэтому напомнить Вам слово, кое Вы мне дали, и прошу Вас быть посредником в нашем счастливом примирении. Я убежден, что для человека благородного унизить себя перед женщиной, им поруганной, высокая честь; и что тому, кто счел бы для себя унизительным просить прощения у мужчины, естественно видеть в признании своей вины перед особой другого пола лишь проявление добропорядочности...».

Трагедия начинает смахивать на водевиль.

Бомарше и, очевидно, граф Оссон, посол Франции, ходатайствуют перед Лизеттой, которая не заставляет себя долго просить и отказывает бедняге Дюрану. Итак, два дня спустя бедовый жених и злополучная невеста падают в объятия друг друга и, дабы закрепить достигнутое вновь согласие, с восторгом подписывают очередной контракт:

«Мы, нижеподписавшиеся, Хосе Клавихо и Мария-Луиза Карон подтверждаем сим документом обещания принадлежать только друг другу, многократно данные нами, обязуясь освятить эти обещания таинством брака, как только сие окажется возможным. В удостоверение чего мы составили и подписали оный договор, заключенный между нами

в Мадриде, сего мая 26, 1764 года.

Мария-Луиза Карон,

Хосе Клавихо».

Развязка? Куда там! Клавихо вновь исчезает. И 7 июня — ошеломительный поворот событий: взволнованный атташе французского посольства приносит Бомарше записку обеспокоенного графа Оссона...

«Сударь, у меня сейчас был Робиу, сообщивший, что г-н Клавихо явился в казарму Инвалидов, где заявил, что якобы ищет убежище, опасаясь насилия с Вашей стороны, так как несколько дней тому назад Вы вынудили его, приставив пистолет к груди, подписать обязательство жениться на девице Карон, Вашей сестре. Нет нужды объяснять Вам, как я отношусь к приему, столь недостойному. Но Вы сами хорошо понимаете — Ваше поведение в этой истории, каким бы порядочным и прямым оно ни было, может быть представлено в таком свете, что дело примет для Вас столь же неприятный, сколь и опасный оборот. Поэтому я рекомендую Вам ничего не говорить, не писать и не предпринимать, пока я с Вами не повидаюсь...».

Не успевает еще Бомарше дочитать до конца это послание, как к нему является офицер валлонской гвардии с новым предостережением:

«Господин де Бомарше, не теряйте ни минуты; скройтесь, не мешкая, иначе завтра утром вы будете арестованы в постели; приказ уже отдан, я пришел вас предупредить: этот субъект — чудовище, он всех настроил против вас, он морочил вам голову всяческими обещаниями, намереваясь затем публично обвинить вас. Бегите, бегите сию же минуту — или, упрятанный в темницу, вы окажетесь без всякой защиты и протекции».

Бомарше кидается в посольство, где Оссон советует ему безотлагательно пересечь границу: «Уезжайте, сударь. Если вы попадете под арест, то, поскольку никто в вас здесь не заинтересован, все, в конце концов, придут к убеждению, что, раз вы наказаны, значит, виноваты; а потом другие события заставят о вас позабыть; ибо легковерие публики повсюду служит одной из самых надежных опор несправедливости. Уезжайте, говорю вам, уезжайте».

Но Оссон не знал Бомарше. Не знал этой «упрямой башки». Не знал, что «трудности в достижении успеха только укрепляют предприимчивость». Назавтра, склонив на свою сторону двух министров, в том числе главу испанского правительства Гримальди, Бомарше предстает перед королем. Карл III выслушивает его и выносит свое решение: «Тогда король, уразумев дело, отдал распоряжение лишить Клавихо должности и навсегда изгнать с королевской службы».

Конец? Все еще нет. Клавихо, укрывшийся в монастыре капуцинов, вскоре присылает Бомарше невероятное письмо, которым — в пятый раз — просит руки Лизетты!

«О, сударь, что Вы наделали? Не станете ли Вы вечно упрекать себя в том, что легковерно принесли в жертву человека, Вам безмерно преданного, и в то самое время, когда тот должен был стать Вашим братом?»

Бомарше написал на полях: «Вы — мой брат? Да я, скорее, убью ее!»

Таков был его последний ответ Клавихо, которому «бесчестье» отнюдь не помешало продолжить почтенную литературную карьеру и умереть в 1806 году весьма уважаемым человеком. Что до Лизетты, то у нее имелся в запасе «ее Дюран»! Брат, однако, «побудил ее остаться в девицах». Так, очевидно, было ей на роду написано. По правде говоря, никто не знает, что с ней сталось. Постриглась ли она в монахини? Уехала ли в Америку? С уверенностью можно утверждать одно: покинула сей мир она до 1775 года, когда умер Карон-отец, поскольку, как обратил внимание Ломени, «в нотариальном акте, составленном в связи с этой кончиной, перечислены все члены семьи, но о Марии-Луизе в нем не упоминается». И Ломени выражает удивление по поводу того, что «именно та из сестер Бомарше, которая получила наибольшую известность в истории, оставила в ней меньше всего следов». Герои этого невероятного романа и в самом деле вскоре стали известны всей Европе. Гёте воспроизвел эту историю в драме, которая так и называлась «Клавихо». А Марсолье, в ту пору модный писатель, — в комедии «Норак и Жаволси». Когда сам Бомарше включил в свой «Четвертый мемуар» «Отрывок из моей поездки в Испанию», изложив во всех подробностях обстоятельства дела, и когда этот «Мемуар» разошелся в тысячах экземпляров, ни испанский двор, ни задетые Бомарше правительственные учреждения, ни упомянутые в «Мемуаре» дипломаты никак не выразили протеста, ибо эта невероятная история была чистой правдой.

Но не следует обманываться, честь Лизетты была всего лишь благородным предлогом для путешествия Бомарше в Испанию. И наверняка он сам преднамеренно выдвигал на первый план семейные причины своей поездки, чтобы обеспечить себе свободу действий в других областях, на манер фокусника, привлекающего внимание зрителей к правой руке, в то время как по-настоящему работает левая. Бомарше пишет отцу: «Я работаю, пишу, общаюсь, представляю, сражаюсь: вот моя жизнь». В 1764 году больше всего его занимают коммерция и политика. Причем, по-видимому, политика даже берет верх над коммерцией. По-видимому — так как в XVIII веке ничто не явно, все — засекречено. Поручения Шуазеля и проекты Пари-Дюверне были в известной степени связаны между собой. Стали бы Карл III, Гримальди, испанские министры так часто принимать тридцатитрехлетнего незнакомца, будь он просто путешествующим дельцом?

Главная и самая деликатная часть миссии Бомарше касалась Луизианы, о двадцатилетней концессии на которую он должен был договориться с испанским двором. В ожидании, пока события примут благоприятный оборот, Франция нуждалась хотя бы в сохранении своего экономического присутствия на американской территории. По проекту, который Бомарше представил испанскому правительству, эксплуатацию Луизианы надлежало организовать по образцу Индийской компании Ему было также поручено добиться от Карла III исключительного права на «поставку в испанские колонии негров». Если он и принял на себя эту, мягко выражаясь, не слишком приятную, но неотделимую от его «посольских» заданий в целом миссию, то никаких сведений о ее выполнении у нас нет, и есть все основания полагать, что он поспешил о ней позабыть. Как это и предвидели, Карл III в концессии на Луизиану отказал. По справедливому замечанию Огюстена Байи, «министры, принимавшие Бомарше, сочли бы для себя позором уступить иностранцам эксплуатацию самой богатой из колоний». В Париже об этом знали, но на политической шахматной доске зачастую выгодно пожертвовать несколькими пешками. Я не без причины прибегаю к этому избитому образу. В 1764 году Бомарше входит в политику «на цыпочках». Его используют в роли агента, но, как бы мы выразились сегодня, «агента по краткосрочному соглашению». Позднее у него пробудится вкус к самостоятельной игре, к прямому воздействию на события, причем действовать он будет не в личных интересах, а в интересах Франции, сознавая, что наносит удар обществу, системе, обрекшей его быть неизвестно чьим сыном и гражданином второго сорта.

Более благосклонный прием в правительственных кругах встретило предложение о повышении доходности засушливого горного района Сьерра-Морены, граничившего с Андалусией. Предложение исходило, если так можно выразиться, от треста Пари-Дюверне — Бомарше. Испанский министр экономики рассмотрел вопрос о перераспределении земель и государственной субсидии. Подобно тому как поступил бы сейчас промышленник, задумавший строительство завода в провинции, Бомарше заказал развернутое исследование района и послал свои первые указания человеку, собиравшему для него нужные сведения. Бомарше не желал ни в чем полагаться на случайность:

«Узнайте: 1. Какова температура в этих горах?

2. Где именно предпочтительно начать первые строительные работы?

3. Достаточно ли там воды и леса, пригодного для строительства?

4. Каковы наиболее надежные рынки экспорта товаров этого края как через Андалусию, так и через Ламанчу?

5. Есть ли поблизости от дель Висо, последнего из селений Ламанчи, или неподалеку от Байлена, первого Андалусского селения, или на всем расстоянии (примерно в две мили) между этими селениями какие-либо ручьи или реки в Сьерра-Морене, которые текут к Кадису и могут быть превращены в судоходные?

6. Есть ли в Сьерра-Морене какое-либо другое место, более подходящее для строительства, чем вышеобозначенное пространство, потому ли, что оно ближе к морю, или по каким-либо иным условиям, благоприятствующим устройству новой колонии?

7. Каковы качества земли — глинистая ли она, каменистая, песчаная, годится ли для рытья шахт и т. д.?

8. Насколько высоки горы, не будет ли затруднений для гужевого транспорта?

9. Много ли снега выпадает зимой? Много ли дождей летом?

10. Не попадут ли вновь созданные приходы в подчинение к Кордовскому епископу?

11. Не граничит ли эта часть Сьерры на большом протяжении с владениями герцога Медины-Сидония?

12. Каково расстояние между дель Висо и Мадридом и между Байленом и Кадисом?

13. Есть ли там природный строительный материал или придется наладить производство кирпича?

14. Какие дикие растения всходят на этой земле после поднятия целины? Это необходимо, дабы судить о том, какие именно культуры предпочтительней на ней возделывать».

Нет, он ничего не оставил на волю случая, он учел все — кроме испанской волокиты. Видя, что Сьерра-Морене грозит так и остаться краем спящей красавицы, Бомарше с финансовой поддержкой все того же Пари-Дюверне затевает другое предприятие: он берется обеспечивать провиантом все армейские части Испанского королевства, Майорки и гарнизоны на Африканском побережье. На этот раз, кажется, дело верное — ведь соглашение уже подписано. Однако из пространного письма Бомарше, адресованного отцу, мы можем видеть, что он, как всегда, смотрит на вещи трезво:

«...я только что подписал пресловутое соглашение, удостоверяющее мои права вести от собственного имени переговоры с г-ном маркизом д' Эскилаче, военным министром и министром финансов. Весь Мадрид только и говорит о моем деле, меня поздравляют с успехом; но я-то понимаю, что это еще далеко не конец, и молчу, пока не получу новых указаний.

Доброй ночи, дорогой отец; верьте мне и ничему не удивляйтесь — ни моему успеху, ни обратному, буде таковое случится. Тут есть десяток причин для благополучного исхода и сотня — для дурного; если говорить о моем возрасте, я в годах, когда мощь тела и ума возносят человека на вершину его возможностей. Мне скоро тридцать три. В двадцать четыре я сидел меж четырех окон. Я твердо намерен за двадцать лет, отделяющих ту пору от моего сорокапятилетия, добиться результата, который дается лишь упорными усилиями — сладкого чувства покоя, на мой взгляд, истинно приятного только в том случае, если оно награда за труды молодости <...>

Доброй ночи, дорогой отец; уже половина двенадцатого, сейчас приму сок папоротника, поскольку вот уже три дня у меня нестерпимый насморк; завернусь в своей испанский плащ, нахлобучу на

голову добрую широкополую шляпу — здесь это именуется быть в «capa y sombrero», а когда мужчина, набросив плащ на плечи, прикрывает им часть лица, говорят, что он «embozado»[1], и вот, приняв все эти меры предосторожности, в наглухо закрытой карете, я отправлюсь по делам. Желаю Вам доброго здоровья. Перечитывая это письмо, я был вынужден двадцать раз править, чтобы сообщить ему хотя бы некоторую стройность, но посылаю его Вам неперебеленным — это Вам в наказанье за то, что читаете мои письма другим и снимаете с них копии».

Бомарше беспокоился не зря. Сказочное дело, которое сулило «тресту» двадцать миллионов прибыли в год, сорвалось, как и все предыдущие, из-за испанской лени. Если о поездке Пьера-Огюстена судить по этим следующим одна за другой неудачам, можно усомниться в негоциантских и дипломатических способностях Бомарше. Но такое суждение было бы поверхностным. Позднее мы увидим, что к моменту возвращения в Париж положение нашего героя не только не пошатнулось, но, напротив, упрочилось — как в глазах Пари-Дюверне, так и в глазах правительства. Следовательно, были и другие дела, другие поручения, которые были выполнены успешно, но о которых обе стороны предпочли хранить молчание.

За несколько месяцев Бомарше успел сделаться любимцем высшего мадридского общества. Без него не обходится ни одно празднество ни у русского посланника г-на Бутурлина, ни у английского посла лорда Рошфора, который навсегда останется другом Пьера-Огюстена и с которым нам еще предстоит встретиться. Идет игра в «фараон» на безумные деньги, в узком кругу ставят «Деревенского колдуна», графиня Бутурлина воркует роль Анетты в объятиях Бомарше, который исполняет партию Любена, но каждый при этом не забывает служить своему правительству.

В светском вихре есть своя партия и для дамы сердца — маркизы де ла Крус. Она официальная любовница Бомарше на протяжении всего его пребывания в Мадриде и считает долгом оказывать возлюбленному самые высокие услуги — к примеру, без колебаний следовать за Карлом III в его постель. Маркиз де ла Крус, испанский генерал, занятый инспекционными поездками по гарнизонам, предоставлял супруге выражать патриотизм на ее собственный манер. Я, впрочем, забыл уточнить, что маркиза, урожденная Жарант, приходилась племянницей епископу Орлеанскому — тому самому, которому Людовик XV заказывал айвовый мармелад, — и оставалась француженкой душой и телом. Небезынтересная деталь: всякий раз, как маркиза де ла Крус удостаивалась королевской благосклонности, Бомарше считал необходимым незамедлительно поставить об этом в известность Шуазеля, то есть своего министра. Нетрудно себе представить, что маркиза подчас добивалась большего, чем аккредитованный посланник — граф Оссон, — которого правила благопристойности, а также вполне правоверные склонности держали, очевидно, на почтенном расстоянии от королевского ложа.

---

[1] Прикрывший часть лица (*исп.*).

Г-жа де ла Крус, чей медальон Ломени нашел в сундуках Бомарше через много лет после его смерти, была молода, красива и, кажется, весьма остроумна. Кроме того, она без памяти влюбилась в Бомарше, почувствовав в нем родственную душу. Чтобы составить представление об их отношениях, достаточно привести одно из писем Бомарше отцу, написанное в присутствии маркизы. Прочтите его внимательно, ибо тут есть чем насладиться:

«Здесь, в комнате, где я пишу, находится весьма благородная и весьма красивая дама, которая день-деньской посмеивается над Вами и надо мной. Она, например, говорит мне, что благодарит Вас за доброту, проявленную Вами к ней тридцать три года тому назад, когда Вы заложили фундамент тех любезных отношений, кои завязались у нас с нею тому два месяца. Я заверил ее, что не премину Вам об этом написать, что и выполняю сейчас, ибо, пусть она и шутит, я все же вправе радоваться ее словам, как если бы они и в самом деле выражали ее мысли».

Г-жа де ла Крус прерывает Бомарше, перехватывает у него перо и в свою очередь пишет:

«Я так думаю, я так чувствую, и я клянусь Вам в том, сударь»,

Теперь Бомарше может закончить свое письмо словами, от которых маркиза приходит в восторг:

«Не премините и Вы из признательности выразить в первом же письме благодарность ее светлости за благодарность, кою она к Вам питает, и еще более того за милости, коими она меня почтила. Признаюсь Вам, что мои испанские труды, не скрашивай их прелесть столь притягательного общества, были бы куда как горьки».

Г-н Карон, которого это письмо явно позабавило, не мешкая, отвечает из Парижа в ничуть не менее фривольном тоне:

«Хотя Вы уже не раз предоставляли мне возможность поздравить себя с тем, что я соблаговолил потрудиться в Ваших интересах тому назад тридцать три года, нет сомнения, — предугадай я в ту пору, что мои труды принесут Вам счастье слегка позабавить ее очаровательную светлость, чья благодарность великая для меня честь, я сообщил бы своим усилиям некую *преднамеренную направленность,* что, возможно, сделало бы Вас еще более любезным ее прекрасным очам. Благоволите заверить г-жу маркизу в моем глубочайшем почтении и готовности быть ее преданным слугой в Париже».

Тон, легкость стиля, веселое вольнодумство лишний раз подтверждают, каким незаурядным человеком был г-н Карон и каков был характер его отношений с сыном. По другим письмам Карона-отца нам известно, что он мог мыслить и весьма возвышенно. К тому же, справедливо подмечает Ломени, «фраза о преднамеренной направленности обличает знание „Писем к Провинциалу"», то есть высокий уровень его культуры.

Завершается 1764 год. Бомарше — одна нога здесь, другая там — спешит вернуться в Париж, где его ждут семья, Пари-Дюверне и, не надо забывать, начальство в лице герцога де Лавальера. Именно

этому последнему, впрочем, он посылает единственное серьезное письмо, обнаруживающее всю глубину его суждений об Испании. Это письмо следовало бы привести полностью, настолько в нем раскрывается мятежный дух и свободомыслие Бомарше.

Особенно характерным в этом плане мне представляется то место, где он говорит об испанском правосудии; читать тут следует, разумеется, между строк, не забывая — в этом вся соль! — что адресовано послание первому судебному чиновнику Франции.

«Гражданское судопроизводство в этой стране отягощено формальностями, еще более запутанными, чем наши, добиться чего-нибудь через суд настолько трудно, что к нему прибегают лишь в самом крайнем случае. В судебной процедуре здесь царит в полном смысле слова мерзость запустения, предсказанная Даниилом. Прежде чем выслушать свидетелей при рассмотрении гражданского дела, их сажают под арест, так что какого-нибудь дворянина, случайно знающего, что господин имярек действительно либо должник, либо законный наследник, либо доверенное лицо и т. п., берут под стражу и запирают в тюрьму, едва начинается слушанье дела, и потому только, что он должен засвидетельствовать виденное или слышанное. Я сам наблюдал, как в связи с приостановкой выплаты, когда дело сводилось к установлению правильности ведения расчетных книг, в темницу было брошено трое несчастных, случайно оказавшихся у человека, который приостановил выплату в момент, когда к нему явился кредитор. Все остальное не лучше».

Итак, Бомарше возвращается, чтобы увидеться с близкими, в первую очередь с Полиной и Жюли. Не будем забывать о Жюли. Единственное любовное письмо, полученное им в Испании, начинается так: «Я испытываю сегодня такую потребность тебя любить, что могу утолить ее, лишь написав тебе длинное письмо». Это послание подписано Жюли. В багаже Пьера-Огюстена — банки с пресловутым какао, по которому сходит с ума его сестра и от прибавления которого кофе делается еще вкуснее. Тонкая смесь, найденная итальянцами и именуемая капучино. Итак, как я уже сказал, какао, а также — персонажи «Севильского цирюльника».

5

СЕРЬЕЗНЫЙ ЖАНР

> Хотя смешное и тешит на мгновение ум веселым зрелищем, мы знаем по опыту, что смех, вызываемый остротой, умирает вместе со своей жертвой, никогда не отражаясь в нашем сердце.

Этот эпиграф не может не вызвать улыбку у людей, для которых Бомарше прежде всего автор «Фигаро». Но в 1765 году, по возвращении из Испании, — таково его искреннее убеждение. Впрочем,

это всеобщее поветрие; самые жизнерадостные люди той поры словно перерождаются, стоит им обмакнуть перо в чернильницу. Век Просвещения, да будет мне дозволено так выразиться, отнюдь не век праздничных потешных огней. Развлекаться развлекаются, но душа и ум поглощены отнюдь не забавами. Над такой позицией — ибо это сознательная позиция — можно посмеяться. Но разве мы сегодня не склонны к тому же? Поиски счастья — вообще глупая затея, их результаты неизменно печальны, в революциях же, как правило, немало уксуса. Чтобы из-под пера Бомарше брызнула радость, ему придется пережить невзгоды. Повторяю, чтобы научиться смеяться над другими и над собой, нужно познать подлинные страдания.

В 1765 году время для этого еще не пришло. Бомарше, проживший год «poco a poco» [1], возвращается к «vivacidad francese» [2], его подхватывает парижский вихрь. Он ощущает такое «волнение души, сердца и ума», что ему приходится изо всех сил сдерживать себя, чтобы не заплутаться «в лабиринте». Продолжая руководить своими испанскими начинаниями, во всяком случае, тем, что от них осталось, он должен еще успеть управиться с делами французскими, как общественными, так и частными. Он уже не обязан блюсти жаркое Людовика XV, поскольку продал за бесценок свою должность контролера трапезы, но все еще остается королевским секретарем и, главное, незаменимым компаньоном принцесс. Из Версаля он мчится сломя голову — теперь уже, правда, не в «горшке», а в собственной карете — на Марсово поле, где Пари-Дюверне не может без него сделать ни шагу. С Марсова поля — в Лувр, судить браконьеров! И поскольку он относится ко всему серьезно, а правосудие — его страсть, за несколько месяцев он выносит ряд. приговоров, защищающих крестьян от злоупотреблений полевых сторожей, находящихся под его началом. А чтобы его позиция была ясна и понятна простым людям, он обязывает священников тех приходов, которые подлежат его юрисдикции, разъяснять ее. «Надлежит убедить поселян, что тот же суд, который выносит им приговор, когда они виновны <...> обеспечивает им гарантии против мести сторожей и в свою очередь наказывает этих последних за злоупотребления властью...» Наконец, дабы проверить на месте правильность выполнения своих решений, он устраивает публичные заседания суда в упомянутых приходах, председательствуя на них со всей присущей ему добросовестностью и пониманием. Во всем этом нет ничего удивительного, но здесь раскрывается, как мне кажется, характер. Действуя таким образом, Бомарше как нельзя более усложнял свою жизнь и свой распорядок дня. Мы еще к этому вернемся, ибо не следует терять из виду, что наш герой вел одновременно пять или шесть жизней. Фигаро — здесь, Фигаро — там! Не так ли?

Серьезную озабоченность вызывали также его семейные и любовные дела. Прежде всего ему пришлось толкнуть отца в объятия

---

[1] Потихоньку (*исп.*).
[2] Французская живость (*исп.*).

г-жи Анри, а это было не просто — и не потому, что дама не проявляла энтузиазма, но потому, что привередничал г-н Карон. Хотя г-жа Анри и была все еще привлекательна, ей сравнялось шестьдесят. Г-н Карон к ней привык, но, будучи на восемь лет старше, страшился перемен. Еще из Мадрида сын неоднократно писал ему, убеждая сделать решительный шаг. Например:

«Меня ничуть не удивляет Ваша к ней привязанность: я не знаю веселости благородней и сердца лучше. Мне хотелось бы, чтобы Вам посчастливилось внушить ей более пылкое ответное чувство. Она составит Ваше счастье, а Вы, безусловно, дадите ей возможность познать, что такое союз, основанный на взаимной нежности и уважении, выдержавших двадцатипятилетнюю проверку. Она была замужем, но я готов дать руку на отсечение — она еще не изведала до конца, что такое сердечные радости, и не насладилась ими. Будь я на Вашем месте, мне хорошо известно, как бы я поступил, а будь я на ее месте — как бы ответил; но я не Вы и не она, не мне распутывать этот клубок, с меня хватает своего».

Г-н Карон незамедлительно ответил на это самым деликатным образом:

«Вчера мы ужинали у моей доброй и милой приятельницы, которая весело посмеялась, прочитав то место Вашего письма, где Вы пишете, как поступили бы, будь Вы мною, у нее нет на этот счет никаких сомнений, и она говорит, что охотно доверилась бы Вам и не целует Вас от всего сердца только потому, что Вы находитесь за триста лье от нее...

Она в самом деле очаровательна и с каждым днем все хорошеет. Я думаю так же, как и Вы, и не раз говорил ей, что она еще не изведала, что такое сердечные радости, и не насладилась ими, ее веселость — плод чистой совести, свободной от каких бы то ни было угрызений; добродетельная жизнь позволяет ее телу наслаждаться спокойствием прекрасной души. Что до меня, то я люблю ее безумно, и она отвечает мне полной взаимностью».

Однако то ли неуверенность, то ли робость, а скорее всего — боязнь показаться смешными, мешает вдовцам пойти дальше любезничанья, приправленного рассуждениями о недугах и сетованиями на возраст. Приехав в Париж, Бомарше, не мешкая, берется за это дело, и 15 января 1766 года г-жа Анри становится г-жой Карон перед богом и людьми. И пора было — спустя два года она скончалась. Как мы увидим впоследствии, третьему браку Карон сопротивлялся куда меньше.

Иные мотивы побуждали Тонтон — она же девица де Буагарнье — играть сердцем и чувствами несчастного Мирона. Этот последний был неглуп, и должность интенданта Сен-Сирской женской обители позволяла ему жить на широкую ногу, но было в нем что-то резонерское и иезуитское. Он раздражал всех, начиная с наиболее заинтересованной особы и ее брата. Однако Бомарше, хотя и рассчитывал некоторое время для сестры на другую партию, в конечном итоге поддержал Мирона. Впрочем, без особого восторга.

«Да, он играет на виоле, это верно; каблуки у него на полдюйма выше, чем следует; когда он поет, голос его дребезжит; по вечерам он ест сырые яблоки, а по утрам ставит не менее сырые клистиры; сплетничает он с видом холодным и наставительным; у него есть какая-то нелепая склонность к педантизму где надо и не надо, что, говоря по правде, может побудить какую-нибудь кокетку из Пале-Рояля дать любовнику коленкой под зад; но порядочные люди на улице Конде руководствуются иными принципами: нельзя изгонять человека за парик, жилет или калоши, если у него доброе сердце и здравый ум».

Итак, через год после отца обвенчалась и Тонтон. Теперь на улице Конде оставалось пристроить двоих: г-на Бомарше и девицу Бомарше. В Испании, даже в объятиях маркизы де ла Крус, Пьер-Огюстен не забывал Полины. И, вернувшись, он, безусловно, готов был на ней жениться. По любви, конечно, ибо отныне не оставалось сомнений: у Полины Ле Бретон не было ни гроша, она разорилась. Кузен Пишон не нашел в Капе ничего, кроме кредиторов и судебных исполнителей. Пресловутое поместье было грезой, в лучшем случае — воспоминаньем. В Париж бедняга Пишон не вернулся, его унесла злокачественная лихорадка. От всех проектов Полины и Бомарше не осталось ничего, разве что удовольствие, которое они получали, когда их строили. Деньги и товары, отправленные с Пишоном в Сан-Доминго, пропали. По возвращении в Париж Бомарше тем не менее попытался увидеться с Полиной, но последняя тотчас дала понять, что ее чувства изменились. И действительно, вскоре ему стало известно, что девица Ле Бретон практически уже обручена с шевалье де Сегираном.

Вы, конечно, не забыли о юном креоле, влюбленном в Жюли и проводившем все свои вечера на улице Конде. Это он. Эрве Бромберже, которому я посвящаю эту книгу, при всех своих нежных чувствах к Бекасс убежден, что Жюли сыграла в этой истории весьма сомнительную роль. Послушать его, так она бросила Сегирана в объятия Полины, чтобы сохранить брата для себя. Я и сам не так далек от этой мысли: Жюли, вне всяких сомнений, не желала видеть Пьера-Огюстена супругом Полины. Допустить, чтобы он уехал в Сан-Доминго, значило согласиться на вечную разлуку. А под рукой был Сегиран, Сегиран, которым она вертела как хотела, Сегиран, которого она, возможно, и соблазнила, только чтобы не отстать от брата. Каждому — свой креол, не так ли? Пока Бомарше был в Мадриде, Жюли получила все карты в руки. Все карты и Сегирана. Нет никаких доказательств, ни одного письма, подтверждающего эту гипотезу, но то, что Полина любила Бомарше, не подлежит сомнению, это факт бесспорный. Однако при всей своей любви к Пьеру-Огюстену головы она не теряла.

Вопреки всем доводам рассудка, которые не властны над сердцем, Бомарше еще раз написал Полине. Прекрасное письмо, смиренное и твердое одновременно, вот его заключительная часть:

«Если Вы не возвращаете мне свободу, только напишите, что

Вы прежняя Полина, ласковая и нежная на всю жизнь, что Вы считаете для себя счастьем принадлежать мне, — я тотчас порву со всем, что не Вы. Прошу Вас об одном — держать все в секрете ровно три дня, но от всех без исключения; остальное я беру на себя. Если Вы согласны, сохраните это письмо и пришлите мне ответ на него. Если сердце Ваше занято другим и безвозвратно от меня отвернулось, будьте хотя бы признательны мне за порядочность моего поведения. Вручите подателю сего Вашу декларацию, возвращающую мне свободу. Тогда я сохраню в глубине сердца уверенность, что выполнил свой долг, и не буду корить себя. Прощайте. Остаюсь, до получения Вашего ответа, для Вас тем, кем Вам будет угодно меня считать».

Она тут же ответила ему, что «ее решение принято бесповоротно». Конец ее письма довольно баналeн: «...благодарю Вас за Ваше предложение и желаю от всего сердца, чтобы Вы нашли себе жену, которая составит Ваше счастье; известие о Вашей женитьбе, как и обо всем другом, что случится с Вами хорошего, доставит мне огромное удовольствие...» Она подписала это прощальное письмо: Ле Бретон. Все было сказано. Ей оставалось только выйти за Сегирана, что она и сделала. Через год она овдовела. Позднее, оказавшись в нужде, она написала Бомарше совсем в ином тоне. Он ей помог без лишних разговоров, ибо он был само великодушие и не ведал злопамятства. И это приключение также завершилось на серьезный лад.

Чтобы забыть об этой обиде, от которой у него еще долго «закипала кровь в жилах», Бомарше придумал себе новое занятие. Он стал лесником. Но поймите меня правильно — он не был способен удовольствоваться рощицей. Ему был необходим настоящий лес. Турский архиепископ, нуждавшийся в деньгах, пустил с торгов часть принадлежавшего ему Шинонского леса, а именно — 960 гектаров. С помощью своего неизменного дружка Пари-Дюверне Бомарше приобрел этот лес за весьма крупную сумму; первый взнос, по слухам, составлял 50 000 экю. Из своей поездки в Турень Бомарше вернулся в весьма буколическом настроении, взбудораженный счастливыми перспективами, которые открывала перед ним эксплуатация приобретенного участка. К сожалению, он с некоторым запозданием вспомнил, что Уложение о лесах воспрещает чинам королевского егермейстерства принимать участие в торгах на леса и боры. Необходимо было найти подставное лицо. Бомарше не стал ломать голову и, не долго думая, избрал своего лакея, некоего Ле Сюера. Ужасный промах! Этот последний тотчас смекнул, какую выгоду может извлечь из мошенничества хозяина, и немедленно воспользовался своим преимуществом — ничтоже сумняшеся, он завладел Шиноном и принялся бесстыдно шантажировать Бомарше, оказавшегося в весьма затруднительном положении. Но Фигаро живо справился с Криспеном, не без помощи герцога де Лавальера, которому откровенно во всем признался. Генерал-егермейстер, ничуть не возмущенный поведением Бомарше, решительно встал на

сторону своего помощника, и написал канцлеру Мопу письмо, которое я не могу не привести полностью, настолько красноречиво характеризует оно нравы той эпохи:

«Господин граф, г-н де Бомарше, старший бальи Луврского егермейстерства, явился ко мне, дабы посвятить меня в ужасную историю, приключившуюся с ним, в связи с коей он нуждается в Вашем благоволении и покровительстве. Убедительно прошу Вас безотлагательно его выслушать и не отказать ему в Вашем благоволении; он будет иметь честь рассказать Вам, что, покупая у короля Шинонский лес, поручил выступить на торгах Ле Сюеру, своему лакею, как то принято в подобных случаях. Сей слуга, обокрав своего хозяина в Париже и будучи за это выгнан со службы, вопреки уступке прав и обещаниям, кои дал он г-ну де Бомарше, единственному владетелю леса, удалился в Шинон, где, злоупотребляя своим положением доверенного лица, распоряжается, продает, получает деньги и причиняет своему господину убытки, уже превысившие 90 000 франков. Поскольку вынесение ему приговора по суду потребовало бы слишком долгого времени и дало бы ему возможность продолжать производимые им хищения, а также поскольку этот человек, ничем не владеющий и ничем не дорожащий, никак не сможет возместить причиненные им убытки, г-ну Бомарше крайне важно, чтобы Вы соблаговолили выдать ордер на немедленный арест негодяя. Сие единственный способ пресечь его проделки, акт правосудия, от коего полностью зависит состояние г-на де Бомарше, вложившего уже более 50 000 экю в это дело. Прошу Вас, господин граф, отнестись к нему со всей доброжелательностью и принять мои заверения в том, что Вы меня этим крайне обяжете, а также в совершенном моем почтении, с коими я имею честь оставаться Вашим покорнейшим и нижайшим слугой».

Как водилось в подобных случаях, Мопу разрешил дело в пользу господина, который вернул себе Шинон. История и вправду не слишком красивая, но не будем так уж винить Бомарше, поскольку Ле Сюер действительно его обокрал. Нас шокируют нравы той эпохи. Но разве и в наше время нет жуликов? Обвести закон, надуть налоговое ведомство или позубоскалить насчет властей — вторая натура французов.

Словом, в Турени Бомарше обрел покой и приобщился к природе. Когда он пишет из своего дома в Риваренне, так и чувствуется соседство Руссо:

«Я живу в своей конторе, на прекрасной крестьянской ферме, между птичьим двором и огородом, вокруг живая изгородь, в моей комнате стены выбелены, а из мебели — только скверная кровать, в которой я сплю сном младенца, четыре соломенных стула, дубовый стол, огромный очаг без всякой отделки и столешницы; зато, когда я пишу тебе это письмо, передо мной за окном открываются все охотничьи угодья, луга по склонам холма, на котором я живу, и множество крепких и смуглых поселян, занятых косьбой и погрузкой сена на фуры, запряженные волами; женщины и девушки с граблями на плече или в руках работают, оглашая воздух прон-

зительными песнями, долетающими до моего стола; сквозь деревья, вдали, я вижу извилистое русло Эндры и старый замок с башнями по бокам, который принадлежит моей соседке г-же де Ронсе. Все это увенчано вершинами, поросшими, сколько хватает глаз, лесом, он простирается до самого гребня горной цепи, окружающей нас со всех сторон, образуя на горизонте исполинскую круглую раму. Эта картина не лишена прелести. Добрый грубый хлеб, более чем скромная пища, отвратительное вино — вот из чего складываются мои трапезы».

Насчет вина явное преувеличение — из других его писем нам известно, что вувре было ему весьма по вкусу. Бомарше, как обычно, увлечен делом, он прокладывает дороги, воздвигает шлюзы, чтобы сделать Эндру судоходной круглый год, налаживает регулярное движение своих фур и пятидесяти барж, которые должны доставлять грузы в Тур, Сомюр, Анжер и Нант. Нет, он не сидит в своем лесу сложа руки. И если ставни его дома закрыты, это значит, что он в Париже — в Лувре, в Военной школе, на улице Конде — или в Версале. В этом человеке сидит сам черт, и, однако, если сравнить 1766 год с тем, что ему предстоит в ближайшем будущем, он пока еще живет как бы в замедленном ритме!

На улицу Конде нужно найти нового камердинера вместо Ле Сюера. Домашняя забота, которой нет места в биографии? Полно! С Бомарше все не так просто: он нанимает негра. Вскоре того отбирают по суду как собственность некоего Шайона и бросают в тюрьму. Кровь Бомарше закипает, он тут же пишет директору департамента колоний, иными словами — человеку, на котором лежит двойная ответственность. В этом письме уже чувствуется бунтарь Фигаро, чей воинствующий монолог вскоре потрясет общество:

«Бедный малый по имени Амбруаз Люка, все преступление которого в том, что он чуть смуглее большинства свободных жителей Андалусии, что у него черные волосы, от природы курчавые, большие темные глаза и великолепные зубы — качества вполне извинительные, — посажен в тюрьму по требованию человека, чуть более светлокожего, чем он, которого зовут Шайон и права собственности которого на смуглого ничуть не более законны, чем были права на юного Иосифа у израильских купцов, уплативших за него тем, кто не имел ни малейшего права его продавать. Наша вера, однако, зиждется на высоких принципах, кои замечательно согласуются с нашей колониальной политикой. Все люди, будь они брюнеты, блондины или шатены, — братья во Христе. В Париже, Лондоне, Мадриде никого не запрягают, но на Антильских островах и на всем Западе всякому, кто имеет честь быть белым, дозволено запрягать своего темнокожего брата в плуг, дабы научить его христианской вере, и все это к вящей славе божьей. Если все прекрасно в сем мире, то, как мне кажется, только для белого, который понукает бичом черного».

Бомарше не удовольствовался тем, что, как принято в интел-

лектуальных кругах, писал письма или подписывал широковещательные петиции, его действительно в высшей степени волновала судьба Амбруаза Люка, личная судьба именно этого негра. И он активно действует. Заплатить, откупиться от Шайона — пустяк. Тут достаточно проявить щедрость. Но нужно еще остановить судебную процедуру. Чтобы освободить Люка, Бомарше прибегает к Лавальеру, Шуазелю, принцессам, он бросает на чашу весов весь свой немалый кредит. Кто когда-нибудь подымал подобный шум из-за какого-то несчастного негра?

У большинства настойчивость Пьера-Огюстена вызвала недоумение, но ей же он был обязан уважением и дружбой некоторых влиятельных лиц. Например, принца де Конти, который, как мы увидим, не отступится от Бомарше в самые трудные минуты. История их знакомства, впрочем, заслуживает того, чтобы о ней рассказать, — она вполне под стать истории с негром. Луи-Франсуа де Бурбон, принц де Конти — следовательно, его королевское высочество — приказал снести некую ограду, «поскольку она — по выражению Гюдена — мешала его развлечениям». Крестьянин, который *смел* возвести эту ограду, *посмел* принести жалобу Бомарше. За несколько дней до судебного разбирательства «советчики», явно движимые лучшими намерениями, дружески намекнули Бомарше, что какой-то жалкий забор, поставленный мужланом, не стоит гнева Конти. Судья рассвирепел и бросился к принцу, чтобы объяснить тому, что правосудие тем не менее свершится, что он, Конти, провинился и будет наказан. Принц выслушал посетителя и заключил его в объятия.

Бомарше, не высоко ставивший свои парады, давно уже мечтал написать настоящую театральную пьесу. Замысел «Евгении», впервые увидевшей сцену только через восемь лет, возник, очевидно, еще в 1759 году. Что произошло за эти годы? Он работал. Лентилак насчитал «семь рукописей, перегруженных вариантами». Бомарше то отчаивался, то сомневался, то вновь начинал горячо верить в свою пьесу, возвращался к ней, снова бросал. Автору «Жана-дурака» было очень трудно писать «серьезно». В первых редакциях драматические сцены чередуются с буффонадой. Бомарше никак не удавалось помешать себе быть забавным, ему пришлось старательно преодолевать собственную природу. Ах, быть серьезным — вот честолюбивый замысел, вот — навязчивая идея. Не улыбайтесь! В противоборстве с жанром серьезной драмы Бомарше сделал несколько открытий, и я искренне убежден, что, пятясь назад — то есть уходя от себя самого, — он не занимался чем-то абсолютно бесполезным. Разве великолепный монолог «Женитьбы» не самая, возможно, серьезная тирада во всем французском театре? Но вернемся к «Евгении». Вероятно, пьеса так и осталась бы в столе, если б постановка «Побочного сына» и «Отца семейства» Дидро, а также успех пьесы Седена «Философ, сам того не ведая» не побудили Бомарше довести работу до конца. Сюжет «Евгении» не оригинален — молодая девушка, соблазненная распутником аристократом, мнимая женитьба

и т. д. Но Бомарше может считаться новатором в той мере, в какой он углубил в финальной сцене реализм по сравнению со своими предшественниками. Например, Бомарше дает Евгении, беременной от Кларендона, следующие слова: «Ладно, ты вправе взять свое, твое прощенье у меня под сердцем...» Это показалось смелым, тем более смелым, что Евгения сопровождала реплику соответствующим жестом! В указаниях к этой сцене, найденных на одной из рукописей, предусмотрительный Бомарше уточнял: «С этим жестом нужно быть поосторожнее».

За несколько месяцев до первого представления во Французском театре — то есть в «Комеди Франсэз» — Бомарше пришлось еще раз перелопатить текст, чтобы удовлетворить капризы цензора, некоего Марена, с которым мы вскоре встретимся снова — XVIII век тесен. Действие пьесы происходило в Бретани, в замке. Поскольку Марен счел, что подобный скандал во Французском королевстве случиться не может, Бомарше пришлось перенести действие в Великобританию. Его интересовали критические суждения о пьесе, и он многократно читал ее в разных салонах. Если он выяснял по преимуществу мнение герцогов, то потому лишь, что именно они были его слушателями и именно с ними у него были наилучшие отношения. Советы, получаемые им, были не так глупы — например, те, что исходили от герцога де Ниверне, министра, пэра Франции и члена Французской Академии. После внимательного анализа текста, присланного ему за неделю до того, что ныне именуется премьерой, Ниверне вручил автору несколько страниц весьма проницательных замечаний, которые тот немедленно учел. Однако, несмотря на все эти поправки и переделки, первое представление «Евгении» провалилось.

В ту пору театр «Комеди Франсэз» еще помещался на улице Фоссе-Сен-Жермен, напротив «Прокопа». Выстроен он был хуже некуда: три яруса лож, откуда сцена была видна плохо, и партер, где зрители стояли. К тому же там совершенно невозможно было добиться тишины. Что касается актеров-пайщиков, они — то ли по каким-то таинственным причинам, то ли просто из сквалыжничества — люто ненавидели друг друга и не вылезали из темных интриг. В этом плане с тех пор мало что изменилось, но как раз в 1767 году пайщики впервые пригласили актеров на оклад; присутствие новичков, только и думавших о том, как бы войти в пай и стать равноправными совладельцами, отнюдь не разрядило атмосферы. В сущности, пайщики были единодушны лишь в одном: как бы получше ободрать авторов. Но это уже другая история.

В преддверии 29 января, даты, на которую было назначено первое представление, Бомарше сорит деньгами и, ясное дело, всюду поспевает — от колосников до оркестровой ямы. Он занимается всем — залом, декорациями, светом, режиссурой, рекламой, походя что-то изобретает для усовершенствования машинерии этого театра, выстроенного сто лет назад. Тем, кто был знаком с Жаном Кокто и наблюдал его на репетициях, легко себе представить поведение Бомарше. Про Кокто дураки тоже говорили, что он хватается за все.

Но Кокто рядом с Бомарше — ленивец. Чтобы сравняться с ним в разносторонности, Кокто нужно было бы стать еще часовщиком, музыкантом, банкиром, судьей, дипломатом и — как знать? — лесником. А ведь в 1767 году Бомарше только начинает.

Состав исполнителей был хороший: в роли Евгении выступала г-жа Долиньи, соперница г-жи Клерон; человек верный, Бомарше впоследствии доверил ей роль Розины. Кларендона играл прославленный Превиль, великий соблазнитель на подмостках и вне сцены, которому было уже сорок шесть лет. Друг автора, он станет первым Фигаро в «Севильском цирюльнике», а в «Женитьбе» сыграет Бридуазона.

Как я уже сказал, зрители встретили «Евгению» весьма прохладно. Во время двух последних действий в зале наблюдалось, что называется, «движенье». Погоду в Париже делал барон Гримм, несносный барон Гримм, напудренный, накрашенный, злобный карлик, злобный глупо, как это нередко случается с хроникерами, слишком долго прозябающими в газете. «Евгению» он уничтожил. Автору с непререкаемостью, которую дает человеку возможность вещать с трибуны, вынес безапелляционный приговор: «Этот человек, — написал Гримм, — никогда ничего не создаст, даже посредственного. Во всей пьесе мне понравилась только одна реплика: когда Евгения в пятом действии, очнувшись после долгого обморока, открывает глаза и видит у своих ног Кларендона, она восклицает, отпрянув: «Мне показалось, я его вижу!» Это сказано так точно и так отличается от всего остального, что, бьюсь об заклад, придумано не автором».

Освистанная 29 января, «Евгения» была встречена аплодисментами через два дня — 31-го. Бомарше никогда нельзя было уложить на обе лопатки надолго — в промежутке между спектаклями он коренным образом переработал два последних действия. Впоследствии он проделает то же самое с «Цирюльником», и не менее успешно. Достопочтенный Фрерон, критик, к которому прислушивается публика и которого опасаются писатели, отмечает в «Анне литерер»: «„Евгения", сыгранная впервые 29 января сего года, была довольно плохо принята публикой, можно даже сказать, что этот прием выглядел полным провалом; но затем она с блеском воспряла благодаря сокращениям и поправкам; она долго занимала публику, и этот успех делает честь нашим актерам». «Евгения» была представлена семь раз подряд, что в ту эпоху было успехом незаурядным, а впоследствии выдержала двести представлений — цифра весьма почтенная для репертуара «Комеди Франсэз». Первая пьеса Бомарше вскоре была переведена и сыграна в большинстве европейских городов, где встретила прием еще более горячий, чем в Париже. Изданиям «Евгении», как французским, так и иностранным, нет числа. Таким образом, было бы ошибочно утверждать, что «Евгения» не имела настоящего успеха.

Правда, Бомарше сделал все, что было в его силах, чтобы поддержать свое произведение и выявить его актуальность. После премьеры он посвятил несколько дней «Опыту о серьезном драма-

тическом жанре», написанному, очевидно, залпом и имевшему некоторый отклик. В этом эссе, вдохновленном теориями Дидро, соседствуют куски превосходные и никудышные, но живость стиля сообщает работе известное единство. Талант многое искупает, к примеру, приговор трагедии, который выносит Бомарше:

«Какое мне — мирному подданному монархического государства XVIII века — дело до революций в Афинах или Риме? Могу ли я испытывать подлинный интерес к смерти пелопоннесского тирана? Или к закланию юной принцессы в Авлиде? Во всем этом нет ничего мне нужного, никакой морали, которую я мог бы для себя извлечь. Ибо что такое мораль? Это извлечение пользы и приложение к собственной жизни тех раздумий, кои вызывает в нас событие. Что такое интерес? Это безотчетное чувство, с помощью коего мы приспосабливаем к себе оное событие, чувство, ставящее нас на место того, кто страдает в создавшихся обстоятельствах. Возьму наудачу пример из природы, дабы прояснить свою мысль. Почему рассказ о землетрясении, поглотившем Лиму и ее жителей, за три тысячи лье от меня, меня трогает, тогда как рассказ об убийстве Карла I, совершенном в Лондоне по приговору суда, только возмущает? Да потому, что вулкан, извергавшийся в Перу, мог прорваться и в Париже, погребя меня под руинами, и эта угроза, возможно, для меня все еще существует, тогда как ничего подобного невероятному несчастью, постигшему английского короля, мне опасаться не приходится».

Некоторые исследователи усматривают в интриге «Евгении» историю Лизетты. Я этого мнения не разделяю. Не говоря уж о том, что первые наброски «Евгении» были сделаны еще до поездки в Испанию, психологическое несходство Лизетты с Евгенией, как мне представляется, исключает всякую мысль о ней как о прототипе героини. Не надо забывать о том, какова была Лизетта. Не надо забывать ни ее зрелого возраста, ни Дюрана. Конечно, остаются отдельные черточки, беглые связи пережитого и вымысла, но это мы найдем в любой книге любого автора. Порывшись в «Большом словаре» Робера, мы отыщем и там связи между частной жизнью наших лексикологов и их замечательным трудом, хотя бы в подборе цитат, которые подчас являются признаниями. Не заслуживает, по-моему, особых толкований и слово «драма», не стоит сражаться из-за того, первым ли Бомарше ввел в театральный обиход это определение, и что именно хотел он выразить, употребив этот термин. Все это бесплодные игры, тогда как перед нами человек, каждый час жизни которого вызывает страстный интерес и мысль которого достигала наибольшей высоты отнюдь не тогда, когда он философствовал. К тому же, вступив на этот путь, того и гляди окажешься обреченным на бесконечные ссылки и сноски. А я, как вы могли заметить, постарался не дать ни единой. Кокетство, разумеется, но кокетство, оправданное следующим рассуждением Бомарше: «Нет, я отнюдь не любитель пространных и обильных примечаний: это — произведение в произведении, снижающее достоинство обоих. Один из секретов изящной словесности, особенно когда речь идет

о предметах серьезных, это, по-моему, прекрасный талант соединять в трактуемом сюжете все, что может усилить его содержательность; изолированность примечаний ослабляет его эффект». Как после этого дать хоть одну сноску, будь она даже необходима?

Пока зрительный зал наслаждается его драмой, другая, на этот раз подлинная, назревает за кулисами его частной жизни. Началось все, впрочем, на самый романтичный манер. Частой гостьей в доме Бомарше на улице Конде была некая дама Бюффо, особа весьма красивая, которая родилась на кухне, а умерла впоследствии от оспы в апартаментах директора Оперы, своего супруга. «Секретные записки» объясняют следующим образом ее пристрастие к литераторам: «Она холила свое тело с утонченной изысканностью. Желая смыть с себя грязь, она создала салон, где собирались художники, люди талантливые и пишущие, и, выступая в роли светской законодательницы мод, пыталась заставить позабыть о своем низком происхождении». Эта самая г-жа Бюффо, если верить Гюдену, поклялась снова женить Бомарше. По роману Гюдена, ибо его записки истинный роман, обручение совершилось во мгновение ока, поскольку дама Бюффо провела свою операцию, не дав Бомарше опомниться:

— Друг мой, о чем вы думаете, когда прелестная вдова, осаждаемая роем поклонников, возможно, отдала бы вам предпочтение перед всеми? Завтра я отправлюсь вместе с ней на прогулку в ту дальнюю аллею Елисейских полей, которую называют Аллеей вдов. Садитесь на коня, вы нас встретите как бы случайно, заговорите со мной, а там будет видно, подойдете ли вы друг другу.

Назавтра, как повествует несравненный Гюден, верхом на великолепной каурой кобыле, на которой он выглядел весьма импозантно, в сопровождении слуги, чей конь был несколько скромнее, Бомарше появился в этой длинной и уединенной аллее. Его заметили задолго до того, как он приблизился к карете, где сидели прекрасные дамы.

Красота скакуна, привлекательный облик всадника располагали в его пользу... и т. д. Развязка не заставила себя ждать: несколько месяцев спустя, 11 апреля 1768 года, они обвенчались. Простодушный Гюден замечает, что эта нечаянная, случайная встреча напомнила ему знакомство Эмиля и Софи в книге Руссо! И точно!

Нечего и говорить, что я не верю ни единому слову в этом романе. Истинна здесь только дата венчания. Что до остального, то факты таковы:

Женевьева-Мадлена Уотблед, родившаяся в 1731 году, в 1754 вышла за некоего Левека, генерального смотрителя провиантской части дворца Меню-Плезир. Ее муж скончался 21 декабря 1767 года. От декабря до апреля — четыре месяца. Если верить Гюдену, г-жа Левек принялась охотиться за новым супругом, не прошло и двух месяцев с похорон первого! Откуда такая подозрительная поспешность, такая скандальная прыть у женщины, уважаемой в свете и слывшей — это известно — особой достойной и сдержанной? И с какой стати Бомарше соглашается на это нелепое свидание,

почему он не может выждать со своим предложением руки и сердца, пока истечет пристойный срок, хотя бы время вдовьего траура? Ни на один из этих вопросов Гюден не отвечает и явно не хочет, чтобы они даже возникали. Совершенно очевидно, что для столь поспешной женитьбы имелась серьезная причина. Вот она: восемь месяцев спустя от этого союза родился сын. Гюден сочинил свой роман — или ему его подсказал Бомарше, — чтобы оберечь репутацию и добрую память о Женевьеве, почтенной женщине, которая была у всех на виду. 11 апреля 1768 года они с Бомарше только узаконили существующее положение, увенчав бракосочетанием свою любовь, ибо любили они друг друга всерьез. Рождение Огюстена упрочило их счастье. Бомарше уже давно страстно жаждал стать отцом, счастливые воспоминания об улице Сен-Дени также склоняли его к тому, чтобы обзавестись семьей. Но для этого нужно было найти подходящую женщину, которую он мог бы уважать. Если он и знавал женщин дюжинами, если женщины не давали прохода этому прославленному Дон Жуану, вешались ему на шею, очевидно, немного было таких, о женитьбе на которых он мог помыслить, и эти последние, как назло, оказывались наименее привлекательными. Так ли уж отличался Бомарше в этом плане от других мужчин? Если он чем и отличался, то как раз своей неуемной, почти маниакальной жаждой отцовства. Вот, судите сами: «Становитесь отцами — это необходимо; таков сладчайший закон природы, коего благотворность проверена опытом; тогда как к старости все иные связи постепенно ослабевают, одни лишь связи отцовства упрочиваются и крепнут. Становитесь отцами — это необходимо. Эту бесценную и великую истину никогда не лишне повторять людям». Удивительно, не правда ли? Но Бомарше никогда не перестанет удивлять нас, как добродетелью, так и легкомыслием.

Женевьеве тридцать семь лет, когда она становится первой г-жой де Бомарше — бедняжка Франке ведь имела право лишь на имя Карон. Правда, Женевьева принадлежит совсем к иному кругу. Ее отец был краснодеревцем и занимал в Париже высокий выборный пост, короче, одной ногой стоял в городе, другой — при дворе. Свое немалое состояние г-н Левек в основном оставил жене в виде пожизненной ренты. Сохраняя дом на улице Конде, где супруги занимали весь второй этаж, Бомарше купили поместье неподалеку от Пантена. Женевьева не отличалась крепким здоровьем и должна была, особенно в течение беременности, побольше жить в деревне, а в ту пору Пантен был концом света. Каждый вечер после изнурительного рабочего дня в Париже Пьер-Огюстен возвращался к ней. Он был образцовым мужем. Гюден утверждает, что никогда, ни под каким предлогом он не провел ни одной ночи вне дома (если не считать поездок в Шинон), неизменно спал в той же спальне и даже в той же постели, что и жена. Говорю вам — серьезный жанр.

Уж не потому ли он поссорился с Людовиком XV, что все его мысли были сосредоточены на домашнем очаге и, поглощенный этим мещанским существованием, он утратил придворные привычки?

Не думаю. Повод, из-за которого он впал в немилость был ничтожным и сам по себе не представляет никакого интереса, но следует все же о нем рассказать — Бомарше повествует об этом в тексте, названном им «Пустяшная история, коей последствия отравили десять лет моей жизни». Лавальеру предстояло в страстную пятницу отужинать в малых покоях с королем и г-жой Дюбарри, и он попросил Бомарше подсказать ему несколько анекдотов, чтобы позабавить сотрапезников. Старший бальи егермейстерства заартачился, но герцог, под чьим началом он служил, настаивал на своем. Бомарше выдал две остроты, Лавальер, войдя во вкус, потребовал третью. В конце концов Бомарше, обычно более находчивый, пустился в следующие рассуждения: «Мы вот здесь смеемся, а не приходило ли вам когда-нибудь в голову, сир, что в силу августейших прав, полученных вами вместе с королевской короной, ваш долг, исчисляемый в ливрах по двадцать су, превышает число минут, истекших со смерти Иисуса Христа, годовщину которой мы отмечаем сегодня?»

Заинтригованный герцог с интересом слушает и записывает, чтобы потом не сбиться, рассказывая свою историю, а Бомарше продолжает:

«Столь странное утверждение привлечет всеобщее внимание и, возможно, вызовет возражения; предложите тогда каждому взять карандаш и заняться подсчетами, чтобы доказать вашу ошибку и повеселиться за ваш счет. А вот вам готовый расчет. Сегодня — тысяча семьсот шестьдесят восемь лет со дня, когда Иисус Христос умер, как известно, во спасение рода человеческого, который с момента, когда тот принес себя в жертву, застрахован от ада, чему мы имеем бесспорные доказательства. Год наш состоит из трехсот шестидесяти пяти суток, каждые сутки из двадцати четырех часов по шестьдесят минут в каждом. Сосчитайте, и вы сами увидите при сложении, что тысяча семьсот шестьдесят восемь годовых солнечных оборотов, если прибавить по одному лишнему дню на каждый високосный, то есть каждый четвертый, год, дают в сумме девятьсот двадцать девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч сорок восемь минут, а король не может не знать, что долг его давно превысил миллиард ливров и уже подбирается к двум».

В тот же вечер, обрадованный возможностью блеснуть, не напрягая ума, Лавальер выпаливает свою речь, однако, поглощенный тем, чтобы ничего не перепутать, забывает следить за реакцией короля, чтобы в случае чего смягчить эффект. Рассказанная самим Бомарше, который умел заходить весьма далеко, эта рискованная шутка, возможно, и проскочила бы, но герцог таким умением отнюдь не владел. Людовику XV отнюдь не пришлось по вкусу, что ему напоминали в страстную пятницу о долгах, и, будучи, по-видимому, в особенно угрюмом настроении, он проронил без тени улыбки: «Сия остроумная история весьма напоминает скелет, который, как рассказывают, подавался под цветами и фруктами на египетских пиршествах, дабы умерить слишком шумную веселость гостей. Вы сами до этого додумались, Лавальер?»

Герцог, пораженный мрачным эффектом своего заемного моралите, не долго думая, свалил все на автора: «Нет, сир, это Бомарше заморочил мне голову своими расчетами...»

Людовик XV, вероятно, надолго запомнил «расчеты часовщика».

Этот нелепый эпизод, действительно, положил конец дружеским чувствам принцев к Бомарше, хотя и не нанес ему социального ущерба. Будь в живых дофин, вскоре скончавшийся после долгой мучительной болезни, Бомарше, вероятно, смог бы восстановить утраченные позиции в сердце короля и принцесс, ибо «святой» ценил откровенность и дерзкую прямоту того, кого знал еще часовым подмастерьем. Чем больше я думаю об этом, тем крепче мое убеждение, что истинным покровителем Бомарше в Версале был дофин. После его смерти отношение принцесс к Бомарше резко изменилось.

Когда в 1764 году скончалась г-жа Помпадур, он утратил еще одну драгоценную союзницу, хотя и несколько ослабленную «опалой». Но для Бомарше вообще миновала пора, когда он с помощью молодости и обаяния добивался покровительства сильных, пришло время завоевывать все собственным влиянием и авторитетом. Только своему уму Бомарше обязан, например, дружбой с Сартином, шефом полиции королевства, Фуше той эпохи, точно так же как позднее только своему политическому гению он будет обязан дружбой Верженна.

Пока же все его мысли сосредоточены на Огюстене, сыне, родившемся 14 декабря 1768 года, на том, как обеспечить этого мальчика, которого он обожает и с которым связывает самые большие надежды.

Письмо из Риваренна, своего лесного дома, адресованное жене и написанное перед тем, как лечь спать («Однако без тебя... это порой кажется трудным»), Бомарше заканчивает словами:

«А сын мой, сын мой! Как его здоровье? Душа радуется, когда думаю, что тружусь для него».

Огюстену примерно полгода — время дорого!

Не ради ли сына Бомарше решает наконец привести в порядок свои расчеты с Пари-Дюверне? Вполне возможно. Здоровье восьмидесятишестилетнего банкира, хотя он и сохранил ясный ум, оставляло желать лучшего. По некоторым признакам самый бескорыстный человек мог опасаться, что старик вот-вот скончается. Деловые отношения Бомарше и Пари-Дюверне, как это нередко случается, когда компаньоны близкие друзья, не были закреплены на бумаге, не существовало ни договора, ни расписок на суммы, взятые в долг. Между тем компаньоны ворочали миллионами, вкладывая капиталы в самые разнообразные предприятия. В этих сложных, запутанных операциях не мог разобраться никто, кроме них самих. Подобная небрежность и бросающийся в глаза хаос могут удивить. Однако тут был определенный умысел. Дела, которые они вели, тесно переплетаясь одно с другим, в то же время по большей части отличались секретностью. Мы никогда не узнаем всей правды, Пари-Дю-

верне и Бомарше унесли свои тайны в могилу. Но мне представляется очевидным, что политика в их деятельности играла не меньшую роль, чем экономика и коммерция. Бомарше, впрочем, косвенным образом сознался в этом, когда писал герцогу де Ноайю по поводу «Евгении»:

«Еще одно безумство, от которого мне пришлось отказаться, — это изучение политики, занятие трудное и отталкивающее для всякого другого, но для меня столь же притягательное, сколь и бесполезное. Я любил ее до самозабвения: чтение, работа, поездки, наблюдения — все было ради нее; взаимные права держав, посягательства государей, сотрясающие людские массы, действия одних правительств и ответы других — вот интересы, к коим влеклась моя душа. Возможно, никто не страдал столь глубоко от сознания, что, умея видеть все так крупно, сам остается ничтожнейшим из смертных. Подчас в несправедливом раздражении я даже роптал на судьбу, не одарившую меня положением, более подходящим для той деятельности, к коей я считал себя предназначенным, — особенно когда я видел, что короли и министры, возлагая на своих агентов серьезные миссии, бессильны ниспослать им благодать, нисходившую некогда на апостолов и обращавшую вдруг человека самого немудрящего в просвещенного и высокомудрого».

Это послание, написанное за несколько дней до премьеры «Евгении» и выставляющее напоказ разочарование, представляется мне весьма многозначительным. О чем это он говорит? О какой деятельности? Он утверждает, что ради политики шел на все, хотя на первый взгляд никогда еще ею не занимался. Притом говорит это герцогу де Ноайю, который не мог не быть в курсе дела! А Бомарше ведь не сумасшедший. Его принимают министры, короли, и уже недалек час, когда они станут прислушиваться к его мнению, как некогда считались с советами Пари-Дюверне. Но то, что для банкира было всего лишь борьбой и азартной игрой, для Бомарше — смысл жизни, суть честолюбивых помыслов и возможность воздействовать на систему, которая в юности преграждала ему все пути. Позиция удивительная, и он не отступится от нее до самой смерти. Поведение Бомарше, его дела и произведения, как мне кажется, свидетельствуют о его политической активности и о роли, которую он играл сначала вместе с Пари-Дюверне, а затем сам, гораздо красноречивее, чем ребусы «восточного стиля» в его красочной переписке с банкиром:

«Прочти, Крошка, то, что я тебе посылаю, и скажи, как ты к этому относишься. Ты знаешь, что в деле такого рода я без тебя ничего не могу решить.

Пишу в нашем восточном стиле из-за пути, коим отправляю тебе это драгоценное письмо. Скажи свое мнение, да побыстрее, а то жаркое подгорает. Прощай, любовь моя, целую так же горячо, как люблю. Я не передаю тебе поклона от Красавицы: то, что она тебе пишет, говорит само за себя».

Эта любопытная записка, приведенная Рене Дальсемом, в сущности, только подтверждает, что наши герои были вынуждены при-

бегать к «восточному языку», иными словами, к шифру, чтобы уберечься от нескромных глаз, точно так же как сейчас некоторым приходится морочить головы службам телефонного подслушивания. А нам хорошо известно, что такого рода ребяческие штуки, как правило, бывают продиктованы политикой.

Компаньонам приходилось прятаться также от графа де Лаблаша — пора уже вывести его на сцену, — того самого Лаблаша, без которого жизнь и, возможно, репутация Бомарше сложились бы совсем по-иному. Но не будем спешить, персонаж заслуживает внимания. Вместе с ним стучится в дверь грозное, но чарующее Зло. Из всех противников Бомарше Лаблаш, бесспорно, единственный, кто может с ним сразиться на равных. Странная борьба, темные отношения. Граф говорил о Бомарше: «Я ненавижу этого человека, как любовник любит свою возлюбленную». А Бомарше позднее заявил: «Он был главным творцом всех моих злосчастий». Луи де Ломени не понимает, почему Лагарпа удивляет эта ненависть, почему он изображает ее как некую странность в жизни Бомарше. Но на этот раз прав Лагарп. Причуды, сумасбродства графа не поддаются объяснению разумному. Но рассмотрим все по порядку. Малейшая деталь этой фантастической ссоры, затянувшейся на десятилетие, не менее важна и весома, чем основные события.

Пари-Дюверне был бездетен, наследовать ему должны были племянник Жан-Батист Пари дю Мейзье и внучатая племянница Мишель де Руасси, которая вышла замуж за Александра-Жозефа Фалькоза, графа де Лаблаша.

Еще в 1765 году банкир составил завещание, которым лишал наследства Мейзье и оставлял все любимой внучатой племяннице. Это было тем более несправедливо, что Мейзье, в ту пору полковник, немало помог своему дяде в организации Военной школы. Человек выдающегося ума, весьма образованный, он был автором ряда произведений, прославлявших заслуги банкира, а также, вполне вероятно, бурлескной комедии «Землетрясение в Лиссабоне», сыгранной и опубликованной под именем Андре, паричника! Но Пари дю Мейзье был и без того богат, уже не молод, и старик Пари-Дюверне, очевидно, рассудил, что его огромное состояние нужнее внучатой племяннице, и следовательно, Лаблашу. Бомарше сообщает также, что дядя и племянник были в ссоре. Причин ее мы не знаем. Известно только, что Бомарше пытался их помирить.

В начале 1770 года Пари-Дюверне и Бомарше в частном порядке подбили баланс своим денежным отношениям. В акте, составленном двумя сторонами, были зафиксированы взаимные обязательства И вклады компаньонов. Бомарше возвращал банкиру 160 000 ливров и соглашался разорвать контракт на совместную эксплуатацию Шинонского леса. Дюверне, со своей стороны, признавал, что Бомарше рассчитался с ним по всем обязательствам, и удостоверял, что сам остается ему должен 15 000 франков, кои могут быть выплачены по первому требованию, а также выражал согласие дать Бомарше взаймы на восемь лет 75 000 франков. Этот акт,

который не был официально заверен у нотариуса, имел целью охранить каждого из компаньонов от возможных посягательств со стороны наследников другого и от бесконечных процессов с этими последними. В сущности, в виду имелся граф де Лаблаш. Именно он вызывал справедливые опасения, он и его причуды. Граф, ежедневно встречавшийся с Бомарше у своего двоюродного деда, при дворе или в свете, никогда не удостаивал с ним поздороваться. Поэтому Пари-Дюверне не переставал тревожиться, однако полагал, что акт, собственноручно им подписанный, достаточно ясен и неоспорим, чтоб обезопасить его «сына» от ненависти внучатого племянника. Он глубоко ошибался. В жизни люди далеко не так добродетельны, как в первых пьесах Бомарше.

В это время на сцене «Комеди Франсэз» как раз идет драма «Два друга, или Лионский купец». Премьера состоялась 13 января 1770 года, ровно через три года после постановки «Евгении». Успех первой пьесы побудил Бомарше тут же вернуться к письменному столу, но новое произведение, как и «Евгения», несколько раз переделывается. Где бы ни находился Бомарше — на улице Конде, в Пантене или в своем Шинонском лесу, едва выдастся свободный час, он — пишет, перестраивает, перекраивает. До нас дошли шесть рукописей «Двух друзей», которые, впрочем, называются то «Ответное благодеяние», то «Лондонский купец», то «Поездка генерального откупщика», то «Истинные друзья» и т. д. На этот раз Бомарше работает над пьесой с бешеным упорством, стараясь добиться совершенства композиции. Под конец жизни он скажет, что эта драма «сколочена лучше всех других [его] произведений». Я не далек от мысли, что Бомарше был прав.

Пересказать «Двух друзей» во всех подробностях невозможно, настолько запутан сюжет пьесы. Интрига завязывается между пятью основными героями, сразу в нескольких планах. Перипетии любви, на пути которой встают препятствия, переплетаются с деловыми недоразумениями. Это драма банкиров, причем банкиров добропорядочных. Благородство, чувствительность, самоотверженность героев выше всякого разумения. Герои движимы исключительно дружбой или любовью. Каждый поочередно приносит себя в жертву, дабы спасти ближнего, опережая один другого на этом аукционе великодушия. Но под конец все внезапно разрешается в высшей степени возвышенно и весело. Чудо драматургической изобретательности в том, что нить интриги ни на минуту не ускользает от зрителя. Смешав в кучу частички своей сложной мозаики, автор затем раскладывает их по местам все до единой. Это композиционное совершенство, эта безукоризненная подгонка мельчайших колесиков механизма, это чертовское хитроумие делают чтение «Двух друзей» увлекательным. Драму проглатываешь залпом, она держит в напряжении как хороший детективный роман. Подчеркиваю — при чтении, ибо эта слезливая драма, конечно, никогда больше не увидит сцены: ее тринадцатое и последнее представление состоялось в феврале 1783 года.



Но недостаточно драму выстроить. И подчас даже не это самое главное. Кавардак, царящий в «Женитьбе», не мешает ей быть шедевром. Персонажи «Двух друзей» — марионетки, брошенные в ад добродетели. Здесь нет живых людей. Вдохновляясь идеями Дидро, стремившегося заменить на театре живописание характеров живописанием социальных обстоятельств, автор, как справедливо замечает Ломени, по уши погрязает в тине банковского дела, коммерции и биржи. Разговор только и идет, что о векселях и процентах, а это предметы, мягко говоря, не слишком комические. Несмотря на очевидный талант, на словесное искусство, местами замечательное и куда более уверенное, чем в «Евгении», несмотря на все совершенство сценического механизма — работа часовщика — и несколько удачных реплик, «Два друга» — явный провал. Серьезный жанр привел Бомарше к банкротству.

Принята пьеса была хуже некуда. Париж, который только и ждет, чтоб человек споткнулся, не поскупился на издевки. Какой-то взбешенный зритель дописал на афише под словами «Два друга» — «автора, потерявшего всех остальных».

Из уст в уста передавалось злое анонимное четверостишие:

На драме Бомарше я умирал от скуки;
Там в обороте был огромный капитал,
Но, несмотря на банковские муки,
Он интереса не давал.

Барон Гримм изрек очередной смертный приговор Бомарше: «Лучше бы ему делать хорошие часы, чем покупать должность при дворе, хорохориться и писать плохие пьесы».

Достопочтенный Фрерон, хотя и был не менее суров, но все же оставил Бомарше надежду на спасение:

«Пока г-н Бомарше не отвергнет этот узкий жанр, коий он, кажется, избрал для себя, я советую ему не искать сценических лавров».

И в самом деле, выбравшись вскоре из объятий Дидро, Бомарше не замедлил броситься в объятия Мольера. Для французских драматургов, как показало будущее, это прибежище более надежное.

Если последняя из написанных им драм быстро прогорела, то та, которой предстоит разыграться в его жизни, не сойдет с афиши, если можно так выразиться, куда дольше. На сцену выйдет смерть. Она постучится дважды.

17 июля умирает Пари-Дюверне, так и не успев выполнить два своих обязательства в пользу Бомарше, оговоренных в приватном соглашении, и оставив своему единственному наследнику Лаблашу 1 500 000 франков, не считая солидной недвижимости. Бомарше, вероятно, очень горевал, но он не любил выставлять свою боль напоказ, разве что при свете сценических софитов. Сейчас ему было вообще не до Лаблаша и его козней. За кулисами смерть уже готовила второй удар.

Внезапно серьезно заболевает Женевьева, здоровье которой было подорвано выкидышем. Доктора Троншен, Пеан, Лорри сме-

няют друг друга у постели больной и вскоре определяют «затяжной и смертельный недуг», очевидно, туберкулез. Лечат ее так, как лечили в ту пору, иными словами, почти не лечат. Чтобы усыпить больную и смягчить кашель, ее поят маковым отваром. Бомарше в отчаянии не отходит от жены, по ночам ложится подле нее, прислушиваясь со страхом к ее дыханию. Г-н Карон и Жюли тревожатся, дрожа при мысли, что он может «подхватить болезнь Женевьевы и последовать за ней в могилу». Чтобы вынудить его не спать в супружеской постели, они прибегают к доктору Троншену, который, по здравому рассуждению, решает навестить больную рано утром. Найдя Бомарше лежащим рядом с Женевьевой, он прикидывается страшно разгневанным и «яростно упрекает того в невнимании к несчастной женщине, которая не смеет ни кашлянуть, ни пожаловаться и терпит адские муки из боязни его разбудить». Пьер-Огюстен, догадавшись о заговоре, тем не менее соглашается, чтобы ему поставили в спальне отдельную кровать. Несмотря на мольбы Жюли и выговоры врачей, «опасавшихся, как бы он не надышался нездоровых испарений», он не расстается с Женевьевой. Она умирает 14 декабря 1770 года, оставив его в полной растерянности.

Финансовые трудности, возникшие после смерти Пари-Дюверне, еще усугубились кончиной Женевьевы. Напомним, что ее состояние, довольно значительное, было помещено под пожизненную ренту. Теперь Бомарше пришлось приналечь на дела. Разве не оставался у него обожаемый сын? И разве не поклялся он обеспечить сына, чтобы жизнь того была легкой?

В эти тяжкие дни он познакомился с двумя людьми, ставшими его друзьями. О первом мы не раз уже упоминали, это — Гюден де ла Бренельри, который явился на улицу Конде почитать «Наплиаду», свою эпическую поэму, написанную александрийским стихом, да так там и остался навсегда. Для него не было большего счастья, чем жить в тени Бомарше; второй — неистовый герцог Шон, к которому нам еще предстоит вскоре вернуться.

Пока же не будем забывать о графе Лаблаше, безмерно обрадованном несчастьями, которые обрушились на Бомарше. Он был упоен сознанием, что может атаковать противника, поверженного на колени. Его окрылила ненависть и — как знать? — возможно, любовь.


Пари – Дюверне

6
ДЬЯВОЛ

> Другой бы повесился, но поскольку эта возможность от меня никуда не уйдет, я оставляю ее про запас, а сам тем временем... смотрю, кто из нас двоих кого переупрямит, — дьявол ли, повергнув меня, я ли — устояв; вот чем занята моя упрямая башка.

Лаблаш

Военные действия между Лаблашем и Бомарше открываются в момент, когда завершается серьезнейшая, растянувшаяся на три столетия война: Людовик XV распускает парламент. Об этом событии огромного значения и о королевском эдикте трудно сказать в двух словах; к тому же подобного рода анализу не место в этой книге, однако без фактов не обойдешься. В жизни Бомарше роспуск старого парламента и замена его парламентом Мопу сыграет большую роль. Итак, напомним в самых общих, к сожалению, чертах о том, что произошло.

Систематическая оппозиция парламента, несмотря на все торжественные его заседания в присутствии короля, заставила Людовика XV, потерявшего терпение, издать эдикт, в котором он сформулировал свои прерогативы поистине по-львиному:

«Наша корона дарована нам одним богом! Право издавать законы, коими наши подданные могут быть руководимы и управляемы, принадлежит нам, только нам, независимо и безраздельно» (3 декабря 1770).

Поскольку в спорах с парижским или провинциальными парламентами последнее слово принадлежало королю, этот эдикт устранял парламентский контроль, право парламентов делать «представления». Фактически король этим декретом указывал парламенту, что он оставляет за собой первое и последнее слово. Тем самым он наносил удар и по сторонникам ограничения абсолютной власти монарха, среди которых был Шуазель. «Совпадение» — премьер-министр был смещен 24 декабря 1770 года, иными словами, через три недели после издания не одобряемого им эдикта. Однако, даже утратив в его лице важнейшую опору, парламент не отступил и отказался зарегистрировать акт, по которому граждане могли быть лишены чести, свободы, прав гражданского состояния, а то и жизни без всякой возможности защищаться. Это был тупик. 3 января следующего года Людовик XV нашел для себя выход из него, предложив подписать королевский текст каждому члену парламента в индивидуальном порядке. Те встали перед альтернативой — подчиниться или отказаться — и ответили отказом. Парламент был распущен, а канцлеру Мопу было предложено создать другой, который находился бы под каблуком у него или, точнее,

у короля, что Мопу и осуществил без промедления. Но если король и укрепил свою власть, Шуазеля он потерял. Когда Людовик XVI вновь созовет старый парламент, он ослабит свою власть, но зато найдет Верженна.

Бомарше принадлежал к клану Шуазеля. Цвета изгнанного министра и распущенного парламента носили Ниверне, Орлеан, Конти, Ленорман д'Этиоль. В той жестокой борьбе, которую Бомарше вел с Лаблашем, все эти люди остались верны Бомарше. Произведенный в генерал-майоры граф Лаблаш как бы невзначай оказался в противоположном политическом лагере. Возможно, поэтому его ссора с Бомарше вскоре приобрела государственные масштабы и потрясла королевство до основания. Мы еще увидим, как Бомарше в одиночку, или почти в одиночку, одержал победу — и какую победу! — над парламентом Мопу.

Граф де Лаблаш не стал терять время на переговоры и, не мешкая, взял быка за рога. Когда Бомарше передал ему через своего нотариуса г-на Момме акт, составленный им и Пари-Дюверне, Лаблаш ответил, что не признает подписи покойного.

Чего проще, нужно было только смекнуть. Лаблаш смекнул. Коль скоро акт фальшивый, Бомарше из мелкого кредитора наследника превращается в его крупного должника. Изобретательный прием, продуманный Лаблашем совместно с одним из самых изворотливых адвокатов — г-ном Кайаром.

Трудно себе представить, что Бомарше, отнюдь не будучи в отчаянном положении, владея домом на улице Конде и Шинонским лесом, стал бы рисковать своим добрым именем из-за каких-то 15 000 франков, подделав подпись человека, которого горячо любил. Но нужно представить себе Лаблаша, человека сказочно богатого, только что унаследовавшего миллион и сутяжничающего с компаньоном своего двоюродного деда из-за ничтожной суммы. Однако это было лишь предлогом. Как мы уже сказали, Лаблашем руководила безумная ненависть, которой он, впрочем, даже не скрывал, — чтобы погубить Бомарше, он был готов на все. К тому же он был поистине воплощением духа зла и человеком дьявольски коварным.

Бомарше пришлось обратиться в суд. Как свидетельствуют письма, это было ему не по душе, и он долго взвешивал все обстоятельства, прежде чем решился. Но речь шла уже не просто о 15 000 франков, затронута была его честь. Судейский чиновник, он имел право подать жалобу на Лаблаша в особую инстанцию — Рекетмейстерскую палату, заседавшую в Лувре, по соседству с залом, где вершил суд он сам. Следствие тянулось долго, Лаблаш прибегал к всевозможным ухищрениям, уловкам, оттяжкам. В свете он откровенно — ибо Лаблашу было присуще это качество — похвалялся: «Ему понадобится десять лет, не меньше, чтобы заполучить эти деньги... а за десять лет он еще от меня натерпится!»

Принц де Конти, который защищал своего друга, нашел лапидарную формулу и повторял ее во всех гостиных: «Бомарше полу-

чит либо деньги, либо петлю на шею!» Софи Арну, знаменитая певица, проникшаяся, хоть и не сразу, симпатией к Бомарше, сострила в ответ: «Если его повесят, веревка треснет по приговору». А само заинтересованное лицо не преминуло заявить: «Не находите ли вы, что если я выиграю процесс, моему противнику придется поплатиться честью?» Дело пока еще не приняло драматического характера, и процесс Бомарше был поначалу для его друзей предметом шуток.

Но они недооценили Лаблаша. Лощеный генерал-майор не терял времени даром. В Версале, в Париже, пользуясь поддержкой всех тех, кто завидовал успеху и блеску Бомарше, — а им не было числа — он распускал всяческие слухи о своем противнике. От сплетни до клеветы — один шаг, и наш молодчик сделал его с легкой душой. Начал он издалека. Юность Пьера-Огюстена: разве не поворовывал он у отца? Смерть его жен: уж не отравил ли он их, чтобы унаследовать состояние? Путешествие в Испанию: не обвиняли ли его там, что он нечист на руку за карточным столом? Граф пользовался недомолвками, и Бомарше не мог ни поймать этого Базиля на месте преступления, ни найти свидетелей, так как они с графом были завсегдатаями разных салонов. К несчастью, в тот единственный раз, когда ему удалось уличить Лаблаша в клевете и он получил возможность привлечь того к суду, Бомарше сделал ложный шаг.

Лаблаш, пополняя день за днем новыми главами свой роман, сочинил, будто их высочества «отказали Бомарше от дома» и принцесса Виктория якобы дала понять, что «он выказал немало бесчестящих его черт». Узнав о россказнях Лаблаша и не сомневаясь в возможности уличить его во лжи, Бомарше воспользовался случаем и довел все это до сведения своих покровительниц.

Г-жа Виктория тут же ответила ему через одну из придворных дам — графиню Перигор — именно так, как он рассчитывал:

«Я рассказала, сударь, о Вашем письме принцессе Виктории, которая заверила меня, что она никогда и никому не говорила ни единого слова, порочащего Ваше доброе имя, поскольку ей ничего такого не известно. Она поручила мне сообщить это Вам. Принцесса даже добавила, что осведомлена о Вашем процессе, но что ни при каких обстоятельствах и, в частности, на этом процессе ее высказывания на Ваш счет не могут быть использованы Вам во вред, поэтому Вам нечего тревожиться».

За несколько дней до суда нельзя было пренебречь подобным свидетельством. Оно доказывало бесчестность Лаблаша и его склонность к клевете. Но как сделать, чтобы ответ принцессы стал известен всем? Бомарше не был уверен, что ему хватит времени показать письмо тем, кто введен в заблуждение Лаблашем, поэтому он нашел уместным опубликовать короткий мемуар, куда включил ответ принцессы Виктории.

Прежде чем отдать свой текст в печать, он все-таки счел нужным предупредить графиню Перигор: «Имею честь препроводить Вам мемуар, где я использовал, как то дозволила принцесса Вик-

тория, оправдание, коим она соблаговолила меня удостоить, и письмо, кое имел честь получить от Вас». Это была грубая оплошность. Не слишком давно обучившись хорошим манерам и полагаясь в этой области на свою интуицию — как правило, успешно, — Бомарше не отдавал себе отчета, что нарушает этикет, публично вмешивая в свое судебное дело принцесс.

Эти последние, весьма озлившись и, безусловно, подогреваемые в своем гневе друзьями графа, выразили свое недовольство письменно:

«Мы заявляем, что г-н Карон де Бомарше и его процесс нас нисколько не интересуют и что, включив в свой мемуар, напечатанный и распространяемый публично, уверения в нашем покровительстве, он действовал без нашего соизволения.

Мария-Аделаида, Виктория-Луиза,
Софи-Филиппина, Элизабета-Жюстина.
Версаль, 15 февраля 1772 года».

Удача изменила Бомарше, дело приняло дурной оборот. Лаблаш мигом смекнул, какую пользу он может извлечь из заявления принцесс, и за пять дней до вынесения приговора, опережая Бомарше, мемуар которого еще не вышел из типографии, распространил письмо принцесс во множестве экземпляров. Назавтра весь Париж был в курсе дела. Заявление королевских дочерей, столь же краткое, сколь решительное, заставило многих призадуматься. Не способен ли человек, обманувший принцесс, на все — к примеру, на подделку подписи? Старая пословица о коготке и птичке. Лаблаш ловко играет на всем этом, тем более что огорошенный, печально огорошенный противник не смеет теперь даже показать письмо г-жи де Перигор, которое, по существу, его оправдывает. К счастью, ему хватило ума познакомить судей с посланием графини прежде, чем Лаблаш опубликовал заявление принцесс. Хотя бы судьи — а это главное — все же знали, кто из двух противников в этом конкретном вопросе лукавил.

Начатый осенью 1771 года, процесс затянулся на шесть месяцев и привлек внимание всего Парижа. Ненависть Лаблаша и крючкотворство г-на Кайара превращали судебные заседания в увлекательнейшие спектакли. Надо признать, оба они были талантливыми клеветниками и виртуозами вранья. Бомарше, все еще подавленный своим горем, возмущается и отстаивает оскорбленную добродетель вполне в духе серьезного жанра. Он в своем праве, но суд — театр, где плуты, будь они судьями или обвиняемыми, пользуются бóльшим успехом, чем люди порядочные. Тщетно Бомарше восклицает в зале суда после очередной попытки Кайара извратить правду: «О, сколь презренно ремесло человека, который ради того, чтобы захватить деньги другого, недостойно бесчестит третьего, бесстыдно искажает факты, перевирает тексты, цитирует не к месту авторитеты, без зазрения совести плетя сеть лжи».

Лишь позднее, когда над ним нависнет реальная угроза, он найдет нужный тон. Пока же он морализирует и ведет себя точь-

в-точь как персонаж «Двух друзей». Но, чтобы взять верх над Базилем, нужно быть Фигаро.

Г-н Кайар со своей адвокатской кафедры демонстрировал чудеса адвокатского красноречия, руководствуясь то собственным вдохновением, то вдохновением графа. Восхищенная публика с наслаждением внимала его неистощимым доводам. Сбитый с ног, он вскакивал с ловкостью акробата: в ответ на опровержения с неслыханной наглостью противоречил сам себе.

С неизменным пылом и убежденностью в своей правоте он последовательно утверждал:

1) что подпись поддельная,

2) что она подлинна, но поставлена до написания акта,

3) что акт поддельный,

4) что акт, как и подпись, подлинен, но акт и подпись между собой не связаны,

5) что Пари-Дюверне уже утратил ясность ума, когда подписывал акт,

6) что отсутствие второго экземпляра — доказательство подделки оригинала (второй экземпляр был приложен к завещанию и, судя по всему, похищен Лаблашем). И т. д.

Бомарше неутомимо изобличал несостоятельность умозаключений адвоката, а тот столь же неутомимо выдвигал все новые и новые доводы.

В конце концов, видя, что они проигрывают дело, Кайар и Лаблаш решили прибегнуть к последнему средству. Ничтоже сумняшеся, они сфабриковали некое решающее вещественное доказательство. История довольно сложная, но стоит подробного рассказа как наглядный пример их хитроумия. Лаблаш и Кайар в очередной раз потребовали досье, хотя давным-давно знали его наизусть. В досье был важнейший документ, подтверждающий подлинность акта, — письмо Бомарше от 5 апреля 1770 года с черновиком акта, на обороте которого Пари-Дюверне написал: «Вот мы и в расчете». Свой ответ Пари-Дюверне отослал обратно отправителю. Лаблаш и Кайар утверждали, что слова «Вот мы и в расчете» относятся совсем к другому делу, а письмо Бомарше написано уже после этой записки Пари-Дюверне. Таким образом, лицевая сторона листа оказывалась оборотной, а оборотная — лицевой. Найдя после смерти Пари-Дюверне в его бумагах это «Вот мы и в расчете», пройдоха Бомарше якобы смекнул, что этой запиской можно воспользоваться, написав на ее «обороте» письмо, полностью отвечающее его интересам, — чтобы слова «Вот мы и в расчете» выглядели положительным на него ответом. Выдвинуть накануне вынесения приговора такой довод было затеей тем более наглой, что до сих пор оспаривалась лишь подлинность подписи Пари-Дюверне, и ни у кого не возникало сомнения, что письмо предшествует записке. Однако Кайару изобретательности хватало с лихвой. Он заметил, что имя Бомарше стоит в нижней части листа, под запиской Пари-Дюверне. Очевидно, — так, во всяком случае, аргументировал адвокат, — слова «г-н де Бомарше» написаны рукой

Пари-Дюверне. Этот последний, прежде чем сложить лист бумаги и отослать его Бомарше, якобы написал на нем, как это принято, имя адресата. Нужно ли напоминать, что в ту пору конвертами не пользовались и письма просто скреплялись печатью? Печатью — вот где собака зарыта!

Когда на следующем заседании суда г-н Кайар поднялся с листом бумаги в руке, все поняли, что запахло новеньким. И в самом деле! Имя Бомарше на оборотной стороне письма было слегка надорвано и залито воском. Пустив этот документ по рукам, адвокат самодовольным и уверенным тоном развил следующую цепь доказательств:

Слово «Бомарше» написано рукой господина Дюверне. Если бы письмо от 5 апреля предшествовало записке, слово «Бомарше» не могло бы быть написано на этом листе рукой господина Дюверне в тот момент, когда господин де Бомарше отсылал письмо, и его печать не могла бы надорвать буквы слова, которое еще не было написано; таким образом, эти буквы могли быть надорваны только в том случае, если господин де Бомарше запечатывал свое письмо после получения записки господина Дюверне. Следовательно, эта записка предшествовала письму господина де Бомарше; следовательно, это письмо было написано только впоследствии. А этот факт, будучи доказанным, предполагает, что доказаны также и остальные».

Запутанное, но на вид неопровержимое следовательское умозаключение г-на Кайара опиралось на единственный постулат: имя Бомарше написано рукой Пари-Дюверне. Чтобы придать своим доказательствам еще большую убедительность, ему достаточно было сдвинуть печать и надорвать письмо в том месте, где стояло имя, что он, вполне возможно, и сделал. Но в тот момент, когда Лаблаш и негодяй Кайар уже упиваются своим триумфом, встает некий адвокат по имени де Жонкьер. «Это имя написано мною!» — говорит г-н де Жонкьер. Судьи ошеломлены. «Я написал имя на документе, нумеруя его, как то положено!» И в подтверждение своих слов г-н де Жонкьер на глазах у всех несколько раз пишет имя Бомарше. Почерк тот же, сомнений нет. На этот раз г-н Кайар онемел от растерянности. Выяснив подлинные обстоятельства, суд легко разобрался, где истина, а где ложь. Лаблаш при всей своей изворотливости не смог ничего возразить. Абсолютно ничего. Назавтра, 22 февраля 1772 года, суд вынес решение в пользу Бомарше, отверг обвинение Лаблаша и обязал его произвести расчет в соответствии с актом.

Г-н де Лаблаш, однако, быстро пришел в себя и, подстегиваемый своей ненавистью к Бомарше, подал апелляцию в парламент, где у него было полно друзей. Граф располагал временем. Это поражение было всего лишь одной из перипетий, и он скоро утешился, наблюдая успехи кампании, которую без устали вел против своего недруга. Вылив на Бомарше ушаты грязи, он заронил в умы подозрение, что тот все же чем-то запятнан. Лаблаш играл на исконной подозрительности французов, для которых, можно сказать, «нет

дыма без огня» — национальный девиз. А уж в дыме и огне у дьявола никогда нет недостатка.

Но что такое все ухищрения дьявола по сравнению с подлинным горем? 17 октября того же года скоропостижно скончался Огюстен, сын, которого Бомарше любил до безумья и ради которого, собственно, сражался. «Не знаю, почему никому не пришло в голову сказать, что он *отравил* и сына, — написал Лагарп, — ибо и это преступление было необходимо, чтобы полностью получить наследство, — но клевета никогда не предусматривает всех деталей». Обстоятельства этой трагедии — ни ее причины, ни ее последствия — нам неизвестны. Бомарше, который без всякого стеснения рассказывал о своей жизни и подчас заходил весьма далеко в своих признаниях, с откровенностью, поистине «современной», неизменно умалчивал о своих горестях. Можно, конечно, усмотреть в этом, как делают некоторые, признак его бессердечия, но мы придерживаемся противоположного мнения. Единственным свидетельством любви, которую он питал к маленькому Огюстену, остается радостный смех: «А сын мой, сын мой! Как его здоровье? Душа радуется, когда думаю, что тружусь для него». И пусть будет так.

Шон

Мари-Луи-Жозеф д'Альбер д'Айи, видам Амьенский, герцог де Пекиньи, впоследствии герцог де Шон, вне сомнения, был самым колоритным персонажем, встреченным Бомарше на протяжении его жизни, в которой странных личностей попадалось куда больше, чем ординарных. Чтоб его описать, не хватило бы никаких эпитетов, поскольку доминирующими чертами этой натуры были противоречивость и чрезмерность. Не опасайся я показаться педантом, я сказал бы, что герцогу была присуща некая антиперистаза — так называется действие двух противоположных начал, одно из которых служит для усиления и разжигания другого, «так говорят, — поясняет этот термин словарь Литтре, — что зимой огонь горячее, чем летом». В этом смысле для Шона рождественские морозы никогда не кончались. Проще было бы сказать, что действия герцога напоминали работу двигателя внутреннего сгорания — чреду вспышек. Самое забавное, что эта система позволяла герцогу продвигаться вперед и по путям самым почтенным, но, как и автомобилям, ему случалось нередко сбивать людей. На свое несчастье, Бомарше оказался на его пути в тот момент, когда герцог уже вышел из себя.

Шону было лет тридцать, когда он познакомился с Бомарше. И с первого взгляда страстно его полюбил. Герцог и тут не знал меры. Когда друзья входили в гостиную, нельзя было удержаться от смеха, настолько контрастировал их физический облик. Бомарше был среднего роста, довольно худощав, герцог отличался сложением гиганта. Что же касается смеха, следует уточнить, — его, вполне возможно, вызывала исполинская обезьяна, которую Шон повсюду таскал с собой, обращаясь с ней весьма учтиво. Это было

единственное существо, пожинавшее плоды хорошего воспитания, полученного герцогом, так как дам своих он избивал, а любимым его занятием были поиски ссоры. Поскольку охотники получать взбучку встречаются куда реже, чем полагают, Шону частенько не удавалось утолить эту жажду, что только разжигало его свирепость. Гюден, которому, как мы вскоре увидим, пришлось иметь с ним дело, не мудрствуя лукаво, утверждает, что в приступе ярости герцог «был похож на пьяного дикаря, чтобы не сказать — на хищного зверя». Забавная деталь — этот буйный помешанный проявил себя как выдающийся ученый, причем в науках весьма серьезных. Когда Людовик XV, чтобы избавиться от выходок Шона, изгнал его из пределов королевства, тот отправился в Египет и занялся египтологией. Вернувшись во Францию по отбытии срока ссылки, он погрузился, и успешно, в изучение углекислоты. Ломени рассказывает, что герцог ставил также опыты по исследованию асфиксии: «...для проверки лекарства, найденного им против асфиксии, герцог заперся в кабинете со стеклянной дверью и подверг себя действию угара, поручив камердинеру вовремя позаботиться о нем и испробовать на нем это средство. К счастью, слуга оказался пунктуальным».

О Шоне можно говорить без конца, но тогда стало бы заметным, что мы были далеко не столь многословны, когда речь шла о Лаблаше. Есть люди открытые и люди замкнутые. Лаблаш заперся на два оборота в себе самом и высовывал нос из этой темницы лишь для того, чтобы выплюнуть свою ненависть. Тогда как Шон — я уже говорил это — неизменно был вне себя.

Еще одно, последнее, слово о герцоге, точнее, о его семье. Если отец Шона, потомок де Люиня по прямой линии, также проявлял склонность к наукам, если не ошибаюсь — естественным, то его мать, урожденная Бонье, дочь богатейшего купца, была дамой из самых скандальных, на грани безумия. Говоря о ней и о ее деньгах, вдовствующая герцогиня, бабка Шона, имела обыкновение объяснять — «хорошей земле необходим навоз», что хотя и верно, но не слишком любезно. Отношения нашего Шона с матерью, от которой он унаследовал ее экстравагантность, отнюдь не отличались взаимопониманием, он даже затеял против нее процесс. Женщинам, как мы уже отметили, он любил демонстрировать свою силу, что не способствовало душевному согласию. Ничего не понимая в женском характере, он мгновенно выходил из терпения и пытался сломить своих возлюбленных, подобно ребенку, который колотит чересчур неподатливые игрушки, чтобы их наказать.

В девице Менар не было никакой загадочности или двусмысленности, но она отличалась от него самого, и это злило Шона. Он, очевидно, любил ее больше, чем принято думать. Если верить Гюдену, у которого были все основания проявить осведомленность, она родила от герцога ребенка в самом начале их связи. Аббат Дюге, исповедник Менар, уточняет, что это была дочь. Где герцог познакомился с Менар? На бульварах, где она начинала свою карьеру как цветочница? В Итальянской комедии, где она играла и пела в воде-

вилях, как в ту пору назывались пьесы с куплетами? (Бразье в своей книге, посвященной театрам малых форм, рассказывает, что авторы водевилей имели обыкновение заключать: «Пьеса окончена, остались только куплеты»). Или в каком-нибудь салоне? Мармонтель, Седен, Шамфор, сходившие по ней с ума, следовали за ней на все приемы, которые она удостаивала почтить своим присутствием, блистая красотой, но не умом. Или, не исключено, даже в Версале, если маршал, герцог де Ришелье, в самом деле затащил ее и туда? Не знаю, где они встретились, но знаю, что она его любила, раз предпочла людям более богатым, более блестящим и более цивилизованным, нежели он. Что бы там ни писал Гримм, зарабатывавший на жизнь торговлей злобными характеристиками, она, вероятно, была восхитительна. Это засвидетельствовано Бомарше.

Он, как и многие, увивался вокруг Менар, с которой познакомился в Итальянской комедии, когда читал там свою комическую оперу, вдохновленную одним из собственных юношеских парадов, ее название вам, возможно, знакомо — «Севильский цирюльник». Опера, впрочем, была отвергнута. Менар не замедлила пригласить Бомарше к себе в отсутствие де Шона. Каково же было его изумление, когда он застал там Гюдена, волочившегося за певицей столь же тайно, сколь безуспешно! Бомарше недолго ходил вокруг да около, не таков был его стиль ухаживания. Он был очарователен, слыл мастаком и имел привычку переходить к делу с места в карьер. Но Шон, некоторое время дувшийся на свою любовницу, как раз вернулся восвояси, поскольку ему, видно, наскучили девицы из предместий, в которых он иногда испытывал потребность. Грянул гром. Бомарше сократил посещения, герцог отвел ярость, задав трепку любовнице. Однако та, очарованная Бомарше, приняла тумаки без всякого восторга и укрылась вместе с дочерью в монастыре. Несколько растерявшись, герцог смягчил свой гнев и послал ей денег, чтоб получить прощение. Вскоре, успокоенная, а возможно, и соскучившаяся в святой обители, Менар вернулась домой и призвала Бомарше. Тот счел более элегантным предупредить о приглашении герцога, к которому по-прежнему питал дружеские чувства. Письмо длинное, но его тем не менее стоит привести по многим причинам. В частности, по нему видно, каков был характер отношений между Бомарше и Шоном за четыре-пять дней до несусветных и грандиозных безумств 11 февраля 1773 года.

«Господин герцог,

г-жа Менар уведомила меня, что она уже дома, и пригласила, как и всех прочих своих друзей, посетить ее, ежели я пожелаю. Из этого я заключил, что причины, вынудившие ее скрыться, отпали; она сообщает, что свободна, с чем я от всего сердца поздравляю вас обоих. Я рассчитываю повидаться с нею завтра днем. Итак, в силу обстоятельств Вы приняли решение, к коему не могли побудить Вас мои уговоры; Вы перестали ее терзать, я горячо радуюсь за вас обоих, я сказал бы даже — за нас троих, если б не решил вовсе устраниться от всего, что хоть в малейшей мере касается бедняжки. Мне стало известно, какие финансовые усилия

Вы предприняли, чтобы поставить ее вновь в зависимость от себя, и каким великодушным поступком увенчала она свое шестилетнее бескорыстие, вернув г-ну де Жанлису деньги, которые Вы взяли в долг, чтобы предложить ей. Какое благородное сердце не воспламенилось бы при подобном поведении! Что до меня, хотя мои услуги она до сих пор отвергала, я сочту для себя великой честью ежели не в глазах всех, то, во всяком случае, в моих собственных, коли она соблаговолит числить меня одним из самых преданных своих друзей. Ах, господин герцог, сердце столь великодушное не может быть привязано ни угрозами, ни побоями, ни деньгами. (Простите, если я позволяю себе подобные рассуждения: они небесполезны для той цели, кою я ставлю перед собой, обращаясь к Вам). Она это доказала Вам без чьей-либо подсказки. Ваши легкомысленные поступки, рассеянный образ жизни, пренебрежение к собственному здоровью могли заронить в нее мысль, будто Вы уже не питаете более любви к ней, но в ту минуту, когда она решила, что ее отдаление Вас огорчает, она пожертвовала всем ради Вашего спокойствия.

Вместо того чтобы быть ей за это благодарным, Вы постарались напугать ее всеми возможными способами. Она страдала от своего рабства и наконец от него избавилась. Все это в порядке вещей.

Говоря Вам о ней, я оставляю в стороне оскорбления, нанесенные мне лично, оставляю в стороне и то, что, несмотря на все мои предупреждения, после того как Вы сами же меня обнимали, ласкали и в своем и в моем доме, благодаря за жертвы, продиктованные исключительно моей к Вам привязанностью, после того как жалели меня, всячески ее пороча, — Вы вдруг без всяких оснований стали потом говорить и действовать совсем по-иному и наговорили ей во сто раз больше гадостей обо мне, чем говорили прежде мне о ней. Не стану упоминать о сцене, ужасной для нее и отвратительной между двумя мужчинами, когда Вы совершенно уронили себя, попрекая меня тем, что я всего лишь сын часовщика. Я горжусь своими родителями даже перед теми, кто считает себя вправе оскорблять своих собственных, и Вы сами понимаете, господин герцог, насколько в данных обстоятельствах моя позиция ставит меня выше Вас; не будь Вы во власти несправедливого гнева, лишившего Вас рассудка, Вы, нет сомнения, были бы мне только благодарны за ту сдержанность, с которой я отверг оскорбление со стороны того, кого до сих пор неизменно почитал и любил от всего сердца, и если при всей моей уважительной предупредительности к Вам я не трепетал перед Вами от страха, причина здесь в том, что я не властен над собой и не могу заставить себя бояться кого бы то ни было. Разве это основание, чтобы досадовать на меня? И разве всевозможные меры предосторожности, принятые мною, не должны, напротив, приобрести в Ваших глазах ту ценность, коя сообщается им моею твердостью? Я сказал себе: он опомнится после всех содеянных им несправедливостей, и тогда моя порядочность заставит его наконец покраснеть за собственные поступки. Вот из чего я исходил. Как бы Вы ни тщились, Вам не удастся составить обо мне

дурное мнение, равно как и внушить его Вашей приятельнице. Она потребовала в своих собственных интересах, чтобы я более ее не видел. Мужчину не может обесчестить покорность женщине, и я два месяца не видел ее и не позволял себе прямо к ней обращаться. Сейчас она разрешает мне пополнить круг ее друзей. Если за это время Вы не вернули себе ее благосклонности, утраченной из-за Вашего невнимания и невоздержанности, следует заключить, что средства, Вами для того употребляемые, были неподходящими. Право, послушайте меня, господин герцог, откажитесь от заблуждения, причинившего Вам уже столько огорчений: я никогда не посягал на то, чтобы ослабить нежную привязанность, питаемую к Вам этой великодушной женщиной; она прониклась бы ко мне презрением, попытайся я это сделать. Среди мужчин, ее окружающих, у Вас лишь один враг — это Вы сами. Ущерб, который Вы нанесли самому себе своими последними буйствами, указует Вам, на какой путь следует стать, чтобы занять достойное место среди ее истинных друзей... Плохое здоровье не позволяет ей приблизить к себе мужчину в ином качестве. Вместо того чтобы создавать ей адскую жизнь, объединим наши усилия и окружим ее милым обществом, чтобы сделать ей жизнь приятной. Вспомните все, что я говорил Вам на этот счет, и хотя бы ради нее верните Вашу дружбу тому, у кого Вы не смогли отнять уважения к себе. Если это письмо не откроет Вам глаза, я буду считать, что выполнил полностью свой долг по отношению к другу, коего никогда не бесславил и об оскорблениях коего позабыл, я обращаюсь к Вам в последний раз, предуведомляя, что, если и это не принесет результата, я буду отныне придерживаться холодного, сухого и твердого уважения, коим обязан вельможе, в чьем характере жестоко ошибся».

Герцогу, отнюдь не склонному к дележу, послание Бомарше пришлось не слишком по вкусу. Он не любил, чтобы ему резали правду в глаза. И поскольку к поединку на бумаге потомок де Люиня расположения не чувствовал, он ухватился за шпагу. Но мне не хотелось бы ускорять события и без того стремительные, чтобы вы не упустили ни минуты достопамятного дня, точное описание которого дошло до нас. Поэтому начнем с самого начала.

Рано утром 11 февраля Шон входит в спальню Менар с обнаженной шпагой в руке и натыкается на милейшего Гюдена, который сидит на краешке постели.

Герцог, разочарованно:

— Как, это всего лишь вы?

Гюден, примирительно, вскочив:

— Займите мое место, господин герцог, оно принадлежит вам!

Герцог, заглядывая под кровать, открывая шкапы:

— Где он? Я убью его.

— Но кого вы ищете?

— Бомарше, которого я должен немедленно убить.

Менар разражается рыданиями. При виде слез, о причине которых он догадывается, Шон разъяряется еще пуще и выбегает, испуская страшные вопли.

Наш бравый Гюден, забыв обо всем, кроме дружеских обязанностей, покидает в свою очередь апартаменты Менар, которую приводят в чувство, поднося ей соли, и мчится на улицу Конде предупредить Бомарше. По счастью, он натыкается на его экипаж на улице Дофин, неподалеку от перекрестка Бюси. Отважный Гюден бросается наперерез лошадям и вскакивает на подножку:

— Сейчас же поезжайте ко мне, я должен поговорить с вами о неотложном деле.

— Не могу, я еду в егермейстерство, у меня сейчас судебное присутствие; я приеду к вам после заседания.

— Будет слишком поздно!

— Но почему?

— Вас разыскивает, чтобы драться с вами, Шон. Он хочет вас убить.

— Я сам его взгрею!

При этих словах Бомарше толкает кучера в спину набалдашником трости, лошади трогаются. Гюден растерянно глядит вслед удаляющейся карете, потом отправляется пешком к себе домой, на площадь Дофин.

На ступенях Нового моста он сталкивается нос к носу с Шоном, силач поднимает его, «как хищная птица», и бросает в фиакр, шторки которого задернуты.

Герцог кучеру:

— На улицу Конде!

Гюдену:

— Я вас не отпущу, пока не поймаю этого мошенника.

— По какому праву, господин герцог, вы посягаете на мою свободу?

Шон величественно:

— По праву сильного! Вы мне найдете Бомарше, или...

— Господин герцог, при мне нет оружия, и, надеюсь, вы меня не убьете.

— Нет, убью я только Бомарше, и когда я воткну в него мою шпагу, когда зубами вырву его сердце, эта Менар может проваливать ко всем чертям!

Гюден, гордо:

— Знай я даже, где сейчас Бомарше, я не сказал бы вам, пока вы в такой ярости.

— Будете мне противиться, получите оплеуху.

— Я тотчас верну ее вам.

— Оплеуху мне — герцогу и пэру!

Наглость Гюдена показалась Шону до того непомерной, что он решил его наказать, выдрав ему волосы, однако в руке у герцога остался только парик. Опомнившись от изумления, он вернул поэту накладные волосы и принялся «раздирать ему ногтями шею, уши и подбородок». Гюден вопил, что его убивают. Пытке пришел конец, когда фиакр прибыл на улицу Конде. Герцог выскочил из экипажа, чтобы постучаться в дверь врага, а невинная жертва, обезумевшая от страха, воспользовалась этим, чтобы ускользнуть.

В это время Бомарше, облаченный в судейскую тогу, сидя «на королевских лилиях», судит в Лувре браконьеров и полевых расхитителей.

Быть грозным Миносом охотничьих угодий
И в Лувре утром, при любой погоде,
Скучать, читая приговор,
Чтоб бледный заяц или вор
Разбойничать не смели на свободе.

Шон без труда получил желанные сведения от слуг на улице Конде — ему достаточно было появиться, чтобы перепугать их до смерти. Четверть часа спустя он ворвался в зал заседаний и, пренебрегая почтенностью сих мест, прервал судоговорение, обратясь к Бомарше:

— Сударь, вы должны немедленно выйти, мне необходимо срочно с вами поговорить.

— Я не могу этого сделать, господин герцог, общественные обязанности вынуждают меня соблюсти приличия и довести до конца начатое дело. Гвардеец, подайте стул господину герцогу де Шону.

Герцог садится, но тут же вскакивает:

— Сударь, я не могу сидеть, я жажду...

— Гвардеец, принесите господину герцогу стакан воды.

— Я жажду вашей крови. Мне необходимо сейчас же убить вас и разорвать ваше сердце.

— А, только и всего! Простите, господин герцог, делу время, а потехе час.

— Я выцарапаю вам глаза перед всеми, если вы сейчас же со мной не выйдете!

— Это вас погубит, сударь. Не забывайте, где вы находитесь и кому я здесь служу.

На минуту утихомирившись, герцог садится. Судоговорение возобновляется. Но вскоре герцог снова вскакивает, расхаживает большими шагами по залу, прерывает свидетелей, требуя, чтобы они говорили покороче. Его опять заставляют сесть.

Бомарше в надежде на передышку продолжает заседание. Шон, не в силах молчать ни минутой дольше, обращается к графу Марковилю, заседателю суда:

— Я сейчас удушу его.

Гвардейцы угрожают вмешаться, но Бомарше по знаку Марковиля приказывает им не трогаться с места. Наконец последняя речь в защиту некоего ответчика по имени Рагонде, фермера, нарушившего статью 24 королевского ордонанса от 1669 года и т. д. Герцог подымается и, встав перед адвокатом, спрашивает:

— Долго вы там еще?

Проходит четверть часа. Бомарше читает приговор. Рагонде Присуждается к уплате штрафа в размере 100 ливров, и Бомарше заключает, как велит обычай:

«Решено и вынесено мессиром Пьером-Огюстеном Кароном де Бомарше, кавалером, советником короля, старшим бальи Луврского

егермейстерства и большого охотничьего двора Франции, правившим суд в таком-то зале заседаний, дано в Луврском замке в четверг 11 февраля 1773 года».

По окончании заседания Бомарше, уже в цивильном платье, находит герцога стоящим на страже у его кареты и уже успевшим собрать своими криками небольшую толпу.

Бомарше спрашивает, каковы его претензии.

— Никаких объяснений, — отвечает герцог, — мы сейчас же едем драться, или я закачу скандал прямо здесь!

— Надеюсь, вы все же позволите мне заехать домой за шпагой. У меня в экипаже только никудышная шпага на случай траурных церемоний, вы ведь не потребуете, чтобы я защищался против вас ею?

— Мы заедем к графу де Тюрпену, он ссудит вас шпагой, и я попрошу его быть секундантом.

С этими словами герцог первым садится в экипаж Бомарше и велит кучеру побыстрее ехать в особняк де Тюрпена.

Бомарше в свою очередь забирается в карету, она трогается, фиакр герцога следует за ней. Шон проявляет крайнее раздражение, осыпает Бомарше упреками и в конце концов, совершенно выведенный из себя молчанием противника, показывает ему кулак и кричит в лицо:

— Ну, на сей раз вы у меня не вывернетесь!

Невозмутимый Бомарше отвечает тихим голосом:

— Я не для того еду за шпагой, чтобы драться сейчас на кулаках.

Перед этим веским аргументом герцог отступает и пытается сдержать себя, но его лицо искажено яростью, внутренне он кипит.

Они прибывают к графу де Тюрпену, когда тот выходит из дому. Узнав карету, Тюрпен подымается на подножку, чтобы поздороваться с Бомарше.

Тот объясняет ему положение:

— Герцог везет меня драться, хотя я не знаю из-за чего. Он хочет, чтобы я перерезал ему горло; но в этой престранной истории он по крайней мере оставляет мне надежду, что вы, сударь, соблаговолите засвидетельствовать, как вели себя противники.

Поняв с первого взгляда, в каком состоянии де Шон, который от бешенства не может вымолвить ни слова, граф, занимающий высокий пост и потому обязанный не компрометировать себя участием в подобных конфликтах, не теряется и отвечает, давая тем самым время де Шону прийти в себя, что срочное дело вынуждает его немедленно отправиться в Люксембургский дворец, где он задержится до четырех часов пополудни.

После ухода де Тюрпена к герцогу возвращается дар речи, и он говорит:

— Мы поедем ко мне и дождемся там четырех часов, пока вернется наш секундант. Кучер, ко мне!

— Ну нет! Я не хотел бы встретиться с вами, господин герцог, один на один в поле, поскольку есть риск, что вы можете обвинить меня в намерении убить вас, если я буду вынужден защищаться

от вашего нападения и раню вас, но точно так же не поеду я и к вам, где вы хозяин и где непременно поставите меня в ложное положение. Кучер, на улицу Конде!

— Если вы выйдете из кареты, я заколю вас у дверей вашего дома.

— Значит, вы доставите себе это удовольствие, поскольку я не намерен ждать часа, когда мне станут ясны ваши намерения, нигде, кроме собственного дома.

Пока карета добирается до улицы Конде, Шон осыпает его оскорблениями.

Бомарше, примирительно:

— Послушайте, господин герцог, когда человек хочет драться, он не болтает попусту. Зайдите в дом, отобедайте у меня, и если мне не удастся привести вас в чувство до четырех часов и вы все еще не откажетесь от намерения поставить меня перед альтернативой — либо драться, либо лишиться чести, — пусть все решает оружье.

Карета прибывает на улицу Конде. Бомарше выходит, Шон, по-видимому, принявший приглашение к обеду, следует за ним.

Бомарше отдает приказания слугам, успокаивает отца, весьма встревоженного видом герцога. Прибывает курьер с письмом, адресованным Бомарше. Герцог выхватывает письмо из его рук и тут же рвет на клочки, сопровождая свои действия невообразимыми ругательствами. Тем временем Бомарше продолжает успокаивать отца, которого поведение де Шона все более беспокоит, уверяя г-на Карона, что все это шутка. Тот смотрит на сына с явным недоверием. Воспользовавшись коротким затишьем, Бомарше приказывает лакею отнести обед к нему в кабинет и просит де Шона подняться на второй этаж. На лестнице он спрашивает у следующего за ним лакея, где его шпага.

— Она у оружейника, — отвечает лакей, мертвый от страха.

— Ступайте за ней и, если она не готова, принесите мне другую.

Шон на всякий случай ошеломленному лакею:

— Не смей выходить из дому, не то я тебя убью.

Бомарше оборачивается — они все еще на лестнице — и, улыбаясь, говорит герцогу:

— Значит, вы переменили свои намерения? Хвала богу, без шпаги я ведь не смог бы драться.

Тем не менее он делает слуге знак; тот, не дожидаясь продолжения, стремглав летит вниз и бежит к оружейнику.

В кабинете Бомарше кладет траурную шпагу на стол и садится подле своего бюро:

— Я прошу у вас извинения, Шон, но мне необходимо написать одно срочное письмо.

Ни слова не говоря, герцог вырывает из его рук и вышвыривает в окно перо.

— Господин герцог, гость в моем доме неприкосновенен, и я не нарушу законов гостеприимства, если не буду к тому принужден подобными эксцессами.

Герцог бурчит что-то невнятное. Бомарше пытается его урезонить в надежде, что тот поймет все безумие своего поведения. Вместо ответа Шон хватает траурную шпагу и, скрежеща зубами, бросается на Бомарше. Герцог, вооруженный теперь двумя шпагами, объявляет противнику, что сейчас прикончит его. Бомарше не остается ничего иного, как сцепиться с герцогом врукопашную, чтобы не дать тому пустить в ход оружие. Пока гигант размахивает траурной шпагой над головой Бомарше, тот пытается оттеснить его к камину, где стоит колокольчик. Герцог упирается, царапая свободной левой рукой глаза Бомарше, и раздирает ему в кровь лицо. Бомарше все-таки ухитряется позвонить, на помощь сбегаются слуги.

— Обезоружьте этого безумца, — приказывает Бомарше.

Слуги со всех сторон вцепляются в Шона, словно лилипуты, повисшие на Гулливере. Но Шон их отшвыривает. Тогда повар, который, как заверяет нас Бомарше, был скроен не менее крепко, чем сам герцог, хватает полено из камина и собирается размозжить герцогский череп. Бомарше останавливает его криком:

— Разоружите его, но не причиняйте ему вреда; он потом скажет, что его в моем доме убивали.

Из руки герцога вырывают траурную шпагу, но никому не приходит в голову отобрать у него ту, которая в ножнах. Когда позднее слуг будут допрашивать, они объяснят, что «полагали это непочтительностью, могущей повлечь за собой дурные последствия для них». Странное время. Поразительные табу! На допросе повар будет стоять на своем: он мог стукнуть герцога поленом по голове, но дотронуться до герцогской шпаги не смел.

Однако пока еще до допроса далеко! Сейчас Шон, который, как мы уже видели, имеет обыкновение таскать за волосы, выдирает их у Бомарше целыми прядями. Поскольку на этот раз он имеет дело не с париком, жертва, не помня себя от боли, залепляет ему с маху кулаком по физиономии.

И вторично герцог изрекает свою неподражаемую сентенцию:

— Несчастный! Ты ударил герцога и пэра!

(Бомарше рассказывает: «Признаюсь, этот возглас, столь не соответствующий минуте, в другое время рассмешил бы меня; но так как герцог был сильнее и держал меня за горло, я думал только о своей защите».)

Сражение продолжается, ужасающее и грандиозное. Фрак и рубашка Бомарше разорваны в клочья, лицо залито кровью. Прибежавший г-н Карон, который отважно «бросился наперерез», получает свою долю «извозчичьего остервенения герцога и пэра». Слуги вновь накидываются на де Шона, восстанавливая до некоторой степени равновесие. Под давлением превосходящих сил зверь отступает к лестнице, но, забыв, что она у него за спиной, скатывается вниз по ступенькам, увлекая за собой слуг и Бомарше. Все оказываются на первом этаже. Шон поднимается первым и от этого несколько приходит в себя.

В дверь звонят. Шон как ни в чем не бывало идет открыть. При виде Гюдена, которого он хватает и отшвыривает вместе

со слугами, гнев его вновь разгорается, закипает, достигает апогея, он заявляет:

— Никто отсюда не выйдет и сюда не войдет без моего приказа, пока я не разорву на куски господина де Бомарше.

На шум к дверям дома сбегаются люди. Одна из горничных открывает окно и кричит в толпу, что буйный помешанный убивает ее господина.

Это правда или почти правда: герцог выхватывает оставленную ему шпагу и бросается на Бомарше, чтобы проткнуть его. На гиганте повисают восемь человек, им удается его обезоружить. Последняя схватка пополняет число жертв: у лакея рассечен лоб, у кучера отрезан нос, что до главного повара, то ему герцогская шпага пронзила кисть руки — высокая честь.

Полностью обезоруженный, герцог вырывается и бежит на кухню за ножом. Слуги, последовавшие за ним, спешат спрятать все колющие и режущие предметы, чтобы безумец не мог воспользоваться ими. Тем временем Бомарше ищет по всему дому какое-нибудь оборонительное оружие и не находит ничего, кроме каминных щипцов в своем кабинете. Вооружившись ими, он спускается вниз. И тут, о неожиданность (я вновь цитирую Бомарше): «Я узнаю новость, которая мгновенно убеждает меня, что этот человек окончательно спятил: дело в том, что, потеряв меня из виду, герцог отправился в столовую, уселся в полном одиночестве за стол, съел большую тарелку супа, котлеты и выпил два графина воды».

Стук в дверь. Шон с салфеткой в руке бежит открывать и наталкивается на полицейского комиссара Шеню, вызванного прохожими.

Комиссар, удивленный кавардаком в доме и всеобщей паникой, пораженный, главное, разодранным в кровь лицом Бомарше, спрашивает у того, что случилось.

— Случилось то, сударь, что обезумевший негодяй, явившийся в мой дом, чтобы отобедать, едва войдя в кабинет, накинулся на меня и хотел меня убить сначала моей собственной шпагой, а потом своей. Вы сами видите, сударь, что, имея столько слуг, я мог его уничтожить, но тогда с меня взыскали бы, изобразив его в лучшем свете, нежели он есть на самом деле. Его родные, хотя они и счастливы от него избавиться, тем не менее, возможно, затеяли бы против меня тяжбу. Я сдержал себя и, если не считать той сотни ударов кулаком, которые я ему нанес, защищаясь от ущерба, наносимого моему лицу и шевелюре, запретил причинять безумцу зло.

Герцог в свою очередь берет слово:

— Мы должны были драться, этот господин и я, в четыре часа, имея свидетелем графа де Тюрпена. Но я не в силах был дождаться условленного часа.

Шеню, остолбенев от изумления, молча смотрит на герцога. Бомарше пользуется случаем:

— Как вам нравится, сударь, этот человек? Учинил чудовищный скандал в моем доме, признается сам перед представителем власти

в своем преступном намерении и компрометирует высокопоставленного сановника, называя его свидетелем дуэли, чем уничтожает всякую возможность выполнения своего замысла? Подобное малодушие показывает, что он никогда и не думал всерьез о поединке.

При этих словах герцог вновь взрывается и накидывается на Бомарше. Противников успевают растащить. Комиссар просит Бомарше остаться в гостиной и уводит герцога в другую комнату. По пути герцог угрожает разбить зеркала. Тут, на горе, возвращается от оружейника лакей с новой шпагой. Бомарше вынужден объясниться:

— Сударь, я не собирался драться на дуэли, я никогда бы этого не сделал; но, не принимая вызова этого человека, я предполагал не расставаться со шпагой, выходя из дому, и оскорби он меня — а откровенность, с коей он оповещает всех об этой чудовищной истории, доказывает, что именно он ее зачинщик, — клянусь, я избавил бы, если б мог, от него мир, который он бесчестит своей подлостью.

Робея перед герцогом, Шеню тем не менее спрашивает Бомарше, приносит ли тот жалобу.

— Я не отдал приказа арестовать его сегодня утром в суде и не хочу, чтобы его арестовывали в моем доме. Между порядочными людьми принято поступать по-другому; и я буду действовать только так.

Комиссар, успокоенный, переходит в соседнюю комнату, где видит, к своему великому изумлению, что колосс бьет себя кулаками по лицу и рвет на себе волосы. Шеню умоляет его успокоиться:

— Вы слишком сурово себя наказываете, господин герцог!

— Вы ничего не понимаете, сударь. Моими кулаками движет не раскаяние, а ярость, ярость, что я не убил его.

Крайне почтительно комиссар убеждает герцога вернуться домой. Шон соглашается, но, прежде чем покинуть наконец жилище Бомарше, делает последний жест, соединяющий величие и безумие, — призвав лакея, которому сам только что рассек лоб, герцог приказывает причесать себя и почистить ему костюм. Закончив туалет, он выходит.

Таковы главные события этого безумного дня, о печальных последствиях которого я уже намекнул. Вернувшись восвояси, комиссар выполнил тяжкую обязанность и уведомил обо всем Сартина. В пространном и чрезвычайно осторожном письме Шеню рассказывает обо всем виденном и слышанном, но чувствуется, что он, боясь мести высокопоставленного безумца, изо всех сил старается его не задеть. Поэтому он заканчивает свой рапорт словами: «Я не могу нахвалиться поведением господина герцога, который даже не сказал мне ничего неприятного», — это *даже* говорит о многом, не правда ли?

Герцог изложил историю на свой манер, особенно настаивая на том, что был приглашен к Бомарше отобедать. В своем особняке на улице Нев-Сент-Огюстен Сартин без особого труда расплел клубок этой интриги и разобрался, кто прав, кто виноват; он ведь близко знал обоих противников. К тому же Сартину было известно все и

всегда. В одном из писем к Екатерине II Дидро говорил о начальнике королевской полиции: «Если бы *философ Дидро* в один прекрасный вечер отправился в какое-нибудь злачное место, г-н де Сартин узнал бы об этом еще до отхода ко сну. Стоит прибыть в столицу иностранцу, не проходит и суток, как на улице Нев-Сент-Огюстен уже могут сказать, кто он, каково его имя, откуда он приехал, зачем пожаловал, где остановился, с кем переписывается, с кем живет...» К несчастью для Бомарше, решение зависело не от одного Сартина.

Бомарше давно уже был приглашен на этот вечер к г-ну Лопу, или Лопесу, генеральному откупщику, у которого ему предстояло прочесть первый вариант «Севильского цирюльника». Семь часов, восемь, девять. Гости Лопеса, то, что мы сегодня именуем jetsociety [1], а вчера называли сливками общества, начинают уже обмениваться язвительными замечаниями, когда появляется автор, весь перевязанный, с забинтованной головой и резвый, как никогда. К нему кидаются с расспросами, он повествует о своих злоключениях небрежно, словно все это случилось не с ним. Затем следует чтение *пяти* актов «Цирюльника», комедии, которая уже успела побывать парадом, а потом была превращена в комическую оперу, отвергнутую Итальянским театром. Огромный успех. После ужина неутомимый Бомарше играет на арфе, поет — уже ночью — сегедильи. «Вот так всегда, — пишет Гюден, — что бы с ним ни случилось, он полностью отдавался настоящей минуте, не задумываясь ни о том, что прошло, ни о том, что грядет, всецело полагаясь на свои способности и свое присутствие духа. Ему не нужно было ни к чему готовиться заранее. Он неизменно владел собой, и его принципы были столь тверды, что он всегда мог на них опереться».

Вернувшись на улицу Конде уже под утро, Бомарше нашел в спальне письмо от г-жи Менар, о которой мы несколько позабыли, хотя именно она была причиной всех этих безумств:

«Сударь,

несмотря на все свидетельства доброты, выказанной Вами ко мне, Ваше покровительство и обещанную защиту, не могу скрыть от Вас моих слез и опасений; характер буйного человека, коего я бегу, слишком хорошо мне известен, чтобы не внушать страха перед будущим, пагубным для него, равно как и для меня. Дабы спасти себя и его от исступления ревности, я окончательно решила уйти в монастырь. Где бы я ни нашла убежище, я буду иметь честь Вас о сем уведомить. Осмеливаюсь умолять Вас, чтобы это осталось тайной для него, я присовокуплю сие неоценимое благодеяние к той благодарности, коей я уже проникласъ к Вам за предложенную помощь; я настолько на нее уповаю, что уже договорилась, ссылаясь на Ваше имя и на Ваш авторитет, поместить свою дочь в монастырь Сретения господня, куда сегодня вечером аббат Дюге доставил мне удовольствие ее отвезти. Благоволите, сударь, защитить мать и дитя, которые, кроме господа бога, питают лишь к Вам одному полное доверие,

---

[1] Избранное общество (*англ.*).

не имеющее себе равного ни в чем, кроме чувства глубочайшего почтения,

с коим имею честь оставаться, сударь, Вашей нижайшей и покорнейшей слугой».

Г-жа Менар имела обыкновение спасаться в монастыре. Но отправилась ли она туда на этот раз по собственной воле или по наущению Сартина? Весьма темна также роль аббата Дюге. Сей досточтенный священнослужитель не прочь, при условии, что не будет слишком скомпрометирован, оказать некоторые услуги полиции. Его письмо от 15 февраля показывает, сколь многообразны были в ту пору окольные дорожки, на которых переплетались земное и небесное. Колоритная деталь — аббат Дюге именует шефа полиции монсиньором!

«Монсиньор,

после свидания с Вами я отправился в монастырь Сретения господня, дабы удостовериться в соответствии с Вашим приказанием, можно ли найти там приют для матери и ребенка. Я имею в виду г-жу Менар и ее малютку, которых уже привозил в этот монастырь в четверг вечером, как я имел честь Вас уведомить в прошлую субботу. Тогда мне не удалось ничего добиться; там совершенно не было места — с Вашей рекомендацией и при добром расположении г-жи настоятельницы к этой девице ее там, разумеется, хорошо бы приняли, буде такое место бы оказалось. Потерпев неудачу, я вернулся в монастырь Кордельерок на улице де л'Урсен, в предместье Сен-Марсо, и после множества расспросов, от которых я уклонялся и увертывался, как мог, вчера, в воскресенье утром, мне в соответствии с моей просьбой прислали согласие на прием, исходя из чего сегодня около одиннадцати я проводил г-жу Менар в вышеозначенный монастырь Кордельерок. Осмелюсь ли признаться Вам, монсиньор? Будучи невольно втянут в эту катастрофу, могущую иметь весьма печальные последствия, и наслышанный более, чем мне хотелось бы, о насильственных намерениях того, кого бежит г-жа Менар, я весьма страшусь за себя самого, опасаясь, как бы мое чрезмерно доброе сердце не навлекло на меня в связи с этим весьма неласковых поношений <...>

Г-жа Менар поручила мне сообщить Вам некоторые другие подробности, до нее касаемые; их невозможно доверить письму; уже и это слишком докучливо. Если то, что до нее относится в сем происшествии, Вам достаточно интересно, чтобы я мог позволить себе говорить с Вами о ней, благоволите назначить время, когда я мог бы удовлетворить Ваше желание. Покорный Вашему указу, я пойду навстречу тому особому доверию, коим она ко мне прониклась. Да будет дано моим слабым силам, не скомпрометировав себя, смягчить ее горести! Остаюсь, сударь, со всем уважением Вашим нижайшим и покорнейшим слугой.

Дюге, протоиерей,
монастырь Нотр-Дам».

Удивительный мир!

Шона пока не занимал побег Менар, он все еще искал Бомарше, чтобы убить его. Не расстался он с этой затеей и в вечер, когда Гю-

ден столкнулся с ним в фойе «Комеди Франсэз». В театре был объявлен «Цирюльник», и герцог рассчитывал найти там своего недруга. Схватив за руку бедного Гюдена, он сообщил ему, зачем явился:

— Скажите вашему другу, что я прикончу его там, где встречу!

Удрав за кулисы, Гюден тотчас написал Бомарше, чтобы предупредить об опасности, но над тем уже нависла другая угроза. Герцог де Лаврильер, прежде граф де Сен-Флорантен, министр двора, призвал его в свой кабинет и посоветовал удалиться на несколько дней в деревню. Бомарше отказался — этот приказ задевал его честь; мог ли он, не опозорив себя, прятаться от угрожавшего ему Шона? Довод показался Лаврильеру убедительным, и он порекомендовал Бомарше оставаться на улице Конде под домашним арестом, пока обо всем не будет доложено королю.

Но поскольку Шон закатил скандал в «Комеди Франсэз», публично огласив свое безумное намерение, дело вскоре попало в суд маршалов Франции: именно на них по традиции была возложена обязанность блюсти порядок в «Комеди Франсэз» и, главное, разрешать конфликты между лицами дворянского сословия. Спор, таким образом, подлежал их юрисдикции по двум линиям — как происшествие в театре и как ссора дворян.

Маршалы — их в ту пору было двенадцать (в порядке старшинства: Клермон-Тоннер, Ришелье, Бирон, Эстре, Бершени, Конфлан, Контад, Субиз, Брольи, Лорж, Армантьер и Бриссак), — выслушав обе стороны, вынесли решение в пользу Бомарше, с которого немедленно был снят домашний арест.

19 февраля Шон был заключен по королевскому указу в Венсенский замок.

Но мог ли Бомарше считать, что с этой дурацкой историей покончено? Интуитивно он опасался новых неприятностей. Для пущего спокойствия он отправился к Лаврильеру, а не застав того, на улицу Нев-Сент-Огюстен, где Сартин заверил его, что он может спокойно заниматься своими делами.

Вернувшись домой, он нашел у себя сына одного из двенадцати маршалов. Тот был прислан сестрой, которая «требовала вернуть ее письма и портрет». Дурной знак! «Сударь, — дерзко ответил Бомарше, — из-за неопределенности положения, в котором я сейчас нахожусь, я вынужден отказывать себе в некоторых радостях. Вручаю вам портрет вашей дражайшей сестры и ее письма упакованными и запечатанными. Вот они». Имя дамы, у которой, очевидно, был роман с Бомарше, по сей день загадка.

Морис Турнэ в своем издании «Записок» Гюдена полагает, что речь идет либо об одной из Брольи, либо об одной из Ришелье, но не в том суть, Бомарше понял — если дочь маршала требует назад свои письма, значит, ей известно, что он в опасности и должен ждать обыска. Это важнее.

26 февраля Гюден получил от Бомарше письмо из Фор-Левека, сравнительно комфортабельной тюрьмы на улице Сен-Жермен-л'Оксеруа, на берегу Сены:

«В силу незапечатанного письма, именуемого письмом за печатью, подписанного Людовиком, а ниже — Фелипо, завизированного Сартином, исполненного Бюшо и относящегося к Бомарше, я, друг мой, с сегодняшнего утра проживаю в замке Фор-Левек, в комнате без обоев, стоимостью в 2,160 ливра, где, как меня заверили, я не буду нуждаться ни в чем, кроме необходимого. Обязан ли я этим семейству герцога, которого спас от уголовного процесса, сохранив ему жизнь и свободу? Или министру, приказы которого я неизменно исполнял или предвосхищал? Этого я не знаю. Но священное имя короля столь прекрасно, что никогда не вредно употребить его лишний раз и к месту. Во всяком хорошо управляемом государстве по воле власти таким образом расправляются с теми, кого невозможно обвинить по суду. Что поделаешь? Повсюду, где есть люди, происходят вещи омерзительные, и быть правым — непоправимая ошибка, преступление в глазах правительств, всегда готовых наказать и никогда — судить».

Если нет никакой необходимости объяснять, кто такой этот «Людовик», следует, очевидно, все же сказать, кого звали Фелипо. Да просто-напросто — все того же герцога Лаврильера. В те времена высокопоставленные лица довольно быстро меняли гербы. Герцог был урожденный Фелипо, как Бомарше — урожденный Карон, сын Карона, fils Caron.

В те времена конечных гласных не произносили. О Кароне-сыне — Фикароне — о «Цирюльнике» и, следовательно, о Фигаро (улавливаете созвучие?), естественно, больше не могло быть и речи. Несмотря на одобрительный отзыв Марена, главного цензора, несмотря на разрешение на постановку, подписанное 12 февраля Сартином, комедия была запрещена, как только автор оказался в тюрьме — «как только я увидел из фиакра, что для меня опускают мост замка, у входа в который я оставил все свои надежды и свободу».

Но дьявол приберег три подвоха — Шон был только вторым из них.

Семейство Гезман

Бомарше создали Гезманы.

Встреча с этой нелепой и зловредной парочкой сыграла в его жизни решающую роль. Ввергнув Бомарше в беду — и в какую беду! — они наградили его гением. Без них он не написал бы ни монолога Фигаро, ни, главное, своих знаменитых «Четырех мемуаров для ознакомления с делом Пьера-Огюстена Карона де Бомарше». Я подчеркиваю — знаменитых, поскольку эти поразительные записки, которые прославили Бомарше на всю Европу, едва вышли в свет и, по справедливому замечанию Сент-Бёва, могут сравниться с самыми замечательными местами из последних «Писем к провинциалу» Паскаля, сейчас сохранили лишь свою славу и давно превратились в библиографическую редкость. Гезманы принесли Бомарше, сами того, разумеется, не желая, интеллектуальную зрелость, которой ему до сих пор недоставало. Появляются Гезманы — и меняется все: тон, стиль, устремления,

нравственный облик. В сорок лет Бомарше делает открытие — чтобы быть человеком, недостаточно ловчить, лукавить или обращаться в иную веру. Общество мирится с любыми масками, пока они не нарушают норм карнавала. Но персонаж, который веселится на масленицу, обязан исчезнуть, когда наступает великий пост. В Версале, в Париже, в Мадриде Бомарше был ряженым, жил ряженым, писал ряженым. Не пройди он через обрушившееся на него грозное испытание, он бы так и умер ряженым. Перечитаем последние строки его письма к Гюдену, мы найдем в них ключ ко всему дальнейшему: «Во всяком хорошо управляемом государстве по воле власти таким образом расправляются с теми, кого невозможно обвинить по суду. Что поделаешь? Повсюду, где есть люди, происходят вещи омерзительные, и быть правым — непоправимая ошибка, преступление в глазах правительств...» Вы прочли: *«Что поделаешь?»* 28 февраля Бомарше еще не знает, что делать, и готов снести свой жребий, иными словами, смириться, склониться, схитрить или, как то делал его отец, отречься от своей веры. Мы, однако, видели, что по натуре он склонен вступать в бой: против Лепота, против Клавихо, против Лаблаша он боролся, но боролся, не выходя за рамки системы, применяясь к обычаям, иерархии, власти. *Что поделаешь?* Но все же сопротивляться! Сопротивляться всеми силами. Мы увидим, как он откажется сложить оружие и вступит в грандиозное сражение против парламента, следовательно, против того или тех, кем этот парламент создан, и бой этот войдет в историю. В результате фантастической схватки, длившейся целый год, судьи, пусть и приговорят его к публичному шельмованию под давлением исполнительной власти, потерпят поражение. Никто в Европе на этот счет не заблуждался. В дальнейшем историки поставили перед собой цель умалить значение победы Бомарше. Фигаро? Полно, будем серьезны! Французы, подобно мещанину во дворянстве, всегда преисполнены почтения к учителю философии. Вернемся, однако, в Фор-Левек.

Этот небольшой замок был роскошной тюрьмой, тем не менее свои первые ночи Бомарше провел в довольно некомфортабельном чердачном помещении. Затем вмешался Сартин, и смотритель тюрьмы — Жан-Юбер Динан дю Верже — выделил узнику комнату посимпатичнее, ту самую, что за несколько лет до него занимала актриса «Комеди Франсэз» Клерон, попавшая в Фор-Левек из-за скандала между пайщиками театра, наделавшего в свое время немало шума. Мортон в своем издании переписки Бомарше отмечает, что Верже, смотритель Фор-Левека, был преисполнен сознания важности своей миссии. И действительно, в докладе об управлении замком, направленном в парламент, этот тюремщик писал: «Нет ничего священнее свободы каждого гражданина». Добрейший Верже, очевидно, понимал, что из осторожности лучше держать под замком все, что священно. Тюремное начальство с тех пор мало изменилось, разве только, если верить нашим газетам, юмора у него поубавилось.

Бомарше упрятали в Фор-Левек без всяких оснований. Просто Лаврильеру захотелось доказать маршалам, что они ему не указ. Поскольку они посмели снять домашний арест, наложенный им, гер-

цог удвоил ставку, и все, разумеется, именем короля. Но не исключены и другие объяснения — к примеру, солидарность между герцогами. Ломени это приходило в голову. Или еще одно, которое приходит в голову мне самому, — Лаблаш. Заключение противника в тюрьму развязывало графу руки. Может, Лаврильер оказал ему эту услугу? А почему бы и нет? Они были знакомы, по-видимому, принадлежали к одному клану. Как бы там ни было, арест Бомарше был на руку Лаблашу. Он немедленно воспользовался этой *случайностью,* добившись от парламента ускоренного рассмотрения своей апелляционной жалобы и переноса судебного заседания на 6 апреля. Лаврильер освободит Бомарше 8 мая, после того как Лаблаш выиграет дело. Совпадение?

Когда Бомарше узнал, что противник воспользовался его арестом, он поднял на ноги своих друзей. В частности, обратился к Сартину. Тот, вняв его доводам и особенно, кажется, доводам Менар, которая по своему обыкновению пробыла в монастыре всего две недели, добился для Бомарше разрешения ежедневно выходить на несколько часов из Фор-Левека, конечно, под охраной, дабы тот мог заняться подготовкой процесса и побеседовать, как было принято, со своими судьями. Получить такое разрешение оказалось нелегко — требовалась подпись Лаврильера, а герцог без видимых причин дважды в ней отказывал, «не считая уместным» давать подобную поблажку Бомарше, однако то, что представлялось неуместным 1 и 10 марта, стало уместным 23-го.

23 марта Бомарше наконец получил возможность заняться своей защитой. Оставалось всего две недели, чтобы, как мы сказали бы сегодня, пробиться против течения. Лаблаш уже месяц осаждал советников парламента, измышляя, обманывая, клевеща и напирая на то, что человек, поставленный вне закона королевским ордером на арест, явно виновен, заведомо виновен. Свежеиспеченные члены парламента, назначенные вместо тех, чьи спины оказались недостаточно гибкими, благосклонно прислушивались к словам генерал-майора, выглядевшего человеком весьма осведомленным. Но Бомарше трудности не пугали. «Никакие трудности никогда меня не останавливали». Тем не менее, когда визиты судьям наносишь под конвоем, это не всегда производит благоприятное впечатление, а необходимость возвращаться в свою камеру к определенному часу — в полдень и в шесть вечера — отнюдь не упрощает назначение встреч. Не смущаясь всем этим, Бомарше гоняет бедного Сантера, своего конвоира, из конца в конец Парижа. Стражу, очень скоро покоренному своим узником, приходится тяжко, ибо, пробегав день-деньской с Бомарше, подобно его тени, Сантер еще обязан по вечерам строчить подробные донесения Сартину. По прошествии недели, убитой на такие прогулки, Сантер все еще отмечает: «Мы ходим с утра до вечера, но нам пока удалось застать дома только трех или четырех из этих господ».

Потерянного времени не вернешь. По некоторым признакам Бомарше догадывался, что обстановка складывается не в его пользу. Ему ставят в вину его дерзость, его успех, его кареты и деньги. И его преступления. Лаблаш снова плетет свою паутину, разглагольствуя

в салонах, инспирируя газетные отклики, оплачивая памфлеты, потакая вкусу парижан к начетам и скандалам. «Поверьте, что нет такой пошлой сплетни, нет такой пакости, нет такой нелепой выдумки, на которую в большом городе не набросились бы бездельники, если только за это приняться с умом, а ведь у нас здесь по этой части такие есть ловкачи!..» Друзья Бомарше, за исключением Сартина, были бессильны, они могли только сочувствовать и держать в спорах его сторону, да и это подчас было небезопасно. Если достоинства человека познаются по чувствам, которые он возбуждает в людях, можно ли усомниться в подлинном благородстве того, кого Лаблаш именовал «законченным чудовищем», требуя избавить общество от этой «ядовитой гадины»? Не говоря уж о родных, чье поведение было, как мы увидим, из ряда вон выходящим, неизменная верность и привязанность таких людей, как де Конти, Гюден, Ленорман д'Этиоль, вознаграждали Бомарше за все низости, подлости и предательства светского общества.

Как не привести письмо, полученное им в тюрьме Фор-Левек от шестилетнего мальчика?

«Нейи, 2 марта 1773.

Сударь,

посылаю Вам мой кошелек, потому что в тюрьме человек всегда несчастен. Я очень огорчен, что Вы в тюрьме. Каждое утро и каждый вечер я читаю за Вас молитву богородице. Имею честь, сударь, быть Вашим нижайшим и покорнейшим слугой,

Констан».

Констан был сыном Ленормана д'Этиоля, вторично женившегося после смерти г-жи де Помпадур. Бомарше написал г-же д'Этиоль, что он «обрадовался этому письму и этому кошельку как ребенок. Счастливые родители! Ваш сын в шесть лет способен на такой поступок. И у меня тоже был сын, но его уже нет!» В тот же день он ответил Констану:

«Фор-Левек, 4 марта 1773.

Мой маленький друг, благодарю Вас за полученное мною письмо и кошелек, который Вы к нему приложили; я поделил присланное по справедливости между моими собратьями узниками и собой — Вашему другу Бомарше я оставил лучшую часть, я имею в виду молитвы богородице, в которых я, конечно, изрядно нуждаюсь, а страждущим беднякам отдал деньги, лежавшие в Вашем кошельке. Поэтому, желая доставить радость одному человеку, Вы заслужили благодарность многих; таковы обычно плоды добрых дел, подобных Вашему.

Всего лучшего, мой маленький друг».

Вскоре Бомарше пришлось испытать великую нужду в молитвах богородице. 1 апреля суд после предварительного рассмотрения назначил докладчика, от которого зависел исход процесса. По обычаю и традиции судьи присоединялись к его мнению. Доклад должен был лечь на стол парламента 5 апреля, у Бомарше, следовательно, оставалось всего четыре дня на то, чтоб отстоять свои интересы перед челове-

ком, который решал его судьбу, а именно перед Луи-Валантеном Гезманом де Тюрн.

Советник, как и сам новый парламент, был человек темный, угодливый, но таивший честолюбивые замыслы. Службы Мопу откопали его в Эльзасе, в верховном суде которого он заседал, и в 1770 году канцлер назначил Гезмана советником Большой палаты парламента. Гезман слыл солидным, но заурядным юристом. Подобно большинству собратьев, он, дабы укрепить свою репутацию, счел должным написать ученый труд и опубликовал у книготорговца Леже «Трактат об уголовном праве ленов». Гезман не отличался привлекательностью, однако высокое положение и загадочность женского сердца позволили ему дважды вступить в брак. Его вторая жена, более красивая и молодая, чем он, отличалась сильным характером и слабой совестью. В плане этическом новый парламент был под стать старому; его подкупность не оставляла сомнений. Но поскольку Мопу осудил обычай официального поднесения судьям подарков, новые члены парламента пополняли свой достаток при помощи тайных взяток. Дабы сохранить руки чистыми и соблюсти достоинство, советники обычно возлагали обязанности собирать дань на третье лицо, как правило, на супругу.

Г-жа Гезман, в девицах Габриель Жамар, достигла в этом искусстве, без сомнения, одном из древнейших, неоспоримой виртуозности. Она действовала открыто, считая, что реклама — лучший способ оповещения клиентуры. «Когда мой муж будет назначен докладчиком, — заявила она, — я сумею так ощипать каплуна, что он и не пикнет».

Каплун, барашек в бумажке, подмазка! — можно бы посвятить специальное исследование причудливым связям правосудия и кухни. И разве не зовут в народе продажных судей живоглотами и куроедами?

Советник проживал на набережной Сен-Поль, но недостаточно было узнать его адрес, следовало еще добиться аудиенции. В сопровождении все того же Сантера, который стал теперь записывать все хождения своего подопечного, Бомарше начиная с 1 апреля трижды просил следователя принять его. Гезман, очевидно уже подкупленный Лаблашем, отвечал через привратницу, что его нет дома. На следующий день утром — та же игра, после полудня — никаких изменений. Гезман, которого, надо думать, горести «каплуна» только тешили, показывался в окне, словно в насмешку просителю.

Бомарше живо смекнул, чего добивается Гезман, к чему стремится его понудить, однако, стесненный в своей свободе, не знал, как именно ему подобраться к судье. 2 апреля, прежде чем вернуться в камеру, он забежал к сестре, г-же Лепин, у которой был приемный день. Тут собралась, разумеется, вся семья и множество друзей, среди них — Бертран д'Эроль, которому Фаншон сдавала квартиру и к которому, возможно, питала слабость. Дэроль или д'Эроль — не знаю уж, как он писался, — тотчас заявил, что у него есть «способ». Способы и уловки вообще были его профессией, похоже, он этим жил.

Короче, Дэроль — плевать на дворянскую частицу! — был вхож к книготорговцу Леже, издателю Гезмана. По словам Дэроля, книготорговец обычно играл роль посредника, через которого можно было добраться до г-жи Гезман. И в самом деле, мастерица ощипать каплуна сказала Леже: «Если появится щедрый клиент, дело коего будет правым и коий не потребует никаких бесчестных поступков, я не сочту неделикатным получить от него подарок».

Убежденный, как всегда, в своей правоте, Бомарше вовсе не желал подкупать Гезмана, он стремился только поговорить с ним, но никак не мог этого добиться. Он взял слово с Дэроля и с сестры, которые хотели немедленно кинуться к Леже, что куш деликатной г-же Гезман будет дан только в целях получения аудиенции. В конфликте с Лаблашем необходимо было сохранить руки чистыми. Дэроль и Фаншон дали обещание и отправились к Леже, а Бомарше вернулся в тюрьму.

Г-жа Гезман запросила 100 луидоров. Немалая цена за то, чтоб открыть дверь! Бомарше, узнав на следующий день о притязаниях мастерицы ощипать, взъярился. Поначалу он даже отказался платить, но близкие настаивали. Его убеждали: «Если вы можете потерять 50 000 экю из-за того только, что не сможете объяснить свое дело докладчику, стоит ли считаться с сотней луидоров? Да потребуй она даже 500, взвешивать не приходится». Чтобы прекратить споры, один из друзей, очевидно, Лашатеньре, вручил Фаншон два свертка по 50 луидоров.

Эта последняя снова отправилась в книжную лавку и, руководствуясь похвальной заботой об экономии, сделала попытку сбить цену за право переступить порог. Леже повидался с г-жой Гезман, но та осталась неумолима.

Вернувшись, книготорговец сообщил г-же Лепин точку зрения советницы: «Когда приносишь жертву, следует делать это от всего сердца, в противном случае она теряет цену; и господин ваш брат весьма не одобрил бы вас, узнай он, что четыре часа были упущены только ради того, чтобы сберечь немного денег».

Отвечать было нечего, Фаншон вручила 100 луидоров книготорговцу, который поклялся уведомить Дэроля, как только получит указание от г-жи Гезман. Мастерица ощипать обладала талантом растягивать удовольствие, а также путать карты, умножая число посредников.

Наконец, 3 апреля в середине дня *уведомленный* Дэроль разыскал Бомарше и объяснил, как тот должен поступить:

«Сегодня вечером ступайте к господину Гезману. У двери вам опять скажут, что его нет, но вы настаивайте на своем и потребуйте лакея госпожи Гезман; вручите ему письмо, содержащее учтивую просьбу, чтобы эта дама в соответствии с договоренностью между нею и Леже устроила вам аудиенцию, и не тревожьтесь — в дом вас впустят».

На первый взгляд поведение Гезманов может показаться ребяческим или нелепым, но если призадуматься, подоплека всех этих махинаций ясна — с одной стороны, сам советник хочет оказаться

вне всяких подозрений, он ведь свою дверь держит закрытой, с другой — г-жа Гезман, которая эту дверь открывает, получает денежное подспорье.

«Покорный наставлениям», Бомарше явился в тот же вечер — в шестой, следовательно, уже раз — на набережную Сен-Поль. Его сопровождали адвокат — мэтр Фальконе — и неизменный Сантер. Комедия разворачивалась в строгом соответствии с указаниями г-жи Гезман. Сначала привратница отказалась впустить в дом посетителей под ритуальным предлогом отсутствия хозяина. Затем Бомарше, неукоснительно следуя предписаниям советницы, потребовал, чтобы вышел ее лакей. Заставив себя довольно долго ждать, этот последний наконец появился, и Бомарше смог вручить ему, как то было условлено, записку Леже, попросив передать ее незамедлительно. Лакей ответил, что об этом не может быть и речи, поскольку в покоях хозяйки дома пребывает в данную минуту ее супруг. Молодчик явно не впервой принимал милых дружков мастерицы ощипать. Но на сей раз он ошибся — у посетителей были совершенно иные намерения.

— Если господин советник у госпожи советницы, — ответил Бомарше, — с письмом следует тем более поторопиться. Поверьте, ваши господа ни в чем не упрекнут вас.

Выполнив поручение, лакей попросил визитеров последовать за ним в кабинет советника, пообещав, что тот в свою очередь спустится к себе «из покоев барыни по внутренней лестнице». У Гезманов были странные причуды. Сантер, как мы уже сказали, отнюдь не дурак, наблюдал и записывал с неизменным удивлением все хитроумные уловки судейского чиновника и его супруги.

Дверь наконец открылась, и неуловимый Гезман предстал перед Бомарше. Было уже девять часов вечера — время довольно неудобное для человека, свобода которого ограничена. Совершенно очевидно, что советник, сообщник и вдохновитель своей жены не желал встречаться с опасным Бомарше, пока она не получит записки или знака от Леже.

Гезман, одетый по-домашнему — разве положено в такой час тревожить почтенного советника парламента? — просит тех, кого приходится назвать его гостями, сесть. Адвокат задает ему вопросы по делу. Внимательно ли он просмотрел досье? Каковы его выводы? Есть ли у него вопросы? Гезман, полусонный, увиливает от ответов. В конце концов под нажимом Фальконе он удостаивает высказать свое сужденье, весьма лаконичное.

— Дело ясное.

Адвокат и истец изумленно переглядываются. Бравый Сантер, хотя ему уже приходилось сталкиваться с судейскими, с их непоследовательностью и крючкотворством, ошарашен.

— Но, сударь, открывали ли вы хотя бы досье? — восклицает, с трудом сдерживаясь, Бомарше.

Гезман, прищурившись, глядит на него с мягкой иронией, затем, вздохнув:

— Да, я просмотрел... Итоговый расчет между вами и господином Дюверне не может рассматриваться как серьезный документ.

— Почему же?

Гезман, злобно:

— Потому что все суммы написаны только цифрами!

Растерянный мэтр Фальконе просит, чтобы ему показали акт. Гезман протягивает ему бланк. Адвокат смотрит: все суммы действительно обозначены цифрами. Фальконе обескуражен, это заметно по его лицу: как мог клиент, сведущий в законах, совершить подобную оплошность? Гезман ухмыляется.

Тогда Бомарше:

— Мэтр, переверните, пожалуйста, лист, вы увидите, что на лицевой стороне все суммы обозначены как положено, прописью. Советник протянул вам акт оборотной стороной, где, также в соответствии с установленным порядком, суммы повторены и потому даны в цифрах.

Фальконе, донельзя удивленный, вопросительно смотрит на Гезмана. С какой стати тот разыграл перед ним эту комедию? Советник молчит, словно погруженный в глубокую задумчивость, за него отвечает Бомарше:

— Могут быть только два объяснения: одно — пристойное: у советника еще не было свободного времени, чтобы изучить дело; другое — непристойное: советник составил свое мнение до всякого изучения.

— Вы глубоко заблуждаетесь, сударь, ваше дело известно мне во всех подробностях. Оно, повторяю, проще простого, и я рассчитываю послезавтра доложить о нем суду.

— На чем же именно, сударь, вы основываете свои выводы?

Гезман, глядя, если это возможно, еще более хитро:

— Коль скоро вы так настаиваете, господин Бомарше, я могу вам, к примеру, дружески заметить, что, исходя из Уложения 1733 года, представленные документы явно незаконны...

На сей раз приходит очередь рассердиться адвокату:

— Но, сударь, вы же не можете не знать, что обе договаривающиеся стороны подпадают как раз под исключение, предусмотренное известным параграфом этого закона! Такова общепринятая практика, и вы не можете делать вид, что...

Совершенно неожиданно Гезман делает успокоительный жест:

— Прописью, цифрами, все это пустое! Закон, параграф, предусматривающий исключение! К чему сердиться, если справедливость будет восстановлена?

Советник подымается, аудиенция окончена. Уходя, Бомарше замечает на лице советника «следы весьма двусмысленной улыбки», внушающей ему тревогу.

В фиакре, по дороге в Фор-Левек, Бомарше проявляет беспокойство. Если советник Гезман, человек опытный, болтает невесть что, значит, он в этом деле не судья, а заинтересованная сторона. Или он припас для суда аргумент посерьезнее, не столь легковесный, как те, что он выложил им. Поэтому Бомарше решает пойти ва-банк и,

коль скоро терять ему нечего, повидаться с Гезманом еще раз, чтобы принудить советника поговорить серьезно, пусть даже и обозлив его. Прежде чем вернуться в свою «довольно прохладную квартиру, снабженную отличными ставнями, великолепными запорами, в общем, надежно защищенную от воров и отнюдь не отягощенную излишними украшениями, в замке, который расположен в красивейшем месте Парижа на берегу Сены», он поручает Фальконе переговорить обо всем с «веселой компанией» — с теми, кого Гезман позднее назовет «гнусной кликой», иными словами, со своими близкими — семьей и друзьями.

Назавтра, то есть в воскресенье утром, «веселая компания» вновь принимается за дело. До момента, когда Гезману предстоит изложить свои выводы, остаются сутки. Фаншон и Дэроль возобновляют переговоры с Леже, который в свою очередь ведет их с советницей Гезман. Вскоре согласие достигнуто. Новая аудиенция, новые даяния. Тариф у г-жи Гезман твердый. Поскольку в воскресенье сто луидороd найти невозможно, Лепин предлагает часы, украшенные бриллиантами, которые стоят дороже и приводят в восторг даму, понаторевшую в ощипывании каплунов, однако, то ли войдя во вкус, то ли попросту оставшись в воскресенье на мели, она требует надбавки в 15 луидоров, якобы для того, как она заверяет, чтобы оплатить услуги секретаря. Грубая ложь! Этот секретарь был человеком глубоко порядочным, и Фальконе, которому уже доводилось иметь с ним дело, знал, что тот решительно отказывался от всяких подарков и подношений, даже если они были оправданы его честными услугами. Короче, советница стояла на своем: 15 луидоров, и немедленно.

Хочешь не хочешь, пришлось вручить Леже надбавку, он тотчас отнес ее г-же Гезман, которая пообещала устроить свидание в семь часов. Однако ни в семь, ни позже дверь Гезманов так и не открылась! Г-жа Лепин и Дэроль, извещенные об этом, бросились к Леже, явно смущенному. Книготорговец, очевидно, сам встревоженный, поклялся, что займется этим с утра пораньше и добьется новой встречи. Оборот, который приняли события за несколько часов до представления доклада, не сулил ничего хорошего, и Бомарше, догадываясь, что ему уже не удастся повидаться с Гезманом перед судебным заседанием, поручил нотариусу и своим друзьям собрать все документы, бумаги, письма, относящиеся к делу. Сам же посвятил ночь в камере составлению ответов на вопросы, которые, как он предполагал, могут быть ему заданы самым придирчивым и грозным судьей, буде тот пожелает уличить его в нарушении закона.

На следующее утро чуть свет Леже заявил нашим трем друзьям: «Дама не виновата, что вы не были приняты. Вы еще имеете возможность пойти к ее супругу сегодня. Она, однако, столь порядочна, что в случае, если вы не добьетесь аудиенции до суда, обязуется вернуть все полученное от вас».

Отправились в седьмой раз на набережную Сен-Поль. Для Бомарше это свидание было последней надеждой. Как и можно было предвидеть, привратница отказалась допустить их в дом. Да, барин дома и барыня тоже, но они не велели принимать господина де Бомарше.

Пришлось настаивать, угрожать, сунуть 6 франков лакею, чтоб быть хотя бы уверенными, что документы, подготовленные нотариусом и Бомарше, будут вручены советнику вовремя.

В полдень Гезман изложил свои выводы парламенту. Выходя из зала заседания, советник выглядел весьма довольным собой. На вопросы Фальконе он ответил, что «с его мнением согласились». Счастье, написанное на лице Лаблаша, также было достаточно красноречивым: не подлежало сомнению, что Бомарше осужден. Оставалось лишь ознакомиться с приговором, чтобы измерить масштабы поражения. Назавтра, в пятницу 6 апреля, суд огласил свое решение. Итоговый акт расчетов между Пари-Дюверне и его компаньоном был признан недействительным. Бомарше обвинялся не только в злоупотреблении доверием, но и в подделке документа. Это судебное решение бесчестило и разоряло Бомарше, обязывая выплатить Лаблашу 56 000 ливров, а также возместить все судебные издержки, весьма немалые.

В тот же вечер Леже отослал Фаншон два свертка по 50 луидоров и часы с репетицией, украшенные бриллиантами. Что касается 15 луидоров, то г-жа Гезман решила сохранить их «для секретаря». Последний возмущенно ответил на запрос Фальконе, что рассматривает как смертельное оскорбление саму мысль, будто он способен на подобную неделикатность.

Почему г-жа Гезман вернула 100 луидоров и часы, но вцепилась в эти 15 луидоров? Ее поведение кажется донельзя странным, но подумав, находишь ему объяснение. Гезман, который округлял свое состояние с помощью мастерицы ощипать каплунов, знал, конечно, что она получила 100 луидоров и часы. Решив дать самое суровое заключение по делу, советник счел уместным вернуть Бомарше его подношения. Можно, не оскорбляя памяти этого темного субъекта, представить себе, что он успел получить от графа де Лаблаша презенты куда более лестные для его достоинства. Чтобы перетянуть чашу весов, достаточно горстки золота. Что касается 15 луидоров, то об их существовании Гезман, полагаю, не знал. Его прекрасная половина потребовала эту сумму втайне от супруга для своих личных надобностей. И не вернула эти деньги, скорей всего, потому, что они были уже истрачены.

К вечеру 6 апреля положение Бомарше хуже некуда. Запертый в замке Фор-Левек, он уже не может отлучиться ни на час, так как отпал предлог, что ему необходимо повидаться со следователем. В результате процесса он потерпел материальный и моральный крах. Моральный — поскольку приговор косвенно вменяет ему в вину подделку. Париж, который всегда ненавидит богатых и преуспевающих, накидывается на него со злобным ликованием. Нет конца всякого рода наветам. «Клевета выпрямляется, свистит, раздувается, растет у вас на глазах». Снова болтают о том, что Бомарше отравитель и убийца. В апреле 1773 года, пишет Гримм, «он был жупелом всего Парижа. Каждый, ссылаясь на слова своего соседа, уверял, что Бомарше способен на самые ужасные преступления...». Этому городу и в самом

деле свойственно выворачиваться как перчатке и поклоняться назавтра тому, кого еще вчера он сжигал. Пока еще для Бомарше не кончилось это «вчера» и даже «позавчера». Лаблаш не успокоился. Ему мало погубить доброе имя своего врага, он хочет окончательно разорить его. Для этого достаточно нескольких дней. Бомарше, сидя в тюрьме, не может привести в порядок дела. Все рушится. По требованию Лаблаша описана мебель в особняке на улице Конде и в поместье Пантен. За «гнусным приставом с пером, заткнутым в парик» тянется свора судебных исполнителей. Граф, этот гений зла, умножает свои претензии и добивается выплаты ему 500 франков издержек в сутки. Обертены, жалкие Обертены, возглавляют чреду «кредиторов», рассчитывая извлечь прибыль из бед Бомарше, бесстыдно науськивают на него свору. Если итог расчетов с Пари-Дюверне фальшив, значит, ничто не подлинно, все можно отсудить! И вот завистники, ничтожества, случайные свойственники, портные, виноторговцы достают счета, расписки, квитанции, письма, отказываясь признавать подпись Бомарше. Идет травля в полном смысле слова. На лес в Турени наложен королем арест, поскольку Бомарше не может сделать из тюрьмы перевод, необходимый для выплаты поместной и лесной подати. Его отец и горячо любимая Жюли внезапно оказываются без гроша в кармане. Они вынуждены покинуть особняк на улице Конде, опустошенный Лаблашем. Г-н Карон впервые в жизни ночует под чужой крышей. Жюли приходится искать приют в монастыре. Нам известно — я уже не раз предупреждал вас об этом, — что Бомарше не сложит оружия и будет бороться с невероятным упорством и умением, вкладывая в эту борьбу свою «упрямую башку» и «ум, способный все изменить», но на несколько дней он падает духом. И есть от чего!

9 апреля, через три дня после решения суда, он пишет Сартину отчаянное письмо...

«Мужество мне изменяет. Прошел слух, что от меня все отступились, мой кредит подорван, мои дела рушатся; мое семейство, коему я отец и опора, в отчаянии. Сударь, всю свою жизнь я творил добро, отнюдь не похваляясь этим; и неизменно меня рвали на части злобные враги. Будь Вам известна моя семейная жизнь, Вы знали бы, что я был добрым сыном, добрым мужем и полезным гражданином, близкие благословляли меня, но извне меня всегда поливали бесстыдной клеветой. Неужели месть, которую на меня хотят обрушить за эту несчастную историю с Шоном, не имеет предела? Уже доказано, что заключение в тюрьму обошлось мне в 100 000 франков. Суть, форма — все в этом несправедливом аресте приводит в содрогание, и мне не подняться на ноги, пока меня держат под замком. Я способен устоять при собственных невзгодах, но у меня нет сил вынести слезы моего почтенного отца, который умирает от горя, видя, в какое унизительное положение я ввергнут; у меня нет сил вынести страдания моих сестер, племянниц, испытывающих ужас надвигающейся нужды, вызванной моим чудовищным арестом и хаосом, который возник из-за этого в моих делах. Даже сам деятельный характер моей души оборачивается сейчас против меня, убивает меня, я борюсь с острым недугом, коего первые признаки уже проявляются в бессоннице и

отвращении к пище. Воздух в камере отвратительный и разрушает мое несчастное здоровье...».

Однако, коснувшись дна, Бомарше не замедлит выплыть на поверхность, подобно ныряльщикам, выталкиваемым из глубин какой-то непонятной пружиной. Первым это почувствовал герцог де Лавальер, который счел необходимым — и у него были на то вполне извинительные причины — ограничить права и прерогативы своего старшего бальи. И тут к Бомарше, все еще запертому в Фор-Левеке, словно по мановению волшебной палочки, возвращаются душевные силы, задор и подлинное благородство. Его письмо герцогу пространно, полно мелких подробностей, которые могут показаться безынтересными, но оно от начала до конца проникнуто чувством собственного достоинства. В беде Бомарше обретает истинное величие. Отныне он никогда больше не станет говорить униженным тоном, напротив, обращаясь к герцогам, министрам и монархам, он будет все больше повышать голос. Письмо к Лавальеру — первый сигнал, первый протест.

«Господин герцог,

Пьер-Огюстен Карон де Бомарше, старший бальи судебной палаты вверенного Вам егермейстерства, имеет честь довести до Вашего сведения, что поскольку заключение в тюрьму по королевскому ордеру на арест ни в коей мере не затрагивает гражданского состояния, он был весьма удивлен, узнав, что, неправильно истолковав Уложение о судопроизводстве по делам охоты от 17 мая 1754 года, предусматривающее лишение права на свечу должностного лица, не представившего убедительных объяснений своего отсутствия при вступлении в должность нового чиновника, секретарь егермейстерского суда произвел раздачу свечей по списку, где имя и право на свечи лица, занимающего должность старшего бальи, было опущено; это само по себе уже является вопиющим нарушением вышеозначенного Уложения, поскольку ничто не может служить столь убедительным извинением отсутствия в суде в присутственный день, как несчастье быть арестованным по королевскому ордеру. Более того, секретарь передал другому чиновнику право распределить и подписать лист раздачи вышеупомянутых свечей, кое во все времена принадлежало старшему бальи палаты, — в его отсутствие лишь исполнение неотложных дел судоговорения может быть препоручено другим чиновникам в порядке старшинства, а вся кабинетная работа остается в его ведении. Пребывание старшего бальи в заключении не может служить извинением секретарю суда, повинному в самоуправстве, поскольку вышеозначенный секретарь суда знает, что старший бальи, уже будучи в заключении, давал ему свыше шестидесяти раз свою подпись.

Тщание и ревность, с коим старший бальи неизменно вплоть до сего дня исполнял свои обязанности, позволяют ему надеяться, господин герцог, что Вы соблаговолите сохранить за ним все прерогативы вышеуказанной должности, не допуская никаких посягательств и нововведений. Когда г-н де Шомберг, имевший честь командовать швейцарской гвардией, сидел в Бастилии, король счел

уместным, чтобы он и там выполнял свои обязанности. То же было и с герцогом дю Меном. Возможно, что занимающий должность старшего бальи наименее достойный человек из всех членов Вашей палаты, но он имеет честь занимать оную должность, и Вы безусловно не станете порицать, господин герцог, его стремление воспрепятствовать тому, чтобы высшей должности палаты, пока он ее занимает, был нанесен урон и чтобы какое-либо должностное лицо посягнуло на его прерогативы в ущерб ему.

После всего вышесказанного занимающий оную должность просит Вас, господин герцог, соблаговолить отменить и считать недействительным список распределения свечей, коий прилагается, а также дать указание, чтобы вышеозначенный список без всякой подписи был доставлен секретарем суда занимающему должность, дабы тот мог его рассмотреть, восстановить свое право на свечу и поставить под оным списком свою подпись. Кроме того, он просит Вас наказать вышеупомянутого секретаря суда за то, что тот, давно состоящий в должности и обязанный знать параграфы Уложения и права старшего бальи лучше, нежели новый чиновник, судья низшего ранга, чье рвение делает извинительным нарушение им законов, уложений и порядков окружного егермейстерского суда, самовольно передал другому право первого чиновника, устранив его имя и его право как из списка распределения, так и из раздачи свечей, за что и должен понести наказание».

Главное, Бомарше понял, что может надеяться только на самого себя. Тщательно все продумав, он направит из своей тюрьмы на Гезманов грозную боевую машину. Но атаковать Гезманов — значит атаковать парламент в целом, следовательно — правительство, следовательно — Людовика XV. Между вновь созданной высшей судебной палатой и исполнительной властью уже нет и не может быть конфликта, ибо первая выражает волю последней. Тот, кто в 1773 году пытается нанести поражение королю, нападая на его рыцарей, пускается на самую отчаянную авантюру. И вдобавок — в полном одиночестве, ибо никто не пойдет на безумный риск и не решится поддержать его, поставив на карту собственную свободу. И тем не менее Бомарше не сдается. Чтобы восстановить свою честь, он рискует всем. 21 апреля, когда, обратившись с письмом к советнице, он двинул вперед свою первую пешку, вся опасность затеянной игры уже была ему ясна. Omnia citra mortem[1] — вот наказание, ожидавшее его в случае неудачи. Omnia citra mortem, иными словами — каторга, галеры, позорный столб. Огромная ставка в игре, где надежда на выигрыш весьма сомнительна. Двадцатью годами раньше Пьер-Огюстен выиграл свое первое сражение с Лепотом, призвав в арбитры короля, в 1773 году он вступает в бой одновременно и с Гезманами и с королем. Он восстает против системы и союзника может найти только в народе, точнее — в общественном мнении. Между тем в апреле 1773 года общественное мнение настроено по отношению к нему более чем враждебно.

---

[1] Все, кроме смерти (*лат.*).

Склонив голову, смирившись, он еще сумел бы, несомненно, вернуть расположение короля и дружбу принцев, но в сорок лет Бомарше уже не желал сдаваться. «Только вы один смеете открыто смеяться в лицо», — скажут ему после «Женитьбы». Чтобы смеяться в лицо, нужно устоять на ногах.

Итак, 21 апреля Бомарше посылает г-же Гезман следующую записку:

«Не имея чести, сударыня, быть Вам представленным, я не посмел бы Вас тревожить, если б после проигрыша мною процесса, когда Вы соблаговолили вернуть мне два свертка луидоров и часы с репетицией, украшенные бриллиантами, мне передали бы от Вас также пятнадцать луидоров, кои наш общий друг, взявший на себя переговоры, оставил Вам в качестве надбавки.

Ваш супруг обошелся со мной в своем докладе столь чудовищно и все доводы моей защиты были до такой степени попраны тем, кто, по Вашим уверениям, должен был отнестись к ним с законным уважением, что было бы несправедливо присовокупить к огромным потерям, в которые обошелся мне этот доклад, еще и потерю пятнадцати луидоров, странным образом затерявшихся в Ваших руках. Если за несправедливость нужно платить, то уж во всяком случае не человеку, который так жестоко пострадал от нее. Надеюсь, Вы отнесетесь со вниманием к моей просьбе и, вернув мне по справедливости эти пятнадцать луидоров, удостоите принять мои заверения и совершенном и непременном почтении и пр.».

Бомарше поставил г-жу Гезман перед выбором: либо вернуть ему 15 луидоров, либо отрицать, что она их получила. В первом случае, признав, что она присвоила сумму, которая якобы предназначалась секретарю, она навлекала на себя позор; во втором опасность для нее была еще больше, поскольку многочисленные свидетели могли изобличить ее во лжи, а следовательно, в недостойном поведении. Что касается советника, то, как бы она ни поступила, это должно было весьма серьезно подорвать его доброе имя и репутацию неподкупного.

Получив письмо, г-жа Гезман отправилась к книготорговцу. Мы никогда не узнаем ни того, о чем договорились всемогущая советница и бедняга Леже, ни того, как ей удалось обойти его, хотя нельзя полностью исключить и доводы галантные. Короче, двумя часами позже книготорговец, донельзя смущенный, позвонил в дверь Фаншон и выпалил затверженный урок: «Госпожа Гезман, — сказал он, — весьма гневается и не понимает, как смеют от нее требовать 100 луидоров и часы, уже возвращенные ею. Она уведомляет господина де Бомарше, что если он будет настаивать, она добьется вмешательства министров, которые в руках у ее супруга...» Г-жа Лепин и ее друзья, при сем присутствующие, в полном изумлении. Уж не сошел ли Леже с ума? Или они плохо расслышали? Он повторяет то же, слово в слово. Тогда Фаншон сухо напоминает, что речь идет лишь о 15 луидорах, о которых он не мог забыть. Поскольку с очевидностью не поспоришь, книготорговец теряется

и умолкает. На него нажимают. Напрасный труд. Прежде чем откланяться, он несколько приходит в себя и заявляет присутствующим, что будет отрицать «какую-либо свою причастность к этому делу, если оно примет дурной оборот».

Итак, первого свидетеля Бомарше потерял. Но спустя несколько дней он обрел главное — свободу. Теперь, когда граф де Лаблаш добился своего, Лаврильеру незачем было держать Бомарше под замком, и 6 мая он подписал ордер на освобождение. Поступив так, министр проявил полное отсутствие политического чутья. Человеку, которого он вопреки всякой справедливости, оказывая дружескую услугу его врагу, запер в Фор-Левек, предстояло по освобождении потрясти режим и нанести первый удар абсолютной монархии.

8 мая поутру Бомарше, однако, одолевали иные заботы. Прежде всего ему необходимо было выручить свою мебель и «раздобыть денег». На его попечении г-н Карон, Жюли, прозябающая в аббатстве Сент-Антуан, и обе испанские дамы, вернувшиеся из Мадрида, где они разорились дотла. За несколько дней, пустив в ход свой кредит и свой ум, он проворачивает новые торговые операции и добивается возврата Шинонского леса. Это, конечно, еще не богатство, но уже гарантия полунадежного существования, узкий плацдарм, позволяющий Бомарше начать наступление на Гезманов.

По вечерам, в кафе или гостиных, Бомарше во всех подробностях рассказывает перипетии своих отношений с мастерицей ощипать каплуна и ее супругом. За несколько дней история с 15 луидорами облетает весь Париж. Противники парламента, которым несть числа, с восторгом узнают, что, когда речь идет о подмазке, советники Мопу нисколько не уступают своим предшественникам. Кто-то уже пустил знаменитый каламбур:

«Луи Пятнадцатый прикончил старый парламент, пятнадцать луи прикончат новый». Любопытная деталь — Ги Тарже, прославленный адвокат, считавший делом чести не выступать в новом парламенте, организует ужин, где мирит Шона и Бомарше. Отныне друзья неразлучны вплоть до исхода битвы, абсурдным предлогом для которой послужила их ссора.

Но Гезман нашел, что противопоставить пресловутым 15 луидорам: мы уже сказали, он был отнюдь не глуп и в процедурной тине плавал как угорь. Была задета его честь, поднятый на смех и почти опозоренный, он стал яростно защищаться в соответствии с лучшими традициями — иными словами, нападая.

Заручившись двумя «подписанными» Леже заявлениями, где книготорговец признавался, что «получив от некоего друга г-на де Бомарше 100 луидоров и часы, украшенные бриллиантами, он имел слабость предложить их г-же Гезман, дабы подкупить справедливость ее мужа, но она с возмущением и достоинством отвергла его предложение», советник, уверенный в себе и в своем праве более сильного, потребовал нового ордера на арест гнусного клеветника. На этот раз Лаврильер заартачился. Что касается Сартина, чья звезда восходила, он отнюдь не пошел навстречу советнику. Гезман

стал стучать в другие двери, в том числе, очевидно, и к сановнику, про которого Бомарше говорит нам, что тот «справедливо пользовался всеобщим уважением и доверием». Бомарше догадался обратиться к этому высокопоставленному лицу с письмом, где давал отпор наветам Гезмана. Вот оно:

«Сударь,

в связи с жалобами, кои, по слухам, выдвигает против меня г-н Гезман, советник парламента, утверждая, что я пытался подкупом склонить его к незаконным действиям, соблазняя г-жу Гезман предложением денег, якобы ею отвергнутых, я заявляю, что подобное изложение событий, от кого бы оно ни исходило, лживо. Я заявляю, что отнюдь не пытался повлиять подкупом на справедливое решение Гезмана, дабы выиграть процесс, который, как я был убежден, не может не решиться в мою пользу, если только не будет допущено судебной ошибки или несправедливости.

Относительно денег, предложенных мною и якобы отвергнутых г-жой Гезман: ежели это просто слух, который дошел до него, г-н Гезман не может знать, подтверждаю ли я его; и думается, человеку, обязанному по своему положению судить других в соответствии с установленными формами, не следовало бы столь легковерно возводить на меня напраслину и тем более настраивать против меня власти. Если он считает, что ему есть на что жаловаться, он обязан обвинить меня перед судом. Мне нечего бояться оглашения моих поступков. Я заявляю о своем уважении к судьям, назначенным королем. Но сегодня г-н Гезман не мой судья. Он, как говорят, выступает против меня в качестве истца. В этой тяжбе он равен всем прочим гражданам, и, надеюсь, суд проявит при решении непредвзятость. Я не намерен ни на кого нападать; заявляю, однако, что, по какому бы поводу меня ни провоцировали, я буду открыто защищаться, соблюдая при этом умеренность, скромность и почтение, кое считаю себя обязанным питать ко всем».

Здесь следует остановиться. И немного подумать. Я привел полностью это письмо, адресат которого нам неизвестен, потому что оно представляется мне показательным для умонастроения Бомарше. Он явно хочет процесса. Ему нужно, чтобы Гезман обвинил его перед судом в попытке подкупа. Но зачем? На первый взгляд суд не сулит ему ничего, кроме проигрыша. По обычаю, дела, связанные с подкупом, рассматривались и решались парламентом при закрытых дверях, и суд даже не обязан был мотивировать свой приговор. Советники парламента, естественно, солидарны с Гезманом и заведомо настроены против Бомарше, который, как им известно, сочувствует прежнему парламенту. Могут ли они усомниться, выбирая между коллегой, приближенным герцога д'Эгийона, известным юристом, назначенным на свой пост королем, и Бомарше, осужденным за подлог? И тем не менее Бомарше, зная заранее, каким будет решение суда, не колеблется ни минуты. Почему? Наказания, предусматриваемые за подкуп, весьма суровы — omnia citra mortem, позорный столб, галеры, пожизненная каторга. Почему человек,

едва выпущенный на свободу и способный благодаря уму и оставшимся у него средствам восстановить свое положение, решается на столь рискованное предприятие? Насколько мне известно, никто еще до сих пор не пытался разрешить эту загадку. Поскольку в конечном итоге Бомарше взял верх, все ограничивались повествованиями о перипетиях борьбы и прославлением победителя. Но никто не объяснил, почему же он пожелал «схватиться» с парламентом. Мы уже сказали: прямой необходимости в этом сражении не было. В 1773 году все отношения между государством, органами правления и частными лицами регулировались личной властью, королевскими ордерами на арест, сословными прерогативами и произволом. Люди принимали этот порядок вещей, приспосабливались к нему. Кому в 1773 году не доводилось познакомиться с тюрьмой? Кого не осуждали вопреки всякой логике?

Бомарше достаточно было склонить голову, выждать, пока гроза пронесется, пока гнев сменится на милость. Да и ждать тогда приходилось не слишком долго. При старом режиме король, министры, судьи прощали скоро. В этом обществе, патерналистском по своему характеру, все подданные государя были как бы его детьми. Последним их прибежищем была монаршья милость, она еще не стала пустым звуком. Но Бомарше в свои сорок лет пожелал быть взрослым, и именно в этом, на мой взгляд, суть дела. В Версале с принцессами, в Военной школе с Пари-Дюверне, в Мадриде, в Лувре он играл, как в детском саду, играл, конечно, блестяще, но соблюдая правила, не переходя известных границ. Когда его поведение не понравилось королю, тот поставил его в угол, и он подчинился. Но в сорок лет он больше не желает жить под опекой, отказывается носить личину. Кто он такой до 1773 года? Я уже сказал — карнавальный персонаж. Он старается кем-то казаться, не более. Но в сорок лет приходит желание стать самим собой, перестать подыгрывать. Известно ли ему уже, что, приняв подобное решение, он затевает борьбу, которая затрагивает не только его лично? Несомненно. Знает ли он также, что в конечном итоге на свой лад подготавливает падение системы? Думаю, да. Знает ли он, наконец, что логическое следствие его бунта — метафизическое убиение отца? Нет, конечно.

Гезман, как это ни странно, ввязывается в дело с гораздо меньшим энтузиазмом. Конечно, у него в руках все козыри. Но, уверенный в победе, он все же рискует оказаться жертвой неприятной огласки. Судьи инстинктивно предпочитают жить в тени, тайна оберегает респектабельность.

Не добившись, однако, королевского ордера на арест Бомарше, Гезман вынужден играть в открытую. 21 июня он подает жалобу на попытку подкупа, и четырьмя днями позже назначенный судом докладчик До де Комбо открывает следствие. И поскольку свобода пришлась людям по душе, с тех пор никому уже не удавалось его закрыть.

Упрямая башка

Итак, Бомарше, ославленный, едва выкарабкавшись из тюрьмы, наполовину разоренный, в одиночку или почти в одиночку, атакует королевский парламент, ибо на этот раз палата и монарх — едины, поскольку первая — лишь выражение воли последнего. В одиночку, так как нет адвоката, который решился бы защищать его против Гезмана — судьи и истца в одном лице. Тем немногим, у кого, подобно мэтру Тарже, хватило бы мужества поддержать Бомарше, убеждения и чувство чести не позволяют выступать в этом холуйском парламенте, этой ничтожной пресмыкающейся палате регистрации королевских указов. Как выражаются в ту пору, они предпочитают блюсти свою девственность. Но к чему вообще адвокат, когда готовишься предстать перед судом, который выносит свои решения при закрытых дверях, перед судом, весы которого заведомо врут, перед судом, наконец, который вовсе не обязан мотивировать свое решение? К чему бороться, если выигрыш невозможен? Семья и последние друзья, еще не отступившиеся от Бомарше, сначала тщетно пытаются удержать его, а потом, предвидя исход процесса, думают лишь о подготовке бегства или о том, как смягчить с помощью самых высоких сфер суровость неотвратимого наказания. Не будем осуждать их — Бомарше ведь и в самом деле ввязался в безумную борьбу. Сам он понимал это настолько хорошо, что за несколько часов до суда приготовился к худшему. Да, Бомарше всерьез подумывал о том, чтобы покончить с собой, предпочитая смерть жизни клейменого, обесчещенного, галерника. Никогда, без сомнения, ответчик не отдавал себе столь ясного отчета в опасности, которой подвергается, тем более ясного, повторяем, что ввязался он в процесс сознательно, он желал его, стремился к нему, скажем даже, сам его вызвал. Итак, он был один. Что может сделать один человек против шестидесяти судей, которые окружены тайной, как рыба водой, рады послужить королю, их назначившему, рады защитить свою палату, атакуемую негодяем, рады выказать свою солидарность и свою дружбу Гезману? Ничего... если соблюдать правила игры. Гениальное озарение Бомарше проявилось в том, что он понял — и понял молниеносно — необходимость вынести конфликт за пределы узкой легальности, в. которую замыкала его существующая система. Революции начинаются в тот момент, когда ставятся под сомнение или отвергаются установления, обычаи, законодательный механизм. И у одинокого человека, стремящегося повергнуть любой режим, любой порядок, политический, юридический или социальный, существует единственное орудие — общественное мнение. Но надо еще догадаться, что таковое существует! В 1773 году его приходилось практически выдумать. Разумеется, в том полемическом столетии Бомарше был не первым, кто воспользовался своим пером, чтобы нападать и обороняться, но до него памфлеты, публикуемые подпольно, записки, мемуары отнюдь не предназначались для народного чтения. Их печатали для небольшого круга «знатоков», тиражом несколько сотен экземпляров, который

по большей части так и оставался у типографа. Эти конфиденциальные тексты, изданные подпольно и чаще всего уничтожавшиеся прежде, чем их удавалось распространить, редко обогащали авторов, как правило, анонимных. В лучшем случае подобные произведения — например, памфлеты Вольтера — обращались в среде, которую мы сейчас назвали бы хорошо информированными кругами, в узкой прослойке людей, причастных к политике, высшему свету, литературе. Такие читатели могут позабавиться, изумиться, даже возмутиться на один вечер, но они не взбунтуются. Бомарше, сражаясь со своими судьями, обратился ко всему миру. Дело невиданное. Известно ли вам, например, что его «Мемуары», тотчас переведенные на несколько языков, получили громкий отклик в Америке, где Бомарше еще прежде, чем сыграл решающую роль в освобождении колоний, стал известен как защитник гражданских свобод? Общественное мнение в 1773 году не обманулось: выступая против Гезмана, Бомарше нападал на все формы угнетения, несправедливости, тирании.

Самое замечательное, что его «Мемуары» ничуть не отклоняются от своего сюжета. Бомарше не обобщает, не философствует. Хотя ему и случается повысить тон, за рамки предмета спора он почти не выходит. На первый взгляд «Мемуары» не идут дальше его собственного дела: изложение конфликта, отчеты о ходе следствия, ответы противникам. Но властная мысль, забавность повествования, острота стиля и, главное, глубокое дыхание, поразительная сила, одушевляющая их с начала до конца, превращают «Мемуары» в подлинный шедевр. Чем глубже увязают тяжущиеся стороны в зыбучих песках процедуры, чем двусмысленнее становятся показания Гезманов, чем больше запутывается клубок — кажется, его невозможно распутать, — тем яснее выявляется правота Бомарше, и его борьба — такая личная! — превращается в борьбу всеобщую. Это ощутила не только Франция, но вся Европа и, как я уже сказал, Америка.

Но полемического таланта, как бы он ни был блестящ, искренности и страстности подсудимого, значительности того, что было поставлено на карту, даже непопулярности парламента Мопу — необходимых условий успеха «Мемуаров» — все же было бы недостаточно, чтоб обеспечить им всемирную известность. Секрет необыкновенного успеха Бомарше можно сформулировать в одном слове — комедия. Только благодаря идее превратить противников в комедийных персонажей, написать сцены, где они поставлены в комическое положение, и отвести в этих сценах роль самому себе, Бомарше обрел свою публику — Публику. В противоположность читателю, который хранит свои впечатления про себя, переживает молча, театральная публика отвечает смехом, криками, аплодисментами; она принимает участие в действии, она откликается. Спектакль нельзя довести до конца без публики и тем более вопреки ей. Мы убедимся в этом в день суда. Весь Париж выйдет на улицу, чтобы поздравить Бомарше и освистать его противников. Порази-

тельное дело — народ вовсе не будет считаться с реальным исходом процесса, он будет вызывать Бомарше как человека, одержавшего победу над парламентом, ибо комедия всегда оканчивается триумфом героя и посрамлением его врагов. Когда весь город ощущает себя и театре, он готовит революцию. 26 февраля 1774 года перед парламентом Мопу опустится занавес, и уже навсегда.

Уморительно смешные или живописные личности, неуклюжие сообщники — не впадая в карикатуру, Бомарше создал ряд разоблачительно забавных персонажей.

Живое перо Бомарше превратило в неподражаемые комедийные сцены бесконечные словопрения с советником и его супругой, хотя он не прибавил ни единого выдуманного слова. Взять, к примеру, сцену первого знакомства с мастерицей ощипать каплуна. Действие происходит через несколько дней после того, как книготорговец Леже признался, что свое заявление он подписал под нажимом советника. Дама Гезман, в девицах Габриель Жамар, поставлена тем самым в весьма затруднительное положение. Но прочтем, вернее, *послушаем* Бомарше:

«Невозможно вообразить, каких трудов стоило нам — госпоже Гезман и мне — встретиться, то ли она действительно недомогала так часто, как заявляла следствию, то ли нуждалась еще в дополнительной подготовке, чтобы выдержать шок от очной ставки с таким серьезным противником, как я. Но наконец мы все же увиделись.

После принесения присяги и обычной преамбулы, когда выяснялись наши имена и сословия, нас спросили, знакомы ли мы. «Вот уж нет, — сказала госпожа Гезман, — я его не знаю и знать не хочу». Записали. «Я также не имею чести быть знакомым с госпожой Гезман; однако при виде ее не могу не испытывать желания, прямо противоположного тому, кое выразила она». Записали.

Затем г-же Гезман предложили сформулировать ее претензии ко мне, ежели таковые имеются. Она ответила: «Пишите, что я упрекаю и обвиняю ответчика, потому что он мой главный враг и потому что его злонравие известно всему Парижу и т. д.».

Эти обороты речи показались мне чересчур уж мужскими для дамы; но, видя, как она усаживается поплотнее на своем стуле, выходит из себя, повышает голос, обрушивает на меня свои первые оскорбления, я рассудил, что этот мощный период необходим ей, чтобы набраться сил для атаки, и я не был на нее в обиде.

Когда ее ответ был полностью записан, обратились ко мне. Вот мой ответ: «Я ни в чем не могу упрекнуть сударыню, даже в том, что она сейчас поддается дурному настроению; мне приходится только выразить ей свои величайшие сожаления, что понадобился уголовный процесс, чтобы я получил возможность впервые изъявить ей мое почтение. Что касается моего злонравия, то я надеюсь доказать ей умеренностью моих ответов и почтительностью поведения, что она неправильно информирована на мой счет своими советчиками». Записали. Вот в таком тоне и протекали наши с этой дамой беседы, длившиеся дважды по восемь часов кряду.

После того как секретарь огласил мои показания, сделанные при первом и втором допросе, г-жу Гезман спросили, есть ли у нее замечания по поводу того, что она выслушала. «Право же, нет, сударь (улыбаясь, ответила она судейскому чиновнику); что могу я сказать об этом нагромождении глупостей? Господину Бомарше, наверно, не жаль времени, если он заставил записать всю эту чепуху». Я был удовлетворен тем, что она немного смягчилась на мой счет: глупость это ведь не злонравие.

«Сформулируйте ваши возражения, сударыня, — сказал ей следователь, — я обязан вас предупредить, что потом будет уже поздно». — «Но по поводу чего же, сударь? Я не вижу, что... Ах да!.. Запишите, что все ответы господина Бомарше лживы и были ему подсказаны».

Я улыбнулся. Она пожелала узнать, почему. «Да потому, сударыня, что ваше восклицание вас выдало — вы вдруг припомнили эту часть своего урока, только не совсем к месту. Поскольку в моих показаниях есть множество вещей, вовсе до вас не касающихся, вы никак не можете знать, *лживы* или правдивы мои ответы. Касаемо же *подсказки,* вы явно напутали, ведь ваши советчики рассматривают меня как главу «клики» (если воспользоваться вашим термином), и потому вам велено говорить, будто я подсказываю ответы другим, а вовсе не то, что мои ответы мне *подсказаны.* Но разве вам нечего сказать, в частности по поводу письма, которое я имел честь вам передать и благодаря которому я получил аудиенцию у господина Гезмана?» — «Разумеется, сударь... минуточку... запишите... что касается так называемой аудиенции... так называемой... аудиенции...»

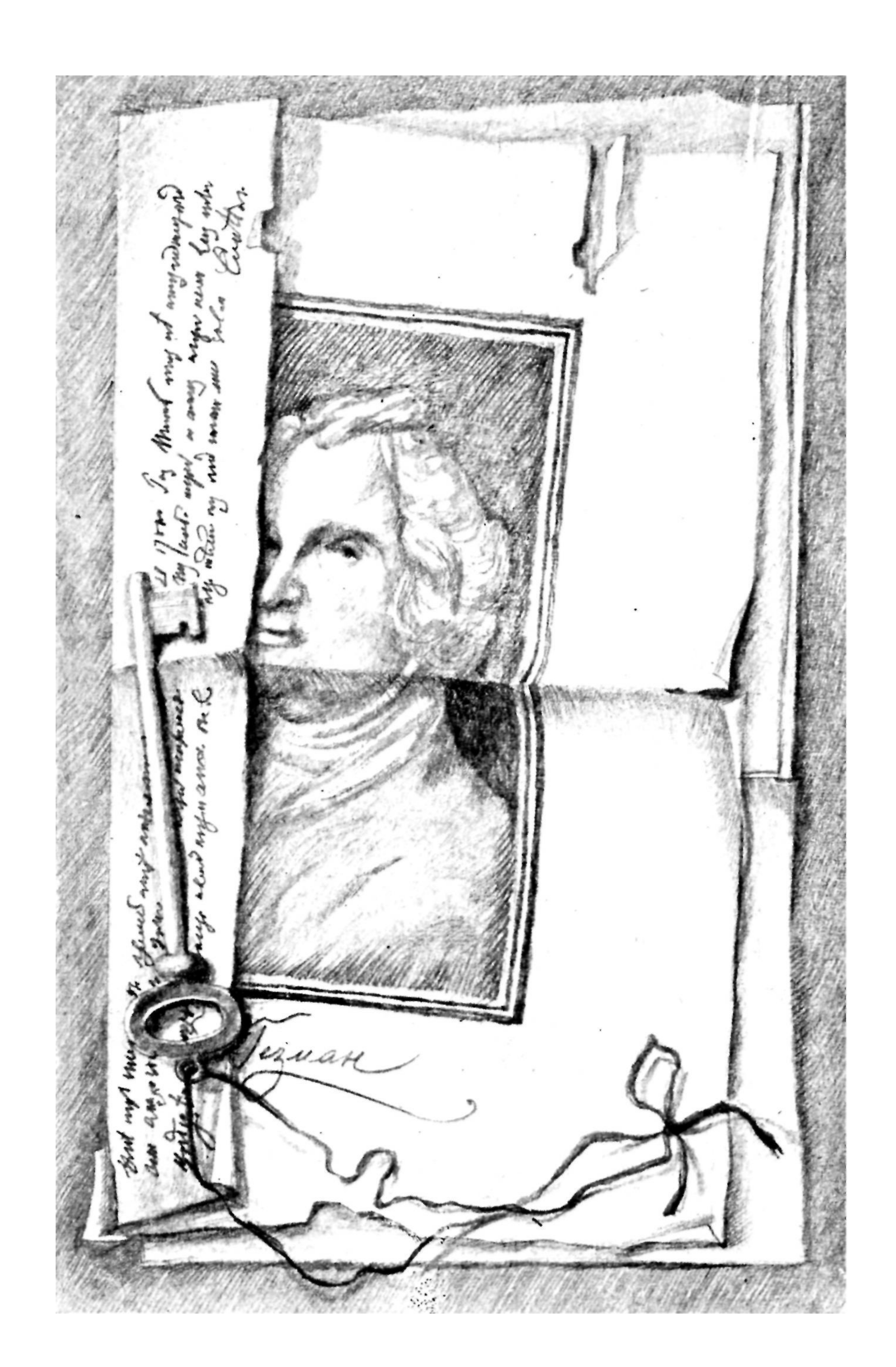
Пока она ищет то, что хочет сказать, у меня есть время дать объяснение читателю. Картина этих очных ставок вовсе не так забавна, как я это изображаю: мне крайне важно обратить внимание на затруднительное положение дамы, вынужденной связать весьма обыденные мысли с громкими словами судебного красноречия, в которые имели глупость облечь их ее советчики. Во всех этих выражениях — «так называемая аудиенция... вопреки и против всех... как она подразумевает... начиная письменные показания...» — ощущается присутствие божества, вдохновляющего жрицу, заставляя ее вещать на языке, коего сама она совершенно не понимает.

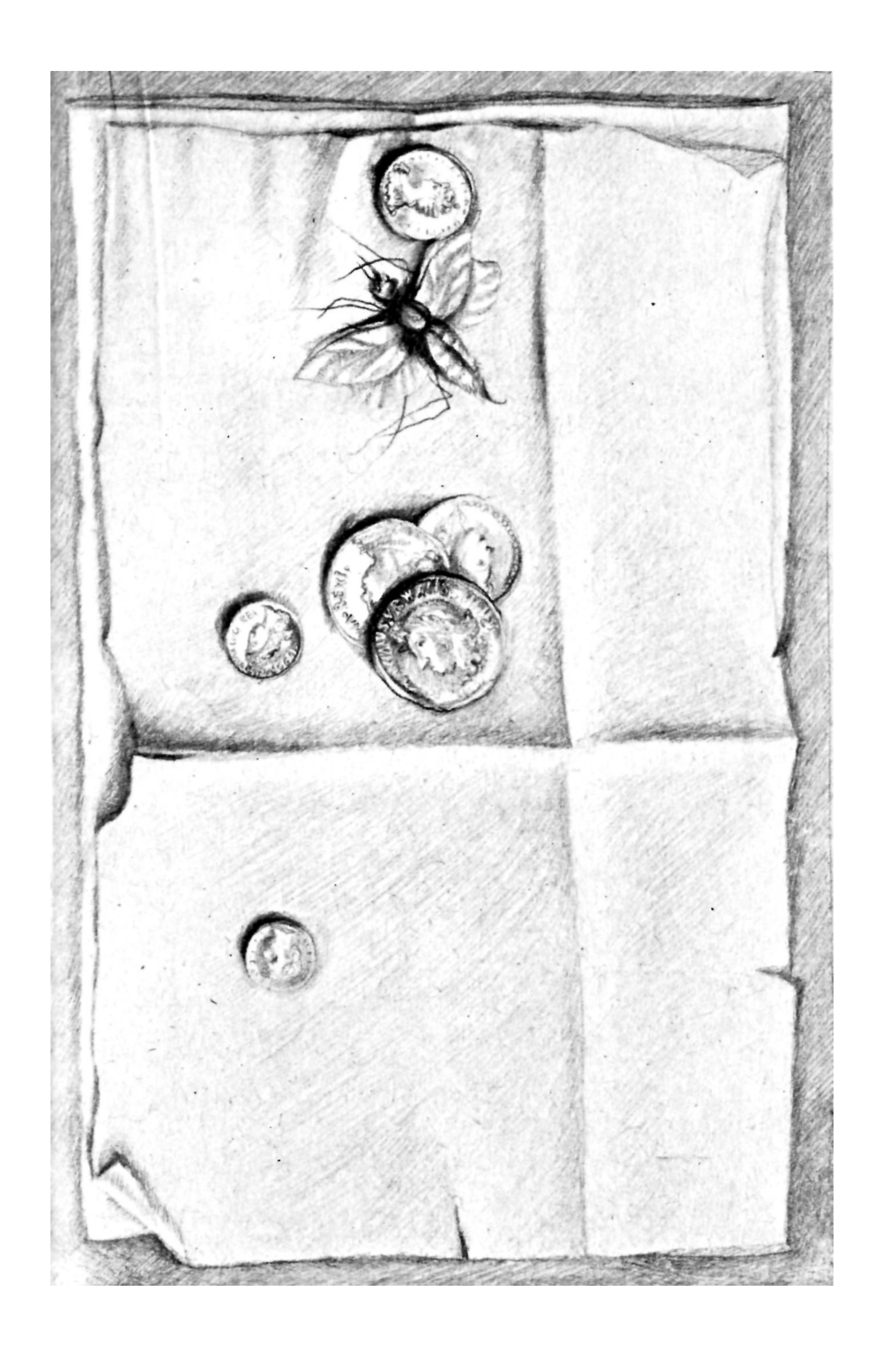
Г-жа Гезман тянула столь долго, повторяя свою «так называемую аудиенцию», — меж тем как секретарь с пером в руке застыл в ожидании и наши шесть глаз вперились в нее, — что г-н де Шазаль, следователь, в конце концов мягко сказал ей:

— Ну, сударыня, что подразумеваете вы под «так называемой аудиенцией»? Не будем придираться к словам: выскажите твердо вашу мысль — объяснитесь, а я сформулирую точно ваши показания.

— Я хочу сказать, сударь, что не вмешиваюсь ни в дела, ни в аудиенции моего мужа, я занимаюсь только домом, так что, если господин Бомарше и вручил письмо моему лакею, то сделал

Бомарше и Пари-Дюверне






жна Гезман

он это только по своему ужасному злонравию — и на этом я буду настаивать вопреки и против всех.

Секретарь писал.

— Соблаговолите нам объяснить, сударыня, какое злонравие вы усматриваете в таком простом поступке, как передача письма лакею?

Очевидная заминка, связанная с моим злонравием; пауза затягивается... так затягивается, что мы оставляем в покое мое злонравие; но зато слышим от нее:

— Если правда, что господин Бомарше принес в наш дом письмо, пусть скажет, кому из наших слуг он его вручил?

— Молодому лакею, блондину, который сказал, что прислуживает вам, сударыня.

— А, вот вы и попались на противоречии! Запишите, что господин Бомарше вручил письмо блондину; мой лакей не блондин, он светлый шатен. (Эта фраза меня сразила.) И если это мой лакей, какая на нем была ливрея?

Тут я, действительно, попался; однако, овладев собой, ответил, как мог:

— Я не знал, что у слуг сударыни особая ливрея.

— Пишите, пишите, прошу вас, что господин Бомарше, якобы разговаривавший с моим лакеем, не знает, что у моих слуг особая ливрея, даже две — одна зимняя, другая летняя.

— Сударыня, я настолько не намерен оспаривать у вас две ливреи, зимнюю и летнюю, что мне даже кажется, будто лакей был в весеннем утреннем камзоле, коль скоро все происходило 3 апреля. Простите, если я недостаточно точно выразился. Поскольку мне представлялось само собой разумеющимся, что после вашего замужества ваши слуги расстались с ливреей Жамаров, дабы облечься в ливрею дома Гезман, мне не пришло в голову различить по платью, имею ли я дело с лакеем барыни или барина, так что мне пришлось положиться в этом деликатном вопросе на коварные заверения слуги, независимо от того, был ли он блондином или светлым шатеном; но, будь он в ливрее Гезманов или Жамаров, факт тот, что на глазах у двух безупречных свидетелей — мэтра Фальконе и господина Сантера — я вручил некоему лакею, *якобы* вашему, у вашего подъезда письмо, которое он отказывался отнести, потому что, сказал он, барыня сейчас с барином, но которое он все же отнес, когда я его успокоил, после чего вернулся к нам с устным ответом: «Вы можете подняться в кабинет барина; он спустится туда по внутренней лестнице».

И т. д.

Габриель Гезман отлично владеет искусством увиливать от прямого ответа и нескончаемо препираться относительно нелепых подробностей. Понуждаемая внести уточнения, она внезапно увертывается: «Оставьте меня в покое, сударь; если было бы необходимо отвечать на все ваши дерзости, мы не покончили бы с этим письмом до завтрашнего утра».

Когда Бомарше или следователь указывают ей, что ее показания, данные в один день, противоречат показаниям, данным в другой, г-жа Гезман, не сморгнув, величественно отвечает: «В тот день я не знала, что говорю, я не помнила себя, поскольку *была в критическом состоянии».* В ответ на удивление по поводу такой странности она уточняет: «По правде говоря, бывают периоды, когда я не знаю, что говорю, и ничего не помню».

Но случается, прелестная мастерица ощипать каплуна, запутавшись в собственных пируэтах, теряет равновесие. Послушаем снова Бомарше:

«Тогда я попросил ее соблаговолить сказать нам прямо и без всяких экивоков, не потребовала ли она через Леже пятнадцать луидоров для секретаря и не заперла ли она их в свое бюро, когда книготорговец вручил ей их в звонкой монете.

— Я отвечаю прямо и без экивоков, что Леже никогда не заговаривал со мной ни о каких пятнадцати луидорах и никогда мне их не приносил.

— Заметьте, сударыня, было бы куда достойнее сказать: «Я их отвергла», чем настаивать на том, что вы никогда о них не слышали.

— Я настаиваю на том, сударь, что мне о них не говорили; может ли человек в здравом уме предложить женщине моего положения пятнадцать луидоров? Мне, которая накануне отказалась от ста?

— О каком накануне в таком случае вы говорите, сударыня?

— Да, черт возьми, сударь, о кануне дня, когда... (Она осеклась и прикусила язык.)

— О кануне дня, — сказал я ей, — когда с вами никогда не заговаривали о пятнадцати луидорах, не так ли?

— Прекратите, — сказала она, в ярости вскочив со стула, — или вы получите от меня пару оплеух... Вы со всеми вашими мерзкими вывернутыми фразами только и хотите что запутать меня и заткнуть мне рот; но клянусь, воистину — больше я ничего не скажу».

Стремись следствие разрешить дело в соответствии с истиной, оно не дало бы г-же Гезман ни минутой дольше увязать в нелепом вранье, но кого в парламенте заботила правда? На протяжении месяцев советники тянули эти бредовые допросы при закрытых дверях, ожидая промаха, какой-нибудь оплошности Бомарше, ведь осудить-то нужно было именно его! Они упорно старались его погубить — благопристойность, солидарность, репутация парламента требовали оправдания Гезмана.

Но эти неподкупные судьи не учли «Мемуаров». Первый «Мемуар» и последовавшее сразу же за ним дополнение были отпечатаны в десятках тысяч экземпляров в течение нескольких дней. Сцены с г-жой Гезман немедленно сделались сюжетами парадов. Их разыгрывали повсюду — на бульварах, в кафе, а вскоре и в небольших театриках. Потом — в салонах, наконец — в Версале. Г-жа Дюбарри, обожавшая «лакейские комедии», не уставала слушать Превиля в роли Бомарше и Дюгазон в роли советницы Гезман. В итоге,

кажется, даже сами принцы стали разыгрывать буффонные сцены следствия. Что мог поделать канцлер Мопу против самой изощренной формы бунта, той, которая избрала окольный путь — смех?

Но против самого Гезмана, остающегося за кулисами этого удивительного театра, где человек, сражающийся в одиночку, смеясь, ставит на карту свою свободу, необходим иной тон. Уверенный в себе, уверенный в своем парламенте, советник, не слишком пока тревожась, выжидает, когда Бомарше постигнет кара. Разве он, Гезман, не защищает порядок и закон? Чтобы отвечать на дерзости этого обвиняемого, который в своей закоренелой преступности доходит до утверждения, что он ни в чем не повинен, у Гезмана есть супруга и несколько субъектов, готовых за сто луидоров, а то и меньше, поливать Бомарше грязью — всякие Марены и Бакюлары, о которых мы еще поговорим. Чем рискует Гезман в худшем случае? Что ему поставят в упрек легкомыслие его дражайшей половины? Пусть так, он отправит ее в монастырь, для нее уже предусмотрительно снята там келья! Ради сохранения незапятнанного имени советник готов на все, но только не самому лезть в драку. Я сказал, что он держится за кулисами, но на самом деле он прячется под колосниками, меж бутафорских богов, солнца и молний. С ним нужен другой тон. Возвысить голос так, чтобы заставить судью спуститься на землю и показать всем, как врут его весы, — вот метод Бомарше. Гезман сделал лишь один промах, но крупный: он счел, что Леже у него в руках. Как это похоже на судейского чиновника — полагать, что издатель служит только авторам. Однако Леже, подписавший под давлением Гезмана два ложных заявления, не устоял перед напором Бомарше, и секретарь зарегистрировал его признания. Например, рассказ о последнем свидании с советником на улице л'Этуаль, неподалеку от Дворца правосудия.

«Мой дорогой господин Леже, сказал ему достопочтенный автор «Трактата об уголовном праве ленов», я послал за вами, чтобы сказать, что вы можете не тревожиться. Я все уладил, вы не будете вызваны в суд ни как свидетель, ни как обвиняемый». Замечательная, не правда ли, фраза в устах судьи! Бомарше, разумеется, выжал из нее все возможное и даже невозможное: «Вы все уладили, сударь! Вам вручены весы и меч, и у вас для первых — две меры, две гири, а второй вы либо придерживаете, либо вонзаете по собственному усмотрению; так что человек является свидетелем, если согласен с вами, обвиняемым — если вам противоречит...» Удар сильный, однако у Гезмана непробиваемая шкура. Когда Леже на свидании с советником пытался объяснить своему сообщнику, что он, хотя и подписал под его нажимом требуемые заявления, перед судом не сможет отстаивать ложь, к которой его принудили, Гезман, достопочтенный Гезман, ответил: «Я вам весьма сочувствую, Леже, *но уже поздно:* вы сделали два заявления, и моя жена будет стоять на своем до конца. Если вы вздумаете что-либо отрицать, пеняйте на себя!» Это «уже поздно» вдохновило Бомарше на замечательную тираду. Фигаро в очередной раз преподал урок Бридуазону.

«...*Уже поздно!* Как, сударь! Значит, наступает момент, когда *уже поздно* сказать правду! Человек, питая к вам слабость, подписал ложное заявление, которое может навсегда погубить несколько благородных людей; и только потому, что его раскаяние повредило бы вашим намерениям, *уже поздно* его выказать! Вот мысли, от которых у меня закипает мозг и разрывается череп. И вы еще судья! Как низко мы пали, бог мой!»

Гезман был крепок, как дуб, и гибок, как лоза. Для галерки он хранил величественный и неприступный вид, отвечая презрительным молчанием на атаки негодяя, но в то же время наносил противнику сокрушительные удары через подставных лиц. Бомарше приходилось поэтому обороняться от нападений со всех сторон. Тактика советника была великолепна — умножая «поля битвы», он ослаблял противника, науськивая на него все новых клеветников, вынуждал Бомарше защищаться и мутил общественное мнение. Не следует забывать, что в наших латинских странах, где излюбленная игра — марать грязью соседа, клевета влечет за собой опасные последствия. Такого рода гнусная практика, как известно, не вышла из употребления и в наше время. Нет поистине способа более действенного, когда нужно сразить человека или подмочить его доброе имя. Намеченной жертве никогда уже не подняться полностью, как же, ведь нет дыма без огня! Пойдите на званый обед, и с первой ложкой супа вам поднесут, что такой-то кардинал — дама, а такой-то министр — спит с гражданским гвардейцем, что сын такого-то великого артиста на самом деле — сын негра-боксера, про которого вам еще накануне сказали, будто он услаждает некую королеву, и что последний лауреат Нобелевской премии уже не пишет более книг со дня, когда умер его камердинер. Самому здравомыслящему человеку трудно устоять перед такими инсинуациями. Сколько ни отвергай низкие поклепы, сколько ни затыкай уши, отказываясь слушать мерзкие сплетни, а все какой-то след, какой-то душок остается. И вы ловите себя на том, что искоса поглядываете на бюст его преосвященства, или на том, что щеки сына артиста кажутся вам чересчур смуглыми, что среди гвардейцев, выстроившихся вдоль лестницы в опере, вы невольно ищете супруга его превосходительства или задаетесь вопросом, не слишком ли много орфографических ошибок делает новый камердинер академика. Современникам Бомарше напевали вещи куда более страшные, более гнусные, и, поскольку их твердили без устали, они застревали в ушах, как навязчивый припев. Эти клеветнические куплеты не изгладились из памяти и по сей день. Но, зная толк в музыке такого рода, Гезман вовсе не стремился сам выступать в роли исполнителя. Подобно Лаблашу, он предпочитал вдохновлять музыкантов и поощрять тех, у кого было должное призвание. Его избранниками оказались Марен, Бертран и Бакюлар д'Арно.

Эти три имени — Марен, Бертран, Бакюлар — не сохранились бы в истории, не представься Бомарше случай их обессмертить, воздав, так сказать, добром за зло. Марен, Бертан, Бакюлар,

найденные Гезманом и, вне сомнения, Лаблашем, получившие от них мзду, немалую мзду, сделали свое дело. Бомарше перенес спор на площадь, и Гезману пришлось последовать за ним. Не желая, однако, рисковать сам, он выставил трех своих подручных. Итак, Марен, Бертран и Бакюлар написали и опубликовали каждый по мемуару за своей подписью. Гезман, знаток человеческой природы, призвал людей, близких Бомарше, точнее, его «знакомых», поскольку, как показывает опыт, палача легче всего найти именно в окружении жертвы, особенно когда речь идет о литераторах, всем ведь известно, что ревность и зависть — музы общедоступные.

Бакюлар д'Арно был довольно известным романистом. Творил он в погребально-помпезном стиле и, как заверяет Ломени, весьма кичился «пышностью своих чувств». Был он, как и многие писатели до и после него, советником посольства, впрочем, в 1773 году это значило куда больше, чем сегодня. Бакюлару уже доводилось выполнять определенные и не только дипломатические миссии, вот ему и поручили разделаться с несносным Бомарше, выступив свидетелем обвинения. У Бакюлара были и другие причины, не столь благородные, постараться услужить Гезману и, следовательно, государству. Разве не прибег он к помощи советника, когда у него был процесс в Турнеле? Словом, бедняга Бакюлар был «в руках» у Гезмана. Но не потому ли, что писал он без особой охоты, мемуар его оказался слишком «пышным» и обнаружил за напыщенностью стиля худосочие аргументов? Не берусь судить. Однако романист, даже самый жалкий, должен, по-моему, довольно прохладно относиться к своей работе, чтобы написать: «...есть сердца, в которых я читаю с содроганием; я прозреваю в них мрачные бездны ада. И тут я восклицаю: ты дремлешь, Юпитер! Зачем же даны тебе молнии?» Во всем сочинении Бакюлара нам удалось выискать всего одну фразу, написанную естественно, без патетики: «Я шел пешком и повстречался на улице Конде с господином Бомарше, ехавшим в карете, *в собственной карете!»* Бакюлар стал самим собой, едва ему представилась возможность откровенно выразить обуревавшие его чувства. А разве признаться в том, что успех и преимущества другого тебя огорчают, возбуждают в тебе ненависть, — не значит открыть свою душу? Бомарше не упустил случая выпустить воздух из лягушки, которая мечтала раздуться, чтобы сравняться с волом.

«*...в собственной карете!* (повторяете Вы с жирным знаком восхищения). Да кто же после этого печального «я шел пешком» и этого жирного знака восхищения, бегущего за моей каретой, не сочтет Вас воплощенной завистью? Но я, зная Вас как человека доброго, отлично понимаю, что слова «в собственной карете!» выражают отнюдь не Ваше нежелание видеть меня «в собственной карете», а лишь огорчение, что не я вижу Вас в Вашей; люди неизменно в Вас ошибаются, а все потому, что Вы никогда не говорите того, что хотите сказать...

Но утешьтесь, сударь, карета, в которой я мчался, когда Вы меня увидели, мне уже не принадлежала; по требованию графа де Лаблаша на нее был наложен арест, как и на все прочее мое имуще-

ство: люди, именуемые «вооруженными силами порядка», в синих мундирах, с перевязями и грозными ружьями, обосновавшиеся в моем доме, надзирали за нею, как и за моей мебелью, попивая мое вино; и для того чтобы неумышленно раздосадовать Вас, представ «в собственной карете», мне в тот день пришлось самому испытать то же чувство досады, испрашивая у этих приятелей судебного исполнителя — с шляпой в одной руке и крупной монетой в другой — разрешения воспользоваться ею; что я, с Вашего соизволения, и делал каждое утро. И сейчас, когда я спокойно обо всем этом рассказываю, в моем доме царит все тот же разор».

Так неудачная фраза противника превращается под пером Бомарше в смертоносное оружие. Слова «люди неизменно в Вас ошибаются, а все потому, что Вы никогда не говорите того, что хотите сказать» не оставляют камня на камне от мемуара высмеянного Бакюлара. И раз уж эта карета кажется Бомарше подходящим экипажем, чтобы добраться до цели, он усаживает туда же и Лаблаша вместе с его судебными исполнителями. Ему хватает десяти строк для этого! Однако Бакюлар, хотя и выбит из седла, еще не прикончен. И наконец после ряда отвлекающих маневров — смертоносный выпад:

«Простите, сударь, что я не ответил на все оскорбления, содержащиеся в Вашем мемуаре, личным письмом, адресованным Вам одному; простите, что... читая, как Вы прозреваете мрачные бездны ада в моем сердце и восклицаете: «Ты дремлешь, Юпитер! Зачем же даны тебе молнии?», ответил столь легкомысленно на Ваши напыщенные обвинения. Простите. Вы ведь сами некогда были школьником и знаете, что шар, как бы хорошо он ни был надут, не выдерживает укола иглы».

Для Бакюлара не понадобилась даже шпага, хватило иглы. Но самое поразительное в характере Бомарше — мы уже упоминали об этом и у нас еще будет случай к этому вернуться — полное отсутствие злопамятства. Когда годы спустя Бакюлар, как и многие другие былые недруги Бомарше, обратится к его великодушию, тот, не колеблясь, откроет ему свой кошелек. Он «авансирует» около 4000 ливров человеку, прозревшему в нем «бездны ада»! И раз уж мы коснулись этой темы, не могу устоять перед удовольствием сообщить, что когда впала в нищету г-жа Гезман, помог ей, естественно, не кто иной, как Бомарше.

В «Добавлении к дополнению к мемуару для ознакомления», чаще называемом «Третьим мемуаром», тирада, посвященная Бакюлару, начинается словами: «Теперь о Вас, господин Бакюлар!» Два других действующих лица, разумеется, имеют право на подобное же обращение: «Теперь о Вас, господин Марен!» и «Теперь о Вас, господин Бертран!»

Из трех борзописцев Гезмана самый замечательный — Марен. Разумеется, не по изяществу стиля. Если Бакюлар велеречив, то стиль Марена — стиль писца, я хочу сказать, что в нем есть что-то канцелярское и учительское; впрочем, ему доводилось подвизаться в обоих амплуа. Но, обладая разнообразными талантами, Марен, прискучив

кафедрой, занялся журналистикой. Он руководил более или менее официозной «Газетт де Франс», которая была связана с правительством, и публиковал в ней новости, как мы сегодня сказали бы — информацию, неизменно благоприятную для власть предержащих. С похвальным рвением он подчас несколько потеснял правду в нужном направлении, к примеру, удваивая цифры, свидетельствующие об успехах правительства, и уменьшая вдвое те, что имели обратное значение. Его сообщений никто не принимал всерьез, и их издевательски прозвали «маринадами». Напомним, что он отличился и еще на одном поприще — Марен служил цензором и познакомился с Бомарше, когда тот представил к постановке «Евгению». Ведал Марен и книготорговым заведением, которое служило одновременно библиотекой.

Случалось, неутомимый Марен оказывал услуги писателям, не пропущенным цензурой, ввозя во Францию произведения, напечатанные в Голландии или Швейцарии, поскольку во Франции они были запрещены им самим. По слухам, Вольтер высоко ценил услужливость Марена, весьма добросовестно ввозившего его книги. Чтобы обмануть власти — иными словами, самого себя! — Марен время от времени отправлял на галеры своих собственных контрабандистов. Есть ли нужда уточнять, что человек, столь ловко сидевший между двух стульев, не мог не служить в полиции, Марен, безусловно, это и делал, выполняя темные задания Мопу. Вольтер, который видел в нем только жалкого и преданного собрата по перу, в 1770 году подумывал даже поддержать его кандидатуру во Французскую Академию! Но, прочтя в Ферне «Мемуары для ознакомления», Вольтер резко порвал с мерзавцем Мареном. Бернарден де Сен-Пьер, который имел зуб на этого субъекта, писал Бомарше в разгар процесса: «Мне жаль Вас, сударь, на Вашем пути встал человек очень опасный, глубоко коварный, могущий вдобавок опереться на инспектора полиции, своего друга, некоего д'Эмери...» Все ли я сказал о моем негодяе? Нет, я упустил одну деталь: до того как он занялся всеми этими делами, Марен писал книги, в частности «Историю султана Саладдина».

В начале процесса Марен любезно предложил свои услуги Бомарше. Разве он не был ему другом? Разве не дал благоприятного отзыва на «Цирюльника»? Разве у него не было «руки» наверху? И в самом деле, рука была. Именно поэтому он посоветовал Бомарше в его собственных интересах забыть о злосчастных пятнадцати луидорах, «обещая, со своей стороны, замять дело». Но поскольку Бомарше не проявлял понимания, Марен открыл карты и переметнулся во враждебный лагерь. Газетчик взялся за перо и произвел на свет язвительный мемуар, начинавшийся изречением из персидского поэта: «Не корми змею рисом, ибо она все равно тебя ужалит». Автор умалчивал о том, какую цену он запросил за свою миску риса с этой гадюки Бомарше. Марен никогда не высказывался прямо, он пользовался наветами и на этой ниве был достаточно опасен. Заверяя читателя, «что ему не свойственно причинять зло даже собственным врагам», он не скупился на разоблачения. Тут и напоминание о том, что Бомарше — противник парламента, и донос, что в

частных беседах тот нападает на министров и вельмож с предосудительной дерзостью, не говоря уж о его чудовищных высказываниях по поводу судебных порядков и религии! Наконец, в логическом согласии с самим собой Марен советовал судьям не проявлять никакого снисхождения к Бомарше, не постеснявшись написать: «Когда клевета, распространяемая печатно, разносит в клочья доброе имя порядочного гражданина, тот, кто распустил ее, должен быть подвергнут телесному наказанию, а иной раз и приговорен к высшей мере». Вот вам Марен!

Бомарше нашел противника, о котором мог только мечтать. Злобный, ничтожный и холопствующий газетчик, перейдя всякие границы приличий, обозлил публику своими доносами, своим откровенным сговором с Гезманом и полицией. По этой идеальной мишени Бомарше мог выпустить свои лучшие стрелы, почти наверняка попадая каждой в яблочко. Стоило бы привести все пассажи, метящие в Марена, «который вместо того, чтобы потчевать змею рисом, облекся в ее кожу и пресмыкается с такой непринужденностью, словно всю жизнь только этим и занимался», но поскольку мы не можем слишком уж растягивать эту главу, и без того достаточно насыщенную, я ограничусь одной цитатой, завершающейся знаменитым «ques-a-co» (так звучит по-провансальски: «О чем это нам говорит?»), которым Марен, уроженец Сиот*а*, уснащал свою речь.

«Ах, господин Марен, как далеко вы ушли от той безмятежной поры, когда с выбритым теменем и непокрытой головой, в льняном эфоде, символе вашей невинности, восхищали Сиот*а* прелестью мелодий, наигрываемых на органе, или прозрачностью вашего голоса на хорах! Если бы какой-нибудь арабский пророк высадился ненароком на побережье и увидел этого неотразимого отрока... эту святую невинность, он сказал бы вам: «Юный аббат, будьте, друг мой, осмотрительны; никогда не забывайте о страхе божьем, дитя мое, а не то в один прекрасный день вы станете...» — да тем, чем вы в конце концов стали; и, возможно, вы бы в вашем льняном эфоде воскликнули тогда подобно Иоасу:

О боже, видящий всю скорбь в моей груди,
Жестокой от меня проклятье отведи,
Пусть надо мной оно ни часу не пребудет:
Пускай Марен умрет, коль он тебя забудет.

Но до чего же он переменился с той поры, наш Марен! Только взгляните, как растет и крепнет зло, коли его не пресечь в зародыше! Марен, который видел высшую радость и блаженство в том, что

...порою к алтарю
Священнику я соль и ладан подаю...[1] —

расстался с детским платьицем и туфельками; перемахнул от органа на учительскую кафедру, в цензуру, в секретариат, наконец,

---

[1] Бомарше перефразирует «Гофолию» Расина. Перевод дан по изд.: Расин. Соч. в 2-х т. М.; Л., 1937.

в газету. И вот уж мой Марен, засучив по локоть рукава, ловит, что погаже, в мутной воде; клевещет вслух, сколько вздумается, творит зло исподтишка, сколько удастся, то укрепит чью-нибудь репутацию, то разнесет вдребезги чью-то другую. Цензура, иностранные газеты, новости —— все в его руках, в устах, в печати; газеты, листки, письма, распространяемые, фабрикуемые, предполагаемые, раздаваемые и т. д., и т. п., еще четыре газетные полосы тому подобного: он ничем не брезгует. Велеречивый писатель, умелый цензор, правдивый газетчик, поденщик на ниве памфлета; если он движется вперед — пресмыкается по-змеиному, если лезет вверх — шлепается по-жабьи. Наконец, взбираясь все выше и выше — где ползком, где скачком да прыжком, но неизменно на брюхе, — он добился солидного положения: ныне этот корсар мчится по Версальской дороге в карете четверней, украшенной на дверцах гербом, где в обрамлении, напоминающем корпус органа, некая Слава, изображенная вниз головой на фоне разверстой глотки и обрубленных крыльев, дует в морскую [1] трубу; а в основании — искаженное отвращением лицо, символизирующее Европу; все это обвито подрясником на газетной подкладке и увенчано квадратной шапочкой с надписью на кисточке: «Кес-а-ко? Марен».

Так Бомарше высек собрата по перу, потребовавшего для него смертной казни. Если и сегодня тирада кажется нам забавной, если нас восхищает хладнокровие и остроумие человека, который всего за несколько дней до вынесения приговора, и приговора сурового, отделывается от опасного противника насмешкой, нам все же трудно даже представить себе впечатление, произведенное этим «кес-а-ко» на всю Европу. Мало сказать, что словечко стало модным. В течение месяца, а то и больше, все называли «кесако». Вплоть до причесок. Супруга дофина Мария-Антуанетта ввела свое «кесако» — султан из перьев, которым увенчивался парик. «Эта прическа распространила посрамление стертого в прах Марена на область туалетов», — писалось в «Секретных записках Башомона» (они выпускались уже не самим Башомоном, поскольку тот умер в 1771 году; но его негры, очевидно, не последовали за ним в могилу).

Третий холуй пера, прислуживавший советнику Гезману, нам уже знаком, это — Бертран, Бертран Дэроль. Мы уже встречались с ним в доме Лепина, где он свил гнездо, и не забыли важной роли, которую он играл в переговорах с Леже. Человек дела или, точнее, человек, умеющий устраивать дела, этот мастер на все руки брал из любой. Работал сей господин на комиссионных началах. Чтобы его заполучить, достаточно было накинуть цену. Фаншон, безусловно, питавшая к нему слабость, ошиблась, расценив его как бойцового петуха. Таким он был только в постели. Во всех же иных случаях вел себя как каплун. Марен, знавший толк в подонках, раскусил его уже раньше. Их к тому же сближало провансальское происхождение — когда у людей один акцент, взаимопонимание легче. Итак, Марену не стоило особого труда припугнуть Бертрана. Не оплошал

---

[1] Игра слов: «marin» — морской и «Marin» — фамилия.

ли тот, взяв сторону Бомарше против всемогущего парламента? Бертран не заставил повторять себе этого дважды и лихо вывернулся наизнанку. В противоположность Леже он перешел в лагерь мастерицы ощипать каплуна со всем оружьем и обозом, изменив с первого до последнего слова свое первоначальное свидетельство. Чтобы сообщить большую весомость новым показаниям, этот банкир из мелких счел за благо изложить их в прозе и даже по-латыни. Тут ему явно помогли, поскольку сам он не был обременен образованием, но подпись свою поставил, следовательно, перо в руке все же держать умел. На его неудобочитаемый мемуар, «присыпанный опиумом и ossa foetida»[1], Бомарше ответил без промедления: «Я только пролистал его, так как в нем чувствуется что-то приторное, солоноватое, какая-то кислятина, весьма неприятная на вкус; но коль скоро он вышел под Вашим именем, я отвечу, как если б его написали Вы; в Ваших провансальских поставках, господа, не всегда можно разобраться, кому принадлежит товар, а кто предъявляет счет покупателю; перейдем же прямо к фактам, мне некогда — сейчас к мемуарам прикованы все взгляды. Итак, о чем говорит Ваш?»

Задав перцу незадачливому Бертрану, Бомарше, прежде чем расстаться с ним окончательно, одаривает его последним абзацем. Поскольку этот плут Бертран упоминает в своем сочинении, что с ним, мол, до сих пор не расплатились за церковную свечу, «ссуженную» при похоронах г-жи Бомарше, должник, не торгуясь, отваливает ему сполна: «Всем известно, что в Париже пруд пруди южанами, единственное ремесло которых всех кругом одалживать. В семье свадьба? Пожалуйста — перчатки, кокарды и благовония. Праздничный обед? Оливки, тунец, мараскин. Какая-нибудь другая нужда? В запасе деньги и все, что душе угодно. Путешествие? Ремни, сундуки, седла и сапоги; да, кстати, о сапогах, они тоже выражают свои претензии на благодарность, предъявляя мемуар».

Было бы ошибкой сделать из всех этих цитат вывод, что «Мемуары» Бомарше — лишь остроумная самозащита, на удивление умело использующая форму комедии. Лагарп в своем «Курсе литературы» справедливо писал: «...самое поразительное — и этого я не нахожу ни у кого, кроме Бомарше, — последовательное чередование, а подчас и нераздельная смесь негодования и веселья, которые поочередно, а то и одновременно заражают читателя. Он разжигает ваш гнев и смешит вас, а это в искусстве куда труднее и реже, чем в природе».

Гениальный адвокат, Бомарше понял, что ему недостаточно защищать самого себя и отмести, высмеяв их, доводы своих недругов. Должность судьи давала Гезману одно неоспоримое преимущество: его слова не подлежали сомнению. С такого рода трудностью мы сталкиваемся и в наши дни, во многих случаях она делает гадательным вынесение справедливого приговора. Когда судьи и полицейские при исполнении своих обязанностей, они — неприкосновенны.

---

[1] Прогнившие кости (*лат.*).

Сочини завтра какой-нибудь страж порядка, что я над ним издевался или ударил его, поверят именно ему. В подобных обстоятельствах утверждение частного лица — пустой звук. Человек, упорствующий в своих обвинениях против жандарма, только отягчает собственную судьбу. Во Дворце правосудия еще сегодня всем, кто повздорил с представителями порядка, рекомендуется признать вину и раскаяться. Но Бомарше был уже не тем человеком, который способен покориться. Чтобы одолеть Гезмана, чтобы слово судейского чиновника утратило свою святость, Бомарше должен был доказать, что советник — обыкновенный лгун, что он обманывал государство.

Бомарше интуитивно чувствовал, что у Гезмана, который произвел на него самое дурное впечатление, рыльце в пушку. Адвокат обратился в следователя и в этой роли оказался не менее удачлив, чем в первой, — ему удалось установить, что Гезман далеко не новичок в подделке и подлоге. От Антуана-Пьера Дюбийона и его жены Марии-Мадлены, людей небогатых, Бомарше узнал, что крестный их дочери Софи, вопреки своим обещаниям, вот уже пять месяцев не дает денег на содержание ребенка. Этим крестным отцом, нарушившим свои обязательства, оказался не кто иной, как Гезман! Бомарше, разумеется, стал копать дальше. Г-жа Дюфур, повитуха, принимавшая ребенка у г-жи Дюбийон, охотно поделилась с ним сведениями, которые он желал получить, и вскоре Бомарше смог сообщить публике, а следовательно, и суду, как злоупотребляет советник Гезман своим словом и своей подписью.

«Решив узнать, действительно ли у судебного чиновника, отказавшего в помощи этим беднякам, имелись достаточные основания им благодетельствовать, я отправился в приход Сен-Жан де Бушри и отыскал в церковной книге запись о крещении... Вы, без сомнения, будете удивлены не меньше меня, прочтя там «Луи Дюгравье, парижский мещанин, проживающий по улице Лион, приход Сен-Поль, крестный отец Марии-Софи». Возможно ли, что г-н Гезман, так кичащийся своей добродетелью, надругался над божьим храмом, религией и самым серьезным актом, на котором зиждется гражданское состояние, поставив подпись *Луи Дюгравье* вместо *Луи Гезман* и указав рядом с ложным именем *ложный адрес?»*

Сорвать маску с честного, неподкупного, добродетельного Гезмана — отличный военный маневр, но этот способ отнюдь не по сердцу Бомарше, он счел даже нужным оправдать его необходимостью, перед которой был поставлен: «...меня самого оговорили в доносе, осыпали самой грубой бранью и возвели на меня поклеп в той же мере необоснованный, как и не имеющий отношения к факту, который послужил мотивом доноса. Я вынужден защищаться всеми средствами». Существует оружие, к которому Бомарше предпочел бы не прибегать, — и его смущение, его отвращение, как мне кажется, также должны быть засчитаны в его пользу. Чтобы судить о достоинствах человека, мало одних славных деяний, истинное мерило благородства — чувство неловкости, которое человек испытывает, совершая неблаговидный поступок.

Нередко утверждают, что эти четыре «Мемуара» (первый, дополнение к нему, добавление к дополнению, четвертый) — плод коллективных усилий «гнусной клики». Разумеется, написанные второпях — поневоле приходилось спешить — эти тексты прочитывались и перечитывались, а подчас и правились членами семьи. Бомарше нашел временный приют у своей сестры Лепин, в чьем доме царила та же культурная атмосфера, что и в мастерской на улице Сен-Дени в былые времена. У старого г-на Карона — бойкое перо, Тонтон и ее супруг Мирон неравнодушны к литературе, Лепин и Фаншон далеко не невежды, но одареннее всех — Жюли. Однако, читая ее многочисленные письма или книжечку, опубликованную ею в 1788 году, — «Рассудительное существование, или Нравственный взгляд на цену жизни», мы видим, насколько ее стиль и суждения отличаются от стиля и мысли брата. В своем вольнодумстве, как и в своей набожности, Жюли сохраняет некоторую манерность, она, как это нередко случается с литературными дамами, стремится писать красиво, округло. Так, например, она пишет Тонтон: «Я должна поскрестись в дверь твоего сердца, поухаживать за твоим умом, разбудить всех твоих лакеев — благие помыслы, подкупить твою горничную — память, чтобы поднять на ноги твоего швейцара — благорасположение, и т. д.». Даже в лучшие минуты Жюли жеманничает и косится на зеркало. Достоинство же «Мемуаров», на мой взгляд, в их естественности, свободе стиля, не страшащегося даже вульгарности. Подобно всем великим писателям, Бомарше никогда не отступает перед неблагопристойными или даже пошлыми выражениями. Только ничтожные модники пуще чумы боятся грубых оборотов и пишут, как ходят, — на цыпочках. Между тем все четыре «Мемуара», нравится это или не нравится, написаны на едином дыхании, в котором невозможно обмануться. Это ритм Бомарше — быстрый, легкий, увлекающий за собой. Ни Жюли, ни Мирон, ни старик отец не владеют этой динамичностью, гением краткости. Анализ текста показывает, что Жюли действительно частенько прикладывала к нему руку. Ломени и Помо правы, когда приводят хотя бы пассаж, где Бомарше отвечает г-же Гезман, попрекнувшей его тем, что он сын часовщика:

«Вы начинаете ваш шедевр с того, что попрекаете меня сословием моих предков: увы! Сударыня, слишком верно, что последний из них наряду с занятиями разнообразной коммерцией приобрел также довольно большую известность как искусный часовых дел мастер. Вынужденный согласиться с приговором по этой статье, с болью признаюсь, что ничто не может обелить меня от вины справедливо отмеченной вами, — я действительно сын своего отца... Но я умолкаю, ибо чувствую, что он стоит за моей спиной, читает написанное мною и, смеясь, меня целует. О вы, попрекающие меня отцом, вы даже не можете себе представить великодушие его сердца. Поистине, оставляя в стороне то, что он был часовщиком, я не вижу ни единого человека, на которого пожелал бы его сменить; и я слишком хорошо знаю цену времени, кое он научил меня измерять, чтобы терять его на опровержение подобных благоглупостей».

В этом абзаце Жюли, действительно, принадлежит часть, которой невозможно пренебречь, поскольку именно она нашла удачную фразу об отце — «он стоит за моей спиной, читает написанное» и т. д. Но достаточно ли этого для вывода, что «Мемуары» писались сообща всей «веселой компанией»? Не думаю. Поправки, вымарки, приписки отнюдь не так многочисленны, как утверждают. Редкий писатель не принимает в расчет мнения близких. А у Бомарше более чем достаточно оснований прислушаться к критике «Мемуаров» — на карту поставлена его жизнь. Однако семья, и в особенности Жюли, опасаясь худшего, требовали, чтобы он ограничился своим процессом, то есть советником, прекрасной Габриель и их сообщниками. Сам же Бомарше все отчаяннее ввязывался в политическую борьбу. Логика и отвага толкали эту жертву установлений тогдашнего общественного строя и привилегий, которыми социальная система наделяла избранных, к тому, чтобы осудить строй в целом, подорвать устои самой системы. Осторожность, расчет, личные интересы требовали от Бомарше покорности, смирения, но ему уже претили эти игры, он желал наконец стать самим собой. Он ведь вообще мог избежать процесса, если бы забыл, как ему намекал Марен, о злосчастных пятнадцати луидорах. Он мог снова занять свое место в первых рядах этого общества, пустив в ход интриги и талант. Все те, кто вокруг него так или иначе оказывались в конфликте с властью, предпочитали уступить. И я так настаиваю на социальном характере бунта Бомарше, на его внезапном и одиноком протесте против режима, если договаривать до конца — против абсолютной монархии, — именно потому, что такая позиция не укладывается в традиционный образ Бомарше. Но до чего же трудно ломать привычные представления! Не далее как вчера я дал прочесть написанное мною одному приятелю, чтобы проверить, достаточно ли все это убедительно. Он читал внимательно, горячо заверил меня, что само изложение фактов доказывает бесспорную порядочность, даже безупречность этого человека. А потом добавил: «Да, но все же Бомарше...» Ну а вы, читатель? Вас тоже не оставляет сомнение, то самое, что звучит на первых страницах книги Байи: «...он внушает нам тревогу, недоверие»? Тогда прочтите повнимательнее строки, написанные за несколько дней до суда. Каков человек, который не побоялся столь резко обвинить в печати своих судей перед самым вынесением приговора? «Если бы границы власти устанавливались произвольно, если бы права человека сужались или расширялись в зависимости от личных мнений, на что же тогда можно было бы твердо опереться? В таком случае суды уже не ведали бы пределов своим полномочиям, граждане — пределов своей свободе. Всем завладели бы хаос и смута, и подобная анархия была бы даже опаснее хаоса, царящего на Востоке. Если бы вместо хладнокровного рассмотрения тяжб в соответствии с законом, орудиями которого они являются, судьи, воодушевляемые не столько духом правосудия, кое обязаны вершить, сколько корпоративными интересами, стали бы попирать права граждан, то либо вся законодательная система обнаружила бы свою непригодность, либо возникла бы необходимость в создании

высшего судебного органа, поставленного над самовластными судами, чтобы каждый гражданин имел право принести в этот высший орган свою справедливую жалобу».

Чтобы дать представление об атмосфере накануне суда и показать «благодушие» парламента, можно привести один ничтожный, но весьма характерный эпизод. Направляясь на допрос к прокурору, Бомарше сталкивается на галерее с главой парламента Николаи, в прошлом кавалерийским полковником, который шествует во главе эскадрона судейских. Без всяких причин и поводов Николаи, указывав пальцем на Бомарше, восклицает: «Стража, немедленно вывести этого человека, вот этого, Бомарше; он явился надерзить мне!» Наглеца хватают, но тот, растолкав гвардейцев, обращается к присутствующим со словами: «Я беру в свидетели публичного оскорбления, нанесенного мне здесь, всю нацию». «Гражданин», «нация» — не странный ли лексикон для 1773 года? Удивительнее всего, что сановному Николаи пришлось дать задний ход, поскольку «нация» — то есть свидетели столкновения — встала на защиту «гражданина» и вырвала его из рук стражей. В объяснение причины своего внезапного гнева Николаи заявил, будто Бомарше показал ему язык! Но для первого президента свято неприкосновенного парламента, вдобавок бывшего полковника, уже и то, что он снизошел до оправданий, означало отступление. Бомарше, бросая на сей раз вызов самому Николаи, немедленно пересказал эпизод, ничего не смягчая, в своем четвертом «Мемуаре», чем разъярил судей до предела.

Мы уже видели, как отозвалась публика, «нация». С декабря 1773 года по февраль 1774-го общественный отклик на дело Бомарше принимал все более бурный характер. В кафе и даже на улицах люди открыто защищали Бомарше и, главное, нападали на парламент. Подобные манифестации возникали стихийно, их никто, разумеется, не организовывал, не мог организовывать. Но борьба одного человека против произвола внезапно превратилась в борьбу почти всеобщую. Конечно, в самого короля, которого Бомарше не затрагивал, протест пока не метил. Еще какое-то время король останется над схваткой. В 1773 году «нация» атакует только парламент, выражение воли суверена. Но эта трещина, этот сознательный протест за пятнадцать лет до революции возвещают великий переворот 1789 года. Как писал Бомарше в четвертом «Мемуаре»: «Все это дело приняло слишком серьезный оборот, чтобы ограничить его частными рамками».

Вольтер, поначалу взявший сторону парламента Мопу, вскоре под воздействием «Мемуаров» изменил свое отношение. «Боюсь, — писал он, — что этот блестящий вертопрах по сути прав, вопреки всем. Какое плутовство, о небо! какие мерзости! какое низкое падение нации! и как все это неприятно для парламента!» Он уточняет свою мысль в другом письме, к д'Аламберу: «Что за человек! Ему доступно все — шутка, серьезность, логика, веселье, сила, трогательность, все роды красноречия, хотя он не стремится ни к одному из них, он повергает всех своих противников и дает уроки своим судьям. Его простодушие приводит меня в восторг, я прощаю ему неосторожные поступки и дерзости». Если верить Лагарпу, это простодушие приво-

дило Вольтера в восторг и вместе с тем тревожило, Вольтер якобы даже спросил как-то у одного из друзей, не требовалось ли нечто большее, чтобы создать «Заиру» и «Меропу»?

Замечательно, что многие крупные писатели того времени, преодолевая взаимную зависть — в литературе дружеские отношения всегда отравлены бешеным соперничеством, — сочли необходимым приветствовать «Мемуары» и их автора. Тем, кто обвиняет Бомарше, что он не является их подлинным создателем, отвечает Руссо: «Не знаю, он ли их сочинил, но знаю, что таких «Мемуаров» для другого не пишут». Бернарден де Сен-Пьер пророчествует: «Вы, сударь, созданы <...> чтобы сравняться в славе с Мольером». Гёте организует во Франкфурте публичные чтения четвертого «Мемуара». Хорас Уолпол пишет своей приятельнице г-же Дюдеффан: «Я получил мемуары Бомарше; я уже дошел до третьего, и они меня весьма забавляют... Словом, мне ясно, что, принимая во внимание бушующие сейчас у вас политические страсти, это дело должно стать сенсационным. Я забыл Вам сказать, что ваши судебные методы повергли меня в ужас. Есть ли в мире другая страна, где эта г-жа Гезман уже не была бы сурово наказана? Ее показания чудовищно бесстыдны. Неужели у вас дозволено так лгать, умалчивать, противоречить себе, так сумасбродно чернить своих же? Что сталось с этой особой и ее негодяем мужем? Прошу Вас, ответьте».

Как справедливо сказала именно г-жа Дюдеффан, публика была «без ума от автора» «Мемуаров». В особенности женщины. Тому свидетельницей некая дама де Мортов, которая зарифмовала свое безумное увлечение:

Перо твое, о Бомарше,
Наделено волшебной силой
Дать наслаждение душе
И даже мелочь сделать милой.

Тебя узнать мечтаем мы,
Встречаться, говорить с тобою;
Ты смог завоевать умы —
Сердца сдались тебе без бою.

Пусть принесет блестящий труд
Тебе заслуженную славу;
Пусть благосклонен будет суд,
Чтоб ты торжествовал по праву!

Как мы вскоре увидим, Бомарше «овладел» также сердцем другой обожательницы. Эти успехи, хотя и лестные, его не ослепляли. Жребий был брошен, но результаты оставались неясными. Все в конечном итоге зависело от исполнительной власти и ее пожеланий, от того, что мы назвали бы сейчас указаниями министерства общественного порядка. По каким-то признакам можно было строить предположения, но сами эти признаки были противоречивы. В январе правительство разрешило играть «Евгению», которая была встречена

овациями. Но в феврале, накануне премьеры, был наложен запрет на «Севильского цирюльника». Легко понять колебания властей. Уступка общественному мнению означала бы, что они сдали свои позиции; осуждение Бомарше сделало бы монархию еще более непопулярной.

Опыт показывает, что исполнительная власть, поставленная перед подобной альтернативой, избирает, как правило, некий средний путь. Но это *наш* опыт, в XVIII же веке политическая жизнь только зарождалась; нация существовала пока лишь в книгах, она еще не осознала своей силы. Королю, его министрам, его парламенту противостояла пустота, от этого голова шла кругом как у одних, так и у других.

Наконец подошло 25 февраля, канун судебного заседания. Новости были самые дурные. Обедая в гостях, достопочтенные советники парламента не скрывали, что решение уже принято. Если им верить, Бомарше на следующий день предстояло получить самую тяжкую, если не считать смертной казни, меру наказания. Приговор, предрешенный судьями канцлера Мопу, был известен Бомарше во всех деталях. Начинался он почти ласково — «опуститься на колени, с большой желтой восковой свечой в руках, дабы принести надлежащее покаяние», затем несколько ужесточался — «приковать железным ошейником к позорному столбу, с повешенными на грудь и спину табличками со словами — взяткодатель и клеветник». Засим следовал перечень изощренных пыток — «сорвать одежды и с веревкой на шее бить, высечь розгами, после чего клеймить раскаленным железом», — а также подробное описание тщательно организованного зрелища для просвещенных любителей; завершалось все это чудовищным финалом — «сослать на галеры, доколе не воспоследует смерть». Конти, Гюден, последние друзья, не отступившиеся от Бомарше, и в особенности родные убеждают его бежать, пока он еще на свободе. Не посмотрят ли на это сквозь пальцы стражи, наблюдающие за ним издалека? Ведь удрав, он облагодетельствует парламент. И сохранит жизнь. Соблазн был велик. За несколько часов до позорного столба и каторги — свобода! Было бы спасено все, кроме чести. Но — если воспользоваться знаменитой формулой — в 1774 году честь еще не была обесчещена. И, как писал в связи с этим Лагарп, потеря чести могла повлечь за собой потерю жизни. Впрочем, нам хорошо известно, что Бомарше уже сделал свой выбор и другого сделать не мог. Потрясенному принцу Конти, который в последний раз предупреждал его: «Когда за вас возьмется палач, я буду уже бессилен!», он величественно ответил: «Будьте уверены, гнусная рука не замарает человека, коего вы почтили своим уважением». У Фигаро только фрак был лакейским.

Естественно, в эту ночь ему захотелось остаться одному. Все ушли. Он спокойно привел в порядок дела, потом часов в пять утра, еще затемно, отправился во Дворец правосудия.

«Один, идя пешком во мраке через мост, который ведет ко Дворцу, пораженный тишиной, и всеобщим покоем, позволявшим мне услышать плеск реки, я говорил себе, вглядываясь в туман: какая у меня, однако, необыкновенная судьба! Все мои друзья, все мои со-

граждане предаются сейчас отдыху, а я иду, возможно, навстречу позору и смерти. Все спит в этом большом городе, а я, возможно, никогда больше не лягу в свою постель».

В субботу, 26 февраля, палаты собрались на совместное заседание в шесть утра. Почему так рано? Наверняка потому, что парламент воображал, будто в шесть часов Париж еще будет спать. Но Париж в шесть уже был у стен Дворца. Большая молчаливая толпа, несколько оробевшая, вероятно, от величественности этого места, несколько испуганная разводом гвардейцев и, главное, еще не сознающая, еще не смеющая осознать свою силу. Шли часы. Судьи взаперти заседали. Чаши весов колебались весь день. Около полудня Бомарше передал записку принцу Монакскому, который, желая показать, чью сторону он держит, пригласил подсудимого к себе откушать и прочесть после ужина своего «Цирюльника». Странный, право, мир, где учтивость еще не выродилась в хорошие манеры, где аристократия иной раз поистине благородна, а иной раз — мерзка, странный Бомарше, который серьезен и надо всем потешается, принимая всерьез все, кроме себя самого, и о котором неблагодарная История сохранила в памяти только его курбеты. Итак, в ту субботу, 26 февраля 1774, принцу Монакскому:

«Бомарше, бесконечно признательный за честь, кою благоволит оказать ему принц Монакский, отвечает из Дворца правосудия, где он сидит на привязи с шести утра, где был уже допрошен в судебном заседании и теперь ожидает приговора, заставляющего долго себя ждать; но как бы все ни обернулось, Бомарше, окруженный в настоящий момент близкими, не может льстить себя надеждой ускользнуть от них, придется ли ему принимать соболезнования или поздравления. Он умоляет поэтому принца Монакского оказать ему милость и отложить свое любезное приглашение до другого дня. Он имеет честь заверить его в своей весьма почтительной благодарности».

Полдень, два часа пополудни, советники заседают. Просачиваются некоторые сведения — ассамблея разделилась, и ей пока не удается достичь решения большинством голосов. Кости все еще катятся по игорному столу. В два часа Бомарше знает, что шансы выиграть и проиграть равны, в два часа еще не известно, что его ждет — позорный столб, каторга или, может, наказание не столь тяжкое. Но поскольку ничто не предвещает скорого окончания дебатов, он принимает невероятное решение: встает со своей скамьи, выходит из Дворца и отправляется к Фаншон поспать. Ему позволяют выйти, не ослабляя надзора, чтобы схватить, буде это окажется необходимым. Толпа, однако, не разделяет умопомрачительного спокойствия подсудимого. Идут часы, и нетерпение толпы уступает место гневу. Париж ропщет, хлопает в ладоши, освистывает писарей, гвардейцев, мелких судебных чиновников. Из страха перед толпой советники не смеют высунуть носа из зала заседаний, даже выйти перекусить. К пяти часам темнеет. Парламент, вне сомнения, выжидает, пока парижане утомятся, пока их разгонит по домам голод и холод. Расчет ошибочный. Люди устраиваются поосновательнее, пьют, едят, не отходя от Дворца, мелкие торговцы, каким-то таинственным об-

разом прознавшие обо всем, стекаются на площадь со своими лотками, корзинами, тележками, предлагают кто кофе с молоком, кто шоколад, кто каштаны, кто «дамскую радость», о которой Кюнстлер без капли юмора сообщает нам, что это печенье, отличающееся твердостью... Наконец — в девять вечера — двери открываются, и председатель суда оглашает приговор:

«Верховный суд на совместном заседании всех палат, в соответствии с принадлежащим ему правом вынесения окончательного решения по всем делам, уже подлежавшим ранее судебному разбирательству, приговаривает Габриель-Жюли Жамар, супругу Луи-Валантена Гезмана, к явке в судебную палату, дабы, опустившись на колени, она была предана публичному шельмованию и т. д.

Приговаривает также Пьера-Огюстена Карона де Бомарше к явке в судебную палату, дабы, опустившись на колени, он был предан публичному шельмованию и т. д.

Повелевает, чтобы четыре «Мемуара», опубликованные в 1773 и 1774 годах <...> были разорваны и сожжены королевским палачом на площади подле лестницы Дворца правосудия как содержащие дерзостные выражения и наветы, позорящие и оскорбляющие судебную корпорацию, и т. д.

Запрещает упомянутому Карону де Бомарше выпускать в дальнейшем подобного рода мемуары под угрозой телесного наказания и т. д.».

Конец приговора потонул в реве толпы, забывшей себя от ярости. Чтобы оградить председателя суда и дать ему возможность дочитать вердикт до конца, пришлось прибегнуть к гвардии. Но все равно его никто не слушал. Только позднее стало известно об исключении из парламента Гезмана и незначительных наказаниях, к которым были приговорены Леже и Дэроль — им тоже предстояло быть публично ошельмованными, но выслушать поругание они должны были не на коленях, а стоя. Только Бакюлар и Марен, наказанные уже, впрочем, тем, что были выставлены на посмешище, оказались вне этой всеобщей раздачи премий. Уж не действовали ли они оба по указаниям Мопу?

Едва стал известен приговор, успокоенный Гюден кинулся к Фаншон разбудить Бомарше. Ведь самое худшее миновало? Бомарше никак не комментировал нелепый приговор. Но вскоре радостные клики Парижа возвестили ему, что он одержал своего рода победу над несправедливостью. Разве не пришлось советникам, которых преследовала, мяла, освистывала толпа, выбираться из Дворца через боковые двери? Если даже триумф Бомарше был только кажущимся, поражение парламента не оставляло сомнений.

Ночью «весь город отметился в его доме». Очаровательный принц Конти прибыл первым и, обняв Бомарше, сказал ему: «Я хочу, чтобы завтра вы пришли ко мне. Я принадлежу к достаточно хорошему дому, чтобы подать Франции пример, как должно себя вести по отношению к такому великому гражданину, как вы!» Следом за ним явился герцог де Шартр, и так, вплоть до позднего часа, сменяли друг друга принцы, герцоги, писатели, артисты, друзья, число кото-

рых умножилось в эту субботу, 26 февраля, словно по мановению волшебной палочки, меж тем как на улице другие победители парламента — толпа мелкого люда, сыгравшая немалую роль в развитии событий этого удивительного дня, неутомимо скандировала имя своего героя. После полуночи приехал поздравить друга и Сартин, посоветовав ему, впрочем, не обольщаться. Начальнику полиции было по опыту известно непостоянство Парижа. Он знал также, что один только Людовик XV властен вернуть Бомарше его гражданские права. Вот почему, обняв Бомарше, он шепнул ему на ухо: «Мало быть ошельмованным, нужно еще проявить скромность».

7

ГОСПОДИН ДЕ РОНАК

Дипломатический курьер!

Положение Бомарше на следующий день после процесса оказалось более чем двусмысленным. С одной стороны, он был на вершине славы — «возмущенная нация протягивала мне руки, богатые люди предлагали свой кошелек, адвокаты раскрывали двери своих кабинетов, горячие головы строчили дурные стихи в мою честь и грозные памфлеты против парламента», — с другой, он был приговорен к публичному шельмованию, что лишало его всех гражданских прав — права на имя, на брак, на завещание, на занятие государственных должностей, на заключение сделок, на постановку пьес в «Комеди Франсэз». Кроме того, ему еще предстояло явиться в суд и выслушать этот приговор, стоя на коленях. В глазах закона он был гражданским мертвецом, человеком опозоренным, в глазах людей — человеком прославленным, достойным восхищения. Много и ничего. Он был поднят на пьедестал, как памятник, но не мог с этого пьедестала спуститься из опасения быть арестованным.

Необходимо было, следовательно, возможно скорее добиться реабилитации, отмены приговора и возобновить, подав апелляционную жалобу, нескончаемый процесс с Лаблашем, который, не будем забывать, разорил Бомарше. То и другое зависело от короля, Бомарше был полностью в его руках. Сверх того, приходилось еще принять меры, чтобы избежать нелепого наказания — «опуститься бок о бок с Гезманшей на колени перед Николаи и его присными», — а оно должно было быть приведено в исполнение в ближайшую неделю. На мой взгляд, именно в этом одна из причин поспешного отъезда Бомарше во Фландрию два или три дня спустя после вынесения приговора. Нет сомнений, Сартин намекнул ему на необходимость уехать, когда попросил не показываться на людях, добавив: «Если король отдаст приказ, я буду вынужден ему подчиниться...» Итак, он уложил чемоданы, полагаю, без особого восторга, — ведь он впервые за долгие годы был снова счастлив.

Вечером 26 февраля среди множества знатных посетителей, явившихся, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение, в дом, где он нашел приют, была прелестная барышня, которая пришла повидать знаменитого человека под невероятным предлогом: *одолжить у него арфу!* Такой детали, донесенной до нас Гюденом, присутствовавшим при свидании, не выдумаешь. Самая ее нелепость — доказательство подлинности. Звали эту девушку Мария-Тереза-Эмили Виллер Мавлаз — или Виллермавлаз — и было ей двадцать лет. Весьма сдержанная от природы, Мария-Тереза, по отцу швейцарка, была девицей примерного поведения — тут сходятся все свидетели, — но в тот вечер решилась на поступок, который смутил бы самую развязную куртизанку. С «кесако» в прическе — что само по себе уже было признанием! — она явилась одна, без всяких рекомендаций, в поздний час к мужчине, чья репутация в делах галантных не могла не быть ей известна. Не понадобилось никакой «кристаллизации» — это была любовь с первого взгляда. Бомарше, отлично разбиравшийся в женском сердце, тотчас понял, какое чувство движет посетительницей. Она, конечно, бросилась ему на шею, отдалась, но отдалась на всю жизнь. Самое удивительное, что подлинное чувство, очевидно, с самого начала преобладало здесь над чисто физическим влечением. Восхищение, взаимное уважение и нежное согласие создали между ними прочные отношения, устоявшие во всех испытаниях. Все решилось в ту же ночь, этого не может скрыть даже стыдливый Гюден. С этой минуты «сердца их слились». Известно, что Мария-Тереза стала последней «госпожой Бомарше» и родила Пьеру-Огюстену долгожданного ребенка, однако он очень не скоро узаконил этот брак по причинам, в которых мы еще попробуем разобраться. Обвенчался он с Марией-Терезой только через двенадцать лет после знакомства и через девять после рождения Евгении. Тем не менее с первого вечера он видел в ней законную супругу; повторяю, к этому мы еще вернемся. Пока же следует задать только один вопрос: не была ли и Мария-Тереза одной из причин, побудивших Бомарше уехать во Фландрию? Последовала ли она за ним? Нет никаких доказательств, но мне кажется, что да, — и почему бы вам не разделить мое интуитивное предположение? Мария-Тереза была связана с фламандским краем через свою мать, она и родилась в Лилле. Неужели вы считаете, что любовники могли расстаться через несколько часов после знакомства? Или что Мария-Тереза вдруг проявила рассудительность и отказалась от своей безумной любви? Была ли у них хоть капля надежды встретиться вновь, если они сейчас расстанутся? Если уж молодая девушка первой стучится в дверь незнакомого мужчины, чтобы позаимствовать у него арфу, которую тот отказывается одолжить (гласит Гюден), значит, она приняла решение играть с ним вместе на одном инструменте, в счастье и несчастье.

Линь и Конти помогли Бомарше уехать ночью, тайком, чтобы обмануть агентов Мопу. Через несколько дней он (или они) был(и) уже в окрестностях Гента, откуда Бомарше отправил письмо своему другу Лаборду, первому камердинеру Людовика XV и, сверх того,

генеральному откупщику. Похоже, что подлинным адресатом этого послания был сам король, перед которым Бомарше оправдывал свое бегство в «свободную страну» желанием соблюсти молчание: он извещал, что намерен добраться до Лондона, где рассчитывает прожить «пять с половиной месяцев в полном безмолвии и забвении, как если бы сидел в Бастилии». Пять с половиной месяцев — как раз такой срок полагался для обращения к королю (путем подачи прошения в королевский совет) с просьбой об отмене приговора и передаче дела на новое рассмотрение. По истечении полугода осужденный лишался права на подачу кассационной жалобы. Приговор был вынесен 26 февраля, следовательно, 26 августа Бомарше рисковал получить отказ за истечением срока. В своем письме он как бы ненароком замечал, что неразумно «выбрасывать из общества верноподданного, чьи таланты могут быть с пользой употреблены на службе королю и государству». Очевидно, у Бомарше были особые причины предлагать таким образом свои услуги. Вечером 26 февраля Сартин явился приветствовать его не только для того, чтобы изречь афоризм, хотя и звучавший достаточно забавно («Мало быть ошельмованным и т. д.»). В ту ночь хозяин и гость, должно быть, рассмотрели, какая существует возможность — или возможности — вернуть Бомарше его гражданские права, добившись отмены приговора. Кроме того, нам известно, что накануне суда — 24 или 25 февраля — Бомарше обедал в Консьержери с графом де Лораге, чиновником «королевской службы», с которым нам предстоит вскоре встретиться. Все это, конечно, не больше чем гипотезы! Но весьма правдоподобные. 1774 год в жизни Бомарше — головоломка, и сложить все ее части нам не удастся никогда. Именно поэтому необходимо соблюдать крайнюю осторожность в этой главе, где служба королю подчас оборачивается служением Франции. Не стоит заблуждаться, в политике все не так просто — ни люди, ни события; Бомарше мог предложить свои услуги Людовику XV, *не отрекаясь* от себя. Мы, например, увидим, что борьбы против парламента Мопу он так и не прекратил, не считаясь с королевской волей. Такое поведение кажется сомнительным или даже бесчестным многим людям, для которых История — детская книга с картинками. Большая политика точно матрешка — видна только «матушка», прочие фигуры скрыты. Но не будем ломиться в открытые двери и вернемся к Людовику XV. Король взял письмо, врученное ему Жаном-Бенжаменом де Лабордом, и, прежде чем сунуть его в карман, сказал — или якобы сказал — «В добрый час: пусть только держит слово».

Бомарше, по-видимому, прибыл в Лондон в первую неделю марта, возможно, 5-го. «В тот день в Париже четыре опубликованных «Мемуара» были разодраны и сожжены королевским палачом у подножия парадной лестницы Дворца правосудия в присутствии Александра-Никола-Франсуа Лебретона, одного из высших чинов уголовной канцелярии верховного суда, а также двух помогавших ему судебных исполнителей». В тот же день Бомарше получил по дипломатическим каналам записку от Лаборда, уведомлявшую, что Людовик XV безотлагательно ждет его в Версале. Он не успел даже распаковать

чемоданы. Фигаро здесь, Фигаро там! Настало время поездок, время показать свою ловкость: «Теперь я снова готов к услугам вашего сиятельства, приказывайте все, что вам заблагорассудится».

Старый Альмавива принял Фигаро по-дружески. «Я помню все ваши таланты, говорят, у вас есть также талант вести переговоры. Если бы вы сумели употребить его успешно и тайно в одном интересующем меня деле...» Если бы вы сумели употребить его успешно, я отменил бы приговор или приказал бы его отменить — таков был, хотя об этом не обмолвились ни словом, смысл королевского предложения или, говоря проще, сделки. Человека, для которого еще десять дней назад двадцать из пятидесяти королевских советников требовали позорного столба и каторги и который, будучи приговорен остальными тридцатью к шельмованию, оказался лишенным всех прав гражданского состояния, такой оборот дела должен был все же удивить. Но История не перестает нам доказывать, что от Тарпейской скалы к Капитолию всегда есть хотя бы один кратчайший путь.

На первый взгляд королевское поручение было отнюдь не соблазнительным. Людовику XV стало известно, что в Лондоне готовится новый памфлет довольно опасного пасквилянта, некоего Тевено де Моранда. Я говорю — новый, поскольку не проходило месяца, а то и двух недель, чтобы в Англии не выходила очередная книжонка, сатирическая, обидная — если не сказать оскорбительная — для французского короля и его приближенных. По ту сторону Ла-Манша это превратилось в некий промысел; несколько французов, эмигрировавших по собственной воле или высланных Людовиком XV, набили руку на этих памфлетах, где, как правило, было больше клеветы, чем политического протеста. Обычно о выходе пасквиля становилось известно заранее, так что лица, задетые в нем, имели возможность помешать его распространению, если располагали достаточными финансовыми средствами. Все это весьма напоминало шантаж, и жертвы, как водится, в конце концов уступали. Людовик XV не раз направлял в Англию полицейских, поручая им похитить самых злокозненных пасквилянтов. Но королевские агенты возвращались ни с чем. Или вовсе не возвращались. Надо сказать, что Англия официально была страной свободы, где каждый человек в принципе имел право писать все, что ему вздумается. На самом деле Англия и Франция после заключения Парижского договора вели, как мы сказали бы сегодня, холодную войну, и британское правительство не без удовольствия наблюдало за распространением подобных произведений. В небольшой группе французов, мешавших принцам и министрам спокойно спать в Версале и Париже, были не только подонки общества. Среди них попадались и убежденные оппозиционеры. Были также два-три двойных агента, про которых трудно было сказать, на кого они работают — на Англию или на Францию. Шевалье д'Эон, маркиз де Пельпор, г-жа де Годвиль и Тевено де Моранд задавали тон в этой опасной колонии. Как раз в связи с пасквилем Тевено де Моранда Людовик XV и призвал Бомарше. Автор сообщил Людовику XV содержание и название свое-

го произведения с целью, о которой нетрудно догадаться. На этот раз речь шла о «Мемуарах публичной женщины». В виду имелась Дюбарри. Тевено де Моранд уже вылил ушат помоев на королевскую фаворитку в своем «Газетчике под броней», памфлете, публикацию которого королю не удалось приостановить и который нанес ощутимый удар графине. В последние годы царствования Людовика XV г-жа Дюбарри была излюбленной мишенью лондонских памфлетистов, но целили, разумеется, в него самого. Несколько заглавий, я полагаю, дадут представление о том, сколь яростны были эти атаки: «Ночные и гулящие султанши города Парижа под фонарем», «Жизнь одной куртизанки на французском троне», «Как потаскуха становится любовницей короля». Однако, поскольку Тевено де Моранд был талантливее или злее прочих своих собратьев по перу, король стремился принудить к молчанию именно его. И вот эту-то весьма своеобразную миссию взял на себя Бомарше. Все его биографы вслед за Ломени считают ее делом далеко не славным. Спору нет. У Бомарше, однако, имелись извиняющие обстоятельства, с чем соглашается и сам Ломени, — Бомарше видел, что «все возможности его реабилитации пресечены волеизъявлением короля, который был всемогущ, мог по своему желанию открыть или закрыть ему путь к кассации приговора, мог вернуть ему его кредит, его состояние, его гражданские права, и вот теперь этот всевластный король просил Бомарше о личной услуге, обещая отблагодарить за нее». Я, со своей стороны, убежден, что миссия Бомарше была более высокого порядка, нежели представляется на первый взгляд. И скажу, почему.

Снабдив Бомарше своими рекомендательными письмами, король направил его к герцогу Эгийонскому. Еще одна странность! Эгийон занял пост Шуазеля, а Бомарше по-прежнему принадлежал к клану министра, уволенного в отставку. Парламент, которому Бомарше нанес смертельный удар, был детищем Эгийона и Мопу; наконец, Эгийон — и эта деталь особенно колоритна — покровительствовал советнику Гезману! Несмотря на все это, министр принял Бомарше весьма любезно и обсудил с ним суть поручения. Графу Лораге вменено было сопровождать в Лондон Бомарше или, точнее, г-на де Ронака. Бомарше и в самом деле решил путешествовать под чужим именем, мотивируя это тем, что его известность может помешать успеху предприятия, — явное кокетство и откровенная дерзость со стороны человека, которого лишили прав гражданского состояния и который в сорок два года снова оказался неизвестно чьим сыном. Впрочем, можно ли придумать псевдоним прозрачнее, чем эта анаграмма имени Карон?

Да, но почему же Людовик XV прибег именно к Бомарше? Если речь шла только о том, чтобы, как утверждают биографы, заплатить за памфлет и купить молчание де Моранда, с этим мог справиться любой королевский агент. Начиная с того же Лораге, человека далеко не глупого и знакомого с Морандом! Так почему же был выбран именно Бомарше, только что приговоренный к гражданской казни и слывший противником строя? Коль скоро Людовик XV и Эгийон проглотили такую жабу, игра, по-видимому, стоила свеч или — если

договаривать все до конца — за переговорами с Морандом скрывались совсем другие переговоры. Я убежден, что все три миссии, возложенные на Бомарше в 1774 и 1775 годах, были с двойным дном, как чемоданы, в которых перевозят контрабанду. Существовала видимость и существовала действительность, г-н де Ронак и Бомарше. Если г-ну де Ронаку и вправду было поручено вступить в сделку с Морандом, Бомарше вменялось вести переговоры с британским министром. Я беру эту гипотезу не с неба; у Бомарше было неоценимое преимущество перед всеми королевскими агентами: он был личным другом одного из членов английского кабинета. Помните, как, будучи в Мадриде, он очаровал посла Великобритании лорда Рошфора? Приятельские отношения, закрепленные на протяжении года, когда они вместе развлекались, музицировали, играли в карты, встречались в светских гостиных, видимо, имели политические последствия и выдержали испытание временем, возможно потому, что Бомарше и Рошфор все эти годы не прерывали переписки. Уильям-Генри де Нассау, граф де Рошфор, который, прежде чем получить пост в Мадриде, служил в Париже, очевидно, всегда играл некую роль, хотя и косвенную, но немалую, в трудных франко-британских отношениях. Этот дипломат, по-разному оцениваемый современниками, так что трудно сказать, был ли он дураком или, напротив, человеком весьма смышленым, питал слабость к Франции и явно пытался улучшить отношения между двумя странами. Я не могу, естественно, уточнить, делал ли он это из личных симпатий, в силу убеждений или просто потому, что ему было так приказано. Шуазель, недолюбливавший его, писал в 1768 году: «Граф де Рошфор столь неуважаем, нескромен и ограничен, что доверять ему совершенно невозможно, однако, поскольку он не так уж некомпетентен, он, вероятно, будет держаться на своем новом посту более достойно, нежели вел себя, будучи во Франции». Новый же пост являлся правительственным. — лорд Рошфор был назначен государственным министром. Эгийон, Сартин, а позднее Верженн, осведомляемые Бомарше, знали, что могут в известной мере рассчитывать на Рошфора. Как далеко заходило сотрудничество? Это мне неизвестно, но, если ограничиться фактами, отметим фразу из письма Бомарше к Сартину от 7 июля 1774 года:

«Когда я получил секретные предложения лорда касательно всего того, что [Людовик XV] мог бы на меня возложить...». Мы приведем и другие выдержки, еще более красноречивые. А пока последуем в Лондон за Ронаком, не упуская из виду Бомарше.

Г-н де Ронак вернулся в Англию в сопровождении графа де Лораге, который связал его с Тевено де Морандом. Королевский уполномоченный вел дело споро. Моранд назвал свою цену, а именно — 20 000 франков наличными и 4000 пожизненной ренты. Он вручил г-ну де Ронаку один экземпляр «Секретных записок публичной женщины» и в качестве премии, если можно так выразиться, оригинал нового памфлета, находящегося в печати и посвященного на сей раз герцогу д'Эгийону. Кроме того, Ронак получил от Моранда после выплаты тому денег обещание, что памфлетист обратит свое

оружие в другую сторону. Бомарше меж тем вступил в контакт с лордом Рошфором, проявившим полное понимание. Наш двойной агент Ронак-Бомарше, не мешкая, вернулся в Париж и Версаль, следуя тем же путем, что д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис с их лакеями.

Прежде всего Бомарше повидался с королем, который, как говорит Гюден, «удивленный быстротой его успеха, выразил ему свое удовольствие». Надо полагать, Людовика XV более всего интересовал результат первого свидания с английским министром. Король, у которого, похоже, были свои «частные интересы», попросил Бомарше не рассказывать герцогу д'Эгийону об их беседе. Поэтому первому министру Бомарше доложил только о Моранде. Герцог, в восторге от операции, сказал своему посетителю: «Вы либо сам дьявол, либо господин де Бомарше!» На самом деле герцог особенно счастлив был узнать, что приостановлена публикация памфлета, направленного непосредственно против него. Он попросил своего собеседника выяснить, кто именно в Париже или Версале информирует Моранда. Бомарше категорически отказался. Герцог разгневался и пригрозил уведомить короля. «Пожалуйста, — отвечал Бомарше, — я объясню ему, почему так поступаю. Его величество разрешит наш спор». Он тут же написал королю, что найдет способы обезопасить его от каких бы то ни было пасквилей в настоящем и будущем, но считает для себя недопустимым, руководствуясь только «ненадежными сведениями и коварными откровенностями такого бесчестного человека [как Моранд]», обвинять в чем бы то ни было французов, которые, возможно, не более причастны, нежели он сам, к подобным произведениям, почему он и отказывается «играть гнусную роль доносчика и становиться орудием преследования, могущего затронуть многих, факелом войны бастилий и казематов». Людовик XV признал неправоту герцога д'Эгийона, который, хочешь не хочешь, вынужден был подчиниться.

Бомарше вернулся в Лондон, чтобы довести дело до конца; на этот раз его сопровождал Гюден. Три тысячи экземпляров «Секретных записок публичной женщины» были сожжены в печи для обжига извести в присутствии Бомарше и Гюдена. После аутодафе Бомарше вручил Тевено де Моранду обещанные 20 000 франков и права на пожизненную ренту, затем, как было договорено, завербовал его на секретную службу. В докладе королю он тотчас подвел итог операции:

«Я оставил в Лондоне своим политическим шпионом автора одного из пасквилей — он будет предупреждать меня обо всех затеях такого рода, готовящихся в Лондоне. Это пронырливый браконьер, из которого мне удалось сделать отличного егеря. Под предлогом порученных ему мною литературных разысканий в хранящихся в Лондонской библиотеке древних хартиях, кои трактуют взаимные права обеих корон, можно будет, прикрывая истинные мотивы, выплачивать ему скромное жалованье за шпионаж и тайные донесения о вышеупомянутых пасквилях. Этот человек будет обязан собирать сведения о всех французах, прибывающих в Лондон, сообщать мне

имена и дела, их туда привлекшие; он связан со всеми лондонскими типографиями, что позволит ему тотчас обнаружить рукописи, с коими он будет меня знакомить.

Его тайные сообщения могут затрагивать также бесконечное множество иных политических дел, и благодаря выдержкам, секретно пересылаемым мною, король всегда будет в курсе событий».

В том же письме Бомарше сообщает о результатах своей истинной миссии. Мне не хотелось бы оказывать давление на взгляды читателей, но я полагаю, что по следующему пассажу ясно, какую пользу Франции приносил этот дипломатический курьер. Мы увидим, что лорд Рошфор постоянно «сотрудничал» с Бомарше, и впоследствии, когда было затеяно грандиозное американское предприятие, эта «дружба» оказалась для Бомарше весьма драгоценной. Итак:

«Более того, я договорился с лордом Рошфором, государственным министром, что по первому моему предупреждению о каком бы то ни было пасквиле он обеспечит мне в полном секрете с единственной целью быть приятным королю все средства, чтобы удушить эти писания в зародыше; при сем он выдвинул единственное условие — все сказанное и сделанное им в связи с этим не должно рассматриваться как сделанное министром и не должно стать известным никому, кроме меня и его величества. Лорду Рошфору достаточно уверенности, что я добиваюсь его сотрудничества исключительно ради служения королю, моему господину, чтобы он с превеликой охотой оказывал мне в сем деле тайную помощь».

В другом послании Бомарше уточнял: «В этом деле есть и другие стороны, касающиеся короля, и не менее интересные для вашего величества, но их нельзя доверить бумаге. Я должен сообщить об этом вашему величеству с глазу на глаз». О чем идет речь? Мы никогда не выясним этого со всей определенностью. Высадившись в Булони, Бомарше и Гюден узнали, что король «внезапно заболел оспой». Они прибыли в Париж накануне его смерти, 9 мая.

Бомарше предстояло все начать сызнова:

«Я восхищаюсь прихотливостью судьбы, меня преследующей, — пишет он, — ведь останься король жив и здоров еще неделю, мне были бы возвращены гражданские права, похищенные у меня произволом. Король дал мне слово, и подозрения, несправедливо внушенные ему, уже сменились доверием ко мне и даже благосклонностью».

Франция, как это ей свойственно, тотчас забыла Людовика XV и отдалась его двадцатилетнему преемнику. Наступили краткие часы безудержного ликования. Людовик XVI был добродетелен — и в моду на время вошла добродетель. Старая песенка. Но вскоре напомнили о себе прежние весьма серьезные проблемы. Я не могу, разумеется, в нескольких строках объяснить, как пытались их разрешить сначала Людовик XV, а следом за ним и Людовик XVI, но все же необходимо упомянуть о них хотя бы в самых общих чертах. Монархия больна, она страдает от дряхлости, склероза, отсталости. Государство едино

лишь внешне; в разных его областях — различные установления, обычаи, нравы. «Несплоченная смесь разъединенных народов», если воспользоваться выражением Мирабо, Франция жаждет единства, но никто не хочет отказаться во имя него от своих привилегий.

Прошлое держит настоящее мертвой хваткой, душит его. Как править в таких условиях самой мощной державой, подстерегаемой из-за границы завистливым взглядом? Зажав страну в кулаке, как пытался Людовик XV, или ослабив удила на манер Людовика XVI? Оба короля, однако, не поспевали за событиями и не были достаточно последовательны. Они двигались скачками, чаще всего либо в разрез с происходящим, либо запаздывая. Мне представляются показательными отношения обоих государей с парламентом. У Людовика XV были, разумеется, все основания разогнать крючкотворов, которые, защищая свои прерогативы и незаконные поборы, противодействовали его власти и обновлению системы, однако ошибка короля заключалась в том, что заменил он это крапивное семя людьми совершенно безответственными, покорно исполнявшими все его прихоти; точно так же и у Людовика XVI были причины распустить парламент Мопу, но его ошибка состояла в том, что он вернул на судебные должности людей, торговавших своими услугами. Монархия, парализованная внутри страны аппаратом, который уже не отвечал потребностям времени, и в своей внешней политике уподобилась дохлой собаке, относимой течением. Эта метафора Тардье, увы, слишком часто приложима, как мы видим, к французской дипломатии, а стоит Франции сдать свои позиции — она развязывает руки Англии. И хотя обоим королям повезло — оба они встретили на своем пути министров, способных вернуть утраченные позиции и вдохнуть в монархию новые силы, — Людовик XV рассорился с Шуазелем, а Людовик XVI потерял Верженна за два года до 1789-го. Характерно, что великие королевские замыслы — обновление государственной структуры, объединение нации и отмену привилегий — осуществила Революция.

Людовик XVI, некоторое время подумывавший о том, чтобы вернуть Шуазеля, в итоге назначил своим первым министром Мопу. Тюрго заменил на посту министра финансов аббата Терре, а Верженн вскоре унаследовал от д'Эгийона должность главы французской дипломатии. Что до Мопу, то под народным давлением он вскоре уступил канцлерство Миромenилю. Таковы были главные перемещения. Не столь важным для истории, но интересным для нас — так как это способствовало выполнению мелких и крупных замыслов Бомарше — был переход Сартина из полиции в морское министерство.

Я сказал уже, что Бомарше приходилось все начать сызнова. Ну что ж — он начал:

«Сир,

Когда в марте сего года все полагали, что я бежал от несправедливости и преследований, один только покойный король, Ваш дед, знал, где я: он оказал мне честь и дал. особое поручение весьма деликатного свойства в Англию, в связи с чем на протяжении менее

чем шесть недель я четырежды совершал путешествие из Лондона в Версаль.

Я спешил представить наконец королю доказательства успешного завершения моих переговоров, несмотря на всевозможные препятствия, с коими мне пришлось столкнуться. По прибытии в Версаль я с болью узнал, что король при смерти; и хотя до болезни он более десяти раз спрашивал о причинах моей задержки, мне не дано было даже утешения успокоить его известием об успешном выполнении всех его тайных повелений.

Сие деликатное дело затрагивает своими последствиями Ваше Величество, точно так же, как оно затрагивало при его жизни покойного короля. Отчет, коий я должен был сделать ему, я могу отдать только Вашему Величеству; есть вещи, которых нельзя доверить никому другому. Я умоляю, чтобы Ваше Величество соблаговолили отдать приказания на этот предмет самому несчастному, но и самому послушному из его подданных».

Людовик XVI с места в карьер приобрел ревностнейшего из подданных. Позволим себе одно замечание и на этот счет. Не странное ли создалось положение? После смерти Бомарше нам только и твердят, что он был аферистом, который разыгрывал из себя государственного человека, — Фигаро здесь, Фигаро там, — однако при жизни его принимали короли как во Франции, так и за границей, он вел переговоры с большинством министров, стоявших у власти, и сохранял весь свой политический кредит, несмотря на приключения, казавшиеся порой довольно сомнительными, несмотря на то, что неоднократно попадал в тюрьму. Уж не играл ли он роли еще более значительной, чем считаю я, вопреки легенде, дурной славе и мнению большинства биографов? А если — я ставлю вопрос, — если и вправду все началось еще в Испании? К сожалению, насчет этого из-за отсутствия документов мы можем только строить догадки, но начиная с 1774 года положение меняется.

Кстати, об Испании — как раз в июне того года Бомарше мог получить удовольствие, лицезрея себя на сцене в драме Марсолье «Норак и Жаволси» (пьесу Гёте «Клавихо» ему довелось увидеть позже, когда он был проездом в Аугсбурге).

Если вы помните, месяцем раньше Бомарше писал Людовику XV: «[Эти дела] не могут быть доверены бумаге». Теперь он пишет Людовику XVI: «Есть вещи, которых нельзя доверить никому другому, [кроме Вашего Величества]». О чем же идет речь? Безусловно, о Рошфоре. Однако в письме к Людовику XV он, очевидно, намекал на новый памфлет, когда писал: «В этом деле есть и другие стороны, касающиеся короля и т. д.». Теперь мы как раз подошли к этому. Получив аудиенцию у Людовика XVI, Бомарше сообщил ему, что в Лондоне и Амстердаме печатается чрезвычайно ядовитый пасквиль под названием «Предуведомление испанской ветви о том, что она имеет право на французскую корону в связи с отсутствием наследника». Рошфор не мог вмешаться в это дело, поскольку автор памфлета не был ни британским подданным, ни французским эмигрантом. Нужно ли уточнять, что пасквиль был направлен против Марии-Антуанетты,

которая обвинялась в бесплодии? Само собой разумеется, что «Предуведомление» нисколько не интересовало испанский королевский дом, отлично знавший свои теоретические права на французский престол; что касается «отсутствия наследника», то говорить об этом, учитывая возраст французских государей, было по меньшей мере преждевременно; к тому же то, что графы Ангулемский и Прованский, не говоря уже о герцоге Орлеанском, все еще не имели потомства, пока не возбуждало никакого беспокойства в Версале (герцог Ангулемский родился в следующем, 1775 году, а дофин в 1777-м). Тем не менее появление «Предуведомления» было весьма нежелательным, поскольку играло на руку врагам королевы, а также сулило новые пасквили, еще более опасные. Короче, Людовик XVI поручил Бомарше задушить зло в зародыше и — как знать? — возможно, доверил ему еще и другую миссию. Надо думать, Бомарше напомнил королю, в каком он находится положении или, точнее, что он лишен всякого гражданского положения, и, вероятно, король обещал об этом подумать до 26 августа — даты, когда истекал срок возможной отмены гражданской казни.

Поразительное и, к моему величайшему удивлению, никем не отмеченное совпадение — именно 26 августа 1774 года, в годовщину Варфоломеевской ночи, предстояло получить отставку Мопу, противнику Бомарше.

В первых числах июля, после мучительного переезда через Ла-Манш, Бомарше добрался до Лондона. Он не родился моряком и при малейшей качке страдал от морской болезни, но на этот раз шторм был таким сильным и рвоты такими нестерпимыми, что у него «что-то оборвалось в груди» и открылось кровотечение. На третий день после прибытия, по его собственному признанию, у него все еще мутилось в голове, настолько измучило его плавание. Рошфор принял его прохладней обычного, несколько удивленный, очевидно, состоянием посетителя. Но у английского министра были и другие основания проявить сдержанность. Эгийон — ему уже оставались считанные дни — наводнил Лондон своими агентами, чтобы заполучить сведения, которых не добился от Бомарше. Присутствие этих субъектов, их неуклюжесть, двусмысленность возложенной на них миссии не могли не вызвать раздражения английских служб. К тому же Рошфор, чья осторожность вполне понятна, не считал возможным в этих условиях полностью пойти навстречу Бомарше, не зная, пользуется ли он после смерти Людовика XV по-прежнему поддержкой короля. Кто действует в интересах Франции — Бомарше или люди д'Эгийона? Такая постановка вопроса низводила Бомарше на уровень мелкого шпиона, и, задев его честь, английский министр заставил посетителя «покраснеть, как человека, почувствовавшего себя опозоренным подозрением, что он выполняет гнусное задание». Отсюда и возникла необходимость в специальном приказе Людовика XVI, который пресек бы всякие недоразумения и положил конец сомнениям Рошфора. 5 июля Бомарше послал из Лондона Сартину образец этого королевского мандата:

«Господин Бомарше, имея мои секретные указания, должен отбыть возможно скорее к цели своего назначения. Соблюдение тайны и скорое выполнение порученного явятся самым любезным подтверждением его рвения к моей службе, кое может он мне дать.

Людовик.

Дано в Марли сего...»

Обратной почтой Людовик XVI прислал требуемый документ, подписанный его рукой. Перебеляя черновик, переданный ему Сартином, он поостерегся изменить в нем хотя бы одно слово, осмелившись добавить лишь одну запятую, и, само собой, проставив дату: 10 июля.

Г-н Бомарше в восторге уведомил о получении письмом, составленным отнюдь не в протокольных формах, и могу себе представить, с каким изумлением юный Людовик XVI прочел:

«Любовник носит на груди портрет своей возлюбленной, скупец — ключи, ханжа — медальон с мощами; я заказал овальный золотой ларчик, большой и плоский, в форме чечевицы, вложил в него приказ вашего величества и повесил себе на шею на золотой цепочке, как предмет самый необходимый для моей работы и самый для меня драгоценный».

Бомарше очень редко проявлял подобострастие, но даже и тут сохранил оригинальность. Я, впрочем, полагаю, что он и в самом деле искренне любил Людовика XVI. Когда тот сделал себе прививку от оспы, как раз там же, в Марли, Бомарше не скрыл своего восхищения:

«Кажется невероятным, что молодой король и вдобавок француз, а это предполагает глубокое предубеждение против подобной спасительной практики, так отважно и быстро на это решился». Вакцина, первая из всех вакцин, была только что открыта в Англии, и прививки еще не вошли в обиход; ее в ту пору собирали из язвочек, образующихся иногда на коровьем вымени. Пюргонам и Диафорусам от этого стало бы дурно. Но я балагурю, а нам меж тем следует поскорее вернуться к вопросу о Любви Бомарше к молодому государю, которая отнюдь не была мимолетным увлечением, поскольку — в связи с совсем другим делом — пять месяцев спустя он напишет с той же экзальтацией и воспользуется тем же восклицанием: «Невероятно, что двадцатилетний король...»

Не менее невероятной была и погоня Бомарше за Анжелуччи, автором «Предуведомления». В жизни Бомарше, богатой приключениями, это, бесспорно, эпизод самый загадочный. И для многих историков — самый сомнительный. Некоторые даже утверждают, будто он сам все придумал и подстроил, чтобы получить от Людовика XVI то, чего не успел ему пожаловать Людовик XV. Большинство биографов считает, что плод фантазии Бомарше только самые умопомрачительные эпизоды этой авантюры. Я обязан сразу уточнить, у нас есть серьезные свидетельства не в его пользу. Мы отнюдь не собираемся о них умалчивать, напротив, — пятясь назад, до истины не доберешься.

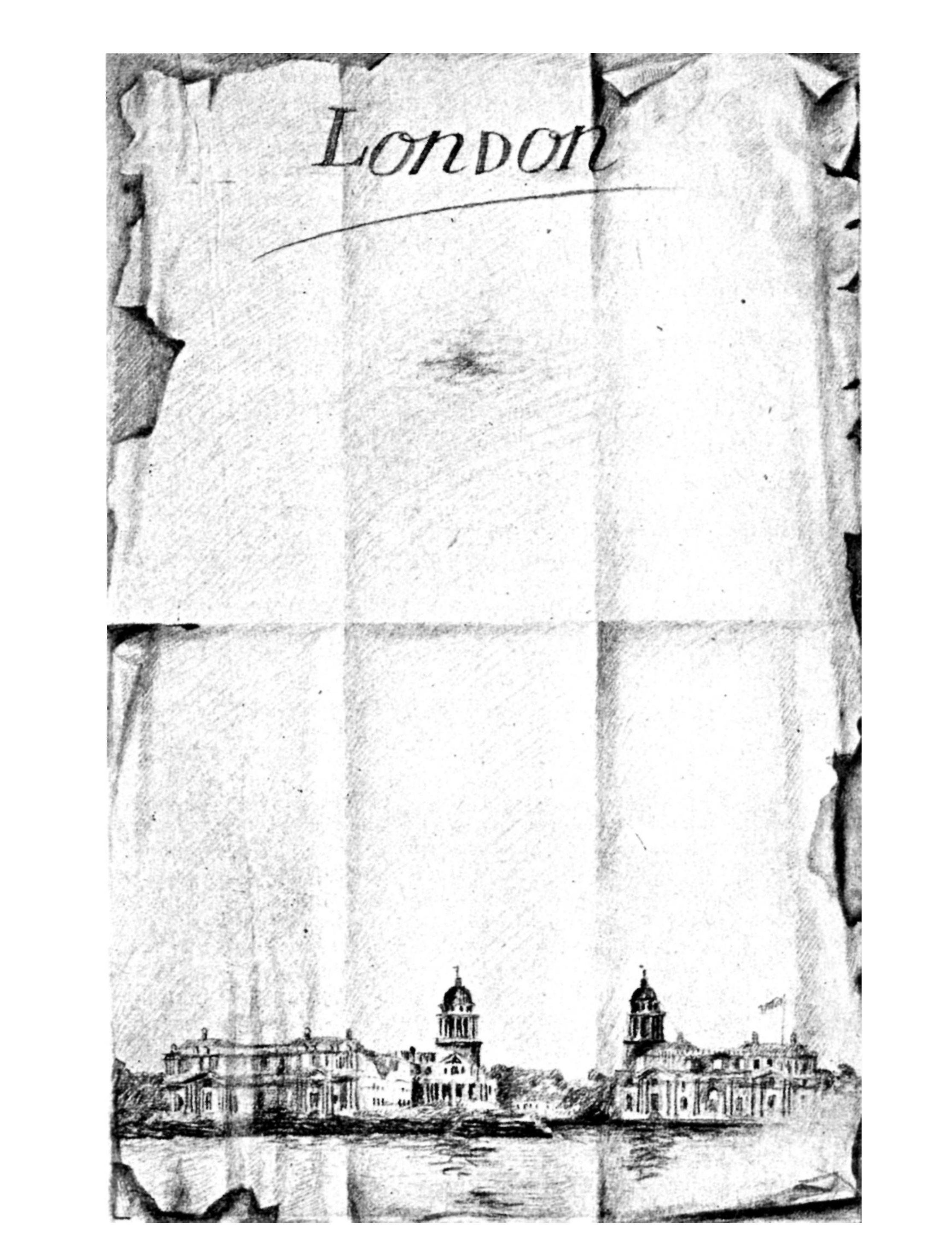
Автором, или издателем, или владельцем «Предуведомления» был некто Аткинсон, именовавший себя также Анжелуччи. Бомарше узнал о памфлете во время своей предыдущей поездки в Лондон, видимо, от Тевено де Моранда, для которого это донесение было первым подвигом на егерском поприще. Вернувшись в Англию, Бомарше, или, точнее, г-н Ронак, — паспорт у него был на это имя — прежде всего счел необходимым ознакомиться с «Предуведомлением», что и сделал, как он описывал Сартину, в обстоятельствах довольно необычных:

«Я видел рукопись, прочел ее, смог даже выписать из нее несколько параграфов. Я посулил 50 гиней за то, что она будет добыта и предоставлена в мое распоряжение всего на несколько часов. Мне казалось необходимым начать именно с этого, поскольку пасквиль мог оказаться заурядной злобной стряпней, не стоящей моих хлопот; в таком случае не о чем было бы и говорить. Вчера вечером мне тайно вручили ее в парке Воксхолл на условии, что я верну ее до пяти утра. Я пришел домой, прочел, сделал извлечения; около четырех часов, открыв окно моей приемной, выходящее на улицу, я выбросил пакет, свернутый в трубку, человеку, который доверил мне рукопись и которого я опознал по условному сигналу, после чего бедняга дал дёру. Таким образом теперь мне известно, о чем идет речь. Прошу Вас, прочтите возможно внимательнее то, что я пишу, и взвесьте все мои доводы, ибо это равно важно для нас обоих, для Вас даже больше, — ничтожнейшее упущение может стоить Вам немилости королевы, может превратить ее в Вашего злейшего врага, что пресечет карьеру, которая становится весьма соблазнительной.

Первое правило в политике — доводить начатое до победного конца. Потерпевшему поражение не засчитываются никакие усилия, никакие старания. В отчаянии от невозможности отомстить врагам, которые не даются в руки, оскорбленный государь почти неизменно вымещает свой гнев на том, кто, будучи причастен к попытке пресечь зло, не смог добиться нужного результата, и в особенности часто так случается, если государь — женщина».

По всей вероятности, Мария-Антуанетта ничего не знала о пасквиле, и король, ее супруг, очевидно, рекомендовал своему уполномоченному хранить все в глубочайшей тайне. Сартин и Бомарше оказались втянутыми в весьма деликатное дело, которое в случае неудачи могло обернуться против них, — победить нужно было во что бы то ни стало. Как писал Сартину Бомарше: «Если это произведение будет распространено, королева, справедливо раздосадованная, вскоре узнает, что представлялась возможность его уничтожить и что в это дело были замешаны как Вы, так и я; ее гнев может перейти все границы и оказаться тем более опасным, чем менее позволит она себе признаться вслух в его причине... Знаете ли Вы хоть одну оскорбленную женщину, которая прощает?... И поскольку ей не на ком будет выместить свою обиду, она обратит ее на Вас и на меня и т. д.». Бомарше рассуждал логично; королева отличалась вспыльчивостью, король находился под ее влиянием, так что, обернись это предприятие плохо, оно действительно могло бы привести к весьма неприят-

Поездка в Лондон
Плохая погода
Морская болезнь


London

ным последствиям как для карьеры министра, так и для безопасности человека, лишенного прав гражданского состояния. Я так упираю на эту сторону дела, достаточно каверзного, как станет видно из дальнейшего, именно потому, что, на мой взгляд, важно показать — Бомарше не было никакого интереса за него браться. Разве расположение короля, переформирование кабинета и возвышение Сартина и без того не сулили ему реабилитации? Зачем же было затевать эту сложную и, главное, опасную интригу, выдумывая несуществующие обстоятельства? От глупости? Из мазохизма? Какая чушь!

Убедившись в опасности «Предуведомления», г-н де Ронак принял решение скупить оба тиража памфлета, английский и голландский. Первая встреча с Аткинсоном состоялась на Оксфордской дороге. Тот явился в сопровождении двух подмастерьев типографа. В экипаже, доставившем это трио, лежало четыре тысячи экземпляров английского издания. Как и было условлено, Аткинсон вручил г-ну де Ронаку также рукопись памфлета, однако, разглядев ее при свете фонаря, тот убедился, что у него в руках всего лишь копия. И рассердился. Аткинсон, которому нужны были деньги, отправился в Лондон за оригиналом. Три часа спустя он привез подлинник и получил от г-на де Ронака плату за свою пакость. Прежде чем расстаться, они сговорились о свидании в Амстердаме — там Ронак должен был получить голландское издание. Предав пламени четыре тысячи книжонок, дипломатический курьер прибыл в Амстердам, где его уже ожидал Аткинсон, или, точнее, Анжелуччи, ибо на континенте он фигурировал под этим именем. Новая ночная встреча, новая передача тиража, новый платеж, новое аутодафе. И новая подлость: утаив один экземпляр, Анжелуччи едет в Нюрнберг! Как видите, — все, словно в плохом романе, автором которого не может быть Бомарше. Попробуем рассуждать: 26 или 27 июля он был в Кале, тому есть доказательства; стало быть, в погоню за Анжелуччи он пустился только 8 или 10 августа, иными словами — всего за две недели до того как истекал срок его права на отмену приговора. И тем не менее большинство историков утверждает, что Бомарше ввязался в эту безумную немецкую авантюру, все невероятные эпизоды которой он якобы сочинял по мере развития событий, с единственной целью — добиться реабилитации! Эта гипотеза рушится, стоит к ней чуть приглядеться. 1 августа Бомарше прекрасно мог вернуться в Париж и отчитаться перед Людовиком XVI в удачном выполнении его поручения. Оба издания были сожжены, Ронак располагал распиской Анжелуччи. На выпуск третьего издания ушло бы не меньше месяца, за это время Бомарше успел бы получить реабилитацию. Тут не может быть двух мнений. Если он отправился в Германию, значит, иного выхода не было. Почему? Это уже другой вопрос. Одно из двух — или все приключения в Германии реальны, или они вымышлены Бомарше, однако мне представляется очевидным, что действовал он так или иначе не в своих личных интересах, а в интересах государства. Служа королю, он либо оказался втянутым в опасную шпионскую историю, едва не стоившую ему жизни, либо, предприняв поездку ради того, чтобы добиться свидания с австрийской императрицей,

оказался вынужден сочинить с начала до конца умопомрачительную историю, которую нам предстоит сейчас рассказать. Других предположений — если не считать Бомарше дураком — быть не может. Все биографы, за исключением Лентилака, осыпают Бомарше саркастическими упреками, хотя, естественно, видят смягчающие обстоятельства в том, что тот потешался или чудил. Даже такой замечательный ученый, как Ломени, который обожал Бомарше и без которого биография нашего героя была бы далеко не такой полной, как сейчас, ощущает известную неловкость и спешит пересказать все эти приключения побыстрее, чтобы больше к ним не возвращаться. Ах, как трудно писать историю, когда располагаешь только крохами! Со стола убрано, не осталось ничего, если не считать какого-то неясного запаха, пятен на скатерти и крошек. Каким было меню? Кто был приглашен? Сколько было гостей? К какому сословию они принадлежали? О чем вели беседу? Только зная все это, можно строить подлинную историю.

26 июля в письме к Сартину из Кале Бомарше сообщал, что вернется в Париж не позже 10 августа, но 10-го он движется по дороге на восток. Сартин, который, если принять гипотезу мистификации, должен быть сообщником Бомарше, вероятно, был ошеломлен, получив следующую записку:

«Я держусь как лев. У меня больше нет денег, но есть бриллианты, драгоценности: я все продам и с яростью в сердце снова пущусь на перекладных... Немецкого я не знаю, дороги, по которым придется ехать, мне незнакомы, но я раздобыл хорошую карту и уже понимаю, что путь мой лежит через Неймеген и Клеве на Дюссельдорф, Кёльн, Франкфурт, Майнц и, наконец, Нюрнберг. Я не стану останавливаться ни днем ни ночью, если только не свалюсь в пути от усталости. Горе омерзительному субъекту, который вынуждает меня сделать триста или четыреста лье лишних, когда я рассчитывал наконец отдохнуть! Если я поймаю его по дороге, я отберу у него все бумаги и убью в отместку за причиненные мне огорчения и неприятности».

Итак, 27 или 28 июля г-н де Ронак едет в Амстердам, после чего пускается в погоню за тем, кого Гюден именует самым отъявленным мошенником. Из Амстердама он выехал в почтовой карете с кучером немцем, по имени Драц, и лакеем англичанином, нанятым им в Лондоне. В Кёльне он заболел, у него началась горячка, тем не менее он не прервал погони. Нагнал он Анжелуччи 13 или 14 августа неподалеку от Нюрнберга и сумел отнять у него экземпляр «Предуведомления», кажется, последний. После чего то ли Бомарше отпустил Анжелуччи, то ли тот снова удрал от него. Затем в Нейштадтском лесу на Бомарше напали разбойники. Обычно биографы связывают оба эти эпизода, что делает историю совсем уж невероятной. Эту путаницу породила, на мой взгляд, одна фраза в докладе Бомарше Сартину: «В тот момент, когда я уже радовался, что наконец отобрал последний экземпляр этого произведения, ускользнувший прежде от моей бдительности, я стал жертвой убийц в Нейштадтском лесу...». Я уверен, что слово «момент» здесь не следует понимать буквально.

Это просто стилистический оборот. По всей очевидности, встреча с разбойниками произошла на день или на несколько часов позже встречи с Анжелуччи. В том же докладе, чуть ниже, Бомарше пишет: «...давая в Нюрнбергском магистрате показания о месте и характере нападения, которому я подвергся неподалеку от Нейштадта, я позаботился сообщить также точные приметы моего Анжелуччи и т. д.». Таким образом, он не связывает оба эти приключения, но, давая в Нюрнберге свидетельские показания о грабителях, пользуется случаем, чтобы предупредить об Анжелуччи. Я так упорно настаиваю на этом пункте, хотя он может показаться читателю не заслуживающим внимания, потому что эта «путаница», у истоков которой стоит Гюден, породила сомнения в самых непредвзятых умах. Действительно, трудно всерьез поверить, что, выйдя из кареты по малой нужде, Бомарше вдруг тут же столкнется в лесу сначала с Анжелуччи, а затем с разбойниками! Но эту историю обычно рассказывают именно так и, говоря по правде, я сам едва не превратил Нейштадтский лес в некий зал ожидания.

После всего вышеизложенного я должен все же вывести на сцену разбойников.

На следующий день или через несколько часов после того, как г-н де Ронак овладел последним экземпляром «Предуведомления», он вылез из кареты в Нейштадтском лесу, точнее, неподалеку от местечка Лихтенхольц; но предоставим путешественнику самому рассказать о приключившемся...

«Итак, вчера, часа в три пополудни, неподалеку от Нейштадта, лье в пяти от Нюрнберга, едучи в карете с единственным почтарем и моим слугой англичанином через довольно светлый еловый лес, я вышел по нужде, а коляска продолжала двигаться шагом, как то обычно бывало в подобных случаях. Задержавшись ненадолго, я уже собирался догнать ее, когда путь мне преградил всадник. Соскочив с коня, он приблизился ко мне и сказал что-то по-немецки, чего я не понял; но поскольку в руке у него был длинный нож или кинжал, я рассудил, что он требует кошелек или жизнь. Я стал рыться в сумке, висевшей у меня на груди, и он решил, что я его понял и что он уже хозяин моего золота; он был один, вместо кошелька я выхватил пистолет и без лишних слов наставил на него, одновременно подняв трость, которую держал в другой руке, чтобы отпарировать удар, ежели он вздумает на меня напасть; потом, отступив к толстой ели, я быстро обогнул ее так, что дерево встало между нами. Тут, ничего уже не опасаясь, я проверил, есть ли в моем пистолете порох; такое решительное поведение действительно смутило его. Пятясь назад, я добрался до следующей ели, потом до третьей, всякий раз прячась за ствол, едва ко мне приближался разбойник, и держа в одной руке поднятую трость, в другой пистолет, направленный на него. Я проделывал этот маневр довольно уверенно и почти уже добрался до дороги, когда мужской голос заставил меня обернуться: здоровенный детина в голубом жилете, с перекинутым через руку фраком, приближался ко мне сзади. Возросшая угроза заставила меня сосредоточиться: я решил, что самое опасное подвергнуться нападению с

тыла, поэтому мне следует встать спиной к дереву и отделаться в первую очередь от мужчины с кинжалом, чтобы потом пойти на другого разбойника; все это было продумано и исполнено с быстротой молнии. Обернувшись к первому грабителю, я подбежал к нему на длину моей трости и выстрелил в него из пистолета, который самым жалким образом дал осечку; я погиб: разбойник, поняв свое преимущество, надвигался на меня; я отбивался от него тростью, отступая за свое дерево и нащупывая второй пистолет, который находился в сумке, висевшей у меня на левом боку; но в это время другой бандит, подойдя сзади, схватил меня за плечо и, несмотря на то, что я прижался к стволу ели, повалил на спину; тут первый ударил меня изо всех сил в грудь своим длинным ножом. Мне пришел конец; но, чтобы Вы могли составить себе точное представление о чудесном совпадении обстоятельств, коему я обязан, друг мой, удовольствием все еще иметь возможность Вам писать, Вам необходимо знать, что я ношу на груди на золотой цепочке овальный золотой ларчик, довольно большой и совсем плоский, в форме чечевицы; этот ларчик я заказал в Лондоне, дабы заключить в него бумагу столь драгоценную, что без нее я вообще не решился бы путешествовать. Проезжая через Франкфурт, я приказал приделать к ларчику шелковую подушечку, потому что в жару меня несколько раздражало внезапное прикосновение металла к коже.

И вот по случаю или, точнее, по счастью, которое никогда меня не покидает среди самых тяжких невзгод, кинжал, яростно устремленный мне в грудь, наткнулся как раз на этот довольно широкий ларчик в тот миг, когда я падал навзничь, оттягиваемый в сторону от дерева усилиями второго грабителя, сбившего меня с ног. В результате всего этого нож, вместо того чтобы пронзить мое сердце, скользнул по металлу, срезав подушечку и оставив глубокую вмятину на ларчике; затем, оцарапав мне грудь, вонзился в подбородок и, насквозь проткнув его, вышел справа. Потеряй я в этот чрезвычайно опасный момент присутствие духа, нет сомнений, друг мой, я потерял бы и жизнь. «Нет, я не мертв», — сказал я себе, с трудом поднявшись; и видя, что вооружен только тот разбойник, который нанес мне удар кинжалом, как тигр кинулся на него, рискуя всем; схватив его за запястье, я попытался отнять длинный нож, но он дернул его так сильно, что рассек мне до кости левую ладонь около большого пальца. Однако усилие, с каким он пытался вырвать у меня свою руку, и вместе с тем мой напор привели к тому, что он в свою очередь упал навзничь; я с силой ударил по его запястью каблуком сапога, и он выпустил из руки кинжал, который я подобрал, бросившись коленями ему на живот. Второй бандит, струсивший еще пуще первого, видя, что я готов убить его товарища, не только не кинулся ему на помощь, но, напротив, вскочил на лошадь, топтавшуюся в десяти шагах от нас, и только его и видели. Несчастный, коего я подмял, ослепленный кровью, текшей с моего лица, поняв, что товарищ его покинул, напрягся и перевернулся в тот миг, когда я хотел его ударить, затем, встав на колени и подняв сложенные руки, жалобно взмолился: «Сутарь! Мой *трук*!», засим последовало множество

каких-то немецких слов, из которых я понял, что он просит не отнимать у него жизнь. «Гнусный злодей!» — сказал я. Моим первым побуждением было убить его, но одновременно возникло противоположное — пощадить злодея, ибо перерезать глотку человеку, стоящему на коленях с молитвенно сложенными руками, — это уже убийство, трусливый поступок, бесчестящий благородного человека. Однако, хотя бы для того, чтобы он навсегда запомнил случившееся, я хотел по крайней мере нанести ему серьезную рану; он простерся ниц, вопя «Mein Gott! Боже мой!»

Попробуйте проследить за движениями моей души, столь же стремительными, сколь и противоречивыми, друг мой, и Вам, быть может, удастся представить себе, как, избежав самой большой опасности из всех, с коими я сталкивался в моей жизни, я в мгновение ока расхрабрился настолько, что вознамерился, связав этому человеку руки за спиной, отвести его спутанным таким образом к своей коляске; все это произошло в мгновение ока. Приняв решение, я его же ножом, зажатым в правой руке, с маху рассек на нем сзади толстый замшевый пояс; он лежал ничком, и сделать это не составляло никакого труда.

Но, поскольку мой удар был столь же яростен, сколь стремителен, я сильно ранил его ножом в поясницу, отчего он завопил во весь голос и, встав на колени, снова молитвенно сложил руки. Я не сомневаюсь, что, несмотря на острейшую боль, которую причиняли мне раны на лице и особенно на левой руке, смог бы доволочь его до коляски, так как он не оказывал мне ни малейшего сопротивления, когда я, вытащив свой носовой платок и отшвырнув на тридцать шагов нож, мешавший мне, поскольку левая рука у меня была занята пистолетом, собрался его связать; однако этому намерению не суждено было осуществиться: я увидел, что к нам приближаются второй бандит и еще несколько злодеев; приходилось снова думать о своем спасении. Признаюсь, тут я понял, какую ужасную оплошность допустил, отбросив нож; в эту минуту я убил бы своего грабителя без всяких угрызений совести, одним врагом стало бы меньше. Но, не желая разряжать второго пистолета, ибо только он давал мне возможность держать на почтительном расстоянии тех, кто надвигался на меня, поскольку трость могла служить, самое большее, орудием обороны, я в ярости, вновь овладевшей мною, с силой ударил по рту этого стоявшего на коленях человека дулом пистолета, разбив ему челюсть и сломав несколько передних зубов, так что кровь хлынула рекой; он решил, будто убит, и упал. Тут почтарь, обеспокоенный моим отсутствием, решил, что я заплутался, и отправился в лес на розыски. Он протрубил в рожок, который немецкие ямщики носят на перевязи; услышав этот звук и увидев почтаря, злодеи замялись, и это позволило мне отступить, держа в одной руке поднятую трость, а в другой — направленный на них пистолет, так что обобрать меня им не удалось. Когда они поняли, что я выбрался на дорогу, они разбежались; и мой лакей, и кучер видели мошенника в голубом жилете с перекинутым через руку фраком — он быстро перебежал дорогу мимо коляски, — это был тот самый разбойник, который сбил

меня с ног; возможно, упустив случай обшарить мои карманы, он рассчитывал обворовать экипаж. Добравшись до коляски и почувствовав себя в безопасности, я первым делом помочился. Я не раз убеждался на опыте, что это одно из самых надежных успокоительных средств после больших потрясений.

Пропитав мочой носовой платок, я промыл им раны.

Та, что была на верхней части груди, оказалась небольшой царапиной. Рана в подбородок очень глубокая — нет сомнения, кинжал затронул бы мозг, будь удар прямым, но нож коснулся меня, когда я падал навзничь, и поэтому скользнул по внутренней стороне челюстной кости. Рана на левой руке особенно болезненна из-за того, что эта часть ладони обычно подвижна — нож вошел в мякоть большого пальца до самой кости. Мой лакей в ужасе спросил меня, почему я не позвал на помощь; но не говоря уж о том, что моя коляска отъехала слишком далеко, чтобы мой зов мог быть услышан, я все равно поостерегся бы это делать, хорошо зная, как ослабляет человека трата сил на пустые вопли».

За несколько дней до этого происшествия те же разбойники в том же лесу напали на почтовую карету и, обобрав пассажиров, захватили 40 000 флоринов. Рассказ Бомарше, взятый нами из письма к некоему Р... — очевидно, де Рудилю, его парижскому поверенному, — несколько удивляет нас своей патетичностью, вызывая улыбку. Но не надо забывать, что, во-первых, Бомарше все еще не оправился от горячки, которой заболел в Кёльне; во-вторых, он действительно серьезно ранен; в-третьих, в XVIII веке разбой был, особенно в Центральной Европе, если можно так выразиться, расхожим промыслом. Все это не помешало превосходнейшему Лентилаку, самому благорасположенному из биографов Бомарше, не колеблясь, написать: «История с разбойниками — сказка, идею этого сценария подсказало Бомарше известие о нападении на почтовую карету, дошедшее до него, когда он был в пути». Введенный в заблуждение фразой, в которой упоминаются одновременно Анжелуччи и разбойники, Лентилак обвинил Бомарше во лжи. И следовательно, в том, что раны себе он нанес сам! Допустим. Позволительно все же спросить, а каким образом Бомарше узнал об ограблении почтовой кареты между Франкфуртом и Нейштадтом. По радио?

Прибыв в Нейштадт 13-го вечером, г-н де Ронак, раненный, в жару, отказался принести жалобу — он спешил поскорее пуститься в путь и добраться до Нюрнберга, чтобы получить там медицинскую помощь. Сменили кучера, и карета покатила во всю прыть. Кучер Драц сделал в окружном суде заявление, где свалил всю вину на своего клиента: «Не знаю, в здравом ли уме этот господин, может, он и раны нанес себе сам собственной бритвой». Эти показания Драца впоследствии легли в основу всех предположений, оскорбительных для памяти Бомарше. Однако, читая свидетельство почтаря, видишь, что более всего он опасался, как бы г-н де Ронак не распустил в Нюрнберге зловещих слухов о Нейштадтской дороге, сравнив ее, к примеру, с «душегубкой». Почтенный Карл Кюнстлер в своих «Повседневных жизнях» не раз упоминает о недобросовестности и мо-

шенничестве немецких почтмейстеров и почтарей. О том же свидетельствуют известные путешественники XVIII века. У августейшей Германии в ту пору, когда через нее проехал Бомарше, и в самом деле была дурная слава. Но допустим даже, Драц дал показания честно, — его суждение еще ничего не доказывает.

В Нюрнберге г-н де Ронак с лакеем остановились в «Красном петухе». Хозяин гостиницы Конрад Грюбер нашел, что постоялец несколько не в себе, поскольку тот, «поздно поднявшись с постели, принялся расхаживать взад-вперед по дому». Кого не причислишь к опасным безумцам, если достаточно подобных признаков? Зарегистрируем, однако, и показания Грюбера, как зарегистрировали ранее показания Драца.

Наконец и сам г-н Ронак дал свои первые показания высокопоставленному чиновнику Карлу фон Фецеру. Поразительная деталь: оказывается, разбойники, перекликаясь в разгаре схватки в лесу, именовали друг друга Анжелуччи и Аткинсон! Вот и третье звено в цепи обманов! Запутавшись в собственном вранье, Бомарше несет чушь! И историки давай наперебой то обвинять нашего героя, то тонко иронизировать над ним, как кому вздумается. Однако из доклада Бомарше Сартину нам известно, что в Нюрнбергской магистратуре тот сообщил допрашивавшему его чиновнику приметы разбойников, а *также* Анжелуччи-Аткинсона. Так что путаница легко объясняется прихотями перевода; не следует забывать и об усталости и взвинченном состоянии Бомарше. В протоколе допроса злоумышленники именуются Angelussi and Adginson. Слова обладают способностью выворачиваться наизнанку при переводе с одного языка на другой, а то и просто при переходе от одного уха к другому — в этом вся поэзия недоразумений. Тому лет двадцать, если не больше, парижское метро пестрело рекламными афишами «Курить воспрещается, даже «Житан»!». Как-то я имел счастье наблюдать прелестную сцену. Некий великан лет шестидесяти с явным наслаждением курил в вагоне. Разгневанный контролер подошел к нему и повелительно устремил палец на плакатик. Великан бросил взгляд, улыбнулся и отрицательно покачал головой: «Я «Житан» не курить!». Все это было произнесено с неповторимым австрийским акцентом. Служащий, конечно, решил, что старик над ним издевается, тем более что тот, сопровождая свои слова жестом, вытащил из кармана пачку сигарет и твердил: «Я «Житан» не курить!». Доброжелательные пассажиры пытались объяснить иностранцу смысл этого «даже». Напрасный труд: «Что «даже»? Я «Житан» не курить!». Вскоре после окончания войны мне самому с трудом удалось выбраться из Восточного Берлина, так как я полагал, что «Ost» [1] означает «Ouest» [2]. Все это я рассказываю, чтобы объяснить, почему не придаю особого значения протоколу допроса Бомарше, знавшего всего несколько немецких слов, Фецером, знавшим столько же французских. Мне кажется, все эти трудности, далеко не только лингвистического характера, внуши-

---

[1] Восток (*нем.*).
[2] Запад (*фр.*).

ли г-ну де Ронаку желание побыстрее покинуть Нюрнберг и добраться до цивилизованных мест, иными словами, до Вены, города, где чиновники высшего и среднего ранга считали своим долгом говорить по-французски. После встречи с бургомистром Нюрнберга, которому он объяснил, что должен, не мешкая, повидаться с императрицей, отчего его поведение показалось чиновникам еще более странным, г-н де Ронак, опасавшийся из-за ран дорожной тряски, зафрахтовал судно и отправился вниз по Дунаю. Во время этого четырехдневного речного плавания он написал Гюдену прелестное письмо, неоднократно цитировавшееся по частям, но я считаю необходимым дать его полностью, несмотря на всю пространность, поскольку оно позволяет нам ненадолго расстаться с г-м де Ронаком и снова встретиться с Бомарше, иными словами, с личностью далеко не заурядной, порой легкомысленной, зачастую суетной, но никогда не способной на низость. В этом послании Гюдену я выделил курсивом слова, которые представляются мне чрезвычайно важными. Здесь, по-моему, весь Бомарше. Но правильно понять эти строки можно только в контексте. Они, как и все остальное, сорвались с пера совершенно непреднамеренно. Выделяю их я, не Бомарше:

«С моего судна, 16 августа 1774.

Возьмите Вашу карту Германии, мой любезный, добрый друг; пройдитесь по Дунаю от Форе-Нуар к Эксину, что чуть ниже Ратисбона, и двигайтесь дальше — туда, где Инн у Пассау впадает в Дунай, затем проследуйте к Линцу, примерно к границе эрцгерцогства Австрийского: видите ли вы на реке, меж высоких гористых берегов, которые здесь суживаются, убыстряя течение, хрупкий баркас с шестью гребцами, где в креслах, перенесенных на палубу, покоится человек, чья голова и левая рука перевязаны окровавленными бинтами, — он пишет, несмотря на дождь, который хлещет точно во время потопа, и на удушье, стесняющее его грудь, весьма тягостное, но все же не такое мучительное, как до сегодняшнего утра, когда после отхаркивания нескольких сгустков крови ему стало значительно легче. Ecce homo [1]. Еще два-три раза так откашляться, еще немного усилий благодетельной природы, которая трудится изо всех сил, чтобы подавить внутреннего врага, и я воспряну духом. Рассказывая Вам все это, я исхожу из того, любезный друг, что Р..., коему я вчера написал и сегодня поутру отправил точное сообщение о приключившемся со мной несчастье, Вас обо всем осведомил; я предполагаю также, что Вы поняли: человек на баркасе — Ваш злосчастный друг, который пишет с трудом из-за непрестанных толчков при каждом ударе весла.

— Но чем заняться в норе — разве только видеть сны? — говорит наш друг Лафонтен, повествуя о своем зайце. Я же говорю: чем заняться на баркасе, разве только писать? Можно читать, ответите Вы. Но чтение отъединяет, а письмо утешает, размышления суровы, а беседа сладка, разумеется, беседа с другом. Поэтому я должен рассказать Вам о своих треволнениях последних двух дней.

[1] Се человек (*лат.*).

Я все продумал; я понял, что зло никогда не бывает так велико, как представляет его себе или рисует другим человек, по натуре склонный к преувеличению. Я сейчас пережил, как морально, так и физически, злоключения, едва ли не самые ужасные из всех, кои могут выпасть человеку. Для Вас, конечно, ужасно уже само зрелище Вашего друга, сбитого с ног разбойниками и пораженного смертоносным кинжалом, но на самом деле, поверьте мне, друг мой, в тот миг, когда все это происходит, зло не столь уж велико. Занятый обороной и даже тем, чтобы воздать врагу той же монетой за причиненное мне зло, я, клянусь Вам, менее всего страдал от физической боли; я почти не ощущал ее, гнев, обуревавший меня в эту минуту, очевидно, заслонял все. Страх — не более чем дурная и вводящая в обман сторона беды, он убивает душу и изнуряет тело. Здравый взгляд на происходящее, напротив, бодрит первую и укрепляет второе.

Какой-то негодяй посмел напасть на. меня, посмел нарушить покой моего путешествия; это наглец, которого должно наказать; за ним появляется второй — значит, мне необходимо перейти от обороны к нападению; душа занята делом, ей не до страха. И когда в этой яростной схватке один из них протыкает меня и я падаю, сама чрезмерность боли, друг мой, заглушает боль; все это вдобавок происходит во мгновение ока. Никто лучше меня не знает, что благородный человек, на которого напали, сильнее двух трусливых убийц, у которых при столкновении с храбростью сжимается сердце и трясутся поджилки; они ведь понимают, что удачи им не видать. Впрочем, нет большего счастья в несчастье, чем внезапность. Когда возникает опасность, не успеваешь испугаться: именно этим нередко объясняется сила взбунтовавшегося труса. И если вдобавок никак нельзя спастись бегством, малодушнейший из. людей может вдруг проявить отвагу. Я говорю сейчас не о героизме, я Вам рисую человеческую природу как таковую. Но мы вернемся к этому позже, ибо сейчас я в Линце, в порту. Сюда спустились два пастуха со своими свирелями — играют они отлично: надежда на несколько крейцеров, полфлорина держит их возле моей лодки, несмотря на ливень. Вы знаете мою любовь к музыке — я совершенно развеселился; мне вообще кажется, что моя душа живее отзывается на хорошее, чем на дурное, и я знаю почему: с дурным связано сверхчеловеческое напряжение, нервы судорожно натягиваются, теряя всякую гибкость и лишаясь той приятной расслабленности, коя делает их чувствительными к щекотке удовольствия: человек вооружается против зла — в раздражении его ощущаешь слабее, тогда как, упиваясь сладострастием, приписываешь получаемому наслаждению некую силу, заключенную не столько в нем самом, сколько в той сладкой истоме, которой предаешься с таким удовольствием.

Теперь, после того как я дал им полфлорина, слышите ли Вы два рожка, присоединившиеся к свирелям? Играют они в самом деле на диво; и я сейчас за тысячи лье от грабителей, кинжалов, лесов, парламентов, короче, от всех злодеев, куда более несчастных, чем я, которого они так неотвязно преследуют, ибо на них лежит бремя вины.

Новая напасть! Явились посетители — взглянуть, нет ли чего-либо, идущего вразрез с указами императрицы, не только в моем чемодане, но и в моем бумажнике. Самое забавное, что люди, просматривающие мои бумаги, не знают французского: судите сами, насколько успешен может быть такой розыск! Еще один флорин, вот чем все это кончается, и громкие соболезнования! Сомневаться не приходится — я путешествую по цивилизованной стране: ведь меня непрестанно жалеют и требуют от меня денег... Я снова в пути; дождь перестал. Горы сверху донизу в разных оттенках зелени — темные ели, более светлые вязы и мягкая прозелень лугов. С прекрасного канала, влекущего меня меж высокими склонами, где леса отодвинуты культурой к самым вершинам, вид открывается восхитительный, и, не задыхайся я (о чем я пытаюсь забыть), мое положение позволило бы мне наслаждаться им во всей его чистоте. Пусть наши живописцы и открыли нам, что природа всегда предлагает глазу три плана, построив на этом оптическом принципе свои полотна, я готов побиться с ними об заклад, что вижу четыре или пять тысяч планов, убегающих в бесконечность; а ведь у меня глаз далеко не так натренирован на все эти оттенки, как у них.

Господи, до чего же я страдаю! Вообразите тошнотворную щекотку, которая непрерывно раздражает мне грудь, вынуждая кашлять, чтобы отхаркнуть сгустки кровавой мокроты. Напряжение, вызываемое кашлем, разводит края раны на подбородке, она кровоточит и причиняет мне ужасную боль.

Сколько сатанинского зла в людях! Приравнять жизнь человека к горстке дукатов! А ведь только этого они от меня и хотели. Решись кто-нибудь в подобных обстоятельствах рассуждать о справедливой сделке, он мог бы сказать разбойникам: «Господа, занимаясь таким опасным ремеслом, вы, очевидно, рассчитываете на его прибыльность. Во сколько оцениваете вы риск быть повешенными или колесованными за ваши дела? Я, со своей стороны, должен оценить риск получения удара кинжалом при встрече с вами». Таким образом можно было бы установить расценки в зависимости от времени, места и действующих лиц.

Не вызывает ли у Вас, друг мой, восхищения та свобода, с которой я отдаюсь потоку моих мыслей? Я не даю себе труда ни отсеивать их, ни обрабатывать; это меня утомило бы, а я пишу Вам только для того, чтобы отвлечься от своих страданий, на самом деле куда более мучительных, чем способно вынести порой мое мужество. И все же я не так уж достоин жалости, как Вам может показаться; я жив — меж тем как должен был быть мертв: вот могучий противовес боли, как она ни мучительна. Будь я совершенно уверен, что тому, у кого смерть отнимает счастье чувствовать, остается хотя бы счастье мыслить, признаюсь, я предпочел бы лучше умереть, чем страдать, как сейчас, до такой степени я ненавижу боль. Но как представишь себе, что смерть может отнять все, нет, право же, невозможно принять ее добровольно. Лучше уж жить, страдая, чем избавиться от страданий, перестав существовать.

Когда накануне рокового судилища в Париже у меня тряслись руки в ожидании самых чудовищных кар, я видел вещи в ином свете. Я предпочитал тогда лучше утратить самое жизнь, чем смириться с тем, что мне угрожало, и мое спокойствие зиждилось только на уверенности, что в моей власти со всем покончить, пронзив ту самую грудь, которую я сегодня с такой радостью уберег ценой моего ларчика для бумаг, левой руки и подбородка. Подводя итог, я заключаю, что для отдельного человека нет зла, мучительней физической боли, но для человека, живущего в обществе, есть нечто еще более невыносимое — это нравственные страдания.

Помните, когда Вы приходили утешать меня в прекрасный замок, куда более прекрасный, чем замки вестфальских баронов, поскольку у него были тройные ворота и решетки на окнах, я говорил Вам: «Друг мой, ведь если б меня схватила за ногу подагра, я безропотно сидел бы в комнате, прикованный к креслу. Приказ министра по меньшей мере стоит подагры, и разве признание фатальной неизбежности — не первое утешение во всех невзгодах?» Сейчас я говорю себе: доведись мне страдать от мучительного флюса, когда опухоль требует вмешательства скальпеля, — мог бы ведь после продолжительных болей настать черед и для него — не исключено, что мне рассекли бы щеку и подбородок и я оказался бы в моем нынешнем положении, меж тем как теперь я хотя бы избежал долгих предшествующих мук: значит, существуют страдания горшие, чем оказаться недобитым. Конечно, левая рука у меня сильно болит; я страдаю, но спокоен; тогда как разбойник не убил меня и не взял ни флорина с моего трупа, а поясница, думаю, у него чертовски крепко задета, челюсть сломана, и вдобавок его разыскивают, чтобы колесовать. Значит, лучше уж быть жертвой вора, чем вором. И к тому же, друг мой, разве Вы ни во что не ставите (но это я шепчу Вам на ухо), разве Вы ни во что не ставите тайную радость от сознания хорошо выполненного долга, удовлетворения человека, понаторевшего в борьбе со злом и пожинающего плоды трудов всей своей жизни, убедясь на опыте, что он избрал недурной принцип, положив в основу своей жизненной позиции необходимость упражнять свои собственные силы, вместо того чтобы применяться к событиям, которые могут сложиться по-всякому, так что предвидеть их заранее невозможно? Действительно, если оставить в стороне брошенный нож, в чем усмотрели мою оплошность, я, как мне кажется, в этих чрезвычайных обстоятельствах применил на деле теорию силы и спокойствия, выкованную мною для себя на протяжении жизни, дабы устоять в злосчастиях, кои не в моей власти было предупредить. Если в этой мысли и есть известная гордость, клянусь Вам, друг мой, она чиста от всякого чванства и глупого тщеславия, я сейчас выше этого.

Допустим наихудшее. В самом крайнем случае я умру от удушья, может образоваться отек в желудке, отшибленном в драке. Но что я — ненасытен? *Может ли жизненный путь быть полнее, чем мой, как в дурном, так и в хорошем? Если время измеряется событиями, его наполняющими, я прожил двести лет. Нет, я не устал от жизни;*

но я могу предоставить другим наслаждаться ею, не испытывая отчаяния. Я страстно любил женщин; чувственность была для меня источником самых больших услад. Вынужденный жить среди мужчин, я вынес многочисленные беды. Но если бы меня спросили, чего было больше — хорошего или дурного, я без колебаний ответил бы, что первого; конечно, сейчас не самое лучшее время, чтобы задавать вопрос, что перевешивало, — и все же я отвечаю без всяких колебаний.

Я пристально присматривался к себе на всем протяжении драматического происшествия в Нейштадтском или Эрштадтском лесу. Когда появился первый разбойник, я почувствовал, что сердце мое сильно забилось. Как только я отгородился от него первой елью, мною овладела какая-то радость, даже ликование, при виде замешательства, изобразившегося на лице грабителя. Обогнув вторую ель и видя, что почти уже выбрался на дорогу, я ощутил в себе такую дерзость, что, будь у меня третья рука, я выхватил бы ею свой кошелек и показал ему как награду за его отвагу, буде он только окажется достаточно смел, чтобы подойти за нею. Видя, как подбегает второй бандит, я ощутил внезапный холод, собравший в кулак все мои силы, и, полагаю, в этот краткий миг успел передумать больше, нежели обычно случается людям за полчаса. Все, что я перечувствовал, предусмотрел, охватил, выполнил за четверть минуты, невообразимо. В самом деле, у людей превратное представление о своих природных способностях, а может, в решающие минуты пробуждаются способности сверхъестественные. Но в миг, когда я прицелился в первого грабителя и мой несчастный пистолет дал осечку, ах! сердце мое словно сжалось в крохотный комочек, оно уже предчувствовало удар, который получит: полагаю, это движение справедливо можно назвать ужасом, но то был единственный момент, когда я его ощутил; ибо после того как сбитый с ног, раненный, ускользнувший от бандита, я понял, что жив, сердце мое загорелось небывалым огнем, мощью, отвагой. Клянусь богом, я узрел себя победителем, и все, что я делал с этой минуты, было порождено яростным восторгом, настолько застилавшим от меня опасность, что ее как бы и вовсе не существовало. Я почти не почувствовал, что рассек себе руку: я озверел, я жаждал крови больше, чем мой противник денег. Я упивался тем, что сейчас убью негодяя. Только бегство его товарища и могло спасти ему жизнь: едва опасность уменьшилась, я тотчас пришел в себя; ощутил всю омерзительность поступка, который уже готов был совершить, как только увидел, что могу сделать это безнаказанно. Когда я сейчас думаю о том, что вторым моим побуждением было хотя бы нанести ему рану, я заключаю, что хладнокровие еще не вполне вернулось ко мне; ибо эта вторая мысль кажется мне в тысячу раз более жестокой, чем первая. Но, друг мой, в моих глазах навсегда останется славным наитие, побудившее меня с благородной отвагой отказаться от трусливого намерения убить беззащитного человека и принять решение сделать из него своего пленника; и если сейчас я несколько кичусь этим, в тот миг я гордился в тысячу раз больше. И нож я отбросил именно от этого внезапного ощущения счастья — сознавать себя настолько выше

личного злопамятства, ибо я бесконечно сожалел о том, что ранил этого человека в поясницу, разрезая его пояс, хотя и сделал это нечаянно, исключительно по неловкости. Отчасти, пожалуй, я и гордился той честью, которая будет воздана мне в Нюрнберге, когда я, тяжело раненный, передам правосудию связанного злоумышленника. Нет, это не самая благородная сторона моего поведения; нужно ценить по справедливости — в тот миг я большего не стоил. И я убежден — именно ярость от сознания, что от меня ускользает этот вздорный триумф, заставила меня грубо сломать челюсть бедняге, когда его товарищи прибежали, чтобы вырвать несчастного из моих рук; ибо этот поступок не укладывается в рамки здравого смысла: он продиктован детской досадой, игрой самого жалкого тщеславия. После этого я остыл и действовал уже почти бессознательно.

Вот, друг мой, полное признание, самое откровенное, какое я могу сделать. Я исповедуюсь Вам, дорогой мой Гюден: отпустите мне грехи.

Вы знаете, друг мой, скольких людей придется Вам утешать, если дело обернется дурно: прежде всего самого себя — Вы ведь потеряете человека, который Вас любит; затем — женщин; что до мужчин, то. если не считать моего отца, у них, как правило, хватает сил устоять при подобных потерях.

Но послушайте, друг мой, буде я выздоровею, прошу Вас, не сжигайте это письмо, верните его мне: подобное покаяние не оставляют в чужих руках; понимаете, если меня опять стошнит, как сегодня утром, и я выблюю свернувшуюся кровь, которая меня душит, потому что желудок не может ее переварить, то, избавившись от этой чудовищной пищи, я непременно, встану на ноги.

Прощайте; я устал писать и даже мыслить, попробую бездумно прозябать, коли мне это удастся; это полезней для ран, чем писать, даже если почти вовсе не следишь за своим пером. Знайте, однако, друг мой, что сейчас меня занимает только одно — как бы поскорее выздороветь. Все задачи моего путешествия исполнены к совершенному моему удовлетворению. Не отвечайте мне, так как я собираюсь, насколько это возможно, двигаться без остановок. Да будет мне дано еще раз радостно расцеловать Вас!

16-го вечером.

Мой добрый друг, пока не встретилась почта и не иссякла бумага, письмо не окончено. Я поспал, и мне приснилось, что меня убивают. Проснулся от жесточайшего приступа. Но до чего приятно отхаркнуть в Дунай огромные, длиннющие сгустки крови. Как утишился горячий пот, заливший мое ледяное лицо! Как свободно я дышу! Вынужденный отереть глаза, из которых потуги выжали слезы, как ясно я вижу все вокруг! Даже скалистые горы по обе стороны реки покрыты виноградниками. Все, что перед моими глазами, — чудо культуры. Склоны здесь столь отвесны, что пришлось высечь на них ступени и огородить каждую террасу невысокой стеной, дабы предотвратить осыпи. Так трудится человек, который будет пить вино; но если бы Вы видели, как цепляется за почти обнаженные утесы, старатель-

но высасывая из них каменистые и купоросные соки, виноград, которому ведь ничего пить не предстоит, Вы повторили бы вслед за мной: тут каждый делает все, что в его силах. В этом месте теснина так узка, что река словно закипает; это напоминает мне — только в миниатюре — наш с Вами переход из Булони в Дувр, когда мы оба тяжко болели. Но тогда я все же был не так болен, как сегодня, хотя и страдал больше: я, однако, полон надежды. Все эти рвоты очищают нутро, а смена острых болей чувством совершенного блаженства, право, не самое худшее, чего следует опасаться воскрешенному, тут еще разумно считать, что добро восполняет зло: впрочем, облегчение уже близко. Еще двадцать пять немецких лье, иначе говоря, тридцать французских, и я окажусь в хорошей постели в Вене, где проживу по-барски не меньше недели, прежде чем пуститься в обратный путь. Поскольку меня там ждут доктора, возможно, ждут и кровопускания — это ведь первый принцип их науки.

Чувствуется, что мы приближаемся к большой столице: обработанные земли, суда на реке, храмы, укрепления — все возвещает, что она недалека. Количество людей множится на глазах; они будут все больше тесниться и наконец скопятся в конечной точке моего путешествия: в конечной точке моего удаления, хочу я сказать; ибо мне предстоит проделать не меньше четырехсот лье, чтобы вернуться домой и обнять дорогих друзей, с коими, надеюсь, Вы поделитесь новостями, сообщенными мною. Я не могу писать всем одновременно и потому буду посылать письма то одному, то другому; хорошо бы собрать все их в Ваших руках, не рассказывать же заново каждому то, что уже рассказал другим. Пока моя голова разрывалась от забот, мне чертовски трудно было найти минуту для письма; но теперь, когда все кончено, я снова становлюсь самим собой и охотно болтаю.

До свиданья, любезный друг: опять тошнота подступает к сердцу, тем лучше, пусть меня вырвет. Если бы не эта гадкая тяжесть, я был бы просто раненым, тогда как теперь я болен. Больше никак не могу писать.

От 20-го, в полдень.

Вот я и в Вене. Очень страдаю, но не столько от удушья, сколько от острой боли: думаю, это добрый знак. Сейчас лягу; давненько мне не доводилось этого делать».

Если г-н де Ронак полагает, что с приключениями покончено, он глубоко ошибается. Впрочем, приключенческий роман и без элементов плутовского, как считают некоторые, — причем в роли пикаро, плута, выступает, разумеется, сам Бомарше — переходит в роман, именуемый, хочешь не хочешь, историческим. И если уж я употребил слово «роман», то венскому эпизоду нужно было бы посвятить в нем, по меньшей мере, страниц триста. Завязка — письмо, которое Бомарше передает императрице Марии-Терезии, испрашивая у нее аудиенцию. Императрица в сомнении: кто такой этот г-н де Ронак? lie секретарь, барон де Нени, видевший француза, ничего не понял в его приключениях, но нашел, что «вид у него достойный». Все более и более недоумевая, Мария-Терезия просит графа де Сейлерн,

бывшего посла, ныне министра Нижней Австрии и главу правящего совета, встретиться с таинственным иностранцем. Ронак показывает Сейлерну приказ Людовика XVI и вручает ему документ для передачи императрице. 22 августа вечером он принят в Шенбрунне. Бомарше сделал королю подробный отчет о своей «исторической беседе» с императрицей и обо всех неприятностях, за сим последовавших. Это его версия событий, датирована она 15 октября. К тому времени Людовик XVI располагал уже исчерпывающими сведениями и мог судить о происшедшем со знанием дела. Можно ли считать Бомарше настолько глупым, чтобы предположить, что в подобных обстоятельствах он лгал? Впрочем, как мы увидим, Людовик XVI счел, что г-н де Ронак выполнил свою задачу блестяще. Итак, вот версия Бомарше, которой, как правило, предпочитают версию австрийцев. На сцене императрица Мария-Терезия, теща французского короля, и г-н де Ронак, он же Бомарше:

«— Сударыня, — сказал я ей, — речь идет не столько об интересах государственных в точном смысле слова, сколько о попытках разрушить счастье королевы, смутив покой короля, предпринимаемых во Франции темными интриганами. — Тут я поведал ей во всех подробностях свою миссию. При каждом повороте событий императрица, всплескивая руками от удивления, повторяла: «Но, сударь, откуда у вас такое пылкое рвение в защите интересов моего зятя и в особенности моей дочери?»

— Сударыня, в конце прошлого царствования я был одним из самых несчастных людей во Франции. В это страшное время королева удостоила высказать некоторое участие ко мне, обвиненному во всяческих ужасах. Служа ей сегодня и нисколько даже не рассчитывая на то, что она когда-нибудь будет о сем осведомлена, я лишь возмещаю свой неоплатный долг; чем труднее мое предприятие, тем горячей жажду я его успеха. Королева однажды соблаговолила высказать вслух, что я защищаюсь слишком мужественно и умно для человека действительно виновного в тех преступлениях, кои мне вменяют; что же сказала бы она сегодня, сударыня, если б увидела, что в деле, затрагивающем равно ее и короля, мне не хватает того мужества, которое ее поразило, той ловкости, которую она назвала умом. Она заключила бы из этого, что мне недостает рвения. Ему, сказала бы она, хватило недели, чтобы уничтожить пасквиль, оскорблявший покойного короля и его любовницу, в то время как французские и английские министры на протяжении полутора лет тщетно пытались воспрепятствовать его изданию. А сейчас, когда на него возложено подобное же поручение, касающееся нас, тому же человеку не удается его выполнить; либо он изменник, либо дурак, и в обоих случаях он равно не заслуживает доверия, коим удостоен. Вот, сударыня, высшие мотивы, заставившие меня бросить вызов всем опасностям, пренебречь всеми страданиями и преодолеть все препятствия.

— Но, сударь, какая была вам необходимость менять имя?

— Сударыня, к сожалению, меня слишком хорошо знает под моим собственным именем вся просвещенная Европа, записки, кои

напечатал я в свою защиту при последнем деле, настолько воспламенили умы в мою пользу, что повсюду, где я появляюсь под именем Бомарше, я возбуждаю такой дружеский, или сочувственный, или хотя бы просто любопытствующий интерес к себе, что у меня нет отбоя от визитов, приглашений, меня окружают со всех сторон, и я лишаюсь свободы действовать втайне, необходимой при таком деликатном поручении. Вот почему я умолил короля дозволить мне путешествовать под именем де Ронака, на кое мне и выдан был паспорт.

Мне показалось, что императрица горит любопытством прочесть произведение, уничтожение которого стоило мне таких трудов. Она принялась за чтение тотчас после нашего разговора. Ее величество благоволила войти со мной в обсуждение самых интимных подробностей, связанных с этим делом; она благоволила также выслушать мои пространные объяснения. Я оставался с ней более трех с половиной часов и несколько раз умолял ее самым настоятельным образом, не теряя времени, послать кого-либо в Нюрнберг.

— Но осмелится ли этот человек там показаться, зная, что вы сами туда направлялись? — сказала мне императрица.

— Сударыня, чтобы побудить его отправиться именно туда, я обманул его, сказав, что немедленно поворачиваю обратно и возвращаюсь во Францию. Впрочем, может, он там, а может, и нет. В первом случае, препроводив его во Францию, ваше величество окажет существенную услугу королеве, во втором — его розыски, на худой конец, окажутся безрезультатными, как и операция, которую я умоляю ваше величество провести тайно, приказав обыскивать в течение некоторого времени все нюрнбергские печатни, чтобы удостовериться, нет ли там этой мерзости; в других местах я уже принял меры предосторожности, и за Англию и Голландию отвечаю.

Императрица простерла свою доброту до того, что поблагодарила меня за пылкое и разумное усердие, высказанное мною; она попросила меня оставить ей эту книжонку до завтрашнего дня, дав мне свое святое слово, что вернет ее через г-на де Сейлерна.

— Ступайте, лягте в постель, — сказала она мне с неизъяснимым благорасположением, — и пусть вам скорее пустят кровь. Не должно забывать ни здесь, ни во Франции, какое рвение вы выказали при сем случае, дабы услужить вашим государям.

Я вхожу, сир, в эти подробности для того лишь, чтобы дать лучше почувствовать, насколько ее обращение со мной отличалось от всего дальнейшего. Я возвращаюсь в Вену, все еще разгоряченный этой беседой; набрасываю на бумагу уйму соображений, представляющихся мне весьма существенными для предмета, который я трактую; адресую их императрице; г-н граф де Сейлерн берет на себя их передать. Однако мою книжицу мне не возвращают, и в тот же день, в девять вечера, в мою комнату входят восемь гренадеров с примкнутыми штыками, два офицера с обнаженными шпагами и секретарь правящего совета с запиской графа де Сейлерна, где тот

предлагает мне не сопротивляться аресту, оставляя за собой, как он говорит, устное объяснение причин подобной меры, кою я, без сомнения, одобрю.

— Не вздумайте сопротивляться, — сказал мне человек, предъявивший приказ.

— Сударь, — ответил я холодно, — я иногда оказываю сопротивление грабителям, но императорам — никогда.

Меня заставляют опечатать все бумаги. Я прошу разрешения написать императрице, мне в этом отказывают. У меня отбирают все мои вещи, нож, ножницы, даже парик и оставляют со мной всю эту охрану, здесь же, прямо в моей комнате, где она и пребывает тридцать один день или сорок четыре тысячи шестьсот сорок минут, ибо если для людей счастливых часы бегут быстро и один час незаметно сменяет другой, несчастные дробят время своих страданий на минуты и секунды и находят, что каждая из них в отдельности весьма длинна. Все это время, спал я или бодрствовал, один из гренадеров, вооруженный ружьем с примкнутым штыком, не отрывал от меня глаз,

Посудите сами, каково было мое изумление, моя ярость! Подумайте о моем здоровье в эти ужасные часы, все это было невыносимо. Лицо, меня арестовавшее, явилось на следующий день, дабы меня успокоить.

— Сударь, — сказал я этому человеку, — для меня не может быть никакого покоя, доколе я не напишу императрице. То, что со мной происходит, невероятно. Прикажите дать мне перья и бумагу или будьте готовы заковать меня в ближайшее время в цепи, потому что тут есть от чего сойти с ума.

Наконец мне разрешили написать; у г-на Сартина есть все мои письма, они были ему пересланы; пусть их перечитают, по ним видно, какое огорчение меня убивало. Ничто, касавшееся до меня лично, меня не трогало; я отчаивался только из-за той ужасной ошибки, которую совершали в Вене, задерживая меня под арестом в ущерб интересам Вашего Величества. Пусть меня бросят в мою карету связанным, — говорил я, — и отвезут во Францию. Я глух к голосу самолюбия, когда так настойчиво заявляет о себе долг. Либо я г-н де Бомарше, либо я злоумышленник, присвоивший его имя и поручение. Но в том и другом случае задерживать меня на целый месяц в Вене — политика неразумная. Если я мошенник, то отправка меня во Францию только ускорит мое наказание; но если я Бомарше, в чем невозможно усомниться после всего происшедшего, то, даже получивши плату за нанесение ущерба интересам короля, моего государя, невозможно было бы содеять ничего худшего, чем держать меня в Вене, меж тем как я так нужен в другом месте.

Никакого ответа. В течение целой недели я жду в смертельной тоске. Наконец присылают, чтобы допросить меня, советника правящего совета.

— Я протестую, сударь, — говорю я ему, — против насилия, которому меня здесь подвергают, попирая все человеческие права:


Отъезд из Вены

я прибыл, чтобы воззвать к материнскому участию, и оказался под бременем императорского самовластия!

Он предлагает мне изложить на бумаге все, что я захочу, обещая передать ее. Я доказываю в моем письме, что, вынуждая меня сидеть сложа руки в Вене, наносят ущерб интересам короля. Я пишу г-ну де Сартину; умоляю хотя бы спешно отправить к нему нарочного. Возобновляю свои настояния касательно Нюрнберга. Никакого ответа. Меня оставляют на целый месяц под замком, не удостаивая даже успокоить относительно чего бы то ни было. Тогда, собрав всю свою философию и уступая року столь злосчастной звезды, я наконец начинаю заниматься своим здоровьем. Мне пускают кровь, дают лекарства, очистительное. При аресте ко мне отнеслись как к лицу подозрительному, буйному, отняв у меня бритву, ножи, ножницы и т. д., как к дураку, отказав мне в перьях, чернилах — и вот среди всех этих обрушившихся на меня бед, тревог и несообразностей я ждал письма г-на де Сартина.

Вручая мне его на тридцать первый день моего заключения, мне сказали:

— Вы вольны, сударь, остаться или уехать, в соответствии с вашим желанием и состоянием вашего здоровья.

— Даже если бы мне предстояло умереть в пути, я не остался бы в Вене и четверти часа.

Мне предложили тысячу дукатов от лица императрицы. Я отверг их без всякой гордыни, но с твердостью.

— У вас нет других денег, чтобы уехать, — сказали мне, — все ваше имущество во Франции.

— В таком случае я выдам вексель на то, что вынужден взять в долг на дорогу.

— Сударь, императрица не ссужает в долг.

— А я не принимаю благодеяний ни от кого, кроме моего повелителя, он достаточно великий государь, чтобы отблагодарить меня, если я хорошо служил ему; но я не возьму ничего, в особенности денег, от иноземной державы, где ко мне отнеслись так гнусно.

— Сударь, императрица сочтет, что вы позволяете себе слишком большую вольность, осмеливаясь отказать ей.

— Сударь, единственная вольность, в которой нельзя отказать человеку, преисполненному почтения, но в то же время глубоко оскорбленному, — это свобода отвергнуть благодеяние. Впрочем, король, мой повелитель, решит, был ли я прав или нет, избрав такое поведение, однако до его решения я не могу и не хочу вести себя по-иному.

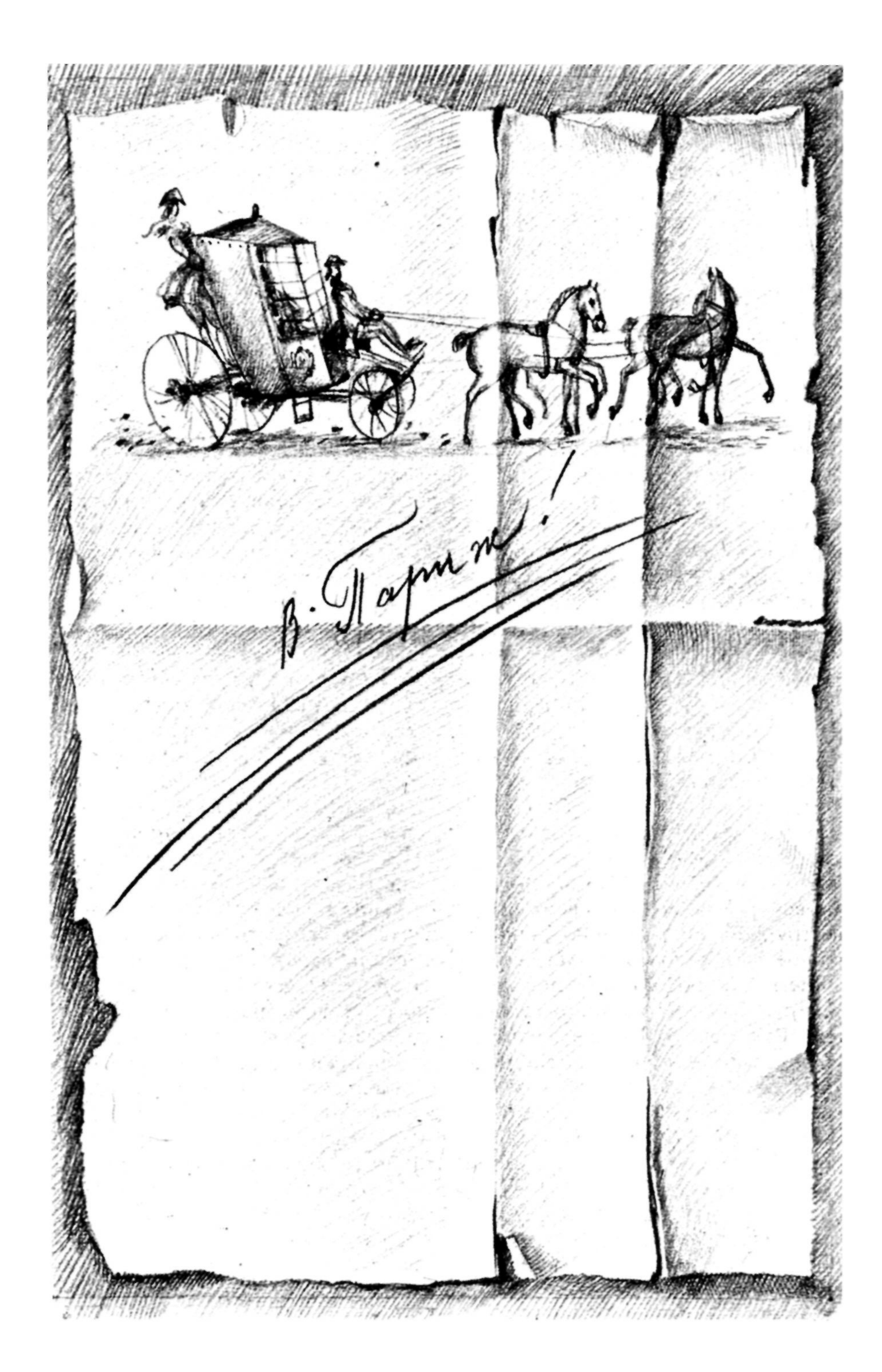
В тот же вечер я выезжаю из Вены и, не останавливаясь на отдых ни днем, ни ночью, прибываю в Париж на девятый день моего путешествия, надеясь тут найти объяснение приключению столь невероятному, как мой арест в Вене. Единственное, что сказал мне по этому поводу г-н де Сартин, — это что императрица якобы приняла меня за авантюриста; но ведь я показал ей приказ, написанный рукой Вашего Величества, я посвятил ее во все подробности,

которые, на мой взгляд, не должны были оставить ни тени сомнения на мой счет. Все эти соображения позволяют мне надеяться, что Ваше Величество благоволит не осудить меня за то, что я по-прежнему отказываюсь принять деньги от императрицы, и позволит мне отослать оные в Вену. Я мог бы рассматривать как лестное возмещение за ошибку, жертвой которой я стал, либо благосклонное письмо императрицы, либо ее портрет, либо какой-нибудь знак уважения, который я мог бы противопоставить наветам, доносящимся до меня со всех сторон, будто я был арестован в Вене как подозрительная личность; но деньги, Сир, для меня предел унижения, и я не считаю, что заслужил такой позор в оплату за труды, усердие и отвагу, с которыми я постарался возможно лучше выполнить каверзнейшее поручение».

Но что же произошло в Шенбрунне?

Прежде всего, императрица усомнилась — действительно ли этот Ронак Бомарше? У нее не было никакой уверенности. Странный субъект с рассеченным лицом, который в жару и волнении вечер напролет держал перед нею речи, вполне мог оказаться обманщиком, а то и убийцей пресловутого Бомарше. Таково было, очевидно, первое впечатление Марии-Терезии. Во всяком случае, дело заслуживало проверки; она поручила это Кауницу, своему канцлеру. Тот приступил к расследованию незамедлительно и вскоре вынес свое суждение: Ронак действительно Бомарше, иначе говоря, плут. Он доложил об этом императрице, уточнив, что, по его мнению, Бомарше сочинил не только историю нападения на него, но и само «Предуведомление». Тяжкое обвинение, не опиравшееся ни на какие доказательства, кроме дурного впечатления, произведенного путешественником, а также показаний кучера Драца, хозяина гостиницы Грюбера и чиновника магистрата Фецера. Было, однако, решено на всякий случай взять под арест эту сомнительную личность и уведомить о том Версаль. Тем временем, обезумев от ярости, Бомарше засыпал посланиями всех австрийцев, которых знал по имени. Чтобы его утихомирить, к нему направили некоего Зонненфельса, полуписателя, получиновника, и тот, держа его под надзором, в то же время попытался несколько скрасить жизнь узника. Из своей камеры, достаточно, впрочем, комфортабельной, г-н де Ронак направил Марии-Терезии пространное письмо, где предложил ей ни больше ни меньше, как опубликовать очищенное издание пасквиля, «дабы предупредить наихудшие беды» и оградить чувствительность Людовика XVI. Этот документ — не спорю, удивительный — вовсе, однако, не доказывает, что Бомарше был автором «Предуведомления», даже напротив. Он свидетельствует лишь об его растерянности. Впрочем, как мы видели по его докладу Людовику XVI, Бомарше сообщает своему государю, не входя, правда, в детали, об этом странном послании.

Бомарше автор «Предуведомления»? Утверждение канцлера Кауница продолжительное время разделялось — клевета, клевета! — многими авторами. Правда, и само существование Анжелуччи долго представлялось проблематичным, поскольку никто не находил


В Париж!

никаких его следов, пока Лентилак не напал в один прекрасный день на два письма Бомарше, адресованные некой Фабии. Одно из них, датированное 12 августа и, следовательно, предшествующее «событиям», со всей очевидностью устанавливало реальность Гийома Анжелуччи. И в самом деле, Бомарше писал: «Сделайте мне удовольствие и передайте другу (Рудиль — пресловутый Р.? — *Ф. Г.*), который вручит Вам мое письмо, что, буде ему предъявят мой переводной вексель на сумму в 100 луидоров, выданный на имя некоего Гий. Анжелуччи, пусть он его не принимает: я хотя вексель и выдал, ничего не должен этому мошеннику, поскольку он нарушил все обязательства, под кои его у меня выманил...» Нельзя отказаться выплатить по переводному векселю, выданному на имя несуществующего человека! После всего вышесказанного мы вольны задаться еще вопросом о том, кто такая эта Фабия? Действительно ли она Фабия? Или это псевдоним, за которым скрывается, к примеру, Мария-Тереза Виллермавлаз? Бомарше любил играть именами и редко мог устоять перед соблазном шифра. Как указывает Мортон, одно из его писем Сартину в июне 1774 года начиналось следующим образом: «Вы приказали мне, сударыня, и т. д.». Что касается стиля и содержания пресловутого «Предуведомления», в основной своей части опубликованного в 1868 году Альфредом фон Арнетом, то их анализ подтверждает, что автором памфлета был не Бомарше. Этот пасквиль, столь же злобный, сколь бездарный по форме, содержал в себе вещи, оскорбительные для людей, которых Бомарше любил. Например, его «сообщник» Сартин открыто обвинялся там в злоупотреблении казенными средствами! В сущности, и на этот раз клевета ни на что не опиралась. Впрочем, если бы существовала малейшая возможность доказать авторство Бомарше, его враги наверняка ее не упустили бы. Как справедливо пишет Рене Помо: «Сколько дал бы граф де Лаблаш человеку, доказавшему, что Бомарше автор «Предуведомления испанской ветви»?» Зачинщиком всех этих интриг, очевидно, метивших также и в Сартина, был, возможно, герцог Эгийон. Бомарше, впрочем, учуял его махинации. Он вскоре написал о своих предположениях новому морскому министру: «Бесспорно одно — огонь раздувает какое-то высокопоставленное лицо, ибо я никогда еще не сталкивался с таким ожесточением. Не попахивает ли здесь д'Эгийоном? Это похоже на его манеру. Вам не хватало только одного — быть оклеветанным; теперь Вам нечего больше желать: это произошло...»

Получив сообщение Кауница, австрийский посол в Версале, грозный граф де Мерси-Аржанто, отправился к Сартину, который оказался на высоте и защитил своего агента, точнее, агента Людовика XVI. Мерси пришлось сдаться и доложить об этом Кауницу, а тому не оставалось иного выхода, как освободить узника. «Мне кажется, — написал он послу, — что, кроме нравственной распущенности г-на де Сартина, здесь, возможно, играет также роль его личная заинтересованность в том, чтобы избежать упреков, которые можно ему сделать за то, что он предложил королю для выполнения столь деликатного поручения такого подданного, как г-н

де Бомарше». Заметьте при этом, что, несмотря на явное раздражение, канцлер говорит уже не об обмане, но о весьма «деликатном поручении». Кауница можно извинить в той мере, в какой он рассуждал, руководствуясь сведениями, поставляемыми Мерси — скорее шпионом, чем дипломатом, — имевшим в Версале своих агентов повсюду, вплоть до спальни Марии-Антуанетты. Послу, который ненавидел Бомарше, пришлось впоследствии пережить неприятные минуты, вручая этому последнему бриллиант самой чистой воды, присланный императрицей; Мария-Терезия нашла красивый способ предать забвению свое венское гостеприимство. В «Секретных записках Башомона» писалось в ту пору: «Господин Бомарше носит на пальце бриллиант поразительной красоты, который, естественно, был бы уместнее на руке суверена. Во извинение этой дерзости он утверждает, что бриллиант был подарен ему императрицей, когда он был послан к ней с поручением; он отверг, по его словам, какое бы то ни было денежное вознаграждение, и Ее Величество отблагодарила его этим прекрасным подарком».

После освобождения Бомарше вместе со своим бравым слугой отправился в обратный путь. Я предполагаю, что именно по дороге во Францию он присутствовал на представлении «Клавихо» Гёте в Аугсбургском театре. В первых числах октября после десятидневного, примерно, путешествия он прибыл в Париж. В дороге он сочинил песенку, слова которой кажутся мне довольно банальными, но которую город распевал всю зиму; это было своеобразным возданием почестей вернувшемуся герою. Вот ее первый куплет:

Все тот же он — его дела неплохи,
Доволен он житьем-бытьем,
Пасхальным днем
Или постом,
Все нипочем Веселому пройдохе;
Пусть будет солнце или мгла,
От вас — хула иль похвала,
Все тот же он — его дела неплохи.

Все тот же? Вот уж нет! Этот человек сильно изменился. Испытания закалили его характер. И если он именует себя Веселым пройдохой, то потому лишь, что не принимает себя всерьез. Как и у большинства из нас, у Бомарше было два лица, но то ли из стыдливости, то ли из безразличия он открывал лишь фарсовую его сторону. Люди, склонные упрощать, полагают, что иной и не было. Знали ли другого Бомарше близкие и друзья, праздновавшие его возвращение? Не уверен, тем более что, если Веселый пройдоха оставался все тем же, Пьер-Огюстен мало-помалу лепил, как скульптор, свой характер и свои черты, сообщая им отчетливость. Шарль Ленорман д'Этиоль в своем парижском особняке пышно чествует еще Веселого пройдоху. Чтобы отблагодарить хо-

зяина (Шарло), тот пишет длинный парад с куплетами, в котором знаменитый Дюгазон играет с подчеркнуто певучим марсельским акцентом. Нет, это не было, разумеется, произведением высокого полета, но с помощью шампанского собравшиеся горячо принимали каждую строфу, в частности следующую:

Я вел процесс, и мне не повезло:
Вот задали мороку, вражья сила —
Подстроили, чтоб дело, как назло,
В парламент новый угодило.
Шарло был очень мил
И так мне говорил:
«Ты не виновен, друг, и действуй смело».
Но эти судьи, вот дерьмо,
Сам дьявол с ними заодно,
Ошельмовать меня — да слыханное ль дело?

Но и человек, приговоренный к гражданской казни, теперь в ином положении. Мопу получил отставку, парламент потерпел поражение, и Бомарше может уже не торопиться. Невзгоды сделали его требовательным. Бомарше дает понять королю и министрам, что ждет от исполнительной и судебной власти не просто отмены приговора, а почетной реабилитации. Даже при абсолютной монархии это не так просто. Ну что ж! Он подождет. Настала очередь осужденного диктовать законы. Нет, я не шучу. Король решил восстановить прежний парламент, но министры не сходились относительно того, как именно это сделать и какие полномочия ему предоставить. Кому же разрешить сомнения, просветить суверена своими советами, поделиться с правительством своим опытом в этой области? С кем в октябре 1774 года следует посоветоваться в первую очередь? Да с г-ном де Бомарше, разумеется! Таким образом, человек, ошельмованный палачом, нарушитель общественного порядка, недостойный гражданин получил официальное поручение написать в кратчайший срок «короткую ясную записку, коей принципы, будучи изложены без всякой высокопарности и украшений, могли бы оказать воздействие на любого здравомыслящего человека, даже если оному и не хватает образования»! Изложить свои принципы правительству и в то же время просветить нацию — Бомарше не заставил просить себя дважды. Несколько дней спустя он вручил Морепа и Мироменилю доклад, названный им «Простейшие мысли о восстановлении парламентов». Под этим весьма серьезным текстом, разделенным на части — преамбулу, изложение и заключение, — вполне мог бы подписаться Монтескье, но одно дело — развивать политические теории в философском труде, другое — формулировать их в докладе королю и его министрам. Для этого, уж во всяком случае, требуется больше отваги. Во вступлении, прежде чем перейти к вопросу о парламентах, Бомарше откровенно высказывает свои взгляды на монархию:

«При помазании король клянется блюсти законы церкви и королевства. Если бы законы королевства устанавливались по произволу

каждого короля, ни одному из них не было бы нужды давать при помазании клятву, что он будет блюсти какой бы то ни было закон; такая клятва была бы попросту нелепостью: никто не берет на себя обязательство отвечать перед самим собой.

Следовательно, в любом монархическом государстве существует нечто превыше королевского произвола. Сие нечто не может быть ничем иным, кроме свода законов и их силы — таков единственный подлинный оплот королевской власти и счастья народов.

Вместо того чтобы упрочить королевскую власть, опираясь на законы, единственно надежный и достойный уважения оплот, была совершена губительная для этой власти ошибка — было провозглашено, что король обязан своим правом только богу и своему мечу: суждение зловредное и химерическое, сплетение нелепостей, кои сводятся к следующему.

Нелепо утверждать, будто король обязан своим правом одному богу, поскольку всякая власть, как несправедливая, так и справедливая, в равной мере может претендовать на то, что она от бога, и, следовательно, это выражение не подразумевает ничего, кроме торжества более сильного над более слабым, приписываемого особой божественной воле; такое злоупотребительное право может быть сметено первым же могучим усилием любого бунтаря, который, раздавив угнетателя, в свою очередь мог бы претендовать на то, что и он приобрел право, дарованное ему богом, пока государь, вновь овладев преимуществами, зиждущимися на превосходстве новых сил, не захватит опять, ниспровергнув в свою очередь бунтаря, сие якобы божественное право, которое, как это очевидно, является всего лишь варварским правом более сильного и правом завоевателя по отношению к побежденным, но никак не правом короля по отношению к его собственным подданным.

Нелепо утверждать также, что король обязан своим правом лишь своему мечу.

1. Потому что право меча или право завоевателя не в большей степени право, чем то, которое якобы даровано богом, это одно и то же право, и я уже показал, в какой порочный круг оно заводит.

2. Потому что завоеватель, могущий приобресть это право, которым он, по его утверждению, обязан одному своему мечу, на самом деле приобретает его только благодаря тому, что он пускает в ход мечи своих подданных, коих его собственный меч не более чем фигуральное выражение, следовательно, сие чудовищное право доподлинно принадлежит народу-завоевателю, одалживающему свой меч суверену. Оно, самое большее, допустимо по отношению к побежденным, но никак не может быть обращено сувереном против народа, который помог ему это право завоевать.

Так ошибался Александр, посягая на порабощение унаследованной им от отца Македонии якобы по праву, данному богом и мечом, а ведь завоевал он Персию и Индию во главе македонцев и только благодаря мечу своих подданных.

Итак, коль скоро право меча ничем не отличается от права

богоданного, а это последнее — не более чем право сильного, справедливому королю не должно руководствоваться им в своих отношениях с подданными, ибо какое же это право, ежели оно может переходить от одной партии к другой в зависимости от того, какая овладеет искусством брать верх. Это абсурдное право только принуждает, не подразумевая ответственности, ни к чему не обязывая, а это противоречит королевской власти, зиждущейся не на силе, а на справедливости: истинная власть — это та, которая наделяет ответственностью и обязывает всех подданных соблюдать по отношению к государю справедливые, разумные и священные статьи договора, в свою очередь обязывающие государя по отношению к его подданным и потому по праву именуемые основными законами королевства.

Следовательно, эти законы (какими бы они ни были) должны всегда существовать в постоянном и надежном месте; их поддержание и выполнение должны быть доверены охране корпуса неприкосновенных блюстителей (какими бы они ни были), коим препоручено неизменное соблюдение договора, обеспечивающего безопасность государя и его народа: именно к этому восходит принцип непременной несменяемости судей, столь же оспариваемый, сколь и недостаточно широко известный».

Следовало бы привести этот текст полностью не потому, разумеется, что идеи, в нем излагаемые, так уж оригинальны, но для того, чтобы из головы читателя был изгнан демон сомнения. Идет ли речь о часовых дел мастерстве или о конституционном праве, Бомарше относится ко всему с глубочайшей серьезностью, и чувство собственной правоты побуждает его рисковать всем. Этот документ составлен не царедворцем. Предложения Бомарше были приняты министрами, во всяком случае, в той их части, где предусматривалось, что в случае длительного конфликта с королем судьи должны коллективно подать в отставку, а именно этот пункт представлялся нашему законнику основным, ибо он уравновешивал верховную власть монарха.

12 ноября 1774 года был восстановлен старый парламент и «гезманы» Мопу отправлены восвояси. Бомарше, который не знал еще всех подробностей королевского эдикта, поспешил выразить свой восторг в письме к Сартину от 14 ноября:

«Оставляя в стороне всякий протокол и преамбулу, скажу Вам прямо, какое огромное впечатление произвело позавчерашнее великое событие.

Никогда еще чувство не было таким горячим, сильным и единодушным. Французский народ обезумел от восторга, и меня это ничуть не удивляет.

Невероятно, что двадцатилетний король, в котором можно подозревать пылкую любовь к своей нарождающейся власти, настолько любит свой народ, что готов удовлетворить его чаяния в такой важнейшей области.

Пока еще неизвестны все условия эдикта, но и т. д.».

На следующий день, ознакомившись с королевским эдиктом, он

был разочарован: министры совершенно выхолостили его проект. Одному из них он тотчас написал: «Церковники повсюду яростно кричат, что во Франции остался только парламент, а короля больше нет. А я твердо убежден, что во Франции есть только король и никакого парламента. Господа министры, восстановители французских свобод, я, буде на то моя воля, своих свобод вам восстанавливать не доверю». Бомарше проявил проницательность: эдикт от 12 ноября 1774 года был первой неудачей королевской «революции». Затем последовали и другие.

Год завершался в весьма двусмысленной обстановке, но ни Людовик XVI, ни народ, упивавшиеся счастьем, этого не замечали. В жизни Бомарше 1774 год мог быть сочтен за десять лет, хотя и промелькнул как один день. Пьер-Огюстен доказал в очередной раз, что в жизни, как и в часах, главное — пружина.

Пока следовало подбить итоги расходам г-на де Ронака. Счет получился довольно весомый, Бомарше направил его соответствующему министру. Многих авторов, даже и не самых недоброжелательных, это шокирует. Так уж водится в литературе — когда Лафонтен требует пенсии — он божество, когда Бомарше просит о возмещении расходов — он дьявол.

Кстати о дьяволе, вот письмо, которым он сопроводил свой счет:

«Я направляю Вам итог моих расходов и получений как от покойного короля, так и от нынешнего нашего государя.

С марта этого года я проделал более 1800 лье. Скорость немалая, мне кажется! Я заткнул глотку трем чудовищам, уничтожив два пасквиля и остановив печатание третьего. Ради этого я бросил на произвол и расхищение свои собственные дела; я подвергался всяческим опасностям; я был обманут, ограблен, ранен, арестован, мое здоровье подорвано: но стоит ли огорчаться? Если король доволен — добейтесь только, чтобы он сказал мне: «Я доволен», и я буду счастливейшим из смертных. Мне не нужно иных наград. В окружении короля и без того слишком много алчных просителей. Пусть он хотя бы знает, что у него есть в одном из уголков Парижа бескорыстный слуга. Вот и все, чего я добиваюсь. Рассчитываю на Ваше милостивое содействие в этом деле.

Надеюсь также, что и Вам не хочется, чтобы я так и остался ошельмованным по приговору гнусного парламента, погребенного Вами под обломками его бесчестия. Вся Европа уже отомстила за меня, заклеймив низкий и нелепый приговор; но этого мало; необходимо постановление, коим будет аннулирована гражданская казнь. Я не перестану трудиться, однако стану работать с умеренностью человека, которому нечего опасаться — ни интриг, ни несправедливости. Жду Вашего милостивого содействия в этом важном деле».

Во Франции куда вернее полагаться на терпение и время, чем на силу и ярость. Г-н де Ронак ждал два года, пока ему возместили расходы; г-н Бомарше — пока он получил реабилитацию. А между тем за это время он прославился совсем в иной области, что было, как мы увидим, далеко не просто.

8
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»

> ...он (мой критик) утверждает, будто, чувствуя, что моей пьесе, разделенной на пять действий, не удержаться на сцене, я, чтобы привлечь зрителей, сократил ее до четырех. А если бы даже и так? Не лучше ли в трудную минуту пожертвовать пятой частью своего имущества, нежели отдать его целиком на разграбление?

Итак, «Севильский цирюльник».

С этим пострелом поистине не соскучишься. Каждый раз что-нибудь неожиданное. Как сам он писал в 1774 году Гюдену: «Я прожил двести лет». Понадобилось бы два столетия и множество книг, чтобы рассказать о его жизни! Сейчас мы подошли к тому ее моменту, когда автор этой биографии просто не знает, с чего начать. Раскусив чужие промахи, он осознал, как велики его собственные. Чтобы описать жизнь Бомарше, нужно бы то и дело возвращаться назад, начиная сызнова эту невероятную работу. Явное ослепляет, чтобы понять суть, приходится расшифровывать. Бомарше маскируется и всячески морочит нам голову, чтобы ловчее ускользнуть.

Ученые труды, посвященные «Цирюльнику», как они ни основательны, далеко не исчерпали этот сюжет. Блестящая, прозрачная комедия, все пружины которой вроде бы на виду, в то же время — произведение темное, двусмысленное, пусть и не столь загадочное, как «Женитьба», но все же возбуждающее немало вопросов. Что за важность, возразят мне, главное — пьеса удалась, она продолжает смешить через двести лет после своего появления! Но разве не ясно, что именно загадка — непременное условие совершенства? Чем глубже тайна, тем сильнее магия литературного шедевра. «Дон Жуан» — пьеса, которая слывет «неудавшейся», — самое прекрасное из творений Мольера именно потому, что она неуловима. Кокто говорил: «Тайна начинается после признаний; для ученых тайна начинается после анализа».

Так и с «Севильским цирюльником». Откройте вместе со мной книгу. Давайте почитаем сообща, согласны? Начнем с эпиграфа:

И я, отец, там умереть не мог!
«Заира», действие II.

Почему? В своем великолепном научном издании «Цирюльника» Жорж Бонвиль дает примечание: «Загадочный эпиграф, взятый из Вольтера». Заслуга почтенного профессора уже в том, что он выявляет трудность. Немалую. Мы к ней вернемся.

Анализ текста — услада исследователей. В каждом из них сидит неведомо для него самого энтомолог. Для проницательного толкователя варианты текста — своего рода метаморфозы насекомого.

Из кокона должна выпорхнуть бабочка. А уж когда есть к тому же возможность изучить ископаемые останки, радости ученого нет предела. Чем глубже он проникает, тем больше ликует. «Цирюльник» по сю пору возбуждает грезы эрудитов.

Прежде чем увидеть свет, эта пьеса мелькала уже не раз. Считается, что сначала она имела форму парада, затем, как известно, превратилась в комическую оперу, отвергнутую Итальянским театром, наконец приобрела свой теперешний вид, иными словами, стала комедией, которая — о неописуемая радость! — пережила по меньшей мере три этапа. Первый вариант комедии, в четырех действиях, одобренный цензурой, в данном случае Мареном, должен был пойти 12 февраля 1774 года на сцене «Комеди Франсэз», в ту пору игравшей в Тюильри; однако 11 февраля «Цирюльник» был запрещен, поскольку накануне Бомарше выпустил свой «Четвертый мемуар», и разразился громкий скандал. Второй вариант, в пяти действиях, был сыгран всего один раз — 23 февраля 1775 года — и провалился. Но «Цирюльник» не позволил положить себя на лопатки и два дня спустя, после авторской переработки, прошел с триумфальным успехом в своем окончательном виде. От одной рукописи к другой текст значительно меняется. Изучение и сравнение вариантов, анализ купюр потребовали бы по меньшей мере сотни страниц. Эта, без сомнения, увлекательнейшая работа была уже проделана целой когортой специалистов, во главе которой следует, как всегда, поставить Лентилака. Я к ней не стану возвращаться, поскольку предмет моего труда — сам автор «Цирюльника».

Итак, провалившись в пятницу, в воскресенье «Цирюльник» одержал победу: «На премьере комедия была освистана, на втором спектакле имела невероятный успех», — рассказывала госпожа Дюдеффан. Всякий, кто хоть немного знаком с театром, представляет себе, чего стоило добиться такого чуда! Но, как говорит Фигаро графу Альмавиве: «Чем труднее добиться успеха, ваше сиятельство, тем решительнее надо приниматься за дело». Тут мало было самому разбиться в лепешку, пришлось заставить актеров разучить новые роли, а рабочих сцены — сделать необходимые изменения в декорациях. Бомарше, который всегда умел добиться невозможного, тут превзошел самого себя. Не будем заблуждаться, этот внешне легкий, почти непринужденный триумф был, как обычно, плодом напряженного труда.

В своем теперешнем виде — другого мы рассматривать не будем, поскольку спуск, изобретенный в двадцать лет, интересует нас лишь в его финальном совершенстве, — «Цирюльник» представляется простейшей из комедий. Сам автор так изложил вкратце ее канву: «Влюбленный старик собирается завтра жениться на своей воспитаннице; юный ее поклонник, как более ловкий, опережает его и в тот же день сочетается с нею законным браком под самым носом опекуна, у него же в доме». По этой схеме, древнейшей на свете и не единожды проверенной, только во Франции уже были поставлены, пропеты, разыграны тысячи фарсов, всевозможных пьес и пантомим. Некоторые из них известны Бомарше, к примеру «Тщетная предо-

сторожность» Скаррона; он этого даже не скрывал, коль скоро назвал свою комедию «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность». А также — «Школа жен». Но и у Скаррона и у Мольера были в свою очередь предшественники, итальянские или испанские источники, это всем известно, и никого не смущает. Схема — в общей сокровищнице и в самой жизни, бери кто хочет. Вот ее и используют как хотят, точнее — как могут: театр всегда творится наново. Бомарше показал себя в «Цирюльнике» человеком смелым. До него никто, даже Мольер, не был так непринужденно динамичен. Опыт парадов, пристрастие к каламбурам, двусмысленностям, словесной игре (склонность, присущая многим крупным писателям, — Бальзак, например, это обожал) позволили ему с блеском жонглировать словами, всячески переиначивать их, не страшась разрушения речи, вплоть до бессмыслицы. Подобно Мольеру, он употреблял повторы, даже злоупотреблял ими, опьяняясь этой преизбыточностью. Что до механизма интриги, то она в «Цирюльнике» точна, как часы. Все тщательно выверено, подготовлено, сцеплено до невероятия. Мы находимся в «царстве путаницы», а отнюдь не в реальном мире. Бартоло, когда нужно автору, дальнозорок, когда нужно — близорук, то остер на ухо, то глуховат. Он не узнает Альмавиву, сменившего лишь костюм, но замечает письмо, кончик которого выглядывает из корсажа Розины, или чернильное пятнышко у нее на пальце; в одной и той же сцене он просит графа: «Говорите громче, я плохо слышу на одно ухо» и «неужели нельзя говорить тише?». Бомарше не просто с необыкновенным хитроумием обосновывает эти противоречия, он использует их, чтобы насмешить. В третьем действии на протяжении пяти картин, неподражаемых по забавности, слаженных как балет, граф, Розина и Фигаро пытаются удалить Бартоло на время, необходимое, чтобы Альмавива успел сообщить девушке нечто чрезвычайно важное. Когда же опекун наконец выходит, Бомарше с чертовской ловкостью умудряется сделать так, что, вопреки всякой логике, графу не удается переговорить с Розиной, и благодаря этому действие вновь закручивается. Обвели вокруг пальца не Бартоло, а зрителя, но он от этого в восторге.

Надо сказать, что Бомарше поистине вдохнул новую жизнь в персонажей традиционной комедии. Я сейчас имею в виду не Начеку, который вечно дремлет, и не Весну, который дряхл, но Базиля и, главное, Бартоло. Этот буржуа-ретроград, отнюдь не скрывающий своего отвращения к новому веку — «Что он дал нам такого, за что мы могли бы его восхвалять? Всякие глупости: вольномыслие, всемирное тяготение, электричество, веротерпимость, оспопрививание, хину, энциклопедию и мещанские драмы...» — вовсе не дурак. Хитрый, подозрительный, проницательный психолог, он опасный противник для Альмавивы, Розины и Фигаро. Ум позволяет ему раскусить все их уловки и тем самым сообщает комедии напряжение. Если Альмавива не подымается до Дон Жуана, с которым у него много общего, то Бартоло куда сообразительней и достоверней Арнольфа. Кроме того — и это также представляется мне новым —

он не теряет достоинства, потерпев неудачу; Бартоло реабилитирует обманутых стариков.

Однако ни живость стиля, ни блестящая композиция, ни новое в характере Бартоло еще не объясняют магии «Цирюльника». Не будь в ней Фигаро, кто воспринял бы сегодня эту пьесу? И дело не в том, что именно Фигаро обеспечивает развитие сюжета. Это верно, не спорю, но неповторимость, особое звучание и, повторяю, магию, как это ни парадоксально, придают пьесе именно те его речи, которые не имеют прямого отношения к интриге. Попробуйте, забавы ради, вырезать длинные реплики Фигаро, самые знаменитые, и вы увидите, что ни композиция, ни развитие сюжета в «Цирюльнике» от этого не пострадает, даже напротив, но зато от гениальной комедии не остается ничего. Как мы увидим в дальнейшем, совершенно бесполезен для хода комедии и важнейший великолепный монолог Фигаро в «Женитьбе», он только угрожающе замедляет действие и отвлекает внимание зрителя. Но чем была бы «Женитьба» без этого монолога? Появление Фигаро — решающий поворот в истории нашей драматургии. Вместе с ним на сцену выходит, чтобы отныне не покидать ее, авторское *«я»*. В «Опытах» или «Исповеди» автор выражает себя прямо в своих размышлениях или признаниях; в «Цирюльнике» и «Женитьбе» он проникает в произведение как взломщик, его непривычное присутствие нарушает правила игры и путает карты. Однако интерес зрителя приобретает иное направление — его неудержимо влечет к себе этот незнакомец; сам того не ведая, зритель только им и занят. На сцене существуют два Фигаро, цирюльник *и* Бомарше, как на страницах «В поисках утраченного времени» — рассказчик *и* Пруст. В 1775 году подобное вторжение творца в пьесу, его появление среди персонажей было скандальным, но время уже созрело для этого скандала. Эпоха была к нему подготовлена «Мемуарами для ознакомления». После головокружительного успеха этих четырех текстов Бомарше понял, что самый интересный из его сюжетов — он сам. Театральный или романический вымысел для писателя только повод, чтобы выразить, обнажить себя, перейти к признаниям. Начиная с Бомарше, писатели, как всем известно, охотно сбрасывают маску, драматурги, однако, реже других; очевидно, для этого удобнее роман, ставший излюбленным жанром XIX и XX веков. Поверьте мне, от монолога Фигаро путь ведет к монологу Улисса.

Во французской драматургии, где слуги всегда играют важную роль, есть три лакея, которые протестуют всерьез: Сганарель, Фигаро и Рюи Блаз. Сганареля, как мне кажется, ошибочно считают только смешным. Суеверие отнюдь не единственная черта его характера. Суждения Сганареля о Дон Жуане нередко справедливы, а подчас и язвительны. Но он никогда не осмеливается атаковать своего господина прямо: «Будь у меня такой господин, я сказал бы ему напрямик, глядя в лицо... Вы что же думаете, если вы дворянин, если у вас белокурый отлично завитый парик, шляпа с перьями, костюм, шитый золотом, да ленты огненного цвета (это я не вам говорю, а тому господину), то вы, сказал бы я, уж и умнее всех, все вам дозволено и никто не смеет сказать вам правду в глаза?»

Слова Сганареля — обвинительный акт против вольнодумца, но на общество он отнюдь не посягает, он, напротив, консерватор. К тому же Сганарель говорит вовсе не от лица Мольера, который стоит, скорее, на стороне Дон Жуана. Рюи Блаз очертя голову восстает против всех устоев, однако он в еще меньшей степени, чем Сганарель, второе «я» автора — он всего лишь пешка на шахматной доске драмы, ну, скажем, — рыцарь справедливости, Зорро — благородный герой без страха и упрека, иными словами — никто. Остается Фигаро — между малодушным Сганарелем и бесплотным Рюи Блазом. Если он еще и обращается к своему господину, называя его ваше сиятельство или монсеньор, то лишь потому, что так принято, в остальном же никакой дистанции не соблюдает и подходит вплотную, чтобы нанести точный и сильный удар:

«Граф. ...Помнится, когда ты служил у меня, ты был изрядным сорванцом...

Фигаро. Ах, боже мой, ваше сиятельство, у бедняков не должно быть ни единого недостатка — это общее мнение!

Граф. Шалопаем, сумасбродом...

Фигаро. Ежели принять в рассуждение все добродетели, которых требуют от слуги, то много ли, ваше сиятельство, найдется господ, достойных быть слугами?»

Не очень-то это любезно по отношению к Альмавиве, и того меньше — по отношению к публике «Комеди Франсэз», среди которой, если мои сведения правильны, слуги в ту пору встречались не часто.

«На мне лакейский фрак, у вас — душа лакея», — скажет позднее Рюи Блаз. Когда Виктор Гюго писал эту реплику, он не рисковал ничем, разве что — обидеть челядь: дон Саллюстий в зале не присутствовал. Продолжим сравнение, точнее, сопоставление. Виктор Гюго в своей пьесе, в сущности, общества не задевает. Подобно буржуазной даме-благотворительнице, с большей, впрочем, не спорю, самоуверенностью он склонен прослезиться, пожалев бедняков, бедных матросов и бедных сироток. Нищета причиняет ему боль, но если она и кажется ему невыносимой, то остается все-таки чуждой. Гюго только наносит визит беднякам, поэтому в девяти случаях из десяти он облачен в траур и мрачен ликом. Бомарше же смеется над невзгодами, ему к ним не привыкать. Он спешит посмеяться, потому что боится, как бы не пришлось заплакать. Посмеяться и куснуть.

«Граф. Зато я тебя не узнаю. Ты так растолстел, раздобрел...

Фигаро. Ничего не поделаешь, ваше сиятельство, — нужда».

Как хлыстом огрел. Эту реплику обычно толкуют совсем неправильно. Альмавива тоже рассуждает как дама-благотворительница — раз бедняк, значит, должен быть тощ!

Но в тех коротких цитатах, которые я привел, говорит пока персонаж — Бомарше еще не оттеснил Фигаро. По-настоящему он появляется на сцене только со словами о «республике литераторов», минут через пять после поднятия занавеса. До сих пор он лишь намекал, подмигивал зрителям партера, но вдруг внезапный поворот — Фигаро уступает свое слово автору:

«Граф. ...Но ты мне так и не сказал, что побудило тебя расстаться с Мадридом.

Фигаро. Мой ангел-хранитель, ваше сиятельство: я счастлив, что свиделся с прежним моим господином. В Мадриде я убедился, что республика литераторов — это республика волков, всегда готовых перегрызть друг другу горло, и что, заслужив всеобщее презрение смехотворным своим неистовством, все букашки, мошки, комары, москиты, критики, завистники, борзописцы, книготорговцы, цензоры, все, что присасывается к коже несчастных литераторов, — все это раздирает их на части и вытягивает из них последние соки. Мне опротивело сочинительство, я надоел самому себе, все окружающие мне опостылели, я запутался в долгах, а в карманах у меня гулял ветер. Наконец, рассудив, что ощутительный доход от бритвы лучше суетной славы пера, я оставил Мадрид. Котомку за плечи, и вот, как заправский философ, стал я обходить обе Кастилии, Ламанчу, Эстремадуру, Сьерра-Морену, Андалусию; в одном городе меня встречали радушно, в другом сажали в тюрьму, я же ко всему относился спокойно. Одни меня хвалили, другие шельмовали, я радовался хорошей погоде, не сетовал на дурную, издевался над глупцами, не клонил головы перед злыми, смеялся над своей бедностью, брил всех подряд и в конце концов поселился в Севилье, а теперь я снова готов к услугам вашего сиятельства — приказывайте все, что вам заблагорассудится».

Удивительный лакей, странный цирюльник, вы не находите? Значит, Фигаро — писатель. Допустим! Ну а что же это за насекомые? О каких борзописцах идет речь? Марен? Бакюлар? Бертран? Вы не ошиблись. А книготорговцы? Бедный Леже! «Я запутался в долгах», гляди-ка! Зрители 1775 года тотчас смекнули, о ком речь. С этой минуты они прислушиваются уже не к Фигаро, они внимают Бомарше. «В одном городе меня встречали радушно, в другом сажали в тюрьму, я же ко всему относился спокойно» — публика без труда следует за путешествием из Лондона в Вену. И чтобы уж не осталось никаких сомнений, короткое замечание: «Одни меня хвалили, другие *шельмовали»*. Да, шельмовали. Бомарше вписал эти несколько слов, весьма многозначительных, всего за несколько дней до премьеры. Иначе цензоры, как легко себе представить, вцепились бы в них! Тирада заканчивается, как вы заметили, сообщением, что Фигаро вернулся в Севилью (Бомарше вернулся в Париж) и снова готов к услугам его светлости. Кого же? Альмавивы или Людовика XVI? Альмавивы *и* Людовика XVI.

Самое поразительное, что сегодняшний зритель, вовсе не воспринимающий конкретных намеков, ибо ему неизвестно даже само имя Марена и он ведать не ведает о шельмовании, к которому приговорил Бомарше парламент, тем не менее увлеченно слушает этот монолог, несмотря на отсутствие ключа к нему и на то, что тирада Фигаро, как я уже сказал, замедляет действие.

Мы имеем здесь дело с феноменом, логически необъяснимым и, как мы увидим, еще более впечатляющим в монологе «Женитьбы», где Бомарше на протяжении десяти или пятнадцати минут иносказа-

тельно, зашифрованно, если можно так выразиться, повествует о собственной жизни. Тогдашняя публика с легко понятной радостью подхватывала малейший намек Фигаро. Но кто, кроме нескольких специалистов, способен в наши дни расшифровать монолог? Можно, конечно, понимать его по-иному — на первом уровне, если воспользоваться сегодняшней терминологией. Однако в таком случае интерес должен был бы ослабевать, тем более что «личные» пассажи нередко пространнее прочих, а в этом монологе просто даже нескончаемы и не имеют решительно никакого отношения к действию. А между тем именно к этим тирадам публика и сегодня прислушивается с наибольшим вниманием и с явным удовольствием. В чем же тут секрет? Но я полагаю, здесь не место обсуждать этот вопрос, нас занимает жизнь Бомарше, а не проблемы коммуникабельности. Выкрутимся с помощью пируэта, напомнив, что красота всегда неуловима как молния, что не мешает ей поражать.

Другой пример. Известно ли вам, что поначалу Бомарше намеревался назвать Базиля Гюзман? Очевидно, сочтя подобный прием чересчур грубым, он перед самой премьерой изменил имя, но потом, вероятно, пожалел, потому что в «Женитьбе» Бридуазон полностью зовется дон Гюзман Бридуазон. Итак, в «Цирюльнике» Базиль остался Базилем, однако перед самой премьерой Бомарше поторопился вложить в его уста поразительную тираду о клевете, написанную на одном дыхании. Он убрал из пьесы имя советника, но создал его бессмертный портрет. Этот персонаж, этот рисунок Гойи — до Гойи — впечатляющ, не правда ли? Смешон и страшен. Базиль — лицо из кошмара. Он запоминается и — если опять прибегнуть к современной терминологии — травмирует зрителя. А ну-ка перечитайте «Цирюльника», сцены с Базилем — вы увидите, что это всего-навсего наглый плут, который продает свои услуги тому, кто больше заплатит. Как же объяснить впечатляющую силу этого образа? За Базилем стоят все невзгоды Бомарше — иными словами, советник Гезман или Дьявол. Публике это неизвестно, она даже не знает, кто такой Гезман, но она *догадывается.* Что до знаменитой тирады, драматургически совершенно излишней, она настолько поразительна и настолько далека от сюжета, что даже Бартоло приходится отметить ее неуместность — чем-чем, а неуклюжестью автор не страдает.

«Базиль. Клевета, сударь! Вы сами не понимаете, чем собираетесь пренебречь. Я видел честнейших людей, которых клевета почти уничтожила. Поверьте, что нет такой пошлой сплетни, такой пакости, нет такой нелепой выдумки, на которую в большом городе не набросились бы бездельники, если только за это приняться с умом, а ведь у нас здесь по этой части такие есть ловкачи!.. Сперва чуть слышный шум, едва касающийся земли, будто ласточка перед грозой, pianissimo [1], шелестящий, быстролетный, сеющий ядовитые семена. Чей-нибудь рот подхватит семя, piano [2], piano, ловким образом сунет вам в ухо. Зло сделано — оно прорастает, ползет вверх,

---

[1] Очень тихо (*ит.*).
[2] Тихо (*ит.*).

движется — и, rinforzando [1], пошла гулять по свету чертовщина! И вот уже, неведомо отчего, клевета выпрямляется, свистит, раздувается, растет у вас на глазах. Она бросается вперед, ширит полет свой, клубится, окружает со всех сторон, срывает с места, увлекает за собой, сверкает, гремит и, наконец, хвала небесам, превращается во всеобщий крик, в crescendo [2] всего общества, в дружный хор ненависти и хулы. Сам черт перед этим не устоит!

Бартоло. Что вы мне голову морочите, Базиль? Какое отношение может иметь ваше piano — crescendo к моим обстоятельствам?»

Базиль, конечно, не может ответить на этот вопрос, но внезапно через сцену проходит Гезман — такова была цель. И снова узко сценической логике противостоит сокровенная логика искусства.

В конце первого действия, в головокружительной сцене с графом, этот последний весьма кстати напоминает Фигаро, что у того есть цирюльня: «Да где же ты живешь, ветрогон?»

Автор явно опять подмигивает залу: вот ведь ветрогон, в самом деле! Уж не забыл ли Фигаро, что он *также* и Севильский цирюльник?

И вот как Фигаро отвечает графу... и автору:

«Фигаро. А ведь у меня и правда ум за разум зашел! Мое заведение в двух шагах отсюда, выкрашено в голубой цвет, окно зеркального стекла, три тазика [3] в воздухе, глаз на руке, Consilio manuque [4], ФИГАРО».

Странная реплика для конца действия. Попробуем проанализировать. «Мое заведение... выкрашено в голубой цвет», никаких сомнений — это цирюльня. «Окна зеркального стекла». Почему? А ведь причина есть, вспомните! Окна мастерской на улице Сен-Дени, за которыми он провел лучшие и худшие дни юности: подъем в шесть часов и т. д. А г-н Лепот! Так кто же он все-таки, цирюльник или часовщик? «Три тазика в воздухе» — он цирюльник. Хирург — уточняют специалисты, такова была обычная в ту пору вывеска. «Глаз на руке, Consilio manuque»: чей это девиз? Разве меткий глаз и ловкость рук часовщику не столь же необходимы, как цирюльнику-хирургу, о котором автор, впрочем, сообщает, что это единственная область, где ловкость Фигаро сомнительна:

«Окаянный цирюльник разом свалил с ног всех моих домочадцев: Начеку дал снотворного, Весне — чихательного, пустил кровь из ноги Марселине; даже мула моего не пощадил... Несчастной слепой животине поставил на глаза припарки!»

«Consilio manuque, ФИГАРО», имя написано заглавными буквами. Подпись-признание. Прописное G очень похоже на прописное C — разве не так? Задолго до того как я собрался писать эту книгу, вообще какую бы то ни было книгу, но уже питал слабость к Бомарше,

---

[1] Сильнее (*ит.*).

[2] Все нарастая (*ит.*).

[3] Фигаро употребляет слово «palette», обозначающее и тазик, подставляемый при кровопускании, и деталь часового механизма.

[4] Помогаю делом и советом (*лат.*).

я ощутил и уверился, что FIGARO это FICARO, FI(ls) Caron. Вообразите мою радость, когда много позднее я обнаружил, что это совпадает с точкой зрения г-на Жака Шерера, чья эрудиция не подлежит сомнению. Значит, я не грезил. Другие специалисты, кажется, не согласны с г-ном Шерером, но это уже профессорские игры. Их главный довод не кажется мне убедительным: в первых вариантах «Цирюльника» имя писалось через «U» — FIGUARO. Но Figuereau или Bigaro, Durant, разве в этом дело? Бомарше обожал играть именами — именами других людей, как это видно из его переписки или из «Мемуаров», именами персонажей (граф называет Бартоло — Чепухартоло, Олухартоло, Бородартоло, Балдартоло) или своим собственным — Ронак во времена монархии, Шарон — в годы революции. После того как он уже выворачивал шиворот-навыворот свое собственное имя в Лондоне и Вене, трудно себе представить, что он взял случайно имя для сценического персонажа, которому предстояло стать его рупором: Фигаро! Еще одно замечание, прежде чем с этим покончить. С первых лет жизни, еще на улице Сен-Дени, в школе, в лавке, для своих приятелей-мальчишек, для учителей, соседей и клиентов отцовской часовой мастерской, он был «fils Caron»; позднее враги, в Версале или в суде, от Лаблаша до Гезмана, продолжают именовать его «fils Caron». Доставьте мне удовольствие — отложите книгу и произнесите это как положено, точнее, как было положено в ту пору — фи карон, фикарон. Вот так Бомарше это и слышал тысячи раз, да нет, много больше — фикарон, — неужели же после этого его герой случайно назван Фигаро! Противники г-на Шерера настаивают на этом; должен ли я объяснять, что не разделяю их мнения?

А вот еще одна странная деталь — в «Цирюльнике» бегло упоминается о некой малютке Фигаро. В то время, да и позже, эта девочка вызывала немало недоуменных вопросов. В 1775 году, когда Бомарше спрашивали, что это за ребенок, где он родился, сколько ему лет и как зовут его мать, Бомарше всячески уклонялся от ответа. Можно было рассчитывать, что он воспользуется «Женитьбой», чтобы удовлетворить любопытство публики, о котором отлично знал, но, как ни странно, он предпочел умолчать. А ведь ему ничего не стоило так или иначе оправдать существование этого ребенка. Так вот нет! Он снова увильнул. «Женитьба» была окончена в 1778 году и поставлена шестью годами позже. В 1777 году Мария-Тереза Виллермавлаз родила Бомарше дочь, так что с малюткой Фигаро, вырвавшейся у него, если можно так сказать, в «Цирюльнике», уже не следовало шутить. Удивительный Бомарше, который обожает рассказывать о себе, вспоминая прошлое, а то и забавляется, стремительно прокручивая вперед стрелки времени — говорит о своей дочери за два или три года до ее рождения.

И я, отец, там умереть не мог!

Итак, вернемся к таинственному эпиграфу. Известно, как выбирает писатель строку или фразу, которую предпошлет своему произведению. Чаще всего он не ищет сознательно, а натыкается на эпи-

граф случайно, влюбляется в него неожиданно для себя. Магия слова подчас тут оказывается важнее его значения. Человеку, отметившему или подчеркнувшему — к примеру, в «Заире» — какую-то короткую фразу, отнюдь не всегда известно, почему именно он так поступил, что тут его бессознательно задело.

Попробуем все же разгадать эту загадку. Не буду лукавить и познакомлю вас со своими гипотезами в том порядке, в каком они у меня возникали. Первая из них была, признаюсь, довольно глупой. Сначала я предположил, что под словом «отец» подразумевается автор произведения, который не может умереть, ибо творение его бессмертно. Я же обещал вам не лукавить! Вторая идея была получше: эпиграф — намек на обожаемого и потерянного сына. Я был отцом. И я не мог умереть вместе с ним. Гипотеза, конечно, более волнующая, но у нее есть два недостатка: один небольшой — чересчур уж она логична, другой — крупный — все это не имеет ни малейшего отношения к «Цирюльнику». Вам приходит на ум малютка Фигаро? Да, третья догадка связана с ней. Но объяснение приходится, что называется, притягивать за уши. Я был отцом (малютки Фигаро) и не мог умереть (так как родилась она лишь на сцене) — вы видите, я не стыжусь, не таю от вас собственных глупостей. Но ведь еще глупее делать вид, будто Бомарше вовсе не поставил эпиграфом эту строку Вольтера! В предисловии к «Цирюльнику» он со смехом рассказывает, как осадил некоего господина, попрекнувшего его тем, что он вдохновлялся Седеном: «Другой театрал, выбрав момент, когда в фойе было много народа, самым серьезным тоном бросил мне упрек в том, что моя пьеса напоминает «Во всем все равно не разберешься». — «Напоминает, сударь? Я утверждаю, что моя пьеса и есть «Во всем все равно не разберешься». — «Как так?» — «Так ведь в моей пьесе так до сих пор и не разобрались». Разберемся же в этом проклятом эпиграфе и не будем делать вид, будто его вовсе не существует. Ломени указал мне четвертый путь, который, полагаю, и ведет к истине, напомнив о реплике, вырезанной Бомарше между первым и вторым представлением: «Не говоря уж о том, что я потерял всех отцов и матерей; с прошлого года я в трауре по последнему», Ломени замечает: «Не странно ли, что Бомарше, который был замечательным сыном и братом, а впоследствии показал себя лучшим из отцов, настолько в плену у своего замысла создать тип насмешника, не знающего ничего святого, что вкладывает в уста Фигаро издевку над чувствами, как правило, уважаемыми даже в комедии». Видимо, я более толстокож, чем мой прославленный предшественник, семейные выпады Фигаро меня отнюдь не шокируют, и если быть откровенным, даже нравятся мне. Можно любить отца и мать, но ставить под сомнение самое понятие родословной. Как мы уже отметили на первых страницах, Бомарше был сыном часовщика Карона *и* неизвестно чьим сыном. Удивление Ломени толкнуло меня пойти в этом направлении дальше. В «Сдержанном письме» о провале и критике «Севильского цирюльника» автор, как справедливо заметил Рене Помо, веселится напропалую. Предисловие к «Цирюльнику» слишком известно, чтобы здесь его анализировать. Достаточно,

мне кажется, напомнить, что написанное единым духом, через несколько недель после черной пятницы, когда «бедный Фигаро был высечен завистниками», и воскресенья, когда герой, почти уже погребенный, ожил и воспрял, это предисловие отмечало, что «ни строгий пост, ни усталость после семнадцати публичных выступлений не отразились на жизненной его- силе». Прикинувшись скромником, потупя взор, автор представляет свою пьесу читателю, иными словами, остроумно и язвительно защищает ее от всех, кто «свистел, сморкался, харкал, кашлял и нарушал порядок» на спектакле, а в особенности от «буйонского журналиста». «Энциклопедическая газета общества литераторов» издавалась в Буйоне, отсюда и эта кличка. Критики из Буйона были людьми опасными, и их действительно опасались; эти литературные первосвященники предавали анафеме, выносили безапелляционные приговоры. Есть и у нас сегодня свои буйонцы, хотя их варево — жидкий супчик в сравнении с наваристыми бульонами «Энциклопедической газеты». Короче, эти господа решили прирезать Фигаро. Но задача оказалась нелегкой. Вернемся, однако, к нашему эпиграфу. В «Сдержанном письме» есть место в высшей степени интересное:

«Я же лично не собирался Делать из этого плана ничего иного, кроме забавной, неутомительной пьесы, своего рода imbroglio [1], моим воображением владела отнюдь не серьезная пьеса, но превеселая комедия, потому-то в качестве лица, ведущего, интригу, мне понадобился не мрачный злодей, а малый себе на уме, человек беспечный, который посмеивается и над успехом и над провалом своих предприятий. И только благодаря тому, что опекун у меня не так глуп, как все те, кого обыкновенно надувают на сцене, в пьесе появилось много движения, а главное, пришлось сделать более яркими других действующих лиц.

Если бы я, вместо того чтобы остаться в пределах комедийной простоты, пожелал усложнить, развить и раздуть мой план на трагический или драматический лад, то неужели же я упустил бы возможности, заключенные в том самом происшествии, из которого я взял для сцены как раз наименее потрясающее?

В самом деле, теперь ни для кого уже не является тайной, что в ту историческую минуту, когда пьеса у меня весело заканчивается, ссора между доктором и Фигаро из-за ста экю начинает принимать серьезный характер уже, так сказать, за опущенным занавесом. Перебранка превращается в драку. Фигаро бросается на доктора с кулаками, доктор, отбиваясь, срывает с цирюльника сетку, и все с удивлением обнаруживают, что на его бритой голове выжжен шпатель. Слушайте меня внимательно, милостивый государь, прошу вас.

При виде этого доктор, как сильно он ни был избит, восторженно восклицает: «Мой сын! Боже, мой сын! Мой милый сын!..»

Однако же Фигаро не слышит этих слов — он с удвоенной силой лупит своего дорогого папашу. Это и в самом деле его отец.

---

[1] Путаница (*ит.*).

Фигаро, вся семья которого в давнопрошедшие времена состояла из одной лишь матери, является побочным сыном Бартоло. Доктор в молодости прижил этого ребенка с чьей-то служанкой; служанка из-за последствий своего легкомыслия лишилась места и оказалась в самом беспомощном положении.

Однако ж, прежде чем их покинуть, огорченный Бартоло, в то время подлекарь, накалил свой шпатель и наложил клеймо на затылок сына, чтобы узнать его, если судьба когда-нибудь их сведет. Мать и сын стойко переносили лишения, а шесть лет спустя некий потомок Луи Горика, предводителя цыган, который кочевал со своим табором по Андалусии и которого мать попросила предсказать судьбу ее сыну, похитил у нее ребенка, а взамен оставил в письменном виде следующее предсказание:

Кровь матери своей он пролил бессердечно,
Злосчастного отца он поразил потом,
Но ранил собственным себя он острием
И вдруг законным стал и счастлив бесконечно! [1]

Изменив, сам того не подозревая, свое общественное положение, злосчастный юноша, сам того не желая, изменил и свое имя: он вступил в зрелый возраст под именем Фигаро; он не погиб. Его мать — это та самая Марселина, которая уже успела состариться и теперь ведает хозяйством доктора; потеряв сына, она нашла утешение в ужасном предсказании. И вот ныне оно сбывается.

Пустив Марселине кровь из ноги, как это видно из моей пьесы, или, вернее, как это из нее не видно, Фигаро тем самым оправдывает первый стих:

Кровь матери своей он пролил бессердечно.

Когда после закрытия занавеса он, не ведая, что творит, колотит доктора, он тем самым подтверждает правильность второй части предсказания:

Злосчастного отца он поразил потом.

Вслед за тем наступает трогательнейший момент: доктор, старуха и Фигаро узнают друг друга. «Это вы! Это он! Это ты! Это я!» Какая эффектная сцена! Однако ж сын, придя в отчаяние от простодушной своей вспыльчивости, заливается слезами и, согласно третьему стиху, хватается за бритву:

Но ранил собственным себя он острием.

Какая картина! Не подлежит сомнению, что, если бы я не пояснил, собирается ли Фигаро перерезать себе горло или всего только побриться, у пьесы получился бы необыкновенно сильный конец. В заключение доктор женится на старухе, и Фигаро, в соответствии с последним прорицанием,

...вдруг законным стал и счастлив бесконечно!

---

[1] Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.

Какая развязка! Для этого мне пришлось бы написать шестой акт. И какой шестой акт! Еще ни одна трагедия в «Комеди Франсэз»...»

Поразительно, правда? Совершенно очевидно, что, рассказывая чудовищную трагедию, которую он мог бы написать, Бомарше потешает нас, издеваясь над кипящей «буйонской» критикой. «Еще ни одна трагедия в «Комеди Франсэз»...». Но ведь мы знаем — он ее напишет! И пьеса будет сыграна на сцене «Комеди Франсэз»! Все, значит, было предусмотрено, взвешено, кроме одной детали, которой правда, не стоит пренебрегать — это будет не трагедия, а комедия: «Безумный день, или Женитьба Фигаро»! Итак, цирюльник был сыном Бартоло и Марселины. В «Женитьбе» родители узнают его по клейму на правой руке, и он станет законным и счастливым! Издевка, разумеется. Значит, Бомарше мог написать своего «Цирюльника», не выдавая нам этого важного секрета, решив хранить его про себя — в ту пору мысль о «Женитьбе» еще не возникла — и, главное, написать свое «Сдержанное письмо», где он нас потешает рассказом о нелепой трагедии, чтобы поставить в смешное положение буйонского критика, меж тем как сам он отлично знает, и знает только он один, что эта трагедия — чистая правда. Вернемся же опять к нашей отправной точке: тайна Фигаро — тайна его рождения. Он вынужден идти дорогой, на которую «вступил, сам того не зная»... Секрет Фигаро — секрет самого Бомарше. Неотступная мысль, определившая много в его жизни, затаенная, подавленная, вытесненная, как сказали бы сегодня, мысль, которая может быть выражена только окольным путем смеха. Повторяю, своей магией «Цирюльник» обязан теневой стороне, неуловимому. Поразительное дело: самый легкий, самый ясный, самый веселый из всех французских драматургов оказывается, если проанализировать, самым темным, самым загадочным, самым обескураживающим, какого только можно себе представить... «...совершенно разуверившись... Разуверившись!» Все это, конечно, ничего не меняет, обе комедии остаются такими, какими были, живыми и блестящими, было бы безумием смущать зрителя нашими изысканиями; очарование действует без всяких объяснений. Кому, глядя ранней весной, как, словно по мановению волшебной палочки, показываются из земли хрупкие маки, придет в голову думать, что это сорняк или что из сока семян ближайшего родственника этого мака выжимают молочко, которое быстро краснеет, затем делается коричневым и именуется опиумом? Только ботанику! Так же примерно и с Бомарше. В театре достаточно получить удовольствие, но в биографию автора необходимо вглядеться глубже, даже если это подчас и нарушает праздничное настроение.

Вам кажется, что Фигаро вышел из своей гитары, как другие выходили из бедра божества? Не верьте своему впечатлению! Время от времени Бомарше подает нам знаки, конечно, комедийные, но мы уже знаем, комическое *и* серьезное у него нераздельны. Впрочем, чтобы эти знаки не прошли незамеченными — ведь в театре близорукость весьма распространена, — он возвращается к ним на свой лад, иными словами, насмешничая, в предисловии:

«Но как же он (критик) не оценил того, на что все порядочные люди не могли смотреть без слез умиления и радости? Я разумею сыновнюю нежность этого славного Фигаро, который никак не может забыть свою мать!

«Так ты знаешь ее опекуна?» — спрашивает его граф в первом действии. «Как свою родную мать», — отвечает Фигаро. Скупец сказал бы: «Как свои собственные карманы». Франт ответил бы: «Как самого себя». Честолюбец: «Как дорогу в Версаль», а буйонский журналист: «Как моего издателя», — сравнения всегда черпаются из той области, которая нас особенно занимает. «Как свою родную мать», — сказал любящий и почтительный сын.

Разумеется, эта реплика Фигаро прежде всего комична, как комична и связанная с ней аргументация, противопоставленная аргументации критика; то, о чем мы сейчас говорили, скрыто в подтексте. Бомарше, которому все известно, заставляет Фигаро, которому ничего не известно, сказать, что он знает Бартоло, как свою мать, адресуясь к зрителям, также находящимся в полном неведении, — на первый взгляд хитроумие совершенно бесцельное, поскольку оно никак не связано с развитием действия. Вот и в часах: мы видим движение стрелок, различаем, который час, но кто при этом вспоминает о спуске или пружине? Часовщик.

И я, отец, там умереть не мог!

Я был отцом, я должен был бы умереть. Отца и сына связывает только чувство. Я умереть не мог, потому что любил своего сына; но я должен был бы умереть, потому что давать жизнь нелепо. «Вот необычайное стечение обстоятельств... Почему случилось именно это, а не что-нибудь другое? Кто обрушил все эти события на мою голову? Я вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, и с которой сойду, сам того не желая». Я вынужден был: я умереть не мог. Бартоло не может узнать Фигаро, а Фигаро не может даже вообразить, что доктор его отец. Марселине, которая в «Женитьбе» спрашивает Фигаро, не подсказывало ли ему тысячу раз сердце, что Бартоло его отец, он отвечает только: «Никогда». Его отношения с матерью столь же ложны, столь же затемнены. Бомарше, однако, неотступно преследует одна мысль: он сам неизвестно чей сын, и его собственный сын в один прекрасный день ощутит себя неизвестно чьим сыном; он будет отцом и не сможет умереть. Присовокупите нежность, которую он, как мы знаем, питал к старому г-ну Карону, и страстное желание отцовства. «Становитесь отцами: это необходимо» — напишет он после рождения дочери. Потребность иметь сына, нежелание дать жизнь «ничьему сыну», какое противоречие! И разве не замечательно, что этот глубочайший душевный конфликт, так никогда и не нашедший разрешения, вскормил две комедии, из которых одна, во всяком случае, отполирована как зеркало? Взглянув в нее, Андре Жид увидел только блестки остроумия, но он плохо смотрел. Вопреки ли этому внутреннему конфликту или благодаря ему Бомарше превратил свою жизнь в авантюру? Что подстегивает Фигаро? Протестанту, чтобы выжить, приходилось перейти

в католичество, цирюльнику — быть к услугам своего господина. Таков был закон, однако Бомарше-Фигаро решил преступить его, взбунтоваться, перейти к действию, поставив под сомнение всю существующую социальную систему. Я могу стать собой только против собственного отца и против короля, которые, один по своей слабости, а другой от своей силы, приговорили меня не быть самим собой. В конечном итоге Бомарше обнаружит, что каждый рождается протестантом, вынужденным тотчас перейти в католичество. Ты мой отец, но ты также и Бартоло. А я не хочу в свою очередь превратиться в Бартоло, я хочу остаться Фигаро, иными словами, я хочу остаться протестантом, ну а коли не выгорит, не стану делать из этого трагедии, только посмеюсь над своим злосчастием:

«— Кто тебя научил такой веселой философии?

— Привычка к несчастью. Я тороплюсь смеяться, потому что боюсь, как бы не пришлось заплакать».

И не станем забывать — не будь этого всепобеждающего смеха, у нас не было бы ни Фигаро, ни Бомарше.

Старому г-ну Карону, о котором мы недавно упомянули не без суровости, было не до смерти — шокируя близких, он в свои семьдесят семь лет только и думал, как бы сочетаться в третий раз браком с некой плутовкой, чуть помоложе его самого, девицей Сюзанной-Леопольдой Жанто, у которой он с недавних пор проживал, отнюдь не смущаясь незаконностью этой связи. Жанто, умело разжигавшая чувства г-на Карона, последовала за ним к алтарю 18 апреля 1775 года с восторгом, вполне оправданным брачным контрактом, о котором нам, увы, еще придется говорить. Чтобы добиться своих целей, ей нужно было только распалять старика. Поскольку она и сама пылала, а вдобавок была особой весьма искушенной в делах любви, г-н Карон вполне ее осчастливил, скончавшись через полгода после свадьбы. Бартоло говорил о Розине: «Пусть лучше она плачет от того, что я ее муж, чем мне умереть от того, что она не моя жена». У престарелого Андре и престарелой Леопольды все обстояло немного иначе: она не плакала, заполучив его в мужья, он же, заполучив ее в жены, отдал богу душу. В день бракосочетания отца, которое тот от него утаил, как и в день отцовской кончины, о которой он узнал слишком поздно, Пьер-Огюстен опять был в Лондоне, где сражался с некой девицей, не многим моложе Леопольды и столь же охочей до выгодных сделок. Но прежде чем познакомиться с ней, перевернем страницу.

9

КАКОГО ПОЛА ДРАГУН?

> Каждая подробность моей жизни отмечена какой-то странностью.

Consilio manuque, Фигаро.

Как и его герой, сам Бомарше снова готов был служить его превосходительству, великому коррехидору Андалусии, а точнее, Людовику XVI. Король и его министры, со своей стороны, видимо, тоже были не прочь снова прибегнуть к услугам человека со столь легкой рукой. Ведь г-н де Ронак сумел добиться успеха в Лондоне и Вене в таких делах, в которых лучшие тайные агенты терпели поражение. «Интрига и деньги — это твоя стихия!» — говорит в «Женитьбе» Сюзанна, обращаясь к Фигаро. Это ее слова. Она повторяет то, что говорит молва. Мы уже поняли: Бомарше обворожен политикой. Он занимался ею, и весьма удачно, в Англии, это известно в Версале. Но вкус к тайне, очень развитый в том веке, и пороки системы толкали короля и его советников выбирать в дипломатии самые темные пути. Кроме того, личные дела всех принцев всегда перепутывались с делами государственными. Трудно себе представить, сколько энергии и времени тратили такие люди, как Шуазель и Верженн, чтобы решить альковные проблемы или купить молчание не в меру прытких газетчиков. Короче, если от Бомарше ожидали, что он продолжит ту миссию, которую начал в Лондоне и которая была чисто политической, незаменимому г-ну де Ронаку поручили также распутывать и те низменные интриги, которые плелись в этом городе. Хлопоты г-на де Ронака, сказали ему, прикроют дела Бомарше и всегда будут служить благовидным предлогом для его деятельности в Лондоне. Этот аргумент был не лишен убедительности. Помимо того обстоятельства, что ему нельзя было в открытую соперничать в политических делах с послом Франции, особый характер его политики, крайне враждебный Англии, требовал соблюдения строжайшей тайны. С Рошфором, например, он мог встречаться только на официальной почве. Но эта двусмысленная роль и как бы подпольное положение, которое ему навязывали, вовсе не нравились Бомарше. Он признался в этом Сартину, не скрывая своего неудовольствия: «Сударь, я припадаю к стопам короля, чтобы выразить мое вполне оправданное отвращение к определенному роду поручений, которые к тому же хорошо выполнять труднее, чем самые трудные политические миссии». Мы понимаем его возмущение. Не говоря уж об «отвращении всех оттенков», которое он испытывал, появляясь в обществе таких людей, как Моранд или Анжелуччи, он страдал за свою репутацию. В той двойной игре, которую он вел, общественному мнению была известна лишь внешняя сторона, то есть всевозможные сделки, интриги, шпионаж. И люди, всегда готовые видеть в нем всего лишь ловкого авантюриста, находили таким образом подтверждение своего

предвзятого мнения. Еще и сегодня, вопреки очевидности, доказательствам, фактам, все упорствуют в желании судить о нем по той маске, которую он носил. Прежде чем мы встретимся с нашим драгуном, шевалье д'Эоном, мне хотелось бы, признаюсь вам сразу, еще раз остановиться на странности этой судьбы, отмеченной одновременно успехом и поражением. Да, и поражением, ибо как не считать поражением то, что ему так и не удалось отделаться от бубенчиков на своем шутовском колпаке и что он так и не сумел никогда достичь своих истинных целей. Ему тоже хотелось, чтобы, после того как к нему так долго приглядывались, к нему начали бы наконец и прислушиваться. Этот человек, в свое время более знаменитый, чем Вольтер, которого, стоило ему появиться в общественном месте — во Франции как и за границей, — всюду встречали песенкой «Все тот же он», подобно тому как исполняют национальный гимн, когда в зал входит глава государства; этот человек никогда не был по-настоящему признан. Приветствовали и окружали почестями как бы не его, а кого-то другого. Фигаро стал законнорожденным, но сам Бомарше — никогда. Он так и умер неизвестно чьим сыном. В Жокей-клубе, где при приеме нового члена голосуют черными и белыми шарами, достаточно одного черного, чтобы тебя провалили. А против Бомарше всегда кто-то кидал один черный шар. В какой-то момент у нас возникнет подозрение, не сам ли он тайком вынимал его из кармана?

Итак, 8 апреля 1775 года Бомарше отправился в Лондон, где его ожидал капитан драгунов. Однако по дороге в Булонь он вскоре заметил, что за ним по пятам следовал «какой-то всадник, который, не теряя его из виду, делал точно такие же перегоны, что и он», — рассказывает Гюден. Первый раз в жизни охотник превратился в дичь. Тем не менее ему удалось обмануть своего преследователя и благополучно прибыть в Лондон. На следующий день г-н де Ронак нашел у себя под Дверью анонимное письмо, в котором ему предлагалось в кратчайший срок вернуться во Францию, в противном же случае ему угрожали смертью. Главной чертой характера Бомарше было мужество. С годами, в отличие от большинства людей, любовь к риску у него только усиливалась. Как мы убедимся, он становится все менее и менее осторожным и привыкает постоянно ставить свою жизнь на карту. Его противник или противники, о которых мы ровным счетом ничего не знаем, просчитались. Вместо того чтобы начать прятаться или нанять себе телохранителя, он раскрывает свое инкогнито и ведет себя вызывающе. Прежде всего он отказывается от чужого имени, под которым приехал в Лондон, и повсюду объявляет, что он — Бомарше. С этой минуты его можно встретить в публичных местах без всякой охраны, но окруженного поклонниками, которые еще больше привлекают к нему внимание. Через газету, самым официальным образом, он просит своего анонимного корреспондента объявиться.

Вместо ожидаемого посетителя г-н де Бомарше принимает некую даму по фамилии Кампаньоль и монаха-расстригу Виньоля. Оба они писали пасквили. Их произведения, если можно так выразиться, поскольку нет никаких доказательств, что именно они их авторы, мети-

ли в молодого монарха. Но если г-жа Компаньоль обвиняла несчастного Людовика XVI в делах, которые во всем Версале он один был не в состоянии свершить, бывший монах, куда более хитрый и ловкий, обличал короля в бессилии другого рода: если верить Виньолю, Людовик XVI только считался королем, а на деле в силу умственной отсталости был игрушкой в руках министров и Австриячки. Бомарше очень легко, должно быть с помощью Рошфора, сумел заткнуть глотки этим двум мошенникам. Справившись с этой задачей, он незамедлительно занялся политикой и, чтобы дать понять королю, что намерен всецело посвятить себя этой деятельности, направил в Версаль длинный мемуар, предпослав ему эти несколько строк, где ставил все точки над «i».

«После того как я принял необходимые меры, чтобы уничтожить, не компрометируя себя, этот клубок змей, я занялся более благородными делами, пустился в изучение вопросов, которое приносит куда больше удовлетворения, поскольку мое имя, и только оно, ввело меня в круг людей, принадлежащих к самым разным партиям, и таким образом мне удалось из первых рук узнать все, что касается правительства и нынешнего положения в Англии. Теперь я могу предложить вниманию Вашего Величества очень точные и весьма поучительные наблюдения о людях и здешних обстоятельствах в подробном или кратком изложении.

Я могу дать самое верное представление о положении в метрополии, о ее политике в колониях и о реакции Англии на происходившие там беспорядки; я могу также сообщить, какие это возымеет последствия для обеих сторон, и объяснить, насколько важны все эти события для интересов Франции; а также определить, на что нам надеяться и чего следует опасаться в отношении наших островов, снабжающих нас сахаром; как обеспечить мир, что неизбежно может привести к войне, и т. д.».

Бомарше отправил это послание и первый отчет десять дней спустя после приезда: нельзя сказать, что он зря терял время. Если я процитировал это письмо, носящее скорее протокольный характер, то лишь потому, что мне надо было найти отправную точку, чтобы показать эволюцию моего героя. Когда он предложил свои услуги или, вернее, заставил ими воспользоваться, он чувствовал себя еще неуверенно и вел себя поэтому весьма обходительно, однако вскоре он осознает, какую важную роль может играть, и потому начинает говорить все громче и громче и в конце концов доходит до того, что дает королю весьма нелицеприятный урок. Но, прежде чем начать наконец оказывать влияние на политические события, служить интересам Франции и изменять расстановку сил в мире — тайно он помышлял лишь об этом, — он был подвергнут еще одному испытанию и одержал победу над драгуном.

В то время в Лондоне трое французов задавали тон общественному мнению: Моранд, г-жа де Годвиль и шевалье д'Эон. До вмешательства Бомарше Французское государство было совершенно бессильно справиться с этим страшным трио. Мы уже видели, как де Ронак превратил браконьера Моранда в самого верного из королев-

ских егерей, дальше мы увидим, как Бомарше, толкнув г-жу де Годвиль в бездну разврата, выведет ее на путь лояльности. С Эоном дело оказалось сложнее. Он был куда более умен, чем Моранд, и, что бы там ни болтали, другого пола, чем г-жа де Годвиль.

Шарль-Женевьев-Луи-Огюст-Андре-Тимоте д'Эон был одной из самых любопытных фигур XVIII века. О нем, как известно, без конца говорили и писали. Надо добавить, что этот капитан драгунов делал все, что было в его силах, чтобы привлечь внимание к своей особе или, выражаясь без экивоков, к некоему своеобразию своей анатомии. Но, смею сказать, игра не стоила свеч. Шарль-Женевьев д'Эон, давайте сразу же рассеем все сомнения, был совершенно нормальным мужчиной. Когда он умер в 1810 году, целый сонм врачей кинулся на его труп, подобно тому как несчастья обрушиваются на бедняка. Но, к их великому разочарованию, они без особого труда констатировали, что имеют дело не с драгуншей. Один из них подписал следующий документ: «Настоящим подтверждаю, что в присутствии г-на Адера, г-на Уилсона и отца Элизе я обследовал тело шевалье д'Эона, подверг его вскрытию и обнаружил при этом, что мужские органы у него нормальны во всех отношениях. Томас Копленд, хирург». А ведь эти врачи втайне надеялись найти доказательства, что Эон гермафродит, потому (я весьма сожалею, что вынужден входить в такие подробности) они и подвергли его самому тщательному осмотру. Будь у врачей хоть малейшее сомнение, обнаружь они хоть какую-то внешнюю или внутреннюю недоразвитость его половых органов, они с радостью и с сознанием исполненного долга принялись бы писать по этому поводу статьи, делать научные сообщения и устраивать конференции. Разочарованные результатом обследования, они все же оказались честны и сообщили то, что видели, убежденные, что раз и навсегда покончили с этой тайной. Но они не учли всевозможных сочинителей легенд, которые знают вкусы своей клиентуры. И теперь еще немало людей продолжают интересоваться тайной красавца шевалье, хотя слово «тайна» здесь можно употребить лишь по традиции.

Когда Бомарше впервые встретился с Эоном, тому было около пятидесяти. Это был уже немолодой человек. Известно, что мужчины, у которых долго сохраняется юношеский облик, в старости выглядят хуже других. Их кожа покрывается морщинами, черты лица расплываются, краски блекнут. Внезапно Дориан Грей становится похожим на свой портрет. Говорят, это случилось и с шевалье д'Эоном. В двадцать лет его изящество и красота были настолько бесспорными, что его вполне можно было принять за девушку. Ошибиться на его счет было легко. Так как к тому времени он уже успел проявить дипломатические способности, не скрывал своего желания оказывать тайные услуги, а мужества у него было хоть отбавляй, Людовик XV послал его в Санкт-Петербург, где ему удалось получить должность чтицы у императрицы Елизаветы. Если верить слухам, Шарль-Женевьева покорила царицу и уехала только после того, как добилась сближения внешнеполитических курсов России и Франции.

Когда Эону стукнуло тридцать лет и сомнении насчет его пола уже не оставалось, Женевьева вновь превратилась в Шарля, который занимал различные посты в посольствах. На протяжении двадцати лет (или около того) ни у кого и в мыслях не было сомневаться насчет его пола. Шарль «пил, курил и чертыхался как немецкий фельдъегерь»; к тому же, вспыльчивый по натуре, он всегда был готов выхватить шпагу и драться. Непобедимый дуэлянт, он многих убил и многим причинил горе. Поэтому во врагах у него недостатка не было. После парижского договора Людовик XV назначил его секретарем посольства в Лондоне, а затем первым советником при после Герши. На самом деле шевалье д'Эон получил в высшей степени секретное поручение. Король велел ему собрать все предварительные сведения на случай возможной высадки французских войск в Англии. Это значило, что двор полностью доверял ему. Д'Эон всецело отдался выполнению своей миссии, завязывая контакты с членами британского правительства и Георгом III. Некоторые авторы вслед за Гайярде уверяют, что драгун настолько преуспел в своем усердии, что очутился в постели королевы Софии-Шарлотты и, следовательно, является настоящим отцом Георга IV. По их словам, шевалье, чтобы спасти честь королевы, сам пустил слух, будто он — женщина. И те же самые «историки» объясняют приступы безумия у Георга III сомнениями, терзавшими его по поводу своего отцовства. Однако, судя по фактам, слух об этом «романе» ни на чем не основан. Ломени, который в него не верил, утверждает, что только одно письмо герцога д'Эгийона, адресованное шевалье, «придает некоторое правдоподобие этой версии», не выдерживающей, однако, критики с точки зрения логики и опровергнутой всеми остальными свидетельствами. В этой сказке, не представляющей ни малейшего интереса, важно лишь то, что до смерти Людовика XV никто и не помышлял принимать драгуна за даму. Зато его жестокая ссора с графом де Герши имеет прямое отношение к Истории. Конфликт между послом и доверенным дипломатом был неизбежен, поскольку один получал приказы от своего министра, а у другого лежали в кармане письма самого короля, но он не мог их предъявить. В этой двойной королевской игре Герши видел только те карты, которые держал в руках. Поэтому он вскоре счел шевалье человеком, купленным Англией, и пытался найти тому подтверждение, захватив его документы. Собирался ли посол, как утверждает шевалье, отравить его с помощью некоего Трейссака де Вержи? Этого я не знаю. Ясно другое, а именно: оба дипломата не могли больше друг друга выносить и дело дошло до дуэли. Скандал получился весьма серьезный и имел последствия, поскольку сын г-на де Герши публично поклялся, что не покинет этого мира, не отомстив за отца. Людовик XV оказался в весьма затруднительном положении, ему пришлось официально уволить Эона в отставку, однако в письме он просил его тайно продолжать свою миссию. Но тут Людовик XV умер, и, как это часто бывает в подобных случаях, тайный агент Эон, всеми забытый, лишенный связи с родиной, разоренный, потерявший все контакты, превратился в бывшего агента. Но драгун в отставке располагал на-

стоящим сокровищем: письмами умершего короля. Вскоре он решил это сокровище использовать.

Я полагаю, нам было необходимо сделать это небольшое отступление и вернуться назад, чтобы понять, не рискуя ошибиться, какова была природа отношений между шевалье д'Эоном и Бомарше. «Случайно» ли Бомарше встретился с драгуном, как это обычно считают? Не думаю. Я убежден, что Верженн попросил нашего дипломатического курьера принять экстренные меры. Переписка между министром иностранных дел и Бомарше показывает, что предстоящая сделка была как следует подготовлена, поскольку шевалье д'Эон уже сообщил свои условия в письме, адресованном Верженну несколько месяцев назад. Одним словом, драгун, которому надо было кормить семь ртов, требовал от государства около 300 000 ливров; впрочем, часть этой суммы ему просто задолжали — монархия, как я уже говорил, расплачивалась неохотно; при этом подразумевалось, что, как только названная сумма будет ему выплачена, он вернет Франции свое сокровище.

Они встретились в конце апреля или в начале мая, и начались переговоры.. «Мы оба, — рассказывал шевалье, — находились во власти естественного любопытства, присущего редким животным, когда они вдруг сталкиваются». У драгуна были все качества, необходимые для того, чтобы понравиться Бомарше. Он был блестящ, забавен, циничен и знал Лондон, как никто. Его повсюду принимали, он пользовался успехом благодаря уму и экстравагантности, только что обогатил свою легенду, придумав, будто он женского пола, и кричал о том на всех углах. Гюден, последовавший за Бомарше в Лондон, познакомился с ним у лорд-мэра:

«В первый раз я встретился с д'Эоном у Уилкесов. Удивленный тем, что на груди одного из гостей сверкал крест Святого Людовика, я спросил у дочери Уилкеса, кто это такой; она назвала его имя. «У него женский голос, — сказал я. — Видимо, отсюда и возникли все слухи, которые ходят о нем». Больше я тогда ничего не знал. Мне также ничего еще не было известно об отношениях д'Эона с Бомарше. Вскоре я услышал об этом от самого драгуна. В слезах признался он мне (говорят, это было в духе д'Эона), что он — женщина; она тут же обнажила свои ноги, испещренные шрамами — следы ран, которые она получила, когда упала с убитого в бою коня, и по ней, распростертой на земле, умирающей, проскакал целый эскадрон».

Легко себе представить, что в тогдашних салонах все готовы были без устали слушать исповедь старого капитана, который, рыдая, признавался в том, будто он — барышня, и задирал штанину, чтобы показать свои старые раны. Если некоторые, как, например, Гюден, верили ему на слово, другие слушали его развлечения ради. Однако никто никогда не спросил д'Эона, например, почему хирурги в полевых госпиталях, зашивая его раны, не обнаружили, что он — дама. Ведь стоило кому-нибудь задать подобный вопрос и получить на него ответ, как игра была бы прекращена. В местах, пользующихся не столь доброй славой, как светские салоны, куда захаживал Бомарше, сопровождая д'Эона, и где он вскоре сделался завсегдатаем и даже

подцепил некую болезнь (сами догадайтесь, какую), держали пари по поводу пола драгуна. Были сделаны довольно значительные ставки — на «мистера стерлинга» и «мисс гинею». Чтобы выяснить, кто же выиграл, ждать пришлось долго — до 1810 года.

Не будем вдаваться в подробности переговоров насчет сделки, которые были нелегки, поскольку шевалье никак не мог решиться отдать свое сокровище, не получив полного удовлетворения, то есть выполнения всех своих требований: оплаты его долгов, назначения пенсии в 12 000 ливров и права вернуться во Францию. Больше всего переговоры затянулись из-за этого последнего пункта — сейчас мы увидим, почему. Дело в том, что Людовик XVI соглашался на возвращение шевалье на родину только при условии, что тот переоденется женщиной. В письме Верженна, адресованном Бомарше и датированном 26 августа, вопрос, как мне кажется, поставлен совершенно ясно:

«Сколь велико бы ни было мое желание видеть г-на д'Эона, познакомиться с ним и послушать его, не скрою от Вас, сударь, тревоги, не дающей мне покоя. Его враги не дремлют и с трудом простят ему его злословие. Если он приедет сюда, как бы разумно и осмотрительно он себя ни вел, они легко смогут приписать ему слова, нарушающие обет молчания, которого требует король. Опровержения и оправдания в подобных случаях всегда весьма затруднительны и противны благородным душам. Вот если бы г-н д'Эон согласился появиться в женском обличье, все было бы решено. Но, конечно, только он один может принять такое предложение. Однако в интересах его собственной безопасности ему следует посоветовать не проживать во Франции, а особенно в Париже, во всяком случае, в ближайшие несколько лет. Воспользуйтесь моим мнением так, как сочтете нужным».

Из этого письма можно, мне кажется, получить ответ на вопрос, который, естественно, возникает. Почему шевалье д'Эон должен был носить во Франции женское платье? Для современной психологии такое объяснение может показаться странным, но в основе его лежит совершенно очевидная вещь: в мужском костюме д'Эона обязательно убили бы. Анна и Клод Мансерон были совершенно правы, когда писали, что в XVIII веке тайная полиция не убивала женщин. Не вызывали их и на дуэль. И действительно, молодой граф де Герши, который поклялся отомстить за отца, отнесся с почтением к «девице д'Эон», как только она вернулась во Францию. К тому же легко предположить, что, создавая в Лондоне двусмысленную легенду вокруг своего имени, драгун весьма ловко готовил и делал возможным свое возвращение во Францию. Конечно, не надо ничего упрощать. Г-н д'Эон никогда не потерпел бы подобных слухов, не находи он в них какую-то выгоду или удовольствие. Однако в нем не было решительно ничего женственного, если не считать голоса. И нечего думать, будто его странное поведение можно отнести за счет осознанной гомосексуальности. Д'Эон любил женщин, не так чтобы страстно, но только их. Зато он обожал, чтобы о нем говорили, и охотно привлекал внимание к своей персоне. Он был в восторге от того, что ходил этакой живой загадкой и обманывал всех вокруг. Видимо, еще в Санкт-Петер-

бурге вместе с платьем чтицы он приобрел привычку вести сложную игру.

Приведенное письмо, как и многие другие, текст которых столь же ясен, показывает, что ни Верженн, ни Бомарше ни на минуту не поддались мистификации старого драгуна. Но подобные легенды живучи. Иные авторы не разобрались в игре министра и его посланника, которые иной раз в своей переписке писали про Эона в женском роде. Вот, например, Бомарше: «Все здесь говорят, что эта безумная от меня без ума». Или Верженн: «Какой интерес, по-вашему, этой амазонке... и т. д.». Что же касается самого заинтересованного лица, он охотно участвовал в этом маскараде и писал Бомарше, например, следующее: «Между нами никогда не было никаких обязательств; все, что Вы смогли оговорить касательно нашего будущего брака и т. д.». Сам тон этих шуток, как мне кажется, не оставляет каких бы то ни было сомнений. Тем не менее, повторяю, многие историки, и притом весьма солидные, утверждают, что Бомарше обманывался по. поводу стареющего драгуна. В этом случае дело обрело бы особую пикантность, и я, уж поверьте, с большой радостью раскрыл бы всю его подноготную, но не могу идти против собственного убеждения и фактов.

Чтобы закончить переговоры с д'Эоном, Бомарше пришлось несколько раз ездить из Лондона в Париж и обратно. Вскоре мы увидим, что у него были и другие основания для личных бесед с Людовиком XVI и Верженном, но он относился к невероятной сделке с д'Эоном весьма ответственно, не забывая, что это — первоочередное поручение. Вот, например, вопросы, которые Бомарше был вынужден задать Людовику XVI, и ответы, которые последний дал за несколько дней до окончательного завершения этого дела, когда условие «женственности» драгуна было уже безоговорочно принято.

«Разрешает ли король носить девице д'Эон крест Святого Людовика на женском платье?

Ответ короля: Только в провинции.

Одобряет ли его величество сумму в 2000 экю, которые я передал этой девице, чтобы она заказала себе женские наряды?

Ответ короля: Да.

Может ли она, в таком случае, полностью располагать своими мужскими гражданскими одеждами?

Ответ короля: Необходимо, чтобы она их продала».

В конце концов сделка все же состоялась, и после последней попытки увильнуть д'Эон передал Бомарше все документы, которыми располагал. Дело было обставлено столь серьезно, что они даже подписали договор: «Мы, нижеподписавшиеся, Пьер-Огюстен Карон де Бомарше, специальный посланец короля Франции и т. д. и барышня Шарль-Женевьева-Луиза-Огюста-Андре-Тимоте д'Эон де Бомон, старшая дочь и т. д.» В канун подписания этого документа Бомарше получил от короля письменное разрешение бывшему драгуну сохранить свой военный мундир, каску, саблю, пистолет и ружье со штыком, «как сохраняют дорогие предметы, принадлежавшие любимому существу, которого не стало», и это условие, как и все прочие, было черным по белому оговорено в документе.

Лишившись своего сокровища, драгун больше никому не был страшен. Так как он не спешил вернуться во Францию, его забыли. Ожесточившись, к тому же оскорбленный, видимо, поведением Бомарше, который, выполнив поручение, утратил к нему всякий интерес, д'Эон постарался привлечь к себе внимание, распространяя слух, будто Бомарше прикарманил значительную часть причитавшейся ему суммы. Но на сей раз Бомарше, уже понимающий толк в клевете, принял все меры предосторожности, и шевалье д'Эону пришлось отказаться от этих злобных инсинуаций. Поскольку ума и времени у него хватало, он придумал другие. Окунув свое перо в самую едкую кислоту, он написал Бомарше и Верженну (с жалобой на Бомарше) несколько довольно забавных писем, которые сам читал во всех салонах. Из всех его ядовитых стрел отметим ту, которая, как мне кажется, наиболее точно попадает в цель: «У Бомарше заносчивость ученика часовых дел мастера, который случайно открыл перпетуум-мобиле».

Самое странное во всей этой истории то, что шевалье д'Эон не воспользовался правом, за которое так долго сражался. Он вернулся во Францию лишь в 1777 году, чтобы сразу же ее покинуть. С присущим ему апломбом он появился в Версале в парадной драгунской форме. Когда ему заявили, что он больше не имеет права на эту привилегию, он явился на следующий день в женском платье. Г-жа Бертен, портниха принцесс, одела его по последней моде. Гримм, которому посчастливилось увидеть драгуна в таком наряде, никак не мог опомниться от этого зрелища: «Трудно вообразить что-либо более невероятное и непристойное, чем девица д'Эон в юбке».

10

Я, БОМАРШЕ

> Если Ваше Величество отвергает какой-нибудь проект, долг каждого, кто к нему причастен, от него отказаться. Но...

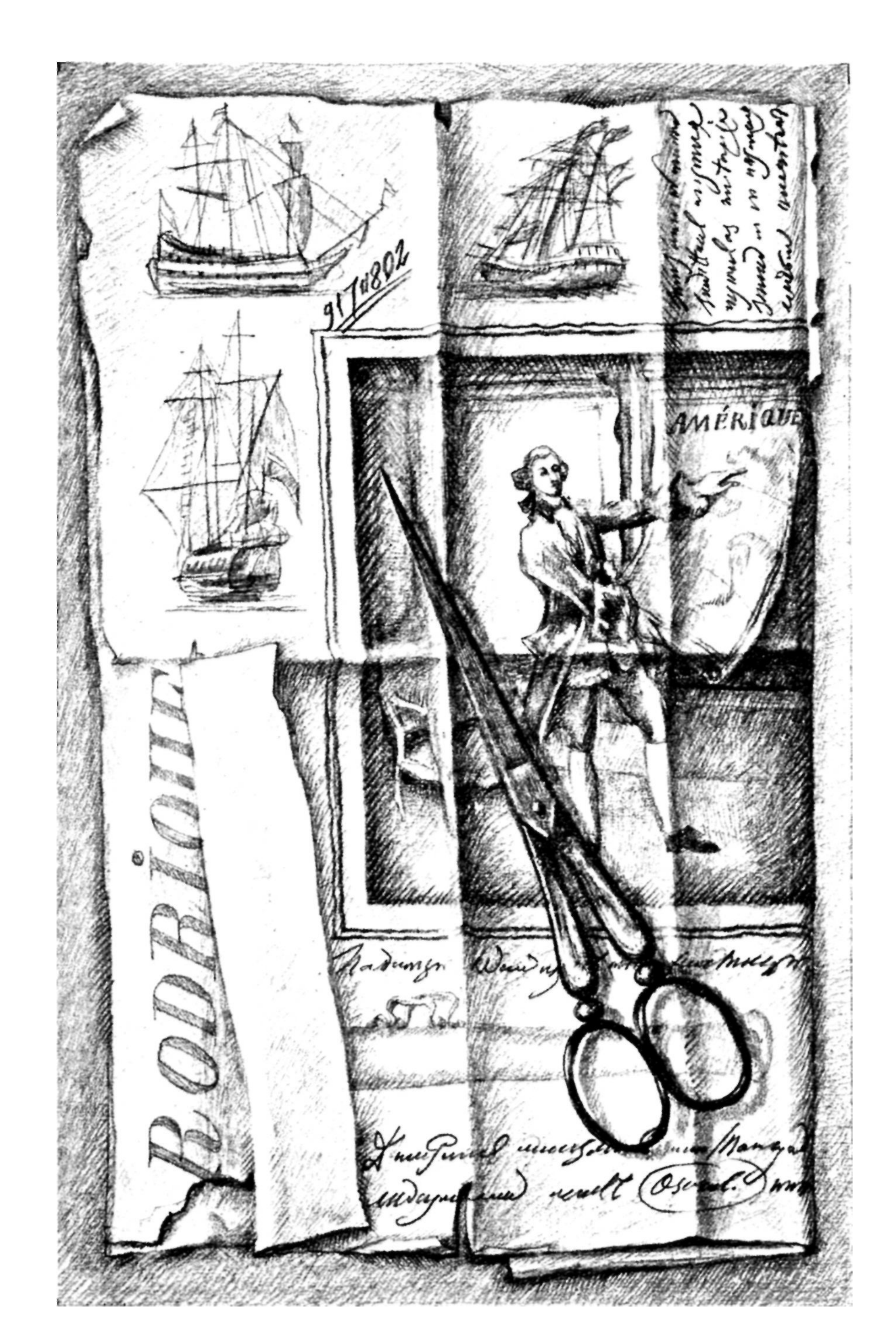
Автор исторического сочинения, желающий сохранить непредвзятость, вскоре убеждается, что легче сдвинуть с места гору, чем опровергнуть сложившуюся легенду. Случай с Бомарше, не спорю, необычный, и правду сказать трудно, потому что она противоречит предрассудкам и предвзятому мнению. Так что же, прикажете искажать факты, чтобы не сойти с рельсов Истории? Либо молчать? Это, как было ясно с первой же страницы книги, не входит в мои намерения. Я с самого начала сказал: роль Бомарше в отношениях между Францией и Англией, с одной стороны, и между Францией и Америкой — с другой, была не только основополагающей, но и решающей.

Во время своего путешествия в Испанию Бомарше вкусил радость политики, не ту, которую испытывают, занимая важный пост

или прославляя свое имя, а ту, которая охватывает тебя, когда ты можешь воздействовать на ход событий. Мадрид был его ученичеством. Скорее всего, он потерпел там поражение. В то время Бомарше был еще слишком молод, чтобы держаться независимо с властями и толковать на свой лад полученные приказы, и так торопился добиться успеха, что не мог правильно оценить расстановку сил. В последующие десять лет, которые, как мы только что видели, были необычайно бурными, он много думал, иными словами, работал. Все победы этого человека, кажущиеся нам такими изящными, легкими, неизбежными, на самом деле — результат неистовой работы. Он отдался делам Франции с той же страстью, с какой прежде отдавался часовому делу. В течение десяти лет он пытался разобраться в создавшемся положении и, когда убедился, что нашел нужный ключ, внезапно изменил тон. Короли и министры, которые до той поры слушали его с удивлением и любопытством, стали вдруг относиться к нему как к равному. Убежденный в своей правоте, Бомарше больше не прибегал к интригам, чтобы его услышали, просто он заговорил громче и увереннее. «Я, Бомарше». Но подлинной пружиной его деятельности была любовь, которую он питал к Франции, любовь настолько сильная, что он отождествлял себя со своей страной. Такое блаженное состояние длилось всего несколько месяцев. Честолюбие большинства политиков вполне удовлетворяется теми должностями, которые они занимают, а деятельность свою они сводят к текущей переписке. Государственных деятелей, которые хотят и могут творить Историю, мало, но все же такие есть. Еще реже встречаются любители — вспомните Фигаро! — которые изменяют лицо мира.

Я все время возвращаюсь к изначальному объяснению. Сын человека из низшего сословия, часто живущий нелегально, под чужим именем, публично ошельмованный, то есть не имеющий никаких гражданских прав, Бомарше будто был приговорен к необходимости доказывать, что он существует вопреки закону, вопреки обществу, вопреки правосудию и что он действительно Бомарше. Этот своего рода «Сизифов бой» вечно надо было начинать сызнова, но за несколько месяцев 1776 года он одержал победу. В тот год на какой-то отрезок времени он был Бомарше, был законным гражданином, был Францией.

В истории любой страны бывают такие благоприятные моменты, когда можно захватить власть. Отставка одних, неспособность или слабость других, всевозможные обстоятельства, то, что мы сегодня назвали бы конъюнктурой, разделение мыслящих людей на кланы, группировки, нейтрализующие друг друга, а зачастую еще и падение нравов — в результате получается, что никто не держит скипетр в руке, и достаточно проявить немного дерзости, чтобы его схватить. Впрочем, можно описать Францию 1775 года более поэтично, сравнив ее со спящей красавицей. В заколдованном замке все погружены в дрёму, все предаются пустым сновидениям. Только появление принца может разрушить эти чары. В таких условиях любой, лишь бы у него хватило смелости, сумеет разбудить спящую краса-


AMÉRIQUE

вицу и овладеть ею. Уже до меня другой человек, который лучше разбирался в этих вещах, подчеркнул эротизм политики, когда вспыхнувшее желание — какой-то призыв, государственный переворот, принятое решение — разом пробуждает нацию и оплодотворяет ее. Но в Истории случается, что принцы не снимают своих масок и остаются неизвестными. Это торопливые любовники, свершив свое дело, они исчезают.

Парижский договор, которым завершилась Семилетняя война, положил конец французскому господству в Европе. Если наша страна сохраняла первое место как в области демографии, так и в экономике, то Лондон царил уже не только на морях. С 1773 года он водил на помочах весь континент. Снесенные укрепления в Дюнкерке, занятом английскими комиссарами, свидетельствовали об упадке Франции. Провинция Лотарингия, полученная по наследству, и Корсика, приобретенная за деньги, не вернули нам чести, потерянной в Росбахе, Квебеке и других местах. Как всегда во Франции, политическому унижению сопутствовала духовная деградация. Даже язык, который так долго был языком вселенной, казалось, готов был исчезнуть, как исчезал с прилавков бакалейных лавок кофе. При дворе и в высшем обществе столицы свирепствовала англомания. За военным поражением последовала моральная капитуляция. В Версале исполнительная власть, всецело поглощенная борьбой с финансовыми трудностями, не решалась что-либо предпринять. Австрийский клан, действующий по указке печально известного Мерси-Аржанто, вносил свою лепту во всю эту сумятицу. Таково было на первый взгляд положение во Франции после смерти Людовика XV. Но во многих жили еще дух сопротивления и воля к реваншу. Прежде всего в народе, во всяком случае, в некоторой его части, затем в определенных кругах дворянства. Доказательством тому служат манифестации, последовавшие после отставки Шуазеля. Молодой Людовик XVI — это надо сразу сказать — поставил себе задачу вернуть Франции то место, которое она занимала, а именно — первое. Его желание добиться поражения Англии несомненно. Кроме того, несмотря на личные и весьма настойчивые обращения к нему Габсбургов, которые надеялись вовлечь Францию в свои имперские авантюры, он всегда сохранял по отношению к ним известную дистанцию. Новый король был настолько умен, что назначил на пост министра иностранных дел человека, исполненного страстной любви к Франции, который знал, что возрождение его страны связано с упадком Англии. Но Гравье де Верженна и Людовика XVI сближало присущее им обоим врожденное миролюбие и осторожность. Помимо рассудительности король отличался также пристрастием к добродетели и нравственности как основе отношений между государствами. Фридрих II дал ему верную оценку, сказав: «Людовик XVI почти всегда склонен прикрываться высокими идеалами». Но мечтать о Франции, страстно желать ее возрождения, ничего для этого не предпринимая, — не означало ли это продолжать по-прежнему спать?

Зато Бомарше в Лондоне отнюдь не спал и вел одновременно четыре жизни: он с равной страстью увлекался открытиями капитана Кука и исследованиями в области пульсации крови, вел переговоры о покупке леса для французского флота, занимался с кем попало любовью и набрасывал первые реплики «Женитьбы Фигаро». Но все это было безделицей рядом с его основным занятием — политикой. В политике Англия уже не имела от него секретов. Введенный Рошфором в правительственные круги, а Уилкесом в круги оппозиции, он первым обнаружил, что Альбион, достигнув своей вершины, вот-вот готов с нее спуститься. Но главное, глубоко проанализировав конфликт Объединенного королевства с его американскими колониями, он очень быстро пришел к мысли, что, помогая «инсургентам», Франция, которая не в состоянии вести с Англией открытую войну, решающим образом ослабит свою соперницу и тем самым вновь обретет свое первенство. Его рассуждения представляются мне тем более выдающимися, что в них учтен характер Людовика XVI и французских министров, крайнюю осторожность которых мы уже подчеркивали. Достигшего весьма преклонного возраста графа де Морепа вряд ли еще могла увлечь какая-нибудь авантюра; Сен-Жермен в военном министерстве тратил всю свою огромную энергию на реорганизацию армии; в министерстве финансов Тюрго, а за ним Неккер думали только о том, чтобы удержать курс валюты. Верженн и Сартин, более восприимчивые к аргументам Бомарше, были по натуре крайне миролюбивы, а анализ фактов склонял их к умеренной политике; первый, встревоженный примером Шуазеля, больше всего опасался последствий возможного конфликта, второй же с печалью отдавал себе отчет в крайней слабости своего флота. Что касается короля, то он, повторим это еще раз, был раздираем между требованиями добродетели и желанием вернуть Франции утраченное ею место. Уверенный в себе, не сомневающийся в своей правоте и убежденный в том, что способен одержать верх над всеми, Бомарше, действуя всецело на свой страх и риск, проявляя апломб безумца и упрямство гения, сделает невозможное, чтобы вовлечь в свою игру Людовика XVI и Верженна, и в этом преуспеет.

То, что Бомарше взял на себя историческую инициативу втянуть Францию в конфликт, который противопоставлял Англию рождающейся Америке, и играл во всех этих делах, вплоть до заключения Версальского договора, решающую роль, настолько бесспорно, что уже не может служить предметом обсуждения. Я ничего не выдумываю, существуют доказательства, они уже давно находятся в распоряжении историков. Я утверждаю, что в течение нескольких месяцев Бомарше, и только он один, воплощал собой Францию. Но приятно ли признать такую правду? Если думают, что неприлично хотя бы на день бросить Францию в объятия Фигаро, тогда и в самом деле надо фальсифицировать историю и чествовать маркиза де Лафайета, как это делают вот уже скоро два столетия.

Чтобы добиться нужного решения, надо было убедить Людовика XVI и Верженна. Бомарше занимается этим со все нарастаю-

щим напором. С сентября 1775 года он не раз писал королю, чтобы постепенно приучить его к мысли о французском вмешательстве:

«Сир, Англия переживает такой кризис, такой беспорядок царит как внутри страны, так и в колониях, что она потерпела бы полное крушение, если б только ее соседи и соперники могли этим всерьез заняться. Вот правдивый рассказ о положении англичан в Америке; все эти подробности мне поведал житель Филадельфии, только что приехавший из колонии, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с английскими министрами, которых его рассказ поверг в страшнейшее смятение и ужас. Американцы, готовые выстоять ценой любых страданий и исполненные того энтузиазма в борьбе за свободу, который часто делал маленькую нацию корсиканцев грозой генуэзцев, стянули под Бостоном тридцать восемь тысяч человек, хорошо вооруженных и готовых к бою; осаждая город, они ставят английскую армию перед выбором: либо умереть там с голоду, либо оставить его, чтобы расположиться на зимние квартиры где-нибудь в другом месте, что ей неизбежно и придется сделать. Примерно сорок тысяч человек, столь же хорошо вооруженных и готовых к бою, как и те, о которых я уже говорил, защищают остальную территорию страны, причем в числе этих сорока тысяч нет ни одного земледельца, который бросил бы свое поле, ни одного рабочего, который ушел бы с мануфактуры. В солдаты подались в первую очередь все те, кто прежде занимался рыбной ловлей — промыслом, уничтоженным англичанами. Эти люди считают, что таким путем они мстят за разорение своих семей и за попранную в их стране свободу. К рыбакам, чтобы воевать с общими преследователями, присоединились и те, кто раньше занимался морской торговлей, тоже подорванной англичанами. Армию пополнили и все работавшие в портах — так она получила солдат, боевой дух которых питается гневом и жаждой мести.

И я уверяю Вас, сир, что такая нация непобедима, особенно потому, что за ее спиной для отступления столько земли, сколько нужно, даже если англичанам удалось бы захватить все побережье, что, однако, совершенно нереально. Все разумные люди в Англии убеждены, что английские колонии для метрополии потеряны, таково и мое мнение.

И все же открытая война, происходящая в Америке, куда менее опасна для Англии, чем та скрытая война, что в скором времени вспыхнет в Лондоне; вражда между группировками достигла предельного накала после заявления короля Англии, в котором он объявил американцев изменниками. Эта глупость, это сущее безумие со стороны правительства придали новые силы всем оппозиционерам, объединив их против короля: на первых же заседаниях парламента было принято решение открыто порвать с партией двора. Полагают, что в результате этих заседаний не менее семи-восьми представителей оппозиции будут отправлены в лондонскую тюрьму, и этого часа ждут, чтобы ударить в набат. Лорд Рошфор, мой друг уже пятнадцать лет, в разговоре со мной сказал, вздыхая: «Я весьма опасаюсь, сударь, что, прежде чем кончится зима, полетят головы

либо в партии короля, либо среди оппозиции». В то же время лорд-мэр Уилкес в минуту доброго расположения и непринужденности в конце званого обеда публично сказал мне дословно следующее: «Король уже давно оказывает мне честь, ненавидя меня. Ну а я всегда отдавал ему должное и потому презирал его. Настала пора решить, кто из нас правильнее судил о другом и куда подует ветер, когда полетят головы».

В переписке с Верженном Бомарше более настойчив — и проявляет нетерпение:

«Обо всем этом должна была идти речь на вчерашнем совете, а Вы сегодня утром ничего мне не сообщаете. В подобных делах самое гибельное — неуверенность и потеря времени.

Должен ли я здесь ожидать Вашего ответа или мне уехать, так ничего и не дождавшись? Хорошо или плохо я поступил, пытаясь прощупать, что держат на уме люди, решения которых для нас столь важны? Должен ли я впредь пресекать все попытки вести со мной доверительные разговоры и, вместо того чтобы собирать сведения, которые могут оказать влияние на нынешнюю революцию, отталкивать всех, кто может мне что-либо сообщить? Одним словом, кто я, секретный агент, приносящий пользу моей стране, или всего лишь глухой и немой путешественник?»

В самом деле, как это отмечает Брайан Мортон в своей книге «Переписка Бомарше», Верженн в сентябре 1775 года еще полностью не доверял суждениям Фигаро. Чтобы проверить его сообщения, он отправил в Америку одного из своих агентов, Аршара де Бонвулуара, выехавшего из Франции 8 сентября.

Однако сведения Бомарше были верными, потому что исходили из Филадельфии, где в мае 1775 года собрался Второй Континентальный конгресс. Адамс, Ли, Диккинсон, Джефферсон, Франклин уже заседали там, представляя кто Виргинию, кто Пенсильванию и т. д. 17 июня в Банкер-Хилле, в Массачусетсе, восставшие нанесли англичанам тяжелые потери, хотя вместо пуль использовали гвозди, гайки и камни. Этим группам сопротивления нужен был стратег и начальник, и Филадельфия назначила на этот пост Джорджа Вашингтона. Но это еще не было тотальной войной. Как справедливо пишет Андре Моруа в своей «Истории Соединенных Штатов», не кто иной, как сам Георг III заставил колонии перейти рубикон. В тронной речи в октябре 1775 года король Англии заявил, что метрополия никогда не откажется от своих колоний и что отнесется со снисхождением к «своим заблудшим детям, если они попросят прощения у короля». Мы по опыту знаем, какое впечатление производят подобные речи. Бомарше, сразу прикинувший, какие последствия это будет иметь, и все больше укреплявший связи с американцами, во время своей краткой поездки в Париж послал королю длинный мемуар. Его необходимо процитировать здесь полностью — в нем вы найдете доказательства всего, о чем я говорю. В этом совершенно выдающемся письме, поражающем своей крайней смелостью, Бомарше позволяет себе учить короля, как Фигаро — графа Альмавиву, но если Фигаро говорил как слуга, то Бомарше, рас-

суждает как хозяин. За несколько дней до того, как он вступил с монархом в решительный бой, он сообщает Верженну о своей тревоге и пишет, что сильно опасается, «как бы в деле таком легком, необходимом и, быть может, самом важном из всех, которые королю когда-либо придется решать, Его Величество не заняло бы вдруг отрицательной позиции». Он требует, чтобы король не становился ни на чью сторону, пока не послушает его защитительной речи хотя бы в течение пятнадцати минут. Вот эта речь, она же — ультиматум:

«Сир, если Ваше Величество отвергает какой-нибудь проект, долг каждого, кто к нему причастен, от него отказаться.

Но бывают проекты, коих природа и значимость столь жизненно важны для блага королевства, что самый ревностный слуга может счесть себя вправе настойчиво предлагать их вновь и вновь Вашему вниманию из опасения, что с первого раза они не были достаточно благожелательно поняты.

Именно к таким проектам относится и тот, который я здесь не обозначаю, но с которым Ваше Величество знакомы через посредство господина де Верженна. Склонить Вас к нему я могу только убедительностью своих рассуждений. Это единственное средство, которым я располагаю. Поэтому умоляю Вас, Сир, взвесить все мои доводы с тем вниманием, которого заслуживает данное дело.

После того как Вы прочтете эту докладную записку, я буду считать, что выполнил свой долг. Наше дело предлагать; Вам, Сир, решать. И Ваша задача куда более значительна, чем наша, потому что мы перед Вами в ответе лишь за чистоту своих помыслов, тогда как Вы, Сир, в ответе перед богом, перед самим собой и перед целым великим народом, который доверен Вашему попечению и благо или беды которого всецело зависят от Вашего решения.

Господин де Верженн написал мне, что принять предложенный выход Ваше Величество не считает возможным из чувства справедливости. Таким образом, Вы не высказываете сомнений в огромной пользе этого проекта и не опасаетесь трудностей его осуществления, Ваше возражение основано исключительно на нравственной щепетильности Вашего Величества.

Подобные мотивы отказа вызывают столь глубокое уважение, что следовало бы замолчать и отбросить задуманное, но крайняя важность рассматриваемого вопроса все же вынуждает нас еще раз проанализировать, действительно ли чувство справедливости короля Франции требует отказаться от предложенного плана.

Любая идея, любой проект, оскорбляющий чувство справедливости, должен, как правило, быть отвергнут честным человеком, это несомненно.

Но, Сир, в политике, в отношениях между государствами неприменима мораль, непреложная в частных отношениях. Частное лицо не имеет права нанести ущерб своему ближнему, какие бы блага это ему ни сулило, потому что все Ваши подданные живут, подчиняясь общим для всех гражданским законам, обеспечивающим безопасность каждого в отдельности и всех вместе взятых.

Каждое же королевство — это обособленное целое, и разница интересов отделяет его от соседних государств больше, чем море, укрепления и границы. У него нет с соседями общих законов, которые обеспечивали бы его безопасность. Отношения между ними определяются единственно лишь естественным правом. Иначе говоря, это такие отношения, которые каждому из них продиктованы стремлением к самосохранению, благополучию и процветанию, отношения, представляющие видоизменения того принципа, который именуется человеческим правом и который, согласно самому Монтескье, сводится к двум законам: во-первых, стремиться к собственному благу, во-вторых, причинять при этом как можно меньше зла другим государствам.

Эта максима стала столь неотъемлемой основой политики, что король, который правит страдающими от голода туземцами, считая себя отцом своего народа и чужим любому другому, не должен удерживать своих несчастных подданных от нападения на соседей, чтобы с оружием в руках добыть себе там все необходимое, если иначе им не выжить.

Ибо быть справедливым к своим подданным и защищать их — прямая и неотъемлемая обязанность короля, тогда как быть справедливым по отношению к соседним народам он может лишь в зависимости от обстоятельств. Из этого следует, что национальная политика, обеспечивающая существование государств, почти во всем расходится с гражданской моралью, которой руководствуются частные лица...

Но, сир, была ли когда-нибудь и может ли вообще существовать между Францией и Англией какая-либо связь, которая в силах остановить Ваше Величество? Ведь доказано, что покой Вашего королевства, благосостояние Ваших подданных, великолепие Вашего престола зависят исключительно от упадка, в который Вы сумеете привести этого естественного врага, этого соперника, завидующего любому Вашему успеху, этот народ, который в силу устоявшейся системы всегда был к Вам несправедлив и руководствовался по отношению к нам принципом, хорошо сформулированным в проклятой максиме: «Если бы мы хотели быть справедливыми по отношению к французам и испанцам, нам пришлось бы от слишком многого отказаться. Поэтому наш долг в том, чтобы их постоянно ослаблять». Эту максиму повторяли тысячу раз, и ей аплодировали, когда ее провозглашал знаменитый Питт, ставший кумиром английской нации, после того как ему отказали в праве командовать ротой драгунов, поскольку у него не было ни дворянского звания, ни достаточных способностей, чтобы занимать такой жалкий пост...

Итак, Вам все время придется иметь дело с этим наглым народом, начисто лишенным деликатности и совести. Именно его и только его я имел в виду, предлагая свой план. Именно его, Сир, Вам так важно унизить и ослабить, если Вы не желаете, чтобы он ослаблял и унижал Вас при каждом удобном случае. Ничто, кроме недостатка сил, не удерживало его от попыток захватить наши владения и нанести нам оскорбления. Разве не он начинал всякий раз войну

без объявления? Разве не он вверг Вас в последнюю, внезапно в мирное время захватив 500 Ваших кораблей? Разве не он вынудил Вас к унизительному акту — разрушить один из Ваших самых прекрасных портов на океане? Разве не он заставил Вас разоружить все остальные порты и определил, каким мизерным количеством кораблей Вы отныне имеете право располагать? Разве не он совсем недавно подверг досмотру Ваши торговые суда, стоящие на севере, — унижение, которого не пожелали терпеть даже голландцы и которое выпало исключительно на нашу долю? Людовик XV скорее дал бы отрубить себе руку, нежели допустил бы такое унижение, от которого истекает кровью сердце каждого честного француза, особенно когда он видит, как этот дерзкий соперник завлекает в те самые прибрежные воды, куда мы не смеем показаться, русские корабли, которым показывает дорогу к нашим американским владениям, чтобы они смогли в один прекрасный день помочь нашим врагам отнять их у нас...

Если Ваша деликатность не позволяет Вам содействовать тому, что может повредить Вашим врагам, как Вы терпите, Сир, чтобы Ваши подданные, соперничая с другими европейцами, захватывали земли, по праву принадлежащие бедным индейцам, диким африканцам и караибам, которые не нанесли Вам никакого оскорбления? Как Вы допускаете, чтобы Ваши корабли силой увозили и заковывали в цепи чернокожих людей, которых природа родила свободными и которые несчастны только оттого, что Вы могучи? Как Вы терпите, чтобы три соперничающие державы на Ваших глазах бесстыдно делили между собой растерзанную Польшу, Вы, Сир, чье слово должно было бы иметь такой большой вес в Европе? Как Вы могли заключить с Испанией пакт, по которому поклялись Святой Троицей поставлять людей, корабли и деньги этому союзнику, помогая ему по его первому требованию вести наступательную войну, даже не сохранив за собой права решить, справедлива ли война, в которую Вас втягивают, не поддерживаете ли Вы узурпатора? Не Вы, Ваше Величество, я это знаю, в ответе за все это. Так было до Вашего вступления на престол, и так будет и после Вас, таков ход вещей, политики, подобных примеров не счесть, и мне достаточно было напомнить лишь некоторые из них, чтобы доказать Вам, Сир, что политика, определяющая отношения с другими нациями, не имеет почти ничего общего с моралью, которой руководствуются частные лица.

Будь люди ангелами, несомненно, надо было бы презирать и даже ненавидеть политику. Но будь люди ангелами, они не нуждались бы ни в религии, чтобы их просветить, ни в законах, чтобы ими управлять, ни в судьях, чтобы их ограничивать, ни в солдатах, чтобы их подчинять, и земля, вместо того чтобы быть живой картиной ада, уподобилась бы небу. Но людей надо принимать такими, какие они есть, и король, даже самый справедливый, не может пойти дальше, чем законодатель Солон, который говорил: «Я дал афинянам не самые лучшие из возможных законов, а только те, которые больше всего подходят к месту, ко времени и к людям,

для которых я тружусь». Из этого следует, что, хотя политика и основана на весьма несовершенных принципах, она все же имеет какие-то основания и что король, который хочет один быть абсолютно справедливым среди дурных людей и оставаться добрым в стае волков, неизбежно будет вскоре сожран вместе со своим стадом...

Поскольку высшим законом государств является политика, и политика эта необходима для их существования, благоволите, Сир, никогда не упускать из виду, что образцом хорошей политики является умение обеспечить свой покой путем столкновения друг с другом Ваших врагов. А руководствуясь своей высокой моралью, которая вызывает к Вам такое глубокое уважение в делах внутреннего управления Вашего королевства, Вы достойно выполните те обязанности, которые возложены на доброго и великого короля.

Ришелье, который поднялся из самых низов до высшей ступени власти и гению которого столь обязан авторитет королевской власти во Франции, желая спокойно осуществить проекты, задуманные им для того, чтобы возвеличить своего хозяина, полагал, что чувство справедливости Людовика XIII не мешает поощрять в Англии те смуты, благодаря которым в конце концов Карла I скинули с престола...

Обратить таким образом беззаконие против самого себя, превратить его в оружие самоуничтожения — наиболее надежный способ навсегда с ним покончить. А мы никогда не должны забывать, что Англия для Франции примерно то же самое, что английские воры для английских граждан. Поглядите, Сир, как она почти полностью выгнала нас из трех частей света, и Вы убедитесь, что только благодаря нехватке у них сил, а не желания, Вы спокойно правите в Европе тем великолепным наследством, которое Вам приготовили Ваши предки... Поэтому я умоляю Вас, Сир, во имя Ваших подданных, о которых Вы обязаны заботиться в первую очередь, во имя внутреннего мира, которым Ваше Величество так справедливо дорожит, во имя славы и процветания Вашего королевства, на престол которого Вы вступили в счастливый час, умоляю Вас, Сир, не поддавайтесь блестящему софизму ложной деликатности. Summum jus Summa injuria[1].

Я изложил важнейший из вопросов в самом общем виде из страха разжижить мои доводы более подробным рассмотрением. А главное, из страха злоупотребить терпением Вашего Величества.

Если, после того как Вы прочтете мое послание, у Вас останутся еще сомнения, то сотрите, пожалуйста, мою подпись, велите переписать мое письмо другой рукой, чтобы низкое звание автора не повредило силе его доводов, и предложите мое рассуждение для оценки какому-нибудь человеку, имеющему долгий опыт жизни и политических дел; если найдется хоть один, начиная с господина де Верженна, который бы не согласился с моими принципами, я умолкаю и сжигаю труды Скалигера, Гроция, Пуфендорфа, Мон-

---

[1] Высшая законность — высшее беззаконие (*лат.*).

теськье, всех создателей государственного права, и соглашусь, что все, чем я занимался в течение моей жизни, было лишь потерей времени, раз я оказался бессилен убедить моего государя в таком вопросе, который мне представляется столь же очевидным, сколь и важным для его интересов <...>

Совершенно невозможно письменно касаться сути обсуждаемого вопроса из-за его полной секретности; однако мне было бы чрезвычайно легко доказать, сколь безопасно предпринять то, что я предлагаю, сколь легко это осуществить и сколь несомненен наш конечный успех; даже самый жалкий посев, своевременно сделанный на этой ниве, принесет Вашему правлению необозримый урожай славы и покоя.

Да поможет ангел-хранитель нашего государства благоприятно расположить к этому проекту сердце и ум Вашего Величества, а все остальное получится само собой и безо всякого труда. За это я ручаюсь».

Я ручаюсь, я, Бомарше.

Что Бомарше и есть Франция, это англичане и американцы стали замечать. Лорд Стормонт, посол Георга III в Версале, следит за каждым его шагом. В Лондоне его жизни снова угрожает опасность: «То шаткое и опасное положение, в котором я оказался, поскольку любое мое начинание вызывает подозрение и слежку, лишь подогревает мое усердие». Но на этот раз, сознавая важность своей миссии и считая, что только он один способен с ней справиться, он забывает о своей безрассудной храбрости и просит защиты у Верженна, да еще в каком тоне! «Однако не забудьте, господин граф, поторопить господина де Сартина принять меры по обеспечению моей безопасности. Это меньшее из всего, на что я имею право рассчитывать». Что касается американцев, то они посылают к Бомарше таинственного Артура Ли, The right man in the right place [1]. 1776 год, январь, февраль, март, — темп событий все нарастает. Вашингтон со своими войсками осаждает Бостон, а Франция продолжает бездействовать. Еще несколько месяцев, и будет уже поздно. Либо Америка победит без помощи Франции, либо Англия подавит восстание. Бомарше сердится. Он пишет Верженну, который, как он чувствует, стал уже меньше колебаться, и в своем письме находит те слова, которые могут скорее всего убедить человека с таким острым, но при этом таким рассудительным чувством патриотизма.

«Не возьмете ли Вы на себя смелость еще раз объяснить королю, как много он может выиграть без боя в этой кампании? И не попробуете ли Вы убедить его величество, что та жалкая помощь, которой они просят и о которой мы вот уже год ведем дебаты, принесет нам плоды великой победы, хотя мы и не будем подвергаться опасностям боев? Что эта помощь может нам играючи вернуть все то, что позорный мир 1763 года вынудил нас потерять. И что

---

[1] Нужный человек на нужном месте (*анг.*).

успех американцев, который неизбежно превратит их противника в державу второго разряда, снова выдвинет нас на первое место и на долгое время обеспечит нам преобладание во всей Европе?»

Верженн отвечал на все письма Бомарше. Я не видел ничего более образцового, чем их переписка. Запальчивости и напору одного корреспондента противостояли спокойствие и осторожность другого. На страстные доводы писателя министр отвечал соображениями, в которых общие идеи читались только между строк. Если первый со времен дела Гезмана прибегал к диалектике, как только ему надо было защищать свои положения, второй в совершенстве владел искусством умолчания и литоты, чтобы выразить свою мысль. В недавнем прошлом мы видели на Кэ д'Орсэ человека, который тоже был настоящим министром и который многими чертами напоминает Верженна. Представьте себе на минуту Бомарше в споре с человеком, которого я имею в виду, и вы сможете себе представить, каковы были его отношения с Верженном. Министр, должно быть, не всегда считал приличным поведение своего чрезвычайного посланника и уместными упреки, которыми тот его осаждал, но если он и бывал порой задет за живое и выражал свое недовольство, то всякий раз, преподав урок своему дипломатическому курьеру, спешил отдать ему должное и обращался с ним крайне почтительно. Свидетельство тому — послание, начатое тоном холодной иронии и заканчивающееся словами, которые можно написать только самому близкому соратнику. Верженн понимал, чем он обязан Бомарше и что в тех условиях из них двоих лучшим дипломатом был не он.

«Я получил первого числа этого месяца, сударь, письмо, которое Вы оказали мне честь написать 26-го прошлого месяца. Хорошо говорить так же легко, как трудно хорошо поступать; эту аксиому Вам подтвердят все люди, облеченные властью, не исключая и британских министров. Все те, чья задача заключается в том, чтобы рассуждать, рассматривают каждый вопрос изолированно от всего остального, поверхностно оценивая при этом, какие преимущества можно таким путем извлечь. Но если бы они могли охватить взглядом общую картину, они очень быстро признали бы, что эти кажущиеся преимущества, столь заманчивые при рассуждении, обернутся на практике всего лишь источником затруднений, притом весьма пагубных. Я долго сидел в партере, прежде чем выйти на сцену; в то время я видел немало людей самого разного происхождения и склада ума. Они, как правило, фрондировали и все осуждали, считая, что все всегда поступают плохо; потом кое-кто из этих «судей», коими они себя полагали, превратились в тех, кого судят. И я убедился, что большинство из них сохраняли тот заведенный порядок, который они сами прежде столь сурово порицали, потому что существует сила импульса или инерции, назовите ее как угодно, которая всегда приводит людей к какой-то общей точке. Эта преамбула написана мной вовсе не для того, чтобы отрицать Вашу предусмотрительность, которую я, напротив, хвалю и одобряю, Но не думайте, что если не принимаешь какого-то предложения

сразу, это значит, что его отклоняешь. Существуют ступени, через которые осторожности ради лучше не перепрыгивать, да и не всякий сон летаргический. Хотя способ передачи Вам этого письма я считаю надежным, я все же недостаточно доверяю ему, чтобы не притормозить своего желания высказать Вам все свои мысли. Но я надеюсь на Вашу проницательность, она поможет Вам их угадать. Подумайте хорошенько, и Вы убедитесь, что я ближе к Вам, чем Вы предполагаете».

Поднимаясь от «ступени к ступени», Франция едва не оказалась ниже прежнего. Но в 1776 году Бомарше, воодушевленный силой, которую невозможно объяснить разумом, смог бы, перефразируя Руссо, заставить землю вертеться в обратном направлении, получи Франция от этого хоть какую-то выгоду. Однако добродетельный Людовик XVI и хитрый Верженн ждали от него самого невероятного: он должен был быть Францией, но тайно, и поставлять повстанцам оружие вместо нее. Поскольку он был не дурак, то понял это и, чтобы заставить короля решиться, «предложил» действовать на свой страх и риск. Он, Бомарше. Конечно, Базиль сделал из этого вывод, что Фигаро наконец достиг своей цели. «Деньги — это твоя стихия!» А по-моему, совершенно очевидно, что, взяв на себя роль посредника, Бомарше действовал самоотверженно. Конечно, это начинание увлекло его, он отдался ему всецело и со страстью, ибо такова была его натура, но что касается выгоды, то (мы это увидим в дальнейшем) не тут-то было! Несомненно, он питал честолюбивые надежды, например, на пост министра, он об этом мечтал, и это едва не свершилось, но в последний момент кто-то вынул из кармана черный шар.

29 февраля 1776 года Людовик XVI получил от г-на де Верженна новый запечатанный пакет с простым адресом: «Королю, лично». Он легко узнал почерк. Он не впервые получал подобные письма. В то время как король распечатывал это последнее послание Бомарше, по ту сторону Атлантического океана Джордж Вашингтон, взяв Дорчестер-Хейтс, принудил к быстрому отступлению войска генерала Хоу. Но в Америке, как и в Европе, еще ничего не было решено. Людовик XVI приступил к чтению; кончая лист, он передавал его г-ну де Верженну, которого усадил рядом с собой.

«Сир,

пресловутый конфликт между Америкой и Англией, который скоро разделит мир и изменит всю европейскую систему, вынуждает каждую державу составить себе верное мнение насчет того, каким образом этот разрыв повлияет на ее положение, пойдет ли он ей на пользу или во вред.

Однако среди всех держав наиболее заинтересованной во всем этом является Франция, чьи острова, производящие сахар, стали со времени заключения последнего мира объектом постоянного вожделения и надежд англичан, и эти их чувства неизбежно приведут нас к войне, если только из слабости, чего и предположить невозможно, мы сами не согласимся пожертвовать нашими бога-

тыми владениями во имя химеры постыдного мира, для нас более разрушительного, чем война, вызывающая у нас столь большой страх.

В первом мемуаре, переданном Вашему Величеству три месяца назад господином де Верженном, я попытался убедительно доказать, что чувство справедливости, столь сильное у Вашего Величества, не может быть оскорблено принятием разумных мер предосторожности против врагов, которые со своей стороны никогда не проявляли по отношению к нам никакой деликатности.

Нынче же, когда мы быстрыми шагами приближаемся к острому кризису, я вынужден предупредить Ваше Величество, что сохранение наших владений в Америке, а также мира, которым Ваше Величество столь дорожит, зависит исключительно от этого предложения: необходимо помочь американцам. Это я и собираюсь сейчас доказать.

Король Англии, министры, парламент, оппозиция, нация, английский народ, наконец, все партии, которые раздирают это государство, признают, что не надо больше обольщаться, думая, будто удастся вернуть американцев к их прежней жизни, и что даже те великие усилия, которые теперь предпринимают, чтобы их подчинить, не имеют шансов на успех. Поэтому, Сир, и происходят эти резкие дебаты между министрами и оппозицией, этот прилив и отлив мнений, этот разнобой суждений, который, ничем не помогая решить наболевший вопрос, лишь привлекает к нему всеобщее внимание.

Лорд Норт, боясь сам стоять в такую грозу у штурвала, воспользовался честолюбием лорда Джермейна, чтобы переложить всю тяжесть ответственности на его плечи.

Лорд Джермейн, оглушенный криками и смущенный вескими аргументами оппозиции, говорит сегодня лорду Шелберну и лорду Рокингэму, возглавляющим партию: «При нынешнем положении дел, господа, решитесь ли вы поручиться нации, что американцы готовы будут подчиниться навигационному акту и вернуться под ярмо при условии, оговоренном в плане лорда Шелберна, если все будет возвращено к положению, которое существовало до волнений 1773 года? Если вы на это решитесь, господа, то занимайте министерские посты и пекитесь о спасении государства на свой собственный страх и риск».

Оппозицию, готовую поймать лорда Джермейна на слове и ответить на его вопрос утвердительно, останавливает только опасение, что американцы, ободренные своими успехами и осмелевшие, быть может, оттого, что заключили какие-нибудь тайные договоры с Испанией и Францией, откажутся теперь от тех самых условий мира, о которых молили два года тому назад.

С другой стороны, г-н А. Л. (г-н де Верженн назовет Вашему Величеству его имя), тайный посланец колоний в Лондоне, крайне обескураженный бесплодностью тех шагов, которые он попытался предпринять через мое посредство, чтобы добиться от французского правительства помощи в военном снаряжении и порохе, говорит мне теперь: «В последний раз спрашиваю: Франция действительно

окончательно решила отказать нам в какой-либо помощи и готова стать жертвой Англии и притчей во языцех для всей Европы из-за своей невообразимой косности? Я лично считаю себя вынужденным ответить на этот вопрос положительно, и все же жду Вашего окончательного ответа, прежде чем дать свой. Мы предлагаем Франции за ее тайную помощь тайный торговый договор, в результате которого она в течение ряда лет после заключения мира получит всю прибыль, которой вот уже целое столетие обогащалась Англия, а кроме того, мы гарантируем Франции, насколько это будет в наших силах, сохранность ее владений. Вы не хотите? Тогда я попрошу у лорда Шелберна отсрочки на то время, пока корабль, который отправится в Америку с английскими предложениями, не вернется назад, хотя заранее могу Вам сказать, какие резолюции конгресс примет по этому поводу. Они немедленно опубликуют прокламацию, в которой предложат всем нациям мира в обмен на помощь те самые условия, которые я сейчас предлагаю вам тайно. И, чтобы отомстить Франции и заставить ее публично занять определенную позицию по отношению к ним, они пошлют в Ваши порты первые трофейные суда, которые возьмут у англичан. Тогда, сколько ни изворачивайся, война, которой Вы стремитесь избежать и которой так боитесь, станет для Вас неминуемой, как бы Вы ни поступили с трофейными судами; если Вы их примете, разрыв с Англией будет очевиден; если откажетесь их принять, конгресс в тот же час подпишет мир на условиях, предлагаемых метрополией; оскорбленные американцы присоединят свои силы к силам Англии, чтобы напасть на Ваши острова и доказать Вам, что все те предосторожности, которые Вы приняли, чтобы сохранить свои владения, как раз и приведут Вас к окончательной их потере.

Отправляйтесь во Францию, сударь, и изложите, как обстоят дела; я тем временем уеду в деревню, чтобы не быть вынужденным дать окончательный ответ до Вашего возвращения. Скажите Вашим министрам, что я готов, если необходимо, поехать с Вами во Францию, чтобы подтвердить эти заявления; скажите им также, что конгресс, как я узнал, отправил двух депутатов в Мадрид с той же целью, и могу добавить, что они получили весьма удовлетворительный ответ на свое предложение. Неужели это прерогатива совета министров Франции — оставаться слепым, когда речь идет о славе его короля и интересах государства?»

Вот, Сир, страшная и впечатляющая картина нашей позиции. Ваше Величество искренне жаждет мира. Способ сохранить его, Сир, будет изложен в резюме этого мемуара.

Допустим, все гипотезы возможны, и попробуем их обдумать.

Все, что сейчас будет изложено, крайне важно.

Предположим, что Англия в этой кампании одержит полную победу над Америкой.

Либо что американцы отобьют англичан с потерями.

Либо что Англия придет к уже одобренному королем решению предоставить колониям самим решать свою судьбу и расстанется с ними добровольно.

Либо что оппозиция, получив министерские посты, добьется подчинения колоний на условиях возвращения им статута, существовавшего до 1773 года.

Вот мы и перечислили все возможные варианты. Есть ли среди них хоть один, не ввергающий Вас мгновенно в войну, которой Вы хотите избежать? Сир, именем бога молю Вас, благоволите рассмотреть их вместе со мною.

1. Если Англия восторжествует над Америкой, то только ценой огромной потери в людях и деньгах; а единственная возможность возмещения таких огромных убытков заключается для англичан в том, чтобы, вернувшись в Америку, отобрать себе французские острова и тем самым стать единственными поставщиками ценного продукта, сахара, — только это может закрепить за ними все доходы от контрабандной торговли, которую континент ведет с этими островами.

Тогда, Сир, Вы будете поставлены перед выбором — либо начать слишком поздно бесплодную войну, либо пожертвовать во имя самого постыдного мира всеми Вашими американскими колониями и потерять к тому же 280 миллионов капитала плюс 30 миллионов дохода.

2. Если американцы окажутся победителями, они тут же получат свободу, и тогда англичане, в отчаянии от того, что их владения уменьшатся на три четверти, попытаются как можно быстрее компенсировать понесенный ими территориальный ущерб и пойдут на то, чтобы захватить наши американские владения, что, можно не сомневаться, им легко удастся.

3. Если англичане сочтут себя вынужденными предоставить независимость своим колониям мирным путем, как того тайно желает английский король, то для нас последствия останутся почти такими же, что и в предыдущем случае, поскольку их торговля окажется полностью разлаженной. Однако разница будет заключаться в том, что английская сторона, менее подорванная, чем в результате дорогостоящей кровопролитной войны, будет обладать достаточными силами и средствами, чтобы с еще большей легкостью завладеть принадлежащими нам островами, без захвата которых ей в сложившейся ситуации никак не обойтись, если она вознамерится сохранить свои владения и влияние в Америке.

4. Если оппозиция, одержав верх, займет министерские кресла, она, конечно, заключит договор, закрепляющий союз с колониями, и тогда американцы, не простившие Франции ее отказа в помощи, вследствие чего им пришлось подчиниться метрополии, тотчас же начнут угрожать нам тем, что выступят вместе с Англией, дабы захватить наши острова. Более того, американцы поставят эту акцию непременным условием своего возращения в лоно матери-родины, и легко себе представить, с какой радостью правительство, состоящее из лордов Чатемов, Шелбернов и Рокингэмов, настроения которых нам хорошо известны, разделит враждебные чувства американцев к французам и развяжет с нами упорную, жестокую войну.

Как же надлежит поступать в этих чрезвычайных обстоятельствах, чтобы сохранить мир и принадлежащие нам острова?

Вы сумеете сохранить мир лишь в том случае, ежели любой ценой не допустите, чтобы он был восстановлен между Англией и Америкой, чтобы одна сторона торжествовала свое превосходство над другой; единственный способ, Сир, коим возможно этого достичь, заключается в том, чтобы оказать американцам помощь, которая уравняла бы их силы с англичанами, но не более того. И поверьте, Сир, что за стремление сэкономить нынче несколько миллионов Франция расплатится завтра и большей кровью и большими деньгами.

А главное, Сир, одна лишь неизбежная подготовка к первому сражению будет стоить Вам намного дороже той помощи, о которой Вас просят теперь, и экономия каких-то жалких 2—3 миллионов наверняка обернется в ближайшие два года потерей более 300 миллионов.

И если мне на это скажут, что мы не можем оказать помощь американцам, не оскорбляя чести Англии и не навлекая тем самым на себя грозу, именно ту грозу, которую я как раз и пытаюсь предотвратить, то я в свою очередь отвечу Вам, что этой опасности мы избежим, ежели будем следовать плану, который я уже неоднократно предлагал, то есть будем оказывать американцам помощь тайно, ничем не компрометируя себя. При этом мы поставим им первым условием не посылать в наши порты трофейные суда и вообще не допускать никаких действий, могущих обнаружить помощь, предупредив конгресс, что в противном случае он немедленно лишится нашей поддержки.

И если Ваше Величество не располагает человеком, более меня пригодным для этого дела, я готов взяться за осуществление данного плана и сумею заключить договор, никого при том не компрометируя».

Он выиграл.

Людовик XVI был наконец убежден в его правоте и принял в общих чертах предложенный план. Итак, Бомарше окажется единственно скомпрометированным лицом, как того требовал Верженн: «Необходимо, чтобы эта операция выглядела в глазах английского правительства и даже самих американцев как личная спекуляция, к которой мы не имеем никакого отношения. Чтобы так выглядеть, она и в самом деле должна в известной степени быть таковой».

10 июня 1776 года Бомарше стал личным союзником восставших и приступил к снабжению их оружием. 4 июля Соединенные Штаты Америки подписали Декларацию независимости и провозгласили ее параграфы на весь мир. «Мы утверждаем, что все люди от природы одинаково свободны и независимы и имеют известные прирожденные права <...> в том числе право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью». Еще три недели, и Франция все прозевала бы. Но она вовремя опомнилась, и это решение, принятое в последнюю минуту, постепенно привело ее к Версальскому договору 1783 года. Мы еще не все сказали об этой войне, которая, прежде чем стать войной Франции, была сперва войной г-на де Бомарше, как о том свидетельствует послание, полученное им от конгресса. Его также уместно поместить в этой главе...

«По приказу конгресса, заседающего в Филадельфии,
г-ну де Бомарше.

15 января 1779 года

Сударь!

Конгресс Соединенных Штатов Америки, признательный за те большие усилия, которые Вы приложили, чтобы им помочь, выражает Вам свою благодарность. <...>

Только благородные чувства и широкие взгляды могли воодушевить Вас на Вашем поприще, они являются украшением Вашей личности и обеспечат славу Вашим поступкам. В то время как Вы своим редким талантом верно послужили своему королю, Вы завоевали уважение нашей рождающейся республики и заслужили рукоплескания всего Нового Света.

Джон Джей, председатель».

Это великолепное выражение признательности должно было тронуть государственного деятеля, который дремал в Бомарше, но всегда готов был проснуться, и утешить его при виде неблагодарности одних, бесчестности других и молчания Франции.

Прежде чем завершить главу «Я, Бомарше» и показать, насколько этот человек, считавшийся всеми баловнем судьбы, на самом деле должен был страдать от чудовищной несправедливости, выпавшей на его долю, я хочу процитировать несколько строк, которые он сочинил много лет спустя и бросил, как бутылку в море, грядущим поколениям, не без оснований полагая, что они забудут, как он самолично вписал несколько важных страниц в Историю.

«...Из всех французов, кто бы они ни были, я больше всего сделал для свободы Америки, породившей и нашу свободу, я один осмелился составить план действий и приступить к его осуществлению, вопреки Англии, Испании и даже Франции; но я не был в числе лиц, ведущих переговоры, я был чужой в кабинете министров, inde irae» [1].

Он пытался внушить всей Европе, что всегда был одним и тем же, но все же он иногда бывал другим.

Post-Scriptum. Случайностей не бывает. Я как раз кончил работу над этой главой, когда мне попалась хроника Ромена Гари, опубликованная в печати 16 марта 1972 года. Г-н Гари не из людей, жонглирующих чужими мнениями, однако он писал, прочтя какую-то недавно опубликованную книгу о Бомарше, которую он хвалил: «Этот человек был соткан из молний. Молний гения и подлости, величия и ничтожества, мужества и хитроумия, сутенерства и великодушия, это был божественный наглец и благородный выскочка, акула и угорь, целая эпоха, целая Европа. Это был человек гуттаперчевый, но несгибаемый, смесь Растиньяка, Манон Леско, Арагона, Казановы и Калиостро, он сам — одно из великих литературных творений жизни». Бомарше любил повторять, что вся его жизнь — это бой. Ясно, что и сегодня он еще не окончен.

---

[1] Отсюда и гнев (*лат.*).

11
БЕЗУМНЫЕ ДНИ

Я все видел, всем занимался, все испытал.

Между 1776 и 1780-ми годами нам не удается уследить за Бомарше: он одновременно находится везде. Чтобы рассказать об этом периоде, перо должно нестись по бумаге, закусив удила. Лучшим биографом этих дней был бы Россини: Фигаро здесь, Фигаро там. Он делает тысячу дел одновременно, от самых серьезных до самых ничтожных. Рассказать о них последовательно значило бы исказить картину его жизни и обмануть читателя. Рассказать о них о всех одновременно требует гения, скажем, его гения. На что же решиться? «Я все видел, всем занимался, все испытал», — говорит Фигаро в монологе «Женитьбы». Это он скромничает: надо бы добавить «одновременно». У часовщика в витринах часто видишь, что стенные часы или там будильники показывают разное время. Вы легко догадаетесь, почему: хозяин никогда не решится поставить их на тот же самый час, опасаясь, что одни будут спешить, другие отставать, и покупатель начнет сомневаться в точности их механизмов. Забудем теперь о часовщиках и их уловках и задумаемся, глядя на эти циферблаты, на которых пять часов, когда на самом деле полдень, или десять, когда семь, и так далее. Из всех часов только одни показывают точное время, но какие? Именно так обстоит дело и с Бомарше.

Я чуть было не взялся описывать множество разных Бомарше. В восемь часов он здесь такой, но в девять — там — уже другой, а в десять его и не узнать, что не мешает ему тут же снова изменить образ, и люди встретят на улице уже другого Бомарше, похожего на него, как родной брат, и находившегося накануне еще в Лондоне, в то время как в Бордо в тот же день... Не преувеличивая, вот какова стоящая передо мной дилемма: выверить Бомарше по точному времени или играть со временем? Мы будем делать и то и другое.

В этой главе, которая охватит несколько месяцев, мы постараемся повсюду следовать за нашим героем, не теряя его из виду, и попробуем узнавать его во всех обличьях. Но таким образом нам не удастся ни исчерпать его американской эпопеи, к которой мы вернемся в следующей главе, соблюдая хронологию, ни разобраться по существу в ряде частных вопросов, например в завершении его процессов с Лаблашем, в его конфликтах с актерами или в его деятельности издателя, — все это требует, чтобы быть верно понятым, отдельного изучения.

Март, 1776 год.

Бомарше пишет и передает королю свой последний мемуар, который мы уже приводили, и почти каждый день встречается с Верженном.

Обсудив свое положение с Морепа, Бомарше обращается в Большой Совет с прошением о полной реабилитации. Не надо забывать, что

над ним все еще висел позор публичного шельмования и что в течение последних полутора лет он не мог подать кассационной жалобы, поскольку срок апелляции был пропущен. Требуя полной и торжественной реабилитации, то есть просто-напросто отмены приговора, он должен был добиться разрешения на совершенно необычную процедуру. В связи с этим — каждодневные визиты к Морепа, к министру юстиции, многократные обсуждения всех обстоятельств дела с адвокатом Тарже, его советником.

Вместе с другим адвокатом он готовит новый процесс против Лаблаша. Постыдный приговор, который его разорил и обесчестил, был только что отменен Большим Советом и дело отослано на пересмотр в парламент Прованса. Граф Лаблаш, зная, насколько его противник занят своей миссией в Англии, торопил события, надеясь застать Бомарше врасплох, а может, даже выиграть дело благодаря тому, что тот не явится в суд. Бомарше предпринимает многочисленные демарши, чтобы добиться от первого председателя суда, в Эксе временного прекращения судопроизводства, и так далее.

Леопольда Жанто, вдова его отца, окружившая себя законниками, требует, чтобы ее ввели в права наследства. Старик Карон, влюбленный в нее и поглупевший от возраста, составил совершенно безумное завещание, отписав своей последней жене помимо всего своего личного имущества и вдовьей доли еще и долю детей. Но дело в том, что отец Бомарше к тому времени уже не имел личных средств, а жил на пожизненную ренту и на то вспомоществование, весьма солидное, которое ему выплачивал сын. Леопольда, рассчитывавшая получить состояние, стала кричать, что ее ограбили, и грозила сыну процессом. Негодяйка, опираясь на советы людей сведущих, вела верную игру, поскольку Бомарше, публично ошельмованный и лишенный гражданских прав, сам не мог обратиться в суд. Встречи, обсуждения, сделка. Бомарше дает мачехе 6 тысяч франков, и она тут же становится шелковой. Покончив с этим делом, он пишет на папке с документами: «Подлость вдовы отца, прощенная мною».

Другая папка: снова Обертены, которые то и дело возникают, затевают какие-то тяжбы и вынуждают терять время того, кто о самом себе говорил: «Карон де Бомарше, самый большой враг всего, что называют потерянным временем». В Тюильри идут репетиции возобновленного «Севильского цирюльника». Каждый вечер он проводит в семейном кругу, со своей дорогой сестрой и Марией-Терезой, о которой Жюли писала тогда: «Французская игривость на пьедестале из швейцарской вальяжности. А проще сказать, ни рыба, ни мясо». Несмотря на свои бесчисленные похождения — Фигаро тут, Фигаро там, — а быть может, как раз и благодаря им он с каждым днем все больше привязывается к этому «швейцарскому пьедесталу». Однако привычка не убила в нем страсти: Евгения, если я умею считать, была зачата в марте.

Я рассказал лишь половину того, что произошло за этот месяц.

Апрель, май.

В начале апреля Бомарше снова, в двенадцатый раз, отправляется в Лондон. Его ежедневные отчеты — образцовые документы, состав-

ленные выдающимся дипломатом. Сведения, которые он посылает Верженну, всегда имеют первостепенный политический интерес. Едва в Англии успевают принять какое-нибудь решение, как он уже наслышан о нем, а обо всех американских делах он узнает недели за две до того, как слух о них докатывается до соответствующих канцелярий европейских стран. Достаточно прочитать письма Бомарше, чтобы понять все сомнения и опасения Верженна. Для него в господине де Бомарше было нечто если не от дьявола, то, уж во всяком случае, от волшебника, и это не переставало тревожить министра. Но Верженн ошибался. Никакими сверхъестественными способностями Бомарше не обладал, если не считать способности работать одержимо, методично и умно. Ведь недаром он был в юности ремесленником. Верженн поражался ему, как Людовик XV или маркиза де Помпадур поражались часам молодого Карона. Верженн видел только чудо, даже не подозревая о его механизме. Consilio manuque — это не кабалистическое заклятие, а девиз рабочего.

В Лондоне — это единственный его секрет — Бомарше располагает настоящей сетью осведомителей. Обычно дипломаты собирают сведения, получая их из вторых рук, читая газеты или болтая с мелкой сошкой из мира политики. А это значит, что они ничего не узнают, поскольку все важные решения принимаются при закрытых дверях, а не публично, малым числом лиц, которые по опыту знают, что секретность и неожиданность — оружие успеха. Со времен Мадрида у Бомарше появилась привычка иметь дело непосредственно с людьми, стоящими у кормила власти. Он стучал только в нужные двери. И ему открывали их. Вот и вся его тайна.

Чем, если не чарами, объяснить его многолетнюю власть над таким человеком, как Рошфор, ничего не предпринимавшим без предварительного обсуждения с Бомарше? Конечно, английский министр считал, что в ответ на свою исповедь он тоже получает сведения, и, быть может, полагал, что порой обманывает Бомарше. Я пишу это, желая исчерпать все возможные объяснения, но сам так не думаю. Как герои романа Роже Вайяна, Рошфор просто подчинялся «закону» Бомарше, бессознательным агентом которого оказался. Француз, объявивший личную войну Англии и игравший сложнейшую политическую роль, не мог ему дать взамен ничего, кроме афоризмов. 15 апреля, когда Георг III предложил Рошфору пост вице-короля Ирландии, он пошел советоваться с Бомарше, принимать ли ему это предложение. Так, слово за слово, разговор уклонился в сторону, и министр сообщил своему собеседнику немало интересного. Бомарше между прочим узнал — то ли в тот день, то ли на следующий, — что британское правительство рекрутировало тридцать тысяч наемников в провинции Гессен для отправки в Америку. Читатель может найти странным поведение лорда Рошфора, и не без оснований; конечно, сомнений нет, оно было странным. Но был ли английский министр бесчестен или просто неосторожен, он все равно оставался джентльменом. И дипломатический жокей должным образом оценивал это уважение к внешней стороне дела: «Я видел, как в Англии самые экстравагантные поступки свершают с таким рассудительным видом, что вводят в заблуждение

обывателя, а во Франции я часто наблюдал, как самые разумные решения не вызывают одобрения лишь из-за того, что их принимают с небрежным видом».

Дело шевалье д'Эона уже не могло служить предлогом для пребывания Бомарше в Англии, поскольку оно, к счастью, было окончено, поэтому официально он с согласия французского правительства покупал в Лондоне португальские пиастры. Эта миссия позволяла ему чувствовать себя в относительной безопасности и вводить в заблуждение тех, кто за ним неотступно, но тайно следил. Стормонт, который понял, чем Бомарше занимался на самом деле, посылал из Парижа своему правительству донесение за донесением, и в Лондоне наконец начали реагировать на них. Но покупка пиастров была делом, требующим времени, и Бомарше объяснял, что ему необходимо каждый день бегать на биржу, встречаться с «негоциантами, банкирами, торговцами золотом и т. д.».

За день Бомарше получал куда больше информации, чем пиастров. 26 апреля, например, он отправил Верженну различными и совершенно секретными путями целых четыре длинных письма. Чтобы дать вам представление о качестве и обилии его информации, приведу лишь постскриптум последнего из этих писем:

«После того как я запечатал пакет, мне принесли еще новые сведения, которые я сейчас продиктую, потому что от усталости уже не могу держать перо в руке.

Достоверно известно, что генерал Ли приказал отнять оружие у всех подозрительных людей в Нью-Йорке и что он командует армией в двадцать тысяч человек. В Меррой (Ирландия) прибыл корабль и привез много писем, которые были перехвачены правительством. Сам корабль (он называется «Полли Кетэн Монтейн») был сперва задержан чиновниками таможни; у него на борту оказался груз конопли и конопляного семени, закупленный в Америке. Но в результате мемуара, поданного шерифу графства, это судно в конце концов отпустили, так как в силу характера своего груза и обстоятельств отплытия из Европы оно по существующей инструкции не подлежало конфискации. О прибытии этого корабля уже знают, но название порта, в который он прибыл, а также новости, заключающиеся в письмах, еще не получили огласки. Большая часть транспортных кораблей, направляющихся в Америку, была выброшена бурей на берег; на них находились два батальона 45-го и 56-го полков. Это происшествие, а также участившиеся захваты английских кораблей американцами привели к тому, что в Бостоне совершенно исчезли свежие продукты и даже предметы первой необходимости приобрести стало очень трудно; в остальном в этом городе все по-прежнему, так же, как и в лагере ополченцев, которыми командует Вашингтон, чуть было не отозванный за то, что он в течение всей зимы не провел ни одной атаки и не сделал ни одной попытки взять Бостон; вот как обстоят дела.

Пришли письма от Арнольда (лейтенант Монтгомери), который в плен не попал, но ранен пулей навылет, в левую ногу. Монтгомери действительно убит, и с ним шестьдесят его солдат, а примерно триста взяты в плен; генерал Карлетон потерял в этой атаке всего лишь во-

семьдесят восемь человек. Арнольд находится сейчас вблизи Квебека во главе собранного им отряда; они там укрепились, и выбить их оттуда почти невозможно.

Причина, по которой лорд Хоу отказался отправиться в Америку, заключается в том, что он требует полномочий вести переговоры с американцами о мирном разрешении конфликта. Говорят, министры готовы были предоставить ему эти права, но король не согласился и продолжает настаивать на безоговорочном подчинении американцев, словно такое еще возможно. За всей этой историей стоит лорд Бьют, а стоит ли кто-нибудь за ним, неясно.

В своей речи в парламенте лорд Норт сравнил нынешнее положение дел с ситуацией, сложившейся во время первых боев немцев с французами, за коими, однако, последовали завоевания и слава; отсутствие ощутимых успехов он объяснил той медлительностью, с которой мобилизуется нация, чтобы сосредоточить всю полноту власти в руках друзей и защитников родины; близится час, и он это предвидел, когда ему удастся доказать правоту своих слов; он заверил присутствующих, что, когда вся нация в целом проявит несокрушимое единство и не позволит более сбивать себя с толку ни истерическими воплями, ни легкомысленными пророчествами, основанными либо на ничтожных домыслах, либо на подлых умыслах врагов отечества, мы перестанем наблюдать, как торжествует ненависть некоторых отщепенцев, вознамерившихся злостными слухами и противозаконными поступками, заслуживающими самой суровой кары, лишать покоя своих сограждан.

Лорд Литлтон и лорд Карлейль оба претендуют на должность английского посла в Испании, поскольку лорда Грэнтхема, видимо, вот-вот отзовут. Здесь считают, что победит лорд Карлейль, зять лорда Гоуера. Герцог Мальборо заменит, как говорят, лорда Стормонта, которого лорд Мэнсфилд очень хотел бы отправить в Ирландию. Вы помните, что я Вам писал об Ирландии, но все это еще секрет.

4 фрегата с 32 пушками на каждом — «Амазонка», «Диамант», «Жаворонок» и «Ричмонд» — снаряжаются сейчас в Чатаме и готовы поднять паруса, чтобы плыть в Америку. Капитаны Филдинг и Джекоб, которые будут командовать двумя из этих фрегатов, отправились вчера в порт принимать корабли.

Лорд Джермейн вот уже месяц составляет программный доклад об отношениях с Америкой, который он должен представить на рассмотрение палаты. В нем он исходит из необходимости продолжать военные действия с еще большей интенсивностью, чем прежде.

Здесь стало известно, что Швеция передислоцирует свои армии, и это обеспокоило английское правительство, поскольку оно полагает Швецию державой более сильной в военном отношении, чем это принято считать. Договор между Англией и Россией связывает их так тесно, что война на севере не сможет обойтись без вмешательства Англии, которая, однако, не имеет ни желания, ни возможности делить свои силы».

И так каждый день, до 24 мая, даты его возвращения в Париж, Бомарше сервировал для Верженна все английские и американские новости. Но однажды ему представился случай сообщить кое-что и о

Франции: именно он предупредил министра иностранных дел, что против того в Версале плетутся интриги и что целый клан придворных, за которыми стоит Тюрго, добивается его отставки. В результате — Верженн остался на своем посту, а Тюрго пришлось уйти.

Скорее всего, как раз в этот период и началась связь Бомарше с г-жой де Годвиль. В свое время мы еще вернемся к ней, а пока необходимо отметить, что эта дама напрочь лишила его сна, ибо мало сказать, что она была охоча до любовных забав, в них она была просто неутомима.

Впрочем, я преувеличил, Однажды г-жа Годвиль оставила Бомарше часок свободного времени для того, чтобы он написал нечто вроде юморески в форме письма к издателю лондонской ежедневной газеты «Морнинг Кроникл», который и опубликовал ее в номере от 6 мая. Вот ее начало:

«Господин издатель,

я иностранец, француз, и исполнен чувства собственного достоинства. Если этими словами я не сообщаю Вам с исчерпывающей ясностью, кто я такой, то, во всяком случае, Вы из них поймете, кем я не являюсь; а в наше просвещенное время в Лондоне это может пригодиться.

Позавчера в Пантеоне, после концерта, во время танцев я наступил на пелерину из черной тафты, отделанную кружевами на подкладке из той же материи. Я не имею ни малейшего представления о том, кому эта пелерина принадлежит, я никогда даже не видел в Пантеоне дамы, которая ее носила бы, и все мои попытки разузнать что-либо о ее возможной владелице, увы, успехом не увенчались. Поэтому прошу Вас, г-н издатель, сообщить в Вашей газете о моей находке, чтобы вернуть пелерину особе, которая ее случайно обронила.

Но чтобы избежать возможных ошибок, имею честь сообщить Вам, что дама, которая ее потеряла, была в тот вечер в уборе из розовых перьев; я даже полагаю, что в ушах у нее были серьги с бриллиантовыми подвесками, но в этом уверен менее, чем во всем остальном. Она высокого роста, хорошо сложена, волосы у нее пепельного цвета, а кожа ослепляет белизной; у нее грациозная шея, красота которой подчеркнута большим декольте, тонкая талия и самая красивая ножка на свете. Я даже заметил, что она очень юна, жива в общении и ветрена; походка легкая, и явная страсть к танцу...»

А потом он с невероятным блеском объясняет, каким образом вывел все эти умозаключения. Подобно тому как это сделал позже Шерлок Холмс. Быть может, в г-не де Бомарше дремал детектив? Этот вопрос я задаю не только из-за этой юморески, а имея в виду его таланты в области политики и эффективность всех его действий. Среди сочинений Бомарше нет другого текста, хоть чем-нибудь напоминающего этот. Любопытно, что он был написан именно в Лондоне; и кто знает, может быть, по соседству с Бейкер-стрит?

Июнь.

По возвращении в Париж 24 мая Бомарше в тот же день или на следующий был принят Верженном. Министр сообщил ему, что Людо-

вик XVI решился наконец оказать помощь американцам, но только через подставное лицо. Если же ставить все точки над «i», то Франция поручала Бомарше действовать вместо нее. Итак, Бомарше должен был в наикратчайший срок основать торговую фирму и приобрести морские суда, чтобы снабжать повстанцев оружием и боеприпасами. В обмен на военное снаряжение американцы обязались поставлять Бомарше то, что произрастает на их земле, как, например, табак или индиго. Правительство же обещало, с одной стороны, открыть Бомарше доступ в свои военные арсеналы, а с другой — содействовать продаже американских товаров во Франции — разумеется, в той мере, в какой это возможно, не нарушая строжайшей секретности всей операции. Верженн ясно дал понять Бомарше, что будет вынужден бросить его на произвол судьбы, а быть может, даже публично заклеймить новоявленного коммерсанта, если англичане обвинят французское правительство в потворстве его деятельности. В финансовом отношении дело обстояло следующим образом: Франция вручала Бомарше из рук в руки миллион турских ливров и обещала получить у испанского правительства такую же сумму. Торговая фирма, которую Франция изначально официально субсидировала, в дальнейшем, причем в самый короткий срок, должна была стать самоокупаемой. Конечно, задача была поставлена нереальная, ведь не могли же восставшие американцы между битвами собирать урожай табака или индиго, да еще организовать их вывоз в Европу. Но тем не менее надо было, чтобы все это выглядело как чисто коммерческое предприятие. Еще больше обостряя противоречия между тем, чем эта фирма была на деле и чем она должна была выглядеть со стороны, Верженн в разговоре с Бомарше подчеркнул, что он должен оказывать американцам «все возможные льготы». Бомарше так и понимал свою задачу. Желая действовать как можно быстрее, уверенный в Верженне и убежденный, что французское правительство не бросит его на полпути, он принял все эти условия. Никогда еще коммерческое предприятие не основывалось на таких шатких устоях. Будем называть вещи своими именами: Бомарше должен был приобрести корабли, оплачивать экипажи, покупать оружие и возмещать все эти траты тем, что получит от продажи индиго. Вот каким «мошенником» он оказался!

Как заметил Ломени, Бомарше должен был задать себе три вопроса: «Что случится с моим предприятием, если английские крейсеры захватят мои корабли? Что с ним случится, если правительство, напуганное угрозами английской дипломатии, не только бросит меня на произвол судьбы, но и пожертвует мною? И, наконец, что будет, если американцы окажутся побежденными или если, разгрузив мои транспорты, они не сочтут себя обязанными послать мне взамен свои товары?» Но этих вопросов он себе не задал.

Дня два спустя торговый дом «Родриго Орталес и компания» уже существовал. Эти два испанских имени снова приводят нас в театр. Еще бы — комедия! А почему «Родриго»? Уж не в память ли о «Сиде»? Скорее всего. И свой самый большой корабль Бомарше потом назовет «Гордый Родриго». Он знал лучше, чем кто бы то ни было, когда он — цирюльник, когда — Campeador.

Президент — генеральный директор торгового дома «Родриго Орталес и компания» — открыл свою контору и сам поселился на улице Вьей дю Тампль в очень красивом особняке, который все знали в квартале Марэ (прежде там помещалось голландское посольство). Но даже для Бомарше, самого предприимчивого человека на свете, найти подходящий дом, подписать договор о найме, переехать, обставить контору, нанять служащих, ввести их в курс дела оказалось нелегкой задачей, особенно когда это все надо было провернуть буквально за два-три дня. И он принялся за работу с присущим ему напором. Уже 10 июня он смог отправить из своей конторы первое зашифрованное сообщение мисс Мэри Джонсон, то есть Артуру Ли, которого он по-прежнему считал единственным официальным представителем конгресса. Но, как мы скоро увидим, и по ту сторону океана процветали соперничество и интриги.

Мария-Тереза, бывшая к тому времени уже на четвертом месяце беременности, поселилась вместе с ним. Вскоре обстоятельства сложились так, что «швейцарский пьедестал» — надежная помощница — не только управляла их домом, но и вела весьма важные организационные дела, которые ее любовник стал ей поручать. У девицы Виллермавлаз, переименованной с недавних пор Бомарше для простоты, да и забавы ради, в г-жу де Виллер, была, как говорится, голова на плечах. Жюли, никогда не отличавшаяся объективностью к пассиям своего брата, хотя и испытывала к Марии-Терезе больше симпатии, чем к остальным, все же была к ней несправедлива, когда писала о ней: «Приступы меланхолии (солнце сквозь тучи), душа, истерзанная сомнениями». Тем не менее Жюли де Бомарше поспешила перебраться в дом к людям, состоящим в морганатическом браке. Правда, не будем забывать при этом, что Бомарше, даже если бы захотел, не мог вступить в законный брак, поскольку по-прежнему был лишен всех гражданских прав. Однако заметьте, это не помешало ему основать торговый дом.

16-го Бомарше вместе с Гюденом отправился в Бордо, куда прибыл 20-го. Накануне отъезда он поделился с Морепа своей тревогой по поводу прошения о пересмотре своего дела, которое подал в Совет. «Вы можете спокойно ехать, — сказал ему первый министр. — Совет и без вас решит все, как надо».

В Бордо Бомарше купил корабли, оружие и порох. Покупка пороха не обошлась без трудностей. Арсенал, который находился в Шато-Тромпет, возле Бордо, сперва отказался, будто бы по приказу Сен-Жермена, выдать те 150 центнеров пороха, которые требовал Бомарше. Письма, волнения, десять поездок из Шато-Тромпет в Бордо и обратно. За 10 дней он решил все эти проблемы. Вечером десятого дня они с Гюденом пошли в театр. Как только Бомарше вошел в зал, его узнали, и весь партер, встретив его овацией, тут же встал и запел его личный гимн: «Все тот же он».

Поздно ночью, после того как они побывали на банкете в их честь, друзья вернулись в гостиницу. А теперь предоставим слово Гюдену, который напомнит вам, а может быть, и мне доктора Уотсона:

«...вернувшись, Бомарше получил несколько писем из Парижа; он их прочел, пока я раздевался, потому что усталость гнала меня скорее

в постель; я спросил его, доволен ли он полученными известиями. «Вполне», — ответил он совершенно спокойно.

Я лет и заснул. Моя кровать стояла довольно близко от его кровати; на рассвете я проснулся оттого, что кто-то тронул меня за руку. Я открыл глаза, увидел его и спросил, не худо ли ему?

— Нет, — сказал он, — через полчаса мы уезжаем в Париж.

— Что случилось? Почему? Что вы узнали? — Совет отклонил мое прошение. — Боже! Вы даже не обмолвились об этом вчера вечером! — Да, мой друг. Я хотел, чтобы вы спали спокойно. Достаточно того, что я не сомкнул глаз, всю ночь обдумывая, что должен предпринять. Я решился, у меня есть план, и я еду, чтобы его осуществить. Все те, кто, выходя с заседания Совета, говорили: «Наконец-то! Больше мы о нем никогда не услышим», вскоре узнают, услышат ли они еще обо мне или нет!»

Шестьдесят часов спустя они были уже в Париже, и это мне представляется тем более поразительным, что их экипаж попал в аварию в 30 километрах от столицы. Наскоро побрившись и стряхнув пыль с одежды, Бомарше тут же отправляется в Версаль. Не теряя ни минуты, он без доклада врывается к Морепа, весьма удивленному его столь быстрым возвращением, и выпаливает с места в карьер:

— Что это значит! Я мчусь очертя голову на другой конец Франции улаживать дела короля, а вы в это время спокойно взираете на то, как рушатся мои дела в Версале!

— Это глупость Миромениля, — отвечает первый министр. — Пойдите к нему, скажите, что я хочу с ним поговорить, и возвращайтесь вместе.

Бомарше примчался к министру юстиции, схватил его за руку и, ни слова не говоря, повел к Морепа.

Миромениль, слегка сконфуженный, объяснил, что решение Совета удивило и его самого. Дело в том, что большинство советников — бывшие члены парламента Мопу, и они не очень-то жалуют того, кого им в свое время не удалось поставить на колени. Оба министра поклялись Бомарше всем святым, что под каким-нибудь формальным предлогом его прошение будет заново рассмотрено, ибо всегда находятся предлоги для всех подобных предвиденных и непредвиденных случаев.

Бомарше успокоился и снова занялся делами короля.

Июль.

2 июля Американские Штаты окончательно порвали отношения с Англией, однако положение их армий к этому моменту сильно ухудшилось. Правда, Вашингтон продолжал наносить удары по английским войскам, но они постоянно получали подкрепления и военное снаряжение, а повстанцы испытывали недостаток решительно во всем, кроме мужества. Таким образом, Родриго должен был торопиться. Конгресс, узнав об изменении позиции Франции, тотчас же послал Сайласа Дина, депутата от штата Коннектикут, в Париж, чтобы начать переговоры. Дин прибыл во Францию в первых числах июля, и Верженн тотчас же свел его с Бомарше, поскольку было решено, что до нового приказа короля Бомарше — это Франция. Бомарше, который до той минуты был

искренне убежден, что официальным представителем конгресса является Артур Ли, решил, как только справился с изумлением, что отныне он этого Ли больше знать не желает и все дела теперь поведет только с Дином. Жесткость Бомарше в отношениях с людьми, которых он не любил, — весьма удивительная черта его натуры.

Что это, жесткость или равнодушие? Не знаю. Ясно лишь одно: порвав вот так, в одночасье, все отношения с Ли, он тем самым сделал его своим врагом. Ли, как и шевалье д'Эон, с которым Бомарше обошелся точно таким же образом, решил, следуя поговорке «как аукнется, так и откликнется», отомстить ему и немедля сообщил конгрессу, что оружие, которое поставляется через посредство Бомарше, — подарок Франции и, следовательно, не требует возмещения расходов, а сам Бомарше — просто мошенник. Конгресс, как мы потом увидим, сделал вид, будто верит Ли, и перестал расплачиваться за военные поставки. Так как Бомарше не мог обнародовать свой тайный договор с французским правительством, Ли еще некоторое время беспрепятственно распространял свою клевету. Этот Ли был вообще весьма странным молодым человеком, видимо, настоящим мифоманом, и конгресс не испытывал к нему большого доверия, однако до поры до времени все же пользовался его услугами. Когда Ли обнаружил, что его обвели вокруг пальца и что Америка, спасителем которой он себя считал, уготовила для него лишь второстепенные роли, он разгневался и обвинил Дина и Франклина в воровстве. Вот каков был этот господин. Обычно историки судят его весьма сурово. Но я думаю, у Ли были все основания рассердиться: он проделал в Англии всю черную работу, а почести достались Дину во Франции.

В июле Бомарше нажил себе еще одного врага, который мог бы стать столь же опасным. Некий доктор Дюбур, скорее финансист, нежели врач, который когда-то встречался в Лондоне с Франклином, вообразил, что он — самая подходящая фигура, чтобы вести тайные переговоры с американцами. Узнав, что правительство предпочло ему Бомарше, Дюбур стал интриговать, апеллируя то к Дину, То к Верженну. Так как король по-прежнему пекся о нравственности, «добропорядочный» доктор Дюбур написал весьма красноречивое письмо Верженну, сообщая, что его соперник — отъявленный мот и гуляка, который к тому же содержит множество девиц. Министр тут же показал это послание заинтересованному лицу, и тогда тот попросил листок бумаги, перо и тотчас же написал ответ своему обвинителю:

«Интересно, какое отношение к нашим делам имеет то, что я человек светский, любящий широко пожить и к тому же содержащий девиц? Впрочем, разрешите представить Вам, сударь, Ваших покорных служанок, девиц, коих я содержу вот уже двадцать лет. Их пять — четыре из них мои сестры, а пятая — племянница. Три года назад две из этих девиц, находящихся на моем содержании, к великой моей печали скончались. С тех пор я содержу всего лишь трех девиц — двух сестер и племянницу, что, однако, все еще слишком роскошно для такого скромного человека, как я. Но что бы Вы подумали, если б узнали, познакомившись со мной поближе, что я оказался настолько безнравственным, что беру на содержание не только женщин, но и мужчин — двух

еще совсем молодых и довольно красивых племянников и сверх того даже одного пожилого господина — моего несчастного отца, который дал жизнь такому безнравственному субъекту, как я, так и норовящему всех содержать? Что до моего мотовства, то тут дело обстоит еще хуже. Вот уже три года, как я, в дьявольском своем тщеславии решив, что кружева и вышивки слишком вульгарные украшения, стал носить рубашки только из самого дорогого гладкого муслина! Более того, я не отказываю себе даже в тонком черном сукне высшего качества, а иногда — правда, обычно это случается в жару — моя необузданность приводит даже к тому, что я одеваюсь в шелка! Но только умоляю Вас, сударь, не передавайте всего этого графу де Верженну, не то Вы меня окончательно погубите в его. глазах.

У Вас, видимо, были основания написать ему дурно обо мне, хоть Вы меня и не знаете. У меня же есть все основания не обижаться на Вас, несмотря на то, что я Вас знаю, и хорошо. Вы, сударь, воистину честный человек, настолько воодушевленный желанием творить добро, что сочли себя вправе во имя этой высокой цели свершить даже кое-какое зло».

Это письмо весьма позабавило Верженна и крайне оскорбило доктора, которому ничего не оставалось, как дожидаться приезда своего друга Бенджамина Франклина. Как только Франклин прибыл в Париж, Дюбур кинулся к нему и наговорил бог весть какие гнусности про Бомарше. Франклин, пуританизм которого служил надежным громоотводом порока, тотчас же проникся отвращением к этому кутиле и развратнику и в дальнейшем чинил ему всевозможные препятствия. Ответ Бомарше огорчил Дюбура, но зато обрадовал Жюли, которая послала «господину содержателю» следующее четверостишие:

Я вам советовать не смею,
Но вы бы щедростью своею
Двойной приобрели почет,
Когда б дарам своим могли удвоить счет.

Сайлас Дин не страдал манией преследования, как Ли, и не судил о людях по слухам, подобно Франклину. Поэтому, когда он оценил Бомарше по достоинству, то раз и навсегда преисполнился к нему доверия. Дин прекрасно понял, в каком особом положении находится человек, с которым он должен иметь дело. Понял, что тот действует во имя интересов Франции, но в то же время вынужден вести себя как самый обычный коммерсант. Следовательно, посланец конгресса торжественно и в письменной форме обещал Родриго Орталесу, что Америка в течение года полностью с ним рассчитается. Родриго согласился открыть конгрессу кредит, выразив это следующими словами: «Так как я полагаю, что имею дело с добродетельным народом, мне достаточно будет вести точный счет всех авансированных мною сумм. Пусть конгресс сам решит, будет ли он оплачивать товары по цене, установившейся к моменту их прибытия на континент, или же принимать их по покупной стоимости с дополнительной наценкой, учитывающей задержки в доставке, страховку и пропорциональные комиссионные сбо-

ры, размер которых заранее определить невозможно». После того как договор был заключен, начались собственно переговоры. Повстанцы рассчитывали на большие и разнообразные поставки. По сообщениям Дина, за одно только снаряжение судов торговый дом Орталес должен был заплатить 3 миллиона франков! Но все это было ничто по сравнению с затратами на оружие и боеприпасы, поскольку Дин передал заказ на 200 пушек, большое число мортир, 26 тысяч ружей и несметное количество мешков пороха. Все решилось буквально за несколько дней. В то же время Бомарше продолжал бегать по арсеналам и снаряжать свою первую флотилию, состоящую из 10 больших кораблей: «Андромеда», «Аноним», «Меркурий», «Римлянин» и т. д. Чтобы сбить со следа Стормонта и его агентов, которые не дремали, Бомарше пришлось разделять закупки на отдельные партии и отправлять их в различные порты — в Гавр, в Лорьян, в Нант, в Рошфор, в Ла-Рошель и в Бордо, где грузились его суда. Если бы он собрал всю флотилию в каком-нибудь одном порту, это не могло бы не привлечь внимания англичан. Но такая рассредоточенность создавала много дополнительных трудностей, и прежде всего тех, что чинил военный министр, который решительно не сочувствовал, как мы уже говорили, всей этой затее и весьма неохотно, лишь после нескончаемых переговоров, открывал Бомарше ворота своих арсеналов. Бомарше приходилось также тщательно отбирать капитанов, которые все должны были быть не только отличными моряками, но и честными, мужественными людьми, умеющими хранить тайну. И еще было необходимо все время раздобывать деньги, потому что миллион турских ливров, которые ему передал, или, точнее, распорядился передать Верженн, был уже израсходован. Как ему удавалось решать эти практически почти неразрешимые задачи? Кто бы мог сегодня, располагая самолетами, телефонами, счетными машинами и всей аппаратурой, которая помогает экономить время, выполнить за месяц хотя бы четверть этой программы? А Бомарше сумел справиться с этим один или почти один. Наверное, едва сумел, потому что в конце этого безумного месяца у него уже не было ни минуты, чтобы написать связное письмо, и он направлял Верженну лишь какие-то обрывочные записки примерно такого стиля: «Повидаться с Сен-Жерменом, решить с артиллерией, поддержать испанского посла и постоянно защищать Вашего слугу».

Август.

Когда Бомарше метался по Парижу, торопясь поспеть с одного делового свидания на другое, он узнал, что его старый друг Луи де Бурбон, принц де Конти, при смерти. Принц, которому не было еще и шестидесяти, всегда жил на износ, не щадя ни тела, ни души. Он делил свое время между политикой, коллекционированием всяческих раритетов, общением с друзьями и теми радостями, о которых Колетт говорила, что назвать их плотскими было бы легкомысленно. Конти занимал в сердце Пьера-Огюстена такое же большое место, как и Пари-Дюверне. Сын кабатчика, ставший королевским банкиром, и принц крови, склонный к фронде, — оба они горячо полюбили Бомарше и до конца оставались ему верны. Однако не стоит продолжать этого сравнения. Если

Пари-Дюверне был Вотреном Бомарше, то Конти был, скорее, его Сваном. Надеюсь, разница понятна! А вместе с тем и общность, но я оставлю вам удовольствие самим ее обнаружить. Здесь можно было бы также заметить, что, привязываясь к двум мужчинам на много лет его старше, Бомарше явно искал отца, что, впрочем, неудивительно для человека, который был неизвестно чьим сыном. Чтобы специалисты по Бомарше, которые знают, как горячо Пьер-Огюстен любил старого г-на Карона, не ахали, я еще раз повторю, что сын может обожать своего отца, нимало притом не уважая его, и наоборот. Все это, однако, не выступает с полной ясностью, остается как бы за гранью сознания. Тогда, скажут мне, зачем об этом говорить? Да как раз из-за творчества, корни которого тоже уходят в подсознание. Короче, Конти ждал последнего визита Бомарше. И дождался, даже двух. После первого визита родные Конти умоляли Пьера-Огюстена уговорить своего друга принять последнее причастие, так как считали, что принц не может покинуть этот мир, не получив отпущения грехов. Бомарше, который отличался не бóльшим усердием в вере, чем умирающий, тем не менее взялся за возложенную на него миссию. Он вернулся в комнату больного и уговорил своего старого друга не захлопывать дверей перед носом парижского архиепископа. Так Конти получил последнее благословение. Но не будем пытаться вникать в это глубже. Кто из нас отлит из одного металла? Ведь тот маленький мальчик, который в свободные дни бегал в Венсен слушать, как старый монах, угощая его чашкой горячего шоколада, рассказывал о боге, тоже был Бомарше. Что до Конти, то он умер 2 августа.

«Я не могу выразить своего горя, оно безмерно», — писал Бомарше на следующий день Верженну. Но ему надо было, не откладывая, снова браться за дела: «В мое отсутствие все идет шиворот-навыворот». Надо было подстегивать Морепа, чтобы тот, в свою очередь, воздействовал на генеральных контролеров, победить сопротивление Сен-Жермена, который отказывался поставлять «пушки из бронзы», договориться с Сартином о комплектовании судовых экипажей, вести переговоры с испанским послом, чтобы как можно скорее получить вторую часть обещанной суммы (что произошло 11 августа), уйти от соглядатаев лорда Стормонта, следовавших за ним по пятам и, к слову сказать, обнаруживших местонахождение Сайласа Дина («господин Дин сообщил мне вчера, что за ним шпионят»), и, действуя совместно с Верженном, удерживать короля в том же умонастроении, вопреки всем козням английского клана.

Стормонт не ошибался, умножая свою бдительность, потому что господин де Бомарше в три раза увеличил обороты своей фирмы. Между 10 и 15 августа он обязался нанять тех, кого мы теперь, прибегая к эвфемизму, называем военными инструкторами, иными словами офицеров, большей частью артиллерийских, для совета и военной помощи повстанцам. Бомарше добился от Верженна обещания, что тот закроет глаза на отправку в Америку двух или трех офицеров, на самом же деле он нанял их не менее пятидесяти и сразу же отправил за океан. Некоторые из этих офицеров, как, например, маркиз де Ларуэри, отличились в Америке до прибытия Лафайета, и Вашингтон наградил

их прямо на поле боя. Когда первый экспедиционный корпус был сформирован, Бомарше написал конгрессу: «Еще до того, как вы получите мои первые грузы, в Филадельфию прибудет офицер, прекрасно разбирающийся в артиллерии и в инженерном деле. Его будет сопровождать группа офицеров-артиллеристов и пушечных мастеров».

За ту же неделю ему пришлось организовать филиал торгового дома, занимающийся только импортом: «Столько вещей здесь необходимо согласовать, не говоря уже о регулярных поставках сырья, сукна и полотна мануфактурам, что это вынуждает меня нанять новых работников. Это политико-коммерческое предприятие разрастается до огромных размеров, и если я не найму большого числа новых помощников, то просто потону в нем вместе с моим немногочисленным штатом».

Но он не потонул, его хватило, чтобы предусмотреть решительно все, например, даже то, что надо срочно сбить с пушек гербы, а это значит найти квалифицированных и умеющих держать язык за зубами мастеровых, чтобы быстро и тихо с этим справиться. В спешке никому и в голову не пришло, что это необходимо сделать, не то англичане тут же разоблачили бы тайну французской помощи. Бомарше, как Наполеон, обладал даром заниматься одновременно десятью делами. Имя императора я упоминаю здесь не случайно. Ведь в течение этого безумного месяца Бомарше также взялся за перестройку «Комеди Франсэз», а это одно было уже весьма нелегкой затеей. В дальнейшем мы еще к этому вернемся.

Это все? Да нет, куда там! Он еще не был реабилитирован, а парламент вскоре должны были распустить на каникулы. Ничто в мире так не раздражало Бомарше, как медлительность судебных процедур. Поэтому он побежал к первому министру и продиктовал ему письма, адресованные председателю суда, прокурору и даже генеральному прокурору Сегье. В тот момент авторитет Бомарше был так велик, что старый граф де Морепа тотчас же взялся за перо, ничем не выразив своего неудовольствия. Вот, прежде всего, записка, которую получил прокурор:

«Дела короля, сударь, которые поручено вести г-ну де Бомарше, требуют его срочного отъезда. Однако он не решается покинуть Париж, пока не будет рассмотрен его гражданский иск. Он заверяет меня, что это может быть сделано еще до каникул. Я прошу Вас не о снисхождении касательно существа дела, а только об одном: ускорить, насколько возможно, его рассмотрение. Тем самым Вы весьма обязали бы того, кто имеет честь быть Вашим и т. д.

Морепа».

Что касается генерального прокурора Сегье, то он получил письмо уже с б*о*льшими уточнениями.

«Сударь, я узнал от г-на де Бомарше, что если Вы не будете столь любезны и не замолвите за него словечко, то его иск не будет рассмотрен до 7 сентября. Дела короля, ведение коих поручено г-ну де Бомарше, требуют, чтобы он срочно отправился в дальний путь. Однако он боится уехать из Парижа до того, как ему будут возвращены гражданские права. Он уже так долго страдает от своего бесправного положе-

ния, что его желание представляется мне вполне законным. Я не прошу Вас о снисхождении касательно существа дела, но Вы бы крайне меня обязали, ежели содействовали бы тому, чтобы оно было рассмотрено до каникул.

Имею честь оставаться Вашим и т. д.

Морепа».

Судьям, которые в первый раз ослушались министра юстиции, стало ясно, что теперь им придется подчиниться, ибо они почувствовали в бархатной перчатке железную руку Морепа. Ошельмованному Бомарше оставалось только подготовить вместе с адвокатом Тарже свою защитительную речь. Мученик Бомарше и непорочная дева Тарже — так они шутливо называли друг друга — за несколько ночей продумали план защиты. Ги-Жан-Батист Тарже отказался в свое время выступать перед парламентом Мопу, и с того времени он, увы, потерял свою невинность. Странная судьба была у этого блестящего адвоката. Очень знаменитый во время Людовика XVI, избранный в сорок лет во Французскую Академию, он во время революции едва не погиб, но не от гильотины, а от смеха. Эта история настолько забавна, что ее стоит рассказать. Он был депутатом Генеральных Штатов, и речь, которую он произнес, впервые поднявшись там на трибуну, вызвала невероятный шум в зале. Тарже должен был предложить своим коллегам текст обращения к королю. Поскольку он был знаменит и весьма уважаем, то стоило ему заговорить, как в зале воцарилась полная тишина. Слышно было как муха пролетает. Но тишина эта длилась недолго.

— Сир, — начал адвокат Тарже. — Национальная ассамблея имеет честь...

Вопли, крики: «Никакой чести!» — «Выкиньте слово «честь».

— Сир, — снова заговорил удивленный Тарже, — Национальная ассамблея кладет к стопам Вашего Величества...

Снова крики и топот ног, да такой, что, как рассказывает очевидец, задребезжали стекла и затряслись перегородки: «Никаких «к стопам», никаких «к стопам»!»

— Сир, — снова заговорил Тарже уже дрожащим голосом, — Национальная ассамблея предлагает Вашему Величеству...

Формула вызвала аплодисменты. Тарже, несколько успокоенный, продолжал:

— ...предлагает Вашему Величеству принять в качестве приношения...

Неописуемый шум. Сквозь вопли несчастный с трудом разобрал, что от слова «приношение» ему тоже надо отказаться. И так в течение часа знаменитый академик, глава адвокатуры, вынужден был слово за словом исправлять текст своей речи, как школьник, не выучивший урока, — он чувствовал себя на трибуне, словно под пыткой. С этого памятного заседания Тарже не мог больше рта открыть на публичном месте, чтобы его тут же не начали прерывать. Ему не отрубили голову, потому что он превратился в забаву.

Когда он умер, уже во времена империи, люди над ним все еще смеялись. И, провожая глазами похоронные дроги с его гробом, все

повторяли одну из его знаменитых фраз, произнесенную им, когда он был председателем Конституционного собрания: «Я призываю вас, господа, сочетать миролюбие с согласием, за которыми последуют мир и покой».

«Согласие» издавна было любимым словом Тарже. Он употребил его и в парламенте, собравшемся на торжественное заседание 6 сентября 1776 года, в заключительной части своей речи, которая является, спору нет, высоким образцом этого жанра:

«Здесь, на глазах у публики, в силу вердикта блюстителей закона, счастливым образом пришедших к единодушному согласию, г-ну де Бомарше будет по праву возвращено высшее благо человека во всяком обществе, а именно честь, которую он, в ожидании пересмотра дела, доверил общественному мнению».

«Публика», которой собралось в зале видимо-невидимо, чтобы чествовать Бомарше, приветствовала слова Тарже одобрительными криками. Когда адвокат на стороне ее героя, этого вполне достаточно, чтобы ему рукоплескали. Прежде чем предоставить слово Сегье, председателю пришлось восстановить тишину в зале. Поскольку генеральный прокурор тоже потребовал полной реабилитации Бомарше, тот немедленно был восстановлен во всех правах. «Публика встретила постановление суда восторженными аплодисментами, — рассказывает Гюден, который при этом присутствовал. — Бомарше окружили, все его обнимали и поздравляли, а потом под несмолкающие аплодисменты собравшихся подняли его на руки и понесли из зала суда до кареты. На Бомарше смотрели как на человека, восстановившего попранную справедливость. Быть может, никогда еще дело частного лица не вызывало такого воодушевления».

Прежде чем сесть в карету, герой этого безумного дня торопливо нацарапал несколько строк, которые велел отнести тому, кто в этот час был его главным сообщником, — Верженну.

«Париж, пятница, 6 сентября 1776 года.

Господин граф,

меня только что судили, и под гром аплодисментов с меня сняли все обвинения. Никогда еще пострадавшему гражданину не было оказано больше почестей. Спешу Вам об этом сообщить, умоляя Вас положить к стопам короля мою живейшую благодарность. Я так дрожу от радости, что рука моя едва может водить пером по бумаге, чтобы выразить чувство глубокого почтения, с которым я остаюсь, г-н граф, Вашим покорным слугой.

Будьте столь любезны, г-н граф, передать эту радостную новость г-ну де Морепа и г-ну де Сартину.

Вокруг меня толпятся не менее четырехсот человек, и все хлопают в ладоши, целуют меня и производят адский шум, который кажется мне божественной гармонией».

Так, словно по волшебству, Бомарше было возвращено все — честь, доброе имя, гражданские права и даже должность бальи Луврского егермейстерства. Добрая фея победила злую. Но как человек прозорливый, он понимал, что фея на самом деле одна и та же и что у правосудия фальшивые весы. Поэтому на следующий день он опубликовал свою

«Речь к парламенту», которую произнес бы накануне, не останови его друзья. Этой речью, весьма неодобрительно встреченной в Версале, Бомарше доказывал, что может служить королю и Франции, не отказываясь ни от одной из своих идей. Гражданин в нем никогда не отступал перед верноподданным. С этой точки зрения он, конечно, всегда, всегда был одним и тем же. И не будь весы Истории такими же фальшивыми, стойкость Бомарше всегда приводили бы в пример. Но до этого еще далеко.

Оборвем эту главу о безумных днях на 7 сентября 1776 года не потому, что 8-го день его стал разумнее, а просто потому, что пора навести кое-какой порядок в нашем рассказе.

12

ТАТАРИН В ПРОВАНСЕ

> И я, подобно татарину или древнему скифу, свирепому и дикому, атакующему всегда на равнине с легким мечом в руке, я сражаюсь один, обнаженный до пояса, с поднятым забралом; и когда мое копье, брошенное сильной рукой, летит со свистом и пронзает противника, все знают, кто его метнул, ибо я начертал на нем: Карон де Бомарше.

Прежде чем нам всецело заняться американскими делами Бомарше, которые были самым прекрасным его приключением, надо, мне кажется, завершить наконец историю с г-ном де Лаблашем. Правда, тем самым мы несколько забегаем вперед, потому что процесс в Экс-ан-Провансе состоялся в 1778 году; но, чтобы верно понять биографию нашего героя, мне представляется необходимым именно сейчас покончить с вопросом о наследстве Пари-Дюверне.

Несколько месяцев спустя после своей триумфальной реабилитации, которая вернула ему все гражданские права, г-н де Бомарше снова познал счастье отцовства. Амалия-Евгения родилась 5 января 1777 года. И хотя это радостное событие не побудило Бомарше узаконить свою связь с Марией-Терезой — они еще восемь лет прожили в морганатическом браке, — он все же счел необходимым навести порядок в своих денежных делах. Отцовство странным образом всегда возвращало его в мир вещей. И денег.

О своем сыне он, как вы помните, писал в 1769 году: «Душа радуется, когда думаю, что тружусь для него». А американское предприятие, может, и принесло славу, но не имело никакого отношения к коммерции, если не считать вывески. Чтобы продолжать свою войну с Англией и обеспечить будущее Евгении, Бомарше во что бы то ни стало должен восстановить потерянное состояние, которым по решению суда теперь распоряжался Лаблаш. Но правосудие — азартная игра, и последняя карта еще не была бита.

Приговор, вынесенный не в пользу Бомарше, был отменен в 1775 году, а дело отправлено на пересмотр в провансальский парламент. Мы видели, что Лаблаш, желая воспользоваться поездками своего противника в Англию и лишением его гражданских прав, сделал все, чтобы ускорить рассмотрение дела, но Бомарше добивался обратного и одержал победу: слушание было отложено до лета 1778 года. Что же касается его существа, то досье оставалось все тем же, и отсрочка практически ничего не меняла. Я пишу это, чтобы сделать все необходимые оговорки и чтобы мне простили вольное обращение с хронологией.

В июне Бомарше поехал в Марсель вместе с Гюденом, которого тогда приняли в Провансальскую академию. И конечно же, наш Фигаро задумал кое-какие проделки. Он не был равнодушен ни к марсельскому порту, ни к марсельским театрам и тут же организовал отправку то ли одного, то ли даже двух больших кораблей в Америку, а в театре — постановку своих драм и «Севильского цирюльника». Добавьте к этому бездну времени, потраченного на всяческие удовольствия. Гюден, не перестававший удивляться, рассказывает, что его дорожный товарищ «прикрывал свое участие в общественной жизни вуалью развлечений». Этого я не буду касаться. В альковных делах Бомарше никогда ни к чему себя не принуждал. Тут он тоже всегда оставался одним и тем же.

Тем временем его главный враг, его злой гений царил в Эксе, разгуливая в мундире генерал-майора. Граф тоже не изменил своих привычек. В Эксе всюду, где только можно, он выставлял напоказ свои гербы. За несколько месяцев он издал множество брошюр, мемуаров и памфлетов, собрал вокруг себя всех недоброжелателей и завистников, в том числе, конечно, и Обертенов, и, пустившись во все тяжкие, не побрезговал даже литературными услугами шевалье д'Эона. Короче говоря, в полусонном Эксе, где всем было невдомек, что Бомарше может метать молнии, но где еще не забыли стрел, направленных им во всех провансальцев и, в частности, в господина Марена, Лаблаш находился на уже завоеванной территории. Гениальный сутяга, он нашел подход ко всем судьям, которым весьма льстили и его светская обходительность и всевозможные знаки внимания со стороны столь влиятельного вельможи. Наконец, и это было уже рекордной подлостью, Лаблаш попытался нанять себе на службу сразу всех адвокатов экской коллегии — затея, требующая поистине лихой наглости. Однако скажем правду: два или три отказа граф все-таки получил.

«Узнав о всех этих приготовлениях, — пишет Гюден, — Бомарше сочиняет в Марселе мемуар, вполне достойный тех, что принесли ему столько славы». Не могло быть и речи, чтобы его напечатать в Эксе, где генерал подкупил всех владельцев типографий. К тому же общественное мнение Экса оказалось уже столь враждебным Бомарше, что в его интересах было подготовить свою атаку где-нибудь на фланге, а не в укрепленных позициях противника. Принято утверждать, что этот мемуар, шутливо названный «Невинный ответ на гнусную сплетню, которую граф Александр Фалькоз де Лаблаш

распространил в Эксе», что бы там ни говорил Гюден, все-таки ниже уровнем, чем предыдущие. Но тут дело в другом: просто в нем нет образа под стать пресловутой г-же Гезман. Она стоит в центре «Мемуара для ознакомления», превращая его в блестящую комедию. Бомарше удивительно ярко запечатлел ее образ, и я думаю, он обессмертил ее. Да, г-жа Гезман стоит Базиля, и даже с лихвой. Кроме того, в «Невинном ответе» Бомарше вынужден повторяться, поскольку его противник снова вытащил на свет все свои старые кляузы и свою прежнюю клевету, чтобы сбить с толку жителей Экса. Но что касается существа, живости стиля, забавности эпитетов, всей композиции в целом и верности тона, то «Ответ» и вправду ничем не уступает предыдущим мемуарам и даже превосходит их более напряженной манерой письма и богатством словаря. Бомарше во всем способен совершенствоваться. Я не перестану этого повторять — он первоклассный ремесленник, мастер своего дела.

Экземпляры «Ответа» распространялись в Эксе в один из дней между 10 и 15 июля. Утром все его взахлеб читали; а к двум часам город капитулировал. Матье, поверенный Бомарше, который, согласно закону, подписывал вместе с ним все его письменные заявления, кинулся в объятия своего клиента с криком: «Вы перевернули весь город. Это непостижимо!»

За два часа! Как писал Гюден: «Никогда еще революция не бывала столь скоропалительной».

Лаблаш и его армия, вернее, «легион» его адвокатов, попытались вновь отвоевать потерянную территорию, печатая всевозможные подлые инсинуации. Бомарше разозлился и 19 июля опубликовал весьма едкое «дополнение» — «Татарин легиону», которое произвело воистину ошеломляющее впечатление. Я не буду пересказывать его всем известные аргументы, перечислять его неопровержимые доказательства, удивляться безупречной диалектике его рассуждений. Но поскольку эти мемуары по неведомым, не поддающимся разумному объяснению причинам невозможно теперь найти, я позволю себе процитировать начало «Татарина» хотя бы только для того, чтобы доказать всем, что этот текст существует!

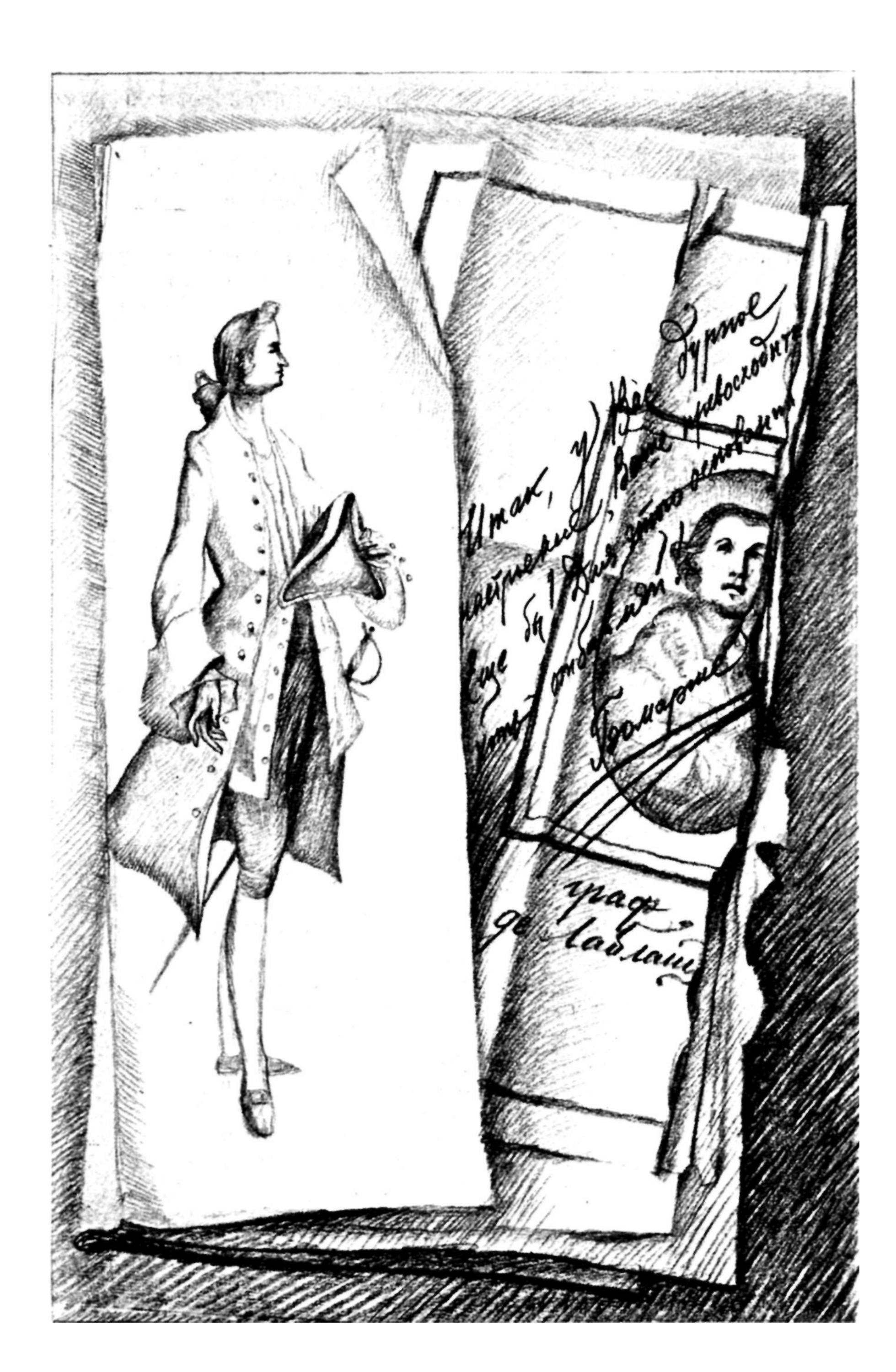
«Сколько вас, господа, тех, кто на меня нападает, кто формулирует, подписывает и подает против меня всевозможные жалобы, кто мечет громы и молнии по поводу моей законной защиты? Четыре, пять, шесть, десять, легион! Давайте посчитаем.

Первый эшелон: во главе всех граф де Лаблаш, шесть его адвокатов, приписанных к парламенту, прокурор.

Второй эшелон, вспомогательный: иностранный истец, Шатийон; отряд клерков; отряд судебных исполнителей, отряд понятых и т. д.

Не имея возможности говорить с таким количеством людей сразу, я беру на себя смелость обратиться лично к тому, кто стоит во главе всех. Остальные, если захотят, пусть тоже меня слушают; я начинаю:

<...> Итак, у Вас дурное настроение, ваше превосходительство? Еще бы! Для этого оснований хоть отбавляй: ведь несмотря на то,


Итак, у Вас дурное
настроение, Ваше превосходительство
Еще бы!
граф

Ninon

что Вы здесь командуете целым легионом, нельзя не согласиться с Вами, что Ваша провансальская кампания проходит бесславно. А это, должно быть, не лестно для генерал-майора; в то время как Ваши соперники по военному искусству, которых Вы не раз оглушали своими воинственными кличами, спешат ратными подвигами доказать свою преданность родине и приумножить ее величие, Вы затеяли здесь со мной постыдную войну. О, как я понимаю Вас! Это не может не уязвить Вашего самолюбия бравого генерала!»

20 июля в парламенте, который собрался в полном составе, Бомарше в течение пяти часов произносил свою защитительную речь. Блестящий оратор, он на сей раз говорил очень просто, все время обращаясь к присутствующим. «Его красноречие, — рассказывает Гюден, — можно определить тремя словами: энергия, логика, простота». Судьи, уже смущенные остроумием и убежденностью его двух последних мемуаров, были покорены ясностью его речи. Так резко изменив тон защиты, Бомарше застиг свою аудиторию врасплох. Они ожидали встречи с Татарином, а услышали Цицерона.

На следующее утро Лаблаш, поддержанный легионом адвокатов, в свою очередь попытался покорить суд. Генерал-майор тоже был очень талантливым оратором, но, видимо, совсем в другом духе. Бомарше обнажил перед аудиторией правду, а граф прикрыл ее, завуалировал, перекроил с ловкостью портного, но, несмотря на эти яркие маскарадные костюмы, судьи увидели голую правду. А однажды увидев, они уже не могли ее забыть.

К концу дня парламент Экса после долгих дебатов вынес единодушно свой приговор: Бомарше выиграл процесс! Акт, подписанный Пари-Дюверне перед смертью, был признан действительным. Что касается Лаблаша, то ему было отказано во всех исках и, кроме того, его приговорили к выплате 12 тысяч ливров судебных издержек, поскольку все его обвинения были квалифицированы как клеветнические.

Как только приговор был оглашен, весь город, высыпавший на площади и улицы в ожидании исхода процесса, как говорится, пустился в пляс, празднуя такое событие. На перекрестках запылали костры. До зари продолжались уличные концерты, молодежь танцевала вокруг фонтана. Победителю пришлось не меньше ста раз выходить на балкон и отвечать на приветственные крики толпы. А когда Бомарше объявил, что дает приданое пятнадцати самым бедным девушкам в городе, то ликованию уж действительно не было конца.

Впрочем, Экс праздновал не только триумфальную победу Бомарше. В тот вечер, и это понял народ, родилась безумная надежда. В первый раз в истории провансальского парламента дворянин проиграл судебное дело. Это выглядело концом традиционной привилегии, во всяком случае, на это можно было надеяться. Но на самом ли деле правосудие перестало быть «снисходительным к сильным и суровым к слабым»?

Ждет солдата эшафот,
Если он браслет украл.

А припрячет генерал
Контрибуцию в кармане —
Удостоится похвал, —

запел бы Фигаро, если бы цензоры не углядели в этом куплете покушения на боевой дух армии.

После того как Гюден и Бомарше почтили своим присутствием два или три торжественных званых обеда, они простились с Эксом. Любопытно, что наш герой свершил тогда одну забавную психологическую ошибку. Когда Гюден заговорил с ним о возвращении в Париж, Бомарше ответил:

— Друг мой, мы так скоро туда не вернемся. Похоже, нам придется совершить небольшое путешествие в Швейцарию. Мой противник — дворянин, а он по решению суда объявлен клеветником, и своим позором обязан моим мемуарам. Этого он никогда не забудет. Конечно, генерал-майор захочет драться, а в этом случае нам лучше встретиться за пределами нашего королевства.

Бомарше ошибался. Лаблаш, который испытывал к нему род недуга, не хотел его лишаться. Они оба должны были остаться в живых. «Я ненавижу его с такой же страстью, с какой мужчина любит свою любовницу», — признался как-то граф. Было ясно, что он весьма дорожит этими странными отношениями. Когда Бомарше умер, Лаблаш, потеряв, видимо, смысл жизни, тут же последовал за ним в могилу.

В Лионе, где наши путешественники остановились переночевать, их тоже встретили очень торжественно, и в честь Бомарше был устроен блестящий прием, во время которого в одной из гостиных к нему вдруг кинулся некий красавец и принялся его горячо целовать. Удивленный Гюден подошел, чтобы выяснить причину этого буйного порыва. Не выпуская из своих объятий Бомарше, молодой человек представился. Он оказался шевалье де Фалькозом, младшим братом графа де Лаблаша. Несколько успокоившись, Жан де Фалькоз им объяснил, что ненавидит своего брата Александра и не может не полюбить того, кто «навеки сделал его посмешищем». Дружная семейка, не правда ли?

И вот наконец Бомарше восторжествовал над своим ненавистным противником. Восторжествовал после восьми лет непрекращающейся вражды, после того как он на самом деле дошел до полного обнищания, был обесчещен, оклеветан, дважды сидел в тюрьме, чудом избежал каторги и смерти, и все это в результате злого умысла человека, по не вполне понятным причинам задавшегося целью его погубить. Победа Бомарше в этом поединке — победа одиночки, убежденного, что «уму подвластно все». В уме ему и вправду нельзя было отказать, как, впрочем, и в мужестве. Много лет спустя он сказал как-то, вовсе не шутки ради: «Я самый мужественный из людей», и поверьте, эта фраза ни у кого не вызвала улыбки. А его последние подвиги, уже во время революции, хоть и снискали ему меньшую славу, но по яростной смелости,

по энергии, по стойкости духа, несомненно, превзошли битвы, которые он вел в сорокалетнем возрасте. Победа в Эксе была одержана в сорок шесть лет, которых, впрочем, по виду никто ему не давал. Не было человека столь легкого на подъем, как он. Ему не было равного ни в умении идти к намеченной цели, ни даже в альковных делах. С юношеским пылом он неутомимо действует, сочиняет, любит, сражается, и можно подумать, что к нему вернулись те, казалось, неисчерпаемые силы, которые обуревают нас в двадцать лет. Но увы, так это выглядело только со стороны. А на самом деле в вечер своего триумфа в Эксе Бомарше лишился чувств от усталости и нервного истощения. Гюден тогда подумал, что он упал в обморок от радости. Разве он мог предположить, что его герой более чувствителен и хрупок физически, нежели большинство смертных? Гюден, как и мы теперь, мог лишь с изумлением восхищаться неиссякаемыми силами этого удивительного человека и недоумевать, какими колдовскими чарами сын Карона, у которого отняли честь, имущество и гражданские права, ухитрился даже прежде, чем вернуть себе все это, подчинить своей воле короля Франции и изменить ход истории страны.

В Париже Гюдена ожидал еще один сюрприз: оказалось, его разыскивают, чтобы посадить в тюрьму. Представьте себе его удивление. Дело в том, что из Экса он послал в «Курьер де л'Эроп» сочиненное им стихотворение, чтобы на свой лад прославить победителя этой восьмилетней войны. В одной из строф поэт отдает, я бы сказал, своеобразную дань презрения советнику Гезману.

Так завершился суд суровым приговором,
Парламент заклеймил врагов твоих позором.
На козни хитрые надеялись они,
Когда продажного сенатора в те дни
Склоняли вынести пристрастное суждение,
И судий праведных вводили в заблуждение.

Поскольку плохой сенатор был смещен, Гюден не боялся вызвать гнев властей. Но редактор «Курьера», следуя правилу, которое и по сей день бытует в прессе, счел уместным изменить четвертую строку: «Когда продажный суд в печальные те дни».

Таким образом, получалось, что в подкупе обвиняется не отозванный сенатор, а весь парламент в целом. Так как многие судьи, назначенные Мопу, заседали теперь в Большом Совете, в Версале поднялся шум, и г-на Гюдена велено было арестовать. Бомарше уже успел уехать в Ля Рошель, где стояла одна из его эскадр, поэтому Гюден решил искать убежища в Тампле, превращенном мальтийскими рыцарями в приют для лиц благородного происхождения, свершивших мелкие правонарушения и желающих на время скрыться от преследования. Ему посчастливилось встретиться там с г-жой де Годвиль, которая скрывалась в Тампле от своих кредиторов. «У нее, — рассказывает Гюден, — я нашел приют и провел время так прелестно, как никогда еще не проводил человек, которого

преследуют... Мы хохотали до слез, когда вспоминали, что нашей встрече мы обязаны постановлениям Шатле и Большого Совета».

Когда Бомарше вернулся в Париж, он пришел в ярость, отправился в Тампль, увез оттуда Гюдена, поселил его у себя в доме и предупредил Морепа, что г-н де ла Бренельри находится под его покровительством. Теперь он уже умел разговаривать с подобными господами. Король в Версале свистнул, и судьи притихли.

Путешествие в Прованс имело еще и другое, более забавное продолжение. В декабре того же года Бомарше получил из Экса письмо:

«Сударь, Вы, наверное, будете удивлены, что я, не имея чести быть с Вами знакомой, обращаюсь непосредственно к Вам, но Вы сами виноваты в том, что так у нас популярны. Думаю, не найдется ни одной чувствительной души, которая, читая то, что Вы пишете, не прониклась бы к Вам восхищением, не была бы привлечена к Вам силою Вашего неодолимого обаяния. Во мне, во всяком случае, Вы имеете одну из Ваших самых горячих поклонниц. Как я желала Вам удачи в то время, когда Вы могли ожидать любой беды от людской злонамеренности! Не могу описать Вам своей радости, когда узнала, что справедливость, которую Вы уже давно заслужили, восторжествовала».

Пока что, как видите, текст самый банальный. Но письмо очень длинное, на десяти страницах, это целый роман, и к тому же автору его всего лишь семнадцать лет. Это история молодой девушки, которую соблазнили и бросили. Она встретила своего возлюбленного, когда ей было двенадцать. Потом он уехал. «Прожить пять лет, не видя человека, которого обожаешь, о, это противоестественно!» Когда же она с ним встретилась вновь после столь долгой разлуки, природа взяла свое, и к семнадцати годам барышня «была уже совершенно скомпрометирована», потому что ее возлюбленный снова уехал. «Увы, я чувствую, что он становится мне все более дорог. Я не могу без него жить. Он должен стать моим мужем, и он им станет... Он станет моим мужем, только если Вы, г-н Бомарше, этого захотите. Не бросайте меня! Я передаю свою судьбу в Ваши руки».

Что это, сказка, быль, хитрость романтически настроенной девушки или подлинная драма провинциальной жизни? Кто знает! А ведь Бомарше нашел время ей ответить и с большой деликатностью дал несколько добрых советов:

«Ваше сердце Вас обманывает, толкая на поступок, который Вы задумали, и хотя Ваше несчастье не может втайне не тронуть чувствительных людей, характер его таков, что броситься к ногам короля с мольбой о помощи тут решительно невозможно».

Барышня из Прованса ответила на это письмо. Так завязалась переписка. Она посылала ему послания на двенадцати страницах, он их внимательно читал и неукоснительно отвечал на них. В конце концов она успокоилась, вернее, он ее успокоил. Тогда Бомарше

сложил все ее письма в папку, на которой написал: «Дело моей молодой незнакомой просительницы».

Однако он слукавил, он знал ее имя с первого же дня переписки. «Если Вы окажетесь настолько милостивы ко мне, что ответите, то пошлите, пожалуйста, свое письмо г-ну Виталису, улица Гранд Орлож в Эксе, на мое имя — Нинон».

Пожалуйста, не забудьте этого имени.

13

ГОРДЫЙ РОДРИГО

В тот момент, когда я признал бы независимость, <...> я сосредоточил бы на побережье океана от шестидесяти до восьмидесяти тысяч солдат, а флоту приказал бы принять боевой порядок, чтобы никаких сомнений в том, что решение это принято раз и навсегда, у англичан не возникало...

«Я никогда не сумел бы справиться со своей миссией, — писал Сайлас Дин конгрессу 29 ноября 1776 года, — без неутомимой, великодушной и умной помощи г-на де Бомарше, которому Соединенные Штаты обязаны больше, чем кому бы то ни было по эту сторону океана». Неутомимый, великодушный, умный Бомарше сумел преодолеть все трудности, обойти все препятствия и победить всех противников, имя которым было легион. Три его корабля — «Амфитрита», «Римлянин» и «Меркурий» — вышли из Гавра и Нанта с грузом оружия, боеприпасов и амуниции, короче, со всем необходимым, чтобы снарядить двадцать пять тысяч человек. Этот караван судов был последней надеждой восставших. Англия собралась с силами, и армии Вашингтона все чаще приходилось переходить в оборону. Нью-Йорк был взят сэром Уильямом Хоу. Могучая армия под командованием сэра Джона Бергойна наступала из Канады и собиралась соединиться с армией генерала Хоу. Отвага повстанцев и их главнокомандующего не компенсировала недостаток вооружения. Без быстрой помощи судьба американцев была предрешена. Два человека сделали из этого надлежащие выводы — лорд Стормонт и Бомарше. В сложившихся обстоятельствах английский посол проявил характер и политическую ловкость. Прекрасно поняв, что Бомарше — главный и самый опасный враг его страны, он употребил всю свою энергию, чтобы подорвать его деятельность. В результате многократных протестов и всевозможных других демаршей он добился того, что французское правительство запретило своим офицерам отправляться в Америку, а кораблям — покидать порты. Однако Бомарше обошел и этот запрет. За последнее время Верженну дважды пришлось бросать Родриго Орталеса на произвол судьбы. Людовик XVI, Сартин и Верженн, по выражению

Артура Ли, дрожали от нерешительности. Что касается графа де Морепа, то в силу своего преклонного возраста да и личных склонностей он предпочитал наслаждаться покоем устоявшегося порядка, а не подвергаться риску сомнительных авантюр. Чтобы добиться хоть какого-нибудь решения, Бомарше был вынужден бегать от одного сановника к другому и непрерывно убеждать всех в необходимости действовать. Однако было бы нечестно во всем винить французское правительство, ибо нельзя не признать, что оно вело в это время весьма сложную игру. Ни король, ни его министры не огорчились, когда пришло известие о том, что груз Бомарше благополучно прибыл по назначению и с бурным восторгом встречен американцами. Когда наконец улыбнулась удача, Родриго оказался уже не один.

Да и Сайлас Дин тоже. Конгресс послал в Париж Бенджамина Франклина. Прибытие знаменитого доктора Франклина в Нант произвело настоящую сенсацию. Зато приезд Артура Ли прошел куда менее заметно для всех, исключая, конечно, Бомарше. Вместе с Ли дьявол снова ворвался в его жизнь. Поскольку каждый из американских эмиссаров хотел быть главной фигурой, все трое тут же перессорились. Дин и Ли были, как говорится на ножах, а Франклин отказался отдать кому-либо предпочтение. Эти внутренние раздоры отнюдь не упрощали существования Бомарше, который должен был вести переговоры со всеми тремя. Будучи порядочным человеком, Бомарше искренне полагал, что Франклин не откажется от обязательств, взятых на себя Дином. Но наш Раминагробис, одним ухом внимая наветам Ли, а другим — заверениям Дина, делал вид, что пребывает в растерянности. Эта политика бездействия имела, во всяком случае, два преимущества: Бенджамин Франклин оказывался над схваткой, и конгресс экономил средства. Грузы риса, сушеной рыбы, табака и индиго, обещанные Сайласом Дином в обмен на военное снаряжение, которое поставлял торговый дом «Родриго Орталес и компания», так и не отбыли из американских портов. Было ли оружие продано восставшим, как уверял Дин, или речь шла о великодушном подарке французского правительства, как объяснял Ли? Доктор Франклин, сидя в своем маленьком домике в Пасси, все размышлял над этим вопросом, взвешивал все «за» и «против», а попросту — выгадывал время. Поскольку же Франция делала вид, что ей решительно нет никакого дела до этого спора, маневр хитреца удавался на славу. Ведь для обеих сторон двусмысленность ситуаций была правилом поведения, а хранение тайн — законом. Но если такая неясность облегчала жизнь министрам, то жизнь Бомарше она делала просто невыносимой. И в самом деле, мы это уже говорили, никогда еще коммерческое предприятие не создавалось на более зыбкой основе. Чтобы решиться на подобный риск, нужно было обладать великим энтузиазмом. И крепкими нервами тоже. Припомним цифры: торговый дом «Родриго Орталес и компания» получил в 1776 году дотацию в 2 миллиона франков. А оружие и военные материалы, поставленные Америке за первые шесть месяцев 1777 года, стоили Бомарше более 5 миллионов.

Банкротство надвигалось стремительно. И так как Франклин отклонял все просьбы Бомарше, он принялся бомбардировать конгресс письмами: «Я больше не располагаю ни деньгами, ни кредитом, — писал он в декабре 1777 года. — Рассчитывая на получение товаров, столько раз вами обещанных, я не только истратил намного больше средств, чем те, коими располагали и я сам и мои друзья, но и полностью исчерпал помощь от других лиц, полученную мною исключительно благодаря обещанию в кратчайший срок вернуть кредиторам все долги». На этот призыв, как, впрочем, и на все остальные, ответа не последовало. Молодая республика была бедной, этого нельзя не отметить. Известно, например, что три ее парижских представителя не получали никакого жалованья. Дин, к слову сказать, целый год жил на деньги, которыми его ссужал Бомарше. Что же касается Франклина, то он поспешил заявить французскому правительству, что ему было бы весьма кстати незамедлительно получить взаймы некоторую сумму, и Верженн вскоре передал ему из рук в руки 2 миллиона. Так Франция и Америка с каждым днем все больше вползали в какие-то двусмысленные отношения, поскольку Франция одновременно и финансировала и не финансировала войну, которую вела Америка. А самое невероятное здесь заключается в том, что эта тонкая политика, конечно, сразу бы оборвалась, прекрати Бомарше свою деятельность. Все зависело лично от него, от его торгового дома. Видимо, чтобы поощрить Бомарше к дальнейшей деятельности, Верженн выдал ему в 1777 году еще миллион, но к этому моменту дефицит Родриго Орталеса уже исчислялся суммой, значительно превосходящей десять миллионов.

Чтобы как-то справиться с надвигающимся финансовым крахом, Бомарше пришлось основать параллельно торговые предприятия. Так как он несомненно обладал коммерческим гением, ему удалось ценой еще более напряженной работы сбалансировать бюджет своего торгового дома. Чтобы помочь и Америке и Франции одновременно, Бомарше стал, как теперь говорят, делать деньги. Историки усмотрели в этом доказательство его алчности. Странное рассуждение! Видимо, чтобы ответить клеветникам, он записал тогда в своем дневнике: «Однажды директор Индийской компании спросил знаменитого Лабурдоне, как получается, что он так плохо ведет дела компании и так блестяще свои. Лабурдоне ответил ему с гордостью, совсем в моем вкусе: «Дело в том, что свои дела я решаю по своему разумению, а дела компании по Вашим инструкциям». И тем не менее выдающийся финансист Бомарше умер разорившимся или, точнее, почти разорившимся, в то время как в карманах у него лежали векселя на фантастические суммы. Нам же сейчас достаточно подчеркнуть, что Соединенные Штаты Америки выиграли борьбу за свою независимость с помощью французского оружия и снаряжения, лишь на одну десятую оплаченного французским правительством Людовика XVI, а на девять десятых лично Бомарше.

О гении военачальника можно судить и по уровню его лейтенантов. В любой области, будь то политика, война, промышленность или торговля, выбор сотрудников имеет основополагающее

значение. Если министр, генерал или коммерческий директор не смогут опереться на нужных помощников, подчиненные будут их плохо понимать и тем самым не точно выполнять приказы. В этом отношении Бомарше всегда умел с первого взгляда выбирать людей (не только мужчин, но иногда и женщин), на которых, что бы ни случилось, мог рассчитывать. Самое удивительное, что он находил надежных помощников в кругу своих близких. Их ум, их преданность, а часто и готовность идти на жертвы соответствовали той любви и восхищению, которые они к нему питали. Говорят, что голова остерегается сердца, но Бомарше прислушивался к своему сердцу и внимал его советам. Брат Гюдена, который долгое время был у него главным кассиром и которому приходилось вести дела крайне сложные, проявил себя в дальнейшем, в трудных обстоятельствах, как человек исключительно верный и самоотверженный. Тевено де Франси, младший сын подозрительного Моранда, которого Бомарше нежданно-негаданно пригласил в свое дело, оказался великолепным сотрудником. Они понимали друг друга с полуслова, всегда были заодно, а дружба помогала им разбираться в самых запутанных вопросах. Когда Бомарше послал Тевено де Франси в Америку, они вступили в деловую переписку, и письма их поражают силой взаимных чувств, выраженных подчас очень тонко. Я назвал лишь два имени для примера, но мог бы назвать множество. Можно ли любить человека за внешний блеск? Месяц, быть может, но вряд ли всю жизнь, до смерти. Если Бомарше получал столько помощи и душевного тепла от своих друзей, то не значит ли это, что и он отдавался дружбе целиком, со всем пылом сердца? Но так как в отношениях с людьми Бомарше был внешне весьма сдержан, историки решили, что он холоден. Вот, не угодно ли? Даже лет через тысячу, когда книжные полки будут прогибаться под тяжестью книг по психологии, мы все еще будем судить друг о друге по видимым проявлениям. Если внимательно изучить список офицеров, посланных в Америку по личному выбору Бомарше — сейчас удобный случай об этом напомнить, — то в этом списке мы найдем имя г-на дез Эпинье. Эпинье? Вам это имя ничего не напоминает? Кто это дез Эпинье? Ну конечно же, сын Фаншон! Юноша был полностью покорен своим дядей и поклялся служить ему верой и правдой. Майор артиллерии в двадцать лет, он прославился, сражаясь бок о бок с Вашингтоном. Бомарше читал и перечитывал письма молодого офицера, который уехал на другое полушарие, чтобы участвовать в войне своего дяди... «Вашего племянника могут убить; но никогда он не сделает ничего такого, что было бы недостойно человека, имеющего честь принадлежать к Вашей семье; можете не сомневаться в том, равно как и в нежности, которую он всегда испытывает к лучшему дяде на свете».

Конечно, Бомарше был отлит не из одного металла. А кто может этим похвастаться? Гордый, воистину гордый Родриго пережил за свою жизнь немало высочайших минут, но при этом оставался большим любителем всех земных услад. Золото и свинец — таков был его сплав. По ночам герои подчас оборачиваются нечистой

изнанкой. После озарения — темнота. После, а может быть, одновременно? «В каждом человеке возможны одновременно два порыва, один к богу, другой — к сатане», — писал Бодлер, знавший толк в этих делах. Странно, но именно в самые благородные периоды своей жизни Бомарше охотнее всего предавался безудержному разгулу. Но при этом он всегда умел различать «буржуазок» и «потаскух» и никогда не путал, как многие, пути нежных чувств с маршрутами вожделения. Но, повторяю, в самые насыщенные часы своей жизни, когда он буквально творил Историю и был подлинно Бомарше, свершавшим чудеса, потаскухи брали верх над буржуазками. В нем было нечто от солдата в ратном походе. Конечно, это изображение сродни лубочной картинке, Ну и что же? С толку сбивает, повторяю еще раз, именно эта одновременность. Герой потакает своим темным инстинктам вовсе не после боя. Он несется и к добродетели и к пороку с одинаковой скоростью, потому что преодолеть ему надо одно и то же расстояние. Давайте остерегаться святых, не позволим им играть с нашими детьми! Когда душа пылает, плоть не остается холодной. Но я отклоняюсь в сторону. Итак, 5 января 1777 года Мария-Тереза подарила Бомарше дочь, которая стала для него смыслом жизни. Он был тогда уже на вершине своей славы, его эскадра бросила якорь на рейде у берегов Америки, его усилиями мир менял свое лицо. Рождение Евгении еще увеличило его счастье. В этот день он был исполнен любви к Марии-Терезе, которой он всем обязан, — ведь еще вчера она с исключительным умом и деловой сметкой возглавляла торговый дом «Родриго Орталес и компания», находя выходы из самых запутанных обстоятельств. А приливы возвышенных чувств неизбежно приводят его — куда бы вы думали? — в объятия г-жи де Годвиль.

Они познакомились в Лондоне, где за г-жой де Годвиль по пятам следовала самая дурная репутация. Эта дама, несомненно, привела бы в восторг романистов начала века. Она потеряла мужа, честь, родину, но сохранила бойкое перо. Царя в полусвете эмигрантов вместе с шевалье д'Эоном, она сочинила, должно быть, немало пасквилей, обличающих знаменитых версальских дам. Этим она, видимо, утешала себя. Падшая женщина, как сказал бы Марсель Прево или Клод Фаррер, чувствует себя менее одинокой, если с ее помощью все другие тоже окажутся падшими. Бомарше был не тот человек, чтобы слушать ее политическую болтовню. Он попросил ее умолкнуть, а она последовала за ним в Париж. Их связь длилась около года. Когда он не мог лечь к ней в постель, он писал ей длинные письма, исполненные вожделения. «...Если Вы меня спросите, почему Вас нигде не оставляют в покое, почему Вы «бочка для всех затычек», я отвечу Вам в восточном стиле, что Вы поистине созданы самой природой для того, чтобы Вас «затыкать», и притом где угодно...». Его стиль не только восточный, но и полон недомолвок. Кстати, напомню вам, что подобный *«восточный»* стиль был уже им использован в его переписке с Пари-Дюверне. Вспомните о «дорогой крошке». От восточного стиля он переходил на латынь. «Сударыня двадцать раз перечитывает [мои письма] и ничего не

понимает. Oculos habent et non videbunt [1]. Я не буду продолжать своей латинской цитаты, потому что не могу сказать: Manus habent et non palpabunt [2], поскольку у сударыни красивые руки и она наверняка будет ими кое-что трогать». Выдержки, которые я привожу, чтобы не очень-то вас шокировать, написаны в первые месяцы 1777 года. Мария-Тереза только что родила. Евгении всего лишь несколько недель, а он пишет г-же де Годвиль, своей «шлюшке»: «Мама спрашивает, как поживает наш проказник? Я надеюсь, что мама приготовила теплое гнездышко, чтобы его приютить. Встретит ли она его ласково, когда он войдет, покачает ли, чтобы убаюкать? Мне не дает покоя этот проказник, который каждый вечер щекочет меня и говорит: «Как бы я хотел, папочка, месяцев восемь или девять кряду не вылезать из мамочкиного гнездышка». Такая скабрезная литература вызывает, увы, только отвращение, но, правда, это не основание, чтобы ею пренебрегать. Еще одна цитата, чтобы больше к этому не возвращаться: «Надеюсь, мне повезет, и я смогу прийти сегодня вечером и ответить на все остальное, что в твоем письме. Я надеюсь, дорогая, что в твоей ступке с того дня ничего не толкли, и заверяю тебя честным словом, что и мой пестик все это время отдыхал. Какое счастье! Я только что получил сообщение о прибытии в порт назначения одного из моих самых дорогостоящих кораблей. Сегодня вечером ты меня с этим поздравишь». Сохранились десятки подобных писем. Переписываясь с г-жой де Годвиль, Бомарше прибегал, по его собственным словам, к «сперматочивому стилю»! Однако в конце концов пришлось порвать эту связь, потому что г-жа де Годвиль стала ревновать к Марии-Терезе. Она захотела быть одновременно всем: и любовницей и хозяйкой его дома. Он попытался ее вразумить: «Почему Вы хотите превратить связь, которая доставляет удовольствие, в мучительный роман? Воистину Вы просто дитя... Я не хочу прикипать к Вам сердцем, потому что не могу и не должен этого делать». Но все уговоры были напрасны. Тогда, чтобы от нее отделаться, Бомарше решил предложить ее Гюдену. Тот с готовностью согласился. Теперь вы знаете, почему этот милый человек был так рад заточению в Тампль с г-жой де Годвиль — он оказался в объятиях своей любовницы: «У нее я нашел приют и провел время так прелестно, как никогда еще не проводил человек, которого преследуют». Как видите, стиль Гюдена отнюдь не «сперматочивый». С ним г-жа де Годвиль соединилась надолго.

«Я не хочу прикипать к Вам сердцем, потому что не могу и не должен этого делать...». Когда Бомарше писал это письмо, он думал только об одном произведении, которое писал своими кораблями на глади океанских вод. Оно было тогда его единственной страстью, его безумием. Семья, удовольствия, все остальные дела, которые он вел, чтобы выжить, и даже «Женитьба», над которой работал, владели им лишь отчасти, не занимали его души. Душа Бомарше

---

[1] Имеют глаза и не видят (*лат.*).
[2] Имеют руки и не трогают (*лат.*).

летала над океаном рядом с «Гордым Родриго», флагманским кораблем. В этих сложных обстоятельствах, которые его преобразили, Бомарше удивляет искренностью и совершенно исключительным благородством тона. У нас есть доказательства, что эти его чувства не предназначены для парада, что он не позирует для Истории. Доверительные письма, которые он посылает Франси в Америку, служебные записки главы торгового дома одному из своих надежных сотрудников показывают, насколько Бомарше был одержим этой страстью. Не Верженну, а своему юному другу, неизвестному Франси, он писал:

«Невзирая на все неприятности, новости, приходящие из Америки, наполняют меня радостью. Славный, славный народ! Его военная доблесть оправдывает то уважение, которое я к нему испытываю, и тот энтузиазм, который он вызывает во Франции. Короче, мой друг, я хочу получить обратными рейсами обещанные грузы только для того, чтобы и впредь служить ему верой и правдой, выполнять взятые на себя обязательства и иметь таким образом возможность снова оказать ему всю необходимую помощь».

В этих строчках, написанных наспех за четыре дня до Рождества 1777 года, Ломени увидел свидетельство самонадеянности и наивности. Что и говорить, это «уважение, которое я к нему испытываю», несколько настораживает, но человек, действующий в одиночку и осознающий, что играет историческую, решающую роль, не начинает ли самым естественным образом ощущать себя в каком-то ином качестве? Именно честолюбие для многих великих предводителей оказывается чем-то вроде вифлеемской звезды, которая ведет их по нужному пути. Когда же кончается приключение, завершается битва или время их власти, эти выдающиеся личности снова становятся самими собой. И тогда с удивлением обнаруживаешь и их скромность, и их незаметность. Конечно, перемены случаются весьма разительные, и они не могут не смущать обычные умы. Но тут не возразишь: свершенные дела стоят иного высокого сана. Война за независимость увенчала Фигаро славой. Своему юному ученику он может открыть тайну и просто сказать: я — король.

«Поступайте как я: презирайте мелкие соображения, мелкие масштабы и мелкие чувства. Я приобщил Вас к великому делу, Вы представитель справедливого и великодушного человека. Помните, что успех всегда зависит от судьбы, деньги, которые нам должны, мы можем получить лишь в результате стечения многих обстоятельств, что же до моей репутации, то она целиком зависит от меня самого. И Вы сегодня — творец своей репутации. Пусть же она всегда будет безупречной, мой друг, и тогда что-нибудь да останется, даже если все на первый взгляд окажется потерянным. Я приветствую Вас так же горячо, как люблю и уважаю».

Конечно, любой благородный отец мог бы обратиться к своему сыну с подобным поучением, и при этом его благородство выглядело бы чистой риторикой. Но в этом письме каждое слово Бомарше точно соответствует его истинным чувствам. Борьба не толь-

ко вдохновляет, но и меняет его. Он не ломает комедию, когда пишет эти фразы. Он уверен как в каждом своем слове, так и в том, что он — безумец.

Бомарше уже мало было поставлять порох повстанцам, он нанимает офицеров, приглашает генералов — поляка Пулаского, пруссака фон Штрубена, ирландца Конвейя. Это воистину его война, его флот, его армия. Он оберегает Лафайета, высокие качества которого оценил с первого же дня, и несколько раз спасает его от происков кредиторов. Наконец, по своему собственному разумению, делает и последний шаг: превращает свои торговые суда в военные корабли.

«Я направляю к Вам крейсер «Зефир», чтобы сообщить, что готов спустить на море флот из 12-ти парусных кораблей, возглавляемый флагманом «Гордый Родриго»... Водоизмещение этих кораблей от 5 до 6 тысяч тонн, и все они находятся в боевой готовности».

17 октября 1777 года оружие г-на де Бомарше, его пушки, его ружья, его порох имели существенный вес в общем балансе. Сэр Джон Бергойн, окруженный в Саратоге, был вынужден капитулировать. Повстанцы, хорошо экипированные, организованные, получили пополнения офицеров и были теперь в состоянии вступить в бой с англичанами по всей линии фронта и разбить их. Время отдельных стычек, засад и диверсий миновало. Настоящая классическая война вступила в свои права. С этого момента надежда переметнулась на другую сторону. Колониальная армия — армия подавления — может одержать верх над противником, только пока сопротивление не нашло своих, так сказать, организационных форм. Непобедимая Англия, прибегая ко всевозможным уловкам, упустила случай победить и тем самым приговорила себя к поражению, а быть может, и к полному разгрому. В октябре 1777 года Бомарше понял, что для Франции настал час сделать следующий шаг. Так же как он заставил Людовика XVI помогать повстанцам, он стал уговаривать короля открыто вступить в конфликт, а значит, в войну с Англией. Это было делом нелегким. Король метался между свойственными ему идеализмом и патриотизмом, между примером правления Людовика XIV и уроками Фенелона, между своей любовью к Франции и верой в силу договоров. Ученик Телемака не без тревоги внимал советам Фигаро. Старик Морепа, другой наставник короля, давал ему все тот же совет: быть поосторожней. Уже на самом пороге решительных действий Людовика XVI вдруг охватывали сомнения, он отступал, но, поскольку не был трусом, снова и снова принимался анализировать обстоятельства, которые вынудили его отступить. Странное возникло положение. Послушавшись советов Сартина, король не без энтузиазма вооружил новый боевой флот. Его флагманский корабль «Ла Ройяль», подобно спящей красавице, ждал лишь знака, чтобы выйти из летаргического сна. Верженн со своей стороны день за днем исподволь готовил короля к генеральному решению. Франция должна была безотлагательно признать независимость Соединенных Штатов Америки, чтобы не

упустить преимуществ, которые давала ей помощь, оказанная американцам торговым домом Родриго Орталеса, ибо в любой момент оппозиция в Англии могла захватить власть и, подписав мир со своими американскими провинциями, свести на нет все усилия Франции. Бомарше, который был в курсе этих колебаний короля и точно знал, какую позицию занимает каждый министр, решил, что настало время вмешаться. 26 октября, через девять дней после победы у Саратоги, о которой он еще и знать ничего не мог, он написал текст, озаглавленный «Особый мемуар, предназначенный для министров короля, и проект Государственного манифеста». В нем он излагал свою политическую позицию и отвечал на все возможные возражения каждого министра в отдельности. Когда писался этот мемуар, Бомарше достиг своего зенита. Некоторое время он ведет себя как истинный глава правительства: в октябре 1777 года, когда он знает, что его мнение выслушают. Я чуть было не сказал — его послушаются. Ломени абсолютно прав, когда подчеркивает, что «суть [его] проекта изложена в официальной декларации французского правительства лондонскому двору (март 1778 года)», и добавляет, что Людовик XVI «осуществил часть из того, что Бомарше советовал сделать». Я, к сожалению, не могу полностью привести манифест Бомарше, потому что он одновременно и слишком длинен и слишком подробен, поскольку там все проблемы рассмотрены во всей полноте, ибо, с одной стороны, он должен был ответить на возражения, а с другой — проанализировать политические последствия предлагаемых действий. Тем не менее вот несколько важных мест, чтобы можно было представить себе схему его рассуждений:

«Исходя из кризиса, к коему привел ход событий, и из уверенности, что английский народ безо всякого стеснения, громогласно требует начать с нами войну, <...> что же нам надлежит делать?

У нас на выбор три возможных решения. Первое решение никуда не годится, второе — самое надежное, третье — самое благородное. Но сочетание третьего и второго решения мгновенно превратит французское королевство в первую державу мира.

Первое, никуда не годящееся, совсем никуда не годящееся решение заключается в том, чтобы продолжать делать то, что мы делаем, или, точнее, ничего не делать, <...> то есть выжидать дальнейших событий, ничего не предпринимая <...> пока не сменится английское правительство, <...> и они [англичане] одной рукой подпишут мир с Америкой, а другой — приказ атаковать наши суда и захватить наши владения на островах. <...> Таким образом, худшее из решений заключается в том, чтобы не принимать вообще никакого решения, не вести никаких переговоров с Америкой и ждать, пока англичане не закроют нам туда все пути, что, впрочем, не преминет случиться в самом скором времени.

Второе решение — его я считаю наиболее надежным — состоит в том, чтобы открыто принять договор о союзе, который вот уже год предлагает Америка, с правом на рыболовство на Большой банке,

взаимными гарантиями охраны владений на островах и обещанием оказать помощь в случае нападения или продолжения войны. Ко всему этому еще должен быть приложен тайный план захвата английских островов, а также священное обязательство трех держав — Соединенных Штатов, Испании и Франции — обозначить для англичан меридиан на океане между Европой и Америкой, за границами коего любой их корабль подлежит немедленному захвату как в военное, так и в мирное время. <...>

Конечно, нельзя закрывать глаза на следующее: как только англичане поймут, что у них нет никакой надежды вести переговоры с государством, которое уже вело переговоры с нами, они могут тут же объявить нам войну и повести ее беспощадно, посчитав нас нападающей стороной в силу одного существования такого договора. Но, поскольку войны как таковой все равно теперь не избежать, у американцев, испанцев и французов, если они объединятся, достанет сил поставить на место эту надменную нацию, ежели она окажется настолько безумной, что отважится напасть на нас. <...>

Третье решение, самое благородное из всех <...> не говоря уже о том, что оно не нарушает существующих договоров, верность которым [король] считает для себя обязательной, заключается в том, чтобы заявить англичанам в решительном манифесте, <...> что король Франции, после того как он долго из деликатности и лояльности по отношению к Англии оставался пассивным и спокойным наблюдателем разворачивающихся военных действий между англичанами и американцами, хотя эти действия и наносили большой ущерб внешней торговле Франции <...> не желая объявлять Англии войну, а еще меньше вести с ней войну без объявления, как это ныне стало безобразным обычаем, не желая даже вести переговоры по поводу какого-либо договора, могущего ущемить интересы лондонского двора <...> и продолжая политику нейтралитета, коей он всегда придерживался, настоящим заявляет, что Франция отныне считает Америку независимой страной и намерена начать вести с ней взаимовыгодную торговлю, ввозя их товары во Францию и вывозя французские в Америку. <...>

Таков примерно текст манифеста, который я предлагаю на рассмотрение его величеству. Правда, подобный документ, расширяя права французского нейтралитета и ставя воюющие стороны в идеально равные условия, может разгневать англичан и не удовлетворить американцев. Если мы им ограничимся, то, возможно, снова дадим Англии повод обойти нас и самим предложить Америке независимость в обмен на договор о союзе, решительно направленном против нас.

В этом хаосе событий, в этом всеобщем столкновении великого множества переплетающихся интересов не предпочтут ли американцы тех, кто предложит им независимость плюс договор о союзе, тем, кто ограничится лишь признанием их мужества в достижении своего освобождения? Итак, присоединяясь к соображениям графа де Верженна, я осмелюсь предложить его величест-

ву добавить к третьему решению еще и тайное соглашение с условиями второго. Иными словами, с того момента, когда я объявил бы Америку независимой, я начал бы вести с ней строго секретные переговоры насчет заключения договора о союзе <...>

В тот момент, когда я признал бы независимость, <...> я сосредоточил бы на побережье океана от шестидесяти до восьмидесяти тысяч солдат, а флоту приказал бы принять боевой порядок, чтобы никаких сомнений в том, что решение это принято раз и навсегда, у англичан не возникало. <...>

Наконец, из желания показать, что уважаю ранее заключенные договора, я не стал бы восстанавливать Дюнкерк, нынешнее состояние коего является для Франции вечным позором, но тем не менее приказал бы начать строительство хотя бы одного порта на океанском побережье, причем столь мощного и столь близко расположенного от английского берега, что англичанам станет ясна незыблемость нашего намерения им противостоять.

Я укреплял бы далее во всех возможных формах отношения с Америкой, ибо только благодаря ее гарантиям мы смогли бы теперь сохранить свои колонии; поскольку интересы американцев ни в чем не противоречат нашим интересам, я бы доверял их обязательствам в той же мере, в какой опасался бы положиться на обязательства Англии, которые они вынуждены были взять на себя; я никогда больше не упускал бы случая подчеркивать унизительное положение нашего коварного и хитрого соседа, столько раз прежде оскорблявшего нас, а теперь исполненного неистребимой ненависти к Франции, куда большей, нежели обиды на американцев, хотя именно они отняли у Англии две трети территории ее империи.

Так давайте же не терять на размышления тот единственный миг, который остался у нас, чтобы действовать, не будем попусту тратить время, убеждая себя: «Еще слишком рано», чтобы нам вскоре не пришлось с болью воскликнуть: «О, небо! Теперь уже слишком поздно!»

Этот исторический документ, который все игнорируют, ибо он противоречит предвзятому мнению, сложившемуся о Бомарше, возымел, как я уже сказал, свое действие.

13 марта 1778 года французское правительство заявило в Лондоне, что оно считает американцев независимыми и т. д. (третье решение).

Но (а это уже второе решение) 17 декабря 1777 года Людовик XVI сообщил Франклину, что готов подписать с Соединенными Штатами договор о торговле и дружбе. Этот тайный договор был составлен и подписан 6 февраля 1778 года от имени Франции — Жераром, государственным секретарем Людовика XVI и правой рукой Верженна, а от имени Соединенных Штатов — Франклином, Дином и Ли.

Вскоре после этого Людовик XVI поехал на океанское побережье и выбрал Шербур, чтобы построить там новый порт, «столь близко расположенный от английского берега и т. д.». Дюмурье, молодой офицер, чьи идеи понравились королю, получил задание

создать там морскую базу, рассчитанную на 40 линейных кораблей. Из Шербура Людовик XVI и написал королеве перед тем, как лечь спать: «Я самый счастливый король на свете». В этот вечер Фигаро одержал верх над Телемаком.

И уже 18 июня Франция, поставленная на колени Парижским договором, вдруг разом поднялась. «Жаворонок», одинокий фрегат, на который в водах Морле напала английская эскадра, потопил корабль противника и вышел из боя победителем. Ликование французов не поддавалось описанию. Дальнейшее принадлежит Истории, и вы ее знаете: Грасс, Шартр, Рошамбо и, разумеется, Лафайет. Легенда всегда прославляет своих героев, а вот История часто не помнит своих. Бедный Бомарше! Прежде чем вкусить горькие плоды франко-американской неблагодарности, он пережил, однако, большую радость.

В июле 1779 года в водах острова Гренады «Гордый Родриго», который под флагом Бомарше эскортировал караван из десяти торговых судов, принял решающее участие в морской битве, завязавшейся между эскадрами адмирала д'Эстена и адмирала Бирона.

После битвы граф д'Эстен отправил Бомарше через Сартина следующее письмо:

«На борту «Лангедока» на рейде Сен Жорж,
остров Гренада, 12 июля 1779 года.

Сударь, у меня есть лишь минута, чтобы сообщить Вам о том, что «Гордый Родриго» хорошо справился со своей боевой задачей и содействовал успеху королевского флота. Надеюсь, Вы меня великодушно простите, что я использовал его в бою. Однако спешу Вас заверить, что Ваши интересы от этого не пострадают, можете в том не сомневаться. [Его капитан] храбрый г-н де Монту был, к несчастью, убит в бою. Я безотлагательно отправлю в министерство все необходимые бумаги и надеюсь, что Вы поможете мне добиться тех наград, которые Ваш флот так доблестно заслужил.

Имею честь оставаться, сударь, исполненным всех тех чувств, которые Вы так хорошо умеете внушать Вашим покорнейшим слугам,

д'Эстен»

Послание адмирала прибыло 6 сентября в морское министерство, и по приказу Сартина его тут же вручили Бомарше. На следующее же утро Родриго с огромной радостью писал своему другу министру:

«Париж, 7 сентября 1779 года.

Сударь,

я весьма благодарен Вам, что Вы распорядились передать мне письмо графа д'Эстена. Очень благородно с его стороны, что в миг своего триумфа он подумал, насколько мне приятно будет получить от него эти несколько строк. Я позволяю себе послать Вам копию его короткого письма, коим горжусь, как истый француз. Оно порадовало меня, как человека, страстно любящего свою родину и не щадящего сил в борьбе с этой спесивой Англией.

Мужественный Монту, видно, полагал, что лишь ценой жизни может доказать мне, что достоин той должности, на которую я его поставил. Что бы это ни значило для моих личных дел, отрадно, что мой бедный друг Монту пал смертью храбрых. Я испытываю детскую радость при мысли, что эти англичане, которые так поносили меня все последние четыре года в своих газетах, прочтут теперь там, как мой корабль способствовал тому, что они потеряли одно из своих самых плодородных владений.

Я представляю себе, как враги графа д'Эстена, а особенно Ваши враги, от досады кусают себе локти, и сердце мое преисполняется радости.

Бомарше».

14

ВСЕ ПРОЧЕЕ — ЛИТЕРАТУРА

Я хочу знать, почему я сержусь.

Со дня создания торгового дома «Родриго Орталес и компания» до дня подписания Версальского договора, который явился триумфом Бомарше как государственного деятеля, прошло долгих семь лет, в течение которых он вел войну и делал дела. Поскольку конгресс не торопился платить долги, а французское правительство оказалось весьма сомнительным финансистом, гордому Родриго приходилось часто исчезать, уступая место изворотливому Орталесу. Не займись Бомарше международной торговлей, его торговый дом неизбежно потерпел бы банкротство. Итак, он продавал готовое платье, ткани, бумагу и немало разного залежалого товара американским коммерсантам, которые готовы были покупать что угодно и, в отличие от своих политиков, исправно платили по счетам. Но это означало — надо ли оговаривать? — новое расширение сферы деятельности его торгового дома. «В то время как воин отдыхает, — писал он в «Двух друзьях», — коммерсанту выпадает счастье в свою очередь оказаться нужным человеком для своей родины». Я не знаю, действительно ли воин в этот период отдыхал, но, чтобы помочь ему одержать победу, коммерсанту пришлось пересечь «тернистые пустоши» усталости и бессонницы. Смешно отрицать, Бомарше имел склонность к коммерции и любил ею заниматься. Не надо забывать, что для него Фенелоном был Пари-Дюверне и что он сам выбрал себе такого наставника. Бомарше никогда не стыдился того, что стал негоциантом, совсем напротив:

«Военные, духовенство, юристы, строгие финансисты и даже полезный класс землепашцев оправдывают свое существование и получают доходы внутри королевства, а это значит, что все они живут за его счет. Негоциант же, дабы приумножить богатства своей родины и содействовать ее процветанию, черпает средства в четырех

частях света; избавляя к всеобщей выгоде свою страну от ненужных излишков, он обменивает их на заморские товары и тем самым обогащает своих соотечественников. Негоциант выступает посредником между народами, которых он сближает и объединяет, несмотря на различия в нравах, обычаях, религии и государственной системе, склоняющих их к взаимному отчуждению и войнам».

В его записях есть много подобных замечаний о благородных целях мировой торговли. Хулители нашего общества потребления, без всякого сомнения, порицали бы Бомарше, который в свое время являлся в каком-то смысле его пророком:

«И по своим целям и по своим средствам торговля предполагает между народами желание и свободу производить любые обмены, которые их интересуют. Желание пользоваться земными благами, свобода пользоваться ими и приобретать их — вот единственные пружины активности между народами в целом и людьми в отдельности».

Но критический ум Бомарше, ирония, которая почти всегда пронизывала все его рассуждения, заставляли его сомневаться в «моральности» торговли. Тогда он самым недобросовестным образом берет свои примеры у иностранных авторов, цитируя при случае острое замечание английского философа Бойля:

«Воистину надо проповедовать Евангелие дикарям и не отступать в этом деле из-за того, что их успехи в освоении религиозных догматов столь незначительны, ибо если даже из всего христианского учения они усвоят лишь то, что нельзя ходить голыми, то уже можно будет считать, что религия сделала немало для английских мануфактур».

Что бы Бомарше ни предпринимал, он всегда находил время для отдыха, который заключался в перемене деятельности. «Его жизнь, — писал Гюден, — была столь же разнообразна, как и его гений, он отдыхал от одних дел, начиная заниматься другими. Особенно характерным было для него умение решительно менять занятия и относиться к новой затее с тем же пылом, с которым до того он занимался чем-то другим. В это время он не ведал усталости, и ничто не могло отвлечь его внимания, пока очередное дело не было завершено. Это он называл «задвинуть ящик». Гюден был повседневным свидетелем его жизни, мы может ему поверить на слово. Эта практика «задвигания ящиков» в какой-то степени объясняет, как Бомарше ухитрялся доводить до конца десятки дел одновременно. Впрочем, это ведь приемы ремесленника, точность часовщика, знающего цену минуте. Но Бомарше ровно ничего не удалось бы осуществить, если б им не двигала страсть свершений, которая была истинной пружиной его личности. «Я хочу знать, почему я сержусь». Это фраза человека, который часто сердится.

В свой «американский» период Бомарше открыл два новых «ящика», которыми и занимался в редкие свободные часы. Однако хватило бы этих дел самих по себе, чтобы оставить след в Истории: он учредил общество драматургов и впервые издал полное собрание сочинений Вольтера. Но, прежде чем перейти к «литературе», нам

надо хотя бы назвать другие работы Бомарше и составить некий перечень его страстных увлечений между 1776 и 1783 годами. Спешу отметить, что исчерпывающим он не будет.

Чтобы дать представление о делах, которыми Бомарше занимался параллельно, я лишь перечислю названия нескольких документов, которые Ломени нашел вскоре после 1850 года только в одной папке: тезисы для полного курса уголовного права; соображения о способах приобретения земель по берегам реки Сайото; мемуар о солидарном владении рядом лиц земельными участками на территории Кенз-Вэн; заметки о гражданских правах протестантов во Франции (к этому мы еще вернемся); проект займа, «равно выгодного королю и населению»; проспект предполагаемого строительства мельницы в Арфлере; предложение о торговле с Индией через Суэцкий полуостров; мемуар о превращении торфа в уголь с перечислением выгод от этого открытия; мемуар о выращивании ревеня; проект займа, выпускаемого в форме государственной лотереи; предложение об учреждении бюро по обмену денег и Дисконтной кассы; проект строительства моста в Арсенале и т. д. И это только за те годы, которыми мы сейчас занимаемся. Большинство этих замыслов не было осуществлено при жизни Бомарше. Около века прошло, прежде чем приступили к строительству Суэцкого канала. Трудно найти человека, к которому по различным делам обращались бы чаще, чем к Бомарше, не говоря уж о том, что все, кому не лень, от самых знатных персон до последних бедняков, от Шуазеля до г-жи Ривароль, даже до его вчерашних врагов, таких, как Бакюлар д'Арно, пытались, играя на его великодушии, просить у него в долг деньги. Инженеры, финансисты, архитекторы, изобретатели, мечтатели и маньяки всех мастей в конце концов всегда добивались свидания, советов и помощи. А иногда он всецело отдавался самым фантастическим затеям. Мы увидим, как он стал горячим сторонником опытов первых воздухоплавателей и таким образом — пионером авиации. Надо сказать, что между 1776 и 1780 годами наука переживала исключительный взлет. Почти каждый месяц в Европе объявляли о новом эпохальном открытии: выделение кислорода и исследование химии дыхания, сделанное Пристли, промышленное использование пара, предложенное Уаттом, постройка первых паровых судов Жофруа д'Аббаном, железные рельсы, воздушные шары, открытие Гершелем планеты Уран, анализ и синтез воды Лавуазье, изобретение ткацкого станка Картрайтом — вот далеко не все достижения этого удивительного десятилетия. Кстати, мне представляется весьма знаменательным, что все эти взлеты научной мысли как бы повисли в воздухе до второй трети XIX века. Очевидно, в тот период, от 1789 до 1830 года, человек считал главным революцию в обществе и умах и на некоторое время отвернулся от окружающего его материального мира, законы и тайны которого он вдруг обнаружил в 80-е годы XVIII века. Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что это своеобразие Истории заслуживает пристальных размышлений. Что же касается Бомарше, то его интересовало все, и он никогда не был расположен закрывать на что-то глаза или усыплять свой ум.

Как часовщик, он знал, что время имеет прямое отношение и к метафизике и к пружинкам, колесикам, анкерному спуску. Порой не чуждый философии, он всегда, днем и ночью, оставался прежде всего человеком дела.

«Почему, — говорил он, — все, что придумывается или проектируется, попадает ко мне?» Ложная скромность, кокетство. Если бы мир науки и приключений не пришел к нему, Бомарше сам побежал бы ему навстречу. Перефразируя Элюара, скажу, что он принадлежал своему времени в той мере, в какой человек бывает универсальным. Какие демоны толкали его участвовать в создании Дисконтной кассы, которая теперь, если не ошибаюсь, называется Французским банком? Или финансировать удивительный пожарный насос Шайо, изобретенный братьями Перье? Или бороться за ограничение привилегий откупщиков? Зато мы прекрасно понимаем, почему он сердится, когда защищает кальвинистов юго-запада, которые страдают от «варварского фанатизма».

«В той же мере, — писал он правительству, — как никто не интересуется тем, хорошие ли математики наши священники, не лучше ли будет не знать, правоверные ли католики наши судовладельцы, а делением людей на католиков и протестантов, которое во все вносит рознь, пусть занимаются теологи... Единственный способ объединить наконец подданных государства вокруг какой-то доктрины заключается в том, чтобы их сближать во всех допустимых случаях, ограничив, насколько возможно, все бесполезные различия, которые делают людей такими неспокойными и несправедливыми друг к другу».

С той же страстью и с той же убежденностью Бомарше защищает от религиозной дискриминации и идиотизма предрассудков евреев, и при этом он не довольствуется, как большинство его собратьев по перу, некоей умозрительной позицией, а всякий раз отдает этому и свое время и свои силы. Чтобы спасти «израильтянина» в Байоне, он «молит на коленях» Верженна. И улаживает это дело. Прекрасные статьи и петиции интеллигенции приносят, несомненно, пользу — они обеспечивают тем, кто их подписывает, чистую совесть. А тот, кто действительно хочет помочь жертве репрессии, должен за нее сражаться. Или хитрить, или молить. Все прочее — литература. Бомарше всегда был готов защищать угнетенных, то есть тех, против кого с добродетельным ликованием ополчались большинство людей и власть. Некоторые биографы Бомарше упрекали его, да и сейчас еще упрекают за то, что он в какой-то момент собирался торговать неграми. Но я уже говорил, — он отказался от этой затеи, как только увидел первого негра. Стоило ему уразуметь, в каком положении находятся цветные люди, и он тут же сделался их защитником. Он всегда хотел не только знать, почему он сердится, но также из-за кого он сердится. Никогда страдание человека, будь он даже его злейшим врагом, не оставляло его равнодушным.

Вот каков этот обещанный краткий перечень.

В те времена среди всех угнетенных меньшинств, быть может, самыми угнетенными были драматурги. Это не просто шутка. Теат-

ральные авторы со странной покорностью терпели власть актеров, которые все были деспотами. А пайщики «Комеди Франсэз» и подавно — они стали настоящими тиранами и с величественным видом без всякого зазрения совести эксплуатировали авторов. Драматурги после Филиппа Кино ценой долгих стенаний добились наконец, чтобы им платили со сбора. Великодушные актеры согласились отдавать им девятую часть прибыли, если пьеса была в пяти актах, и двенадцатую, если она была в трех актах. Теоретически это выглядело роскошным подарком, а на деле оказалось нищенской подачкой. Хитрые артисты придумывали такое понятие, как «чистый» доход. «Чистый» — это только так говорится. В «Ночи в опере» импресарио Грушо Маркс предлагает певцу подписать необычайно выгодный контракт, но, как только документ подписан, импресарио перечисляет все параграфы, уточняющие условия, всякий раз отрывая при этом кусочек контракта. В конце концов у Грушо в руке вместо роскошного документа оказывается крошечный клочок бумаги, который он и сует себе в карман. Пайщики «Комеди Франсэз» действовали точно таким же образом. С полученного сбора они прежде всего вычитали обычные постановочные расходы, огульно оцениваемые в 1200 ливров. Потом — дополнительные расходы на данную постановку, и еще стоимость годичных и пожизненных абонементов; из оставшейся же суммы вычитали стоимость билетов на кресла, которые продавались со скидкой, а кресла эти составляли целые ряды, а также принятые отчисления в пользу бедняков и, наконец, последние вычеты — то, что называлось личными расходами автора, например стакан воды, выпитый им во время репетиции, или свечи, которыми тот пользовался, исправляя свой текст, и т. д. Вот до каких мелочей доходило дело. Но и это еще не все. Кроме того, актеры решили, что, если чистый сбор случайно оказывался ниже суммы, отведенной на обычные постановочные расходы, то есть менее 1200 ливров, пьеса попадает под «особые условия» и становится собственностью труппы. Надо ли уточнять, что благодаря «случаю», который всегда улаживает подобные дела, чистый сбор весьма редко достигал суммы обычных постановочных расходов. Так как пример всегда более убедителен, чем длинное разъяснение, я расскажу, что произошло с одним модным во времена Людовика XVI автором типа Ануя или Руссена той эпохи. Звали его Луве де ла Соссей. Его комедию «День в Спарте» три дня играли с аншлагами, и Луве, который в мечтах уже видел себя богачом, попросил, чтобы с ним расплатились. Театральный кассир с обратной почтой ответил ему, что, поскольку «его пьеса собрала за пять спектаклей 12 000 ливров, автор, исходя из условий договора о чистом сборе, должен вернуть театру 101 ливр, 8 су и 8 денье».

У обреченных на нищенское существование драматургов, да и вообще всех писателей, находившихся в полной зависимости от книгоиздателей, не было другого выхода, как искать защиты и вспомоществования у каких-то влиятельных особ. Чтобы сохранить в этих условиях свободу мысли, литератор должен был обладать весьма большой смелостью. На вершине своей славы Бомарше решил, что он в силах покончить с этим печальным положением. После того как

он написал власть предержащим, что, по его мнению, «лучше, чтобы писатель жил честно плодами своих признанных трудов, чем искал бы места и стипендии», он решил сражаться во имя защиты интересов драматургов и для начала обратился к герцогу де Ришелье, который как камердинер короля ведал и делами актеров. Ришелье, чтобы доставить Бомарше удовольствие, предложил ему изучить этот вопрос, начать переговоры с актерами и доложить о результатах. Мы не будем останавливаться на всех подробностях переговоров и споров автора «Севильского цирюльника» со своими исполнителями. Это подчас смахивало на трагедию, подчас на фарс. После объяснений с пайщиками, в числе которых были и его друзья, Бомарше сделал вывод, что только объединение драматургов сможет противостоять объединенным артистам. Поначалу все это казалось бесплодными мечтаниями. На первом же заседании собратья по перу переругались друг с другом и дело дошло чуть ли не до драки. Не буду вас утомлять изложением существа этих ссор. Сегодня мы сталкиваемся с тем же в наших академиях, в наших жюри и литературных салонах. Вечно обиженный, завистливый и ревнивый, писатель всегда начинает с альтернативы: «Если такой-то будет присутствовать на собрании, я не приду... Я поставлю свою подпись только при условии, что этот негодяй *X* не будет подписывать». Из-за одного случайно сказанного слова он хлопает дверью. А потом пишет в газету тысячу строк, чтобы объяснить, почему он хлопнул дверью. А затем пускается во все тяжкие, чтобы эту дверь вновь перед ним открыли. Короче, полное безумие. И самое удивительное в том, что такими пороками страдает и поведение крупных писателей. Так, например, Лагарп, приглашенный Бомарше на обед авторов, устроить который он сам же и предложил, послал за два часа до назначенного часа следующую записку:

«По установленному распорядку жизни, связанному с неотложными делами, я никогда не обедаю вне дома. Но я буду иметь честь посетить Вас после обеда. Однако должен Вас предупредить, что если среди приглашенных случайно окажутся г-н Совиньи или г-н Дора, я не приеду. Вы слишком хорошо знаете свет, чтобы сводить меня с моими явными врагами».

Бомарше немедленно отправил посыльного к вспыльчивому Лагарпу. В своем Письме он умолял его «приехать, чтобы в дружеской обстановке, среди людей, которые Вас уважают, забыть о пустяковых обидах, возникших, быть может, по недоразумению».

Лагарп передал посыльному в ответ следующие простые строчки: «Я решительно не могу добровольно оказаться в обществе этих двух господ, которых я презираю и как личностей и как авторов бездарных писаний. Один из них оскорбил меня непосредственно (в газете), другой же просто сумасшедший, невозможный в общении, бешеный тип, которого все избегают, потому что он всегда норовит подраться из-за своих стихов, а Вы сами понимаете, сударь, что это значит — — драться из-за ничего».

И Лагарп заключает с божественным простодушием: «Как Вы видите, в том, в чем я их упрекаю, нет ничего от литературы».

И конечно же, Лагарп присутствовал на дружеском обеде.

У Мармонтеля, Седена и Дидро характеры были не лучше. Если что-либо обсуждали без них, они кричали, что это предательство. Когда же их приглашали на встречу за три месяца вперед, они в последнюю минуту придумывали какие-то обеды, на которых непременно должны присутствовать, либо неотложные свидания, один ссылался на преклонный возраст, второй на недомогание жены, а третий — на болезнь кучера. Когда их ловили на слове, они визжали как свиньи, которых режут. Тем не менее с помощью дипломатии и упорства Бомарше все же удалось 3 июля 1777 года созвать первые «генеральные штаты» драматургов. Двадцать три автора пили шампанское и кутили напропалую на улице Вьей дю Тампль, не разя при этом друг друга наповал. Это было истинное чудо. С тех пор их наследники регулярно собираются в особняке на улице Балю и распоряжаются целыми состояниями. Это следствие чуда. После обеда, в состоянии эйфории, чуть подвыпившие, двадцать три автора, размечтавшись о своей теперь уже вполне реальной двенадцатой доле, приступили к выборам четырех старшин. Значительным большинством голосов были избраны Бомарше, Совен, Седен и Мармонтель. Прежде чем приступить к голосованию, приняли решение, что старшины остаются на своем посту пожизненно. По окончании голосования несогласное меньшинство, подстрекаемое неизбранными кандидатами, попыталось было пересмотреть вопрос о несменяемости старшин под тем предлогом, что они могут своекорыстно использовать полученные ими привилегии. Вот тут Бомарше не на шутку рассердился, и меньшинству, удивленному его столь яростным отпором, пришлось умолкнуть. Но битва только начиналась. Сам Геркулес потерял бы в ней разум. По сравнению с театрами авгиевы конюшни были образцом чистоты и порядка. Бомарше победил. Постепенно. 13 января 1791 года, то есть пятнадцать лет спустя, после тысячи комичных процессов и не меньшего количества гротескных драм и в высшей степени нелепых ссор Национальная ассамблея по предложению Бомарше признала авторское право на литературные произведения и уничтожила непомерные привилегии актеров. После этого произошло еще несколько частных инцидентов, но революция свершилась. Утвержденные в своих правах, уверенные в том, что их отчуждение, как сказали бы в наше время, раз и навсегда преодолено благодаря усилиям и настойчивости одного Бомарше, писатели смогли наконец относиться свысока к своему благодетелю. Так — привожу здесь лишь один пример — нынешний почетный президент «Общества драматургов», глубина мысли которого всем известна, писал в 1954 году о творчестве своего знаменитого предшественника:

«В нем нет ни единого всплеска, который предвещал бы скорую болезнь века, ему чужда тревога за условия человеческого существования». Быть может, драматурги принадлежат к особой породе существ? Как это говорил Фигаро? «...букашки, мошки, комары, москиты»... Работники пера — это какие-то странные насекомые, кем бы они ни были: вшами, тараканами или роскошными бабочками.

Бомарше был вместе с Гюденом в Марселе, когда пришло сообщение, что Вольтер, король бабочек французского языка, умер 30 мая (1778 год). Гюден, которого, как вы помните, только что приняли в Провансальскую академию, имел таким образом случай и счастье первым воздать хвалу этому великому человеку. Известие о том, что духовенство отказалось похоронить останки своего чересчур знаменитого противника, в результате чего пришлось предать его тело земле в часовне, где не отправлялись богослужения, вызвало у обоих друзей равное негодование. Не надо забывать, что в 1778 году церковь в основном еще сохраняла свою власть и, в частности, составляла акты гражданского состояния, лишая всех, кого ей вздумается, права законным образом родиться или умереть. В гневе Бомарше и Гюден решили было отправиться в Париж, чтобы испросить у Морепа позволения похоронить прах автора «Генриады» у подножия памятника Беарнцу после торжественной церемонии, в которой духовенству было бы запрещено участвовать. Однако приближающееся начало процесса Бомарше с Лаблашем заставило его отказаться от этой великодушной, но безумной идеи. В самом деле, трудно себе представить, что Людовик XVI в угоду Бомарше согласился бы бросить такой вызов парижскому архиепископу. Но Бомарше в самом ближайшем будущем найдет способ, да еще какой, воздать должное Вольтеру. Я имею в виду не куплет из «Женитьбы» «...А Вольтер живет в веках», а то грандиозное начинание, ради которого он пожертвовал и своим состоянием, и своим покоем, а именно — издание полного собрания сочинений своего великого соратника и по перу и по часовому делу г-на де Вольтера.

Затея была не из простых. Две трети произведений Вольтера во Франции находились под запретом. Книготорговцы, которые разрешали себе продавать кое-какие его книги из-под полы, рисковали получить по суду большой срок тюремного заключения, как, впрочем, и те, кто, возвращаясь из-за границы, провозили в своем багаже отдельные томики Вольтера. Все захваченные книги тут же сжигали. Издать для любителей французской словесности сочинения, по большей части запрещенные, уже само по себе было вызовом. Не меньшим вызовом было намерение сразу напечатать восемьдесят или сто томов. К тому же права на опубликование этих книг находились в разных руках. И, наконец, последнее — издатель Панкук вознамерился заняться тем же, а у него было перед Бомарше два значительных преимущества. Во-первых, Панкук располагал всеми неизданными произведениями Вольтера, а во-вторых, его поддерживала русская императрица Екатерина, которая предложила ему и субсидию в несколько миллионов и свои типографии в Санкт-Петербурге. Опубликовать самого великого писателя Франции в далекой России означало во второй раз произнести над ним приговор. И опозорить Францию, Францию, которая еще при жизни писателя преклонила перед ним колени, продемонстрировав тем самым остроту противоречий внутри страны. Итак, Бомарше снова рассердился и кинулся к Морепа, человеку со скептическим и вместе с тем либеральным складом ума, «чтобы растолковать ему, каким позором было бы для

Франции издание в России произведений писателя, вознесшего французскую литературу на вершину мировой славы». Фигаро, как мы уже видели и видим сейчас, был патриотом, он не обладал сердцем европейца, и удивляться тут нечему: во время своих непрерывных путешествий он узнал цену этому слову. Морепа, для которого, как и для Бомарше, Франция была Францией, а понятие «Европа». — глупостью, обещал ему помочь по мере возможности, но при условии, что все будет сделано под его, Бомарше, вывеской. Бомарше не сразу согласился на условия, поставленные первым министром. Он колебался. «Когда я вложу в это дело весь свой капитал, — сказал он, подумав, — духовенство пожалуется парламенту, издание будет приостановлено, издатель с наборщиками заклеймены и позор Франции станет еще более полным и ощутимым». Морепа в свою очередь подумал и обещал дать управлению почты секретный приказ, разрешающий ввоз и свободную пересылку по стране будущего полного собрания сочинений. Это было всего лишь устное обещание старого человека, который, правда, еще стоял у власти, но мог умереть со дня на день или быть отправленным на покой, однако Бомарше им удовлетворился. Для него обдумывать не означало отступать.

Ни один издатель никогда не обнаруживал такого пиетета перед издаваемым автором, как Бомарше. Для Вольтера Бомарше хотел непременно раздобыть и самый красивый шрифт, и самую лучшую бумагу, и самую роскошную кожу для переплетов. И, представьте, он добился всего этого. Восхитившись в Англии неким шрифтом, названным «Баскервиль», он купил несколько полных комплектов, и это стоило 50 000 франков. Что до бумаги, то он хотел такую, которая изготовлялась только в Голландии и только на самой знаменитой бумажной фабрике. Библиофилы знают, о чем идет речь, — от запаха и от прикосновения к некоторым голландским изданиям получаешь почти такое же наслаждение, как от чтения. Но поскольку голландцы оставляли эту бумагу для своих типографий, Бомарше отправил в Голландию — естественно, за свой счет — специалиста, способности которого успел оценить, с заданием научиться делать точно такую же бумагу. К этому времени он купил три типографии в Вогезах, во главе которых поставил того самого специалиста, которого отправлял в Голландию. Когда Бомарше чем-нибудь занимался, все делалось очень быстро. Однако самая трудная задача еще не была решена: нужно было найти помещение для издательства и типографии. Они должны были находиться вне Франции, но при этом как можно ближе к Парижу. Опытный коммерсант, Бомарше знал, как дорого стоит транспорт, и поскольку и речи не могло быть, чтобы экономить на качестве продукции, необходимо было снизить до минимума все накладные расходы. Прослышав, что маркграф Баденский был бы не прочь получить доход от старого и весьма внушительного форта Кель, Бомарше ухватился за этот случай и предложил арендовать форт. Маркграф согласился, но потом взял слово назад, вернее, высказал ряд требований, в том числе изъятие из издания всех пассажей, которые могут показаться оскорбительными для морали и нравов вообще, бога и маркграфов в част-

носи. Бомарше в тот же час ответил королевскому негоцианту весьма дерзким письмом, с высокомерием ставя его на место и угрожая устроить свою типографию в другом маркграфстве «на несколько шагов дальше», где ему предлагают «полную свободу, которой, само собой разумеется, общество, основанное на таких благородных принципах, никогда не будет злоупотреблять». То ли маркграф был толстокож, то ли карман у него был пуст, но, так или иначе, он безоговорочно сдал все свои позиции. «Вынужденный» внезапно освоить «производство бумаги, печатание, издательское дело», Бомарше очень скоро стал весьма сведущим в этих трех совершенно новых для него областях деятельности. Как всегда, он сумел окружить себя компетентными людьми, с которыми он к тому же поддерживал дружеские отношения. Чтобы руководить всей работой в Келе, он выбрал очень молодого человека, столь же честолюбивого, сколь и умного, но у которого скоро обнаружился существенный недостаток: он не умел ладить с людьми. Видимо, очень застенчивый, Летелье изображал деспота и хотел держать типографщиков в ежовых рукавицах. А у них уже тогда были те качества, которые мы знаем за ними сегодня и которые ставят их очень высоко в рабочей иерархии, а именно приверженность к своему делу, куда более высокий, чем обычно, интеллектуальный уровень и очень сильная любовь к свободе. Они скоро вошли в конфликт с молодым диктатором. Бомарше пришлось вмешаться. С удивительным терпением посылал он ему послание за посланием, и постепенно Бомарше удалось изменить властную натуру молодого человека, сделать его более гибким. Он нашел доводы и слова, которые Летелье смог услышать. Так, в конце одного из своих писем Бомарше без зазрения совести играл на честолюбии и даже тщеславии юноши, сравнивая его с влиятельным государственным деятелем:

«Именно эта прямолинейная надменность и погубила только что г-на Неккера. Человек может быть одарен самыми большими талантами, но как только он станет кичиться своим превосходством перед теми, кто ему подчинен, эти люди превращаются в его врагов, и все летит ко всем чертям, хотя никто вроде бы ни в чем не виноват... Из всего этого Вы должны заключить, что я, как человек умеренный, мирный и осмотрительный, могу служить для Вас примером того, как надо обходиться с людьми, и было бы весьма желательно, чтобы каждый мог сказать о Вас то же самое, что Вы всегда, надеюсь, будете иметь основания говорить, ибо я приложу к этому все усилия, о Вашем слуге и друге Кароне де Бомарше».

Я привел этот отрывок, потому что он снова проливает свет на психологию Бомарше и его знание людей. И самого себя. Он с редкостным умением заставлял всех повиноваться себе или, вернее, помогать ему в делах. Не надо при этом забывать, что в 1780 году Кель был лишь одной из сотен его забот, а Летелье — последним пополнением в корпус его лейтенантов. Любопытная деталь: прежде чем нанять этого одаренного молодого человека, Бомарше, который хорошо разбирался, кто чего стоит, долгое время думал — не взять ли на эту должность Ретифа де Ла Бретонна. Но Ретиф, которого

ныне считают одним из самых крупных писателей того времени и — с полным основанием — одним из предвестников современного романа (я не имею в виду «нового романа»), относился к орфографии с той же свободой, что и Раймон Кено. А ведь речь шла о том, чтобы почтить память Вольтера, а не обновлять язык. Держать корректуру Бомарше поручил Декруа, который, как все знали, молился на Вольтера, И, наконец, он попросил Кондорсе снабдить рукопись комментариями — работа столь же деликатная, сколь и неблагодарная.

Точно так же как за несколько лет до этих событий Бомарше создал торговый дом «Родриго Орталес и компания», чтобы вести «свою» американскую войну, так и теперь он учредил «Философское, литературное и типографское общество» исключительно для того, чтобы защитить память Вольтера и его произведения. Причем формально сам Бомарше назывался лишь парижским корреспондентом этого общества, но на деле был и его душой, и нервом, и финансистом.

«Общество, которое есть я» за огромные деньги — 160 000 франков — купило у Панкука неизданные произведения, а также права на все книги, опубликованные в европейских странах у двадцати разных издателей.

Парижский корреспондент Общества решил, что будут два издания, первое, роскошное, ин-фолио, в 70-ти томах, второе — ин-кварто, в 92-х томах, каждое тиражом по 15 тысяч экземпляров. Он распорядился составить проспект еще в 1780 году, чтобы тут же началась подписка. Он ждал заказов на 30 тысяч экземпляров — после тщательного подсчета эта цифра была установлена с самого начала как необходимая для самоокупаемости издания, потому что он никогда не имел в виду зарабатывать на Вольтере.

Однако Общество получило заказы всего лишь на 4 тысячи экземпляров. В 1781 году Бомарше уже стало совершенно ясно, что если издание Вольтера и не разорит его полностью, то, во всяком случае, будет ему стоить целого состояния. Любой другой на его месте начал бы, не теряя ни одного дня, принимать экстренные меры, чтобы выйти из дела с наименьшими потерями. У него этого и в мыслях не было. Смерть его союзника Морепа давала ему вполне приличный повод остановить издание, но он им не воспользовался. Первый том был напечатан в Келе в 1783 году, сто шестьдесят второй — в 1790 году, то есть в год выходило по 23 книги, цифра весьма значительная, если учесть объем каждого тома и роскошное оформление книг. Неуспех этих двух изданий объясняется, на мой взгляд, тем, что, согласно установленному теперь правилу, даже к самым великим писателям, не считая тех, кто уходит из жизни молодыми, после их смерти на десять-двадцать лет пропадает интерес; это чистилище, о котором в свое время говорил Андре Жид и из недр которого его собственное творчество только в наши дни начинает выходить. Французы тогда отвернулись от Вольтера, а злые козни, которые церковь и парламент чинили его издателю, хотя и сильно мешали ему, не имели все же достаточной огласки, чтобы стать рекламой. Осуждая

«кузницу безбожия» в Келе, католические власти не вели по ней интенсивного огня. Но ради справедливости надо добавить, что министры Людовика XVI выполнили обещание, данное Морепа: почта пропускала и разносила творения сатаны по всей стране.

Итак, Бомарше один финансировал это замечательное издание и с неослабевающей страстностью довел его до завершения. Он, лично наблюдая за всеми тонкостями печатания, был бескомпромиссно требователен и в результате достигал подлинного совершенства. Вырвав Вольтера у Екатерины, он оказал Франции неоценимую услугу и вместе с тем обеспечил счастье вчерашних, сегодняшних и завтрашних библиофилов.

На сей раз его деятельность принесла ему и кое-какую пользу. Хоть он почти разорился, его слава достигла зенита. Без обычного брюзжания, даже с приветливой улыбкой приняла Франция этот воистину царский подарок от г-на де Бомарше. Нашелся даже автор — да-да, — который публично поздравил его с этим. Звали его Жан-Франсуа Келава де Л'Эстанду. Не знаю, были ли у него другие таланты, но талантом льстеца он обладал несомненно. Вот в каких словах прославил он Бомарше:

«Вы универсальный человек.

Когда Вы пишете драмы, они получаются трогательными; когда Вы сочиняете комедии, они забавные. Вы музыкант? Вы вызываете восторг! Вы адвокат? Вы выигрываете все процессы! Вы судовладелец? Вы побеждаете всех врагов, богатеете, отстаиваете свои права перед королями. Вы любовник? Как всегда, легендарный. Наконец, Вы решили стать издателем? И Вы им становитесь. И таким издателем, как все остальные вместе взятые!».

Не могу не прокомментировать это восхваление. Заметили ли вы, что любезный коллега Бомарше, когда речь заходит о литературе, курит фимиамы с меньшим энтузиазмом? Если о комедиях он говорит лишь то, что они забавны, то музыка, сочиненная Бомарше, вызывает восторг! Кроме того, нельзя не задать себе вопрос, откуда господин Келава может знать, что Бомарше в постели всегда легендарный? Наконец, — in cauda venenum[1], — когда он говорит ему, что он один стоит всех издателей, вместе взятых, не думает ли при этом господин Келава о своих рукописях, которые, уж конечно несправедливо, лежат без движения в ящиках его письменного стола?

Если я сейчас улыбаюсь, то только потому, что знаю, кто нас ждет, когда мы перевернем страницу. «Кто же, кто?» Ну, разумеется, Фигаро!

---

[1] В хвосте яд (*лат.*).

15

«ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»

...в то время как я, черт побери...

С первой строчки этой книги мы идем к «Женитьбе», фундаменту нашего здания. Это и в самом деле главное произведение Бомарше. Оно проливает свет не только на остальные его сочинения, но и на жизнь автора. Все тайны этого человека, начиная с самой существенной, к которой мы непрестанно возвращаемся — тайны его происхождения, содержатся в «Безумном дне» — так поначалу называлась «Женитьба Фигаро». Бомарше раскрывается в этом сочинении и сознательно и невольно. Уже в «Севильском цирюльнике» он кое-что сообщил о себе. «Женитьба» же — настоящая исповедь. И, что самое поразительное, он выбрал для этой исповеди, этого откровенного обнажения своей личности именно веселую комедию, они как бы растворились в пьесе, написанной для того, чтобы вызывать смех, и действительно его вызывающей, в пьесе, живущей собственной жизнью, причем всем известно, что это произведение Бомарше не уступает лучшим комедиям Мольера.

Этот шедевр французского театра является вместе с тем и политическим актом. Первые биографы Бомарше, которых трудно назвать революционерами, сделали все возможное, чтобы приуменьшить значение «Женитьбы» для своего времени, равно как и ее исторический резонанс. Они полагали, что этим служат славе своего героя и смывают с него позорные подозрения. Большинство их преемников пошли тем же путем, правда, по причинам диаметрально противоположным. Вольтер, Руссо, философы — да, конечно, а Фигаро — нет. Между комедией и Историей они не усматривали решительно никаких аналогий. И тем не менее!

Когда Людовик XVI, который искренне любил Бомарше, прочел в 1782 году рукопись «Женитьбы», реакция его была мгновенной: «Если быть последовательным, то, чтобы допустить постановку этой пьесы, нужно разрушить Бастилию. Этот человек глумится над всем, что должно уважать в государстве». Год спустя, после нового королевского запрета, Бомарше публично заявил: «Он не желает, чтобы ее поставили, а я говорю, что ее поставят и будут играть, непременно будут, хоть в Нотр-Дам». Таков был спор. Король против Бомарше. Конфликт этот стоит особого разбора. Автор «Женитьбы» понимал причины королевского запрета — причины политические. Если бы он не имел намерения вести бой с пороками системы, он, несомненно, сократил бы острые места пьесы или смягчил их. Мы же видели, как Бомарше перед постановкой «Севильского цирюльника» покорно следовал советам одних и внимал предостережениям других. Здесь же, если он и собирал мнения о форме и построении своей пьесы, он решительно не желал идти ни на какие

уступки по ее сути. Когда Бомарше сочинял «Женитьбу», он твердо знал, что делает. Уточним, чтобы не возникло недоразумений: никогда, ни на минуту у него и в мыслях не было свергать монархию. Он был реформатором.

Как и Шуазель, Бомарше считал, что настало время установить во Франции конституционную монархию, опирающуюся на народ, и покончить со всеми привилегиями. В те годы он был не единственным, кто устно или письменно высказывал подобные мысли, это ясно, но он был первым, кто вознамерился воплотить свои политические идеи на театральных подмостках. Мы знаем, и, несомненно, Людовик XVI это тоже понимал, что театр — великолепный резонатор идей. Сцена — идеальная трибуна, более того, она — форум, ибо публика соучаствует в представлении криками, смехом, свистом, аплодисментами. Власть всегда опасалась театра. Перед войной 1939 года правительство запретило постановку «Кориолана» в «Комеди Франсэз»! Достаточно представить себе Людовика XVI читающим монолог: «Вы дали себе только труд родиться, и больше ничего» и завершающим свое чтение седьмым куплетом финального «водевиля»:

В жизни есть закон могучий,
Кто — пастух, кто — господин!
Но рожденье — это случай,
Все решает ум один.
Повелитель сверхмогучий
Обращается во прах,
А Вольтер живет в веках.

Все решает ум один. Таков мог бы быть и девиз Бомарше. Ему потребовалось потратить больше ума для того, чтобы добиться постановки «Женитьбы», чем для того, чтобы ее написать.

На первый взгляд соотношение сил между монархом и Бомарше было не в пользу последнего. Миромениль, который в этих вопросах пользовался доверием короля, прочитав «Женитьбу», заявил, что это дьявольское произведение. До последнего дня перед премьерой министр юстиции прямо из кожи лез вон, чтобы не выпустить Фигаро на сцену. Остальные министры, часть придворных, церковь, парламент — все тут действовали заодно. Фраза, что от этой комедии несет запахом серы, была у всех на устах. Но в 1783 году Бомарше находился на гребне своего могущества. Король и его советники знали, сколь многим они были ему обязаны в политическом плане. Разве Англия, которая за год до этого капитулировала в Иорктауне, не сделала теперь выводы из своего поражения, признав американскую независимость? Разве не готовилось подписание Версальского договора, который возвращал Франции Сенегал, а главное, освобождал Дюнкерк от английских оккупантов? А кто толкнул Францию на эту политику? Кто неутомимо поддерживал подчас слабеющую королевскую волю? Кто предвидел, одно за другим, все эти исторические события? Кто, жертвуя своим временем, деньгами и гением, дал американцам возможность

добиться победы? Если общественное мнение знало лишь Лафайета и Рошамбо, то в Версале было известно и другое имя.

Неофициальный министр, едва не ставший в ту пору и в самом деле министром, эдакий серый кардинал, если мне будет позволено не совсем точно употребить этот термин, Бомарше со все растущим авторитетом занимается и финансами, и экономикой, и юриспруденцией, и управлением территорией и т. д. И если он вмешивался во все, что происходило в стране, значит, властям это было угодно. Ломени приводит записку Бомарше Верженну, которая дает некоторое представление об его участии в государственных делах:

«Милостивый государь,

Имею честь направить Вам отчет о нашем последнем совещании. Необходимость из-за строгой секретности самолично переписать его с черновика задержала отправку этого документа. Сознательно излагаю все упрощенно, дабы король, когда г-н Морепа представит ему этот отчет, сумел бы ухватить самую суть вопроса и, несмотря на всю свою неопытность в такого рода сложных делах, убедиться в его бесспорности».

В конечном счете двусмысленность положения Бомарше является делом его рук, уж не знаю, сознательно или нет. Альмавива не может уволить Фигаро, потому что тот ему необходим. В системе «хозяин — слуга» в ловушке оказывается граф. Уверенный в своей безнаказанности, конечно, относительной, с этим я согласен, Фигаро отныне может себе все позволить. Как, впрочем, и Бомарше. Разве стал бы Людовик XVI в 80-е годы порывать отношения с человеком, который практически и сделал его королем, подготовив его торжество над Англией, — ведь это был единственный успех Людовика за все его правление — или, продолжая сравнение с Альмавивой, который помог ему лечь в постель к Розине?

Если Бомарше благодаря уму, хитрости и мужеству удалось занять некоторое положение в обществе, его социальное положение осталось точно таким же, каким оно было при его рождении. Самое низкое или просто никакое. Человек трезвого ума, он не обольщается своими удачами. Псевдокатолик, псевдодворянин, псевдоминистр, он должен либо сорвать с себя маску, либо умереть в маскарадном костюме.

Самые тонкие исследователи творчества Бомарше, такие, как Помо, Ван Тигем, Шерер, подробно останавливались на противоречиях его характера, его творчества, его жизни, но они как будто сознательно не хотят раскрыть тайну этого человека. И что же, нам в свою очередь тоже надо считать, что эту загадку разгадать невозможно? И повернуться спиной к сфинксу? Я не думаю, что так следует поступать, ибо наш сфинкс не перестает привлекать к себе внимание, подсказывать нам ответ, толкать на правильный путь догадок. Достаточно лишь внимать ему, вернее, читать и соображать, что к чему.

Известно, что Фигаро и Бомарше — одно лицо. Это уже секрет полишинеля. Сделав такое отождествление, нам надо понять, какие отсюда вытекают следствия. Если Бомарше — это Фигаро, то Альмавива — это общество, абсолютная монархия. Бартоло, Базиль, Бридуазон — свита короля, его лакеи. Остаются женщины, Розина и Сюзанна. Ими положено овладевать, и ими овладевают. Альмавива намерен был воспользоваться и той и другой. Фигаро помог ему овладеть первой, но решительно отказал во второй, которую намерен сохранить для себя. К этому мы еще вернемся. Но мне надо было бы теперь пустить вас по следу, зигзаги которого мне хорошо известны. Бомарше (Фигаро) исправно служит королю (Альмавиве), когда его дело справедливое (Розина), и борется с ним, когда тот намерен проявить свое тиранство (право первой ночи — Сюзанна).

Когда твое имя Бомарше, которое и не твое вовсе, а взятое напрокат, и ты исключительно силою своего обаяния и хитроумием стал всем заправлять в Версале, но вместе с тем тебе уже пора выйти на свет, то есть кричать свою правду во всеуслышанье, надо обладать одновременно большой гибкостью и твердостью, чтобы в 1780 году и служить королю и при этом бороться за свои взгляды. Весь гений Бомарше выражен в этом противоречии. Вернемся к «Женитьбе», о которой король сказал публично: «Она никогда не будет сыграна». Казалось бы, приговор обжалованию не подлежит. Но Бомарше всегда отвергал все приговоры. И оборачивал наказание против своих судей. Парламент ошельмовал его и лишил гражданских прав — он победил парламент и стал государственным деятелем. Людовик XVI запретил «Женитьбу». Пьесу будут играть, а король падет.

Чтобы одерживать верх, Бомарше вынужден был прибегать к всевозможным хитроумным маневрам. У короля есть козыри, но у Бомарше тоже есть свои выигрышные карты. Начатая партия разыгрывалась два года — в салонах и на столах шести цензоров.

За эти два года непрекращающихся интриг, вызвавших тогда такой взрыв страстей, что привлекает наше внимание и теперь, лагерь Людовика XVI оставался таким, каким был изначально, то есть ограничивался министром юстиции, графом де Прованс и несколькими придворными литераторами, а лагерь Бомарше все разрастался. Граф д'Артуа, к примеру, вскоре занял позицию, противоположную своему августейшему брату, и увлек за собой и г-жу де Полиньяк, и принцессу де Ламбаль, супругу маршала де Ришелье, и ее сына, герцога де Фронсака. «Каждый день, — рассказывает секретарь Марии-Антуанетты г-жа Кампан, — только и слышишь: я присутствовал или я буду присутствовать на чтении пьесы Бомарше». Интерес к пьесе был таким живым, а умы так возбуждены, что слава «Женитьбы» перешла все границы. Вскоре Екатерина II сообщила, что она относится благосклонно к постановке комедии в Санкт-Петербурге, а великий князь и будущий царь приехал во Францию специально, чтобы послушать пьесу, о которой говорила вся Европа. Людовик XVI, потеряв терпение, в конце

концов согласился, чтобы актеры «Комеди Франсэз» сыграли «Женитьбу» один раз, при закрытых дверях, на сцене театра «Меню Плезир». Пьесу репетировали под руководством автора целый месяц вплоть до назначенного дня, а именно 13 июня 1783 года. Уже за два часа до поднятия занавеса гости графа д'Артуа ссорились из-за лучших мест. Но ровно за 10 минут до начала спектакля прибыл герцог де Вилькье с приказом короля запретить премьеру. Оскорбленные и взбешенные высокопоставленные гости открыто выразили свое возмущение.

Г-жа Кампан, бывшая в их числе, рассказывает: «Разочарование вызвало такое недовольство, что слова «угнетение» и «тирания» никогда, даже в канун крушения трона, не произносились с большей страстью и гневом, чем в тот час». На все хитроумные ходы Бомарше Людовик XVI отвечал неуклюже и грубо. Автор, «набравшись терпения, в очередной раз спрятал пьесу в портфель, надеясь, что какое-нибудь неожиданное обстоятельство снова извлечет ее оттуда», и уехал в Англию защищать интересы Франции и короля. Англичане, само собой разумеется, стали его умолять оказать им милость и разрешить постановку запрещенной пьесы. Но так же, как и в случае с русской императрицей, он уклонился. Тем временем в Версале непостоянный Людовик XVI снова сдал позиции, разрешив графу де Водрей сыграть один раз «Женитьбу» в его замке в Женевилье. Вернувшись в Париж, Бомарше, прежде чем принять приглашение Водрея, добился от Ленуара, сменившего в полиции Сартина, письменного свидетельства о том, что постановка в частном театре не нарушает права «Комеди Франсэз» играть эту пьесу публично на своей сцене. Так, воспользовавшись создавшейся ситуацией, он продвинулся еще на шаг. 21 или 22 сентября весь двор расселся по каретам и вслед за графом д'Артуа и г-жой де Полиньяк длинным кортежем отправился в замок Женевилье. Мария-Антуанетта, которая получила было от короля разрешение тоже поехать к графу де Водрей, была вынуждена в последнюю минуту отказаться от приглашения, сославшись на дурное самочувствие. В довершение всего в эту историю внесло свою лепту и лето: в тот вечер в Женевилье было так жарко, что Бомарше пришлось своей тростью разбить стекла в окнах маленького театра, чтобы присутствующие не задохнулись. А когда поднялся занавес, публика все же задохнулась, но на сей раз от восторга. Г-жа Лебрен, которая находилась среди приглашенных, сказала потом, подводя итог своим впечатлениям, что Бомарше в тот вечер дважды наполнил зал свежим воздухом.

Тем временем параллельно со всеми этими событиями разворачивался большой балет цензуры. После того как пьеса была восторженно принята труппой «Комеди Франсэз» в 1781 году, ее послали на отзыв первому королевскому цензору г-ну Кокле. Этот тип был предметом постоянных насмешек газетчиков. Кокле не возражал против постановки «Женитьбы», хотя и требовал коекаких купюр. Но поскольку король самолично разрешения на пос-

тановку не дал, то второй цензор, г-н Сюар (это его Бомарше вскоре обессмертил сравнением с «докучливым ночным насекомым»), счел, что политически верным ходом будет и вовсе запретить это постыдное сочинение. Третьим цензором был назначен г-н Гайар из Французской Академии, сухой ученый историк, не питающий особого интереса к театру, но у которого, однако, хватило честности и мужества признать пьесу хорошей. Четвертый цензор, г-н Гиди, ноги которого не было в театре вот уже тридцать лет, отнесся к пьесе куда менее благосклонно. А тем временем им на смену был назначен пятый цензор — Дефонтене. После того как он четыре раза прочел пьесу «фразу за фразой», новый судья написал, что достаточно внести в текст «небольшие поправки», чтобы разрешить постановку «Женитьбы Фигаро». Этот Дефонтене так проникся духом произведения Бомарше, что несколько лет спустя сам написал комедию, которую назвал «Любовные похождения Керубино». И наконец, шестой цензор, Брет, одобрил «Женитьбу» без всяких оговорок. Кончилось ли на этом дело? Нет. Шесть цензоров, которые, каждый в одиночку, по очереди оценивают пьесу, еще не составляют коллегии. Как человек предусмотрительный, Бомарше потребовал, чтобы такая коллегия собралась и вынесла свой приговор. Барон де Бретейль, государственный министр и начальник королевской канцелярии — в наше время он был бы министром внутренних дел, — согласился участвовать в этой комедии. По договоренности с автором барон собрал в своем министерстве целый ареопаг из «французских академиков, цензоров, светских людей и придворных, в той же мере справедливых, сколь и просвещенных, которым надлежит обсудить идею, содержание, форму и стиль данной пьесы, сцена за сценой, реплика за репликой, слово за словом». Это великое литературное судилище заседало в марте 1784 года в присутствии посланцев короля, которого Бомарше сам поставил в известность о своем намерении. Впрочем, к этому времени у Людовика XVI уже не было иллюзий. «Вы увидите, — сказал он, — что к Бомарше больше прислушаются, чем к министру юстиции». Но вернемся к процессу. Барон де Бретейль открыл заседание, а Бомарше — свою рукопись. Воцарилась тишина. Флери, один из пайщиков «Комеди Франсэз», который был в составе коллегии, протоколировал заседание, намереваясь в дальнейшем написать мемуары:

«Г-н де Бомарше прежде всего заверяет присутствующих, что он безусловно согласится с их мнением о пьесе и безоговорочно внесет в текст все исправления согласно замечаниям, которые выскажут собравшиеся здесь господа, а может быть, и дамы. Затем он приступает к чтению. Его прерывают, делают замечания, возникают споры. И всякий раз Бомарше сперва уступает, но потом, возвращаясь назад, отстаивает все до мельчайших деталей с такой изворотливостью и остроумием, с такой неумолимой логикой да еще с такой обольстительной живостью, что цензоры вынуждены замолчать. Все смеются, веселятся от души, аплодируют: «Это совершенно уникальное произведение». Каждый хочет хоть как-то

быть к нему причастным. И вместо того чтобы что-то вычеркнуть из текста, еще добавляют. Г-н де Бретейль подсказывает автору какую-то игру слов. Бомарше с восторгом принимает ее и благодарит за подарок: «Это спасет 4-й акт!» Г-жа де Матиньон предлагает свой цвет для ленточки, которую носит паж; цвет принят; это будет иметь бешеный успех. Кто не хочет носить цвет, который носит г-жа де Матиньон?.. «Нет, — воскликнул г-н де Шамфор после заседания коллегии, — нет, никогда еще я не видел такого чудодея! Все, что говорит Бомарше в защиту своего произведения, куда выше по уму, по оригинальности и даже по юмору, нежели самые забавные сцены его новой комедии».

Как всегда, в самых яростных схватках Бомарше поддерживали друзья, их было немного, но они отличались исключительными достоинствами. Среди его друзей 1780 года была одна совершенно удивительная пара — принц и принцесса де Нассау-Зиген, о которых стоит сказать несколько слов. Принц был, несомненно, одним из самых примечательных людей второй половины XVIII века. Его национальность и право на титулы оспаривались в зависимости от того, в какой стране он находился, поскольку по отцовской линии он считался немцем, а по материнской — французом. Как и Бомарше, неизвестно чей сын, он вынужден был стать сыном самого себя, то есть самому явиться на свет. И он это сделал тоже с большим шумом. Хрупкий, застенчивый, внешне еще более женственный, чем шевалье д'Эон, Нассау в пятнадцать лет вступил во французскую армию. Сказать, что он отличился на военной службе, значит еще ничего не сказать. Когда ему было двадцать лет, вся Европа считала его не просто героем, но каким-то феноменом. Он участвовал во всех самых отчаянных приключениях своего времени, легко, с полной беспечностью рисковал жизнью и всякий раз с дерзким везением побеждал. Подростком он, конечно, совершил кругосветное путешествие с Бугенвилем. Во время этого длинного путешествия, которое ему, видимо, показалось чересчур однообразным, Нассау решил сразиться с тиграми один на один, по всем правилам рыцарского поединка. За это его и прозвали «укротителем чудовищ». Фактически он укротил весь мир, а отступал только перед собственной застенчивостью. Полковник в двадцать лет, обремененный ратной славой, никогда не упускающий случая померяться силами со смертью, Нассау, как и его друг Бомарше, тревожил мир тем, что нарушал его обычаи. Маршал де Левис, который был с ним хорошо знаком, писал, что принц за свою жизнь заработал больше славы, нежели уважения. Такова судьба людей, отлитых не из одного металла. Хорошие психологи знают, какое замешательство вызывают подобные редкие птицы и в наши дни и как все стараются найти им общий знаменатель, чтобы привести их к заурядности. «Почему во всех твоих действиях всегда есть что-то подозрительное?» — спрашивает Альмавива у Фигаро. «Потому что когда хотят во что бы то ни стало найти вину, то подозрительным становится решительно все», — отвечает ему Фигаро. Для большинства людей Нассау — фигура необъяснимая. Г-жа

Лебрен, полагавшая, что он нежен и застенчив как барышня, только что вышедшая из монастыря, была весьма удивлена,- услышав рассказы об его подвигах. Уже одно их количество кажется нормальным людям подозрительным.

В отношении Англии Нассау придерживался тех же взглядов, что Бомарше, поэтому они и познакомились. Это была воистину любовь с первого взгляда. Нассау хотел, чтобы Родриго помог ему снарядить десант для высадки на острове Джерси, оккупированном англичанами. Бомарше согласился, но Людовик XVI в последнюю минуту наложил запрет на эту операцию. Позже Нассау отличился во время осады Гибралтара, где он командовал прамом, одним из тех знаменитых блиндажных судов, который сконструировал маркиз д'Арсон, выдающийся инженер и горячий патриот: во время революции д'Арсон столь же безупречно служил Франции, как во времена Людовика XVI. Предки современных крейсеров, прамы были укреплены мощной броней, а палубы покрыты металлической кровлей, которая должна была отражать осколки снарядов. Была также продумана хитроумная система водяного охлаждения раскаленной брони. Желая помочь испанцам, французы решили участвовать в осаде Гибралтара вопреки совету Бомарше, который весьма умно сказал министрам Людовика XVI: «Гибралтар надо взять в Америке. Мы потеряем столько испанских и французских солдат и стянем туда столько кораблей, что с их помощью легко можно было бы завладеть Ямайкой или любым другим островом, на который англичане с большой охотой обменяли бы эту голую скалу». Поскольку войны, увы, ведутся военными, французских гренадеров и моряков посылали на гибель. «Чтобы присутствовать на этом героическом спектакле, — пишет маркиз д'Арагон в биографии принца де Нассау-Зигена, — люди съехались словно на праздник как из Парижа и Версаля, так и из Мадрида. Граф д'Артуа, надеявшийся здесь впервые блеснуть своим военным искусством, но сумевший — как он сам, сетуя, в этом признается — продемонстрировать союзным штабам лишь дым своих полевых кухонь, собрал под Гибралтаром всю самую блестящую молодежь двора, но герцог де Бурбон прибыл на место боев с куда лучшим подкреплением, правда, быть может, менее элегантным, чем эскорт брата короля, зато более серьезным, поскольку его сопровождали настоящие знатоки военного дела». Если разумность идеи прама несомненна, то конструкция их все же была порочной, потому что все они во время боев за Гибралтар загорелись и потонули. Поведение Нассау во время этого бедствия было таким героическим, что король Испании тут же пожаловал ему звание гранда. Что до англичан, то они с обычным благородством и уважением приветствовали подвиги побежденных.

Таков был Нассау, когда сражался с оружием в руках. Когда же он был безоружным, то, не имея возможности рисковать жизнью, просто прожигал ее и каждую ночь кутил без удержу. К тому же он до безумия влюбился в принцессу Сангушко, которая незадолго до этого развелась. Эта молодая красавица полячка обладала теми же достоинствами и недостатками, что и ее любовник. Вместе они разо-

рялись по два раза в день. Столь же обаятельные, сколь и наивные, они вознамерились обвенчаться в церкви. После того как папа римский им в этом отказал, принц и принцесса решили обратиться к богу, то есть к Бомарше, который, видимо, заразившись их безумием, возомнил, что ему удастся убедить парижского архиепископа монсиньора де Бомона свершить этот обряд. Архиепископ с великим трудом втолковал Бомарше, что обвенчать Нассау с разведенной женщиной значило бы пренебречь всеми догматами католической церкви. Этот отказ, видимо, раздосадовал Бомарше и отнюдь не укрепил его религиозных чувств. Бо́льшим успехом увенчался его демарш перед Людовиком XVI, который милостиво разрешил этот брак, поскольку предыдущий брак принцессы Сангушко можно было считать недействительным, так как венчание состоялось в Польше! Решение простое, но надо было до него додуматься. С тех пор как Нассау стал испанским грандом, он принялся устраивать праздник за праздником, чтобы вести жизнь, соответствующую его новому рангу. Когда надо было платить по счетам кредиторам или просто купить еду на завтрак, ибо супруги Нассау вечно сидели без гроша, они всякий раз — и это вошло в привычку — обращались к Бомарше. И Бомарше исправно оплачивал их портных, слуг и поставщиков. Принцесса была еще более требовательна, чем ее муж, и чуть ли не ежедневно обращалась с призывами о помощи к тому, которого весьма забавно называла «мой дорогой Бонмарше»[1]. Ломени в своей книге приводит несколько ее записок, в том числе и такую: «Мой дорогой Бонмарше, я просто в отчаянии, но мне необходимо завтра отправиться по делам в Версаль, а у меня нет ни франка. Ссудите мне, если сможете, несколько луидоров».

Бомарше, который обожал и принца и принцессу, никогда не отказывался давать им взаймы деньги, хотя твердо знал, что они их не вернут. По истечении трех лет супруги Нассау были ему уже должны 125 000 франков. Когда принц уезжал на войну, Бомарше ему всегда писал: «Только смотрите, чтобы Вас не убили!» Но справедливость требует сказать, что принц и принцесса Нассау были готовы умереть за Бомарше. И за «Женитьбу Фигаро» принц бился, чтобы одолеть сопротивление Людовика XVI, с не меньшей страстью, чем во время своего поединка с тиграми. Его многократные и мужественные выступления в защиту пьесы если и не имели решающего значения, все же содействовали победе Бомарше. А потом, когда Нассау покидал Францию, чтобы принять участие в очередных военных операциях, он всегда брал с собой комедию своего друга и во всех больших городах, куда его кидала судьба, он лично руководил постановкой «Женитьбы» на сцене местных театров.

И в самом деле, Нассау знал наизусть все мизансцены Бомарше. Когда Людовик XVI наконец уступил, Нассау, обезумев от счастья, отправился вместе с автором в «Комеди Франсэз» и, не расставаясь с ним, тоже просиживал дни и ночи на репетициях. Это длилось вплоть до 27 апреля 1784 года — одной из трех или четырех самых великих дат в истории французского театра.

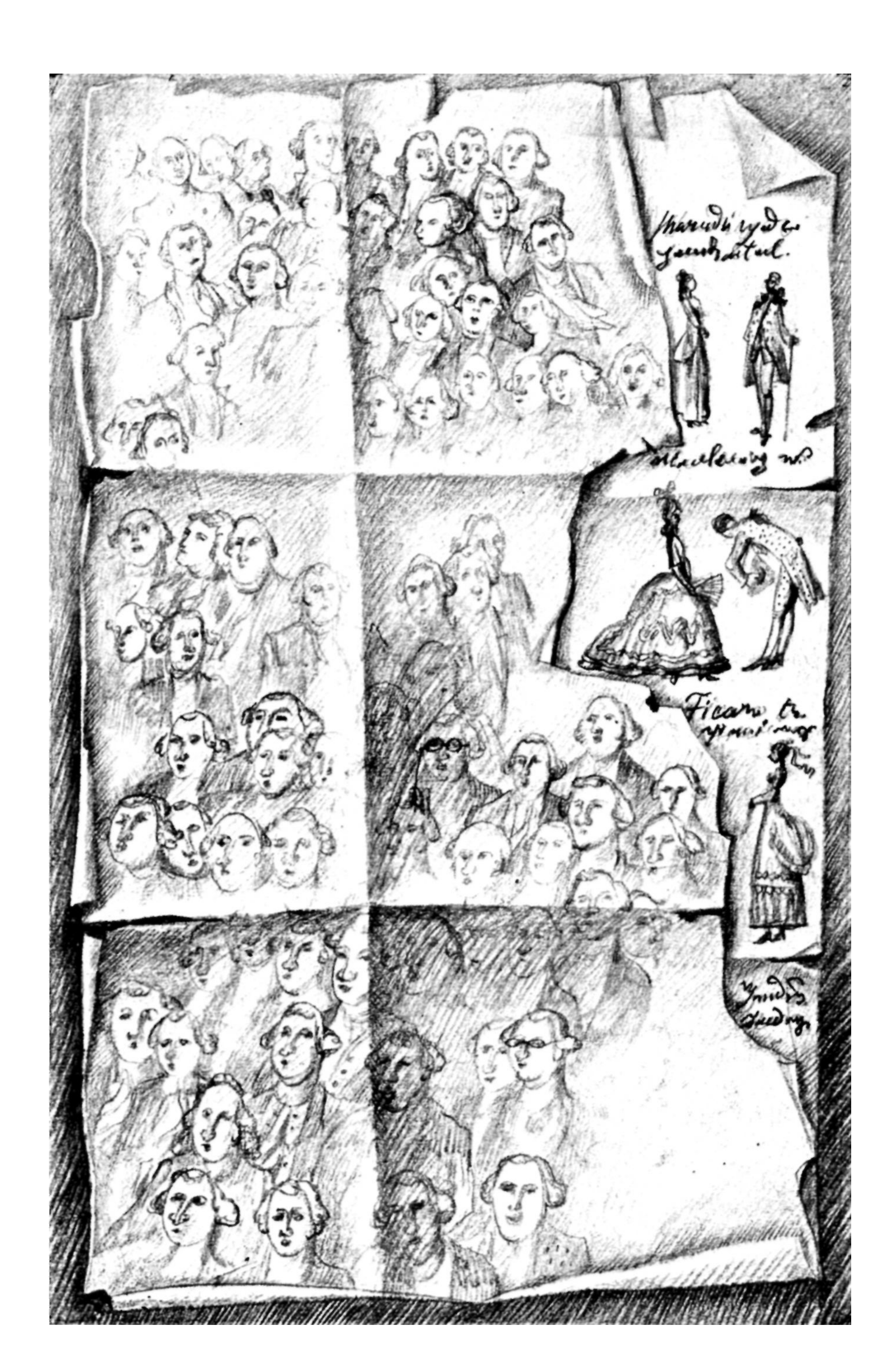
---

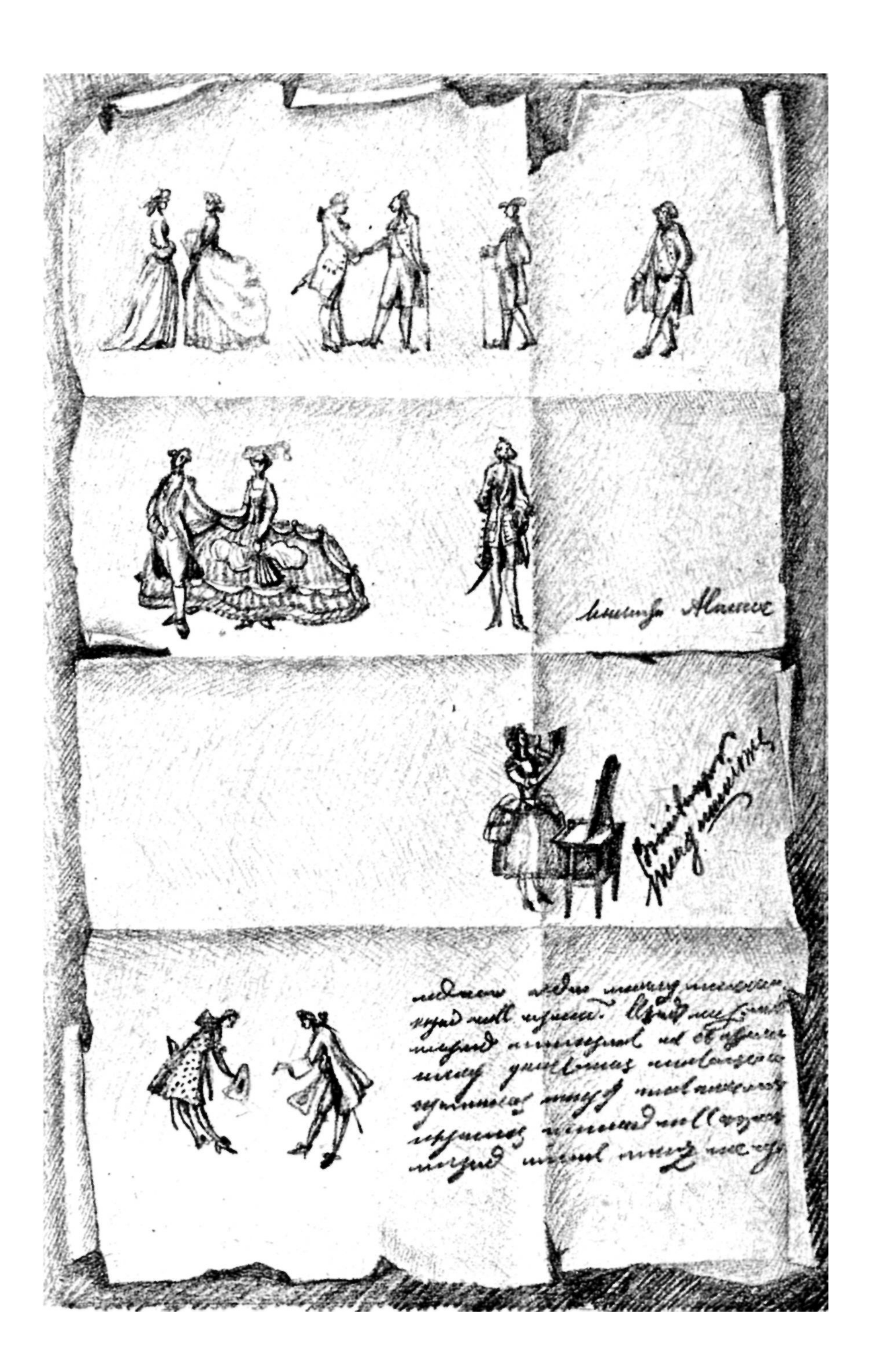
[1] «Бонмарше» по-французски означает «дешевый», «дешевка».

Это был вторник. Поднятие занавеса было назначено на 6 часов вечера. С недавних пор «Комеди Франсэз» разместилась в новом помещении возле Люксембургского сада, — мы все его прекрасно знаем, ведь речь идет о театре Одеон. По сравнению со старым помещением и сцена и зал были значительно усовершенствованы. Традиционные свечи вдоль рампы были заменены кенкетами, и их рефлекторы вызывали восхищение публики. Благодаря этим новым фонарям партер оказывался погруженным в полутьму, зато сцена была освещена ровным ярким светом. Настоящая революция в театральном деле. Другое значительное новшество заключалось в том, что все зрители, в том числе и в партере, имели сидячие места. Но в общем-то публике было плевать на все кенкеты, ибо она пришла бы на этот спектакль куда угодно и стерпела бы любые неудобства. Мы не можем найти точки отсчета, чтобы измерить невероятную степень возбуждения, которым были охвачены люди в дни, предшествующие премьере «Женитьбы». Слава Бомарше в 1784 году достигла апогея. Чтобы реально себе это представить, надо не забывать, что автор «Женитьбы» был на вершине славы одновременно в десяти различных областях. С момента изобретения анкерного спуска для часов до заключения Версальского договора он не переставал изумлять мир. Что же до его комедии, запрещенной вот уже три года и ставшей единственной темой всех разговоров как во Франции, так и за границей, то тайна, скандал, дымы серы, которые клубились вокруг нее, действовали на умы и нервы людей еще до того, как прозвучали три удара в пол. Такое возбуждение в сочетании со славой автора и с той завистью, которую он всегда вызывал, не могли не волновать актеров. «Женитьбу Фигаро» так ждали, так хотели наконец увидеть на сцене, что именно в силу этого она могла разочаровать публику. Нервозность, сутолока, крайнее возбуждение всех присутствующих перед поднятием занавеса лишь усиливали страх друзей Бомарше. С 10 утра, то есть за 8 часов до начала спектакля, четыре или, может быть, пять тысяч человек толпились перед входом в театр, угрожая силой ворваться в помещение. Экипажи выстроились в ряд до берегов Сены, забили соседние улицы и парализовали все движение так, как это и не снится современным шоферам. В полдень под напором толпы железные ворота распахнулись, и мощной охране пришлось отступить. Три господина с билетами в партер были задушены в чудовищной давке, и их невозможно было оттуда извлечь. Трое покойников так и стояли в плотной толпе и, казалось, ждали, как и остальные, начала спектакля. Внутри театра, тайно проникнув за кулисы, ряд привилегированных особ ожидали начала торжества в куда более терпимых условиях. Флери, который помогал Бомарше во время репетиций, рассказывает в своих воспоминаниях:

«А у нас, внутри театра, разыгрывался другой спектакль! Звенели тарелки, стучали вилки, стреляли пробки... Стоял такой адский шум, что можно было оглохнуть; наш храм искусства превратился в кабак! Человек триста обедали в актерских уборных, чтобы не оказаться в толчее к моменту открытия входных дверей; тучная







маркиза де Монморен едва умещалась в прелестной, но тесной уборной певицы Оливье; изящная г-жа де Сенектер во всей этой неразберихе осталась без еды, и пришлось обратиться к Дезэсару, чтобы ей дали хоть как-то „заморить червяка"».

В большом ослепительно-белом зале к половине пятого уже яблоку негде было упасть. Самые знатные господа решили, поскольку все кресла оказались занятыми, усесться прямо на пол в проходах или на ступеньках балкона. Публика была, употребляя входящее в ту пору в моду словечко, наэлектризована. Флери в последний раз сквозь глазок в занавесе оглядел зал, а потом схватил палку и собственноручно трижды ударил ею в пол.

«А зал! Какое там собралось общество! Смогу ли я перечислить всех знатных господ, благородных дам, талантливых артистов, прославленных авторов и сказочных богачей, которые там находились? Что за роскошный цветник в первых ложах! Красавица принцесса де Ламбаль, принцесса де Шиме, беспечная г-жа де Лааскюз... Острая на язык маркиза д'Андло, несравненная г-жа де Шалон... Прелестная г-жа де Бальби, еще более прелестная г-жа де Симиан, г-жа де Лашатр, г-жа де Матиньон, г-жа де Дюдрененк, и все они — в одной ложе! Кругом все сверкало, зрители приветствовали друг друга... Мелькание обнаженных рук, мраморных плеч, лебединых шеек, бриллиантовых диадем, лионских шелков, голубых, розовых, белых — словно радуги трепетали вокруг... Все взволнованно переговаривались и улыбались, сгорая от нетерпения либо восторженно аплодировать, либо гневно поносить. И все эти страсти для Бомарше и из-за Бомарше».

Ну а главный герой этой странной церемонии, во время которой собравшееся дворянство будет наслаждаться сильными ощущениями, трепеща от страха, где же он? В задернутой занавеской ложе, чтобы укрыться от любопытных взглядов? Нет! Или, может быть, вы думаете, что он в кругу прекрасных дам? Заблуждаетесь! В обществе Артуа или Гюдена? Не догадались! С Жюли и хозяйкой своего дома? Ну что вы! Чтобы присутствовать на премьере «Женитьбы», «забившись в темный уголок», г-н де Бомарше пригласил двух священников — аббата де Калонна, брата министра, и аббата Сабатье. За два часа до начала спектакля автор обедал с ними вместе и за десертом Бомарше пообещал своим сотрапезникам, что «шуму будет хоть отбавляй». И добавил: «Я зачал свое дитя в радости, да будет угодно богам, чтобы я его родил без мук, беременность моя была не очень счастливой, и у меня уже начались первые схватки. Мне понадобится что-нибудь укрепляющее, а от вас я жду духовной поддержки при родах».

Но вместо того, чтобы давать ему последнее благословение, аббатам пришлось лишь отпустить грех тщеславия. Никогда еще в «Комеди Франсэз» пьесу не встречали такими воплями восторга. Зал откликался на каждую реплику и то и дело аплодировал во время действия, так что спектакль длился больше пяти часов. Такого триумфа никто не знал: пьесу играли потом подряд 68 раз, чего еще

никогда прежде не случалось. 350 000 ливров сборов, 40 000 из них причитались автору; впервые (историческая дата!) театральная пьеса обогатила писателя. Но самое удивительное — комедия эта, оказавшаяся столь выгодным делом, предвещала и готовила 1789 год. На сей счет, как легко догадаться, и я уже об этом говорил, есть самые различные мнения. Писатели, как правило, ограничивают, если не полностью отрицают, историческое значение «Женитьбы». Однако не таково было мнение трех людей, которые сами создавали историю той эпохи.

Людовик XVI: «Если быть последовательным, то, допустив постановку этой пьесы, нужно разрушить Бастилию».

Дантон: «Фигаро покончил с аристократией».

Наполеон I: «Во время моего правления такого человека упрятали бы в Бисетр. Конечно, кричали бы, что это произвол, но какую услугу мы оказали бы обществу!.. «Женитьба Фигаро» — это уже революция в действии».

Между государственными деятелями и литературной критикой возникло какое-то недоразумение. Чтобы его рассеять, необходимо, как мне кажется, довести наш разбор до конца. Бомарше ни в какой мере не был революционером, но, без всякого сомнения, он приблизил революцию. Он прекрасно отдавал себе отчет и в том, какую «шумиху» поднимает постановка «Женитьбы», и в том, как велика власть некоторых слов, произнесенных с подмостков. Он знал также отрицательное мнение короля о пьесе и сделал все от него зависящее, чтобы его побороть. Это убеждает нас прежде всего в том, что «Женитьба» — сознательный политический акт Бомарше. Он знал, на что идет. Повторим еще раз: Бомарше прежде всего реформатор. Произвол, привилегии, правила, установленные в обществе, возмущают его, но в своем отрицании системы он идет не дальше философов-энциклопедистов. Пожалуй только, в отличие от Вольтера, Монтескье или Руссо, у Бомарше был политический опыт, он, как говорится, попробовал власть на зуб, а значит, мог реально оценить и ее силу и ее слабость. Кроме того, благодаря своей американской истории он убедился, что и благородные идеи могут в конце концов воплотиться в жизнь. Недаром он всегда оказывался в самой гуще событий и первым бросался в бой.

Однако при всех этих оговорках надо еще раз подчеркнуть, что если Бомарше и отвечает в большой мере за 1789 год, год, когда его теории начнут осуществляться, то и речи быть не могло о том, чтобы он сделал хоть шаг дальше. 1792 год и 1793-й его удивили и возмутили. Когда историки и литературные критики начинают изучать Революцию, они берут ее в целом, будто события в ней скованы друг с другом, как звенья одной цепи. Наш картезианский ум пытается обнаружить механизм там, где чаще всего скрывается тайна.

Но, в отличие от Бомарше — государственного деятеля и гражданина, автор «Женитьбы» является бесспорно революционером, отсюда и вся путаница, ибо его комедия выводит на сцену человека, его самого, который *существует* постольку, поскольку он уничтожает установившийся порядок и перестраивает мир. Не будь в пьесе

Фигаро, этого взрывного персонажа, мысли, заключенные в «Женитьбе», не были бы доходчивы. Я убежден, что как только зритель 1784 года понимал, кто такой Фигаро, он уже не мог ошибиться ни в том, что именно олицетворяет Альмавива, ни в злободневности всего произведения.

Принято утверждать, что «Женитьба» имеет своим истоком предисловие к. «Цирюльнику». Разве Бомарше не уверял вас в этом, когда писал:

«Драгоценной для отечества памяти покойный принц де Конти (произнося его имя, мы точно слышим звуки старинного слова «отчизна») публично бросил мне вызов: поставить на сцене мое предисловие к «Цирюльнику», еще более веселое, по его словам, чем сама пьеса, и вывести в нем семью Фигаро, о которой я в этом предисловии упоминал. «Ваша светлость! — отвечал я. — Если я вторично выведу это действующее лицо на сцену, я принужден буду сделать его старше, следовательно, несколько зрелее, значит, опять поднимется шум, и, кто знает, допустят ли его еще на сцену?» Однако из уважения к принцу я принял вызов: я написал «Безумный день», о котором теперь столько разговоров. Принц оказал мне честь выслушать пьесу первым. Это был человек большой, в полном смысле слова принц, человек возвышенного и независимого образа мыслей. И знаете что? Он остался доволен пьесой».

Обычно критика, опираясь на это признание Бомарше, считает, что создание «Женитьбы» было, скорее, чем-то случайным, иначе говоря, что он мог бы и не написать этой комедии. Но думать так значит слишком поспешно читать откровенное признание Бомарше: «[Так как Фигаро]... несколько зрелее, значит, опять поднимется шум, и, кто знает, допустят ли [эту новую пьесу] на сцену». И при этом он обращается к Конти, другу Шуазеля, противнику Мопу! Если Бомарше прежде, чем взяться за перо, опасался, что его пьесу не допустят на сцену, не значит ли это, что он знал заранее, каков будет ее тон? И если Конти бросил Бомарше вызов, то разве из-за того лишь, что ему не терпелось узнать кое-какие секреты Марселины? Конечно, нет! Чтобы найти источник «Женитьбы», надо уйти еще дальше назад, а именно к Карону-сыну, к тому, кто отмечал в 1760 году «дурацкие предубеждения в этой стране». Но в то время молодой человек мог лишь добавить: «Не имея возможности изменить предрассудок, мне придется ему подчиниться». А кто такой Фигаро, как не слуга, отказавшийся вдруг подчиняться. Вот что на самом деле значил вызов принца де Конти: «Решитесь, Бомарше!» И Бомарше решился. Выложившись в «Женитьбе» полностью, написав в ней все, что он хотел сказать, он буквально в одночасье утратил, как мы это увидим, и свое вдохновение, и свой литературный гений; его миссия оказалась выполненной.

Не правда ли, странно?.. О каком произведении мы говорим? Не об одной ли из трех лучших комедий французского театра? И, уж во всяком случае, о самой веселой и едва ли не самой удивительной. Что-то не похоже. Не сбиваемся ли мы с пути, ударяясь в политику и психологию? Нет, я так не думаю.

«Женитьба Фигаро» остается блистательным шедевром, И современные зрители могут воспринимать ее на самых разных уровнях. Но во всех случаях они будут смеяться, и это главное. Однако, рассказывая жизнь человека, который был не только автором веселой пьесы, мы должны идти за ним по пятам, не пропуская ни одного его шага. И еще: разве не удивительно и не знаменательно, что у Бомарше достало таланта вложить в одну комедию в сто раз больше идей, чем Брехту во все свое творчество? Разве комедия не есть способ выражения мыслей, присущий французам? Разве Мольер не говорит людям больше, нежели Корнель и даже Расин, коль скоро речь идет не только о том, чтобы анатомировать страсти? И кого сегодня Наполеон запер бы в Бисетре? Увы, боюсь, что никого.

Я не осмелюсь напоминать вам содержание «Женитьбы», как я это делал, говоря о «Евгении», или как в дальнейшем перескажу сюжет «Тарара». Кто его не знает? Несмотря на то, что в наше время эту пьесу играют сравнительно редко, возможно, из-за ее длины, возможно, потому, что, как отмечает Жан Фабр в своей «Истории литературы», власти делают вид, что презирают «Женитьбу Фигаро», чтобы не быть вынужденными ее запрещать, — она у всех сохранилась в памяти. Впрочем, любопытно, что некоторые выдающиеся творения известны людям, даже если они их не читали и не видели. Не являются ли они уже частью нашего коллективного подсознания? Существуют магические темы, Дон Жуан, например, которые преимущественно вдохновляют музыкантов. Бомарше написал только две комедии, и обе — шедевры. Ни Россини, ни Моцарт на этот счет не ошибались.

Сегодня Фигаро принадлежит и литературе и музыке. Таким он и сохранился в памяти народов. После всего этого мы тем не менее можем, прежде чем вновь открыть в Фигаро Бомарше, перечитать резюме пьесы, которое сделал сам автор:

«Самая что ни на есть забавная интрига. Испанский гранд влюблен в одну девушку и пытается ее соблазнить, между тем соединенные усилия девушки, того человека, за которого она собирается выйти замуж, и жены сеньора расстраивают замыслы этого властелина, которому его положение, состояние и расточительность, казалось, могли бы обеспечить полный успех. Вот и все, больше ничего там нет. Пьеса перед вами».

Вот и все, больше ничего там нет. Пьеса перед вами. Люди, близкие Бомарше, а вы тоже из их числа, поняли знак, который он нам подал. Нам надлежит отличить самую банальную из интриг — вот и все, больше ничего там нет — от пьесы, которая перед нами. Так откроем же глаза.

В своем издании «Женитьбы» Поль Гайар очень хорошо анализирует блестки, так щедро рассыпанные в этой комедии, каждая из которых сверкает на свой манер, и кажется, любой из них было бы достаточно, чтобы обеспечить успех пьесы. Гений Бомарше сделал возможным соединить совершенно разные жанры и — почему же

не воспользоваться словом, которое нам предлагается? — сочетать приемы и стили, которые кажутся несочетаемыми:

«Итак: комедия интриги, не менее ослепительная, чем самые ослепительные комедии Фейдо; вокальные номера, как, например, сцена суда в третьем акте; картина нравов, в которой оживают двадцать пять лет истории; красивая любовная история, временами почти трагическая; исследование пяти характеров и набросок еще нескольких; наконец, оставшаяся живой и в наши дни социальная сатира, равной которой мы никогда больше не видели на нашей сцене».

Однако перечисление это не исчерпывает нашей темы, в нем не хватает главного, а именно образа Фигаро. Или, если угодно, Бомарше. Ведь «Женитьба» тоже, и даже в первую очередь, произведение автобиографическое. В «Женитьбе» Бомарше обнажает себя, определяет свою сущность и раскрывает свои карты. Чтобы это понять, достаточно взять пьесу и прочесть вне контекста реплики Фигаро. Тогда вдруг все становится ясным. Перед нами Бомарше.

Хотите доказательств? Вот несколько знаменательных примеров:

«Фигаро *(один, обращаясь к графу Альмавиве).* Так вот как, ваше сиятельство, драгоценный мой граф! Вам, оказывается... палец в рот не клади! Я-то терялся в догадках, почему это он не успел назначить меня домоправителем, как уже берет с собой в посольство и определяет на место курьера! Стало быть, ваше сиятельство, три назначения сразу: вы — посланник, я — дипломатический мальчишка на побегушках, Сюзон — штатная дама сердца, карманная посланница, и — в добрый час, курьер! Я поскачу в одну сторону, а вы в другую, прямо к моей дражайшей половине! Я, запыленный, изнемогающий от усталости, буду трудиться во славу вашего семейства, а вы тем временем будете способствовать прибавлению моего! Какое трогательное единение! Но только, ваше сиятельство, вы слишком много на себя берете. Заниматься в Лондоне делами, которые вам поручил ваш повелитель, и одновременно делать дело за вашего слугу, представлять при иностранном дворе и короля и меня сразу — это уж чересчур, право чересчур...

. . . .

Сюзанна. Уж по части интриг на него смело можно положиться.

Фигаро. Две, три, четыре интриги зараз, и пусть они сплетаются и переплетаются. Я рожден быть царедворцем.

Сюзанна. Говорят, это такое трудное ремесло! Получать, брать и просить. В этих трех словах заключена вся его тайна.

. . . .

Граф. Прежде ты говорил мне все.

Фигаро. Я и теперь ничего от вас не таю.

Граф. Сколько тебе заплатила графиня за участие в этом прелестном заговоре?

Фигаро. А сколько мне заплатили вы за то, что я вырвал ее из рук доктора? Право, ваше сиятельство, не стоит оскорблять преданного вам человека, а то как бы из него не вышло дурного слуги.

Граф. Почему во всех твоих действиях всегда есть что-то подозрительное?

Фигаро. Потому, что когда хотят во что бы то ни стало найти вину, то подозрительным становится решительно все.

Граф. У тебя прескверная репутация!

Фигаро. А если я лучше своей репутации? Многие ли вельможи могут сказать о себе то же самое?

Граф. Сто раз ты на моих глазах добивался благосостояния и никогда не шел к нему прямо.

Фигаро. Ничего не поделаешь, слишком много соискателей: каждому хочется добежать первому, все теснятся, толкаются, оттирают, опрокидывают друг друга, — кто половчей, тот свое возьмет, остальных передавят. Словом, с меня довольно, я отступаюсь.

Граф. От благосостояния? *(В сторону.)* Это новость.

Фигаро *(в сторону)*. Теперь моя очередь. *(Вслух.)* Вы, ваше сиятельство, изволили произвести меня в правители замка, — это премилая должность. Правда, я не буду курьером, который доставляет животрепещущие новости, но зато, блаженствуя с женой в андалузской глуши...

Граф. Кто тебе мешает взять ее с собой в Лондон?

Фигаро. Пришлось бы так часто с ней расставаться, что от такой супружеской жизни мне бы не поздоровилось.

Граф. С твоим умом и характером ты мог бы продвинуться по службе.

Фигаро. С умом, и вдруг — продвинуться? Шутить изволите, ваше сиятельство. Раболепная посредственность — вот кто всего добивается.

Граф. Тебе надо было бы только заняться под моим руководством политикой.

Фигаро. Да я ее знаю.

Граф. Так же, как английский язык, — основу!

Фигаро. Да, только уж здесь нечем хвастаться. Прикидываться, что не знаешь того, что известно всем, и что тебе известно то, чего никто не знает; прикидываться, что слышишь то, что никому не понятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем; главное, прикидываться, что ты можешь превзойти самого себя, часто делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет; запираться у себя в кабинете только для того, чтобы очинить перья, и казаться глубокомысленным, когда в голове у тебя, что называется, ветер гуляет; худо ли, хорошо ли разыгрывать персону, плодить наушников и прикармливать изменников, растапливать сургучные печати, перехватывать письма и стараться важностью цели оправдать убожество средств. Вот вам и вся политика, не сойти мне с этого места.

Граф. Э, да это интрига, а не политика!

Фигаро. Политика, интрига, — называйте как хотите. На мой взгляд, они друг дружке несколько сродни, а потому пусть их величают, как кому нравится. «А мне милей моя красотка», как поется в песенке о добром короле.

. . . .

Бартоло *(указывая на Марселину).* Вот твоя мать.

Фигаро. То есть кормилица?

Бартоло. Твоя родная мать.

Граф. Его мать?

Фигаро. Говорите толком.

Марселина *(указывая на Бартоло).* Вот твой отец.

Фигаро *(в отчаянии).* О, о, о! Что же я за несчастный!

Марселина. Неужели сама природа не подсказывала тебе этого тысячу раз?

Фигаро. Никогда!

. . . .

Граф *(с усмешкой).* Суд не считается ни с чем, кроме закона.

Фигаро. Снисходительного к сильным, неумолимого к слабым.

. . . .

Фигаро. В самом деле, как это глупо! Существование мира измеряется уже тысячелетиями, и чтобы я стал отравлять себе какие-нибудь жалкие тридцать лет, которые мне случайно удалось выловить в океане времени и которых назад не вернуть, чтобы я стал отравлять их себе попытками доискаться, кому я ими обязан! Нет уж, пусть такие вопросы волнуют кого-нибудь другого. Убивать жизнь на подобную чепуху — это все равно что сунуть голову в хомут и превратиться в одну из тех несчастных лошадей, которые тянут лямку по реке против течения и не отдыхают, даже когда останавливаются, тянут ее все время, даже стоя на месте».

Так, в течение четырех первых актов «Женитьбы», участвуя самым прямым образом в действии, Фигаро время от времени позволяет себе отступления. Он обращается к своим партнерам, а Бомарше — к своим: граф на сцене, Людовик XVI, или то, что он представляет, — в жизни. Но эти острые реплики, которые до дрожи пронзали всех Альмавив, присутствовавших на премьере, доставляя им странную радость, были всего лишь бандерильями по сравнению с последующим большим монологом. В самом деле, вдруг в пятом действии Фигаро, стоя один в темноте, произнесет самую невероятную тираду, которая когда-либо звучала во французском театре. С точки зрения драматургии это было весьма рискованным шагом. Впервые в комедии персонаж говорит в течение нескольких минут! И что за персонаж? Слуга! И о чем он говорит? О том, как развивается его интрига? Нет. Он говорит об обществе, о мире, о самом себе. О Кароне-сыне, ставшем Бомарше. Уколами первых актов лишь длительно готовилось неожиданное нападение финала. Но кто из сидящих в зале мог вообразить такую дерзость? Такой грубый перелом? «Решайтесь», — сказал ему перед смертью принц де Конти. Из жестоко-сладостного удовольствия первых актов вдруг возник удар грома в пятом. Монолог, нелепый с точки зрения драматургического построения, промах композиции, который приличный писатель не свершил бы никогда, короче, это та дурацкая ошибка, которая и делает шедевр. Ни один биограф никогда не сможет столько сказать о Бомарше, сколько сказал Фигаро, «один расхаживая впотьмах». И я, построивший всю мою книгу на этом боже-

ственном третьем явлении пятого акта, был бы безумцем, если бы не привел его целиком.

«Явление третье

Фигаро один, в самом мрачном расположении духа, расхаживает впотьмах.

Фигаро. О, женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое и коварное! Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту, неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать?.. Отказаться наотрез, когда я сам ее об этом молил в присутствии графини, а затем во время церемонии, давая обет верности... Он посмеивался, когда читал, злодей, а я-то, как дурачок... Нет, ваше сиятельство, вы ее не получите... вы ее не получите. Думаете, что если вы — сильный мира сего, так уж, значит, и разумом тоже сильны?.. Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности — от всего этого немудрено возгордиться! А много ли вы приложили усилий для того, чтобы достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд родиться, только и всего. Вообще же говоря, вы человек довольно-таки заурядный. Это не то, что я, черт побери! Я находился в толпе людей темного происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы еще хотите со мной тягаться... Кто-то идет... Это она... Нет, мне послышалось. Темно, хоть глаз выколи, а я вот тут исполняй дурацкую обязанность мужа, хоть я и муж-то всего только наполовину! *(Садится на скамью.)* Какая у меня, однако, необыкновенная судьба! Неизвестно чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем, и всюду меня оттесняли! Я изучил химию, фармацевтику, хирургию, и, несмотря на покровительство вельможи, мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным: очертя голову устремился к театру. Лучше бы уж я повесил себе камень на шею. Я состряпал комедию из гаремной жизни. Я полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета.

В ту же секунду некий посланник... черт его знает чей... приносит жалобу, что я в своих стихах оскорбляю блистательную Порту, Персию, часть Индии, весь Египет, а также королевства: Барку, Триполи, Тунис, Алжир и Марокко. И вот мою комедию сожгли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать, и которые, избивая нас до полусмерти, обыкновенно приговаривают: «Вот вам, христианские собаки!» Ум невозможно унизить, так ему отмщают тем, что гонят его. Я пал духом, развязка была близка: мне так и чудилась гнусная рожа судебного пристава с неизменным пером за ухом. Трепеща, я собираю всю свою решимость. Тут начались споры о происхождении богатств, а так как для того, чтобы рассуждать о предмете, вовсе не обязательно быть

его обладателем, то я, без гроша в кармане, стал писать о ценности денег и о том, какой доход они приносят. Вскоре после этого, сидя в повозке, я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, а затем, у входа в этот замок, меня оставили надежда и свобода. *(Встает.)* Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры, — очутился тогда, когда грозная опала поубавит в нем спеси! Я бы ему сказал... что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, что где нет свободы критики, там никакая похвала не может быть приятна и что только мелкие людишки боятся мелких статеек. *(Снова садится.)* Когда им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны, а так как есть хочется не только в тюрьме, но и на воле, я опять заострил перо и давай расспрашивать всех и каждого, что в настоящую минуту волнует умы. Мне ответили, что, пока я пребывал на казенных хлебах, в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в моих статьях власти, религии, политики, нравственности, должностных лиц, благонадежных корпораций, Оперного театра, равно как и других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо отношение, — обо всех же остальном я могу писать совершенно свободно под надзором двух-трех цензоров. Охваченный жаждой вкусить плоды столь отрадной свободы, я печатаю объявление о новом повременном издании и для пущей оригинальности придумываю ему такое название: Бесполезная газета. Что тут поднялось! На меня ополчился легион газетных щелкоперов, меня закрывают, и вот я опять без всякого дела. Я был на краю отчаяния, мне сосватали было одно местечко, но, к несчастью, я вполне к нему подходил. Требовался счетчик, и посему на это место взяли танцора. Оставалось идти воровать. Я пошел в банкометы. И вот тут-то, изволите ли видеть, со мной начинают носиться, и так называемые порядочные люди гостеприимно открывают передо мной двери своих домов, удерживая, однако ж, в свою пользу три четверги барышей. Я мог бы отлично опериться, я уже начал понимать, что для того, чтобы нажить состояние, не нужно проходить курс наук, а нужно развить в себе ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, то пришлось погибать вторично. На сей раз я вознамерился покинуть здешний мир, и двадцать футов воды уже готовы были отделить меня от него, когда некий добрый дух призвал меня к первоначальной моей деятельности. Я снова взял в руки бритвенный прибор и английский ремень и, предоставив дым тщеславия глупцам, которые только им и дышат, стыд бросив посреди дороги, как слишком большую обузу для пешехода, заделался бродячим цирюльником и зажил беспечною жизнью. В один прекрасный день в Севилью прибыл некий вельможа, он меня узнал, я его женил, и вот теперь, в благодарность за то, что я ему добыл жену, он вздумал перехватить мою! Завязывается интрига, подымается буря. Я на волосок от гибели, едва не женюсь

на собственной матери, но в это самое время один за другим передо мной появляются мои родители. *(Встает; в сильном возбуждении.)* Заспорили: это вы, это он, это я, это ты. Нет, это не мы. Ну так кто же наконец? *(Снова садится.)* Вот необычайное стечение обстоятельств! Как все это произошло? Почему случилось именно это, а не что-нибудь другое? Кто обрушил все эти события на мою голову? Я вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, и с которой я сойду, сам того не желая, и я усыпал ее цветами настолько, насколько мне это позволяла моя веселость. Я говорю: моя веселость, а между тем в точности мне неизвестно, больше ли она моя, чем все остальное, и что такое, наконец, «я», которому уделяется мною так много внимания: смесь не поддающихся определению частиц, жалкий несмышленыш, шаловливый зверек, молодой человек, жаждущий удовольствий, созданный для наслаждения, ради куска, хлеба не брезгающий никаким ремеслом, сегодня господин, завтра слуга — в зависимости от прихоти судьбы, тщеславный из самолюбия, трудолюбивый по необходимости, но и ленивый... до самозабвения! В минуту опасности — оратор, когда хочется отдохнуть — поэт, при случае — музыкант, порой — безумно влюбленный. Я все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся, и, совершенно разуверившись... Разуверившись!... Сюзон, Сюзон, Сюзон, как я из-за тебя страдаю! Я слышу шаги... Сюда идут. Сейчас все решится. *(Отходит к первой правой кулисе.)»*

Уточним, чтобы не ошибиться: Фигаро ушел не один. Бомарше скрылся вместе с ним за кулисами. Осуществив свой замысел, он покидает политическую и литературную сцену. Конечно, мы увидим, как он с этого момента до самой своей смерти будет осуществлять столько затей, что они могли бы заполнить жизнь десятерых. Но отныне ему будет не хватать чего-то, что трудно определить словами, но что превращает свинец в золото. Высказав свою мысль, пророк превращается в обыкновенного прохожего, а поэт — лишь в собственную тень.

В пятьдесят два года Бомарше наконец кинул кости. Еще с той поры, когда он жил в предместье Сен-Дени, он вступал в бой со все более и более могущественными противниками и в конце концов всегда оказывался победителем благодаря таланту и терпению. Но эта победа, победа его зрелости, была плодом только и исключительно его мужества. На спектакль в «Комедии Франсэз» он поставил все, ничего не припрятав про запас. До того времени Бомарше отдавался не в полной мере каждому из своих жестоких боев. На шахматной доске у него всегда оставалось несколько важных фигур. Но чтобы объявить шах и мат королю, ему пришлось играть самим собой, не жульничая, не пряча в рукаве коней и слонов, принцев и министров. В день гражданской казни у него еще оставалось кое-что в запасе, история это подтвердила. Тогда короли еще могли быть его союзниками, и он этим умело пользовался. После того как упал занавес на премьере «Женитьбы Фигаро», Бомарше

вновь оказался один. Истинный триумф всегда начало падения. С 1784 года его судьба изменяет свой ход.

Понимал ли он это? Не знаю. Я даже готов согласиться с Ван Тигемом, который считает Бомарше в известном смысле наивным человеком. И вместе с тем я склонен в это не верить. Конечно, он будет до самого конца своих дней с бросающейся в глаза неловкостью устраивать провокацию за провокацией, начиная с той, которую я назову «провокацией дворцом», подобно тому, что проделал Фуке на сто лет раньше. Но разве желание бросать вызов судьбе не присуще всем великим людям? Головокружение от власти всегда приводит к поражению, головокружение от могущества — к крушению. Когда человек переступает некий порог, последним этапом на пути оказывается смерть. И тогда уже, как говорится, каждому свое.

Сто триумфальных спектаклей, которые были сыграны вопреки системе, вызвали у его почтенных коллег самое страшное ожесточение. Союз завидующей литературной братии и униженной власти был неизбежен. При режимах, которые часто, не разобравшись, именуют сильными, критика ненадолго остается чисто литературным явлением, она неизбежно оборачивается полицейским доносом. Увы, существует всего лишь два типа писателей: те, которых заключают в тюрьму, и те, которые их туда отправляют. В очень организованных обществах тюрем, как правило, не хватает, их расширяют и превращают в концентрационные лагеря, в либеральных же обществах достаточно цензуры или попросту замалчивания, чтобы изолировать наиболее опасные умы. Я снова ломлюсь в открытую дверь, но на этот раз с удовольствием. Итак, Бомарше, находясь и явном конфликте с монархией, небывалым успехом «Женитьбы Фигаро» протрубил сбор всем своим врагам по перу, начиная с самого презренного среди них, г-на Сюара, штатного цензора, доносчика от литературы, который продал душу за академическое бессмертие. Короче, поскольку Сюар писал памфлет за памфлетом и бесконечные мемуары и анализы, разоблачающие «Женитьбу», все это с уловками старого кота — я злобно царапаю Бомарше, но начинаю умиленно мурлыкать, как только появляется король, — автор Фигаро имел слабость в конце концов ответить ему на свой лад, то есть весьма остро:

«Неужели Вы думаете, что, после того как я одолел львов и тигров, чтобы добиться постановки комедии, после моего успеха, Нам удастся принудить меня, словно какую-то голландскую служанку, хлопушкой бить по утрам гнусных ночных насекомых?»

Если публика, читая эти строки, тотчас же сообразила, кого Бомарше обозвал «гнусным ночным насекомым», то и в Версале, конечно, сообразили, кого он подразумевал под «львами и тиграми». Миромениль и граф де Прованс обиделись за «тигров», а Людовику XVI ничего не оставалось, как узнать себя во «львах», что он неукоснительно; и сделал.

Однажды, когда Бомарше ужинал у своих друзей, в дверь раздался звонок. Его хотел видеть некий комиссар Шеню. Бомарше,

который знал этого чиновника полиции, встал из-за стола и вышел к нему в прихожую. Никто из его друзей не обратил внимания на этот инцидент. Все привыкли, что в любой час дня и ночи кому-то вдруг надо немедленно увидеться с Бомарше. Гюден — он тоже был на этом ужине — рассказывает: «Бомарше расцеловал всех нас и сказал, что вынужден немедленно уйти и, быть может, не придет ночевать; он попросил о нем не беспокоиться и заверил нас, что завтра сам даст о себе знать».

Так оно и случилось...

На следующий день весь Париж в полном недоумении узнал, что г-н де Бомарше арестован и отправлен в тюрьму Сен-Лазар, куда обычно сажали проституток и прелюбодеев, пойманных на месте преступления. В этой тюрьме, находившейся под попечительством монашеской братии Сен-Венсан де Поль, отбывали наказание парижские, в большинстве своем несовершеннолетние, бродяги и воры. Пять или шесть прокаженных, с которыми обращались как со скотом, содействовали дурной репутации этого исправительного дома. Желая отомстить, лев повел себя как крыса. Обычно Людовик XVI, равно как и его предшественники, чтобы продемонстрировать свое всесилие, отправляли без суда и следствия тех, кого хотели примерно наказать, в тюрьму Венсенн или в Бастилию. Это были благородные места заточения. Засадить же Бомарше в Сен-Лазар значило дважды наказать и унизить его. В этом зловещем месте всех вновь прибывших милосердные монахи де Сен-Венсан встречали кнутом. Представьте себе счастье Сюара и иже с ним в то утро: Фигаро бьют кнутом!

Было ли это на самом деле? Скорее всего, нет. Палачи в монашеских рясах все же, наверное, не решились подвергнуть обычной экзекуции такого известного человека, арест которого мог оказаться и недоразумением. Но, увы, ошибки не было. Наведя справки, Гюден и его друзья получили подтверждение, что Людовик XVI собственноручно подписал ордер на арест г-на де Бомарше. В тот момент, когда короля охватило это не очень-то львиное чувство мести, он играл в карты и выразил свое торжество над Бомарше тем, что начертал приказ об аресте на семерке пик.

Когда Бомарше узнал причину своего ареста, он чрезвычайно разъярился. Ведь у него и в мыслях не было отождествлять своего жалкого монарха с царем зверей.

«Сравнивая те огромные трудности, — писал он, — которые мне пришлось одолеть, чтобы добиться постановки моей слабой комедии, с теми многочисленными нападками, которые после победы спектакля не могут не казаться ничтожными, я просто обозначил две крайние точки на шкале сравнений. Я с тем же успехом мог бы сказать: «После того как я в сражении победил гигантов, подыму ли я руку на пигмеев?» или употребить любое другое образное выражение. Но даже если упорствовать во мнении, будто во Франции может найтись человек настолько безумный, что осмелится оскорбить короля в письме не только подвластном цензуре, но и опубликованном в газете, то я должен задать вопрос: неужели я до сих пор давал хоть

какой-нибудь повод считать меня сумасшедшим, чтобы решиться безо всяких к тому оснований выдвинуть против меня столь чудовищное обвинение?»

И Людовик XVI и Бомарше чувствовали себя в сфере интриг как рыбы в воде. Было совершенно ясно, что король не отправил бы Бомарше в тюрьму Сен-Лазар только за то, что тот назвал его львом. Что же до автора «Женитьбы», то, написав все пять актов своей комедии, он множество раз «давал повод считать себя сумасшедшим». Но поскольку король избрал для мщения самый неудачный из всех поводов, Бомарше подхватил игру, чтобы вынудить короля отступить.

Когда принц де Нассау-Зиген узнал, что его друг впал в немилость, он свершил свой самый великий подвиг. Принц раздобыл 100 000 франков и отнес их на улицу Вьей дю Тампль брату Гюдена. «Возьмите на всякий случай, — сказал он кассиру Гордого Родриго, — может быть, возникнут какие-нибудь трудности». Гюден-младший наотрез отказался взять такую сумму денег, тогда принц засунул их ему за пазуху и убежал. Другой бы на его месте ограничился тем, что отнес арестанту несколько апельсинов, а замечательный Нассау-Зиген отдал ему то единственное, в чем всегда испытывал острый недостаток, — деньги. Наутро принцу все же вернули эти деньги. Тогда он, забыв о своей застенчивости, в гневе кинулся к королю и всерьез разбушевался в Версальском дворце. Людовик XVI был смущен таким наскоком и успокоил укротителя хищников. Лев снова стал агнцем. Он обещал принцу незамедлительно выпустить на свободу знаменитого узника.

Но дать такое обещание значило совсем забыть, какой у Бомарше характер. Уверенный в своей силе и в своем праве, Бомарше отказался принять августейшую милость и заявил, что останется в тюрьме Сен-Лазар со всем заточенным там сбродом. Короче говоря, он требовал настоящей сатисфакции. Слабый Людовик XVI тут же пошел в Каноссу. Другими словами, он послал Калонна вести переговоры с грозным Бомарше. Договорились, что весь кабинет министров в полном составе отправится в «Комеди Франсэз» на очередное представление «Женитьбы Фигаро», чтобы торжественно продемонстрировать, с каким уважением король относится к его автору. Кроме того, было решено, что наследные принцы сыграют в маленьком театре Трианона в честь Бомарше и в его присутствии «Севильского цирюльника»! Ублаженный всем этим, Фигаро милостиво согласился расстаться со своей камерой и с товарищами по несчастью. На следующий день в «Комеди Франсэз» он из своей ложи с достоинством раскланивался, отвечая на единодушное признание правительства и на овации публики. Месяц спустя, сидя рядом с королем, он смотрел на сцену, где играли его «Севильского цирюльника», и испытывал при этом немалую радость. Пьесу какого другого автора когда-либо играли столь знатные актеры? Мария-Антуанетта исполняла роль Розины, а Артуа, будущий Карл X, — Фигаро...

Чтобы торжество оказалось полным, Бомарше оставалось только снова вступить в брак. «Сюзон» ждала больше десяти лет, пока Фи-

гаро закончит наконец все свои проделки. Маленькая Евгения достигла уже того возраста, когда дети начинают задавать вопросы взрослым. Например, почему ее отца зовут г-н де Бомарше, а ее мать — г-жа де Виллер? Или даже г-жа Виллермавлаз? Что до главы семейства, который на доходы, полученные по новому авторскому праву, основал благотворительное заведение в пользу столичных незамужних матерей, не должен ли он лично показать всем пример, поведя под венец мать своего ребенка? Я пишу эти строки, не веря ни единому слову. Если говорить правду, то я сам не знаю, почему он вдруг решился на этот шаг после столь долгого ожидания. Не знаю даже, сам ли он принял решение узаконить их союз. Несмотря на свои похождения, а может быть, именно из-за них Бомарше, как мы знаем, не испытывал отвращения к браку. Два раза случилось, третьего не миновать, не правда ли? Жюли, о которой мы не говорим столько, сколько она заслужила, но присутствие которой, хоть и невидимое, было всегда ощутимо, сыграла, возможно, определенную роль в этой длинной интриге и ее развязке. Разве она не была единственной женщиной, которая носила фамилию Бомарше? С Марией-Терезой ей бы пришлось его делить... Все в жизни всегда не просто. К тому же разве мы знаем отношение к этому браку главного заинтересованного лица? Жюли писала о Марии-Терезе, что «ей очень трудно было решиться что-либо выбрать, поскольку, оставаясь незамужней, она сохраняла свободу, а вступив в брак, — соглашалась на вынужденные узы». И Жюли добавляла к этому весьма странный и двусмысленный комментарий: «Благодаря несчастливой встрече с ним она впервые увидела мир с дурной стороны, а гордость души мешала пересмотреть ранее высказанные ею решения... А может быть, она была не в силах их пересмотреть, и меч вонзился в старую рану...»

О, женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое и коварное... Сюзон, Сюзон, Сюзон, как я из-за тебя страдаю! Но не будем рваться в дверь, которая ведет за кулисы. Прежде чем уйти навсегда, Бомарше запер ее на два оборота ключа.

16

НЕБО И ЗЕМЛЯ

> Какое новое несчастье мне грозит?
> О Брахма! Вызволи меня из тьмы кромешной!

«Когда размышляешь о нашем веке, самом безнравственном из всех, ставящем все под сомнение, а в философском плане просто бесшабашном, сталкиваешься с очень странным, но неоспоримым явлением, а именно с тем, что в последние свои годы он обращается если не к вере, то к суеверию, поражает легковерием и тягой ко всему таинственному». Это наблюдение, которое вполне приложимо и к на-

шему времени, сделала в 1784 году баронесса Оберкирх в своих «Мемуарах». А что же для землянина таинственнее неба? Как известно, существует много способов смотреть на него и даже в него подыматься. В 1784 году, как и сегодня, бог умер, или, вернее, исчез. Что до неба, оно оказалось пустым. Но человек, как, впрочем, и вся природа, не терпит пустоты, поэтому он стал его заселять. Своими мечтами, своими фантазиями, а также и аэронавтами. В те годы на смену философии пришел оккультизм в самых что ни на есть нелепых формах. По всей Европе общественным мнением заправляли доктора магических наук. Калиостро, Месмер, Блатон, Сен-Мартин безраздельно властвовали тогда над умами своих современников, подобно тому как в наши дни на сознание людей влияют астрологи и ясновидцы. Одновременно с этим человек — «муха, у которой оторвали крылышки», — решил покинуть землю и улететь. Между 1780 и 1790-ми годами маркиз де Баквиль, Шарль и Робер, Бланшар, Пилатр де Розье и Скотт завоевали небо. Легендарная затея, резонанс которой нельзя и вообразить. В те годы «поднятие твердого тела в легком флюиде воздуха» было открытием номер один. Все разом заговорили о воздухоплавании. А когда Бланшар перелетел через Ла-Манш, дерзкие умы стали настойчиво думать о постоянном воздушном сообщении между Европой и Америкой при помощи «флота воздушных шаров». Сторонники же аппаратов «более тяжелых, чем воздух», вслед за Поктоном, который изобрел пропеллер и геликоптер, тоже продолжали свои исследования и опыты. Бьенвеню и Лонуа в 1784 году, году в самом деле знаменательном, представили Академии наук некий аппарат, который «ввинчивался в воздух», то есть вертикально поднимался в небо исключительно благодаря вращению своих пропеллеров. Но общественное мнение отдавало в то время предпочтение пилотам аппаратов «более легких, чем воздух», опыты которых были на редкость увлекательным зрелищем. Любопытно то, что горячий энтузиазм, с которым были встречены все эти эксперименты, в большинстве своем удачные, вскоре остыл. В одни эпохи Икара считают богом, а в другие его принимают за сумасшедшего.

В отличие от баронессы Оберкирх Бомарше неодобрительно относился к тому, что его современники поддались искушению «сверхъестественным»: «Суеверие, — писал он тогда, — самое страшное бедствие рода человеческого. Оно оглушает простодушных, преследует мудрых, сковывает народы и сеет повсюду страшные беды».

Но если Бомарше испытывал лишь презрение к торговцам снами и издевался над чудодеями и магнетизерами, он со страстью увлекся «аэроманами» и стал их самым верным союзником. В отличие от своих современников, которые пережили лишь кратковременное увлечение воздухоплаванием, о чем свидетельствуют драгоценности, мебель, тарелки и ткани, созданные в годы «мании летания», Бомарше понял, что освоение человеком неба станет решительным поворотом в истории нашей планеты. С 1783 года он участвует в первых аэростатических опытах, щедро финансируя всех, кто летает на воздушных шарах и других снарядах, всевозможных людей-птиц, и даже учреждает с этой целью исследовательское бюро, чтобы «знаменитые механики»

начали строить летательные аппараты. Пятнадцать лет спустя, в канун своей смерти, когда первые воздушные навигаторы были уже либо преданы забвению, либо считались в Европе и Америке безумцами и только, Бомарше все еще воевал за «это открытие, способное изменить лицо мира». Наряду с борьбой за независимость Соединенных Штатов подъем в воздух тяжелых тел и особенно полет человека стали главным делом его жизни. Однако преклонный возраст, житейские обстоятельства и неожиданные повороты судьбы помешали ему довести это дело до конца. После премьеры «Женитьбы», когда Бомарше высказал со сцены все, что думал, и тем самым выполнил свою основную миссию, он стал уже не тем, каким был прежде. Какая-то пружина в нем ослабла. Он достиг своей цели, но еще сам этого не знал. Во всех последующих его начинаниях, в его новых битвах ему, как и прежде, не изменяли ни ум, ни стойкость духа, но, увы, уже не хватало того чудодейственного жизненного импульса, того великолепного яростного упрямства, которое вплоть до постановки «Женитьбы» всегда обеспечивало ему победу над противниками и помогало преодолеть все и всяческие препятствия. Написав главный монолог Фигаро, Бомарше родился наконец на свет божий, и теперь ему оставалось лишь одно — уйти. Таков был смысл фразы: «Я все видел, всем занимался, все испытал». Это его признание. Но когда ослабевает пружина, часы еще не останавливаются. Они все-таки продолжают идти.

Готовя свое издание Вольтера, Бомарше познакомился с двумя торговцами бумагой, Этьеном и Жозефом де Монгольфье. Небо стало как бы общим знаменателем этих трех людей. От Кандида они немедленно перешли к Икару. Бомарше уже несколько лет как принимал живейшее участие в работах инженера Скотта, чей интерес к воздухоплаванию он в полной мере разделял. Когда Бомарше узнал секрет братьев Монгольфье, а они узнали его секрет, их дружба и сотрудничество стали неизбежными. Восхитимся попутно находками судьбы. Люди, которые в середине 80-х годов играли главные роли в зарождении воздухоплавания, в конце концов все же встретились друг с другом и, взявшись за руки, объединили свои усилия. Поистине надо кричать на всех углах: случайностей не бывает! В самом деле, кто был среди тех, кого мы теперь назвали бы «лицами нелетного состава», но кто тем не менее дал жизнь аэронавтике? Так кто же был в той троице, которая благодаря своему энтузиазму, своей вере и сбережениям отправила в полет первых пилотов? Гюден, Верженн и Бомарше! Встреча эта была тем более удивительной, что она не была никем спровоцирована. Трое друзей в один прекрасный день совершенно случайно узнали, что втайне питают одну и ту же страсть. С той минуты они больше уже не таились друг от друга и вместе мчались на тайные взлетные площадки, где люди-птицы готовились к своим страшным экспедициям. «Мы присутствовали, — писал Гюден, — на прекрасных опытах, которые происходили в предместье Сент-Антуан, на Марсовом поле, в Версале, Ламюэтт, в в Тюильри, и, быть может, они вызывали у нас больше восхищения и доставляли нам больше радости, чем всем другим». Когда надо

было жечь костер под монгольфьером, министр иностранных дел Людовика XVI не уступил бы своего права сделать это даже за королевство. Как и Бомарше, он и интуицией и умом понял, что небо — это еще одна Америка, где Франция должна громко заявить о себе. Вскоре, как я уже сказал, Версаль, а за ним и весь Париж заинтересовались воздушными шарами, и аэронавты уже взлетали в воздух только в присутствии многочисленных зрителей. За несколько месяцев тайное действо Икара превратилось в праздничное зрелище. Прослышав о полетах, шведский король и другие члены августейших семей отправились в Париж и Лион, чтобы присутствовать на этих удивительных спектаклях. Между успехом и смертью проложено немало тропинок. 13 июня 1784 года Пилатр де Розье, легендарный герой и архангел, как его величали, погиб в полете над Ла-Маншем: его аэростат внезапно загорелся. Превратившись в аттракцион, аэронавтика оказалась приговоренной. Постепенно полеты летающих аппаратов перестали приносить доход, и небу пришлось объявить себя банкротом. Однако Гюден и Бомарше — Верженн к этому времени уже умер — продолжали свою битву одни, или почти одни. Божественное упорство! Гюден оставил дистих, написанный в его особой манере:

Этьену и Жозефу Монгольфье,
Воздушным плаваньям дорогу проложившим.

Что до Бомарше, то он благодаря своему гению и дару мечтателя в полете фантазии представил себе воздушные транспорты для путешественников и для перевозки товаров и пришел к такому простому умозаключению, что авиации суждено изменить ход войн, а тем самым и истории нации.

Чтобы целенаправленно передвигаться из одной точки в другую, аэростаты должны были стать управляемыми. А монгольфьеры, не имея управления, всецело зависели от капризов ветра. «Воздушные шары, одни только воздушные шары, а можно ли управлять сферическими телами?» — спрашивал себя Бомарше. Сто лет спустя Гамбетта, который трижды едва не приземлился за немецкой линией окопов, в свою очередь, понял, что сферическими телами управлять нельзя. С первого дня Бомарше искал выход из этого положения. Конечно, были сторонники летательных аппаратов тяжелее воздуха, но в 1780 году моторы еще не обладали достаточной мощностью, чтобы подымать в воздух тяжелую конструкцию. Тогда, возвращаясь к своей изначальной идее, что сферическим телом нельзя управлять, Бомарше с помощью инженера Скотта предпринял попытку изменить форму летательных снарядов. Их можно было, например, удлинить, придать им вид рыбы или цеппелина, не правда ли? Скотт, который располагал лишь жалованьем драгунского офицера, черпал средства для своих экспериментов из капиталов Бомарше. К несчастью, они просто таяли на глазах, уменьшались, как шагреневая кожа. Однако инженер и часовщик все же изыскивали возможность продолжать работы, их вера в будущее воздухоплавания служила им компасом во всех трудных обстоятельствах. В конце 1780 года

Скотт нашел решение: «карманы» для подъема аэростата и для управления им. Изучив это предложение, Бомарше попросил своего соратника сделать эти «карманы» более эластичными: «Я [хотел бы] чтобы более четко стоял вопрос о способах заполнения этих карманов и их произвольного сжатия». Он связал Скотта с братьями Дюран, механиками, «открывшими секрет изготовления эластичной резины, состав которой, по их словам, должен был обеспечить ее полную непромокаемость». В то же время Бомарше, разорившись, попытался было — правда, безуспешно — заинтересовать Нефшато, министра внутренних дел Директории, работами по созданию нового аэрокорабля. И поскольку политика снова брала верх, он добавлял: «Гражданин, не позволим узурпаторам-англичанам нас вечно обгонять, осуществляя идеи, которые рождаются в наших головах! Мы сами должны их использовать». Увы! Пионер воздухоплавания, изобретатель воздушных перевозок умер несколько месяцев спустя, оставив Скотта без всяких средств. Командира не стало, и «аэромобиль» уже не мог взлететь. И тем самым авиация потеряла в своем развитии целый век!

Начало и конец этой главы побудили меня озаглавить ее «Небо и земля». Но я мог бы с тем же успехом назвать ее «Четыре стихии», поскольку кроме воздуха и земли вода и огонь тоже сыграют в ней свою роль.

Вода и огонь были делом братьев Перье, как воздух и бумага были делом братьев Монгольфье. Инженеры или, вернее, механики, как тогда говорили, братья Перье поклялись обеспечить парижан проточной водой. Для этого они разработали свою систему водопровода, подобного тому, который уже несколько лет существовал в Лондоне (во всем, что касается комфорта, за англичанами не угнаться), сильно усовершенствовав его и в техническом отношении и в смысле эффективности. Короче говоря, предполагалось перекачивать воду с помощью пожарных насосов, устанавливаемых, и в этом вся соль изобретения, на высоких точках, а Париж, как известно, недостатком холмов не страдает. Однако во времена братьев Перье там было куда меньше финансистов, способных на авантюру, чем в Лондоне. Французские богатеи и тогда уже не отличались прозорливостью. Подумаешь, вода! Да кому она нужна? Братья Перье хотели было обратиться за помощью к принцу Орлеанскому, восхищавшемуся их изобретением, но вскоре поняли, что у принца и связей куда меньше, и рука не такая легкая, как у г-на де Бомарше, который, изучив все дело, решил, не долго думая, учредить общество по распределению воды. И выбрал Шайо для установки первого насоса. Кого я удивлю, если скажу, что, как только об этом проекте было объявлено, парижане, у которых поблизости были загородные дома, стали взывать к властям, выкрикивая на разные голоса заклинания вроде: «Прекратить загрязнение, прекратить загрязнение!» либо «Охранять окружающую среду, охранять окружающую среду!», которые в наши дни уже давно набили оскомину. Короче, во имя госпожи экологии парижан приговорили еще два года жить в грязи. Само собой разумеется, радетели природы нашли союзников и в

корпорации водоносов и среди владельцев водохранилищ, что у моста Нотр-Дам и возле водокачки Самаритен. Чтобы защищать свои интересы, все, кто был в оппозиции к начинанию братьев Перье, объединились и наняли за очень большое вознаграждение некоего академика Байи, по специальности астронома. С помощью Морепа Бомарше, несмотря на трескучие речи Байи, все же в конце концов победил. Как только сопротивление противников было сломлено, Бомарше дал сто тысяч экю братьям Перье и нажил себе тем самым сто тысяч врагов.

Так родилось Парижское общество по распределению воды, и вскоре оно начало действовать к великому удовлетворению всех, кто пользовался его услугами. Бомарше, будучи не в силах единолично финансировать это предприятие, основал акционерное общество, акции которого котировались на бирже. А раз акции, то, значит, и колебания их курса. Любители, недостатка в которых не было, поскольку дело процветало, вступили в биржевую игру по правилам, которые и по сей день остаются таинственными, вызывая то подъем курса акций, то его падение. Но иногда и они совершали ошибки. Так, банкиры Паншо и Клавьер, несмотря на то, что они в таких делах собаку съели, ошиблись, играя на падении курса. Однако акции день ото дня все повышались в цене, и тогда банкиры решили отомстить тому, кого они считали ответственным за это повышение, а это уж, конечно, был не кто иной, как г-н де Бомарше. С этой целью они вступили в контакт с блестящим и пылким молодым человеком, уже привлекшим к себе внимание столкновениями с правосудием, шумными любовными историями и язвительностью стиля, а именно с графом де Мирабо.

Мирабо, который любил Бомарше, наверное, не стал бы на него нападать, если б тот не отказался однажды — вопреки своим обычаям — одолжить ему денег. Мирабо просил 12 000 франков. «Вам будет нетрудно одолжить мне эту сумму», — будто бы сказал Мирабо, на что Бомарше ему будто бы ответил: «Конечно, но так как мне все равно придется поссориться с вами в тот день, когда кончится срок вашего векселя, я предпочитаю это сделать сегодня же. Так я хотя бы сохраню свои 12 000 франков!» Не знаю, в самом ли деле состоялся этот диалог, записанный Гюденом, но несомненно, что Мирабо нашел эти 12 000 франков другим путем и возвращать их ему не пришлось. Нанятый двумя банкирами, граф, у которого было бойкое перо, тут же настрочил памфлет против Парижского общества по распределению воды. Бомарше ответил, но при этом слегка захлебнулся в технических аргументах. Так как он, к несчастью, проявил еще и дурной вкус, назвав мирабелями филиппики Мирабо, тот окончательно рассердился и уже с неподдельной злобой и убийственной иронией написал новый памфлет, атакуя на этот раз уже лично Бомарше. К всеобщему удивлению, гениальный экзекутор Гезмана не ответил на этот выпад. Обманутые в своих ожиданиях парижане пришли в бешенство и решили, что Мирабо попал в точку и Бомарше просто нечего сказать в ответ. На самом же деле Бомарше сдержал себя, чтобы оказать услугу правительству: за это

время банкиры Паншо и Клавьер стали необходимы властям, и в первую очередь министру финансов, который, чтобы бороться с *инфляцией,* собирался выпустить заем. Все это дело не заслуживало бы даже трех строчек, не имей оно для нашего героя печальных последствий. Мы уже сказали, что Париж воспринял его молчание как невозможность ответить по существу. Клеветники, которые уже давно были вынуждены молчать и которые — сейчас как раз время сказать об этом — молча страдали, вдруг снова оживились. Что касается Мирабо и Бомарше, то они в конце концов помирились и даже обменялись любезными письмами, но уже было поздно — зло свершилось.

В замечательной библиографии, которую Анри Кордье опубликовал в 1783 году и которая содержит в описи документов 519 номеров, дело Корнмана занимает значительное место — от номера 378 до номера 443. Рядом с ним дело Гезмана — всего 30 номеров — имевшее, однако, как вы знаете, такое огромное значение в жизни Бомарше и вызвавшее такой небывалый урожай мемуаров, кажется пустяковым. И в самом деле, мы бы не посвятили этой истории больше абзаца, если бы случай не придал ей ничему не соответствующие размеры. Судебный процесс, последовавший за ней, не имел, собственно говоря, никакого отношения к Бомарше. Как писал Гюден: «Достаточно было хоть капли здравого смысла, чтобы не скомпрометировать его этим делом, достаточно было хоть толики разума, чтобы не предать публичному обсуждению семейные дрязги, которые не должны были выйти за пределы суда, а при большей сдержанности можно было бы и вообще избежать того, чтобы переносить домашнюю ссору в судебный зал». Все эти рассуждения хороши, если не учитывать появления дьявола, или того, посредством которого он делает свое черное дело, а именно г-на Бергаса.

В самом деле, семейная история. Вот факты.

В 1781 году на званом обеде Нассау-Зиген и его жена попросили Бомарше заступиться перед властями за одну даму по фамилии Корнман, которую ее муж, эльзасский банкир, отправил по королевскому приказу в тюрьму. Причина: адюльтер! Не улыбайтесь! XVIII век был веком двусмысленным, распутство уживалось в нем со строгостью нравов. Общество скрывало свое лицо под двумя масками — маской Шодерло де Лакло и маской Фенелона. Что до правосудия, то оно, более слепое, чем когда бы то ни было, выбирало своих жертв по жребию. Именно в этой лотерее Мирабо и его молодая любовница вытянули билеты и проиграли. Заключенный в ужасный карцер, Мирабо чуть не сошел с ума и не умер. И та, кого он любил, разделила его участь, но с еще более печальным исходом: она вышла из тюрьмы в состоянии, близком к бурному помешательству, и вскоре умерла. Итак, банкир Корнман засадил в тюрьму свою супругу, потому что она предпочла ему красивого молодого человека по имени Додэ де Жоссан. Кроме того, супруги Нассау-Зиген сообщили Бомарше, что эта несчастная женщина беременна

и что приданое в 360 тысяч франков, которое она принесла своему мужу, было не последней из причин его желания упечь ее подальше, а главное, что сам Корнман играл тут роль услужливой сводни. Дело в том, что Додэ де Жоссан был королевским синдиком в Страсбурге и мог там благодаря этому оказать банкиру множество весьма важных услуг. Поэтому он безо всякого зазрения совести толкнул свою прелестную жену в объятия, а потом и в постель шаловливого Додэ. Случилось то, что должно было случиться: молодые люди полюбили друг друга. Пока красивый синдик сохранял свой пост, банкир закрывал на все глаза, но как только Додэ потерял свое место и влияние, банкир вновь открыл их и пришел в бешенство. Страшная история, правдивость которой Бомарше смог проверить, пробежав письма, написанные Корнманом своему сопернику в то время, когда он еще состоял в должности. Банкир явно был в курсе всего и одобрял создавшееся положение. Бомарше не мог не разделить негодования супругов Нассау и пообещал действовать, чтобы исправить эту несправедливость. Принц, который и сам пользовался немалым весом, уже не раз пытался переговорить по этому поводу с королем и министрами и раскрыть им глаза на подлость банкира, но банкир обладал могучей поддержкой в узком финансовом кругу, и влияние его покровителей всякий раз превышало влияние Нассау. Чтобы одержать победу, необходимо было втянуть в игру лицо, обладающее наивысшим авторитетом, а обладал им только один человек: Бомарше. И он не замедлил вмешаться, тем более что г-жа Корнман страдала, как и он сам, еще от другой несправедливости: она родилась в семье протестантов. Неделю спустя Ленуар, сменивший Сартина в полиции, выпустил г-жу Корнман из тюрьмы и отвез ее в родильный дом. Что касается королевского приказа о заточении, то Людовик XVI отменил его по просьбе Бомарше. Поскольку г-жа Корнман вместе со свободой вновь обрела и свое состояние, банкир, дела которого пришли в упадок, хотел с ней помириться. Но про нее нельзя было сказать, что у нее память коротка, и его затея не удалась. В течение пяти лет банкир пытался уговорить свою жену, но она оставалась непоколебима.

Он уже готов был отступиться, когда случай столкнул его, а значит, и Бомарше, с молодым адвокатом по фамилии Бергас, человеком честолюбивым, умным, но весьма неразборчивым в средствах. Чтобы продвигаться в жизни, Бергас старался срезать все углы. Он уже привлек к себе внимание парижской публики множеством статей в защиту магнетизера Месмера, которого Бомарше при случае весьма беспощадно разоблачил. Бергас, который уже за одно это имел основание сердиться на автора «Женитьбы», вдруг почувствовал, что тот стал уязвим. Он, как и многие, был поражен слабостью его реакции в ответ на нападки Мирабо. Этому адвокату интуиция подсказывала, что для Бомарше колесо фортуны стало вертеться в другую сторону. Он не ошибся и сделал из этого полезный для себя вывод. В Париже — и так будет всегда — твоя репутация создается за счет чужой репутации. И твой успех пропорционален славе того или тех, на кого ты нападаешь. Измеряется он и подлостью избран-

ных методов. Короче говоря, Бергас понял, что для достижения своей цели ему надо метить одновременно очень высоко и очень низко. Но мало было хотеть померяться силами с Бомарше. Чтобы представился такой случай, надо было встретить какого-нибудь мошенника. Им и оказался Корнман.

Бергас весьма внимательно выслушал подробный рассказ банкира, потом велел повторить его еще раз десять, так что Корнман, чтобы сделать свою историю более драматичной, постепенно стал ее усложнять и обвинил, например, свою супругу в соучастии в убийстве. Самым забавным во всем этом было то, что, как заметил Ломени, Корнман в конечном счете хотел вновь соединиться со своей супругой, «скорее заблудшей, нежели виноватой», и обещал ей, что если она вернется к нему с приданым, то «будет жить, окруженная тем уважением, которое сможет еще заслужить». Но коварный адвокат больше интересовался тем, что Корнман рассказывал ему о весьма важных лицах, которые случайно оказались причастными к этому делу, а именно о Нассау-Зигене, Ленуаре и, главное, о Бомарше.

Установлено, что Бергас лично не знал своего главного противника и что, если оставить в стороне магические чары Месмера, у него не было решительно никакой причины сердиться на Бомарше, который не имел даже случая вызвать у него, как, например, у Мирабо, гнев тем, что отказался одолжить ему деньги. Адвокат выбрал своей мишенью Бомарше только потому, что именно он был тогда самым знаменитым французом.

20 февраля 1787 года в Париже было распространено не меньше 10 тысяч экземпляров «Мемуара по вопросу адюльтера и диффамации, написанного г-ном Корнманом против г-жи Корнман, его супруги, г-на Додэ де Жоссана, г-на Пьера-Огюстена Карона де Бомарше и г-на Ленуара, государственного советника и бывшего генерального лейтенанта полиции». Этот мемуар, подписанный Корнманом, всецело принадлежал перу Бергаса. Текст этот имел значительный успех, потому что отвечал двум потребностям тогдашней публики: предавать «скандалы» гласности и обличать аристократию.

Слог у Бергаса был ужасающий: он писал напыщенно и банально. Чтобы составить себе о нем представление, достаточно привести небольшой пассаж, который, мягко говоря, трудно назвать жемчужиной стиля.

«...Ты послал меня на свет божий, чтобы люди узнали благодаря столь памятному событию, до какой степени падение нравов и небрежение основными законами природы может привести их к пагубным последствиям. Увы! Мне осталось вытерпеть еще несколько дней, и моя тягостная задача будет выполнена, а в лоно твое вернется несчастный, которому ты нанес смертельную рану, для которого на земле больше нет ни мира, ни счастья, но который с покорностью принимает свою судьбу, свое долгое и мучительное страдание, потому что оно принесет ему подобным хоть какое-то добро; в тот миг, когда ты освободишь его от тяжести жизни, ты, в этом нет сомнений, исполнишь его последнюю просьбу».

Но автор, хорошо знавший свою аудиторию, обладал даром поддерживать интерес, расцвечивая свой мемуар множеством грязных намеков в адрес тех лиц, кого общественная молва неизбежно ставила в положение обвиняемых: Нассау, задавленного долгами, Ленуара, перескакивавшего из одной постели в другую и, возможно, побывавшего и в объятиях г-жи Корнман, Рогана, скомпрометированного в деле ожерелья королевы, и, наконец, Бомарше.

Что касается этого последнего, то Бергас действовал, не мудрствуя лукаво. Он ограничился лишь тем, что захватил ниву, которую Лаблаш оставил под паром, и обработал ее так, что она вновь принесла урожай. Все эти старые обвинения ни на чем не зиждились, но накопление клеветы всегда дает свои плоды. Я уже писал: народ, придумавший эту глупую формулу: «нет дыма без огня», всегда оказывается во власти Базилей. Во все времена во Франции именно они и вершили судьбы. И в наши дни больше, чем когда-либо. Бергас, который это отлично знал, обрушился на Бомарше, как невзгоды на бедняков или, точнее, на великих людей. Он просто уничтожал «человека, чья богохульная жизнь с постыдной очевидностью свидетельствует, к какому глубокому падению нравов мы пришли». Этот смехотворный жаргон всегда находит своих поклонников. В каждом французе сидит, сам о том не ведая, прокурор. Зайдите в любое бистро, послушайте, что говорят люди, и вам покажется, что вы находитесь не иначе как в суде присяжных. А в 1787 году против Бомарше было уже хотя бы то, что он занимал видное место в Версале, в Париже, в Европе. Десять лет тому назад он еще был жертвой режима, общества, системы — назовите как хотите. Преуспев в делах, получив официальное признание и тем самым легализовав свое положение, он фактически оказался в другом лагере, нежели молодой. Бергас, который еще только намеревался создать себе имя. Озлобленные и легкомысленные парижане, конечно же, встали на сторону того, кто казался им слабым, объединившись против того, кто казался сильным.

«За четыре ночи», «подталкиваемый обстоятельствами», Бомарше составил первый мемуар «чересчур быстро», и он получился сумбурным. Однако документ этот, хоть и не обладал литературными качествами, был все же весьма эффективным. Корнман так и не оправился от этого удара. Но для Бергаса банкир был лишь поводом к действию. Новые пасквили, подписанные и анонимные, метившие теперь прямо в Бомарше, читались нарасхват. Эти тексты, написанные между 1787 и 1789 годами, понятно, в какой атмосфере, начиненные политикой, обрушивались одновременно и на режим как таковой, и на его злоупотребления, и на человека, который самой славой своей как бы символизировал эпоху. Возникло странное недоразумение, которое Бергас, однако, смог использовать до конца, повторяя от своего имени клеветнические обвинения всех своих предшественников. Вынужденному перейти к обороне Бомарше приходилось пункт за пунктом отражать атаки противника.

Тщетно было бы сетовать на непостоянство общественного мнения. Всякий знает, как легко направить его в любую сторону. В пе-

риоды политических кризисов люди отличаются крайней восприимчивостью. Странным образом в латинских странах реальные или вымышленные скандалы предшествуют всем изменениям в обществе. Французы, например, истово верят в «мораль». Прежде чем скинуть какого-нибудь министра, они должны убедить себя, что он либо развратник, либо жулик. Этим и объясняется та слабость, которую наши соотечественники всегда питали к газеткам, специализирующимся на злобных инсинуациях, лжи и шантаже. Но недостаточно возмущаться этим явлением, надо попытаться проанализировать этот весьма своеобразный механизм. Перед тем как свершить революцию или изменить ход Истории, французам необходимо убедиться в том, что люди, которых они намерены свергнуть, которых они не хотят больше видеть у кормила власти, так или иначе — проходимцы. Страна, о которой принято говорить как об оплоте разума и идей, приходила в движение, только когда ее захватывало сильное чувство или возмущение. Подобно тому как потребность в конечном счете создает организму недостающий орган. Так в определенные исторические моменты торговцы клеветой наживают состояния. За два года до революции народ, еще не готовый к действиям, к непосредственному столкновению с властью, еще парализованный теми запретами, которые иначе, чем «табу», не назовешь, обязательно должен свергнуть с пьедесталов или запакостить всех идолов, которым он поклонялся. Бергас, избрав Бомарше козлом отпущения и символом, играл без проигрыша. Если бы он целил выше, в какого-нибудь министра или в короля, он тут же оказался бы в Бастилии. А напав на Бомарше, персонажа двусмысленного, который находился одновременно и в недрах системы и вне ее, он практически ничем не рисковал. Когда Бергас в конце одного из своих мемуаров восклицал: «Несчастный! Ты истекаешь преступлениями, как потом!», — он метил уже не только в Бомарше, но в само общество, которое тот олицетворяет в глазах народа. Бомарше, считавший, что он — победитель, что он свершил то, чего от него требовало время, и написал все, что должен был написать, хотел теперь явить для всех «пример усталого человека, который уходит на покой». Как, должно быть, страдал Бомарше от этого неожиданного нападения! Он защищался, так толком и не поняв, кто его противник. Он отвечал Бергасу так, словно тот был Лаблашем. В мемуарах, которые он вслед за тем опубликовал, он совершил тактическую ошибку, преследуя молодого адвоката именно на том поле, на которое тот старался его заманить. Конечно, Бомарше безо всякого труда опровергал своего противника по всем пунктам его обвинений, всякий раз ловя его на заведомой клевете, лжи, лжесвидетельствах. Но он ни разу не заметил, что у Бергаса была и другая цель. И в самом деле, адвокат, всецело увлеченный своим стремлением к разрушению, стал в конце концов писать бог знает что, погрузив обе руки по локоть в грязь. Фигаро ошибся, воображая, что противник хотел забрызгать его, в то время как речь шла о том, чтобы очернить Альмавиву. Суд признал правоту Бомарше и приговорил Бергаса и Корнмана к оплате всех судебных издержек. Приговор был оглашен 2 апреля

1789 года под гневный рев толпы. Но это уже другая история, если не просто История. Еще только два слова о Бергасе, чтобы было окончательно ясно, что это за тип: во времена империи, в 1807 году, этого коварного адвоката снова судили за клеветнические обвинения, направленные на этот раз против интенданта армии, некоего Лемерсье. У героев часто бывают грязные руки. Но, кажется, уже пора сменить пластинку, не правда ли?

Бергас ошибался, в 80-е годы Бомарше не истекал преступлениями, как потом, а сочинял оперу!

С музыкой у Пьера-Огюстена были давние отношения. Арфа открыла ему дверь в апартаменты королевских дочерей, другая арфа привела в его жизнь Марию-Терезу Виллермавлаз. Этот невероятный человек долгое время считал себя музыкантом. Из всего многообразия его деятельности музицирование и сочинение музыки казались ему, наверное, самыми естественными для него. Но разве жить не значит как раз галопом удаляться от всего, что для тебя естественно? У гениальных людей, тех, что наложили отпечаток своей личности на эпоху или изменили ход Истории, есть что-то общее — это отказ принять свой первоначальный удел. Преуспеть в жизни не значит ли уйти от своей судьбы или даже идти против нее? Самая разрушительная война, которую когда-либо знало человечество, велась двумя неудавшимися художниками. Я привожу именно этот пример, потому что он поражает воображение, но есть и немало других. Исходя из своих склонностей, Бомарше должен был сочинять музыку к песням и операм, и только. Но история Бомарше — это история его бунта, и музыка была принесена им в жертву так же, как и мастерство часовщика. Тем не менее аксессуары детства, которые были любимыми развлечениями его и Жюли, всегда находились при нем, и даже когда он бывал за пределами Франции, в минуты растерянности и одиночества, ему достаточно было протянуть руку, чтобы взять флейту, или, сделав три шага, сесть за клавесин, или на табуретку к арфе. Песни он сочинял всегда, для него, наверное, это занятие было наиболее полным способом самовыражения, способом, который требовал от него наименьших усилий. В парадах, в «Женитьбе» все его действующие лица поют. В декорациях его пьес, так же как и в комнатах, где он жил, и в его гостиных всегда находились музыкальные инструменты. Изначально «Севильский цирюльник» был комической оперой. Не сумев добиться постановки своего произведения в этом жанре, Бомарше, как мы видели, смирился и переделал его в комедию. Но не такой он был человек, чтобы долго терпеть поражение. Поскольку его комическая опера была отвергнута, он решил увеличить ставку и написать настоящую оперу. Когда его в то время попросили придумать девиз для вновь учреждаемой музыкальной академии, он сочинил этот дерзкий дистих:

Прекрасней оперы не видел свет:
Там только оперы хорошей нет.

По поводу того, какую надо «делать» оперу, у него были очень точные идеи, весьма революционные для той эпохи. В частности, он хотел, чтобы опера стала произведением драматургии, как и все, что пишется для сцены, чтобы музыка раскрывала либретто, а не подавляла его. А ведь прежде происходило как раз обратное. Французская опера, как говаривал Глюк, воняла музыкой — «Puzza di Musica». Уже в предисловии к «Севильскому цирюльнику» Бомарше без обиняков изложил свою концепцию театральной музыки вообще и оперной в частности:

«Драматическая наша музыка еще мало чем отличается от песенной, поэтому от нее нельзя ожидать подлинной увлекательности и настоящего веселья. Ее можно будет серьезно начать исполнять в театре лишь тогда, когда у нас поймут, что на сцене пение только заменяет разговор, когда наши композиторы приблизятся к природе, а главное, перестанут навязывать нелепый закон, требующий обязательного повторения первой части арии после того, как была исполнена вторая. Разве в драме существуют репризы и рондо? Это несносное топтанье на месте убивает интерес зрителей и обнаруживает нестерпимую скудость мыслей.

Я всегда любил музыку, любил всерьез и никогда ей не изменял, и все же, когда я смотрю пьесы, меня особенно увлекшие, я часто ловлю себя на том, что пожимаю плечами и невольно шепчу в сердцах: «Ах, музыка, музыка! К чему эти вечные повторы? Разве ты и так не слишком замедленна? Вместо живости развития темы — переливание из пустого в порожнее. Вместо того чтобы изображать страсть, ты цепляешься за слова текста! Поэт бьется над тем, чтобы выразить событие более сжато, а ты его растягиваешь! Зачем ему стремиться к предельной выразительности и скупости языка, если никому не нужные трели сводят на нет все его усилия? Раз ты так бесплодно плодовита, то и живи своими песнями, и да будут они единственной твоей пищей, пока не познаешь бурного и возвышенного языка страстей».

В самом деле, если сценическая декламация есть уже превышение законов речи, то пение, представляющее собой превышение законов декламации, есть, следовательно, превышение двойное. Прибавьте к этому повторение фраз, и вы поймете, насколько при этом теряется интерес повествования: по мере того как этот коренной порок все больше проявляется, занимательность спектакля улетучивается, а действие становится вялым; мне чего-то недостает: внимание рассеивается, мне становится скучно, и если я пытаюсь угадать, чего бы мне хотелось, то чаще всего оказывается, что только одного — чтобы представление поскорее кончилось».

Бомарше прав. И история оперы это доказывает. К примеру, «Пелеас» или «Воццек» являются прежде всего драматическими произведениями. Дебюсси и Берг не навязывают авторам своих законов, и оглядка на текст не нанесла, как мы знаем, никакого ущерба гению композиторов. Но в 1780 году такой подход к музыке был немыслим. Композиторы обращались с либретто крайне небрежно, а часто и с презрением. Попытка ограничить их превосходство и

потребовать, чтобы они подчинялись тексту, казалась в те годы настоящим преступлением против Ее Величества Музыки. Бомарше, который дал в свое время урок королю Франции, не отступил и перед сомкнутыми рядами композиторов:

«...если бы я сочинил либретто оперы, я сказал бы композитору: «Друг мой, вы музыкант: переложите мою поэму на музыку, но при этом не сочиняйте так цветисто, как Пиндар, и не воспевайте Кастора и Поллукса там, где надо сообщить о победе греческого атлета на олимпийских играх, — не о них ведь идет речь.

И если мой музыкант будет обладать истинным талантом, если он, прежде чем начать сочинять, подумает о том, что ему предстоит сделать, то поймет, что не только его долг заключается в том, чтобы возможно более полно передать мои мысли на языке гармонии, но и успех его будет зависеть от этого; композитору надлежит найти для них наиболее выразительную форму, а не сочинять какое-то другое произведение. Тот, кто по легкомыслию хочет блистать один, на поверку оказывается либо кусочком фосфора, либо блуждающим огоньком. Если он все же попытается обособиться от меня, то это будет не жизнь, а прозябание. Так дурно понятое честолюбие погубит нас обоих, и с последним ударом смычка мы оба с театральным грохотом низвергнемся в преисподнюю».

Бомарше решил написать «Тарара» отчасти и для того, чтобы доказать правильность своей теории, изложенной в предисловии к Цирюльнику». Первый вариант этой оперы или, во всяком случае, ее первый набросок относится к 1775 году. «Быть может, я когда-нибудь огорчу вас оперой», — писал он в те дни. В первом варианте «Тарар» был, скорее, комической оперой, причем с весьма откровенными шутками, о чем свидетельствует, например, отрывок диалога из рукописи, обнаруженной Лентилаком:

«Султан *(евнуху).* Если завтра я не буду счастлив, то велю отрубить вам голову.

Евнух. Ну, только этого еще не хватало! Рубите, рубите все, что попадет вам под руку, только учтите, рубить-то у меня, собственно говоря, нечего и жалеть мне не о чем».

Но «почтенная» опера не может быть написана прозой. С 1775 года Бомарше начинает совершенствоваться в версификации:

«Я сочиняю весьма короткие стихи, потому что музыка делает их значительно длиннее. Я уплотнил все события, ибо музыка разбавляет сюжет и вынуждает нас терять много времени зря. Я старался сделать свой стиль как можно более простым, чтобы поддерживать интерес к происходящему, потому что музыкальные фигуры и без того слишком расцвечивают его, и смысл искажается от избытка излишних украшений».

Бомарше сочинял главным образом скучные стихи. О своих мемуарах против Бергаса он говорил: «Все мои друзья единодушно велят мне отвечать в серьезном тоне». И в «Тараре» все они толкали его на торжественный стиль. Гюден и остальные считали, что, достигнув такой славы, пользуясь таким политическим весом, Бомарше должен изменить манеру письма. Он прислушался к этим

советам, обратился к серьезному жанру и ошибся и в том и в другом случае.

Между первым наброском «Тарара» и окончательным вариантом лежит пропасть. Точнее, весь мир. В самом деле, опера начинается прологом, в котором появляется Гений воспроизводства живых существ, который именуется также Природой, и Гений огня. Как вы сами видите, мы довольно далеко ушли от Фигаро. Итак, вот первая сцена «Тарара» с ремарками автора:

«В увертюре громко звучат голоса небес, а потом раздается страшный удар от соприкосновения всех стихий. Когда подымается занавес, видны лишь тучи, которые разрываются, и тогда появляются свободные Ветры. Они кружатся в вихре, который переходит в очень быстрый танец.

Природа *(приближаясь к Ветрам, с палочкой в руке, украшенная всеми плодами земли; повелительным тоном).*

Не тревожьте моря и эфир,
Непокорные вихри, вернитесь в темницу!
Пусть владеет пространством Зефир,
В Мирозданье покой воцарится!

Увертюра, голоса стихий и танцы продолжаются.

Хор свободных Ветров.

Мы покинем моря и эфир.
О несчастье! Должны мы вернуться в темницу!
Пусть владеет пространством счастливец Зефир,
В Мирозданье покой воцарится!

Они кидаются в ближайшие тучи. Зефир подымается в воздух. Увертюра и голоса стихий постепенно смолкают, тучи рассеиваются: воцаряется гармония и покой. Мы видим великолепный пейзаж, и Гений огня слетает с блестящего облака, плывущего с востока».

В самом деле, как далеко это от Фигаро! И тем не менее! Если внимательно разобраться, если откинуть в сторону философскую атрибутику, всю машинерию со стихиями, восточные блестки и литры крови, которые автор проливает по всякому поводу, мы заметим, что сюжетная канва «Тарара» строго соответствует канве «Женитьбы»: человек высокого звания, король Атар хочет отнять у другого человека низкого звания, у солдата Тарара, его невесту, Астазию. Мы вновь сталкиваемся с «нравами сераля» — Альмавива, Фигаро и Сюзон. Впрочем, в предисловии к «Женитьбе» Бомарше как раз и не скрывал своих намерений: «О, как я жалею, что из этого нравственного сюжета не сделал кровавой трагедии». С политической точки зрения «Тарар» такое же разрушительное произведение, как и «Безумный день»:

Вы, те, кому родиться пробил час,
Падите ниц и слушайте в почтенье,
Какое место в мире от рожденья
Мы предназначили для вас.

В Ормюсе, что на берегу Персидского залива, так же как и во Франции, люди делятся на вельмож и всех остальных. «Тарар», как и «Женитьба», яростно разоблачает эту несправедливость и призывает народ к восстанию.

Герой оперы и герой комедии обладают одной общей чертой, вы сами догадаетесь, какой: оба они неизвестно чьи сыны.

Стань императором, в Ормюсе правь, Атар,
Да будет Азия твоей послушна воле!
Ты ж, сын безвестного отца, солдат Тарар,
Страшись тебе сужденной доли!

В стихах, как и в прозе, Бомарше не уходит от своего наваждения и проповедует одно и то же лекарство. Если человек хочет существовать, он должен сам себя родить на свет.

Не важно, кто ты есть: монарх, брамин, солдат,
Ты — человек! Сословные различья
К твоим заслугам не принадлежат,
И лишь в тебе самом твое величье!

Однако между Тараром и Фигаро есть одно основополагающее различие: у них разные орудия труда, у одного — меч, у другого — бритва. Бомарше часто повторял: «Я знаю, что жить — это значит сражаться, и, быть может, я пришел бы от этого в отчаяние, если бы не чувствовал, что сражаться — это значит жить». В той борьбе, которая составляла его жизнь, будь у него выбор между этими двумя орудиями, что бы он предпочел: меч, с которым удача зависит от силы руки, или бритву, которая требует силы ума в руке, Consilio manuque?

Но все же, несмотря на очевидное сходство, Тарар — не Бомарше, а опера его — произведение другого человека, того, кем бы он хотел быть. Но в его коллекции рыцарских доспехов не было, слава богу, доспехов простого солдата.

Чтобы переложить на музыку свою «кровавую трагедию», Бомарше прежде всего подумал о своем друге Глюке, который разделял его взгляды на оперу. Но знаменитый композитор уклонился от этого предложения, сославшись на занятость и одолевающую его старость. Скорее всего, Глюк, высоко оценивший всю «грандиозность замысла», просто испугался не только трудностей, которые неизбежно возникли бы при его осуществлении, но и требовательности либреттиста, отличавшегося, как он знал, большим своеволием. Однако Глюк рекомендовал Бомарше обратиться к своему лучшему ученику, итальянцу Сальери. Имя Сальери не было новым. К тому времени он уже подписал вместе со своим учителем музыку к лирической трагедии «Данаида», исполнявшейся в 1784 году с известным успехом. Самостоятельно он сочинил «Горация», и это был в 1786 году его триумф. В то время он жил в Вене и пользовался хорошей репутацией. Там у Сальери был лишь один соперник: Моцарт. За несколько месяцев до того как Сальери получил предложение Бомарше, он присутствовал в Бургтеатре на триумфальной премьере «Свадьбы Фига-

ро». Той самой «Свадьбы», чью божественную музыку Бомарше услышит лишь в 1793 году. Услышит? Это только так говорится, потому что к тому времени наш герой уже был глух как тетерев. Увы! В Вене жил Моцарт, но Бомарше обратился к Сальери. Итальянский композитор не был гением, зато обладал дивным характером и оказался прелестным гостем в семье Бомарше. Антонио Сальери в сопровождении немецкого слуги, который отличался тем, что чуть свет бывал уже мертвецки пьян, поселился на втором этаже в доме на улице Вьей дю Тампль. Маленькая Евгения тут же влюбилась в композитора: после обеда они забавлялись тем, что играли в четыре руки сонаты. Часов в восемь «знаменитый папа» или «прелестная мама», как их называл Сальери, прерывал концерт словами: «Пошли ужинать, дети!». После ужина музыкант отправлялся «читать газеты в Пале Рояль», потом он возвращался, чтобы «отправить в постель немецкого пьяницу». Потом Сальери ложился сам и тут же засыпал. Вставал он очень рано, «встречать рассвет доставляло ему божественную радость». В десять утра «знаменитый папа» входил в комнату Сальери: «Он приходит ко мне, я пою ему то, что сочинил для нашей большой оперы, он аплодирует, ободряет меня, наставляет на путь истинный совсем по-отцовски...» Бомарше и в самом деле на свой лад участвовал в сочинении музыки, давая к каждому стиху крайне точные указания, которые должны были обуздывать вдохновение «милого Антонио».

В то же время Бомарше передал цензору Брету либретто оперы. Цензор «подписал» текст «слегка дрожащей рукой», после того как попросил автора кое-что смягчить. Бомарше, хорошо относившийся к Брету, сообщил цензору, что ранее собирался назвать свою оперу «Свободный судья, или Власть добродетели», но «меня обвинили бы в смешной претенциозности». От изначального комизма замысла в окончательном варианте осталось только заглавие, несколько сбивающее с серьезности тона: «Тарар» — тут есть какое-то подмигивание публике. Способ продемонстрировать, что ты не дал себя полностью одурачить.

«Тарара» начали репетировать в здании Новой оперы, которая находилась у ворот Сен-Мартен. За несколько дней до премьеры Бомарше, борьба которого с Бергасом была в самом разгаре, решил отменить спектакль. Он написал министру внутренних дел, чтобы объяснить причины такого решения:

«...мне на голову упал кирпич; я ранен и полагаю, что должен позаботиться о перевязке до того, как пойду ставить танцы нимф... Защищаться в суде от обвинения в клевете и руководить репетициями оперы — занятия слишком противоположные, чтобы надеяться их совместить...»

Барон де Бретейль ответил с обратной почтой, что король отклонил просьбу автора отложить премьеру оперы: «Публика ожидает ее с нетерпением, и успех спектакля, на который мы имеем все основания рассчитывать, лишь добавит блеска Вашей литературной славе; это будет Ваше первое торжество над противником».

Таким образом, Людовик XVI, который хотел запретить постановку «Женитьбы Фигаро», на этот раз приказал Бомарше во что бы то ни стало играть «Тарара»!

Видимо, теперь Людовику захотелось быть публично высеченным. «После того как в «Женитьбе Фигаро» Бомарше высказал все, что мог, про министров и вельмож, — писал Гримм в вечер премьеры, — ему оставалось лишь с той же откровенностью высказаться о священниках и королях. Только г-н де Бомарше был в состоянии на это отважиться, и, быть может, только ему и было разрешено это сделать».

Премьера «Тарара» состоялась 8 июня 1787 года. Сказать, что она была триумфом, значит не сказать ничего. В большом сине-золотом зале толпа приглашенных, с трудом пробившаяся сквозь кордоны полиции, охранявшей входы в театр, с бурным восторгом встретила первые четыре акта оперы, однако пятый акт слушали с нескрываемой тревогой. И в самом деле, Бомарше на этот раз пошел еще дальше. Так, например, евнух Кальпиги говорил:

Кто злоупотребит верховной властью,
Тот сам ее основы пошатнет!

Как вы видите, если сравнивать с первым вариантом «Тарара», евнух стал говорить куда более определенно.

33 спектакля было сыграно в 1787 году! Зрители, все еще столь же многочисленные, «слушали в полной тишине и с таким самозабвением, которого нам еще не доводилось наблюдать ни в одном театре», отмечает Гримм. Когда в 1790 году представления «Тарара» возобновились, Бомарше переписал пятый акт, сделав его еще более современным. Он ратовал в нем за право развода, бракосочетания без священников и за свободу негров. Однако я не в силах утаить, что вдохновение, видимо, покинуло Бомарше, когда он сочинял жалкий куплет насчет «черного из Занзибара»:

Ола! Как сладко быть рабом!
Мы, черные, просты умом,
Мы добрым белым людям
Всегда послушны будем.

Преданы белым
Душой и телом,
За тебя, господин,
Умрем, как один,

Молясь, чтоб грозный Урбала
Хранил народ от бед и зла.
Вон он, вон он, Урбала!
Урбала! ла-ла-ла-ла...

Ужасающе, не правда ли? Но в остальном Бомарше проявил изрядное мужество, написав следующие строки:

Клянемся лучшему из королей
Закон его блюсти до окончанья дней!

Сторонник конституционной монархии, он не поддался давлению публики и артистов, требовавших от автора более республиканских куплетов. Но в 1793 году Бомарше находился за границей, и потому «Тарар» стал революционером.

Престол! Друзья, но это слышать странно!
Судьба вас избавляет от тирана,
А вы опять хотите короля!

В 1802 году, во время консульства, уже после кончины Бомарше, опера была возобновлена еще раз. И я представляю себе, что особых проблем с ней не возникло: солдат Тарар, поднятый народом к власти, должен был кого-то напоминать публике.

Тарар, Тарар, Тарар!
Мы требуем вернуть нам генерала!

Людовик XVIII присутствовал на последнем представлении этой невероятной оперы и мог, ничем не рискуя, рукоплескать финальному куплету:

Страной свободною владей,
Народ вручил тебе корону;
Правь справедливо, по закону,
И обретешь любовь людей.

Со времен Реставрации никто, я полагаю, не думал о новой постановке «Тарара», и во имя вечной славы Бомарше будем молить Брахму, чтобы это мрачное произведение никогда больше не видело огней рампы.

Однако спустимся на землю. Нам нужен какой-то переход, не правда ли? Либо мост? Мост Бомарше. Когда «Тарар» и Бергас не занимали его мыслей, Бомарше строил, пока что только на бумаге, «мост через реку Сену между королевским парком и парком Арсенала». Он очень подробно разрабатывал этот проект, став по такому случаю архитектором. В первом варианте чертежей мост этот должен был состоять из пяти арочных пролетов и покоиться на железных опорах. Однако этот проект решительно не удовлетворил Бомарше, и он снова засел за чертежную доску. Месяц спустя мост этот был уже однопролетным и цельнометаллическим, как опоры башни г-на Эйфеля. Бомарше стремился к тому, чтобы его мост «никогда не вредил бы навигации и не боялся бы ни паводков, ни ледоходов». Когда проект приобрел свой окончательный вид, он тщательно занялся изучением стоимости его осуществления (883 499,7) и способов финансирования этого начинания (акционерное общество), компенсация строительства (мостовой сбор: экипаж, запряженный парой лошадей, — 5 франков; четырьмя лошадьми — 7 франков; шестью лошадьми — 9 франков; верховой — 1 франк, пешеход — 3 су; бык — 1 франк 6 денье; овца — 6 су и т. д.). Отметим мимоходом странность этого тарифа: овца стоит двух пешеходов. Не улыбайтесь.

Мост Бомарше был построен в конце прошлого века на том самом месте, которое он указал, и с учетом grosso modo [1] всех его установок. Но город окрестил его иначе, и называется он не мост Бомарше, а мост Сюлли. Во Франции один министр стоит двух литераторов, а то и больше, что доказывает коротенькая улица Мольера и ее соседка — нескончаемая улица Ришелье.

До сих пор мы следили за быстрыми оборотами минутной стрелки на циферблате часов. А с 1787—1788 годов начинает казаться, что и часовая стрелка резко убыстряет свой ход. Годы падают как подкошенные, время в песочных часах течет быстрее. Бомарше вошел в шестой десяток; как в прихожую старости. Это тот переход, когда и тело и голова стремятся к некоторому замедлению темпа, когда дни и ночи проходят невнятной чередой, словно во сне. Эти годы в жизни Бомарше крайне противоречивы: с одной стороны, он желает жить быстро и не отставать от времени, а с другой — передохнуть, где-то обосноваться, остановить быстрый ход солнца. Конечно, на сцене общественной жизни, увлекаемый инерцией движения своих дел и тяжбы с Бергасом, подстегиваемый своим предпринимательским даром, он все еще прежний Бомарше. Но вот в кулисах этой жизни все для него вдруг становится двусмысленным и противоречивым.

Догнать убегающее время, остановить его — такова была его задача. Безоглядно жить и вместе с тем навести порядок в своем последнем прибежище, где, может быть, и будет его могила, — такова была двойственность его существования.

К пятидесяти шести годам покоритель женщин, донжуан, стал ежедневно сталкиваться с новой реальностью: люди, которые вчера еще были такими податливыми, становились отчужденными, во всяком случае, так ему казалось. Тело, недавно еще такое послушное и живое, теперь часто уже не внимало приказам желаний. Бомарше, который всегда любил женщин и был любим ими, любил, не ведая ни горя, ни конфликтов, не теряя головы, меняя их одну за другой, как меняются времена года, был теперь в этом смысле уже далеко не прежним. Любовные приключения стали для него более трудными и менее увлекательными и часто резко обрывались; его жена, его дочь и Жюли, конечно, все чаще и чаще находили поводы, чтобы удерживать его дома. К концу жизни женщины, которые живут в твоем доме, исподволь одолевают всех остальных. Постепенно они становятся более властными, более настойчивыми. Старость, как и детство, опекают женщины. Их царства находятся по соседству: рождение и смерть. И Бомарше, скорее всего, сдался бы под их напором, если бы не два обстоятельства: Революция и, извините меня, Нинон!

Запомнили ли вы ту юную незнакомку, которая писала ему такие забавные письма из Экс-ан-Прованса? В конце концов он тогда просто перестал ей отвечать, но писем ее не сжег, а, наоборот, аккуратно сложил в папку, как, впрочем, обычно и делал. Так вот Нинон

---

[1] В общих чертах (*лат.*).

появилась вновь. Он запрятал память о ней куда-то в глубь своей души. И подобно забытым семенам, которые годами неподвижно лежат в земле и вдруг неизвестно отчего начинают прорастать, Нинон, неожиданно пробившись после многих холодных и печальных зим, дала росток и разом вернула ему молодость.

Бомарше был у себя дома, на улице Вьей дю Тампль, когда слуга, а может быть, брат Гюдена, кто знает, передал ему визитную карточку молодой дамы, которая просила ее принять. Такие визиты бывали нередко, и он никому не отказывал. На карточке Бомарше прочел выгравированное имя: Амелия Уре, графиня де Ламарине. А под этим посетительница нацарапала карандашом в прихожей магическую формулу, этот «Сезам, откройся»: бывшая Нинон.

1779 год. Десять лет прошло с тех пор или около того! Амелия, бывшая Нинон, уже больше не была ребенком, но сколько же ей теперь стало? Двадцать пять, двадцать шесть. Он тотчас велел провести ее к нему в кабинет и с первого же взгляда потерял голову. Какой она была? Те, кто ее видели, уверяют, что в то время она была похожа на г-жу Дюбарри, когда та только начинала свою карьеру. Что это значит? Принц де Линь, который имел честь или счастье знать Жанну Бекю в годы ее ученичества, оставил вот какой ее портрет:

«Она высокого роста, хорошо сложена, на удивление белокура, лоб у нее открытый, под красиво очерченными бровями прекрасные глаза, лицо овальной формы, а щеки осыпаны мелкими прелестными отметинками, которые делают ее пикантнее всех на свете; рот ее кажется созданным для улыбки, кожа тонкая, а грудь такая, что невозможно не растеряться — она как бы советует всем другим избегать с ней сравнений».

Проясним этот текст. «Маленькими отметинками» были либо веснушки, либо мушки. «В них, — призналась госпожа Дюбарри, — заключалась одна из главных моих прелестей, которую король предпочитал всем другим и непрестанно покрывал поцелуями эти родимые пятнышки».

Когда Людовик XV выбрал г-жу Дюбарри себе в любовницы, он был уже далеко не юнцом. Прежде чем встретиться с прекрасной Жанной, ему уже не раз случалось попадать в ситуации, которые Стендаль называл «потерпеть фиаско», и королю даже приходилось просить извинения за свою несостоятельность: «Мадам, — пришлось как-то сказать ему очередной избраннице, — меня надо простить; я уже не молод, но уверен, что вы достойны всех проявлений любви. Однако королю дано быть мужчиной не больше, чем любому другому, несмотря на всю добрую волю и самое страстное влечение». И вот, не успела Дюбарри вернуть королю его былую силу, как об этом тотчас же узнала вся Франция, которая бурно возликовала по поводу этого известия и принялась распевать песенку:

Вот так штука!
С молодой красоткой —
Всем наука! —

Тешится, как встарь,
Наш влюбленный государь.
Вот плутовка!
Старого повесу
Распалила ловко;
Ей с недавних пор
Низко кланяется двор.

В возрасте пятидесяти пяти или пятидесяти шести лет Бомарше не был старым ветреником, но что до любви, то он, видимо, достиг рубежа, когда легко вдруг можно потерять рассудок. Ведь существуют такие женщины — кто этого не знает, — чья красота или обаяние сильнее действуют именно на мужчин в годах. И в этих случаях какая-нибудь несущественная мелочь, неожиданность поведения, что-то, чего и выразить словами невозможно, важнее прелести облика и совершенства стати. Влечение может вспыхнуть от маленькой родинки на щеке, или от формы ушной раковины, или от миниатюрности ножки. У Амелии Уре и были как раз крошечные ножки, и они-то постоянно и возбуждали *«распутство»* Бомарше.

Итак, Амелия оказалась перед Бомарше. Как и все остальные просительницы, которые до нее входили в этот кабинет, она пришла за помощью. Чтобы добиться ее, она была готова на все, то есть на то, что вообще-то и ничего не составляло. Я преувеличиваю, она восхищалась этим великим человеком, а у большинства женщин восхищение вызывает любовь. Но красавец-мужчина, которого она десять лет назад мельком видела в Эксе, потерял если не свое обаяние, то, во всяком случае, дар молниеносного обольщения. Что произошло между ними в первый день? Должно быть, все же нечто большее, чем это предписывают хорошие манеры, потому что на следующий день он написал ей письмо, где говорил о том, как она взволновала его, и выражал уверенность, что удовлетворит свое желание.

«...Я не хочу Вас больше видеть, Вы поджигательница сердец! Вчера, когда мы расстались, мне казалось, что я весь осыпан раскаленными углями. Мои бедные губы, о боже, они только попытались прижаться к Вашим губам и запылали... будто снедаемые огнем и жаром; зачем только я увидел Вашу прелесть... Вашу ножку и точеное колено... и эту маленькую ступню, такую крошечную, что хочется целиком взять ее в рот? Нет, нет, я не хочу больше видеть Вас, не хочу, чтобы Ваше дыхание раздувало пламя в моей груди. Я счастлив, холоден, спокоен. Да что Вы могли мне предложить? Наслаждение? Такого рода наслаждений я больше не хочу. Я решительно отказался от вашего пола. Он больше для меня ничего не будет значить... Нельзя впиваться губами в губы, не то я сойду с ума».

Амелия, бывшая Нинон, ответила с обратной почтой, предлагая ему встречаться с ней сколько ему хочется на дружеской основе. Так писать значило именно раздувать пламя под видом желания его потушить. С этой минуты Бомарше окончательно воспылал:

«Вы предлагаете мне дружбу, но поздно, дорогое дитя, я уже не

могу подарить Вам такую простую вещь. Я люблю Вас, несчастная женщина, так люблю, что сам удивляюсь. Я испытываю то, что никогда прежде не испытывал! Быть может, Вы более красивая, более духовная, чем все те женщины, которых я знал до сих пор? Вы удивительное существо, я обожаю Вас... Я хотел бы по многим причинам забыть о нашей встрече. Но как можно принимать красивую женщину, не отдавая должное ее красоте? Я хотел лишь объяснить Вам, что Вас нельзя видеть безнаказанно. Но эта милая болтовня, которая с обычной женщиной проходит без всяких последствий, оставила в моей душе глубокий след. В своем безумии я хотел бы не отрывать своих губ от Ваших по меньшей мере в течение часа. Этой ночью я думал, что было бы большим счастьем, если б я мог в охватившем меня бешенстве слиться с Вами, сожрать Вас живьем. «Ее руки покоились бы тогда в моих руках, думал я, ее тело в моем теле. Кровь из сердца уходила бы не в артерию, а в ее сердце, и из ее сердца снова в мое. Кто бы знал, что она во мне? Всем бы казалось, что я дремлю, а внутренне мы бы все время болтали». И тысяча столь же невероятных идей питали мое безумие.

Как видите, сердце мое, теперь Вы не можете хотеть со мной встретиться... Моя любовь особого закала: чтобы что-то могло быть между нами, надо, чтобы Вы меня любили. А я, оценивая себя по справедливости, понимаю, что Вы меня любить не можете... Поскольку я уже вышел из того возраста, когда нравишься, я должен бежать от несчастья любить. Надеюсь, что все это постепенно успокоится, если только я не буду Вас видеть.

О, госпожа моя! Я оскорбил Ваши губы, поскольку коснулся их и не умер.

Женщина! Верни мне душу, которую ты у меня отняла, или дай мне другую взамен!»

Гюден, Ломени и Лентилак накинули покров на эту последнюю пылкую любовь. Правда, с годами пламя это стало сильно коптеть, но мы к этому еще вернемся. Тем не менее сейчас мы можем написать, не боясь ошибиться, что красивая Амелия полюбила, или ей показалось, что полюбила, своего усталого героя. В трагическом положении, в котором он вскоре окажется, она даст, как мы увидим, доказательство этих чувств, и тем самым мы поймем их характер. И вообще, разве надо кастрировать великих деятелей Истории, как только им стукнет шестьдесят? Есть время для написания «Искусства быть дедушкой», и есть время, чтобы бегать за барышнями. Стоит ли, потакая любопытству читателя и вызывая у него отвращение, публиковать некоторые письма, написанные в определенные минуты, письма, которых биограф не может не знать, стоит ли это делать явно против воли того или той, кто их писал в самые мрачные часы ночи? Понравится ли современным историкам, которые смакуют альковные радости по телефону, если записи их эротических разговоров будут передаваться по радио или продаваться в магнитофонных кассетах? Короче говоря, Амелия-Нинон стала его любовницей и разрешила ему до конца его дней следовать за ней, молодой, неотступно как тень.

В то время как один Бомарше был пленен маленькой ножкой Нинон, другой Бомарше играл с камнями. Строить — часто значит сооружать свою могилу. Или свой мавзолей. В этом Бомарше достиг совершенства. Дом, который он вдруг решил построить и который должен был после его смерти сообщить о нем потомкам, был и в самом деле удивительным. Дом этот был в чем-то похож на своего строителя и вместе с тем не похож: ибо все мы многое знаем о себе, а многого вместе с тем не знаем. В наших жилищах, сделанных по. нашим планам и нами обставленных, как бы Они ни были убоги, есть комнаты или уголки, которые нам по душе, а есть и другие, которые всегда были нам чужими, куда мы никогда не заходим; это комната, или гостиная, или, скажем, стул, принадлежащий кому-то другому. Мы ошибаемся в устройстве дома так же, как часто ошибаемся в оценке самих себя. Но не будем преувеличивать, ложь не единственный жилец в доме, просто она кое-где, в каком-то углу, у какого-то столика или кресла чувствует себя как дома.

Строить — это иногда значит воплотить свои сны. Некоторые жилища не что иное, как овеществленные сны. Архитектор тогда становится посредником твоей тайны. Рука проектировщика повинуется памяти, воображению, а иногда и безумию заказчика. От виллы Адриана до хижины почтальона Шваль тянется целая цепь «неповторимых» домов. Они определяются садами, которые их окружают или, точнее, продолжают. Сам дом играет в этих случаях ту же роль, что, скажем, глагол в предложении. В этих избранных местах есть, как мне кажется, свой синтаксис камня и природы. От тропинок парка к коридорам дома обычно ведут проторенные пути. Сон не делится на части. «Замок мечты» Бомарше был построен по этим особым правилам. Я не брежу, когда пишу об этом. Бомарше хотел стать хозяином дома, «на который ссылаются». На него ссылались. Он сразу же стал достопримечательностью Парижа. Едва успели разобрать леса, как люди устремились, чтобы на него посмотреть. Это был самый удивительный из дворцов, самая дорогостоящая фантазия, скажет потом Наполеон, который, будучи молодым офицером, попросил, видимо, как и все остальные, билет, чтобы иметь право прогуляться во владениях г-на де Бомарше. Самое невероятное здесь то, что первые годы после завершения строительства владелец «забыл» переехать в свою новую резиденцию и продолжал жить на улице Вьей дю Тампль. Его мавзолей долго стоял пустым. На что же он был нужен, если не на то, чтобы свидетельствовать о своем хозяине?

В 1787 году Бомарше купил у города Парижа гектар земли в «спокойном месте», в районе предместья Сент-Антуан. Вместе с послушным исполнителем его затей архитектором Лемуаном он перевел сперва свою мечту на бумагу и стал строить по этим планам. Точно так же как для издания сочинений Вольтера, он для своего нового дворца потребовал лучших мастеров и лучшие материалы. Вскоре мечта претворилась в реальность. Находя, видимо, что купленный им участок слишком обычного рельефа, Бомарше принялся изменять его, насыпая террасы, прокладывая аллеи и насаждая десятки ро-

щиц. Как только посетитель проходил в ворота, у него возникало ощущение, что он попал в какой-то другой мир, границы которого невидимы. За поворотом аллеи или миновав рощицу, посетитель вдруг обнаруживал то водопад, то часовню, то какую-то беседку или целую группу памятников в честь знаменитых людей. Читать надписи на них входило в ритуал осмотра парка.

Два стиха украшали бюст Пари-Дюверне.

Он просветил меня, и я его должник
За то немногое, чего достиг.

Сомнительного качества александрийский стих, вырубленный на фронтоне миниатюрного храма, прославлял Вольтера:

Он с глаз народов снял завесу заблужденья.

На памятной колонне в честь председателя суда Дюпати была начертана краткая надпись:

И мы, как все, скорбим о нем!

Статуи Платона и раба, играющего на цимбале, Бомарше поставил рядом. И объединил великолепным двустишием:

Кто мыслит, тот велик: он сохранит свободу;
Раб мыслить не привык, он пляшет вам в угоду.

Подобно Вольтеру, Бахус тоже получил право на отдельный храмик, к тому же окруженный колоннадой. Поскольку в этом храме можно было выпить и закусить, хозяин сочинил на кухонной латыни приглашение к столу:

«Erexi tamplum a Bachus
Amicisque gourmandibus[1].

На цоколе статуи Эрота — в этом сельском Пантеоне боги стояли бок о бок с писателями, судьями и финансистами — Бомарше как хороший отец велел изобразить надпись:

Не раз ты нарушал спокойствие семей;
Судьбу счастливую дай дочери моей!

Себя он, впрочем, тоже не забыл. Под железной решеткой в форме свода лежал обвитый зеленью простой камень, наполовину врытый в землю. Любопытный, наклонившись над камнем и раздвинув ветки, мог прочитать печальное послание исполненного разочарования владельца парка:

Прощай, былое, — сновиденье,
Что утром тает, как туман!
Прощайте, страсть и наслажденье,
Любви губительный дурман!

---

[1] Я воздвиг храм Бахусу
И друзьям, любителям попировать (*искаж. лат.*).

Куда ведет слепец могучий
Наш мир — мне это все равно;
Удача, Провиденье, Случай —
Я в них изверился давно.
Устал вершить я беспрестанно

Свой бег бесплодный наугад,
Терпим, и чужд самообмана,
И, как Мартин, покою рад,
Здесь, как Кандид в конце романа,
Я свой возделываю сад.

В этом зачарованном парке были и другие развлечения попроще. Дети, например, могли покататься на маленьком озере в прелестно украшенных лодочках, а влюбленные — скрыться в желанной полутьме зеленого грота. Что до философов всех возрастов, то китайский мостик, перекинутый через речку, призывал их к медитации. Я абсолютно убежден, хоть и не могу этого доказать, что на какой-нибудь лужайке к якорю был привязан странный и величественный монгольфьер или какой-нибудь другой летательный снаряд, словно приглашая отправиться в воздушное путешествие.

Где-то в парке, скрытая камнями и зеленью, была потайная дверь в подземный ход, ведущий на улицу Па-де-ля-Мюль. Как-то раз в 1792 году Бомарше пришлось им воспользоваться, что спасло его от верной гибели.

Главное здание дворца с полукруглым фасадом было окружено колоннадой и насчитывало двести больших окон. Самые современные строительные новшества были использованы в устройстве дворца, в частности сделано великолепное центральное отопление. Внутреннее убранство здания отличалось небывалой роскошью. Мрамор, красное дерево были главными отделочными материалами. Особое восхищение у посетителей вызывали размеры биллиардного зала с рядами кресел, как в соборах, искусно скрытое освещение большого салона и роскошество обстановки жилых покоев. Они не уставали подыматься и опускаться по спиральным лестницам, соединяющим разные этажи. Любителям живописи Бомарше демонстрировал коллекцию прославленных мастеров. Некоторые авторы, правда, утверждают, что все это великолепие было тем не менее на грани дурного вкуса. Впрочем, поскольку сам дворец и все окружающие его службы были разрушены во времена Реставрации, как нам составить об этом свое собственное мнение? От всего музейного богатства, от всех этих сокровищ, собранных Бомарше, его наследникам удалось сохранить только его секретер с инкрустациями великолепной работы. Можем ли мы по этой единственной вещи, как это сделал Кювье, восстановивший по одному позвонку весь скелет ископаемого, восстановить интерьер дворца Бомарше? Боюсь, что нет. Но этот редкостный секретер дает нам хотя бы представление об изысканности вкуса хозяина дома. Ведь сумел же поставить этот выскочка в свой кабинет секретер, которому позавидовал бы сам король.

В непосредственной близости от дворца Бомарше — на этот раз муравей в нем одолел стрекозу — построил несколько доходных домов. Вот их описание, сделанное присяжными поверенными Батаром и Шиньяром: «1. Дом для найма с входом в ворота с улицы Антуан Амело, двор, конюшни, сараи, семь полных квартир и две маленькие. 2. Восемь лавок с задними помещениями, антресолями и витринами, выходящими на улицу Сент-Антуан, между улицей Амело и бульваром. 3. Помещение для сдачи в наем, выходящее на бульвар, между воротами дома и улицей Сент-Антуан, состоящее из первого этажа и антресолей, и т. д.».

Про человека, который строит себе резиденцию, шутки ради говорят, что он разорится. Так говорили о Бомарше. По изначальному подсчету Лемуана, стоимость строительства всех объектов должна была обойтись в 300 тысяч франков, а, чтобы довести все работы до конца, Бомарше пришлось истратить в шесть раз большую сумму. В 1789 году выставлять напоказ эти внешние признаки богатства было не очень-то дальновидно.

Я уже говорил, что Бомарше, чтобы построить свой дворец, выбрал тихий квартал. В самом деле, из его окон было видно только одно здание, находящееся неподалеку: Бастилия.

17

ПОСЛЕДНЯЯ АВАНТЮРА

Я слышу шаги... они приближаются.
Вот решающая минута.

14 июля 1789 года Бомарше, как и Людовик XVI, мог бы записать в своем дневнике: «Ничего». Самое удивительное, что событие, ими же подготовленное, нередко застает людей врасплох! Точно острота интуиции притупляет трезвость оценки положения. В течение всего своего царствования Людовик XVI опасался революции. Добросовестные историки не могут поставить под сомнение прозорливость короля. И тем не менее 14 июля 1789 года он не ощущал особой тревоги: «Ничего», не так ли? Вот и Бомарше, который, как мы видели, был зачинателем грандиозного переворота и не переставал писать о его неотвратимости, оказался ошеломлен неожиданностью, когда события вдруг подтвердили его собственную правоту. Людовик XVI боялся, Бомарше — желал «взятия Бастилии», но оба они именно потому, что это событие неотступно занимало их воображение, видели его как бы вне времени. Таков жребий тех немногих, чей глас вопиет в пустыне: они предвидят, но не видят. А впоследствии филистеры *и* глупцы учиняют суд над ними. Вернемся, однако, к Бомарше, если мы его покинули...

2 апреля того же 1789 года, в первые месяцы которого свирепствовали жестокие морозы, Бомарше выиграл в парламенте процесс

против Бергаса. Однако в глазах народа его победа была победой богача, тесно связанного с существующим строем, над «неподкупным». Для многих Бомарше стал символом ненавистного общества, а для некоторых — и человеком, с которым пора покончить. На стенах его дома появляются оскорбления и угрозы, кто-то разбивает кариатиды Жермена Пилона, украшающие ворота особняка. Однажды вечером на пустынной улице сторонники Бергаса даже пытаются убить Бомарше. Он защищается с чертовской отвагой и обращает нападающих в бегство. Любопытное дело, если его творческие способности с возрастом мало-помалу слабеют, то мужество, характер и нервы с годами не перестают крепнуть, В непрестанной борьбе со смертью вырабатываются привычки, хорошие привычки: Бомарше не обороняется, он — нападает. Но его противники неистощимы на выдумки — не удалась физическая расправа, они затевают снова хитроумную кампанию, чтобы подорвать его репутацию и сломить морально.

1789 год, начавшийся в холоде, продолжается в голоде. Весной не хватает хлеба. Государство разваливается, безработица и разбой, охватившие всю страну, серьезно подрывают ее экономику, еще недавно цветущую. Перебои в снабжении Парижа, как обычно в подобных обстоятельствах, позволяют «коммерсантам» фантастически наживаться на всеобщей нужде. В революционные годы внешние проявления богатства раздражают народ, как красная тряпка — быка, вызывают возмущение. Богач — становится синонимом вора. Это не всегда соответствует истине. В действительности спекулянты и те, кто нажился на революции, по большей части дождутся одни Директории, другие империи, чтобы открыто изменить свое социальное положение. Но беднякам дела нет до подобных тонкостей, и стоит ли этому удивляться? Богатство Бомарше слишком лезло в глаза, чтобы выглядеть нажитым честно. Владельца дворца в предместье Сент-Антуан не замедлили обвинить в том, что он прячет там солидные запасы зерна и муки. Как раз тогда же толпы голодных разграбили и сожгли жилища Ревейона и Анрио, чересчур роскошные, чтобы не заподозрить, что в них вложены барыши от спекуляций на лишениях парижан. Напрасный труд: хлеба там не оказалось. Вот тут-то и прошел слух, будто его прячет Бомарше. Весь парижский хлеб явно залеживался в его фараоновых подвалах. Бомарше, предупрежденному об опасности, хватило ума и осторожности предложить своим обвинителям обыскать дом вместе с жителями квартала. Эта «операция открытых дверей», как мы сказали бы сегодня, на некоторое время восстановила его доброе имя в глазах народа Парижа, который вообще склонен скорее к восхищению и почитанию *прекрасных произведений,* нежели к погромам. Не народ, а буржуазия XIX века привела в упадок и запустение Версаль.

14 июля 1789 года семейство Бомарше вместе с друзьями Наблюдает из окон его дворца — двести окон по фасаду — взятие Бастилии, точно так же, как ныне некоторые любуются из зданий, расположенных на Елисейских полях, военным парадом в честь первого

республиканского праздника. Как я уже сказал, наш герой, подобно большинству своих современников, не оценил всей значимости этого события. Лето 1789 года для Бомарше отмечено в первую очередь завершением кельнского издания Вольтера. Книгоиздатель и книготорговец, он занят мыслями о выпуске в свет монументального собрания сочинений другого «пророка», Жан-Жака Руссо, и заботами о распространении своего издания Вольтера. Бомарше, впрочем, далеко не единственный, кто продолжает жить, словно не происходит ничего из ряда вон выходящего, свидетелем тому некий г-н Лостен, президент палаты торговых пошлин в Ретель-Мазарен, в Шампани, недовольный подписчик, имевший неосторожность направить наглое письмо издателю, у которого, естественно, нашлось время ответить ему в своей обычной манере:

«Париж, сего августа 4 числа 1789 года.

Вы, господин президент, возможно, единственный человек, не знающий того, о чем мы оповестили всю Европу почти год тому назад через иностранные газеты, поскольку доступ во французские нам тогда был закрыт: а именно, что издание сочинений Вольтера полностью завершено и находится в рассылке, за исключением последнего тома, содержащего биографию и оглавление, который будет разослан отдельно.

Вы, сударь, возможно, единственный человек, не знающий также, что нами были публично проведены, тому вот уже более трех лет назад, две бесплатные лотереи — подарок стоимостью в 200 000 франков, сделанный нами нашим подписчикам, что выигрыши пали на все билеты, содержащие в номере цифру 4 для издания ин-фолио или цифру 6 для второго издания ин-кварто, и что оные выигрыши, в денежной сумме или в экземплярах издания, выплачиваются владельцам билетов по мере того как они являются за получением.

И, наконец, сударь, Вы, возможно, единственный человек, не знающий, что подписчикам на издание ин-кварто предстоит получить 24 тома, а не 13. Всего этого, конечно, можно и не знать, живя в Ретель-Мазарен, в Шампани, и не читая газет, но, где бы человек ни жил, сударь, ему должно знать, что, прежде чем учить добропорядочности других, следует задуматься, не нуждаешься ли сам в нескольких уроках сдержанности и учтивости, ибо мало быть президентом палаты торговых пошлин в Ретель-Мазарен, в Шампани, нужно прежде всего быть воспитанным человеком — с этим никто не станет спорить.

Поскольку Вы, однако, несмотря на все Ваше обоснованное негодование, милостиво удостоили почтить меня выражением Ваших самых совершенных чувств, назвавшись моим слугой, позвольте и мне, чтобы не отстать, заверить Вас в том, что я преисполнен изысканнейшей благодарности за преподанные мне уроки и остаюсь, господин президент палаты торговых пошлин и т. д., Вашим нижайшим и т. д.

Карон де Бомарше,
солдат-гражданин Парижской буржуазной гвардии».

Датированное 4 августа 1789 года, это письмо никак не отражает страстей, обуревавших парижские головы в то достопамятное лето, но тем не менее мы может почерпнуть из него некоторые сведения: во-первых, Пьер-Огюстен Карон все еще остается *де* Бомарше, но, во-вторых, он — солдат парижской буржуазной гвардии. Его дворянство, на которое он всегда имел только квитанцию, не дало ему никаких привилегий, если не считать права на беспрепятственный вход в дворцовые покои. Ни ночь на 4 августа, ни Декларация прав человека, провозглашенная 26 числа того же месяца, ничуть его не удивили. Разве не был он первым, кто — с помощью Фигаро — нанес решающий удар существующему строю? Разве в монологе, произнесенном публично 27 апреля 1784 года, он не потребовал — и с какой силой, с какой отвагой, с каким красноречием — отмены всех привилегий и не дал ясного определения прав человека? Однако насилие, несправедливость, смута отравляли ему уже в ту пору все удовольствие. Будучи председателем избирательного округа Блан-Манто в квартале Тампль, он использовал свои скромные возможности для спасения несчастных, независимо от того, к какому из лагерей они принадлежали. В разгар восстания, 15 июля, он отважился воспрепятствовать убийству одного из солдат Немецкого полка, уведя его к себе в дом и снабдив гражданским платьем, чтобы тот мог ускользнуть от преследователей. Бомарше всегда инстинктивно ощущал себя принадлежащим к лагерю жертв. Он рисковал всем при старом режиме, но и при режиме революционном будет подвергать себя риску ничуть не меньше. Прежде он боролся за права человека, теперь станет бороться за права личности. Этот агностик неизменно вел себя как христианин. Неспособный к ненависти, он ни в ком не видел врага, только — противника. Столь же неведомо ему было злопамятство, его сердце, его кошелек, его дом были открыты первому встречному.

Но в смутные времена *первые встречные,* нежданные ночные гости редко являются с обычным визитом — за ними по пятам следует судебная процедура, а то и смерть. Эти две потаскухи не замедлили взять Бомарше на заметку.

Духовная независимость, сопротивление моде или повальному увлечению, склонность держаться особняком, в стороне или в отдалении — качества, присущие большинству великих писателей. В революционные эпохи такая позиция неизменно наталкивается на непонимание, а нередко и превратно истолковывается. Альбер Камю стал выражать вслух свою тревогу по поводу излишне широких репрессий еще в конце 1944 года. Нельзя одержать победу раз и навсегда, каждый раз приходится начинать сызнова. Человек не может не бунтовать. 14 июля 1789 года, в день *своей победы,* Бомарше бессознательно переходит в лагерь оппозиции. «Желая выпрямить наше дерево, — напишет он два года спустя, — мы согнули его в другую сторону». И это правда.

Вот два примера того, как Бомарше вступает в противоречие сам с собой. В 1789 году, настаивая на своем праве участия в ассамблее

округа Блан-Манто, он объясняет тем, кто отводит его, как аристократа, что отказался, «несмотря на двадцатилетнюю службу, от получения грамот, подтверждающих давность его дворянства, поскольку ценит только человеческое достоинство и сознает, что, не предъявляя сих грамот и тем самым теряя дворянские привилегии, он возвращается в буржуазное сословие». И Бомарше добавляет: «Мое место здесь!»

Приобретя дворянство в 1763 году, он еще в 1783 году был вправе получить грамоты, подтверждающие давность его принадлежности к этому сословию, что позволяло ему передать свои привилегии возможным наследникам: он сознательно этого не сделал. Тем не менее Бомарше не желает вернуться снова к имени Карон: отмена Учредительным собранием дворянских привилегий представляется ему такой же нелепостью, как само дворянство. Со свирепой издевкой он пишет жене 22 июня 1790 года: «Что с нами будет, дорогая? Вот мы и утратили все наши звания. У нас остались только фамилии, без гербов и ливрей! О праведное небо! Какое расстройство! Позавчера я обедал у г-жи Ларейньер, и мы обращались к ней как к г-же Гримо, коротко и без всяких условностей. Его преосвященство епископа Родеза и Его преосвященство епископа Ажана мы называли в лицо господин такой-то; не сохранив ничего, кроме своего имени, мы все выглядели как на выходе с какого-нибудь зимнего карнавала в Опере, когда маски уже сняты». Один нелепый предрассудок пришел на смену другому.

Теперь — о свободе вероисповеданий. После того как он долго боролся за права протестантов, Бомарше, чей антиклерикализм отнюдь не притупился, берет на себя риск настаивать на необходимости умножения церковных треб, в которых нуждаются католики округа Блан-Манто. Ломени цитирует в своей книге письмо Бомарше от июня 1791 года, адресованное муниципальным чиновникам; тут даже не знаешь, чему больше удивляться — его мужеству или его хитроумию. Письмо длинновато, но каждое слово в нем — на вес святой воды:

«Господа,

Граждане улицы Вьей дю Тампль и нескольких прилежащих улиц единодушно обращают ваше внимание на то, что в связи с удаленностью церквей Сен-Жерве и Сен-Проте, коих они являются прихожанами, а также с редкостью служб, в них отправляемых, те, кто вынужден сторожить дома, пока другие выполняют свои главнейшие христианские обязанности, нередко оказываются перед невозможностью выполнить их в свою очередь. Женщины, отроки, все благочестивые и чувствительные души, кои черпают в религиозных отправлениях сладкую, полезную и даже необходимую пищу, с полного согласия своего достопочтенного кюре присоединяют свой голос к гражданам округи, умоляя вас отдать приказание, чтобы в часы литургии для них была открыта внутренняя часовня госпитальерок Сен-Жерве, как дано было подобное разрешение гражданам, проживающим по улицам Сен-Дени и Ломбар, для коих была открыта часовня госпитальерок Сент-Катрин. Наш достопочтенный

кюре даже предлагает, господа, умножить число треб, необходимых для сего обширного квартала, соглашаясь служить лишнюю обедню в церкви Блан-Манто.

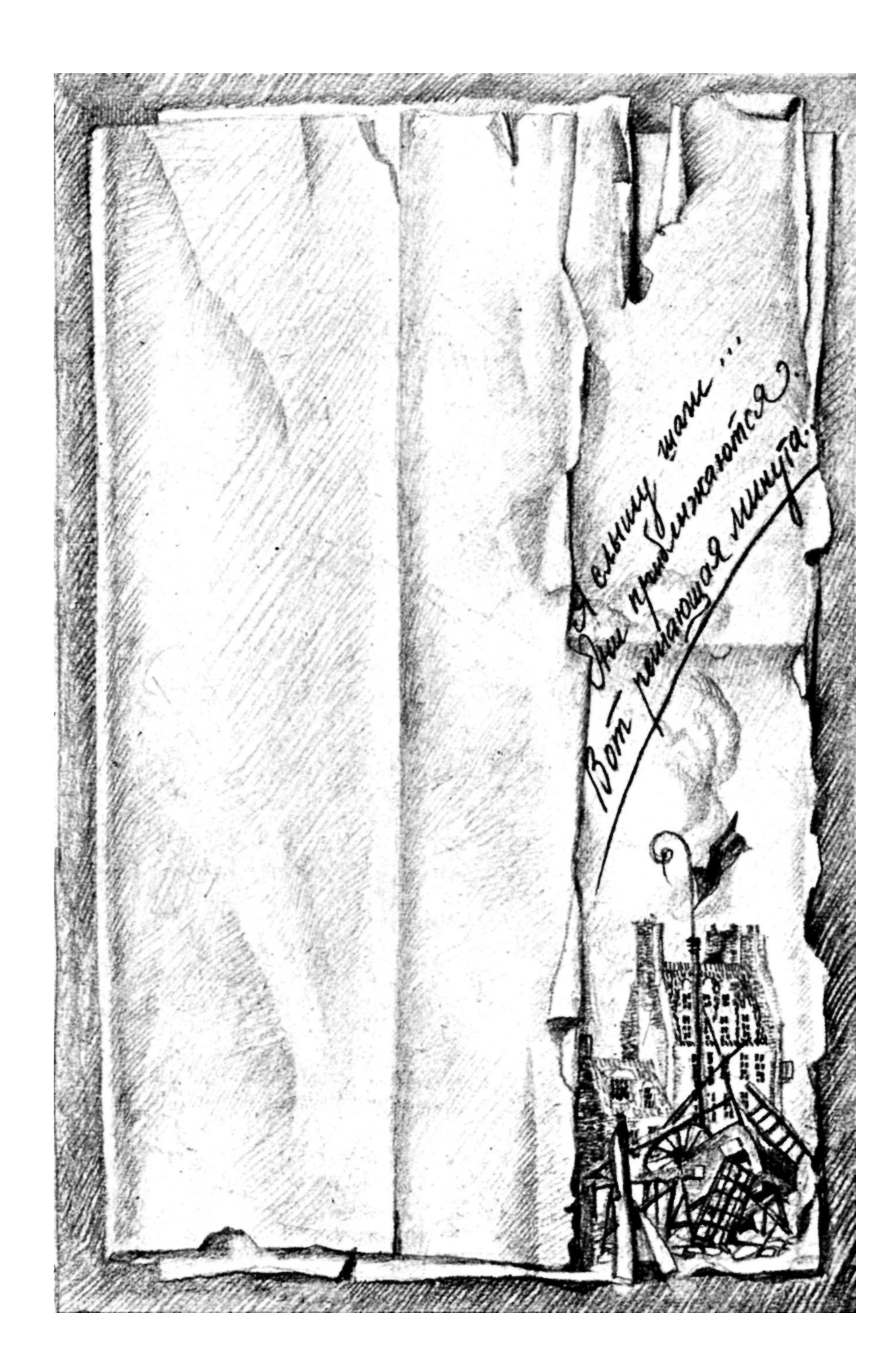
И я, коему все они поручили составить эту петицию, хотя я и наименее набожен из всех, я, сознавая, что просимое разрешение необходимо как для регулярного отправления религиозных обязанностей, так и для пресечения недостойных разговоров врагов родины, кои сеют повсюду слухи, что забота о гражданском благе не более чем предлог для уничтожения религии, я вместе со своей женой, дочерью, сестрами, вместе со всеми моими согражданами и их домочадцами прошу вас дать согласие на то, чтобы все эти добрые христиане, нуждающиеся в церковной службе, могли по меньшей мере удовлетворить сию потребность. Мы воспримем ваше справедливое решение как милосердный акт, столь же воздающий честь вашей преданности католической вере, сколь эта петиция свидетельствует о преданности ей моих сограждан и моей собственной.

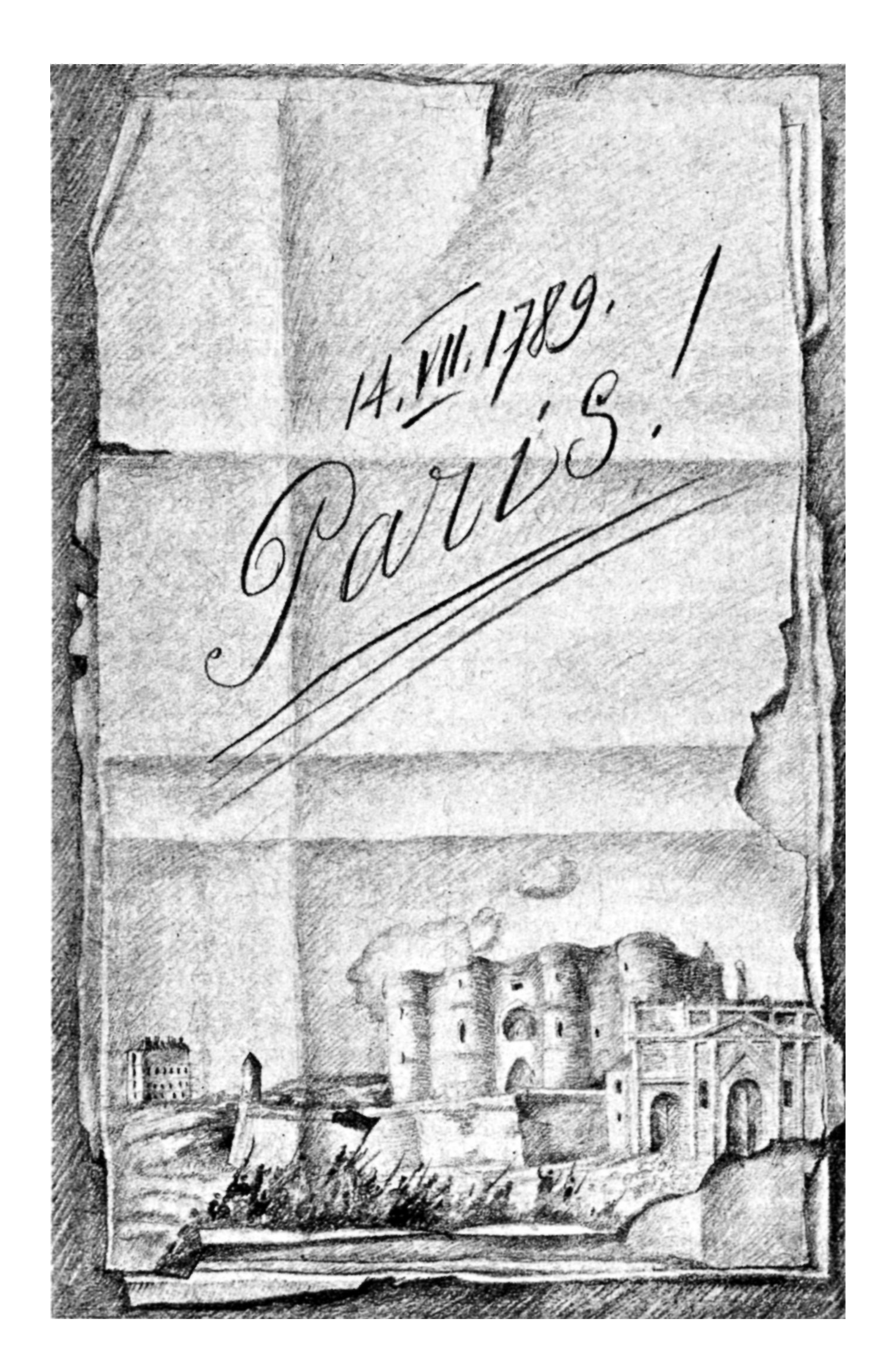
Бомарше».

Летом 1789 года Бомарше вновь довелось скрестить шпаги с Базилем. Обвиненный опять во всех смертных грехах, приговоренный анонимными корреспондентами к позорной смерти («тебе не выпадет даже честь быть повешенным на фонаре»), он ответил, прибегнув к своему обычному оружию — бичующим мемуаром. Само дело не заслуживает детального рассмотрения, но именно оно побудило Бомарше написать «Жалобу господам представителям Парижской коммуны от Пьера-Огюстена Карона, члена сего представительного органа». Некоторые Из членов Коммуны, прислушавшись к клеветническим наветам, были склонны *признать недействительными* полномочия Бомарше. Им пришлось отказаться от своего намерения. Как и в других полемических произведениях, Бомарше в «Жалобе» остроумен и логичен. К сожалению, она страдает обычными пороками документов самозащиты, но мог ли Бомарше писать иначе? «Они утверждают, что вся моя жизнь — сплетение мерзостей. Они вынуждают меня говорить о себе хорошо, поскольку говорят обо мне плохо».

Но ни глупость одних, ни злоба других, ни ненависть Бергаса, члена Законодательного собрания, не могли омрачить энтузиазм неутомимого реформатора. В эти годы Бомарше, действительно, отдает больше времени прославлению добродетелей нового общества, нежели разоблачению его пороков. Конституционный монархист, человек либеральных убеждений, он черпал глубокое удовлетворение в обещаниях 1789 года. И даже решил отпраздновать на свой манер годовщину взятия Бастилии — новой постановкой «Тарара», для которой он переделал текст, восстановил строфы, вычеркнутые цензурой. Бомарше обратился к Сальери с просьбой внести изменения в музыку. В этом письме он открывает душу:

«Друг мой, Вы даже не можете вообразить энтузиазма, возбуждаемого здесь великим праздником 14 июля; когда из-за нерадения пятнадцати тысяч рабочих, насыпающих земляной вал вокруг Марсова поля, где должна состояться праздничная церемония, возникли


Я слышу шаги...
Они приближаются.
Вот решающая минута...


14. VIII. 1789.
Paris!

опасения, что работы не будут завершены в срок, к месту работ стеклись все граждане Парижа и все, от мала до велика, от Монморанси до последнего портового угольщика, мужчины, женщины, священники, солдаты копают землю и возят ее на тачках. Мне сказали, что сегодня вечером туда прибудет король и члены Национального собрания, чтобы подбодрить работающих; нет конца веселью, песням, пляскам! Ни одна страна еще не знала подобного опьянения; четыреста тысяч человек смогут наблюдать со всеми удобствами зрелище, великолепней которого земля еще никогда не предлагала небу».

Это — 14 июля 1790 года. К следующей годовщине Бомарше придумал воздвигнуть там же, на Марсовом поле, гигантский монумент богине Свободы. В отличие от обыкновенного литератора, он тут же подсчитал, во что могут обойтись его фантазии и построения. Тщательно изучив вопрос, Бомарше направил президенту Национального собрания свой проект, к которому была приложена смета. Как водится — *«Я* выступаю, *я* выдвигаю, *я* воздвигаю».

«Посреди гигантской круглой арены, на квадратном возвышении длиной в 210 футов по фасаду я воздвигаю триумфальную колонну высотой в 148 футов, к основанию которой ведет лестница в сорок ступеней, образующих квадрат со сторонами в 120 футов; в четырех углах эстрады устроены помещения кордегардий, которые, будучи связаны между собой подземными переходами, могут служить во время празднеств для размещения национальных гвардейцев, общим числом до семи или восьми тысяч человек...

Предлагаемая стоимость алтаря Отчизны, то есть строительства самого каменного здания вместе с плотницкими, слесарными, столярными и земляными работами, — 2 550 000 франков.

Выполнение в мраморе и бронзе всех его частей, обозначенных на модели, обойдется в 1 500 000 франков.

Итого: 4 050 000 франков».

Бомарше, естественно, предусмотрел, как именно должно финансироваться строительство этого грандиозного монумента — по меньшей мере в двести метров высотой. Парижскому муниципалитету предлагалось внести первый миллион, а восьмидесяти двум департаментам — три остальных, по 36 660 франков каждому.

Национальное собрание не приняло этого проекта, и исполинская башня на Марсовом поле была воздвигнута лишь сто лет спустя, при совершенно иных обстоятельствах и совершенно иная по форме.

Именно в это время, осенью 1790 года, Бомарше приступил или вернулся к созданию «Преступной матери». Мы еще скажем об этой пьесе. Но было бы чистым безумием думать, что его труды сводились к писанию драмы, сотен писем и вычерчиванию на бумаге своей «Эйфелевой башни». На досуге он по-прежнему занимался делами, как прекрасными, так и не столь почтенными, извлекая из них, разумеется, доходы, позволяющие ему жить на широкую ногу и содержать немало людей. В 1790 году этот добрый самаритянин уже не довольствуется тем, что отвечает всем, кто взывает к его сердцу и,

следовательно, кошельку — за один месяц четыреста двадцать просьб от частных лиц ссудить их деньгами! — у него теперь возникает потребность субсидировать целые общины — Парижский монастырь Божьей матери Заступницы, Лионское благотворительное общество, не говоря уж об оплачиваемых им койках в больницах для бедных, о деньгах, которые он раздает парижским солдатам, — 12 000 франков за один день! Я, впрочем, не могу поверить, что его щедрость, его доброта неизменно наталкивались на неблагодарность. Напротив, я полагаю, что с годами Бомарше приобрел, не ставя себе этого, разумеется, целью, множество друзей. Если ему удается почти всегда взять верх над своими бесчисленными врагами, то, возможно, именно потому, что в трудные минуты он получает неоценимую помощь от тех, кто был ему обязан и у кого хватало ума не злобствовать за это. Что касается недоброжелательства, с которым он так часто сталкивался, несправедливо было бы приписывать это исключительно злонравию его недругов. Бомарше отнюдь не добродетельный персонаж мелодрамы, в которой Лаблашу или Бергасу отводится роль злодея. Надо признать, что на протяжении всей своей жизни, и особенно к ее концу, Бомарше пожинал плоды собственной заносчивости. Присовокупите к этому милому пороку неумеренную склонность к вызывающим поступкам. Он не пожелал, например, как я уже упоминал, отказаться от имени де Бомарше. Ничего удивительного, мы ведь знаем, сколь неудержимо жаждал он приобрести собственное лицо и каких усилий ему стоило явиться на свет. Но когда он счел нужным возвестить городу и миру, что женится в третий раз, ему показалось необходимым дать объяснение, почему именно он не подчиняется декрету Учредительного собрания:

«Я доказал в воскресенье, что поместье, именуемое Бомарше, мне уже не принадлежит и что декрет, требующий отказа от прозваний по землевладению, не распространяется на имена, кои берет человек, вступая на боевое поприще, — а именно под прозванием де Бомарше я всегда побеждал своих трусливых недругов».

Эпохи исторических переломов менее всего чувствительны к юмору. Хотя революционеры знают силу броских фраз, они отнюдь не поклонники острословия и каламбуров. По правде говоря, Бомарше был единственным человеком, оценившим собственное остроумие. Остальным оно не пришлось по вкусу.

Точно так же как не по вкусу им было и то, что он одной ногой оставался в королевском дворце. Я уже употребил слово «реформатор». Бомарше знал, что политическая борьба никогда не прекращается, и сам ее вел. Разве не он — почти в одиночку поверг в прах парламент Мопу? Разве не он втянул впоследствии Людовика XVI в борьбу за независимость Соединенных Штатов Америки? Разве не была отмена дворянских привилегий в значительной мере победой Фигаро? И разве не принесли плодов настойчивые усилия Бомарше как в области торгового законодательства, так и в области восстановления гражданских прав протестантов? Что касается идеи, как мыслитель он был более чем близок Революции. Но государственный

человек, никогда не засыпавший в нем, был сторонником порядка и почитателем закона. И в то необычайное десятилетие — от 14 июля 1789 года и до дня своей смерти — он, как мы увидим, разрывался между желанием увидеть торжество Революции и столь же неодолимой жаждой удержать Францию — как бы это поточнее выразиться? — от карнавального хаоса. Естественно, многие из писавших о нем расценивали эти колебания как доказательства его двоедушия. Его бесчестности! Однако превыше любых политических систем — стоял ли во главе государства король, Комитет общественного спасения или Директория — Бомарше ставил Францию. Доведись ему дожить до империи, он, нет сомнения, служил бы Наполеону, на свой манер, иными словами, готовый снова оказаться в тюрьме. Ибо — необходимо еще и еще раз напомнить об этом — так называемая деловая хватка неизменно ставила Бомарше под угрозу потерять жизнь или самое дорогое, что у него было — свободу. Пусть это даже вызовет негодование читателя, я не отступлюсь от своего: из всех деятелей литературы, о которых мы сохранили память, Бомарше достоин наибольшего уважения. И я тем упорнее настаиваю на этом, что завтра прославленные историки, располагающие теми же документальными ресурсами, что и я, не говоря уже о ресурсах своего таланта, почтут за благо вернуться к давним клеветническим наветам. Эпиграфом к их трудам могли бы послужить слова Бомарше: «Прежде всего оклевещем его, а уж затем вменим ему в вину дурную славу, которую сами создали».

Итак, он продолжал общаться с королем, поскольку, будучи наполовину республиканцем, на вторую половину оставался роялистом. Наполовину пессимист, он никогда не терял в душе надежды. И только его веселье было неделимым и неизменным: «Сейчас [в 1789] у нас крепости вместо дворцов, а оркестром служат пушки. Улицы заменяют нам альковы: там, где слышались томные вздохи, громко славословят свободу: «жить свободными или умереть» звучит вместо «я тебя обожаю». Такие-то у нас игры и забавы. Любезные Афины преобразились в суровую Спарту; но поскольку любезность — наше врожденное качество, мир, вернувшись, вернет нам наш истинный характер, только на несколько более мужественный лад; наше веселье снова возьмет верх».

Примерно то же говорил в это время Людовик XVI: «Пора бы нации вспомнить о своем счастливом характере». Должен ли я обращать ваше внимание на то, что это заявление было сделано *после* бегства в Варенн и расстрела республиканской демонстрации на Марсовом поле! По правде говоря, лето 1791 было самым обманчивым временем года. Предательство короля, кровь, пролитая у подножия алтаря отечества, были на некоторое время преданы забвению. На первый взгляд «взяло верх» то, что мы теперь называем молчаливым большинством. Так Туре, председатель Учредительного собрания, мог, закрывая последнее его заседание, произнести без всякой иронии свою историческую фразу: «Сир, Ваше Величество покончили с революцией!»

Но Бомарше этого не думал. За пятнадцать дней до роспуска Учредительного собрания, которое разошлось в самом радужном настроении, совершенно не понимая сложившейся обстановки, Бомарше писал о своих тревогах и отвращении Бомезу, депутату, с которым был в дружеских отношениях:

«Кто бы мог помыслить, что завершение столь великого дела будет опозорено дебатами самого гнусного толка и что мы подарим нашим внешним и внутренним врагам подобный триумф, позволив им узреть Учредительное собрание на грани краха в тот самый момент, когда его полномочия должны были бы обрести особую значимость? <...> Вы вносите смятение в наши ряды, оздоровит ли их это адвокатское законодательное учреждение, сформированное при помощи всяческих интриг? Я знаю о нем слишком много, чтобы не умирать от огорчения в предвидении всех невзгод, готовых обрушиться на Францию».

Он отнюдь не ошибался. Все эти «невзгоды» — обесценение ассигнаций, голодные бунты, затем война, объявленная Францией «королю Богемии и Венгрии», — еще ухудшили положение, с которым не могли, разумеется, совладать сменявшиеся один за другим министры — за лето Бомарше «перепробовал» их не менее дюжины. В последние недели царствования у Людовика XVI возникла мысль назначить Бомарше министром внутренних дел. К счастью, эта затея не осуществилась. Бдительный Бомарше вовремя увернулся.

Бедствия, переживаемые отечеством, которому он решил, как мы увидим дальше, помочь на свой лад, не мешали Бомарше заниматься драматургией. «Преступная мать», сыгранная впервые 6 июня 1792 года в маленьком театрике Марэ, главным акционером которого был сам Бомарше, оказалась его последним произведением, написанным для сцены. Для репутации драматурга было бы, без сомнения, лучше, если б эта вещь вовсе не увидела света. Но Бомарше держался за нее по двум причинам. Если его послушать, «Преступная мать» являлась заключительной частью трилогии. «Вволю посмеявшись в первый день на «Севильском цирюльнике» над бурной молодостью графа Альмавивы, в общем такой же, как и у всех мужчин; на другой день с веселым чувством поглядев в «Женитьбе Фигаро» на ошибки его зрелого возраста — ошибки, которые так часто допускаем и мы, — приходите теперь на «Преступную мать» и, увидев картину его старости, вы вместе с нами убедитесь, что каждый человек, если только он не чудовищный злодей, в конце концов, к тому времени, когда страсти уже остыли и особенно когда он вкусил умилительную радость отцовства, непременно становится добродетельным...». Когда «Преступная мать» была возобновлена в 1797 году, Бомарше заверял в письме к одному критику: «Я проработал двадцать лет, создавая [эту] запутанную интригу». Следует ли ему верить? Не знаю. Ясно одно — он заблуждается или делает вид, будто заблуждается, когда утверждает, что главный герой его комедий — Альмавива. Нам известно, что, не будь Фигаро, они утратили бы душу и жизнь. Конечно, Фигаро есть и в «Преступной матери», он присутствует, действует, но он потерял главное — Бомарше уже не

говорит или почти не говорит его устами. Другой довод Бомарше выглядит убедительнее — несмотря на относительную неудачу своих драм и триумфальный успех своих комедий, он не желает отказаться от серьезного жанра. В предисловии к «Преступной матери» мы, естественно, найдем имена Ричардсона и Дидро, а также цитаты из последнего, восхваляющие первого: «Живописец сердца человеческого! Ты один никогда не лжешь!» Сбитый с толку этим утверждением, вообще-то довольно спорным, Бомарше восторженно восклицает: «Как это прекрасно сказано! Я тоже все еще стараюсь быть живописцем человеческого сердца...» Увы! Впрочем, трезвость ума заставляет его тут же добавить: «...но мою палитру иссушили годы превратностей судьбы. Это не могло не сказаться на „Преступной матери"». Следует отметить, в своем предисловии автор дважды и совершенно недвусмысленно выражает тревогу: «Быть может, я слишком медлил с окончанием этой мучительной вещи, надрывавшей мне душу; ее надо было писать в расцвете сил». И: «Когда я написал две другие пьесы, меня долго ругали за то, что я осмелился вывести на сцену того самого молодого Фигаро, которого впоследствии вы полюбили. Я тоже тогда был молод, и я над этим смеялся. С возрастом расположение духа становится все более мрачным, характер портится. Несмотря на все усилия, я теперь уже не смеюсь, когда злодей или мошенник, разбирая мои произведения, оскорбляет мою личность, тут уж ничего не поделаешь». Какое признание! Искренность Бомарше достойна восхищения. Но успокойтесь — он несколько преувеличивает: склонность или способность смеяться утратил только драматург.

Бомарше, которому хватило нескольких строк, чтобы пересказать сюжетную канву двух своих комедий, оказался бы в гораздо большем затруднении, вздумай он резюмировать содержание «Преступной матери». Как правило, это дурной знак, когда речь идет о театре. Мы не рискнем излагать перипетии невероятной и невнятной интриги «Преступной матери». Но несколько замечаний все же необходимы. У этой драмы — или, скорее, мелодрамы — два названия: «Преступная мать» или «Второй Тартюф». Соседство Мольера? Разумеется, но, я полагаю, Дидро тут куда ближе. В пьесе есть, конечно, персонаж, напоминающий знаменитого героя Мольера своей злокозненностью, но он разительно отличается от последнего полным отсутствием какой-либо тайны. Бежарс — так он зовется в пьесе — очерчен словно одной линией, притом — чернее черной. Хотя он и обманывает своими махинациями Альмавиву, заворожить того ему не удается. Подлинного конфликта между главными героями драмы, в сущности, нет. Страсти — не больше. Бомарше взял из «Тартюфа» одну или две ситуации, отнюдь, разумеется, этого не маскируя; у обеих пьес похожая развязка — внезапная. Только это и роднит «Преступную мать» с Мольером, не так уж много. Бомарше использовал для своего Тартюфа другую модель. Кто такой Бежарс, если не Бергас — адвокат, гнусности которого у вас еще в памяти? Многие критики, и, в частности, Лагарп, порицали автора за то, что он вывел на сцену живущего человека. И с единствен-

ной целью — ему отомстить! Не берусь судить. Разве разделываться с покойниками достойнее? Погрешность вкуса, не спорю, но Бомарше вообще был не силен по этой части — он никогда не знал, как далеко можно зайти и где следует остановиться. Но если он не всегда оказывался на высоте в зыбучих песках хороших манер, во всем другом неизменно выказывал незаурядную отвагу. Бергас, депутат Национального собрания, был в ту пору человеком могущественным и опасным. Публично нападая на него — да еще в пьесе! — Бомарше не искал легкой жизни.

Следует отметить, что «Преступная мать» была первой настоящей мелодрамой. Автор нашел здесь сценические аксессуары, без которых театр не сможет обойтись на протяжении почти всего XIX века — хотя бы пресловутый ларец с двойным дном. Когда героям «Преступной матери» нужно написать письмо, они, ничтоже сумняшеся, макают перо в собственную кровь. Женщины тут падают в обмороки и приходят в сознание после того, как им дадут понюхать соли или выпить «капли». Упомянул ли я, что Альмавива, великий коррехидор Испании, здесь стал или вот-вот станет — революция обязывает — просто господином Альмавивой? С 1789 года графиня «выезжает без ливрейных лакеев» — «совсем как простые смертные». Не будь Фигаро, супруги Альмавива кончили бы, вероятно, заурядным разводом. Обуржуазившись, муж и жена, как ни странно, приобрели манеру выражаться крайне высокопарно; о напыщенности их разговора может дать представление следующий отрывок, непредумышленный комизм которого представляется мне убийственным:

«Графиня *(в самозабвении, закрыв глаза).* Господи! Велико же было мое преступление, если оно равно наказанию! Да будет воля твоя!

Граф *(кричит).* И, покрыв себя таким позором, вы еще осмеливаетесь допрашивать меня, почему я испытываю к нему неприязнь!

Графиня *(молится).* Как могу я не покориться, когда на мне отяготела десница твоя?

Граф. И в то самое время, когда вы заступались за сына этого презренного человека, на руке у вас был мой портрет!

Графиня *(снимает браслет и смотрит на него).* Граф, граф, я возвращаю вам его. Я знаю, что я его недостойна. *(В полном самозабвении.)* Господи! Что же это со мной! Ах, я теряю рассудок! Помраченное мое сознание рождает призраки! Я еще при жизни осуждена на вечную муку! Я вижу то, чего нет... Это уже не вы, это он: он делает знак, чтобы я следовала за ним, чтобы я сошла к нему в могилу!

Граф *(в испуге).* Что с вами? Да нет же, это не...

Графиня *(бредит).* Зловещая тень! Удались!

Граф *(болезненно вскрикивает).* Это вам чудится!

Графиня *(бросает на пол браслет).* Сейчас!.. Да, я повинуюсь тебе...

Граф *(в сильном волнении).* Графиня! Выслушайте меня...

Графиня. Я иду... Я повинуюсь тебе... Я умираю... *(Теряет сознание.)*

Граф *(испуганный, поднимает браслет).* Я вышел из границ... Ей дурно... О боже! Скорее позвать на помощь! *(Убегает.)*»

И вся пьеса в том же духе. Сам Фигаро — неузнаваем. Отвергнув гордым жестом 2000 луидоров, которые предлагает ему граф в награду за службу, — доказательство, что Фигаро весьма переменился, — он заключает эту унылую мелодраму такой тирадой:

«Фигаро *(живо).* Мне, сударь? Нет, пожалуйста, не надо. Чтобы я стал портить презренным металлом услугу, оказанную от чистого сердца? Умереть в вашем доме — вот моя награда. В молодости я часто заблуждался, так пусть же этот день послужит оправданием моей жизни! О моя старость! Прости мою молодость — она тобою гордится! За один день как у нас все изменилось! Нет больше деспота, наглого лицемера! Каждый честно исполнил долг. Не будем сетовать на несколько тревожных мгновений: изгнать из семьи негодяя — это великое счастье».

Старость — крах и для сценических персонажей.

Но можно ли себе представить, чтобы из-под пера Бомарше не вышло ни одной удачной реплики на протяжении пяти актов? И в самом деле, одну Рене Помо нашел. Цитирую его: «Хотя бы несколько слов из этой драмы заслуживают того, чтобы их запомнить, это слова Альмавивы, который сокрушается: «Некто Леон Асторга, бывший мой паж, по прозвищу Керубино...» Сколько ностальгии в этом воспоминании о «Безумном дне» и о том времени, когда Бомарше был талантлив». И правда!

«Преступная мать» предназначалась «Комеди Франсэз». Пайщики приняли ее с восторгом. Но поскольку как раз в это время они снова затеяли процесс против драматургов, в том числе и против первого из них, этот последний забрал у них пьесу и передал ее труппе театра Марэ, основанного шестью актерами, «выходцами» из Итальянского театра, которых Бомарше поддержал денежно и которым помог приобрести старое театральное здание на улице Кюльтюр-Сент-Катрин (ныне — улица Севинье). Пьеса, поставленная 26 июня 1792 года, продержалась на афише две недели. Театр «Комеди Франсэз» устроил заговор против Бомарше, а актеры молодой труппы, часть которых выступала на сцене впервые, потеряли самообладание, едва партер начал их освистывать и осыпать издевками. Дамы и господа — пайщики «Комеди Франсэз» — радовались от всего сердца: пьеса никуда не годная, коль скоро Бомарше отобрал ее у них. Она действительно была никуда не годной, но совсем по иной причине, как мы уже сказали. Тем не менее на втором представлении «Преступная мать» была «принята с восторгом». Восхищенный Гретри тотчас задумал сделать из нее оперу: «Я мечтаю только о Вашей „Преступной матери"», — писал он Бомарше. Мечта так и не осуществилась, хотя композитор пообещал написать «музыку к этому шедевру, достойному старика Гретри». Публика и критика той эпохи отдавала предпочтение театру, который мы назвали бы сегодня «ангажированным». В «Альманахе зрелищ» Дю-

шена за 1792 год можно было, к примеру, прочесть: «Несколько патриотов дали театру Мольера (улица Сен-Мартен) пьесы, не оставляющие никакой надежды аристократии: она в них полностью посрамлена и предана публичному осмеянию. Лучшая из этих пьес — «Лига фанатиков и тиранов», написанная г-м Руссеном». Пятью годами позже, когда времена изменились, «Преступная мать» была возобновлена и шла с триумфальным успехом. Где же? Да все в той же «Комеди Франсэз», естественно. Бонапарт, который ненавидел «Женитьбу», горячо принял эту мрачную мелодраму, продемонстрировав тем самым, что его вкус оставляет желать лучшего.

Итак, завершился последний эпизод театральной карьеры Бомарше, занавес опущен, но жизнь продолжается. Бомарше шестьдесят лет. Постаревший, «все видевший, все сделавший, все исчерпавший», что еще он мог совершить? В шестьдесят лет ему оставалось, полагаю, только превзойти себя самого. Что он и сделал, ввязавшись самым безумным образом в рискованное предприятие и продемонстрировав в борьбе, потом — в поражении и, наконец, в нищете и невзгодах неисчерпаемые запасы ума и мужества. Последнему делу своей жизни он обязан самыми Дорогими дворянскими грамотами — теми, которые человек получает, бросая вызов смерти.

За два дня до премьеры «Второго Тартюфа» некто Шабо, капуцин-расстрига, член Национального собрания, обвинил Бомарше в спекуляции оружием. Шабо пошел даже дальше: он утверждал, что Бомарше прячет в подвале своего дома 70 000 ружей. Когда идет война и родина в опасности, а солдаты вынуждены сражаться голыми руками, это — преступление из преступлений, и нет нации, нет народа, когда-либо прощавших подобное. В июне 1792 года положение Бомарше было еще достаточно прочным. Во всяком случае, более прочным, чем положение Людовика XVI и его правительства. Париж, как ни был он скор на ниспровержение собственных кумиров, все же ждал, что ответит на это обвинение Бомарше. Ответ был уничтожающим: «Вся груда оружия сводится к двум ружьям, а подозрительное место, где я их прячу, — кабинет военного министра, слева от окна...» И далее, желая устыдить бывшего монаха, Бомарше неосмотрительно добавил:

«Мне, как всем образованным людям, известно, что монастыри велеречивого монашеского ордена, к коему Вы принадлежали, искони поставляли славных проповедников христианской церкви; но мне и в голову не приходило, что Национальному собранию предстоит так возрадоваться просвещенности и логике

Оратора из тех, что средь святых отцов
Звал капуцинами Великий Богослов.»

Дело о ружьях — «60 000, а не 70 000 ружей» — заслуживает подробного изложения, оно весьма характерно и помогает понять Бомарше. В начале 1792 года и Людовик XVI и Учредительное собрание еще на своих местах. Правительство и народ готовятся

к войне против Австрии — она будет объявлена 1 марта. Но Франция, исполненная воинственного пыла, воодушевляемая чувством национальной независимости, испытывает нужду в оружии. Бомарше, связанный, как мы уже сказали, с правительством, по собственной инициативе — таков уж его характер — затевает деловую операцию, чтобы снабдить отчизну ружьями. За две или три недели до объявления войны он вступает в переговоры с неким Делаэйем, бельгийским книготорговцем и корреспондентом «Типографского и литературного общества», который предлагает ему, предоставив самые серьезные гарантии, 60 000 ружей. Ружья находятся в Голландии. Их уступило группе покупателей, представляемой бельгийцем, австрийское правительство, которое потребовало при этом обязательства, что ружья не будут перепроданы Франции. Перекупщики, естественно, склонны были свое обязательство нарушить. Будь то частные лица или государства, когда речь идет о торговле оружием, нравственные принципы всегда отступали и будут отступать на второй план. Поразмыслив и переговорив с Гравом, французским военным министром, Бомарше решил взяться за это дело. Впрочем, предполагалось, что эта сделка только начало. Если верить бельгийцу, за первой партией ружей вскоре «могло последовать» еще 200 000. Поскольку Грав дал согласие и авансировал на эту операцию 500 000 франков в ассигнациях, Бомарше, чтобы завершить дело, вложил часть своих средств. Грав, естественно, дал ему все гарантии и пообещал оказать необходимое давление на голландское правительство, чтобы то посмотрело сквозь пальцы на переправку оружия через свои границы. Но тут Франция вступила в войну с Австрией и Пруссией, а министр получил отставку. За полгода — с 1 марта, когда начались военные действия, до 10 августа, когда пала монархия, — сменилось четырнадцать министров, так что Бомарше уже не знал, с кем ему вести переговоры. Серван, Лажар, Абанкур, Дюбушаж, Паш — если назвать хоть часть из них, — едва успев сесть в министерское кресло, уже покидали его. Что же до людей, представляющих то, что мы сегодня именуем министерским аппаратом, их, кажется, куда больше занимало пополнение личной кассы, нежели служение родине. В глазах этих спекулянтов Бомарше — опасный конкурент, чье предприятие необходимо подорвать любой ценой. Мы вскоре увидим, что республиканские чиновники окажутся ничуть не добросовестнее; правда, новый режим, за редким исключением, оставил на своих местах королевских служащих. Заметим между прочим: вместо того чтобы сбрасывать министров, людей, как правило, просто ни на что не способных, было бы подчас полезнее — во всяком случае, во Франции — увольнять крупных государственных чиновников, в руках которых сосредоточена подлинная власть и которые способны весьма на многое — на все и на самое худшее. Тем временем Бомарше получал от Лаога — своего посредника, посланного в Голландию, — довольно неутешительные известия. Голландцы, не желая раздражать врагов Франции, то есть Пруссию и Австрию, теперь заявляли, что задержат оружие на складах в Тервере вплоть до окончания конфликта. Бомарше, предвидевший,

что события могут принять именно такой оборот, ответил через Лаога, что ружья предназначаются для отправки на Антильские острова. На самом деле он собирался, обманув бдительность голландцев или, точнее, избавив их от угрызений совести, переправить через Антильские острова это военное снаряжение во Францию. Если Родриго был храбр, то Орталес — хитроумен. Но для того чтобы сломить сопротивление Нидерландской республики, Бомарше нуждался в содействии французского правительства. А добиться этого ему никак не удавалось, поскольку министры были недолговечны, как розы. Наконец Дюмурье, пребывавший некоторое время на посту министра иностранных дел, согласился принять Бомарше, с которым был в приятельских отношениях.

«Я неуловим по меньшей мере в той же степени, в какой Вы глухи, мой дорогой Бомарше. Но я люблю Вас слушать, особенно когда у Вас есть что-нибудь интересное. Будьте же завтра в десять часов у меня, поскольку несчастье быть министром из нас двоих выпало мне. Обнимаю вас. Дюмурье».

Дюмурье попросил того, кто едва не стал его коллегой в правительстве, составить конфиденциальную записку об этом деле — ему необходимо было выиграть время. Министры, чье положение не слишком твердо или чьи дни сочтены, зачастую колеблются перед принятием ответственных решений. Чтобы продержаться лишнюю неделю, лучше пригнуть голову и не привлекать внимания. Бомарше вскоре пришлось понять, что помочь собственной родине куда трудней, чем поддерживать американских мятежников. Правда, Верженн и Дюмурье весьма не походили друг на друга. Чтобы преодолеть пассивность министра иностранных дел, Бомарше на протяжении одного дня направил ему пять конфиденциальных записок. Тщетно. Шли месяцы, и секрет Дюмурье стал секретом Полишинеля. Вот тут-то капуцин Шабо с трибуны Национального собрания и обрушился в самых резких выражениях на «человека с голландскими ружьями». Ответ Бомарше я уже приводил выше. Тем временем его враги расклеивают на стенах афиши, разжигая в народе ненависть к Бомарше. Вокруг его дворца — этой безумной прихоти, — воздвигнутого среди жилищ бедняков, собираются все более многочисленные толпы, требующие ареста и наказания человека, похитившего ружья у отчизны. Незаметно он сделался для парижской бедноты символом всего того, что сам жаждал ниспровергнуть. В конце концов Бомарше осознал, в каком положении находится и какому риску подвергает близких. Верный Гюден, трусливость которого нам известна, высказал ему без обиняков, что он об этом думает: «В ужасе от этой покупки я сказал ему, что в революционные эпохи мудрый человек не занимается торговлей оружием или хлебом...» Из осторожности Бомарше отправил жену, дочь и Жюли к друзьям в Гавр, но сам, разумеется, остался в Париже. Чтобы не слышать воплей и ропота толпы и тем самым забыть об угрожающей ему опасности, достаточно было — не так ли! — положить на стол или сунуть в карман слуховой рожок. Тогда он оставался наедине с собой. В последние часы монархии Бомарше сделал все возможное и невозможное, чтобы прорваться к пред-

последнему министру иностранных дел Людовика XVI экс-маркизу Сципиону (!) Шамбонасу. Тот внимательно его выслушал. Однако назавтра Шамбонаса уже сменил Биго де Сент-Круа. А послезавтра — было 10 августа.

«11 августа, — рассказывает Гюден, — через день после ареста короля, огромная толпа, та часть простолюдинов, которую сбила с толку ярость крамольников, бросилась к дому Бомарше с негодующими криками, угрожая сломать ограду, если тотчас не откроют ворота. В доме, кроме него, был я и еще два человека. Сначала он хотел отворить ворота и выйти к этой черни; но убежденные в том, что переодетые враги, предводительствующие толпой простонародья, натравят ее на него и он будет убит, прежде чем сможет сказать хоть слово, мы уговорили его скрыться через садовую калитку, расположенную довольно далеко от решетчатой ограды, за которой безумствовал рычащий сброд». (Бомарше действительно выбрался из дома подземным ходом, «ведущим на улицу Па-де-ла-Мюль».)

Гюден своих чувств не скрывает. Он явно не испытывает никаких симпатий к народу, особенно когда тот предстает в облике «рычащего сброда». Заметим в оправдание бедняге Гюдену, что в дом его друга ворвалось около тридцати тысяч человек. Замечательнее всего, что эта толпа, проникшая во дворец — визит или, точнее, обыск длился около шести часов, — ничего не сломала, ничего не похитила и даже ничего не загадила. Руководители этого отряда сыщиков-любителей взяли со своих людей клятву, что грабежа не будет. Какую-то женщину, осмелившуюся сорвать в саду цветок и собиравшуюся сохранить его, едва не потопили в пруду в наказание за совершенный проступок, и спаслась она только чудом. После того как были простуканы стены, перерыта земля и подняты все плиты, вплоть до крышки выгребной ямы, толпа удалилась столь же внезапно, как и пришла. Самое поразительное — реакция Бомарше. На следующий день, опомнившись от страха, он не только не разгневался, но пришел в восторг: «...я могу только восхищаться этой смесью заблуждений и врожденной справедливости, которая пробивается даже сквозь смуту...» Естественно, он в то же время предал широкой огласке самый факт, что народ в его доме ничего не нашел, и, следовательно, Шабо — гнусный клеветник. Ход не слишком ловкий, но отныне Бомарше сознательно идет на риск и пренебрегает всякой осторожностью. Старики бывают двух пород — одни предпочитают жить, обложившись ватой и как можно меньше высовываясь, словно добиваются, чтобы смерть позабыла о них, другие преднамеренно дразнят ее, открыто бросают ей вызов или ищут с ней встречи. Бомарше принадлежал к тому типу людей, которые, ради того чтобы поддержать пламя молодости, готовы гореть напропалую и сжигают себя быстрее остальных. На мой взгляд, нет ничего удивительнее и достойнее такого поведения, как нет ничего печальнее, презреннее уютного прозябания отставников, откровенно сдающих свои позиции. Итак, он решил оставаться молодым — за столом, в постели и на общественной арене.

С присущим ему упрямством Бомарше попытался снова сдвинуть дело с той мертвой точки, на которой оно застряло в результате волокиты королевского правительства. Но республиканские министры — пешки в руках оставшихся на своих местах прежних чиновников — увиливали от ответа на его запросы. Не зная обстоятельств дела и не любопытствуя ознакомиться с досье или не обладая способностями разобраться в нем — интеллектуальный уровень политических деятелей редко поднимается выше среднего, — они, как и их предшественники, пытались лишь выиграть время, иначе говоря — упустить его. Министерские же канцелярии продолжали свою темную игру. К Бомарше засылали всяких Ларше и Константини, с которыми он по своей неисправимой наивности едва не вступил в сомнительные отношения. Но поскольку он все же отказался от сделки с ними, Ларше и Константини, о которых нетрудно было догадаться, на кого они работают, пригрозили Бомарше, что ему придется плохо. 20 августа 1792 года донос и смерть действовали рука об руку, в нерасторжимом симбиозе, если говорить точнее. Утратив с возрастом гибкость лозы, Бомарше держался с твердостью дуба — иначе говоря, открыто и даже не без величия отверг притязания своих противников. Последовали новые клеветнические афиши и новый вызывающий ответ:

«Я глубоко презираю людей, которые мне угрожают и не боюсь недоброжелательства. Единственное, от чего я не могу уберечься, это кинжал убийцы; что же касается отчета относительно моего поведения в этом деле, то день, когда я смогу предать все гласности, не повредив доставке ружей, станет днем моей славы.

Тогда я отчитаюсь во весь голос перед Национальным собранием, выложив на стол доказательства. И все увидят, кто истинный гражданин и патриот, а кто — гнусные интриганы, подкапывающиеся под него».

Не будем, однако, упрощать. Хотя Бомарше и грозила опасность потерять свободу, а то и жизнь, он все еще располагал некоторыми возможностями. В революционные эпохи власть не надолго задерживается в одних руках. Все — двойственно, поэтому довольно трудно разобраться, кто и что может. Так, например, некоему высокопоставленному офицеру из охраны Тампля, имени которого Гюден не называет, даже пришло в голову прибегнуть к заступничеству Бомарше, «дабы смягчить чувства народа к королевской семье». Мария-Антуанетта, после того как этот офицер изложил ей, какую роль мог бы сыграть Бомарше, только заметила, «вздохнув»: «Ах, мы ни о чем не можем его просить; он вправе действовать по отношению к нам, как ему заблагорассудится». Повествуя об этом разговоре, Гюден добавляет: «Этот человек [офицер] опустил глаза и умолк, смущенный тем, что напомнил королеве о самой большой несправедливости, совершенной в ее царствование. И он догадался по ее ответу, что, наученная несчастьем, она остро чувствовала — угнетенный свободен от каких бы то ни было обязательств по отношению к угнетателю». Этот эпизод, которым биографы Бомарше пренебрегали и о котором по сю пору предпочитают умалчивать, весьма любопы-

тен — прежде всего, он показывает, что 20 августа Бомарше, хотя он и в опасности, все еще пользуется известным и даже значительным авторитетом, ибо только человек, имеющий реальное влияние, может попытаться изменить ход Истории; но, главное, реплика Марии-Антуанетты свидетельствует о том, что король и королева осознали, какую неблагодарность проявили они к своему дипломатическому курьеру. По здравом размышлении напрашивается вывод, что в действительности эта неблагодарность, эта несправедливость, вероятно, была еще более вопиющей, чем мы говорили. Тайная служба главам государств всегда таит в себе известный риск, ибо они нередко уносят с собой в могилу часть правды. Намереваясь назначить Бомарше министром внутренних дел, Людовик XVI, вне всяких сомнений, стремился загладить свою вину и открыто признать его серьезные заслуги перед Францией, однако весной 1792 года время для этого уже было упущено. Внезапная смерть Верженна и казнь Людовика XVI лишили Бомарше главных свидетелей защиты. Короче говоря, их исчезновение было на руку Базилю.

23 августа, на заре, Бомарше арестовали и, опечатав его бумаги, отвели под охраной в мэрию, где, не давая никаких объяснений, заставили прождать целые сутки в такой узкой конуре, что он не мог даже присесть. Физические унижения во все времена были излюбленным приемом полиции. Разве, чтобы сломить сопротивление человека, вдобавок немолодого, как в данном случае, недостаточно поставить его в положение, когда он, к примеру, лишен возможности утолить жажду и голод или справить естественную нужду? Этот метод, чаще всего приводящий к искомому результату, и именно потому столь употребительный, терпит, однако, крах, столкнувшись с сильным характером. Вместо того чтобы сломить человека, такое обращение, напротив, усиливает его сопротивляемость. Так было и с Бомарше. Представ перед своими «судьями», собравшимися в мэрии, он не просто защищается, но переходит в атаку. В чем его обвиняют? В том, что он отказывается доставить во Францию ружья? Но это же нелепость. Во мгновение ока Бомарше убеждает членов муниципалитета в своей невиновности и излагает им свои соображения относительно того, что Лебрен-Тондю, вчера еще рядовой чиновник министерства иностранных дел, занявший сегодня кабинет Верженна, причастен к махинациям, мешающим доставке оружия, — не случайно он, Бомарше, тщетно пытался добиться встречи с министром, чтобы переговорить об этом деле. Его уже собираются освободить, принеся извинения, когда в комнату заходит невысокий черноволосый мужчина, — это Марат. Он что-то шепчет на ухо председательствующему и тут же удаляется. Новые обвинения, столь же дурацкие, как предыдущие, новый, еще более яростный взрыв возмущения со стороны Бомарше. Судьи просят у него прощения и на этот раз уже вызывают экипаж, чтобы отвезти его домой, однако тут является посыльный с пакетом. Пакет вскрывают. Это приказ немедленно отправить гражданина Бомарше в Аббатство. Правосудие, о котором принято говорить, что оно стоит на страже справедливости, тут же принимает свою излюбленную позицию:

падает ниц и распластывается на брюхе. Аббатство — бывший церковный дом заключения неподалеку от Сен-Жермен-де-Пре — уже приобрело зловещую славу. Тем, кто туда попадал, был как бы уже вынесен смертный приговор. На соседних улицах не иссякали толпы, громко требовавшие казни «преступников», запертых в Аббатстве. Бомарше рассказал о шести днях, проведенных им в крохотной камере, «набитой арестованными точно бочка сельдями» в обществе графа Аффри, сына Лалли-Толлендаля, посвятившего жизнь защите памяти своего отца, а также бывшего министра Монморена, аббата де Буажелена, де Сомбрея с дочерью и еще пяти или шести несчастных, в том числе восьмидесятилетнего старца, в прошлом казначея подаяний. Бомарше был освобожден 30 августа. 2 сентября начались массовые казни. И *начались именно с Аббатства.* В очередной раз Бомарше спасся в последнюю минуту.

Обстоятельства его освобождения долго — и как бы стыдливо — замалчивались. Гюден, Ломени из дружеских чувств к наследникам Бомарше ограничивались беглыми намеками. Первым приоткрыл завесу Беттельгейм в своей биографии Бомарше, изданной в 1886 году. Год спустя Лентилак подтвердил факты. Вслед за ними целая когорта биографов, уже без всяких околичностей, но не без осуждения, раскрыла всю подноготную: спасла Бомарше Нинон. Мы уже рассказывали, как Нинон, то есть Амелия Уре, то есть бывшая графиня де Ламарине, незадолго до революции стала его любовницей. Бомарше любил ее до конца дней. И она также, по-видимому, долго была в него влюблена. Не дала ли она ему доказательств своего чувства, вытянув его из Аббатства, этого преддверия смерти? И,бо нужна была храбрость, отчаянная храбрость, чтобы действовать так, как действовала она. Отправившись к генеральному прокурору Парижской коммуны, некоему Манюэлю, с которым Бомарше был отнюдь не в лучших отношениях, она потребовала и добилась от того приказа об освобождении Бомарше. Естественно, некоторые из особенно дотошных адвокатов намекают, что Нинон удалось умилостивить Фемиду, принеся жертву Венере. Другие смело делают следующий шаг и утверждают, что Нинон была в ту пору любовницей Манюэля. Я, со своей стороны, ничего не утверждаю и, по правде говоря, не это меня интересует. Для меня важно, что она спасла Бомарше. Переспала же она или не переспала с Манюэлем, дела не меняет и нисколько не умаляет важности ее поступка. Когда старый любовник в тюрьме, а молодой у власти, многие ли дамы сделают то же, что она? Не отнесется ли большинство к тому, что старика сунули в темницу, как к воле провидения? Мне кажется, наши историки допускают в своих суждениях о Нинон ошибку, вполне, впрочем, простительную. Они видят ее либо такой, какой она была лет в пятнадцать, шестнадцать, когда адресовала Бомарше романтичные письма, на которые тот, как вам известно, отвечал, либо такой, какой она сделалась впоследствии, много позже — а именно женщиной весьма вольного поведения. Но какова была Нинон в 1792 году? Конечно же, совсем другая — и, как я предполагаю, оправдывавшая во всех планах, в том числе и в том, о котором

вы догадываетесь, влечение к ней Бомарше. Впрочем, нам еще предстоит с ней встретиться. Было бы обидно так быстро расстаться с особой столь обворожительной.

Рассказывая впоследствии о своем освобождении из Аббатства в мемуарах «Шесть этапов девяти самых тягостных месяцев моей жизни», адресованных Конвенту, Бомарше, естественно, умолчал о роли Нинон. Некоторых это удивляет. Но мог ли он в политическом тексте намекать на обстоятельства своей частной жизни? Ему приходилось также считаться с чувствами г-жи де Бомарше и, возможно, оберегать репутацию г-жи де Ламарине. Впрочем, в тот момент, когда Манюэль вызволил его из Аббатства, Бомарше наверняка ничего не знал о вмешательстве своей возлюбленной. Поэтому мы вправе думать, что его разговор с Манюэлем, воспроизведенный в «Шести этапах», соответствует действительности. Вот как он повествует об этом событии:

— Сударь, — говорю я ему, — неужто мое дело приняло такой серьезный оборот, что сам прокурор-синдик Парижской коммуны, оторвавшись от общественных дел, явился сюда заниматься мною?

— Сударь, — сказал он, — я не только не оторвался от общественных дел, но нахожусь здесь именно для того, чтобы ими заняться; и разве не первейший долг общественного служащего прийти в тюрьму, чтобы вырвать из нее невинного человека, которого преследуют?.. Не оставайтесь здесь ни минутой дольше.

И Бомарше добавляет:

«Я сжал его в объятиях, не в силах произнесть ни слова, только глаза мои выражали, что творилось в душе; полагаю, они были достаточно красноречивы, если передали ему все мои мысли! Я тверд как сталь, когда сталкиваюсь с несправедливостью, но сердце мое размягчается, глаза влажнеют при малейшем проявлении доброты! Никогда не забуду ни этого человека, ни этой минуты. Я вышел».

Думаете, чтобы спрятаться? Ничего подобного!

Однако «самый отважный из людей [Бомарше] не знал, как бороться с опасностями такого рода». В сентябре 1792 года Франция воюет, но положение в стране неопределенное. Кто правит? Ясно одно — в городе оставаться опасно. Террор все ширится. Чудом спасшись от смерти, Бомарше больше чем когда-либо на подозрении, его разыскивает и народ, который видит в нем преступника, и люди, спекулирующие оружием. А эти последние — у власти, им послушно общественное мнение. В таких условиях маневрировать трудно. Выйдя на свободу, Бомарше с помощью Гюдена и, надо полагать, Нинон на два дня находит убежище неподалеку от Парижа. Упрятав его подальше от врагов, друзья явно заботятся только о его жизни. Но скрываться — не в обычае Бомарше. Обманув бдительность и дружеское внимание гостеприимных хозяев, он возвращается в Париж пешком, через поля и леса, чтобы его не схватили по дороге. На рассвете, весь в грязи, неумытый, небритый, не имея при себе ничего, кроме слухового рожка, он приходит в Париж. Куда же он направится? Да в министерство иностранных дел, разумеется, — испросить аудиенцию у Лебрена-Тондю. Министр то ли

отсутствует, то ли велит сказать, что его нет. В конце концов Бомарше все-таки добивается своего — Лебрен-Тондю обещает принять его в одиннадцать часов вечера. Долгий день в ожидании встречи. Рискуя быть арестованным в любую минуту, нигде не чувствуя себя в безопасности, Бомарше прячется на стройке, где вскоре засыпает «прямо на земле, среди куч булыжников и бутовых плит». Я рассказываю об одном дне — но таких было четыре. Словом, ночью Лебрен наконец принимает его, точнее, Бомарше вламывается к министру. Стремясь избавиться от назойливого посетителя, Лебрен предлагает тому явиться в Комиссию по вооружению Национального собрания. Бомарше кидается туда, петляя по городу, поскольку боится, как бы его не прикончили по дороге люди министра иностранных дел или присные Клавьера, заправляющего министерством финансов. Уж не причастны ли к спекуляциям оружием сами Лебрен-Тондю и Клавьер, которые явно в сговоре? Бомарше отлично знает Париж, все переулочки и проходные дворы, ему удается обмануть преследователей. В Национальном собрании неутомимый Бомарше предъявляет свои требования министрам и членам Совета, в том числе Дантону, который настроен недоверчиво, поскольку до него уже дошли наветы Базиля, однако не может не удивляться упорству и мужеству этого старика, и Ролану, которого Бомарше до такой степени выводит из себя, что тот заявит потом одному из своих сотрудников: «Я тут занимаюсь с позавчерашнего дня делом, с которым мы, видимо, не покончим до конца войны, делом о ружьях господина Бомарше». Предвидения Ролана оправдались.

Бомарше все же удалось дать объяснения членам комиссии в присутствии всех ответственных за дело министров. Стоило власти — в данном случае и исполнительной и законодательной — предоставить ему слово, он проявил все свои способности. Доказать и свою добросовестность и свой патриотизм было для него детской игрой. Члены Комиссии, по большей части ничего не знавшие о махинациях Лебрена, были счастливы услышать, что гражданин Бомарше столь активно стремится снабдить оружием Францию, и поражены тем, что правительство вставляет ему палки в колеса. Таким образом, он сумел, сказав правду, в очередной раз переубедить своих судей. Словно по мановению волшебной палочки, Бомарше вновь первый из граждан в глазах нации. Члены комиссии, полные энтузиазма, не знают, как лучше выразить свою благодарность тому, кого еще вчера готовы были приговорить к смерти. Прочтем, что они написали:

«Члены Военного комитета и Комиссии по вооружению свидетельствуют, что, рассмотрев в соответствии с направлением Национального собрания от 14 числа текущего месяца ходатайство г-на Карона Бомарше в связи с купленными им в Голландии в марте сего года шестьюдесятью тысячами ружей, мы пришли к выводу, что вышеупомянутый г-н Бомарше, предъявивший нам свою переписку, неизменно выказывал при всех сменявших друг друга министрах самое ревностное усердие и самое горячее желание добыть для нации оружие, задерживаемое в Голландии... Посему мы, нижепод-

писавшиеся, заявляем, что надлежит оказывать содействие вышеупомянутому г-ну Бомарше в предпринятой им поездке с целью получения вышеупомянутого оружия, поскольку он движим единственно желанием послужить общественному благу и потому заслуживает благодарности нации».

Итак, представ перед людьми, предубежденными против него и, кажется, в большинстве склонными с ним расправиться, он сумел благодаря своей неколебимой уверенности в том, что правда — лучшее оружие, еще раз одолеть судьбу. И в самом деле, его главному недругу — министру иностранных дел — было предложено в кратчайший срок выдать дипломатический паспорт «гражданину Бомарше, шестидесяти лет, лицо полное, глаза и брови темные, нос правильный, волосы каштановые, редкие, рот большой, подбородок обычный, двойной, рост 5 футов 5 дюймов и т. д.», а также торжественно пообещать, что чрезвычайному уполномоченному Франции будет обеспечена помощь французского посла в Голландии. Это значило потребовать от Лебрена многого!

Таким образом, Бомарше вроде бы одержал победу. Но не спешите с выводами. У министра, у министров осенью 1792 года в запасе немало козырей, начиная с главного — недобросовестности голландского правительства. Лебрен в конце концов все-таки выдал чрезвычайному уполномоченному выездные документы. Однако, уточняет Гюден, отказал ему в предоставлении фондов, предусмотренных в ранее заключенных соглашениях, «фондов, необходимых для успеха его предприятия и выкупа оружия, застрявшего в Тервере из-за бесчестности голландцев, которые потребовали залога в сумме трехкратной стоимости ружей... Такой залог могло предоставить только правительство, ибо оно одно могло подтвердить получение оружия, после чего залог был бы ему возвращен». Торопясь завершить дело, Бомарше совершил промах, обычный для него, — он положился на свое везение. Разумеется, прежде чем покинуть Париж, он позаботился составить секретную записку с выражением своего протеста против темных козней, плетущихся втайне, чтобы его погубить. Но кто станет считаться с этой бумагой? 22 сентября Бомарше выезжает из столицы вместе с Гюденом, который, легко догадаться, не скрывает своих чувств: «Выбраться из Парижа, этого города, прежде такого соблазнительного, так нами любимого, было в ту пору великим счастьем, и мы радовались, что удаляемся от него». Накануне их отъезда впервые собрался Конвент, сменивший Законодательное собрание. Бомарше и Гюден направились в Гавр, где нашли убежище «женщины» — жена, сестра и дочь Бомарше. Из Гавра Бомарше предстояло пуститься в плавание уже одному. В каждом из городов, через которые проезжали наши путешественники, их задерживали и подвергали допросу в муниципальной полиции. От Гюдена, не имевшего дипломатического паспорта, нередко требовали подтверждения его личности. «Они настаивали на том, чтобы я указал граждан, которые могут за меня поручиться. Я был знаком, — повествует не без забавности Гюден, — с графиней д'Альбон, среди прочих титулов которой был и титул королевы Ивето,

но поскольку блюстители порядка в те дни не были благосклонны к королевам, я поостерегся назвать ее имя».

Распрощавшись с тремя женщинами и верным Гюденом, Бомарше в очередной раз отплыл в Англию. 28 сентября корабль бросил якорь в Портсмуте, 30 сентября путешественник прибыл в Лондон. Я указываю эти даты не потому, что одержим манией точности. Но именно 28 сентября, в момент, когда шестидесятилетний Фигаро пускается в самую опасную из своих патриотических авантюр, некий Лоран Лекуантр, версальский торговец холстом, представляющий свой город в Конвенте, произносит с его трибуны яростную обвинительную речь, изобличая «этого низкого и корыстолюбивого человека, который, прежде чем низвергнуть отчизну в пропасть, им для нее уготованную, оспаривает у других гнусную честь сорвать с родины последние лохмотья; этого человека, порочного по натуре и разложившегося от ненависти, возведшего безнравственность в принцип и злодейство в систему!» Депутат от Версаля, как легко догадаться, не ограничился общими рассуждениями, он выдвинул против Бомарше конкретные обвинения в заговорщической деятельности, расхищении народных денег и преступной связи с Гравом и Шамбонасом, бывшими министрами бывшего короля. Доказательства Лекуантра сводились к тому, что подсказали ему чиновники канцелярии Лебрена. При любом способе правления политиканы находят для выполнения подобных задач какого-нибудь трибуна, любителя покрасоваться и притом человека искреннего, который сообщает доносу если не благородство, то хотя бы известную благовидность. Есть и среди наших современников свои Лекуантры. Депутату от Версаля, впрочем, настолько пришлись по вкусу обвинительные речи, что он впоследствии доносил поочередно то на жирондистов, то на монтаньяров. Умер он уже в годы империи, рантье.

Вплоть до 1 декабря Бомарше ничего не знал о позорном и позорящем его нападении. Он был занят своим делом. В Лондоне, пробыв там всего сутки, Бомарше обратился к английскому корреспонденту Родриго Орталеса и компании, чтобы раздобыть наличные деньги. Этот человек, с которым Бомарше был связан дружбой, тотчас дал необходимую сумму. Зарегистрировав заем у нотариуса, Бомарше поспешил дальше, по морю. С морем ему всегда не везло. Опять оно было бурным, даже очень бурным. Повторился приступ морской болезни, и Бомарше на протяжении всего плавания, не уходя с палубы, проклинал свой предательский желудок. После тяжкого шестидневного путешествия по штормовому морю он наконец прибыл в Амстердам. 7 октября он был уже в кабинете французского посла и через пять минут понял, что его надули. Дипломат, покорный приказаниям своего шефа Лебрена, разыграл перед ним комедию, которую легко себе представить. Нет, он не в курсе дела! Нет, он не получал никаких указаний относительно залога, но тем не менее уверен, что это досадное недоразумение не помешает французскому уполномоченному успешно выполнить свою миссию! Бомарше, уже начинавший разбираться в том, каков дипломатический корпус его

отечества, как правило, состоявший из ничтожеств, иногда подогреваемых честолюбием, прервал разговор. Стоило ли настаивать? Но, будучи человеком упрямым и простодушным, он решил ждать. Чего? Чуда, ясное дело. Может, министр все-таки подумает о высших интересах Франции? Или найдет способ согласовать их со своими собственными? Пустые грезы. Лебрен наслал на Бомарше из Парижа Константини и убийц — Константини, чтобы попытаться еще раз купить его, убийц, чтобы покончить с ним, если он останется неколебим. О, если бы французский политический аппарат тратил на дела государственные десятую долю способностей, вкладываемых им в заботы о своих частных интересах, — наша История, очевидно, была бы совершенно иной! Но теперь я сам предаюсь пустым грезам.

Шесть недель Бомарше терпеливо ждал в двух шагах от ружей, в которых так нуждались генералы революции, чтобы вести войну, но на которых политиканы и дельцы строили свои воздушные замки обогащения. Его пытались убить. Из Парижа Манюэль, «вдохновляемый» сочувствием, не переставал предупреждать его о кознях Лебрена. Что касается голландского правительства, то оно не намеревалось долее терпеть на своей территории человека, который был явно не в чести у официального представителя Франции. Поняв в конце концов, что битва в Голландии им проиграна, но нисколько этим не обескураженный, Бомарше решил попросту вернуться в Париж, где в то время как раз шел суд над его самым знаменитым сообщником, а именно — над Луи Капетом. Но чтобы оказаться во Франции, нужно было снова попасть в Англию, то есть снова сесть на корабль. Плавание было чудовищным. Корабль чуть не пошел ко дну. Заметьте, между прочим, что Бомарше, не боявшийся в жизни ничего, кроме моря, был вынужден, точнее, вынуждал себя двадцать раз пересекать Ла-Манш или Северное море и двадцать раз заболевал, тяжко заболевал. Вот уж поистине закаленный характер.

В Лондоне Бомарше нашел очередное письмо Манюэля, а также письма братьев Гюден, более подробные и еще более тревожные. Ознакомившись с этой корреспонденцией, он узнал, что его имущество снова опечатано и что он как раз вовремя ускользнул из Голландии — подручные Лебрена уже получили приказ схватить его и доставить в Париж живым или мертвым. Если верить корреспондентам, Бомарше в лучшем случае была уготована гильотина. Мы слишком хорошо знаем его, чтобы не угадать, как Бомарше на это отреагировал: он решил немедленно вернуться на родину. К счастью, у английского друга, с которым он поделился этим намерением, хватило ума запрятать его, как злостного неплательщика, в тюрьму Бан дю Руа, вполне, впрочем, комфортабельную. В сем заведении лондонские власти по требованию кредиторов держали под замком несостоятельных должников. Англичанин, категорически потребовав, чтобы ему немедленно был выплачен долг, бесспорно, оказал Бомарше неоценимую услугу. В декабре 1792 или в январе 1793 года нашему герою навряд ли удалось бы сохранить голову. По правде говоря, мне неизвестно, чем был движим этот англичанин — великодушием или скупостью — жертва долго не могла простить ему этого поступка, —

но, коль вопрос неясен, предпочтем, не колеблясь, ту версию, которая красивее. Оказавшись в тюрьме, Бомарше немедленно потребовал перо и бумагу. И принялся за работу. Естественно, он писал мемуар, точнее — шесть мемуаров: «Шесть этапов девяти самых тягостных месяцев моей жизни», где уличал своих недругов, начиная с самого болтливого из них — депутата Лекуантра. Этому тексту, написанному второпях человеком, мучимым тревогой за судьбу близких, которые находятся во власти его врагов, недостает остроты, а подчас и сдержанности. Но в нем есть блестящие страницы и два или три пассажа самого высокого полета. Что касается документально-доказательной стороны мемуара, то нет нужды говорить о ее безупречности. Бомарше в этой истории с ружьями и в самом деле был прав по всем статьям, так что ему ничего не стоило посрамить всех Лебренов, Лекуантров и их присных. Но в 1793 году мало быть правым. И снова, как во времена парламента Мопу, Бомарше, которому нечего терять, кроме жизни, наносит удар сокрушительной силы. И если «Мемуары против Гезмана» были обвинительным актом абсолютной монархии, «Шесть этапов» — обвинительный акт против злоупотреблений новой администрации. Кто, кроме Бомарше, осмелился бы в 1793 году опубликовать в Париже текст такой взрывчатой силы?

Вот несколько выдержек, где он выступает во всем своем блеске:

«Бьюсь об заклад, что сам дьявол не сдвинет с места никакого дела в наше ужасающее время всеобщего беспорядка, коий именуется свободой».

О тех, кто управляет Францией:

«В этом деле национального значения только министры-роялисты выполнили свой долг, тогда как все препятствия исходили от народных министров... Утеснения, чинимые мне первыми, были детскими шалостями по сравнению с ужасами, которые творили последние».

Об одном, и не последнем из них:

«...маленький человек, черноволосый, с горбатым носом, с ужасным лицом... То был великий, справедливый, короче, *милосердный* Марат».

О Лебрене-Тондю и его окружении:

«Вот какие люди заправляют нашими делами, превратив правительство в место, где сводятся личные счеты, клоаку интриг, цепь глупостей, питомник корысти».

Своим друзьям, которые в ужасе умоляют его о сдержанности, он величественно отвечает:

«Что за чудовищная свобода, отвратительней любого рабства, ждала бы нас, друзья мои, если б человек безупречный был бы вынужден опускать глаза перед могущественными преступниками потому только, что они могут его одолеть? Как? Неужто нам доведется испытать на себе все злоупотребления древних республик при самом зарождении нашей? Да пусть погибнет все мое добро! Пусть погибну я сам, но я не стану ползать на брюхе перед этим наглым деспотизмом! Нация тогда только воистину свободна, когда подчиняется законам!

О граждане законодатели! Когда эта записка будет прочитана всеми вами, я добровольно отдамся вашим тюремщикам!»

К концу шестого «Этапа» Бомарше возвышает голос. Как и двадцать лет назад, речь идет уже не только о нем самом, но о Франции:

«О моя отчизна, залитая слезами! О горемычные французы! Какой толк в том, что вы повергли в прах бастилии, если на их развалинах отплясывают теперь бандиты, убивая всех нас? Истинные друзья свободы! Знайте, что главные наши палачи — распущенность и анархия. Поднимите голос вместе со мной, потребуйте законов от депутатов, которые обязаны их дать нам, которых мы именно для этого назвали нашими представителями! Заключим мир с Европой. Разве не был самым прекрасным днем нашей славы тот, когда мы провозгласили мир всему миру? Укрепим порядок внутри страны. Сплотимся же наконец без споров, без бурь и, главное, если возможно, без преступлений. Ваши заповеди воплотятся в жизнь; и если народы увидят, что вы счастливы благодаря своим заповедям, это будет способствовать их распространению куда лучше, чем войны, убийства и опустошения. Но счастливы ли вы? Будем правдивы. Разве не кровью французов напоена наша земля? Отвечайте! Есть среди нас хоть один, которому не приходится лить слезы? Мир, законы, конституция! Без этих благ нет родины и, главное, нет свободы!»

Работа над поджигательским текстом окончена, теперь Бомарше необходимо его опубликовать. Но для этого прежде всего нужно выйти из тюрьмы и выбраться из Англии. Гюден-кассир переслал ему сумму, необходимую для выплаты долга. Бомарше написал из своей камеры в Бан дю Руа министру юстиции Гара, прося его о «единственной милости — оберечь его жизнь от угрожающего кинжала». Министр прислал, как говорит Бомарше, «единственное разумное письмо из всех, которые я получил от высокопоставленных лиц своего отечества» за все время, что тянулось дело о ружьях.

Читая послание Гара, явно весьма уважительное, мы можем — и это необходимо, если мы хотим установить историческую истину — отметить, что положение Бомарше оставалось, во всяком случае в глазах некоторых лиц, относительно прочным. Но до чего трудно не потерять рассудка в смутные периоды, именуемые революционными, очевидно потому лишь, что они как бы совершают полный оборот, подобно деревянным коняшкам карусели.

«Я могу лишь приветствовать, — ответил Гара, — Вашу готовность явиться в Париж для оправдания перед Национальным конвентом, как Вы меня заверяете; и я полагаю, что, когда Вам будет возвращена свобода и позволит здоровье, нет смысла откладывать поступок, столь естественный для обвиняемого, ежели он убежден в своей невиновности. С выполнением этого замысла, достойного сильной души, не имеющей в чем себя упрекнуть, не следует медлить из опасений, которые могли Вам внушить только враги Вашего спокойствия или же люди, слишком склонные к панике. Нет, гражданин, что бы там ни твердили хулители революции 10 августа, прискорбные события, последовавшие за ней и оплакиваемые всеми истинными поборниками свободы, более не повторятся.

Вы просите у Национального конвента охранной грамоты, чтобы иметь возможность в полной безопасности представить ему Ваши оправдания; мне неизвестно, каков будет ответ, и не следует предвосхищать его; но когда в силу самого обвинения, выдвинутого против Вас, Вы окажетесь в руках правосудия, Вы тем самым будете взяты под охрану законов. Декрет, который уполномочивает меня осуществлять их, дает мне право успокоить все страхи, внушенные Вам. Укажите мне, в какой порт вы предполагаете прибыть и примерную дату Вашей высадки. Я тотчас отдам распоряжение, чтобы национальная жандармерия снабдила вас охраной, достаточной, чтобы унять Вашу тревогу и обеспечить Вашу доставку в Париж. Более того, не нуждаясь даже в моих распоряжениях, Вы можете сами потребовать такой конвой от офицера, командующего жандармерией в порту, где высадитесь».

Письмо Гара, датированное 3 января 1793 года, — его приводит Гюден — успокоило Бомарше. И он стал готовиться к возвращению во Францию. Но тем временем — 21 января — был. казнен Людовик XVI. Это событие не только потрясло Бомарше, но в корне изменило ситуацию. Англия и Голландия, до сих пор сохранявшие нейтралитет, включились в конфликт, противопоставивший молодую республику всей Европе, — отныне дело о ружьях было неразрешимо. Бомарше тем не менее вернулся во Францию с намерением разрешить его.

Прибыв в Париж в марте, под охраной, обеспеченной Гара, Бомарше, не мешкая, занялся публикацией «Шести этапов» в обстановке, которую легко себе представить. Он умело привлек на свою сторону ряд влиятельных лиц, в том числе пресловутого Сантера, который теперь командовал Национальной гвардией. Не успев даже распаковать свой багаж, он написал будущему генералу:

«Я явился положить голову на плаху, если не докажу, что я — великий гражданин. Спасите меня от грабежа и от кинжала, я еще смогу принести пользу нашему отечеству».

Сантер, тронутый, ответил ему с обратной почтой:

«...я всегда знал Вас как человека, желающего сделать добро беднякам. Я полагаю, что Вам нечего бояться ни грабежа, ни кинжала. Однако, хотя правда — одна, необходимо просветить тех, кого мы считаем обманутыми. Я полагаю, что было бы недурно вывесить афишу для народа».

Бомарше вывесил афишу и распространил свой мемуар.

И опять слово одержало победу. Арест с имущества Бомарше был снят, а Лекуантр признал в Конвенте, что его ввели в заблуждение. Бомарше, естественно, не удовлетворился достигнутым и принялся бомбардировать своими требованиями Комитет общественного спасения, — точно так же как прежде осаждал все сменявшие друг друга правительства Франции. 22 мая, через два месяца после его возвращения в столицу, Комитет общественного спасения, собравшийся на чрезвычайную сессию, назначил этого сообщника Людовика XVI, приговоренного к смерти, как расхитителя государствен-

ного имущества, комиссаром Республики! Комитет, в котором заседали тогда Дантон, Бреар, Делакруа, Камбон, Дельмас, Гитон и Ленде, единогласно решил доверить ему опаснейшую из миссий: вывезти с вражеской территории шестьдесят тысяч ружей, потерянных по халатности и бесчестности предыдущих правительств.

«В минуту опасности — оратор», — говорит о себе Фигаро в знаменитом монологе. Читая «Шесть этапов», видишь, что Бомарше действительно защищается и обвиняет как адвокат и прокурор. Это полемическое произведение значительно выигрывает, если читать его вслух, попробуйте сами. И нет сомнения, что, хотя бы отчасти, так поступал автор, выступая перед ответственными лицами того времени, причастными к судебной, исполнительной или законодательной власти.

Бомарше был мастером судебной полемики, иными словами, умел, когда это было необходимо, публично отстаивать доказательства, собранные в его досье. Но в ту эпоху судьи держались на своих местах недолго, и непостоянство весов Фемиды нередко подводило под нож гильотины. Поэтому триумф Бомарше рисковал оказаться непрочным. Конечно, у него в бумажнике лежал мандат уполномоченного и паспорт, однако денег не было. Как и прежде, служащие министерства финансов были глухи к его просьбам и щедры на проволочки. Легко догадаться, как они рассуждали: министры уходят, мы остаемся. Этот расчет был бы достоин уважения и политически верен, если б сочетался с честностью. Словом, Бомарше в очередной раз осердился:

«Граждане законодатели, я опять ухожу с отчаянием в сердце; у нас сегодня 25 число месяца мая, а конца не видно, и дело, для вас самое насущное, по-прежнему страдает. Утром и вечером, днем и ночью я осаждаю ваши двери, словно прошу милостыни или жизни. Во имя Общественного Спасения, хранителями коего вы являетесь, доведем же до конца хоть что-нибудь! Долготерпение самого Иова или Эпиктета лопнуло бы, бейся он. как бьюсь я ради пользы дела».

Между двух заседаний в Комитете общественного спасения Бомарше успевает заглянуть в Оперу, где дают музыкальный спектакль по «Женитьбе Фигаро». После того как он тайно, «украдкой» поглядел второе представление этой комической оперы, Бомарше послал «всем актерам Оперы» пространное письмо, в котором делился с ними своими наблюдениями. О музыке — ни слова, если не считать требования «красивых и длинных оркестровых партий, чтобы заполнить долгие паузы и внести разнообразие»! А между тем произведение, столь пренебрежительно им обойденное, принадлежит Моцарту! Бог знает, как слышал Бомарше через свой слуховой рожок замечательную каватину Фигаро! Но, возможно, мысли его витали далеко. Члены Комитета общественного спасения были куда увертливей Альмавивы, и не в его власти было пропеть им: se vuol ballare [1]...

В конце мая Бомарше удалось собрать часть средств, необходимых для его безумного предприятия, Комитет пообещал, что осталь-

---

[1] Коль захочешь потанцевать (*ит.*).

ное он получит в Базеле. Он уже совсем собрался выехать в Швейцарию, когда у него сдали нервы. По-видимому, произошло то, что медики на своем «импортном» жаргоне именуют break down [1]. «Его женщинам» пришлось отвезти больного в деревню, неподалеку от Орлеана, где они намеревались продержать его в постели как можно дольше, если удастся, до подписания мира. Но они не приняли во внимание энергию Бомарше. Через две недели тот встал на ноги и, выдав Марии-Терезе доверенность «на пользование и управление, как активное, так и пассивное, всем принадлежащим ему имуществом во время его отсутствия», распрощался с семьей.

Путешественник без багажа оставил во Франции все, вплоть до собственного имени. Поскольку ему предстояло иметь дело с неприятелем и перейти линию фронта, пришлось снова действовать под чужим именем. Пьер Карон стал Пьером Шароном — почти Хароном, перевозчиком в преисподнюю. На сей раз он отправлялся туда сам.

В Базеле, куда он прибыл в начале июля, комиссар Французской республики не нашел ничего — ни денег, ни распоряжений Комитета общественного спасения. Прождав дней десять, он, как повествует Гюден, понял, что ему приходится рассчитывать только на собственные силы и способности. Однако путешествовать в военное время — дело нелегкое. С 10 июля по 5 августа он «кружит возле границ Франции, где обстановка непрерывно накаляется». Наконец 6 августа он попадает в Лондон.

Может ли человек чувствовать себя в безопасности во вражеской столице? И в самом деле, не проходит и часа после прибытия, как он получает приказание полиции покинуть Англию в «трехдневный срок». Вместо того чтобы впасть в панику, Бомарше расценивает это как предоставление ему определенного времени для улаживания дел! Обманув бдительность своих стражей, он ухитряется тайно повидаться с влиятельными лицами, чьи слабости ему известны, и получает — доверительно — важные сведения. Так, например, он узнает, что проклятые ружья чрезвычайно интересуют Англию и адмиралтейство сочло даже нужным направить военное судно крейсировать на траверсе Зеландии. В то же время его лондонский корреспондент под нажимом в конце концов признается, что, отчаявшись, предложил всю партию оружия вандейцам. В течение трех дней с помощью интриг и щедрых подачек Бомарше снова удается — а может, ему только кажется, что удалось, — овладеть положением.

В Париже «исполнительная власть» словно бы забыла о нем, зато генеральный штаб выходит из терпения. Тайный курьер доводит до сведения французского уполномоченного, что «необходим успех, — его долг добиться своего, и без промедления». Следует напомнить, что в августе 1793 года из-за начавшейся гражданской войны генералам революции приходится особенно туго. 27 августа — это лишь один из примеров — роялистам удалось сдать Англии Тулон. Открыто выражая свою оппозицию господствующему режиму, крайности

---

[1] Нервный срыв (*англ.*).

которого его возмущали, Бомарше тем не менее оставался верен правительству, каким бы оно ни было, что бы оно ни совершало. В области внешней политики для него превыше всего стояла национальная независимость и защита французской территории. На протяжении всего этого периода он душой с теми, кто сражается, обороняя отечество, будь они даже его злейшими недругами.

С невероятным упорством, наталкиваясь на всевозрастающие трудности, разыскивает он свои 60 000 ружей. Из Лондона, сейчас уже невозможно понять каким образом, он перебирается в Гаагу, оттуда — в Роттердам. Голландское правительство угрожает конфисковать ружья, Бомарше осмеливается бросить ему вызов, пригрозив, что это повлечет за собой военные репрессии. Он пишет генералу Пишегрю, лагерь которого находится в сотне километров от Тервера, побуждая того ускорить наступление!

Продвижение частей Пишегрю приостановлено, и Бомарше пускается на всяческие хитрости, чтобы провести голландцев. Например, он придумал заключить фиктивную сделку — продать ружья некоему американцу, с которым прежде был в торговых отношениях, чтобы затем ввезти всю партию во Францию через Соединенные Штаты!

Фактически в эти последние месяцы, сознавая свое бессилие, Бомарше старается лишь выиграть время. Поняв, что ему никогда не удастся наложить руку на это проклятое военное снаряжение, он с редким хитроумием задерживает его на складе в Тервере, чтобы оно не досталось врагам Франции. Обычно биографы заносят 60 000 ружей в пассив Бомарше. Приговор слишком поспешный. Если он и потерпел неудачу — но кто справился бы с такой миссией? — ему все же удалось добиться того, что это оружие не было обращено против Франции, а ведь оно являлось предметом вожделений всех армий вражеской коалиции. Дело непростое — чтобы с этим справиться, пришлось немало поколесить по Европе. Понадобилась бы отдельная глава, чтобы пересказать все его бесчисленные поездки, в частности, вдоль Рейна.

Не могу закончить повествование об этом периоде жизни Бомарше, не упомянув о его последнем «безумстве»: после 9 термидора он сделал попытку самостоятельно вступить в переговоры с иностранными державами от имени Франции, дабы побудить их к заключению «всеобщего мира»! Он, возможно, и добился бы своего, не возвести Париж городу и миру, что комиссар Республики — «преступник»! С этого момента голландские министры, с которыми Бомарше вел переговоры в качестве представителя Франции, закрыли перед ним двери и попросили его покинуть страну. Что он и вынужден был сделать с болью в сердце. Объявленный нежелательным лицом во всех европейских государствах, он все же нашел убежище — сначала в Любеке, а затем в Гамбурге, которые были свободными городами.

Пока Бомарше, проявляя чудеса храбрости, сражался за интересы Франции, руководители Конвента объявили отсутствующего эмигрантом и на этом основании конфисковали его имущество. Решение было принято Комитетом общественной безопасности, который не

знал или делал вид, будто не знает, что Бомарше облечен доверием Комитета общественного спасения. В июле того же года агентами общественной безопасности были арестованы «три женщины» Бомарше. Приговоренные к смертной казни в тот же день, что и Гезман, которому не так повезло, как им, Жюли, Мария-Тереза и Евгения остались в живых только благодаря падению Робеспьера. Выйдя на свободу, г-жа Бомарше была вынуждена тем не менее развестись с мужем и снова взять свое девичье имя, чтобы спасти Евгению от «оскорблений черни».

9 термидора, положившее конец массовому террору и воспринятое большинством граждан как счастливое событие, по странной прихоти судьбы только усугубило невзгоды Бомарше. В августе 1794 года «чернь» по-прежнему преследовала его семью. Эти невзгоды навлек на нее все тот же Лоран Лекуантр, который, сменив хозяев, обвинял теперь уполномоченного Комитета общественного спасения — о ирония! — в сообщничестве с Робеспьером и в том, что Бомарше вместе с *Неподкупным* участвовал в расхищении французской казны! Лекуантр изложил свои нелепые доводы с трибуны, и к нему прислушались.

Клеветнические наветы у нас в национальной традиции, точно так же как и глупость или, если угодно, легковерие слушателей. Если за это взяться как следует, «нет такой пошлой сплетни, нет такой пакости, нет такой нелепой выдумки, на которую не набросились бы» парижане.

По вине Лекуантра — или Базиля — Бомарше был вынужден прозябать два долгих года — вплоть до 5 июля 1796 года — в предместье Гамбурга. В своем далеком изгнании, после того как миновало несколько недель тоскливого страха за близких — он ведь мог опасаться самого худшего, — Бомарше отнюдь не сидел сложа руки! Живя на хлебе и воде в затхлой каморке, он позволял себе единственную роскошь — тратиться на перья, чернила и бумагу. Писать, писать — он не знал иного средства, чтобы найти выход из самого безвыходного положения. Поэтому он писал день и ночь. Всему свету, но прежде всего — жене:

«Подчас я задаю себе вопрос, уж не сошел ли я с ума, однако, обнаруживая последовательность, здравость своих суждений, которыми я пытаюсь, как это ни трудно, парировать все удары, убеждаюсь, что отнюдь не безумен. Но куда тебе писать? На какое имя? Где ты живешь? Как тебя зовут? Кто твои истинные друзья? Кого должен я считать своими друзьями? Ах, если б не надежда спасти дочь, сама чудовищная гильотина показалась бы мне слаще, чем мое нынешнее ужасное положение!»

Он писал англичанам, Питту, «осмелившемуся» конфисковать «его» ружья в Тервере и переправить их в Плимут. С помощью своих лондонских корреспондентов или, попросту говоря, агентов своей сети Бомарше довольно долго мешал англичанам наложить лапу на это оружие, вставляя тем самым палки в колеса британскому премьеру, которому только в июне 1795 года удалось купить эти ружья,

правда, за бесценок. Но в 1795 году военное положение Франции уже выправилось, и ее арсеналы не были пусты.

Писал он, естественно, и американцам, прежде всего, чтобы напомнить, что они остаются его должниками. Среди этих писем или мемуаров есть забавное послание американскому народу от 10 апреля 1795 года. Если читать его внимательно, за нарочитой патетикой проступает филигранью ирония Фигаро. Когда Бомарше протягивает одну руку, другой он выделывает фокусы.

«Американцы, я служил вам с неустанным рвением, в благодарность же не получил при жизни ничего, кроме горьких обид, и умираю вашим кредитором. Я вынужден поэтому завещать вам в наследство свою дочь, дабы вы дали ей в приданое то, что должны мне. Возможно, после моей смерти, вызванной несправедливостью других, против которой я уже не в силах бороться, моя дочь останется обездоленной, и, возможно, воля провидения в том, чтобы, оттянув ваш расчет со мной, обеспечить ей средства, коими она сможет воспользоваться, когда останется одна в полной нищете. Удочерите ее, как достойную дочь Государства! Она будет привезена к вам своей матерью и моей вдовой, не менее несчастной. Отнеситесь же к ней как к дочери американского гражданина. <...> Но если б у меня возникло опасение, что вы отвергнете мою просьбу <...> то — поскольку ваша страна единственная, жителям которой я могу без стыда протянуть руку, — что оставалось бы мне сделать, как не молить небо, чтобы оно даровало мне здоровье на какое-то время, необходимое для поездки в Америку? Неужто понадобится, чтобы, оказавшись среди вас, я, ослабевший умом и телом и уже неспособный отстаивать свои права, был вынужден просить, держа в руках оправдательные документы, чтобы меня доставили на носилках ко входу в ваши национальные собрания и тут, протягивая тот самый колпак свободы, который я больше, чем кто-либо другой, помогал вам водрузить на голову, обратился к вам с мольбой: «Американцы, подайте милостыню вашему другу, чьи услуги во всей их совокупности не заслужили иного вознаграждения, кроме: Date obolum Belisario»[1].

В Гамбурге коммерческий гений Бомарше достиг апогея в своем размахе. Холодными ночами, лежа без сна в чердачной каморке, он строил химерические проекты планетарных масштабов! Например, как прорыть канал через Суэцкий перешеек или установить судоходный путь между Атлантическим и Тихим океаном по реке Сан-Хуан, озеру Никарагуа и короткому каналу длиной всего в 10 километров, который можно построить. Много лет спустя другой мечтатель, заключенный в форте Гам, тоже мысленно соединял океаны, избирая для этого ту же трассу. История — не что иное, как осуществление давних грез. Бомарше «знал», рассказывает Гюден, что «нация, которая овладеет судоходным путем между двумя океанами, неизбежно станет владычицей мировой торговли». Он, естественно, мечтал, что владычицей этой будет Франция. Позднее, когда до Бомарше

---

[1] Подайте обол Велизарию (*лат.*).

дойдет известие, что «Питт намеревается сделать англичан хозяевами озера Никарагуа», он потребует от Директории, чтобы она добилась от побежденных испанцев уступки Франции этой «все еще дикой страны и этого озера, о выгодах которого они, кажется, не подозревают». К сожалению, французы в ту пору были ничуть не дальновиднее испанцев.

Бомарше был далеко не единственным французом, нашедшим убежище на берегах Северного моря. Не говоря о многочисленных протестантах, живших здесь еще со времен отмены Нантского эдикта, в ганзейских городах, в том числе и в Гамбурге, обосновалась большая колония эмигрантов, вольных или невольных. Бомарше сблизился с двумя из них — с Талейраном, недавно вернувшимся в Европу после недолгого пребывания в Америке, и неким Луи, молодым священнослужителем, терпевшим еще большую нужду, чем он сам. Бомарше помогал Луи, делясь с ним своими скудными средствами и добывая для него работу. Он не переставал пророчить своим двум товарищам по изгнанию счастливую политическую будущность. Если карьера хромого беса уже обещала быть блестящей, несмотря на этот немецкий «антракт», карьера аббата, напротив, казалась по меньшей мере сомнительной. Но Бомарше, который неплохо разбирался в государственных деятелях, быстро распознал в юном Луи качества, необходимые для успеха на общественном поприще. Впоследствии аббат не забыл доброты Бомарше, и ему действительно хватило ума, чтобы реализовать предсказания своего старого друга, сделавшись позднее, много позднее, превосходным министром финансов. Да, это тот самый барон Луи, вы не ошиблись!

Некоторые изгнанники только и мечтали о возвращении во Францию, с нетерпением ожидая, когда они наконец будут вычеркнуты из списков эмигрантов; Бомарше, принадлежавший к этой категории, дрался за всех, засыпая своими обращениями членов Комитета общественного спасения. Из Гамбурга он проповедовал стоящим у власти в Париже милосердие и справедливость, причем в таком уверенном, авторитетном тоне, который, учитывая его положение, вызывает восхищение. Одно из подобных посланий Комитету общественного спасения, датированное 5 августа 1795 года, было найдено Ломени. Оно заслуживает того, чтобы привести его здесь, ибо характеризует, как мне представляется, истинное благородство Бомарше, его отвагу и политическую мудрость. Это пространное обращение было написано после победы при Кибероне, одержанной республиканскими войсками над армией роялистов. Бомарше опасался, что победители не отнесутся к побежденным великодушно, и призывал правительство отдать приказ о милосердном обращении с ними. К сожалению, его вмешательство запоздало — мятежники монархисты были в большинстве своем перебиты при Кибероне. Вот тем не менее письмо Бомарше:

«Из моего убежища, близ Гамбурга,
сего августа 5 числа 1795 года.
Комитету общественного спасения.

Граждане, члены нынешнего состава Комитета, благоволите еще раз внять прямому обращению к вам гражданина, несправедливо изгнанного из отечества, но по-прежнему преданного ему и выступающего в защиту не своих собственных интересов, но тех, кои, по его разумению, в настоящее время являются вашими собственными и одновременно интересами всей нации.

Мне помнится, в дни моего отрочества, когда у дофина, отца Людовика XVI, родился первый ребенок, меня взяли из колледжа, чтобы я мог увидеть, как празднуется это событие. Ночью, обегая иллюминованные улицы, я был поражен транспарантом, установленным на крыше тюрьмы, который энергично возглашал: Usque in tenebris[1]. Эти слова так пронзили меня, что, мне кажется, я читаю их сейчас. Народная радость проникла повсюду, вплоть до ужасных темниц. Я повторяю вам сегодня то, что гласил этот транспарант (рождение ребенка королевской крови в те времена было радостным событием), в связи с событием куда более значительным; замечательный триумф наших солдат при Кибероне наполнил радостью мое сердце на этом немецком чердаке, где я стенаю вот уже два года, прячась под чужим именем от всякого рода несправедливостей, кои изливаются на меня в родной стране. Usque in tenebris может служить эпиграфом к моему положению.

И вот я, гражданин, страдающий in tenebris, хочу поделиться с вами соображениями о последствиях этой Киберонской победы, имеющей решающее значение для установления мира, о котором все мы мечтаем.

Если вы, великодушные победители, не употребите во зло свой триумф и не превратите его в бойню, вы стяжаете уважение всех партий. Римляне были беспощадны к врагу только в годину бедствий — стоило им взять верх, они проявляли величие и великодушие. Такое поведение, благородное и твердое одновременно, создало им мировую империю. Нет мести полней и плодотворней, нежели проявление великодушия к побежденным и покоренным французам, кое покорит вам всех остальных.

Позвольте мне привести вам пример успешности поведения, мною вам рекомендуемого; сходство фактов здесь поразительно.

Во время войны восставшей Америки против ее угнетательницы Англии целая армия англичан и американцев лоялистов (в сущности, внутренних эмигрантов) под командой, если не ошибаюсь, генерала Бергойна спустилась из Северной Канады по озеру Шамплен и по рекам в самое сердце молодой республики. На равнинах Саратоги эта армия была окружена и принуждена сложить оружие, сдавшись на милость победителя. Континентальный Конгресс, столь же предусмотрительный, сколь и великодушный, осознал, что от того, как он использует эту сокрушительную победу, будет зависеть и заключение почетного мира и отношение нации к основам образуемого им правительства. Конгресс предложил помилование всем побежденным, земли для обработки — всем англичанам и гессенцам, буде кто из них

---

[1] Даже во мраке (*лат.*).

пожелает обосноваться в стране, которую они хотели себе подчинить. Вашингтон, чье мнение запросили, рекомендовал принять именно такое благородное решение, укрепив тем самым свой авторитет, ставший отныне неколебимым. Английское правительство осознало, что народ, столь достойно воспользовавшийся своим триумфом, непобедим, ибо великодушие, завоевав ему все сердца, покорило общественное мнение всех направлений.

О французы! Вы, правящие французами, разобщенными между собой еще больше, нежели были разобщены американцы; вы, члены бурного народного собрания, призванные покорить сердца, ожесточившиеся в результате чудовищных зверств тех, кому вы пришли на смену, не будучи их сообщниками, — я не сомневаюсь, что вы столь же остро, как и я, ощутили неоценимое значение события, подаренного вам фортуной. Помилуйте своих пленных! Какова бы ни была судьба, вами им уготованная, жаловаться они не вправе, вы победили их в бою. Но узнайте же теперь, ежели не знали прежде, что нет француза меж этих разбитых вами эмигрантов, который устыдится того, что был побежден соотечественниками, нет ни единого, кто, как и вы, не видит заклятых врагов в тех англичанах, у коих сам был на службе. Узнайте, что только необходимость выжить, не умереть с голоду вынудила их уступить, подчинясь наглым островитянам; узнайте, главное, что министр Питт бесповоротно обречен, если вы только проникнетесь этой мыслью, — ему не простят промахов, ошибок, отсутствия успехов; вашей гуманностью, встреченной единодушными кликами одобрения, вы принесете больше вреда ему, больше пользы, больше славы себе, укрепив свою власть и всеобщее к ней доверие, да, вы сделаете больше одним этим великодушным актом, чем всеми, почти немыслимыми подвигами, которыми наши армии поразили Европу. Только вы, вы одни станете творцами мира, предпишете мир, продиктуете его даже англичанам, которые по преимуществу относятся с ненавистью к действиям собственного правительства, предпринятым, чтобы внести смуту в ваши ряды, избравшие свободную форму правления. И, граждане (я уже позволил себе ранее писать вам об этом), если англичане (которых останавливает лишь суетное тщеславие), заключив почетный мир, признают вас народом свободным и суверенным — только взвесьте это слово, о граждане! — тогда вы, депутаты, ты, — Конвент! — все вы покроете себя неувядаемой славой; ибо Европа без колебаний последует великому примеру, и вы приобретете, вы завоюете тогда прекрасное право спокойно обсудить, действительно ли единовластие — правление самое сильное, самое прямое и самое скорое из всех в выполнении планов, зрело продуманных законодательными собраниями, — подходит великой стране больше, чем всякое иное распределение власти, столь чреватое грозами; вы сможете преобразовать форму правления в соответствии с волей всей нации, которая прославит себя тем, что у нее на глазах вы приступите к мирным дебатам, одержав великую победу, проявив великодушие и избавив всех от страха, как бы не вернулись снова времена террора, которым можно держать в пови-

новении рабов, но на который не может опираться разумное правление.

Пьер-Огюстен Карон Бомарше,
уполномоченный, включенный в проскрипционные списки,
бездомный, преследуемый, но ни в коей мере
не предатель и не эмигрант».

Когда Бомарше писал это обращение к Комитету общественного спасения, он, очевидно, уже был вычеркнут из списков эмигрантов. Комитет, где председательствовал тогда Робер Ленде, в принципе принял такое решение еще двумя месяцами ранее, призывая — я цитирую — «граждан соратников из Комитета по законодательству включить в первую же повестку дня вопрос об исключении Бомарше из списка эмигрантов, поскольку всякая проволочка в этом деле наносит ущерб интересам Республики!» Было бы излишним входить здесь в детали. Короче говоря, административная медлительность, бумажная волокита и недоброжелательство некоторых членов Конвента задержали возвращение Бомарше более чем на год. Правительство Конвента, стремившееся загладить совершенную им несправедливость, было настолько бессильным, что ему не удавалось добиться выполнения своих решений. 26 октября 1795 года Конвент был распущен. Теперь Бомарше приходилось начать все сначала с Директорией.

Робер Ленде, который был человеком чести и чувствовал себя в какой-то мере ответственным за невзгоды Бомарше, неоднократно обращался к членам Директории, требуя покончить с этим скандальным положением. Его поведение тем достойнее, что сам он, как бывший председатель Комитета общественного спасения, отнюдь не был у них в чести. Несмотря на это, он направил одному из членов Директории следующее письмо, которое, как мне кажется, ускорило решение исполнительной власти.

«Я никогда не перестану думать и заявлять повсюду вслух, что преследование гражданина Бомарше несправедливо и что вздорная идея выдать его за эмигранта могла возникнуть только у людей ослепленных, обманутых или злонамеренных. Его способности, его таланты, все его средства могли быть использованы нами. Желая навредить ему, больше навредили Франции. Я хотел бы иметь возможность выразить ему, до какой степени был огорчен несправедливостью, объектом которой он стал. Я выполняю свой долг, думая о нем, и выполняю этот долг с удовлетворением».

Итак, мы в очередной раз отмечаем, что лица, стоящие во Франции у кормила власти, на самом высоком государственном уровне, будь то короли или главы правительств, один за другим самым торжественным и самым недвусмысленным образом воздавали честь Бомарше. Самое замечательное в этой истории, что все они без исключения в то же время бросали его на растерзание, будучи неспособны обуздать воющую свору и Базиля. Самый тиранический режим, который может задушить в зародыше все свободы, заставить молчать писателей и мыслителей, заткнуть рты всем гражданам, оказывается бессильным, сталкиваясь с клеветниками, ибо эта порода неистреби-

ма, подобно насекомым, с которыми, как нас уверяют, не покончит даже самая чудовищная водородная бомба.

10 июня 1796 года Бомарше наконец узнал о том, что вычеркнут из списков эмигрантов:

«...погоняй, почтарь! Три дня несказанной радости за три года долгих страданий, а потом я готов умереть».

Он прибыл в столицу 6 июля и прожил в ней куда дольше трех дней.

18

ЧЕЛОВЕК

> Стану ли я наконец человеком? Человек! Он спускается, как подымался <...> волоча ноги там, где мчался бегом <...> потом — разочарования, недуги <...> старая, выжившая из ума кукла... хладная мумия... грязная пыль, и потом — ничто!

В изгнании Бомарше потерял почти все, но только не свою дородность. Брюшко, щеки, один или два добавочных подбородка, «тучный и полнокровный», в шестьдесят четыре года — он неузнаваем. От невзгод — это не известно только дуракам — люди не худеют.

«Альмавива. Зато я тебя не узнаю. Ты так растолстел, раздобрел...

Фигаро. Ничего не поделаешь, ваше сиятельство, — нужда».

По возвращении этот пожилой господин — «большой, тучный, седой, жирный» — ведет себя так, как положено в его возрасте, — он благодушествует. Две недели Бомарше принадлежит только домашним. Супруге, которая была вынуждена развестись с ним и на которой он безотлагательно женится вновь. Дочери, которую в первую же неделю выдает замуж — вернувшись 5 июля, он ведет ее к венцу 11-го — за тридцатилетнего лейтенанта Луи-Андре Туссена Деларю, который еще совсем юношей был адъютантом генерала Лафайета; и, главное, Жюли, прошедшей сквозь самые тяжкие испытания Революции с одной мечтой — снова увидеть брата.

«Твоя и моя старость, — сказала она ему при встрече, — наконец соединились, мой бедный друг, чтобы насладиться юностью, счастьем и устройством жизни нашей дорогой дочери».

Словом, две недели Бомарше весьма напоминает персонажей, которых любит помещать в центре своих полотен Грёз. Но вскоре после счастливого «обретения» близких отцу семейства становится тесно в этих мещанских рамках, хоть и милых сердцу, но слишком уж благопристойных. И он спешит возобновить прерванный диалог с Амелией, иначе именуемой Нинон.

Обычно биографы умалчивают об отношениях этой дамы и Бомарше. Те, кто особенно склонен сурово осуждать поведение нашего

NINON

Не вызывает ли у Вас,
друг мой, восхищения
та свобода, с которой я
отдаюсь потоку своих мыслей?

Ninon

Я не даю себе труда
ни отсеивать их,
ни обрабатывать......

Бомарше

героя в делах общественных, стыдливо прикрывают глаза на его роман с Нинон. Старику прощают эту гадкую связь с особой «недостойной уважения». Девице ставят в вину, что она слишком дорого ему стоила. Она и вправду была довольно требовательна, но, полагаю, в 1796 году ей приходилось туго. Так что ж ему оставалось делать? Толкнуть ее на панель? Или настоять, чтобы она обучилась плести кружева? Из всех его женщин, а одному дьяволу ведомо, сколько их перебывало, она, бесспорно, была самой желанной. Как сказали бы сегодня, она подходила ему физически. А в этой области Бомарше не утруждал себя возвышенными тонкостями. Всю жизнь он искал «этих утех», ничуть того не стыдясь. Он был верен себе с момента возмужания до самой смерти. Однако в шестьдесят четыре года мужчина уже не тот, что прежде. В этом возрасте необходимы известные ухищрения, чтобы добиться искомого. В игру вступает воображение, помогая там, где сдает тело. Свои письма г-же де Годвиль Бомарше именовал «сперматочивыми»; так как же назвал бы он те, что на закате дней адресовал Нинон? Почему, однако, это должно нас шокировать? Если в его романах сердцу отводилась скромная роль и главенствовал секс, неужели он должен был сочинять своим любовницам изящные безделушки в назидание биографам? «То, что именуется пристойностью в языке, — говаривал он, — настолько противно природе, что нужно быть ломакой, чтобы этого придерживаться. Учтивость не уживается со смятением чувств и страстью». Не станем делать вид, что не замечаем распутства этого старого человека, который несколько похотлив и без ума от женщин. «И почему бы мне краснеть за то, что я их любил?»

Бомарше вернулся в Париж начисто или почти начисто разоренным. Разумеется, долговые расписки, хранившиеся в его портфеле, представляли немалое состояние. Но главные должники Бомарше — Соединенные Штаты и Франция — вполне платежеспособные, как были, так и остались недобросовестными. Министры обычно не любят возмещать долги, сделанные их предшественниками. Американское правительство и Директория ставили всевозможные бюрократические препоны и вели нескончаемые расследования с единственной целью оттянуть расплату. К 1796 году Новый Свет был должен Бомарше около 3 миллионов, а Старый — миллион (997 875 франков, если быть точными). Лица, ответственные за государственную казну по обе стороны океана, фактически делали ставку на смерть Бомарше, рассчитывая, что его наследники окажутся сговорчивее. Расчет, в общем, мудрый — через три года Бомарше действительно скончался. Но с 1796 по 1799 год он не переставал, как легко догадаться, осаждать казначейства обеих республик. Его жалобы, его мольбы, реже — требования составляли бы в совокупности толстый том. Почти все эти послания напоминают по тону и стилю то, которое он направил несколько недель спустя после возвращения в Париж Рамелю, члену Директории, ответственному за национальный бюджет. Привожу это письмо как пример:

«Гражданин министр,
клянусь вам, что мое положение становится нестерпимым. Я мог

бы навести порядок во всем мире, отдай я этому столько энергии, сколько потрачено мною на письма по поводу ненавистного дела, кое иссушает мой ум и омрачает мою старость. Я заимодавец терпеливый, но придет ли конец всем этим возражениям против выплаты долга! Я только и слышу — подождите, повремените, и ничего не получаю. Бегать, стучаться во все двери и не иметь возможности чего-либо добиться — это какая-то пытка раба, подданного старого режима, а отнюдь не жизнь, достойная французского гражданина.

Дозвольте мне поставить койку на чердаке Вашего особняка. Вам будут напоминать всякое утро: он все еще здесь. Тогда Вы поймете, насколько человеку расстроенному, лишенному на протяжении шести лет своего места и начисто разоренному, простительно жаждать, чтобы им наконец соблаговолили заняться.

Бомарше».

Но именно Рамель и те, кто впоследствии занимали то же кресло, только и ждали, когда Бомарше не станет! Однако человек, еще недавно числившийся в проскрипционных списках, стал уже вхож в министерства, ему не приходилось томиться в приемных. Подобно Людовику XV, Людовику XVI и Комитету общественного спасения, члены Директории теперь советовались с ним по вопросам государственной политики. Один из них — Ревбель — вовсю использовал его дипломатический опыт, например, просил приложить руку к договору с Испанией. Бомарше откликался на «доверие, которое [Директория] благоволит выказать к его [ничтожным] познаниям», пространными докладами, в которых чувствуется стиль и тон государственного деятеля.

Естественно, он не мог удержаться, чтобы не давать походя членам Директории уроки ремесла, напоминая при случае, что политика, не заглядывающая дальше сегодняшнего дня, редко имеет будущее. Директория же прислушивалась к нему только в той мере, в какой его советы помогали разрешить сиюминутные проблемы. Как это нередко случается в нашей стране, будущее Франции, «особы исторической», меньше всего заботило людей, стоящих у власти. Тем не менее Бомарше оказал здоровое влияние на некоторых министров и видных парламентариев того времени, к примеру, на члена Совета старейшин Бодена дез Арденна, с которым вел долгие интеллектуальные беседы, облегчавшиеся известной общностью их взглядов на революцию.

«Я отнюдь не изверился в том, — сказал как-то Боден Бомарше, — что революция во всем ее величии и полноте может содержаться в четверике чернил и не нуждается ни в малейшем кровопролитии. Я не устаю находить подтверждения этому в ночи на 4 августа 1789 года, когда без всяких переворотов, продажных трибунов и убийств, благодаря одним только декретам было покончено с системой злоупотреблений, укоренившейся на протяжении тысячелетия и черпавшей силу даже в самих достижениях цивилизации».

Это в точности совпадало с точкой зрения Бомарше, которому для создания Фигаро понадобился только четверик чернил. Не следует улыбаться — в 1796 году необходим был более чем широкий

кругозор, чтобы заметить, что «достижения цивилизации» способствуют распространению злоупотреблений и тем самым узаконивают нищету. Бомарше, со своей стороны, еще несколькими годами раньше хорошо понял, что истинное зло нашего общества — отчуждение трудящихся; в тетради, найденной Жераром Бауером, есть такая запись:

«Если бы у людей не было никаких потребностей, одно это сделало бы их равными: именно нищета подчиняет одного человека другому. Но истинное зло не в имущественном неравенстве, оно — в зависимости. Какое дело человеку среднего достатка до того, что есть люди богаче него? Что крайне тяжко, так это — быть ими порабощенным».

Вместе с Боденом дез Арденном, для которого он написал Несколько речей, Бомарше будет защищать свободу культов и свободу печати, единственным девизом которой, как оба они считали, должно быть: «Пусть пишет каждый, кто может». Но еще более горячо оба они разоблачают «чудовищную растрату народных денег». Заклеймив, не стесняясь в выражениях, нерадение или бестолковость, Бомарше, как обычно, оставляет место надежде — не для того, чтобы польстить тем, кого он бичует, но потому, что такова его натура, с ее неизбывной наивностью и неисчерпаемой жизненной энергией (причем первая подстегивает последнюю): «Мужайся, Директория! Если Республика выбралась живой из Робеспьерова ледника, как можешь ты опасаться, что она в смертельной опасности, когда правишь ты, в согласии с нашей конституцией?»

Сначала палка, потом — пряник.

Я сказал, что Бомарше разорился или почти разорился. Действительно, он еще владел несколькими доходными домами в Париже, и Директория вернула ему его «дворец» на бульваре Сент-Антуан, объявленный было «национальным достоянием». Если на бумажных фабриках Бомарше, на Баскервильской мануфактуре, где отливались шрифты, и в типографии царило запустение, то у него все же оставались в разных местах вполне реальные ресурсы, не говоря уж о менее реальных — тех, что подсказывала ему фантазия. Нам, к примеру, известно, что он провел некую весьма неудачную операцию, спекулируя на соли. Закупив сто тысяч центнеров соли, он в результате непредвиденных биржевых колебаний был вынужден перепродать все за треть стоимости. Не станем убиваться, — когда речь шла о деловых операциях, Бомарше инстинктивно вел себя, как все буржуа: распространялся вслух только о своих неудачах.

В эти годы он неразлучен с одной особой женского пола, которой странным образом увлекся. Эта особа вскоре разделит известность своего пожилого друга — ее имя появится в газетах. Поскольку хозяин боялся потерять свое сокровище и был так туг на ухо, что не слышал ее лая, она носила красивый ошейник с прелестной надписью:

Я — Фолетта, мне принадлежит Бомарше.
Живем мы на бульваре.

Ломени первым привел этот анекдот, подхваченный впоследствии почти всеми биографами. Не подвергая ни на минуту сомнению его подлинность, я тем не менее должен уточнить, что г-н Руло-Дюгаж, чей прадед женился на внучке Евгении, хранит медаль, на которой я прочел текст в более прозаической редакции: «Меня зовут Лизетта. Я принадлежу Бомарше и т. д.» Очевидно, у Фолетты тоже была соперница!

Верный пес — я называю его так без малейшего намерения унизить — Гюден в эти последние годы по-прежнему питал к Бомарше самые нежные чувства. Пока Бомарше был в изгнании, Гюден скрывался в селении Марсилли, неподалеку от Авалона. Он жил там — или старался выжить — в крайних лишениях. Не поспевая за событиями, духовно одряхлев, Гюден продолжал писать исторические труды, которые не могли быть изданы, трагедии, которые не могли быть сыграны.

Он был человеком иной эпохи, а считал себя жертвой времени. Бомарше в его жизни представлял исключение, подтверждающее правило, — глоток свежего воздуха, дух авантюры, предмет восторженного изумления. Умственно ограниченный, чопорный, неисправимый домосед, Гюден с искренним недоумением поддавался влиянию своего друга, чья жизнь всегда была праздником, хотя, конечно, и опасным, подчас даже трагическим, но непрерывным. Поскольку у Гюдена не было ни гроша, Бомарше выслал ему 10 луидоров на дорогу. Это была значительная сумма, и Гюден счел должным отблагодарить за нее по всей форме: «Вы не могли более изящно заслужить мою признательность, и я с тем большим, если это только возможно, удовольствием Вас увижу вновь, что именно Вы снабдили меня средствами для осуществления желанной встречи. Я расплачусь с Вами, как только это будет в моих возможностях. Отправляюсь в путь без промедления, засунув весь свой багаж в носок». Он не успокоился, пока не отдал своему благодетелю этот долг, настаивая, как пишет Ломени, «с видом человека, который не привык никому позволять себя одаривать». Гюден был полноправным членом семьи Бомарше, его сердечно любили, отвели ему прекрасные апартаменты в доме, но, как его ни холили, ни лелеяли, Гюден, более боязливый, чем когда-либо, при первой же тревоге — а именно 18 фрюктидора — удрал в свои скромные владения. Чтобы заставить его наконец вернуться, Бомарше пришлось пустить в ход самые убедительные доводы — я имею в виду те, которыми можно растормошить литератора, подняв его даже из гроба. Честный Гюден рассказывает об этом, ничего не утаивая:

«Бомарше сообщил мне, что он на очень выгодных для меня условиях договорился с неким издателем, буде я пожелаю, опубликовать работы, имеющиеся в моем портфеле, произведения, которые были запрещены при робком и отягощенном предрассудками королевском режиме и которые я отказался выпустить в свет в дни невзгод, когда были дозволены любые преступления печати. Поэтому я вернулся...»

Ясно, что эта дружба не была односторонней.

Бомарше был человеком иной закалки, чем Гюден. Он всегда храбро смотрел в лицо любой опасности. Но теперь для него подошла пора встретиться с противником иного рода, прежде незнакомым. Первые столкновения с ним относятся к началу 1797 года. Бомарше вроде бы не испугался и этого врага, а если и испытал законную тревогу, то держал ее про себя. В письме к Евгении от 5 мая 1797 года он рассказывает о своих встречах со смертью как бы между прочим.

«После ночи с 6 на 7 апреля, когда я надолго потерял сознание — второй сигнал, поданный мне природой за последние пять недель, — состояние мое улучшилось. Жду присылки растительных порошков. То ли мне придает силы время года, когда все пробуждается, то ли меня подстегивает жар, но я смог, дорогое мое дитя, осуществить множество дел, приняв все меры предосторожности, чтобы ты могла пожать плоды моих трудов. Доверься своему отцу!»

Как мы уже дали понять, по возвращении Бомарше из Германии на деловом поприще его постигали не только неудачи. Впрочем, лучше уж сразу написать, что, скончавшись, он оставил близким около 200 000 франков, сумму для того времени весьма внушительную, но до смешного малую по сравнению с тем, чем он владел до революции; 200 000 франков, не считая недвижимости и долговых расписок, о которых вам известно. Прибыв из Гамбурга с пустым кошельком, он за несколько месяцев сумел частично восстановить свое состояние. С годами ученик Пари-Дюверне сравнялся с учителем.

В этом письме, адресованном Евгении, для нас интересны две вещи. Во-первых, оно дает представление о причине, или причинах, угасания Бомарше, во-вторых, оно датировано 5 мая 1797 года — а это для Бомарше был день славы. К нему мы еще вернемся.

Начнем с диагноза или, точнее, прогноза, как выражались мудрецы Эпидавра. Что делал, где был Бомарше накануне или за день до удара? Так вот — он, как это бывало нередко, предавался обжорству. Интеллектуалы частенько неравнодушны к яствам земным. Я полагаю, что в Гамбурге он страдал и от вынужденного поста: от черного хлеба и вареной картошки пухнут, но нёбо при этом остается холодно, как мрамор. Долгое изгнание разожгло аппетит Бомарше, но сделало хрупким организм. Таковы печальные плоды слишком продолжительной диеты: при первом же зигзаге обленившаяся печень просит пощады. Мы могли бы позлословить также и о плодах воздержания, усыпляющего рефлексы и притупляющего чувства, разжигая при этом вожделения. Не входя в детали, скажем, что Нинон трудно было узнать своего Бомарше, когда она вновь обрела его в постели. Неумеренно подстегивая природу, старый друг красотки, вполне вероятно, был недостаточно осторожен. Но хватит балагурить. Итак, накануне удара Бомарше пировал с первыми гурманами Директории. Его рассказ об этом банкете хотя и длинноват, но заслуживает внимания по многим причинам. Мы найдем здесь лишнее подтверждение того, что Бомарше сохранял политический

вес и при новом режиме. Все сотрапезники, кроме него самого, были людьми, стоявшими у кормила власти. Кроме того, этот текст бросает свет на республиканские взгляды Бомарше, одушевляемые свойственным ему уважением к порядку, защитой всех свобод и любовью к отчизне. Некоторая высокопарность, которой грешит Бомарше всякий раз, когда заводит речь о Франции, неотделима, как мы уже могли заметить, от глубокой искренности чувства. Наконец, чтобы покончить с этой трапезой, о меню которой Бомарше нам не рассказывает, необходимо уточнить, что в силу обстоятельств она сделалась исторической. Несколько недель спустя часть мужей, принимавших участие в застолье, отправила другую часть на каторгу в Кайенну. 18 фрюктидора, как писал трясущийся от страха Гюден, «члены Директории восстали друг на друга с оружием в руках; депутаты народа были похищены со своих священных скамей и заключены в клетки на колесах, а затем брошены скопом в трюмы кораблей и отвезены в самые гиблые места Южной Америки». Еще одно слово, прежде чем открыть дверь в банкетный зал, где сквозь скатерть проступает кровь, — обратите внимание на тень, вырисовывающуюся позади стула, занимаемого молодым Келлерманом. Это — продолжение Истории, следующая глава, из списка действующих лиц которой Бомарше уже исключен. Итак, к столу!

«Вчера я был на банкете, воспоминание о котором долго не изгладится из моей памяти, столь избранное общество собрал генерал Матье Дюма за столом у своего брата. В былые времена, когда мне доводилось обедать у государственных сановников, меня неизменно шокировало это сборище разномастных людей, коим одно только их происхождение позволяло быть среди приглашенных. Аристократические дурни, высокопоставленные тупицы, люди, кичащиеся своим богатством, манерные щеголи, кокетки и т. д. Если не Ноев ковчег, то по меньшей мере скопище сброда; вчера же среди двадцати четырех сотрапезников я не видел ни одного, кто не занимал бы своего поста в силу высоких личных достоинств. Это был, если можно так выразиться, великолепный экстракт Французской республики, и я молча глядел на них всех, воздавая каждому по заслугам, поднявшим его так высоко. Вот их имена:

Генерал Моро, победитель при Биберахе и т. д., осуществивший известное великое отступление.

Министр внутренних дел Бенезек, призванный гласом народа в члены Директории.

Буасси д'Англас, честь переизбрания которого оспаривали двадцать четыре департамента, недавно вновь переизбранный.

Петье, военный министр, почитаемый всей армией.

Лебрен, один из сильнейших людей в Совете старейшин.

Симеон, крупнейший юрисконсульт Совета пятисот.

Тронсон дю Кудре, член Совета старейшин, один из самых красноречивых заступников обездоленных.

Дюма де Сен-Фюлькран, у которого мы обедали, один из самых уважаемых руководителей военного снабжения.

Лемере, член Совета старейшин, одна из опор конституции в борьбе против анархистов.

Генерал Совьяк, великий военачальник, который превознес заслуги Вобана.

Пасторе, красноречивый, отважный защитник принципов в Совете пятисот.

Министр национальной полиции Кошон, один из могущественных людей, лучше других владеющий искусством поставить на службу народу это нелегкое министерство.

Воблан, член Совета пятисот, защитник колоний от всех узурпаторов.

Молодой Келлерман, который, будучи раненым, доставил нам двадцать пять знамен от Бонапарта.

Генерал Мену, увенчавший себя бессмертной славой, отказавшись в вандемьере стрелять по согражданам.

Генерал Дюма, член Совета старейшин; это имя ныне уже не нуждается в прославлении.

Леок, который был нашим полномочным посланником в Швеции.

Зак-Матье, опора конституции, как и все его друзья в Совете старейшин.

Порталис, член Совета старейшин, мужественное красноречие которого неоднократно предотвращало черные замыслы внутренних врагов и от которого завтра ждут доклада, направленного против клеветы и злоупотреблений, неизбежных при свободе печати.

Матье, генеральный комиссар армии генерала Моро.

Бодо, бригадный генерал, адъютант генерала Моро.

Луайель, его второй адъютант.

Рамель, полковник гренадеров, охраняющих наш законодательный орган.

И последний, самый неприметный из приглашенных, я — наблюдатель, наслаждавшийся от всей души.

Обед был поучительным, отнюдь не шумным, весьма милым и, наконец, таким, какого я не припомню за всю мою жизнь».

Как вы прочли, за генералом Келлерманом уже вырисовывается божественная тень. Старик Бомарше уже догадался, какое блестящее будущее ждет Бонапарта, этого юного героя, собравшего воедино куски меча. Нет сомнений, что Бомарше пытался встретиться с победителем при Арколе и Риволи. Подружившись с блестящим Дезе, товарищем по оружию Матье Дюма, он тут же, как это было ему свойственно, поспешил поделиться с молодым генералом своим желанием повидать Бонапарта и, разумеется, служа ему, — послужить Франции. Бомарше, рассказывает Гюден, «безудержно восторгался великой идеей завоевания Египта, ибо это завоевание покорило бы Франции Средиземное и Красное моря, дав ей тем самым возможность оспаривать у Англии господство над Вест-Индией и мировую торговлю». Но Бомарше явно не довелось побеседовать с будущим консулом, несмотря на все его многократные авансы Бонапарту, вплоть до того, что, отчаявшись в успехе, он посвятил восходящей звезде стихотворение. Не рассматривайте это как лесть или низость,

Бонапарт в ту пору не был еще Наполеоном, он не был еще даже на подступах к власти. Но старый Фигаро мгновенно учуял в нем своего нового Альмавиву.

Мы уже обратили внимание на дату письма Бомарше к Евгении — 5 мая, — сказав, что это был его день славы. И действительно, именно в этот день «Комеди Франсэз» торжественно возобновила «Преступную мать», и Париж воздал ее творцу почести триумфатора, как некогда Вольтеру. Зал, стоя, долго аплодировал драме, и автор против своей воли был вынужден выйти на сцену: «Меня изнасиловали на первом спектакле, как юную девицу; мне пришлось появиться между Моле, Флери и г-жой Конта... Мне, который всю жизнь отказывался уступить этому требованию публики, на этот раз пришлось сдаться; долгие аплодисменты заставили меня пережить совершенно неведомые дотоле чувства...» Как ни странно, «Преступная мать» возвращает нас к Бонапарту, который, как мы уже отмечали, настолько же восхищался последней частью трилогии о Фигаро, насколько недооценивал две первых. Полагая, что его час настал, Бомарше накропал дурные вирши и адресовал их генералу. Вот наименее скверное из четверостиший:

«Шуточное послание старика, который сожалеет, что не встретился с ним:

На новый лад хочу я, как француз примерный,
*Заслуженную дань воздать Бонапарт***е**.
Родись я в Лондоне, ему б желал, наверно,
Чтоб в адском жарился костре».

Если Бомарше акцентировал конечное «е» Бонaпарте, то вовсе не в угоду дурному вкусу парижан, которые в ту пору развлекались тем, что калечили на разные лады это корсиканское имя, ему просто нужна была хоть какая-то рифма к «в костре». Впрочем, у меня нет твердой уверенности, возможно, он сделал это и нарочно! Год спустя Бомарше доверил генералу Дезе послание совсем в другом стиле. Нуждаясь в деньгах и разыскивая покупателей на свой дворец, он решил, что им может быть Бонапарт (на этот раз без «е»). Вот выдержка из любопытного письма, найденного Брианом Мортоном.

«Париж, 25 вантоза, VI года.
Генералу Бонапарту:

Гражданин генерал,
сельская усадьба в центре Парижа, единственная в своем роде, выстроенная с голландской простотой и афинской чистотой стиля, предлагается Вам ее владельцем.

Если бы в своем огорчении от продажи дома, выстроенного в более счастливые для его хозяина времена, этот последний мог бы чем-то утешиться, то лишь сознанием, что сей дом пришелся по вкусу человеку, столь же удивительному, сколь скромному, коему он имеет удовольствие его предложить. Не говорите, генерал, нет, прежде чем не осмотрите внимательно усадьбу. Возможно, она в своем радужном уединении покажется Вам достойной питать порой Ваши высокие раздумья...».

Гражданин генерал дом, очевидно, осмотрел, поскольку нам известно, что он нашел его нелепым. Ответил он Бомарше, не касаясь сути дела, весьма лапидарно, но я нисколько не сомневаюсь, что тот спрятал драгоценное послание в свой бумажник:

«Париж, 11 жерминаля, VI года.

Генерал Дезе передал мне, Гражданин, ваше любезное письмо от 25 вантоза. Благодарю Вас за него. Я с удовольствием воспользуюсь первым представившимся случаем, чтобы познакомиться с автором «Преступной матери».

Приветствую Вас.
Бонапарт».

Случай не представился: Бонапарт и Бомарше так и не встретились. Стоит ли сожалеть об этом? Конечно, для биографов дипломатического курьера это обидно. Но что общего было у генерала и цирюльника? Ничего, если не считать любви к отечеству и. отвращения к Англии. Я забываю о главном: обстоятельства рождения могли бы отбросить их обоих во мрак неизвестности, не аннексируй Франция Корсики и не обратись Карон-отец в католичество... Вот и все о Наполеоне.

Другой персонаж первой величины сыграл свою роль в последнем акте жизни Бомарше. Кто? Талейран. Хромоногий черт выскочил из своей бутылки 18 июля 1797 года; унаследовав кресло Делакруа, он воцарился в кабинете Верженна. У министра иностранных дел Шарля-Мориса де Талейран-Перигора был выбор — принять, снести или отвергнуть услуги человека, с которым он делил черный хлеб и чечевичную похлебку в Гамбурге и политические способности которого были ему, естественно, известны. Он их отверг. Талейран — не Верженн, далеко не Верженн, да и Бомарше уже, возможно, не тот, что прежде. Тем не менее Талейрана и Бомарше связывала Америка, оба они предвидели ее необычайную судьбу. А франко-американские отношения складывались донельзя плохо, оба правительства были в обиде друг на друга. Бомарше счел, что снова пробил его час. Кто как не он мог добиться согласия между двумя республиками? Он нашел уместным обласкать Талейрана, воспев назначение того на пост министра иностранных дел. Вот — увы! — этот панегирик, писанный в тот же или на следующий день после вступления Талейрана в должность. Я рад был бы избавить вас от этих жалких виршей, изобилующих намеками, неясность которых вполне под пару их тяжеловесности, но, повторяю, наш герой отлит не из чистого металла — к золоту подмешан подчас темный свинец:

«Гражданину Талейран-Перигору в связи с его вступлением на пост министра внешних сношений, 30 мессидора V года.

Мой мудрый, друг, настал Ваш час.
Да, кое-кто теперь в унынье.
Но, как Нафанаил, отныне
Я чту достойнейшим лишь. Вас.

А Санта-Фе сластолюбивый,
Он верит ли, как я, Гризон,
Что нами будет заключен
С Америкой союз счастливый?

Коль Вам сегодня вручены
Бразды правления страны,
Наш мир с народами Европы
Прочнее сделать Вы должны,
Чем рукоделье Пенелопы!
Аминь».

Гражданин Талейран прекрасно понял, к чему клонит Гризон, но сластолюбивый Санта-Фе — почему Санта-Фе? — сухо отказал Бомарше во всем, даже в визе. Фарж отыскал в 1885 году в архивах Ке-д'Орсе резолюцию министра. Она кратка: «Паспорт выдан быть не может».

Бомарше попросил объяснений. Ему дали понять, ничего не смягчая, что главное препятствие — его глухота. Санта-Фе считал, что посол Франции прежде всего должен быть остер на ухо. Бомарше возмутился и в результате обрел свой обычный стиль:

«Посланник могущественной республики нисколько не нуждается в том, чтобы переговоры об ее интересах велись шепотом, секретность, необходимая королевским посредникам, недостойна ее высокой дипломатии».

Но, повторяю, Талейран не Верженн. Если он и был остер на ухо, то проявил странную недальновидность, когда дело зашло об оценке душевных качеств.

Натолкнувшись на неумолимость Талейрана, старый дипломатический курьер обратился к Ревбелю и Рамелю — первый был членом Директории, второй — министром финансов. Лентилак приводит выдержку из письма Бомарше Рамелю, которое по тону напоминает его послания Людовику XVI:

«...я, возможно, единственный француз, который ничего и ни у кого не просил при обоих режимах, а между тем в ряду своих важных заслуг я с гордостью числю и то, что более любого другого европейца способствовал освобождению Америки, ее избавлению от английских угнетателей. Сейчас эти последние делают все возможное, чтобы превратить Америку в нашего врага. Мои дела призывают меня туда, я могу открыть им глаза на эти происки, ибо, если американцы даже мне и не платят, то, во всяком случае, питают ко мне уважение, и Ревбелю, всегда хорошо ко мне относившемуся, достаточно выслушать меня по этому делу в течение четверти часа, чтобы он захотел предоставить мне возможность послужить там моему отечеству. Я предлагаю свои услуги, которые ничего не будут стоить, ибо я не желаю ни должности, ни вознаграждения».

Он не учел Талейрана. Но, отвергнутый родиной, Бомарше получил горькое удовлетворение — к нему обратилась Америка. Я не шучу. Американская делегация, присланная в Париж с миссией

уладить недоразумения, возникшие между Штатами и Францией и возобновить прерванные отношения, избрала своим посредником Бомарше. Невероятный поворот! Талейрану пришлось аккредитовать того, кому он еще полгода назад отказал даже в заграничном паспорте. В переговорах с американскими депутатами Бомарше выказал большую ловкость и послужил с высочайшей преданностью министру внешних сношений, тем самым лишний раз — Франции.

Санта-Фе отблагодарил его на свой манер. Глумлением. Зависть? Не знаю. Когда до Бомарше дошли разговоры, которые вел в свете его друг Талейран-Перигор, утверждавший, будто он ни на что не годен и что его легче легкого облапошить, Бомарше отомстил, воспользовавшись своим излюбленным оружием — дерзостью. Поставьте себя на место Талейрана, откройте это письмо и прочтите:

«...я улыбнулся вчера вечером, когда до меня дошла высокая хвала, которую Вы мне воздаете, распространяясь, будто меня легче легкого облапошить. Быть облапошенным теми, кому оказал услугу — от венценосцев до пастырей, — значит быть жертвой, а не простофилей. Даже ради сохранения всего того, что отнято у меня неблагодарной низостью, я не согласился бы хоть раз вести себя иначе. Вот мой символ веры. Личные потери меня не слишком трогают, но урон, наносимый славе и благоденствию отчизны, изнуряет все мои чувства. Когда мы совершаем ошибку, я по-детски злюсь, и, пусть я даже ни на что не годен и меня никак не используют, это не мешает мне строить по ночам планы, как исправить глупости, содеянные нами днем. Вот почему мои друзья утверждают, что меня легче легкого облапошить, ведь в наши дни, как уверяют, всякий заботится только о себе самом. Какая безнадежность, будь это и в самом деле правдой по отношению ко всем! Но я убежден, твердо убежден в обратном. Когда желаете ознакомиться с моей лавчонкой простофили? Вы не останетесь недовольны — Вам будет чем поживиться для прошлого, настоящего и будущего, но будущее — единственное, что для нас существенно! Пока рассуждают о первом и втором — они уж далеко, очень далеко. Неизменно к Вам привязанный

Бомарше».

Забавнее всего, что биографы, цитирующие полностью или частично это язвительное послание, не разглядели в нем ничего, кроме наивного самоуничижения! О *нетленная слепота!*

Успешно завершив свою последнюю политическую миссию и в очередной раз облапошенный министром, которому он оказал услугу, Бомарше сходит со сцены, где ему довелось сыграть свою самую крупную роль: роль Истории.

Мы еще увидим, как он вмешается в два-три серьезных дела, но случая и возможности решать судьбы родины ему больше не выпадет. Из *игры Франции* он вышел.

Вот и старость!

Появление на свет Пальмиры, дочери Евгении, его, разумеется, очень обрадовало, но еще большей радостью для него было бы

рождение мальчика. До самой своей кончины, не выдавая горя, он оплакивал смерть сына. За несколько недель до смерти Бомарше у Евгении родился наконец долгожданный мальчик — Шарль-Эдуар Деларю, который впоследствии сделал военную карьеру и стал бригадным генералом.

Имя внука может вызвать недоумение — почему Шарль-Эдуар, а не Пьер-Огюстен? Должно быть, у самого Шарля-Эдуара сердце было чувствительнее, чем у его матери, — в 1853 году он присоединил имя Бомарше к своему имени.

Сейчас, когда я заканчиваю эту книгу, прямой потомок дипломатического курьера г-н Деларю де Бомарше назначен послом Франции в Лондоне.

«Граф. У меня... да, у меня было намерение взять тебя в Лондон в качестве дипломатического курьера... однако по зрелом размышлении...

Фигаро. Ваше сиятельство изволили передумать?

Граф. Во-первых, ты не знаешь английского языка.

Фигаро. Я знаю Got-dam [1].

Граф. Не понимаю.

Фигаро. Я говорю, что знаю Got-dam.

Граф. Ну?

Фигаро. Дьявольщина, до чего же хорош английский язык! Знать его надо чуть-чуть, а добиться можно всего. Кто умеет говорить Got-dam, тот в Англии не пропадет. Вам желательно отведать хорошей жирной курочки? Зайдите в любую харчевню, сделайте слуге вот этак *(показывает, как вращают вертел),* Got-dam, и вам приносят кусок солонины без хлеба. Изумительно! Вам хочется выпить стаканчик бургонского или же превосходного кларета? Сделайте так, и больше ничего. *(Показывает, как откупоривают бутылку).* Got-dam, вам подают пива в отличной жестяной кружке с пеной до краев. Какая прелесть! Вы встретили одну из тех милейших особ, которые семенят, опустив глазки, отставив локти назад и слегка покачивая бедрами? Изящным движением приложите кончики пальцев к губам. Ах, Got-dam! Она вам даст звонкую затрещину, — значит, поняла. Правда, англичане в разговоре время от времени вставляют и другие словечки, однако нетрудно убедиться, что Got-dam составляет основу их языка...»

Пальмира родилась 6 января 1798 года; в мае, очевидно 9-го, тихо, очень тихо угасла Мария-Жюли де Бомарше. Этот огонек, уже почти задутый смертью, оставался блестящим до самого конца. За несколько часов до кончины Жюли пропела в слуховой рожок брата на мотив контрданса удивительную песенку:

Я продаю себя за грош,
Не стану торговаться;
Я продаю себя за грош,
Всяк покупатель мне хорош.

---

[1] Черт возьми (*англ.*).

Могу дешевле уступить,
Коль вам захочется купить:
Я продаю себя за грош,
Зачем мне торговаться?

Преодолевая боль, Пьер-Огюстен ответил Жюли в том же духе:

Слишком низкая цена,
Ты ошиблась, дорогая,
Слишком низкая цена —
Публика удивлена.
Что ж, начнем аукцион,
Будет скряга огорчен.
Для начала,
Чтоб ты знала,
Десять тысяч мы дадим.
Только это слишком мало.
Десять тысяч мы дадим
И мильон в придачу к ним.

Поразительный дуэт!

После смерти сестры — в тот же вечер или на следующий день — Бомарше записал по памяти куплеты Жюли и свои собственные, их еще пять или шесть, и все — прелестны. Прежде чем лечь в постель, он также написал: «Поистине — это лебединая песня и лучшее доказательство стойкости и прекрасного спокойствия души. Сего мая 9 числа 1798» И в самом деле.

Несчастье нанесло ему снова удар, но отнюдь не замутило прекрасного спокойствия души. Во всяком случае, внешне. Сохраняя полную ясность ума, он охотно говорил, что в его жизни чреда радостей была куда внушительней чреды горестей. Не часто встречаются люди, которым хватает честности, чтобы это признать. Когда его приятельница г-жа де Сталь, которую он знал еще девочкой в доме ее отца Жака Неккера, пожаловалась ему на несправедливости по отношению к себе, «добрый старец» ответил: «...в нескончаемом потоке невзгод я обнаружил секрет, как на протяжении трех четвертей жизни быть одним из самых счастливых людей своего века и своей отчизны; имеющая уши да слышит». Несколькими годами раньше, подводя в обращении к Парижской коммуне свои жизненные итоги, Бомарше уже признавал если не то, что он счастлив, то, во всяком случае, что он ощущает в себе призвание быть счастливым. Этот текст, который я считаю одним из лучших, мне кажется весьма уместным привести именно сейчас:

«Человек веселый и даже добродушный, я не знал счета врагам, хотя никогда не вставал никому поперек пути, никого не отталкивал. По здравом размышлении я нашел причину такого недружелюбия; это и в самом деле было неизбежно.

С дней моей безумной юности я играл на всевозможных инструментах; но ни к какому цеху музыкантов не принадлежал, и люди искусства меня ненавидели.

Я изобрел несколько отличных механизмов; но не входил ни в какой цех механиков, и профессионалы злословили на мой счет.

Я писал стихи, песни; но кто бы счел меня поэтом? Я ведь был сыном часовщика.

Не увлекаясь игрой в лото, я писал театральные пьесы; но про меня говорили: «Куда он суется? Это же не писатель — он ведь крупный делец и неутомимый предприниматель».

Не найдя никого, кто пожелал бы меня защищать, я опубликовал пространные мемуары, чтобы выиграть затеянный против меня процесс, который можно назвать чудовищным, но люди говорили: «Вы же видите, это ничуть не похоже на записки, составляемые нашими адвокатами. С ним не умрешь от скуки; и разве можно терпеть, чтобы этот человек доказал свою правоту без нашей помощи?» Inde irae.

Я обсуждал с министрами важнейшие пункты реформ, необходимых для наших финансов; но про меня говорили: «Куда он суется? Он ведь не финансист».

В борьбе со всеми властями я поднял уровень французского типографского искусства, великолепно издав Вольтера... но я не был печатником, и обо мне говорили черт знает что. Я запустил в ход одновременно прессы трех или четырех бумажных мануфактур, не будучи фабрикантом, — фабриканты и торговцы ополчились на меня.

Я вел крупную торговлю во всех концах света, но не объявил себя негоциантом. До сорока моих судов бывало одновременно в плавании — но я не значился арматором, и мне чинили препятствия в наших портах.

Моему военному кораблю, вооруженному 52 пушками, выпала честь сражаться вместе с кораблями его величества при взятии Гренады. Флотская гордыня не помешала тому, что капитан судна получил крест, другие офицеры — военные награды, но я, в ком видели втирушу, только потерял свою флотилию, которую конвоировал этот корабль.

Из всех французов, кто бы они ни были, я больше всего сделал для свободы Америки, породившей и нашу свободу, я один осмелился составить план действий и приступить к его осуществлению, вопреки противодействию Англии, Испании и даже самой Франции; но я не был в числе лиц, коим были поручены переговоры, я был чужой в министерских канцеляриях; inde irae.

Прискучив жилищами, выстроившимися в однообразный ряд, садами, лишенными поэзии, я выстроил дом, о котором все говорят, но я — не человек искусства; inde irae.

Так кем же я был? Никем, кроме как самим собой, тем, кем я и остался, человеком, который свободен в оковах, не унывает среди самых грозных опасностей, умеет устоять при любых грозах, одной рукой — вершит дела, другой — ведет войны, который ленив, как осел, и всегда трудится, отбивается от бесчисленных наветов, но счастлив в душе, который никогда не принадлежал ни к одному клану, ни к литературному, ни к политическому, ни к мистическому, который ни к кому не подольщался и потому всеми отвергаем».

В шестьдесят шесть лет Бомарше уже никем не «отвергаем». Франция, неравнодушная к старцам, не упускает случая воздать ему честь. Накануне смерти Бомарше стал нравственным авторитетом. К нему прислушивались, к нему обращались за советом, как ныне к г-ну Пинэ, но, в отличие от патриарха из Сен-Шамона, роль властителя дум не доставляла Бомарше удовольствия. Он был — я пишу это, не желая никого оскорбить, — другой породы, другого закала. Как, однако, закрыть свою дверь перед литераторами, политиками, журналистами, которые почтительно испрашивают аудиенции, тем более как отказать молодым, если они, начиная карьеру, избирают вас своим патроном? Так на нашей памяти стаи ласковых волчат осаждали под конец жизни Кокто и Мориака; сегодня, если не ошибаюсь, этой атаке подвергается Арагон. Вот и Бомарше открыл свое сердце и свой дом Колену д'Арлевилю, «молодому поэту», страдавшему «сплиноманией». С неиссякаемым терпением выслушивал Бомарше его жалобы на «проклятый сплин», читал его стихи. Гюден опубликовал письма Бомарше, в которых тот весьма деликатно поучает молодого собрата. Позвольте мне привести характерную выдержку, в авторе которой, полагаю, вам трудно будет узнать гордого Родриго, ибо тут впервые говорит литератор, и только литератор: «Я хотел бы в заключение сделать одно замечание, не пощадив при этом людей, мною весьма уважаемых. Я имею на это право — ведь я издатель Вольтера! Неужели после всего того, чему он учит, вы считаете допустимым, чтобы наши глаголы в прошедшем времени печатались с окончанием «oi»? Хотел бы я посмотреть на мину иностранца, когда ему говорят, что «Connaissois «следует произносить» как Connaissais»! Что «François» и «Anglois» рифмуется с «Portugais», а не с «Suédois, Angoumois, Artois» и т. д.».

Разве этот Бомарше не неузнаваем?

11 ноября 1798 года Бомарше, остававшийся неутомимым любителем пеших прогулок, отправился в Музей естественной истории, «чтобы посмотреть, как рассказывает Гюден, возможно, его сопровождавший, на собрание естественных достопримечательностей, доставленных туда победоносной рукой отовсюду, где она водрузила наши знамена». И что же нашел он там, в самом большом зале, среди «огромной коллекции животных со всего света»? Останки Тюренна! Возмущение и гнев Бомарше были столь же велики, сколь неудержимы. Тщетно пытался успокоить его г-н Ленуар, хранитель музея. Но предоставим слово Гюдену, который, стремясь передать всю чудовищность положения, невольно смешит нас: «Ленуар говорил Бомарше, с каким хитроумием, с какими предосторожностями, с какой опасностью для собственной жизни ученые и мудрецы спасли от ярости каннибалов или, точнее, людоедов, спущенных с цепи революцией, настроившей их против славных героев, тело великого человека, найдя для него этот странный приют, где оно, по крайней мере, находится среди самых редкостных творений природы». Не знаю, точен ли рассказ Гюдена, но у нас есть несколько свидетельств того, как отреагировал Бомарше. Доводы

Ленуара не только не смирили его гнев, но, напротив, укрепили решимость. Действуя с поистине юношеской энергией, он воззвал к общественному мнению, адресовав открытое письмо своему другу Франсуа де Нефшато, тогдашнему министру внутренних дел. Это послание, опубликованное в парижской газете «Ла кле дю кабине де суверен», наделало много шума. Французы, естественно, разделились на два непримиримых лагеря: одна часть — души чувствительные — встала на сторону Бомарше, другая заняла противоположную позицию, настаивая на том, что Тюренну самое место среди животных. Верх в конце концов одержал Бомарше — 16 апреля 1799 года Директория издала декрет о переносе останков маршала. Как ни странно, операция была поручена все тому же г-ну Ленуару. Если уж говорить всю правду, у музея был филиал — сад-элизиум, хранителем которого был также г-н Ленуар. Позднее Наполеон Бонапарт нашел более уместное решение: став императором, он распорядился перенести прах Тюренна в Храм Марса, иными словами, во Дворец Инвалидов, выполнив, сам того не ведая, пожелание Фигаро.

Через двенадцать дней после того, как он выиграл это тягостное дело, Бомарше случилось в последний раз разозлиться до белого каления и возвысить голос. Речь опять-таки шла о чести отчизны. 28 апреля 1799 года французы узнали по телеграфу об убийстве своих полномочных представителей под Раштадтом, где уже два года шли переговоры. Преступление было совершено австрийскими гусарами. Мир или война? Такова была альтернатива.

Для гордого Родриго, который, как мы знаем, не переставал трудиться ради замирения Европы и неизменно отдавал предпочтение переговорам, ответ тем не менее был однозначен. Он, не мешкая, сообщил свое мнение одному из пяти членов Директории — гражданину Трейярду. В этом длинном мемуаре, написанном на одном дыхании, вновь ощущается его политический гений. Вот испепеляющее заключение:

«...имей я честь быть одним из пяти первых должностных лиц республики, я высказался бы за объявление всеобщего траура в связи с той смертельной раной, коя нанесена нации в лице ее полномочных представителей в Раштадте; выпустите прокламацию, где будет сказано, что гнусное оскорбление, нанесенное трем делегатам Франции, нанесено всей нации.

Либо я плохо знаю свою отчизну, либо не ошибусь, полагая, что в ответ на акцию столь возвышенную вы вправе ожидать подлинного народного подъема.

Бомарше».

28 апреля 1799.

Великая коалиция европейских держав, вдохновляемая Питтом и направленная против Франции, в этот день сбросила маску. Но чтобы обращение Бомарше было действительно услышано, Франции пришлось дождаться возвращения Бонапарта из Египта и 18 брюмера. Гордый Родриго не дожил нескольких месяцев до «подлинного народного подъема».

28 апреля — 17 мая.

Вот мы и подошли к финалу. До смерти Бомарше осталось девятнадцать дней. Давайте пройдемся, точнее, оглядим мир с птичьего полета.

Последние месяцы своей жизни Бомарше посвятил исключительно — или почти исключительно — авиации. Сначала — время, теперь — пространство. Бомарше — пионер и защитник аэронавтики — обрел, словно чудом, юный энтузиазм подмастерья-часовщика. Один из путей его жизни пролегает между пружинками часов и невидимыми, но реальными пружинами, толкающими человека в воздушные просторы. Вот несколько строк, но каких поразительных!

«Одна из самых величественных идей науки, делающих честь нашему веку и Франции, это, безусловно, подъем тяжелых тел в легкой воздушной среде; но наша нация, чьи увлечения новым, как бы оно ни было прекрасно, быстропреходящи, превратила в детскую игру открытие, способное изменить лицо земного шара в большей мере, нежели открытие компаса, если осуществлением этой идеи воздухоплавания займутся всерьез».

17 мая.

Семья Бомарше ужинает в кругу друзей, среди которых Гюден и книготорговец Мартен Боссанж. Пьер-Огюстен очень весел, смеется надо всем из страха, как бы не пришлось заплакать, он — душа общества. В десять вечера Гюден откланивается и уходит к себе. Час спустя Мария-Тереза, которая «неважно себя чувствует», также подымается в спальню, и Бомарше, поцеловав жену, советует ей «принять необходимые меры». Наконец прощается Боссанж, и Фигаро, оставшись один, тоже идет в свою комнату. Половина двенадцатого.

18 мая.

«Я нашел г-на Бомарше мертвым и полагаю, что смерть наступила по меньшей мере шестью — семью часами раньше. Он лежал на правом боку... Общий осмотр не оставил никаких сомнений, что гражданин скончался от апоплексического удара, вызванного нарушением кровообращения или разрывами сосудов мозга с правой стороны. Дано в Париже, сего флореаля 29 числа VII года Единой и Неделимой Республики. Виаль, военный врач при Парижском арсенале».

«Вас просят присутствовать на траурных проводах и похоронах гражданина Бомарше, литератора, скончавшегося в своем доме подле Сент-Антуанских ворот 29 флореаля VII года, кои имеют *быть 30 числа сего месяца в одиннадцать часов утра».*

Литератор!

19 мая.

В соответствии с неоднократно выраженной им волей Бомарше был похоронен подле купы деревьев в своем саду. Колен д'Арле-

виль произнес надгробную речь, написанную для него Гюденом, который сам слег в постель. (Двадцать три года спустя останки Бомарше были перенесены на кладбище Пер-Лашез. К этому времени дворец его мечтаний, выстроенный им напротив Бастилии в год Революции, уже вновь обратился в грезу, — Наполеон только намеревался его снести, после 1818 года Людовик XVIII осуществил императорский замысел. Через четыре года после сноса дворца могила была разрыта, и прах Фигаро по повелению Альмавивы погребли на парижском кладбище.)

20 мая.

Базиль (три борзописца — Эсменар, Непомюсен Лемерсье, Бешо) распускает слух, что Фигаро покончил с собой.

Клевета, — говорю я вам! — эта, чересчур уж глупая, долго не удержалась. Но с тех пор появилось немало иных наветов. Пришел ли им конец? Как бы не так! Нет такой пошлой сплетни, нет такой пакости, нет такой нелепой выдумки, на которую в большом городе не набросились бы бездельники, если только за это приняться с умом, а ведь у нас здесь по этой части такие есть ловкачи!..

Наконец-то у меня есть все, чего я хотел. Счастлив ли я? Мне кажется, что нет. Чего же мне недостает? В моей душе более нет той пленительной бодрости, коя возбуждается желанием и приносит столько утех, нарастая по мере того, как близится к осуществлению надежда насладиться. Ах, не следует строить себе иллюзий — радость не в наслаждении, но в погоне за ним.

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 18

Комитет общественного спасения — орган исполнительной власти, выбранный Конвентом в апреле 1793 г.

С. 19

Нантский эдикт — издан Генрихом IV в 1598 г., утверждал за протестантами право на свободу вероисповедания, право иметь церкви, занимать государственные должности, пользоваться учебными заведениями. Отменен Людовиком XIV в 1685 г.

С. 24

Люксембургский дворец — дворец в Париже, построенный в 1615—1627 гг.

«Меркюр де Франс» — газета, основана в 1672 г. для публикации придворных новостей, небольших литературных произведений.

С. 25

«Журналь офисьель» — официальная газета, публиковавшая законы, декреты и правительственные акты.

«Монд» — ежедневная газета, выходящая с 1944 г.

С. 28

Линия — мера длины, равная 2,25 миллиметра.

С. 35

Варган — музыкальный инструмент в виде удлиненной подковы с металлическим язычком.

С. 38

Военная школа — школа кадетов, основанная в 1752 г. в Париже.

С. 39

Семилетняя война — война 1756—1763 гг., в которой принимали участие Пруссия, Англия, Австрия, Россия, Саксония, Франция, Швеция, Португалия, Испания.

...вернуть Канаду и Луизиану. — Колонии Франции, утраченные в результате Семилетней войны.

С. 43

Фер — городок на севере Франции.

Истэблишмент — правящие круги, господствующая верхушка.

С. 44

Парламенты — высшие суды во Франции до революции 1789 г. Самый древний, Парижский, возник из королевского совета в XIII в. Парижский парламент имел право указывать королю на незаконность его указов. Упразднен в 1790 г.

Парады — бурлескные, веселые, шутливые сцены, разыгрывавшиеся первоначально у ярмарочных театров для привлечения публики.

С. 45
Ортолан — изысканное блюдо из воробьиного филе.
Волован — слоеный пирожок, начиненный мясом (или рыбой), с шампиньонами.

С. 46
Медонский парк — парк недалеко от Парижа.

С. 47
Кап — провинция в Южно-Африканской Республике, в те времена — голландской колонии.

С. 50
Парижский договор — мирный договор, заключенный 10 февраля 1763 г. между Англией и Португалией, с одной стороны, и Францией и Испанией — с другой, которым заканчивалось участие этих стран в Семилетней войне. По договору Франция теряла Канаду, Луизиану и ряд других территорий.
Семейный договор — договор между Францией и Испанией, управлявшимися представителями династии Бурбонов. По договору Испания вступала в Семилетнюю войну на стороне Франции против Англии. Эль пенсадор — испанское периодическое издание, основанное в 1762 г. Хосе Клавихо.

С. 53
Валлонская гвардия — охрана короля, состоявшая из валлонов, считавшихся одними из лучших солдат.

С. 55
Индийская компания — французская компания по торговле с Индией, была основана в 1719 г.

С. 57
«Деревенский колдун» — комическая опера, написанная Ж.-Ж. Руссо в 1752 г.

С. 58
«Письма к провинциалу» — 18 писем Блеза Паскаля, написанных с января 1656 г. по март 1657 г. Название Les Provinciales было дано им Вольтером. Первое письмо называлось «Письмо Луи Монтальта к одному из провинциальных друзей».

С. 59

...мерзость запустения, предсказанная Даниилом. — Имеются в виду предсказания в Ветхом завете, в «Книге Пророка Даниила» (XI, 21—45).

С. 63
Криспен — персонаж комедии Лесажа «Криспен — соперник своего господина», синоним ловкого, энергичного, сообразительного, плутоватого человека.

С. 65
...права на юного Иосифа у израильских купцов... — Имеется в виду легенда о продаже Иосифа братьями израильтянам за двадцать сребреников *(Библия, Книга Бытия, XXXVII, 28).*

С. 67
«Комеди Франсэз» — театр, создан по приказу Людовика XIV в 1680 г.
«Прокоп» — кафе в Париже, созданное Ф. Прокопио. С XVIII в. излюбленное место встреч французских литераторов.

С. 68
«Анне литерер» — газета, основанная Фрероном, выступала против просветителей.

С. 69
... о землетрясении, поглотившем Лиму... — очень сильное землетрясение 1746 г., разрушившее город.
...об убийстве Карла I... — Казнь Карла I состоялась в 1649 г.

С. 70
Эмиль и Софи — герои романа-трактата Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании».

С. 82
Рекетмейстерская палата — одна из кассационных палат Двора.

С. 83
Мемуар — небольшая статья (сочинение) с изложением существа дела или разоблачением.

С. 87
Видам — средневековое звание должностного лица, которое представляло епископа в органах светской власти или замещало командующего войсками.

С. 100
Монастырь Кордельерок — во Франции кордельерами называли францисканских монахов; здесь — женский францисканский монастырь.

С. 131
Турнель — так назывались две судейские палаты в Парижском парламенте; одна — по уголовным делам, другая — по гражданским.

С. 133
«Газетт де Франс» — газета, основанная в 1631 г. Теофрастом Ренодо при покровительстве кардинала Ришелье.
Ферне — имение Вольтера недалеко от швейцарской границы.

С. 134
Эфод — одеяние древнееврейских священников во время важнейших церемоний.
Иоас — библейский царь; персонаж трагедии Расина «Гофолия».

С. 141
«Заира», «Меропа» — трагедии Вольтера.

С. 142
Было бы спасено все, кроме чести!
Вероятно, намек на слова французского короля Франциска I после поражения в битве при Павии: «Все потеряно, кроме чести».

С. 147
Консьержери — тюрьма в Париже.

С. 148
Тарпейская скала — крутая скала на Капитолийском холме в Риме; с нее сбрасывали предателей и клятвопреступников.

С. 155
Варфоломеевская ночь — резня, учиненная католиками в 1572 г., в которой погибло около тридцати тысяч протестантов (гугенотов).

С. 156
Пюргон и Диафорус — персонажи комедии Мольера «Мнимый больной» — врачи-шарлатаны и невежды.

С. 159
Парк Воксхолл — парк в Лондоне.

С. 161
Неймеген (ранее Нимвеген) — город в Нидерландах недалеко от восточной границы.
Клеве — немецкий город недалеко от границы с Нидерландами.

С. 189
«Тщетная предосторожность» — новелла Скаррона, послужившая Мольеру одним из источников при написании «Школы жен».
Арнольф — персонаж комедии Мольера «Школа жен».

С. 190
Улисс — герой романа Джеймса Джойса, написанного в форме внутреннего монолога.
Сганарель — персонаж ряда комедий Мольера, ловкий, смекалистый, здравомыслящий слуга.
Рюи-Блаз — герой одноименной драмы Виктора Гюго.

С. 191
Дон Саллюстий — персонаж драмы Виктора Гюго «Рюи-Блаз».

С. 196
«Во всем все равно не разберешься» — пьеса Мишеля Жана Седена.

С. 204
Австриячка — Мария-Антуанетта, дочь австрийской императрицы.

С. 205
Дориан Грей — персонаж романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

С. 215
Открытия капитана Кука. — Бесспорными открытиями Кука считаются: Новая Каледония, о-в Норфолк, Южная Георгия, Южные Сандвичевы острова и ряд мелких островов в Тихом океане.
Версальский договор — мирный договор 1783 г. между Англией, с одной стороны, и США, Францией, Испанией и Голландией — с другой. В результате договора Англия признала независимость США.

С. 217
Второй Континентальный конгресс — конгресс представителей североамериканских колоний Англии, осуществлял функции национального правительства (с 10 марта 1775 г. по 2 марта 1781 г.).

С. 220
...делили... Польшу... — имеется в виду первый раздел Польши в 1772 г. Второй был в 1793 г.; третий — в 1795 г.

С. 223
Литота — образное выражение, оборот, в котором содержится приуменьшение величины, силы, значения предмета или явления; противоположность гиперболе.
Кэ д'Орсе — набережная, на которой расположено Министерство иностранных дел Франции.

С. 225
Навигационный акт — английский закон, принятый в 1651 г. и запрещавший ввоз в Англию иностранных товаров иначе, как на английских судах или судах той страны, где эти товары произведены.

С. 230
Большой Совет — верховный суд Франции.

С. 232
Как герои романа Роже Вайяна... — герои романа «Закон».

С. 235
Бейкер-стрит — улица в Лондоне, на которой жил Шерлок Холмс.

С. 236
Турские ливры — французская монета стоимостью в 20 су, находившаяся в обращении наряду с парижскими ливрами. С 1667 г. стала единственной расчетной единицей, просуществовала до установления метрической системы.
Сид (господин — *араб.*) — Руй (Родриго) Диас де Бивар, герой испанского эпоса, а также герой одноименной трагедии Корнеля.
Campeador — воитель (*исп.*), прозвище Сида.

С. 242
Вотрен — персонаж романов Бальзака «Отец Горио» и «Утраченные иллюзии».
Сван — персонаж романа М. Пруста «В поисках утраченного времени».

С. 253
Тампль — монастырь в Париже, построен в XII в., снесен в 1811 г.

С. 254
Шатле — название, данное двум крепостям в Париже, в одной находилось уголовное судебное ведомство Парижа, другая служила тюрьмой.

С. 256
Раминагробис — персонаж Рабле. Фигурально — ловкий, лицемерный еврей.

С. 262
Телемак — сын Улисса и Пенелопы; здесь имеется в виду герой эпического романа в прозе Фенелона.

С. 263
Победа у Саратоги — капитуляция английских войск 17 октября 1777 г. при Саратоге, городке к западу от Бостона.
Большая банка — обширная мель в северо-западной части Атлантического океана, прилегающей к острову Ньюфаундленд.

С. 267
«Все прочее — литература» — строка из стихотворения Верлена.

С. 269
Река Сайото — река в штате Огайо.
Кэнз-Вэн — приют для слепых, основанный Людовиком Святым в 1260 г. в Париже.

С. 273
...в особняке на улице Балю... — здесь находится «Общество драматургов и композиторов».

С. 274
Беарнец — прозвище Генриха IV, который родился в Беарне.

С. 303
...«провокацией дворцом»... что проделал Фуке... — имеется в виду роскошный замок, который Фуке выстроил себе в Во.

С. 305
Идти в Каноссу — то есть идти на попятную, каяться.

С. 312
Маски Шодерло де Лакло и Фенелона — то есть маска противника аристократии, каким был де Лакло, и маска поборника разумной монархии, каким был Фенелон.

С. 315
...в деле ожерелья королевы... — Дело о продаже драгоценностей королевы, в котором были замешаны многие придворные, в частности г-жа де Ламбаль, которая была публично клеймена и заключена в тюрьму.

С. 318
«Пелеас и Мелисанда» — опера Дебюсси, написана в 1902 г.
«Воццек» — опера А. Берга на сюжет пьесы Г. Бюхнера «Воццек».

С. 319
Кастор и Поллукс (Диоскуры) — мифологические близнецы, дети Зевса и Леды, братья Елены и Клитемнестры. Кастор славился как укротитель коней, Поллукс (Полидевк) — как кулачный боец. В их честь названо созвездие «Близнецов».

С. 331
Мартин — персонаж комедии Мольера «Ученые женщины», преданный, но невежественный слуга.
Кандид — герой романа Вольтера.

С. 352
Аббатство — тюрьма в Париже, построена в 1631—1635 гг., снесена в 1854 г., была местом казни политических преступников в 1792 г.

С. 354
Прокурор-синдик — представитель прокуратуры, выделявшийся для ведения дела.

С. 361
...афишу для народа — во время революции по улицам Парижа расклеивались афиши с уведомлением парижан о событиях общественной и политической жизни.

С. 362
Иов — библейский герой, символ человека непорочного, справедливого, богобоязненного, стойкого в тяжких испытаниях.
Эпиктет (60—140) — греческий философ-стоик.

С. 366
Дайте обол Велизарию. — Велизарий — полководец византийского императора Юстиниана Великого. По легенде, в конце жизни был ослеплен и вынужден просить подаяния.

С. 366
...другой мечтатель, заключенный в форте Гам... — в этом форте находился в заключении Наполеон III.

С. 367
Победа при Кибероне — военная победа над армией эмигрантов в 1795 г. при небольшом городке на побережье Атлантического океана.

С. 375
...ночь на 4 августа 1789 года... — в эту ночь Национальное собрание Франции отменило дворянские привилегии; равенство и свобода личности были провозглашены неотъемлемыми правами человека.

С. 377
18 фрюктидора 1797 г. — В этот день было принято решение об аннулировании избрания депутатов-монархистов и о высылке их в колонии в связи с попыткой государственного переворота.

С. 378
Эпидавр — город на Пелопоннесе, где находился главный храм бога врачевания Асклепия (Эскулапа).

С. 379
Совет пятисот и Совет старейшин — две палаты, осуществлявшие законодательную власть после принятия конституции 1795 г. Исполнительная власть осуществлялась Директорией в составе пяти директоров.

С. 380
...в вандемьере стрелять... — 13 вандемьера (5 октября) 1795 г. — начало мятежа в Париже, организованного роялистами. Главную роль в подавлении мятежа сыграл генерал Наполеон Бонапарт.

С. 382
Нафанаил — один из двенадцати апостолов, сначала не поверивший в божественную сущность христианства *(Библия, Евангелие от Иоанна, 1, 45—51).*
С. 387
Арматор — судовладелец.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОМАРШЕ И ЛИТЕРАТУРЫ О НЕМ

Избранные произведения / Пер. с фр.; Сост., вступ. статья и примеч. С. Д. Артамонова. М.: Гослитиздат. 1954. 652 с.

Содерж.: Евгения; Из «Мемуаров»; Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность; Безумный день, или Женитьба Фигаро; Преступная мать, или Второй Тартюф; Тарар.

Избранные произведения / Пер. с фр.; Сост., вступ. статья и коммент. С. Д. Артамонова; Ил. Ю. Игнатьева. М.: Худож. лит., 1966.

Т. I: Театр: Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность; Безумный день, или Женитьба Фигаро; Преступная мать, или Второй Тартюф. 456 с, ил.

Т. 2. Проза: Мемуары; Письма. 520 с, ил.

Драматические произведения; Мемуары / Пер. с фр.; Вступ. статья и примеч. Л. Зониной; Ил. Ю. Игнатьева. М.: Худож. лит., 1971. 543 с., ил. (Б-ка всемир. лит.; Т. 48).

Содерж.: Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность; Безумный день, или Женитьба Фигаро; Преступная мать, или Второй Тартюф; Бомарше — Лекуантру, своему обвинителю. Шесть этапов девяти самых тягостных месяцев моей жизни.

Драматическая трилогия / Пер. с фр. Н. Любимова; Вступ. статья, примеч. Л. Зониной; Послесл. А. Пузикова; Ил. Ю. Игнатьева. М.: Худож. лит., 1982. 351 с., ил.

Содерж.: Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность; Безумный день, или Женитьба Фигаро; Преступная мать, или Второй Тартюф.

Финкельштейн Е. Л. Пьер Огюстен Бомарше, 1732—1799. Л.; М.: Искусство, 1957. 127 с. (Классики зарубеж. драматургии: Науч.-попул. очерки).

Артамонов С. Д. Бомарше: Очерк жизни и творчества. М.: Гослитиздат, 1960. 255 с.

Фредерик Грандель

БОМАРШЕ

Зав. редакцией *Т. В. Громова*
Редактор *Э. Б. Кузьмина*
Художественный редактор *Н. В. Тихонова*
Технический редактор *А. З. Коган*
Корректор *Э. В. Ежова*

ИБ 1370

Сдано в набор 16.04.85. Подписано в печать 30.10.85. Формат 60x90/16. Бум. офс. кн.-журн. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,0. Усл. кр.-отт. 50,5. Уч.-изд. л. 30,15. Тираж 100 000. Изд. № 4052. Заказ № 356. Цена в бумвиниле — 3 р. 40 к; в коленкоре — 3 р. 50 к.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.
Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Грандель Ф.

Г 77 Бомарше / Пер. с фр. Л. Зониной, Л. Лунгиной. — М.: Книга, 1986. — 398 с., ил. — (Писатели о писателях).

Книга Ф. Гранделя — беллетризованная биография великого французского драматурга, написанная на основе подлинных документов. Жизнь Бомарше, полная удивительных приключений, загадок и тайн, взлетов и падений, воссоздается автором на широком историческом фоне. Книга, написанная увлекательно и увлеченно, будет интересна и специалистам, и широкому кругу читателей.

Г $\frac{4703000000-009}{002(01)-86}$ 77-86

84.4Фр.